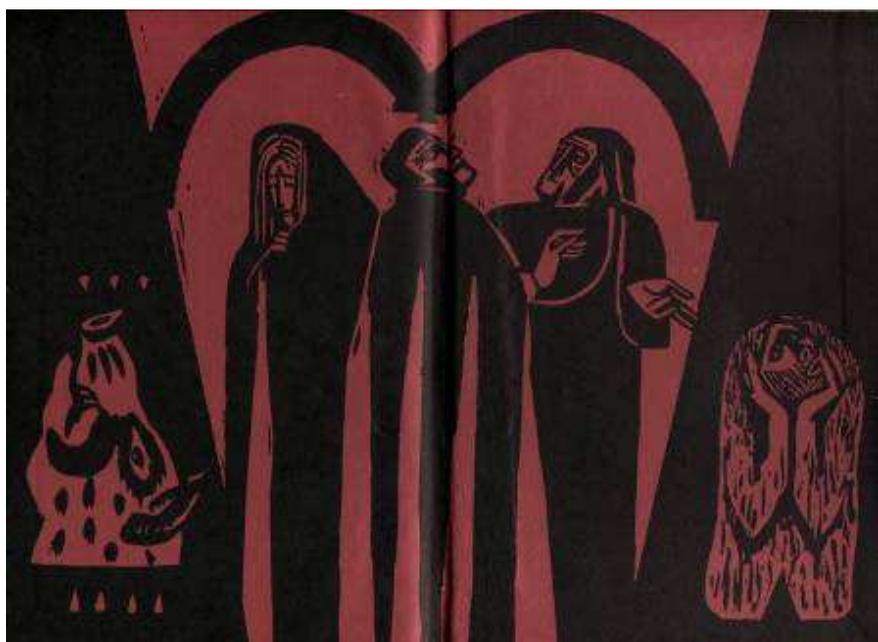


УИЛЬЯМ
ГОЛДИНГ



„ШПИЦЛЬ“
И ДРУГИЕ
ПОВЕСТИ





УИЛЬЯМ
ГОЛДИНГ

„ШПИЛЬ“

И ДРУГИЕ ПОВЕСТИ

Перевод с английского

МОСКВА
«ПРОГРЕСС»
1981

Уильям Голдинг

ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ



НАСЛЕДНИКИ



ШПИЛЬ

Предисловие В. Скороденко
Редактор Н. Кристальная

Голдинг У. «Шпиль» и другие повести: Сборник. Пер. с англ.— М.: Прогресс, 1981.—448 с.

В сборник включены лучшие произведения известного английского писателя. «Повелитель мух», «Наследники», «Шпиль» — философские повести-притчи, в которых он размышляет о природе человека и его призвании.

Все произведения, включенные в сборник, вышли на языке оригинала до 1973 г.

© Предисловие и перевод на русский язык издательство «Прогресс», 1981

70304-842
Г————— 135-81

4703000000

006(01)-81

Притчи Уильяма Голдинга

Писатель родился 19 сентября 1911 г. в местечке Сейнт-Колем-Майнор, Корнуолл, в семье учителя местной классической школы. Он окончил старейший Оксфордский университет и в 1939—1961 гг. сам учительствовал в средней школе, исключая период службы в британских военно-морских силах во время войны (1940—1945). Его литературный дебют, сборник стихотворений (1934), которые он впоследствии именовал «бледными худосочными творениями», и принесшего ему славу «Повелителя мух» разделяют двадцать лет. Объем написанного им на сегодняшний день невелик, и не в творческой плодовитости следует искать разгадку «феномена Голдинга». Объяснение того факта, что «патриарх из Солсбери», как назвала его советский литературовед В. В. Ивашева¹, уже при жизни вошел в число классиков литературы XX в. и книги его переведены на многие языки мира, включая русский, лежит в другом.

Объяснение, видимо, кроется в той безжалостной интенсивности, с какой Голдинг анализирует противоречивую натуру человека, способного к добру и ко злу, стремится нащупать ответы на философские вопросы, связанные с самопознанием личности и поставленные перед большим сознанием Запада опытом второй мировой войны. И конечно же, в том, что он сообщает своим книгам такой драматический накал, облекает свои умозрительные структуры в такие пластичные, осязаемые, материальные образы, что создаваемые им картины захватывают и завораживают, а всечеловеческая масштабность коллизий приковывает внимание даже тех, кто не склонен разделять его послышки и конечные выводы. Он заставляет читателя мыслить в категориях, которые, будучи привязаны к конкретной художественной действительности его произведений, прорастают сквозь нее, расширяются, захватывая обширные сферы духа, и вызывают встречную работу воображения и разума, опирающихся не только на британский, но и на иной национальный и личный опыт.

«На протяжении моей жизни я не раз бывал потрясен и оглушен, узнавая, что мы, люди, можем проделывать друг с другом... И раз я убеждаюсь, что человечеству больно, это и занимает все мои мысли. Я ищу эту болезнь и нахожу ее в самом доступном для меня месте — в себе самом. Я узнаю в этом часть нашей общей

¹ Ивашева В. Английские диалоги. М., 1971, с. 353. Писатель живет в графстве Уилтшир, недалеко от Солсбери, где находится знаменитый собор, ставший «прототипом» кафедрального собора Пречистой девы Марии из «Шпиля».

человеческой природы, которую мы должны понять, иначе ее невозможно будет держать под контролем. Вот почему я и пишу со всей страстностью, на какую только способен, и говорю людям: «Смотрите, смотрите, смотрите: вот какова она, как я ее вижу, природа самого опасного из всех животных — человека»². Эти слова Уильяма Голдинга выражают его позицию художника — то, что лежит в основе создаваемых им книг, получивших в критике определение притчи, от «Повелителя мух» (1954) до «Зримого мрака» (1979) и «Ритуалов на море» (1980).

Имя Голдинга обычно сопрягается в критике с именами таких авторов, как швейцарец М. Фрицц, японец Кобо Абэ, американец Д. Алдайк (роман «Кентавр»), француз Веркор, австралиец П. Уайт и ряд других. Благодаря этим авторам в критический обиход прочно вошел термин «роман-притча» (хотя голдинговские романы, за исключением «Свободного падения» и двух последних, скорее подпадают под жанровое определение повести). Критика отмечала у названных писателей преимущественный интерес к философским проблемам личности в современном мире — человек и история, человек и нравственность, человек и его личность, индивидуальное «лицо» (Кобо Абэ даже вынес это в заглавие романа: «Чужое лицо»), свобода и несвобода человека. Были названы и предтечи: Джойс «Улисса», Камю «Чужого» и «Чумы», Кафка.

Это верно, но, рассуждая об общности разноязыких авторов притч, не следует упускать из виду того, что отличает их друг от друга. Голдинг, конечно, создатель притч, но не вообще, а именно английских — тут у него свои, отечественные наставники и предшественники, свои, национальные подход и линия преемственности.

Начиная с «Утопии» (1516) сэра Томаса Мора жанр притчи, параболы, аллегии пустил в английской литературе глубокие корни и был с тех пор украшен блистательными именами — достаточно вспомнить хотя бы о Свифте.

При всей заданности аллегорического начала, при всем приоритете просветительской, назидательной или обличительной сверхзадачи, заставлявшей ее автора браться за перо, английская притча всегда тяготела к материальности, вещественности в подаче реалий бытия. Взгляд ее авторов не так ласкали чистые категории абстрактного, как привлекали житейские мелочи, частности, детали; радея о душе, английская притча никогда не забывала о брэнном теле, и ее обобщения вылущивались из прозы быта: взять хотя бы ночные горшки из золота у Мора, «ярмарку житейской суеты» в «Пути паломника» (1678—1684) Д. Беньяна или Гулливера, поливающего из природой данного шланга пожар во дворце лилипутского монарха. И с историей английская притча увязана очень прочно — история просматривается во всех самых несуразных плетениях повествования, особенно политическая история. Последняя может лежать на поверхности, как у Свифта, чьи аллюзии имеют конкретный и прозрачно завуалированный политический адресат, а может и скрываться в фундаменте произведения, в празамысле, как у Мора, писавшего вторую, «утопическую», часть своей знаменитой книги, когда Генрих VIII еще подавал надежды на просвещенное и мудрое правление, а первую, обличительную (созданную после второй), — когда надежды эти основательно поувяли.

² «Иностранная литература», 1963, № 11, с. 205.

Наконец английская притча уважительно относится к логике и здравому смыслу. Какие бы неправдоподобные, сказочные ситуации ни измышлял автор, в рамках этих ситуаций все выстроено по законам логики, с соблюдением причинно-следственных связей, должных масштабов и пропорций. У того же Свифта сравнительные размеры каждой вещи в лилипутском и великаньем мирах относительно мира человеческого, то есть Гулливерова, выверены самым тщательным образом. А если, скажем, лисица оборачивается женщиной (роман Д. Гарнета «Дамалиса», 1922), то и ведет она себя по лисьим, а не по человеческим меркам, да и превращение пусть на диковинный лад, но мотивировано в сюжете. В добротной английской притче, возросшей на родной почве, а не на иноземных образцах, человек ни с того ни с сего, за здорово живешь не переродится в жужелицу, а английский суд даже в самом кошмарном сне не позволит себе обосноваться на тесном чердаке под вывешенными сушиться подштанниками. Все это говорится не в укор неприкаянному гению Франца Кафки, но для того лишь, чтобы подчеркнуть своеобычность английской литературной традиции, и в самые романтические свои периоды не знавшей неистовых фантазмагорий гофманианы.

Если же действие в английской притче разворачивается в контексте реальной действительности, то аллегорический ее смысл надежно упрятан под слоями повествования, и порой остается только удивиться тому, что у незамысловатой, по всей видимости, истории вдруг обнаруживается новое, дополнительное «измерение». Или, напротив, иносказание, казалось бы, само просится в руки, метафора очевидна и откровенна, но тут же дается вполне конкретное, земное обоснование происходящему.

Эта двуплановость, двуликость английской притчи, предполагающей два по меньшей мере уровня прочтения — реально-бытовой, повествовательный, и иносказательный, философско-обобщенный, — проявилась у Голдинга с самого начала, уже в «Повелителе мух», где парабола об исторических путях человечества складывается из чуть ли не приключенческого сюжета о группе английских школьников, попавших на необитаемый остров.

Остров здесь отнюдь не случаен. Сами судьбы нации оказались исторически неотделимы от этого географического понятия: и страна расположена на островах, и освоение земного шара будущей «владычицей морей» шло на заре буржуазной эпохи по «голубым дорогам», на которых островки, острова и архипелаги играли роль станций, оазисов и заправочных пунктов. Примечательно, что в литературе инвентаризация вещного мира молодым, хватким и любознательным буржуазным сознанием состоялась не в товарных складах, являвших взору многообразие грузов из всех стран света, и не на бирже, где эти грузы получали свой денежный эквивалент, а на острове, где Робинзон Крузо в одиночестве учел и размыслил то, что дано было во владение человеку.

Притча по самой своей сути стремится отграничить для себя определенный участок мнимой или реальной действительности, чтобы превратить его в своего рода опытное поле, лабораторную площадку, на которой сюжет, выливающийся в иносказание, мог бы развиваться без помех. Не приходится удивляться, что для английской притчи таким «полем» сплошь и рядом становился остров: от книги Мора до художочной утопии О. Хаксли, которая так и названа — «Остров» (1962). Буквально во все разновидности английской прозы проник вездесущий участок суши, со всех сторон окруженный водой. Книгам британских авторов, так или иначе

связанным с «островной» темой, нет числа, и хотелось бы надеяться, что когда-нибудь будет написан обстоятельный трактат о значении острова для развития английской изящной словесности. Особую популярность он снискал у авторов приключенческих книг для юношества. Одна из них, «Коралловый остров» (1858) Р. М. Баллантайна, как вспоминает Голдинг, вызвала у него раздражение своим бодречеством и заданностью, когда он, уже после войны, читал ее детям. Реальные ребята едва ли бы стали так неуклонно следовать кодексу поведения юных джентльменов, как герои Баллантайна, окажись они на взаправдашнем острове, и ждали бы их там откровения и открытия совсем другого порядка.

«Повелитель мух» начинался как пародия на роман Баллантайна, которая перешла в полемику с ним, а в результате возникло самостоятельное художественное творение со своей философской и исторической проблематикой, не имеющее к «чтению для мальчиков» никакого отношения.

Пародия, однако, осталась в тексте повести, воссоздавшей — с легким, но радикально меняющим фокус изображения «сдвигом» — структуру оригинала. То была ювелирная работа, о полном успехе которой, может быть, красноречивей всего говорит такой факт. Когда британскому режиссеру Питеру Бруку понадобилось набрать мальчиков для съемок фильма по «Повелителю мух», то родителям, чтобы заручиться их согласием, был послан для ознакомления литературный первоисточник. «Большинство прочли книгу и отнеслись к ней с полным одобрением: в конце концов, это была книжка английского писателя о приключениях в тропиках, что-то вроде „Кораллового острова“»³.

И как было не обмануться, если двум главным персонажам Голдинг дал имена героев Баллантайна — Ральф и Джек. Если на первых страницах книги звучат такие знакомые читателям Баллантайна и, право же, естественные в устах мальчишек (старшему из них не больше тринадцати лет) восклицания: «Это наш остров», «Как в книжке» и т. п. Если речь идет о возможности весело провести время, власть наиграться и Ральф с Джеком стоят у костра, озаренные «светом дружбы, совместности и приключений». Если налицо все атрибуты увлекательного «островного» житья — шалаши, костер, охота и т. д., а в конце появляются взрослые и спасают ребят. Все и впрямь «как в книжке». А чтобы не оставалось сомнений, в какой именно, Голдинг отдает спасителю, офицеру с британского крейсера, реплику «под занавес»: «Просто „Коралловый остров“».

Пародия сама по себе уже полемика, но Голдингу этого мало. Он гротескно выворачивает наизнанку все сюжетные «ходы» Баллантайна. Ральф и Джек становятся у него не друзьями, а хуже врагов — преследуемым и преследователем. Костер не объединяет, а постоянно служит яблоком раздора. Экзотические фрукты не столько услаждают, сколько вызывают понос. Охота на дикую свинью выливается в охоту на человека. Poleмика превращается в сюжет повести. Персонажи Голдинга не только не укрепляются в джентльменстве и цивилизованности, но вырождаются в племя, стоящее на весьма низкой ступени развития и возглавляемое Вождем — Джеком. История цивилизации как бы прокручивается писателем в обратном направлении, от современности к далеким истокам. Повесть переходит на уровень полемики с «фоманом воспитания».

³ Wallace R. A gamble on the impossible. — "Life International", 1963, December 2, p. 79.

Голдинговские мальчики «развоспитуются», глянec цивилизации сползает с них слой за слоем. Полученное «дома» воспитание не способно удержать ребят от скатывания к дикарству. Образование, то есть развитие рационального разумного начала, терпит в подростках крах, потому что не подкреплено воспитанием духовным. Последнее, как недвусмысленно свидетельствует логика событий в повести, сводилось к системе запретов в русле нормативной морали британского общества и к прививке формальной религиозности. Такое воспитание, показывает Голдинг, плохая защита от озверения, на путь которого первыми из ребят—одно из проявлений мрачного социального юмора писателя — становятся юные певчие церковного хора. При отсутствии «карающей» взрослой руки державшиеся на запрете и понуждении нормы рушатся, и образованию остается тщетно и беспомощно звывать к правилам, которые на острове «не считаются». В повести противопоставлены «сверкающий мир... злого буйства» и «мир... недоумевающего рассудка». Последний олицетворяет не одно лишь образование, но все стоящее за ним общественное устройство с его социальными механизмами, шкалой ценностей и системой поведения.

«Мир... недоумевающего рассудка» терпит поражение, тем самым выявляя свою изначальную слабость, несостоятельность. Гибнет персонафицирующий в повести этот мир толстяк по прозвищу Хрюша, ходячее воплощение прагматического и самоуверенного рационализма. О слепом же рационализме все сказано уже тем, что Голдинг наделяет Хрюшу сильнейшей близорукостью, делающей его в сложившейся на острове ситуации практически беспомощным. Обречен на гибель и спасается только чудом Ральф, отстаивающий, сам того не ведая, может быть, наиболее ценное, что дала человечеству буржуазная эпоха, — идею демократического равенства и концепцию самоценности отдельной личности. Разлетается на кусочки символ буржуазной демократии — раковина «Морской рог», этот материальный для мальчиков атрибут равенства, справедливости для всех, свободы слова и совести.

На «опытном поле» притчи варварство торжествует над цивилизацией, оставляя от последней, да и то в искаженном виде, одну лишь иерархию социальной пирамиды, покоящейся на подавлении и «ведомственном превосходстве», которое охотники из бывших певчих преобразуют в право кулака («Мы сильные! Мы охотники!»). Они присваивают себе власть над остальными ребятами под предлогом того, что кормят всех мясом и защищают от «зверя», какового в действительности не существует.

Тем, кто упрекает Голдинга в сгущении красок и нарушении литературных табу по части изображения детей, можно было бы возразить, что все показанное писателем уже было в истории. Были захваты государственной власти под лозунгами упорядоченья жизни, обеспечения материальных потребностей нации, защиты ее от мифических угроз и отвоевания ею пресловутого «жизненного пространства». И травля одиночек озверевшей толпой тоже была. И был гитлерюгенд, состоявший, между прочим, не из белокурых херувимчиков. И была реальная угроза гибели мировой цивилизации от фашистского варварства, и ликвидирована она была не заклинаниями близоруких рационалистов, но беспримерным подвигом советского народа. Так что есть все основания прочесть «Повелителя мух» как аллгорию на события недавней истории, а в антитезе Ральф — Джек усмотреть противопоставление бессильного либерализма и грубой силы нацизма.

Но Голдинг не был бы Голдингом, если б содержание его притчи исчерпывалось социально-историческим иносказанием.

«В человеке больше зла, чем можно объяснить одним только давлением социальных механизмов, — вот главный урок, что преподнесла война моему поколению»⁴. Так говорит писатель, и к этой важной для него мысли он возвращается не раз, уточняя смысл сказанного. Одно из таких уточнений можно непосредственно отнести к «Повелителю мух»: «То, что творили нацисты, они творили потому, что какие-то определенные, заложенные в них возможности, склонности, пороки — называйте это как хотите — оказались высвобожденными...»⁵

Об этом зле, об этих возможностях, склонностях и пороках и трактует Голдинг на самом высоком, то есть самом потаенном, глубинном уровне своей притчи.

Имя этому злу — атавизм: животное, звериное начало в человеке.

По Голдингу, человек в отличие от зверя — существо *моральное*, в чем и заключается его человеческое естество, причем мораль понимается как осознанное стремление и способность человека подавлять в себе животное, нечеловеческое начало, изгонять из себя зло. На активизацию таких стремлений и способностей и направлено нравственное воспитание. Как отмечалось, голдинговские мальчики потому так быстро и оголяются в прямом и переносном, моральном, смысле, что общество, собственно, не занималось их нравственным воспитанием, ограничившись номинальным внушением определенного кодекса поведения. Дичая, ребята нисходят к истокам зла — в самих себе и в ранней истории человечества.

Атавизм — память о том промежуточном этапе в эволюции человека, когда примитивное сознание неандертальца осталось уже позади, а эра альтруизма, то есть общественно-индивидуального сознания, эпоха общечеловеческой морали с ее общечеловеческими заповедями, еще не наступила. Для этого промежуточного этапа характерно «темное» племенное сознание, лежащее отраженным отблеском в фундаменте древнейших мифов. Человек тогда отделил себя от мира живой и неживой природы, однако не успел осознать себя как личность, не выработал представлений о морали, и поэтому инстинктивное звериное начало правило его действиями, подавляя незрелый разум.

Известно, что «философия» фашизма опиралась на национальную прагерманскую мифологию и апеллировала к звериному началу, подменяя общественно-индивидуальное сознание формой, близкой к сознанию племенному. Показав перерождение мальчиков в «племя» и проследив уродливые проявления проснувшегося в них племенного сознания, высвобождающего упрямого тысячелетиями эволюции «зверя», Голдинг и этим тоже посчитался с нацизмом — со звериной идеологией нацизма.

Возвращение к истокам зла, как уже говорилось, повторяет в обратном порядке (гротескное «навыорот») этапы нравственного взросления человечества.

Поначалу мальчики пытаются сплотиться на основе понимания своего положения. Пока то все ясно и каждый знает свое место в коллективе и свои обязанности: малыши — не теряться и быть на виду у старших, старшие — заботиться о малышах и поддерживать костер, чтобы дать знать возможным спасителям о своем местопребывании. Но чувство беззапретности начинает исподволь разрушать это цивилизованное «разделение труда», «нельзя» и «можно» утрачивают ясные границы,

⁴ Biles, Jack I. Talk: Conversations with William Golding. N. Y., 1970, p. 105.

⁵ «Иностранная литература», 1973, № 10, с. 214.

и малыши, наиболее чуткие к изменениям социально-психологического «климата» внутри маленькой ребячьей демократии, первыми произносят слово «зверь».

«Зверь» облика не имеет. Это — материализация страха, который мальчики испытывают от ощущения своей потерянности и беззащитности не только перед стихиями, но и друг перед другом. По мере того как «охотники» укрепляются в сознании собственной силы, «зверь» увеличивается в размерах и становится вездесущим: он «выходит из вод», «сходит с неба». Труп парашютиста со сбитого самолета дает дополнительный довод в пользу существования «зверя». Однако, как понимает читатель, «зверь» не более чем проекция вовне уже пробудившегося у части ребят атавистического зла, звериных инстинктов. Рационалист Хрюша убеждает: «зверя» нет, просто не надо друг друга пугать. Но визионер и философ Саймон уже нащупал главное: «Может, зверь этот и есть... Может... это мы сами». Потом Ральф подтвердит правоту Саймона, сказав Хрюше: «Я нас самих боюсь». Однако еще до этого признания в повести появляется Повелитель мух — свиная голова, насаженная на кол посреди поляны Джеком и его охотниками в подношение «зверю»: не то искупление за убийство свиньи, не то отворотное заклятье. Голова получает свой чин, потому что обсижена слетевшимися на кровь мухами (мотивировка в рамках реального сюжета). В аллегорическом ряду притчи она есть материализованная эманация зла. Повелитель мух (Вельзевул) — одно из величаний дьявола, который, по народному поверью, является владыкой всякой животной нечисти. У Гёте («Фауст») Мефистофель так себя и аттестует:

Царь крыс, лягушек и мышей,
Клопов, и мух, и жаб, и вшей⁶...

Свиная голова берет на себя в повести функции дьявола, то есть вынесенной вовне и объективированной в сознании проекции зла в сердце человеческого. «...Ты же знал, правда? Что я — часть тебя самого? Неотделимая часть!» — слышит Саймон голос Повелителя мух. Он не может отвести взгляда «от... издревле неотвратимо узнающих глаз».

Раскручивание цивилизации назад идет в притче ускоренными темпами. «Зверь» еще не успевает воплотиться в Повелителя мух, когда Джек впервые надевает маску, примериваясь ко вседозволенности, и вот уже все «хорошо понимали, какое чувство дикости и свободы дарила защитная краска», и Ральф, остающийся один против всех, твердо знает, что его будут травить, потому что «раскрашенные дикари ни перед чем не останавливаются». В зримых образах раскрывает Голдинг этот феномен, о котором афористически писала Марина Цветаева: «Полная и страшная свобода маски: личины не своего лица. Полная безответственность и полная беззащитность». Беззащитность перед злом, которое маска высвобождает в человеке и которому его же и подчиняет, как это происходит с голдинговскими ребятами: «Маска заволаживала и подчиняла».

От маски — один шаг до ритуала умерщвления дичи с рефреном «Бей свинью! Глотку режь! Выпусти кровь!», а там уже место свиньи занимает человек, назревает охота на двуногую дичь, и в гуще «племени» Джеку готовится замена в лице Роджера, чье право на верховенство — голая звериная жестокость: «...в теле Роджера уже бил

⁶ Перевод Б. Пастернака.

темный источник силы... Смерть смотрела из его глаз». И вот уже «племя» превращается в свору, которая травит одиночку, и Ральф, противостоявший одичанию до последнего, сам низведен ужасом перед верной смертью до состояния затравленного животного...

Отступление вниз по лестнице эволюции прослежено Голдингом до первой ступеньки.

«Повелитель мух» — это просто-напросто книга, которую я считал разумным написать после войны, когда все вокруг благодарили бога за то, что они — не нацисты. А я достаточно к тому времени повидал и достаточно передумал, чтобы понимать: буквально каждый мог бы стать нацистом; посмотрите, что творилось, какие страсти разгорелись в Англии в связи с цветными... И вот я изобразил английских мальчиков и сказал: «Смотрите. Все это могло случиться и с вами». В сущности говоря, именно в этом — весь смысл книги»⁷.

Можно позволить себе не согласиться с автором и отметить, что *весь* смысл книги не только в этом и что нацистом мог бы стать *не буквально каждый*. Кстати, и в повести Ральф, Хрюша, Саймон, близнецы Эрик и Сэм и еще кое-кто из ребят, несомненно, остаются внутренне чужды «миру злого буйства». Больше того. Рисуя соблазнительную притягательность этого мира для незрелого сознания и легкость, с какой оно превращает «зверя в себе» в «зверя для всех», писатель не склонен видеть в юных «дикарях» отпетых злодеев. Его перо обращено не против молодой поросли человечества и не против человека как такового, а против «темных» звериных инстинктов в *homo sapiens*. Единственной по-настоящему зловещей фигурой в книге выступает Роджер, прирожденный палач и садист. На всех остальных мальчишках, в том числе и на Хрюше, обрисованном с несколько брезгливой жалостью, лежит несомненный ответ трагедии и на Джеке—не в меньшей степени, чем на Ральфе и Саймоне. Писатель справедлив ко всем, но к двум последним у него все же особое отношение.

Саймону, проникающему в суть вещей и разоблачающему надуманных «зверей», чтобы понять тайное значение Повелителя мух, Голдинг отдает самую высокую и красивую страницу книги, описав, как тело мальчика отплывает в вечность в обрамлении того, что Н. Заболоцкий назвал «дивной мистерией вселенной». Возможно, истинным героем повести является Саймон: подлинный смысл происходящего на острове открывается ему, а не Ральфу, который лишь в последнем абзаце осознает, сколь «темна человеческая душа». Но Ральф все время в центре повествования, и если Саймон — исключение, «чокнутый», то Ральф, напротив, эталон нормального, здорового, честного, в меру умного, в меру смелого и в меру доброго для своих лет подростка, и все события, все изменения, что претерпевают другие ребята, так или иначе соотносены с этим эталоном. С Ральфом невольно ассоциируются симпатии читателя и, видимо, автора также. Трудно сказать, продиктовано ли чудесное спасение мальчика в финале только желанием спародировать «экспи-энд» романа Баллантайна или у Голдинга просто не поднялась рука довести развязку до логического конца и он пожалел героя, не захотел гасить последний луч света в «темном царстве» своей притчи.

⁷ «Иностранная литература», 1973, № 10, с. 207.

Таким образом, смысл этой книги Голдинга не только в том, что зло может прорваться в человеке, но и в том, что человек способен обуздать пробуждающееся зло.

Вероятно, народная мудрость не зря гласит, что люди не ангелы. То, что Кафка лишь смутно предощущал благодаря своей болезненно обостренной впечатлительности и что на самом деле оказалось чудовищнее самых сюрреалистических его видений — ад фашизма и катаклизмы всемирной войны, — для писателя другого поколения стало личным и историческим опытом, и этот опыт подсказал Голдингу: зло опознаваемо и человек должен поставить ему пределы. Можно расхотеться с писателем в оценке пропорции, в какой добро и зло сосуществуют в душе человека. Но отказать ему в активном противостоянии злу нельзя.

Тот же опыт продиктовал автору идею его второго произведения. «Наследники» (1955), возникнув, как и «Повелитель мух», из полемики, последнюю переросли. Тут объектом полемики, как четко обозначено в эпитафии, выступает либерально-буржуазная концепция прогресса, согласно которой вся история человечества рассматривается как безостановочное, по прямой, восхождение от низшего к высшему, от животного к одухотворенному. Нельзя не заметить, что столь благостные воззрения на историю в чем-то отдаленно перекликаются с убежденностью Хрюши, что все должно быть правильно, потому что, если это неправильно, так этого и быть не должно. Голдинг, знающий о роковых отступлениях и даже провалах на путях движения человечества во времени, сам живой свидетель одного из подобных «провалов», разумеется, не мог симпатизировать этим взглядам.

Для полемики, собственно, годилась любая историческая эпоха, но, поскольку в свете либеральной идеи неандертальский человек, естественно, оказывается самым малопривлекательным образчиком эволюционного ряда (каковым он и представлен в эпитафии), то были свои резоны начать разговор с «азов». Такой разговор и происходит в «Наследниках», этом, как в шутку окрестил его автор, «доисторическом романе», написанном не для апологии древнейших предков человека, а для напоминания о той истине, что поступательная линия прогресса была прерывистой и каждый новый этап развития имел свои негативные стороны, так сказать, издержки роста.

Здесь Голдинг вновь обращается к критике «темного» начала и племенного сознания. Сюжет притчи — постепенно разворачивающаяся история гибели маленькой общины неандертальцев от руки «наследников», отколовшейся от основного племени группы людей каменного века, стоящих на несоизмеримо, по сравнению с неандертальцами, более высокой ступени материальной и духовной культуры. Парадокс заключен в том, что если неандертальцы не понимают, что их убивают, и поэтому гибнут, то пришельцы-«наследники» уничтожают обезьянолюдей из суеверного страха: в их мифологии непонятным, внешне уродливым созданиям отводится роль демонов. Пришельцы уже научились убивать и путем ритуала переносить вину за содеянное на внешние объекты. Фактически в «Наследниках» та же философская идея зла, что и в «Повелителе мух»: «...зверь... это мы сами». Из незнания этого и проистекают ненужные смерть и жестокость.

Дело не только в том, что неандертальцы добрые и кроткие, а пришельцы злые и кровавые. Доля последних в изображении Голдинга по-своему тяжела и трагична,

так как они уже причастились «тме мира» и перед ними поставлен вопрос, каким задается самый сметливый и одаренный из них, Туами: «Туами нетерпеливо вертел в руках слоновою кость. Какой смысл точить ее против человека? Кто наточит клинок против тьмы мира?» Исход притчи дает однозначный ответ — никто, кроме самого человека, ибо мир наследует человек, и тут автор не оставляет лазейки для иных толкований.

Почти до конца повести происходящее дано через восприятие неандертальца, «глазами» молодого Лока, и видимый им космос имеет другой облик, смысл, размеры и систему связей, чем объективная реальность. Но на последних страницах «точка обзора» меняется. Сначала мир предстает в своих подлинных масштабах, которые переводят Лока из статуса неотъемлемой части познаваемой им вселенной на положение малой и потерянной «рыжей твари», чье страдание отдается космическим эхом именно в силу ее малости, потерянности и обреченности. А в заключительной главе читатель видит окружающее уже глазами Туами, и этот мир, который наследуют пришельцы, в основных элементах подобен современному. Таким образом, Голдинг перебрасывает мостки из древности в сегодняшний день, и читатель, хочет он того или нет, тоже включается в понятие «наследники».

Художественные размышления писателя о ходе эволюции полностью отвечают представлениям современной науки по поводу «неравномерности эволюции на ранних стадиях антропогенеза»⁸, опирающимся на гипотезу английского ученого Луиса Лики, пришедшего на основе результатов раскопок в Танганьике к выводу о том, что в этом районе «более передовая... культура верхнепалеолитического «человека разумного» сосуществовала бок о бок с отживающей свой век... культурой обезьянолюдей типа неандертальцев»⁹. Такое, хотя и не мирное, сосуществование, завершающееся исчезновением тупиковой ветви эволюционного древа, и показано Голдингом, при том что волновали его, конечно, этический смысл категории «наследования» и неоднолинейность исторического процесса, а вовсе не проблемы антропогенеза.

Тем не менее, отдавая должное Голдингу, нужно подчеркнуть, что ему первому и пока что последнему в мировой литературе удалось раскрыть «изнутри» систему восприятия и мышления обезьяночеловека. Причем сделал он это без каких-либо особых ухищрений стиля или коверкания современного английского литературного языка. И все же вся нарисованная им картина неоспоримо запечатлела уровень умственного и эмоционального развития неандертальца Лока.

Писатель находит свой «ключ» к передаче «видения» мира примитивным сознанием: этот мир дробен, разъят, расчленен, каждая вещь в нем ведет независимое существование, имеет самодовлеющий смысл. Это распространяется даже на части собственного тела: «Ноги Лока были образительны. И они видели». Для Лока и его близкого — девочки Лику, женщины Фа, старика Мала и других — действительность лишена синкретизма; связи между разрозненными явлениями им еще недоступны: «Эти места, где беспорядочно громоздились скалы... и эта река, разлитая среди леса, были слишком сложными для уразумения». Они едва начинают ощущать свою

⁸ Лавричев В. Е. Сад Эдема. М., 1980, с. 396.

⁹ Там же, с. 341.

человеческую «самость» и пока не выделяют себя из общего ряда живых тварей: «...утес над уступом был досягаем только для лис, козлов, людей, гиен и птиц».

Примитивные «герои» повести стоят на пороге логического мышления, но еще не перешли его, и их мышление носит строго конкретный, образный характер. Думать для них — это «видеть внутри головы». На их языке «я вижу так» означает: я так думаю, а «так я не вижу» — я так не думаю или я этого не понимаю. Голдинг показывает, как с мучительным напряжением в голове неандертальца пробует прорезаться умозаключение: «Я возле моря, и я вижу. Вижу так, как еще не видел никто. Я...— она (Фа. — В. С.) скривилась и нахмурила брови,— ...думаю».

Все это говорит о том, что писатель избежал соблазна осовременить мировосприятие обезьяночеловека. Не впал Голдинг и в другую крайность — преувеличение его примитивности. В Локе и его близких уже проявлена человеческая основа: они — животные *общественные*, и в повести прочерчены «нити, которые связывали его (Лока. — В.С.) с Фа, и Малом, и Лику, и с остальными людьми. Эти нити были не украшением жизни, а самой ее сутью». Подчеркнуто «единство в мыслях или без мыслей» всех членов общины. Показаны, наконец, такие проявления чувств, на которые способен только человек: Фа и Лок испытывают друг к другу «невывразимое сострадание»; в «горестном вопле» Лока автор улавливает «боль и человеечь страдание».

Мораль, следующая из наглядного урока первобытной истории, какой автор преподносит читателю, сродни этическим выводам других его притч: человеку следует знать себя и, не обольщаясь на собственный счет, научиться собой управлять. Один из возможных путей усмирения «зверя» видится писателю в преобразующей силе заложенного в человеке творческого начала. На последней странице повести Туами неявно предчувствует, что рукоять кинжала, которую он украсит резьбой, выразив ею наполненность и смысл жизни, в конечном итоге окажется «несравненно важнее клинка». Впоследствии Голдинг покажет в «Шпиле» (1964), что и этот путь не обязательно гарантирует спасение от зла и что корни творческого начала не всегда уходят в добро. Но прежде он напишет еще две притчи все на ту же тему — о зле в человеке и об ответственности за зло: «Воришку Мартина» (1956) и «Свободное падение» (1961)¹⁰.

В последней на широком социально-историческом фоне — от лондонских довоенных трущоб до гитлеровского лагеря для военнопленных — прослежен долгий и губительный процесс духовного самопознания англичанина, современника писателя. «Воришка Мартин» воспринимается в контексте творчества Голдинга как подход, этюд к замыслу «Свободного падения». Герой этой небольшой повести, погибая на голой шербоатой скале, до которой съезживается тут традиционный литературный «остров», составляет, как и Робинзон Крузо, свой инвентарь, однако

¹⁰ Рамки предисловия не позволяют подробно остановиться на этих и некоторых других книгах Голдинга. Заинтересованный читатель найдет дополнительный материал в следующих источниках: Ивашева В. В. Английская литература. XX век. М., 1967; Ивашева В. Английские диалоги. М., 1971; Елистратова А. А. «Пирамида» Уильяма Голдинга.— «Иностранная литература», 1968, № 1; Елистратова А. А. Уильям Голдинг и его роман «Шпиль».— Там же. № 10; Зинде М. Уильям Голдинг. «Зримая тьма».— «Современная художественная литература за рубежом», 1980, № 4.

уже не приобретений, а потерь, издержек и упущений бессмысленно, в сущности, прожитой жизни.

Острый нравственный конфликт в притчах Голдинга между тем, что воплощает зло, и тем, что знаменует отталкивание от зла, начиная с «Воришки Мартина» переносится в плоскость индивидуального и решается в формах суда персонажа над самим собой. Таково решение конфликта и в «Шпиле». Добившийся всеми правдами и неправдами того, что над собором, во исполнение явленного ему видения, возносится шпиль, настоятель Джос-лин судит себя судом праведным: «Я считал, что совершаю великое дело, а оказалось, я лишь нес людям погибель и сеял ненависть».

В сюжете «Шпиля» повторяется идея, определившая художественно-философскую структуру «Наследников»: в истории нет прямых дорог, развитие цивилизации оплачивается жертвами. «Ничто не совершается без греха», — подытоживает Джослин на схоластическом языке средневековья. Наряду с этой тщательно проработана другая тема — победы творческого гения, складывающейся из вдохновенного замысла, практического знания и смекалки и иступленного труда. Она раскрывается в двуединстве персонажей-антагонистов, сведенных общим делом: отца Джослина, задумавшего возведение шпиля, и Роджера Каменщика, осуществившего со своей армией строителей этот проект вопреки человеческим возможностям и, казалось бы, даже физическим законам. И третья, новая для Голдинга, лишь намеченная в финале «Наследников» мысль властно заявляет о себе в «Шпиле», — мысль о допустимости высшего, объективного, если угодно, исторического оправдания — не снимающего, однако, вины с человека — некоторых причастных злу деяний по конечному их результату. Эта мысль впервые звучит в эпизоде о том, как перед Джослином с верха башни распаивается никем до того не виданный оком, заключающий в себе панораму обновления и коловращения жизни. В финале она подчиняет себе все остальное: отходят в небытие те, чьими усилиями, страданиями, заблуждениями и страстями вознесен шпиль, но созданное ими остается в наследство будущему — воистину дивное творение, воплотившее дерзновенный порыв духа, разума и творческой мощи и в совершенстве своем выразившее, как усыпанная цветами яблоня или златоволосая женственность Гуди, крестницы Джослина, нетленную красоту бытия.

«Шпиль» — самая метафорическая и щедрая на аллегории, не считая предпоследнего романа, притча Голдинга. Любая частность, любой жест, любой эпизод имеют здесь иносказательный смысл, и в данном предисловии просто нет возможности толковать каждый из множества символов, слагающихся в философский возглас произведения. Вместе с тем «Шпиль» — самая полнокровная, «фактурная», насыщенная реалиями жизни книга писателя. Голдинг решительно возражает против характеристики «Шпиля» как исторического повествования, справедливо указывая, что главное в книге — не временные, а философские координаты, но нельзя не видеть, что повесть отмечена всеми признаками высокохудожественной исторической прозы. Разнообразие типов, колоритнейшие фигуры (вроде жены Роджера Каменщика Рчел или немного юноши-ваятеля), уклад, быт и нравы городской и клерикальной жизни позднего английского средневековья воссозданы автором с реалистической выверенностью, достоверностью и плотностью рисунка. В «Шпиле» важна, однако, не так даже пластика письма, как возникающее на ее основе ощущение сгущенной, физически осязаемой атмосферы средневековья.

Исторические свидетельства являют эту эпоху как средоточие разительных контрастов, существеннейшим среди которых было противоречие между выработанной к тому времени человечеством упорядоченной, «домашней» иерархической концепцией мироздания и жесткими границами, какие она ставила дальнейшему развитию производительных и познавательных ресурсов человечества. Концепция давала средневековому сознанию точку опоры, сообщала индивидуальному бытию осмысленность и устойчивость, позволяла людям жить в согласии с собой и «обжитой» вселенной. Емкая формула этой, условно говоря, положительной стороны средневековья была дана в иное время одним русским поэтом, писавшим о миропонимании той эпохи:

Есть бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в бога.

Попытки разрушить концепцию, как известно, приводили к ересям, провоцировали вспышки фанатизма и религиозного изуверства, вызывали к жизни угнетеннейшие формы мистицизма и мракобесия.

Голдинг «схватил» существо эпохи в ее свете и тених, донес до читателя двойственность средних веков с их водоразделом, пролегавшим через все области физического и духовного бытия, одухотворением материального и материализацией духовного. Беспросветность поры «дождей, наводнений, голода и смерти» озарена у него горением духа; воспарение сердца к горним пределам сопрягается с греховным мирским расчетом, плотскими наваждениями, с преодолением тяжести камня и бревен, потребных на строительство шпиля. Грандиозной метафорой двойственности становится сам собор, уподобленный распластанному под небом телу и вооруженный шпилем. Последний, задуманный как вознесенная к престолу вышних сил молитва в камне, обретает, по логике такого уподобления, силуэт фаллоса.

Гением же собора выступает отец Джослин, олицетворение дуализма эпохи, чей дух — просветленный и помраченный — арена противоборства между Ангелом и Дьяволом. На первых страницах притчи Джослин преисполнен веры великой, ликования и всеобъемлющей любви во Христе, осиян благодостным светом. На последних страницах он смирен и повержен перед чудом птицы, цветущей яблони и шпиля, уже отделившегося от него, переставшего быть его наваждением и заботой. Но между концом и началом лежит промежуток, вобравший тот мрак, что есть оборотная сторона осиянности, когда Джослину открывается «ужас перед злом, которое зреет и разрастается всю жизнь, достигая жуткого, непостижимого могущества на полпути между рождением и старостью».

Джослин, заведомо погубивший ради дела божия человек и через то собственную душу (ничего страшнее средневековое сознание не могло и помыслить); Джослин, приходящий на смертном одре к окончательной и бесповоротной ереси («Если бы я мог вернуть прошлое, я стал бы искать бога среди людей»), — этот характер нельзя представить в другие времена, помимо тех, в какие он накрепко вписан автором. Как, впрочем, и остальные персонажи «Шпиля».

«Совсем не плохо начать со средневековой морали, но при этом иные писатели заканчивают созданием человеческого существа,— говорит Голдинг. — А другие, увы, начинают с человеческого существа и заканчивают средневековой моралью»¹¹.

Опыт «Свободного падения» и «Шпиля», то есть опыт «создания человеческого существа» в контексте исторического времени, очевидным образом сказался в следующем произведении писателя — триптихе «Пирамида» (1967). При том, что многие положения и коллизии этой книги воспринимаются как типично голдингговские иносказания, не вызывает сомнений, что «Пирамида» — в первую очередь реалистическое повествование о характерах и нравах провинциальной Англии, построенное на современном материале и местами приближающееся к довольно едкой социальной сатире. Книга явно «выпала» из поэтики притчи, и читатели вместе с критикой задавались вопросом, не изменил ли Голдинг себе и не переключился ли он на новую творческую манеру.

Ответа на этот вопрос пришлось ждать двенадцать лет.

Роман «Зримый мрак» показал, что Голдинг остался Голдингом.

Сильная, страшная и странная эта книга заслуживает особого разговора, как и загадка столь долгого молчания писателя. Мелькающие в критике ссылки на творческий кризис Голдинга и на общеполитический кризис, переживаемый Англией, думается, едва ли объясняют все. История литературы убеждает в том, что в кризисные для общества периоды литература, эта удивительно живучая форма общественного сознания, не обязательно хирела — скорее наоборот, стремилась активно ставить диагноз социальным недугам. И данный роман маститого писателя, вобравший философскую проблематику и художественные принципы его предшествующих книг, есть жесточайшая нравственная критика великой западной бездуховности 70-х годов XX века во всех ее проявлениях — от мелкотравчатого извращенного разврата до политического терроризма, маскируемого ультралевой фразой.

Жесток и мрачен этот роман, в котором горящий заживо праведник спасает ребенка, но света от человеческого факела не хватает, чтобы рассеять мрак окружающей действительности,— так же, как в поэме Мильтона, подсказавшей заглавие книги, пламена преисподней не дают света, а лишь сгущают вечный мрак, в какой ввергнуты грешные души. Мрачны и жестоки все притчи Голдинга, но в каждой намечена перспектива спасения, выхода: в прозрении ли, в познании или подвижничестве, в сопротивлении злу или в раскаянии, в жертве или в плодах упорства воли и рук человеческих. За человеком оставлены возможность и право быть человеком, и лишь от него самого зависит, воспользуется ли он этой возможностью и этим правом, как Ральф в первой притче, или же сознательно от них откажется, как юный карьерист Эдмунд Тэлбот из последней книги «Ритуалы на море».

Произведения Голдинга допускают различные прочтения и толкования; в чем-то с автором можно спорить, в чем-то соглашаться — в любом случае нравственный «заряд» его книг не пройдет мимо цели. Можно увидеть или не заметить нежелание писателя задуть огонек человечности, пробивающийся сквозь «тьму мира», в которую погружены его герои. Можно говорить об ограниченности и даже иллюзорности его

¹¹ «Иностранная литература», 1973, № 10, с. 209.

положительной программы. Однако основания «перетемнить» Голдинга и приписать ему некий тотальный, вселенский пессимизм его книги решительно не дают.

Голдинг никогда не был певцом отчаяния.

Но об этом лучше всего сказал он сам:

«Ни одно произведение искусства не может быть мотивировано безнадежностью, самый факт, что люди задают вопросы о безнадежности, указывает на существование надежды»¹².

В. Скороденко

¹² «Иностранная литература», 1973, № 10, с. 219.

ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ



Повелитель мух

Lord of the Flies

London, 1954

Перевод *Е. Суриц*

ГЛАВА ПЕРВАя

МОРСКОЙ РОГ

Светловолосый мальчик только что одолел последний спуск со скалы и теперь пробирался к лагуне. Школьный свитер он снял и волочил за собой, серая рубашечка на нем взмокла, и волосы налипли на лоб. Шрамом врезавшаяся в джунгли длинная полоса порушенного леса держала жару, как баня. Он спотыкался о лианы и стволы, когда какая-то птица желто-красной вспышкой взметнулась вверх, голоса, как ведьма; и на ее крик эхом отозвался другой.

– Эй, – был этот крик, – погоди-ка!

Кусты возле просеки дрогнули, осыпая гремучий град капель.

– Погоди-ка, – сказал голос. – Запутался я.

Светловолосый мальчик остановился и подтянул гольфы автоматическим жестом, на секунду уподобившим джунгли окрестностям Лондона.

Голос заговорил снова:

– Двинуться не дают, ух и цопкие они!

Тот, кому принадлежал голос, задом выбирался из кустов, с трудом выдирая у них свою грязную куртку. Пухлые голые ноги коленками застряли в шипах и были все расцарапаны. Он наклонился, осторожно отцепил шипы и повернулся. Он был ниже светлого и очень толстый. Сделал шаг, нащупав безопасную позицию, и глянул сквозь толстые очки.

– А где же дядька, который с мегафоном?

Светлый покачал головой:

– Это остров. Так мне по крайней мере кажется. А там риф. Может, даже тут вообще взрослых нет.

Толстый оторопел:

– Был же летчик. Правда, не в пассажирском отсеке был, а впереди, в кабине.

Светлый, сощурясь, озирает риф.

– Ну, а ребята? – не унимался толстый. – Они же, некоторые-то, ведь спаслись? Ведь же правда? Да ведь?

Светлый мальчик пошел к воде как можно непринужденней. Легко, без нажима он давал понять толстому, что разговор окончен. Но тот зашепшил следом.

– И взрослых, их тут совсем нету, да?

– Вероятно.

Светлый произнес это мрачно. Но тотчас его одолел восторг сбывшейся мечты. Он встал на голову посреди просеки и во весь рот улыбался опрокинутому толстому.

– Без всяких взрослых!

Толстый размышлял с минуту.

– Летчик этот...

Светлый сбросил ноги и сел на распаренную землю.

– Наверно, нас высадил, а сам улетел. Ему тут не сесть. Колеса не встанут.

– Нас подбили!

– Ну, он-то вернется еще, как миленький!

Толстый покачал головой:

– Мы когда спускались, я – это – в окно смотрел, а там горело. Наш самолет с другого края горел.

Он блуждал взглядом по просеке.

– Это все от фюзеляжа.

Светлый потянулся рукой и пощупал раскромсанный край ствола. На мгновенье он заинтересовался:

– А что с ним стало? Куда он делся?

– Волнами сволокло. Ишь, опасно-то как, деревья все переломаты. А ведь там небось ребята были еще.

Он помолчал немного, потом решил.

– Тебя как звать?

– Ральф.

Толстый ждал, что его в свою очередь спросят об имени, но ему не предложилизнакомиться; светлый мальчик, назвавшийся Ральфом, улыбнулся рассеянно, встал и снова двинулся к лагуне. Толстый шел за ним по пятам.

– Я вот думаю, тут еще много наших. Ты как – видал кого?

Ральф покачал головой и ускорил шаг. Но наскочил на ветку и с грохотом шлепнулся.

Толстый стоял рядом и дышал, как паровоз.

– Мне моя тетя не велела бегать, – объяснил он, – потому что у меня астма.

– Ассы-ма-какасыма?

– Ага. Запыхаюсь я. У меня у одного со всей школы астма, – сказал толстый не без гордости. – А еще я очки с трех лет ношу.

Он снял очки, протянул Ральфу, моргая и улыбаясь, а потом принялся их протирать замызганной курткой. Вдруг его расплывчатые черты изменились от боли и сосредоточенности. Он утер пот со щек и поскорей нацепил очки на нос.

– Фрукты эти...

Он кинул взглядом по просеке.

– Фрукты эти, – сказал он. – Вроде я...

Он поправил очки, метнулся в сторонку и присел на корточки за спутанной листвой.

– Я сейчас...

Ральф осторожно высвободился и нырнул под ветки. Сопенье толстого тотчас осталось у него за спиной, и он поспешил к последнему заслону, отгораживавшему его от берега. Перелез через поваленный ствол и разом очутился уже не в джунглях.

Берег был весь опушен пальмами. Они стояли, клонились, никли в лучах, а зеленое оперенье висело в стофутовой выси. Под ними росла жесткая трава, вспученная вывороченными корнями, валялись гнилые кокосы и то тут, то там пробивались новорожденные ростки. Сзади была тьма леса и светлый проем просеки. Ральф замер, забыв руку на сером стволе, и щурясь смотрел на сверкающую воду. Там, наверное, в расстоянии мили лохматилась у кораллового рифа белая кипень прибоя и дальше темной синью стлалось открытое море. В неровной дуге кораллов лагуна лежала тихо, как горное озеро – разнообразно синее, и тенисто-зеленое, и лиловатое. Полоска песка между пальмовой террасой и морем убегала тонкой лукой неведомо куда, и только где-то в бесконечности слева от Ральфа пальмы, вода и берег сливались в одну точку; и, почти видимая глазу, плавала вокруг жара.

Он соскочил с террасы. Черные ботинки зарылись в песок, его обдало жаром. Он ощутил тяжесть одежды. Сбросил ботинки, двумя рывками сорвал с себя гольфы. Снова вспрыгнул на террасу, стянул рубашку, стал среди больших, как черепа, кокосов, в скользящих зеленых тенях от леса и пальм. Потом расстегнул змейку на ремне, стащил шорты и трусики и, голый, смотрел на слепящую воду и берег.

Он был достаточно большой, двенадцать с лишним, чтоб пухлый детский животик успел подобраться; но пока в нем еще не ощущалась неловкость подростка. По ширине и развороту плеч видно было, что он мог бы стать боксером, если бы мягкость взгляда и рта не выдавала его безобидности. Он легонько похлопал пальму по стволу и, вынужденный наконец признать существование острова, снова упоенно захохотал и стал на голову. Ловко перекувырнулся, прыгнул на берег, упал на колени, обеими руками подгрел к себе горкой песок. Потом выпрямился и сияющими глазами окинул воду.

– Ральф...

Толстый мальчик осторожно спустил ноги с террасы и присел на край, как на стульчик.

– Я долго очень, ничего? От фруктов этих...

Он протер очки и утвердил их на носу-пуговке. Дужка уже пометила переносицу четкой розовой галкой. Он окинул критическим оком золотистое тело Ральфа, потом посмотрел на собственную одежду. Взглянул за язычок молнии, пересекающей грудь.

– Моя тетя...

Но вдруг решительно дернул за молнию и потянул через голову всю куртку.

– Ладно уж!

Ральф смотрел на него искоса и молчал.

– По-моему, нам надо все имена узнать, – сказал толстый. – И список сделать. Надо созвать сбор.

Ральф не клонул на эту удочку, так что толстому пришлось продолжить.

– А меня как хотите зовите – мне все равно, – открылся он Ральфу, – лишь бы опять не обозвали, как в школе.

Тут уж Ральф заинтересовался:

– А как?

Толстый огляделся, потом пригнулся к Ральфу. И зашептал:

– Хрюша – во как они меня обозвали.

Ральф зашелся от хохота. Даже вскочил.

– Хрюша! Хрюша!

– Ральф! Ну Ральф же!..

Хрюша всплеснул руками в ужасном предчувствии:

– Я сказал же, что не хочу...

– Хрюша! Хрюша!

Ральф выплясал на солнцепек, вернулся истребителем, распластав крылья, и обстрелял Хрюшу:

– У-у-уф! Трах-тах-тах!

Плюхнулся в песок у Хрюшиных ног и все заливался:

– Хрюша!!

Хрюша улыбался сдержанно, радуясь против воли хоть такому признанию.

– Ладно уж. Ты только никому не рассказывай...

Ральф хихикнул в песок.

Снова на лице у Хрюши появилось выражение боли и сосредоточенности.

– Минуточку...

И он бросился в лес. Ральф поднялся и затрусил направо.

Там плавный берег резко перебивала новая тема в пейзаже, где господствовала угловатость; большая площадка из розового гранита напролом врубалась в террасу и лес, образуя как бы подмости высотой в четыре фута. Сверху площадку припорошило землей, и она поросла жесткой травой и молоденькими пальмами. Пальмам не хватало земли, чтобы как

следует вытянуться, и, достигнув футов двадцати роста, они валились и сохли, крест-накрест перекрывая площадку стволами, на которых очень удобно было сидеть. Пока не рухнувшие пальмы распластали зеленую кровлю, с исподу всю в мечущемся плетеве отраженных водяных бликов. Ральф подтянулся и влез на площадку, в прохладу и сумрак, сощурил один глаз и решил, что тени у него на плече в самом деле зеленые. Он прошел к краю площадки над морем и заглянул в воду. Она была ясная до самого дна и вся расцвела тропическими водорослями и кораллами. Сверкающим выводком туда-сюда носились рыбешки. У Ральфа вырвалось вслух на басовых струнах восторга:

– Потряса-а-а!

За площадкой открылось еще новое чудо. Какие-то силы творенья – тайфун ли то был или отбушевавшая уже у него на глазах буря – отгородили часть лагуны песчаной косой, так что получилась глубокая длинная заводь, запертая с дальнего конца отвесной стеной розового гранита. Ральф, уже наученный опытом, не решался по внешнему виду судить о глубине бухты и готовился к разочарованью. Но остров не обманул, и немислимая бухта, которую, конечно, мог накрыть только самый высокий прилив, была с одного бока до того глубокая, что даже темно-зеленая. Ральф тщательно обследовал ярдов тридцать и только потом нырнул. Вода оказалась теплее тела, он плавал как будто в огромной ванне.

Хрюша снова был тут как тут, сел на каменный уступ и завистливо разглядывал зеленое и белое тело Ральфа.

– А ты ничего плаваешь!

– Хрюша.

Хрюша снял ботинки, носки, осторожно сложил на уступе и окунул ногу одним пальцем.

– Горячо!

– А ты как думал?

– Я вообще-то никак не думал. Моя тетя...

– Слыхали про твою тетю!

Ральф нырнул и поплыл под водой с открытыми глазами: песчаный край бухты маячил, как горный кряж. Он зажал нос, перевернулся на спину, и по самому лицу заплясали золотые осколки света. Хрюша с решительным видом стал стягивать шорты. Вот он уже стоял голый, белый и толстый. На цыпочках спустился по песку и сел по шею в воде, гордо улыбаясь Ральфу.

– Да ты что? Плавать не будешь?

Хрюша покачал головой:

– Я не умею. Мне нельзя. Когда астма...

– Слыхали про твою какассыму!

Хрюша снес это с достойным смирением.

– Ты вот здорово плаваешь!

Ральф дал задний ход к берегу, набрал в рот воды и выпустил струйку в воздух. Потом поднял подбородок и заговорил.

– Я с пяти лет плавать умею. Папа научил. Он у меня капитан второго ранга. Как только его отпустят, он придет сюда и нас спасет. А твой отец кто?

Хрюша вдруг покраснел.

– Папа умер, – пролепетал он скороговоркой. – А мамка...

Он снял очки и тщетно поискал, чем бы их протереть.

– Меня тетенька вырастила. У ней кондитерская. Я знаешь, сколько сладкого ел! Сколько влезет. А твой папа нас когда спасет?

– Сразу, как только сможет.

Хрюша, струясь, выбрался из воды и голый стал протирать носком очки. Единственный звук, пробивавшийся к ним сквозь жару раннего часа, был тяжелый, тягучий гул осаждавших риф бурунов.

– А почему он узнает, что мы тут?

Ральф нежился в воде. Перебарывая, затеяя блеск лагуны, как кисея миража, его окутывал сон.

– Почему он узнает, что мы тут?

«Потому что, – думал Ральф, – потому что – потому» . Гул бурунов отодвинулся в дальнюю даль.

– На аэродроме скажут.

Хрюша покачал головой, надел очки и сверкнул стеклами на Ральфа.

– Нет уж. Ты что – не слышал, что летчик говорил? Про атомную бомбу? Все погибли.

Ральф вылез из воды, встал, глядя на Хрюшу и сосредоточенно соображая.

Хрюша продолжал свое:

– Это же остров, так?

– Я на гору влезал, – протянул Ральф. – Кажется, остров.

– Все погибли, – сказал Хрюша. – И это остров. И никто ничего не знает, что мы тут. И папаша твой не знает, никто.

Губы у него дрогнули и очки подернулись дымкой.

– И будем мы тут, пока перемрем.

От этих слов жара будто набрякла, навалилась тяжестью, и лагуна обдала непереносимым сверканьем.

– Пойду-ка, – пробормотал Ральф, – там вещи мои.

Он бросился по песку под нещадными, злыми лучами, пересек площадку и собрал раскиданные вещи. Снова надеть серую рубашечку оказалось до странности приятно. Потом он поднялся в уголок площадки и сел на удобном стволе в зеленой тени. Прибрел и Хрюша, таща почти все свои пожитки под

мышкой. Осторожно сел на поваленный ствол возле небольшого утеса против лагуны; и на нем запрыгали путаные блики.

Он опять заговорил.

– Надо их всех искать. Надо чего-то делать.

Ральф не отвечал. Тут был коралловый остров. Укрывшись в тени, не вникая в прорицания Хрюши, он размечтался сладко.

Хрюша не унимался:

– Сколько нас тут всех?

Ральф встал и подошел к Хрюше.

– Не знаю.

То тут, то там ветерок рябил натянутую под дымкой жары гладкую воду. Иногда он задувал на площадку, и тогда пальмы перешептывались, и свет стекал кляксами им на кожу, а по тени порхал на блестящих крылышках.

Хрюша смотрел на Ральфа. На лице у Ральфа тени опрокинулись, сверху оно было зеленое, снизу светлое от блеска воды. Солнечное пятно застряло в волосах.

– Надо делать чего-то.

Ральф смотрел на него, не видя. Наконец-то нашлось, воплотилось столько раз, но не до конца рисовавшееся воображению место. Рот у Ральфа расплылся в восхищенной улыбке, а Хрюша отнес эту улыбку на свой счет, как знак признанья, и радостно захохотал.

– Если это правда остров...

– Ой, что это?

Ральф перестал улыбаться и показывал на берег. Что-то кремовое мерцало среди лохматых водорослей.

– Камень.

– Нет. Раковина.

Хрюша вдруг закипел благородным воодушевлением.

– Точно. Ракушка это. Я такую видал. На заборе у одного. Только он звал ее рог. Задудит в рог – и сразу мама к нему выбегает. Они жуть как дорого стоят.

У Ральфа под самым боком повис над водою росток пальмы. Хилая земля все равно уже вздулась из-за него комом и почти не держала его. Ральф выдернул росток и стал шарить по воде, и от него в разные стороны порхнули пестрые рыбки. Хрюша весь подался вперед.

– Тихо! Разобьешь...

– А, да ну тебя.

Ральф говорил рассеянно. Конечно, раковина была интересной, красивой, прекрасной игрушкой; но манящие видения все еще заслоняли от него Хрюшу, которому среди них уж никак не могло быть места. Росток выгнулся и загнал раковину в водоросли. Ральф, используя одну руку как опору

рычага, другой рукой нажимал на деревцо, так что мокрая раковина поднялась и Хрюше удалось ее выловить.

Наконец можно было потрогать раковину, и теперь-то до Ральфа дошло, какая это прелесть. Хрюша тараторил:

– ...рог. Жуть какой дорогой... Ей-богу, если бы покупать, так это тьмутмушую денег надо выложить... он у них в саду на заборе висел, а у моей тети...

Ральф взял у Хрюши раковину, и ему на руку вытекла струйка. Раковина была сочного кремового цвета, кое-где чуть тронутого розоватым. От кончика с узкой дырочкой к разинутым розовым губам легкой спиралью вились восемнадцать сверкающих дюймов, покрытых тонким тисненым узором. Ральф вытряхнул песок из глубокой трубы.

– ...получалось как у коровы, – говорил Хрюша, – и еще у него белые камушки, а еще в ихнем доме птичья клетка и попугай зеленый живет. В белый камушек, ясно, не подуешь, вот он и говорит...

Хрюша задохнулся, умолк и погладил блестящую штуку в руках у Ральфа.

– Ральф!

Ральф поднял на него глаза.

– Мы ж теперь можем всех созвать. Сбор устроить. Они услышат и прибегут...

Он сияя смотрел на Ральфа.

– Ты для этого, да? Для этого рог из воды вытащил?

Ральф откинул со лба светлые волосы.

– Как твой приятель в него дул?

– Он вроде как плевал туда, – сказал Хрюша. – А мне тетя не велела, из-за астмы. Вот отсюдава, он говорил, надо дуть. – Хрюша положил ладонь на свое толстое брюшко. – Ты попробуй, а, Ральф. И всех скликаешь.

Ральф с сомнением приложился губами к узкому концу раковины и дунул. В раковине зашуршало – и только. Ральф стер с губ соленую воду и снова дунул, но опять раковина молчала.

– Он вроде как плевал.

Ральф сделал губы трубочкой, впустил в раковину струйку воздуха, и раковина будто пукнула в ответ. Оба покатались со смеху, и в промежутках между взрывами смеха Ральф еще несколько минут подряд извлекал из раковины эти звуки.

– Он вот отсюдава дул.

Ральф наконец-то понял и выдохнул всей грудью. И сразу раковина отозвалась. Густой, резкий гул поплыл под пальмами, хлынул сквозь лесные пуши и эхом откатился от розового гранита горы. Птицы тучами взмыли с деревьев, в кустах пищала и разбегалась какая-то живность.

Ральф отнял раковину от губ.

– Вот это да!

Собственный голос показался ему шепотом после оглушающих звуков рога. Он приложил его к губам, набрал в легкие побольше воздуха и дунул опять. Загудела та же нота, но Ральф поднатужился, и нота взобралась октавой выше и стала уже пронзительным, надсадным ревом. Хрюша что-то кричал, лицо у него сияло, сверкали очки. Вопили птицы, разбежались зверюшки. Потом у Ральфа перехватило дух, звук сорвался, упал на октаву ниже, вот он споткнулся, ухнул и, прощуршав по воздуху, замер.

Рог умолк – немой, сверкающий бивень; лицо у Ральфа потемнело от натуги, а остров звенел от птичьего гомона, от криков эха.

– Его жуть как далеко слышать.

Ральф отдышался и выпустил целую очередь коротких гудочков.

Вдруг Хрюша заорал:

– Глянь-ка!

Среди пальм ярдах в ста по берегу показался ребенок. Это был светлый крепыш лет шести, одежда на нем была порвана, а личико перемазано фруктовой жижей. Он спустил штаны с очевидной целью и не успел как следует натянуть. Он спрыгнул с пальмовой террасы в песок, и штанишки сползли на шиколотки; он их перешагнул и затрусил к площадке. Хрюша помог ему вскарабкаться. А Ральф все дул, и уже в лесу слышались голоса. Мальчуган присел на карточки и снизу вверх блестящими глазами смотрел на Ральфа. Убедившись, что тот, очевидно, не просто так развлекается, а занят важным делом, он удовлетворенно сунул в рот большой палец – единственный оставшийся чистым.

Над ним склонился Хрюша:

– Тебя как звать?

– Джонни.

Хрюша пробормотал имя себе под нос, а потом прокричал Ральфу, но тот и бровью не повел, потому что все дул и дул. Он упивался мощью и роскошью извлекаемых звуков, лицо покраснелось, и рубашка трепыхалась над сердцем.

Крики из лесу приближались.

Берег ожил. Дрожа в горячих струях воздуха, он укрывал вдалеке множество фигурок; мальчики пробирались к площадке по каленому глухому песку. Трое малышей не старше Джонни оказались удивительно близко – объедались в лесу фруктами. Кто-то щуплый и темный, чуть помоложе Хрюши, выбрался из зарослей и залез на площадку, радостно всем улыбаясь. Шли еще и еще. По примеру простодушного Джонни садились на поваленные стволы и ждали, что же дальше. Ральф продолжал выпускать отдельные пронзительные гудки. Хрюша обходил толпу, спрашивал, как кого зовут, и морщился, запоминая. Дети отвечали ему с той же готовностью, как

отвечали взрослым с мегафонами. Кое-кто был голый – те держали одежду под мышкой, кто-то был полуодет, другие даже одеты, в школьных формах, серых, синих, коричневых – кто в свитерке, кто в курточке. Тут были эмблемы и даже девизы, полосатые гольфы, фуфаячки. Зеленая тень укрывала головы, головы русые, светлые, черные, рыжие, пепельные; они перешептывались, лепетали, они во все глаза глядели на Ральфа. Недоумевали. И ждали.

Дети парами и поодиночке показывались на берегу, выныривая из-за дрожащего марева. И тогда взгляд сначала притягивался к пляшущему на песке черному упырю и лишь затем поднимался выше и различал бегущего человека. Упыри были тени, сжатые отвесным солнцем в узкие лоскутья под торопливыми ногами. Ральф еще дул в рог, а к площадке над бьющимися черными лоскутьями уже неслись двое последних. Двое круглоголовых мальчиков с волосами, как пакля, повалились ничком и, улыбаясь и тяжело дыша, как два пса, смотрели на Ральфа. Они были близнецы и до того одинаковы, что в это забавное тождество просто не верилось. Дышали в лад, улыбались в лад, оба здоровые и коренастые. Губы у близнецов были влажные, на них будто не хватало кожи, и потому у обоих смазались контуры профиля и не закрывались рты. Хрюша склонился над ними, сверкая стеклами очков, и между кличами рога слышно было, как он заучивает имена:

– Эрик, Сэм, Эрик, Сэм.

Скоро он запутался; близнецы трясли головами и тыкали друг в друга пальцами под общий хохот.

Наконец Ральф перестал дуть и сел, держа рог в руке и уткнувшись подбородком в колени. Замерло эхо, а с ним вместе и смех, и настала тишина.

Из-за блестящего марева на берег выползло черное что-то. Ральф первый увидел это черное и не отрывал от него взгляда, пока все не посмотрели туда же. Но вот непонятное существо выбралось из-за миражной дымки, и сразу стало ясно, что чернота на сей раз не только от тени, но еще от одежды. Существо оказалось отрядом мальчиков, шагавших в ногу в две шеренги и странно, дико одетых. Шорты, рубашки и прочий скарб они несли под мышкой; но всех украшали черные квадратные шапочки с серебряными кокардами. От подбородка до щиколоток каждого укрывал черный плащ с длинным серебряным крестом по груди слева и наверху с треугольным жабо. От тропической жары, спуска, поисков пищи и вот этого потного перехода под палящим небом лица у них темно лоснились, как свежeproмытые сливы. Вожак отряда был облачен точно так же, только кокарда золотая. Ярдах в десяти от площадки его люди по команде встали, задыхаясь, обливаясь потом, качаясь под нещадными лучами. Сам он отделился от них, вспрыгнул

на площадку в разлетающемся плаще и со света шурился в почти непроглядную темень.

– Где человек с трубой?

Ральф догадался, что после солнца ему ничего не видно.

– Человека с трубой тут нет. Это всего лишь я.

Мальчик подошел к Ральфу вплотную, сверху глянул на него и скроил недовольную мину. Вид светловолосого мальчишки с кремовой раковинкой на коленях его, кажется, не впечатлил. Он сразу отвернулся, взмахнув черными полами.

– Значит, и корабля нет?

Под взметнувшимся плащом он был тощий, высокий, костлявый, из-под черной шапочки выбились рыжие волосы. Лицо, все в веснушках и складках, было противное, но не глупое. И на этом лице горели голубые глаза, в них металась досада и вот-вот могла вспыхнуть злость.

– Значит, взрослых нет?

Ральф ответил, уже ему в спину:

– У нас собрание. Присоединяйтесь.

Мальчики в плащах начали ломать строй. Высокий на них прикрикнул

– Хор! Стоять смирно!

Устало, покорно хористы снова втиснулись в строй и, покачиваясь, стояли на солнцепеке. Кое-кто все же отважился хныкать:

– Меридью... Ну, Меридью же, ну, можно мы...

А потом один хлопнулся ничком, и строй смешался. Упавшего взгромодили на площадку и положили. Меридью посмотрел на него пристально и не утратил выдержки.

– Ладно. Садитесь. А этот – ну его, пускай лежит.

– Но как же, Меридью...

– Он вечно в обморок падает, – сказал Меридью. – И в Аддис-Абебе, и в Гибралтаре. И на утреньях плюхался прямо на регента.

Последнее замечание вызвало смешки хористов, которые черными птицами на жердочках обсели поваленные стволы и не сводили глаз с Ральфа. У них Хрюша не стал спрашивать имена. Его устрасило ведомственное превосходство и уверенная начальственность в голосе Меридью. Он притаился за Ральфом и занялся своими очками.

Меридью снова повернулся к Ральфу.

– Значит, здесь нет ни единого взрослого?

– Ну да.

Меридью тоже сел и всех обвел глазами.

– Итак, самим надо выпутываться.

Хрюша из-за плеча у Ральфа позволил себе вставить:

– Поэтому Ральф и созвал сбор. Чтобы решить, чего нам делать. Мы пока что у всех спросили, кого как звать. Вот это Джонни. Эти двое, они близнецы, Сэм и Эрик. Кто Эрик? Ты? Нет, это Сэм...

– Я Сэм...

– А я Эрик.

– Я всем предлагаю познакомиться, – сказал Ральф. – Я, например, Ральф.

– Так мы ведь уже, – сказал Хрюша. – Мы же только что спрашивали.

– Мы не младенцы, – сказал Меридью. – С какой стати мне называться Джеком? Я – Меридью.

Ральф посмотрел на него искоса. Да, это был голос человека серьезного, который знает, чего он хочет.

– Потом этот, – Хрюша уже разогнался, – ой, я забыл...

– Ты чересчур много болтаешь, – сказал Джек Меридью. – Заткнись, Жирный.

Раздались смешки.

– Вообще он не Жирный, – крикнул Ральф, – его истинное имя – Хрюша!

– Хрюша!

– Хрюша!

– Ой, Хрюша!

Тут раздался настоящий взрыв хохота, хохотали все, даже самые маленькие. Смех вдруг сплотил мальчиков, и только Хрюша остался вне этого тесного дружеского кружка. Он залился краской, насупил и опять занялся очками.

Наконец смех замер и продолжалась переключка. Был тут Морис, второй в хоре по росту после Джека, но плотней; он все время улыбался. Был тощий дичок, которого никто не знал; погруженный в себя, он скрытно держался в сторонке. Пробормотал, что зовут его Роджер, и снова умолк. Билл, Роберт, Харольд, Генри; тот мальчик из хора, который упал в обморок, теперь сел, прислонясь к пальмовому стволу, бледно улынулся Ральфу и назвался Саймоном.

Потом Джек сказал:

– Надо решить, как нам спастись.

Пронесся гул голосов. Совсем маленький мальчик – Генри – объявил, что он хочет домой.

– Тише вы, – проговорил Ральф рассеянно. Он поднял рог. – По-моему, чтобы решать, сначала надо выбрать главного.

– Главного! Главного!

– Главным могу быть я, – без обиняков сказал Джек, – потому что я староста и я запеваю в церкви и до-диз могу взять.

Снова гул голосов.

– Ну и вот, – сказал Джек, – я...

Он запнулся. Черненький – Роджер – наконец-то расшевелился, он предложил.

– Давайте проголосуем.

– Ага!

– Голосуем за главного!

Выборы оказались забавой не хуже рога. Джек было начал спорить, но кругом уже не просто хотели главного, но кричали о выборах и чуть не все предлагали Ральфа. Никто не знал, почему именно его; что касается смекалки, то уж скорее ее проявил Хрюша, и роль вожака больше подходила Джеку. Но Ральф был такой спокойный, и еще высокий, и такое хорошее было у него лицо; но непостижимее всего и всего сильнее их убеждал рог. Тот, кто дул в него, а теперь спокойно сидел на площадке, держа на коленях эту хрупкую красивую штуку, был, конечно, не то что другие.

– Который с раковиной!

– Ральфа, Ральфа!

– Пусть с трубой будет главный!

Ральф поднял руку, прося тишины.

– Хорошо. Кто за Джека?

С унылой покорностью поднялись руки хористов.

– Кто за меня?

Руки всех, кто не в хоре, кроме Хрюшиной, тут же взлетели вверх. Хрюша посмотрел, подумал и тоже нехотя потянул руку.

Ральф посчитал:

– Значит, главный – я.

Все захлопали. Хлопал даже хор. Лицо у Джека вспыхнуло от досады, так что исчезли веснушки. Он дернулся, хотел встать, раздумал и снова сел под длящийся грохот рукоплесканий. Ральф смотрел на него, ища, чем бы его утешить.

– Хор, конечно, остается тебе.

– Пусть они будут солдаты!

– Или охотники!

– Нет, лучше пусть...

Веснушки вернулись на лицо Джека. Ральф помахал рукой, прося тишины.

– Джек отвечает за хор. Они будут – ну кто, как ты хочешь?

– Охотники.

Джек и Ральф улыбнулись друг другу с робкой симпатией. И все затрещали наперебой.

Джек встал.

– Ладно, хор. Можете разоблачаться.

Будто их распустили с урока, мальчики повскакивали с мест, загалдели, побросали на траву плащи. Свой Джек расстелил на пальме рядом с Ральфом. Его серые шорты прилипли к телу от пота. Ральф посмотрел на них восхищенно, и, перехватив этот взгляд, Джек объяснил:

– Я гору хотел перейти, поискать воду. А тут твоя раковина.

Ральф улыбнулся и поднял рог, требуя тишины.

– Слушайте, слушайте. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Я еще не решил с чего начинать. Если это не остров, нас сразу спасут. Так что надо разобраться, остров это или нет. Все остаются здесь. Никуда не расходиться. Мы втроем – больше не надо, только запутаемся и потеряемся, – мы втроем пойдем в разведку. Пойду я, Джек и... и...

Он обвел глазами круг возбужденных лиц. Пойти рвались все.

– И Саймон.

Вокруг Саймона захихикали, и он встал, посмеиваясь. Теперь, когда обморочная бледность прошла, он оказался маленьким, щуплым, живым и глядел из-под шапки прямых волос, черных и жестких.

Он кивнул Ральфу:

– Я пойду.

– И я...

Джек выхватил из-за спины большой охотничий нож и всадил в дерево. Поднялся и замер гул.

Хрюша разволновался:

– И я пойду.

Ральф повернулся к нему:

– Ты не годишься для этого дела.

– Все равно...

– Без тебя обойдемся, – отрезал Джек. – Трех вполне достаточно.

Хрюша сверкнул очками.

– Я с ним был, когда он рог нашел. Я с ним был самый первый.

Но его слова не встретили отклика ни у Джека, ни у прочих. Все уже расходились. Ральф, Джек и Саймон попрыгали с площадки и пошли по песку, мимо бухты. Хрюша увязался следом.

– Пусть Саймон идет посередке, – сказал Ральф. – И будем через его голову разговаривать.

Трое шли в ногу. То есть Саймону, чтоб не сбиться с шага, то и дело приходилось подтягиваться. Ральф в конце концов не выдержал и оглянулся на Хрюшу.

– Послушай-ка...

Джек и Саймон стыдливо отвели глаза. И пошли дальше.

– Ну, нельзя же тебе!

Очки у Хрюши опять затуманились – на сей раз от униженья.

– Ты им сказал. Я же просил.

Он был весь красный, и у него дрожали губы.

– Я же просил, чтоб не надо.

– Да про что это ты?

– Что меня Хрюша звать. Говорил же, как хотите зовите, только чтоб не Хрюша. Просил тебя, чтоб не надо, а ты взял и сказал.

Оба примолкли. Ральф начал понимать Хрюшу, он видел, как тот обижен и огорчен. Он колебался, извиняться ли ему перед Хрюшей или обидеть еще.

– Лучше уж Хрюша, чем Жирная, – заключил он наконец легко и откровенно, как подобает главенствующему. – Но все равно, если обиделся – прости. А теперь, Хрюша, вернись и займись именами. Делай свое дело. Ну, пока.

Повернулся и побежал догонять удалявшуюся парочку. Хрюша застыл, краска негодования медленно сползала со щек. И он побрел обратно, к площадке.

Трое мальчиков шли по песку веселыми шагами. Был отлив, и кромка закиданного водорослями берега тверда под ногами, почти как дорога. Какие-то чары опутали берег, опутали их, и, опутанные чарами, они ликовали. То и дело переглядывались, хохотали, говорили, не слушали. Все сияло кругом. Ральф, испытывая потребность подвести подо все разумную базу, встал с этой целью на голову и перекувырнулся. Когда отсмеялись, Саймон робко погладил его по руке. И снова им пришлось хохотать.

– Ну пошли, – сказал наконец Джек. – Мы же разведчики.

– Дойдем до конца острова, – сказал Ральф, – и посмотрим, что за углом.

– Если это остров...

Теперь, к вечеру, миражи постепенно рассеивались. Они нашли конец острова, не околдованный, четкий, ничем не прикидывающийся. Все то же было тут нагромождение угловатых форм, и большая глыба сидела отдельно, далеко в лагуне. Ее облепили морские птицы.

– Как сахарная корочка, – сказал Ральф, – на розовом торте.

– Тут за угол не завернешь, – сказал Джек. – Его и нет, все постепенно. И там не пройти – одни скалы.

Ральф из-под щитка ладони оглядел ломаный очерк скал, уходящих к горе. Кажется, отсюда было легче всего добраться до верха.

– Попробуем тут подняться, – сказал он. – Наверно, это самая легкая дорога. Меньше зарослей этих; одни розовые камни. Пошли.

Трое мальчиков стали карабкаться по склону. Какой-то непонятной силой выворотило и раскидало эти кубы так, что они громоздились косо, наползая друг на друга. Чаще всего розовый утес налезал на скошенную глыбу, та налезала на другую, а та на следующую, все выше, так что розовость прибавалась ровными уступами сквозь петлистый бред лиан. Там, где утес

вставал прямо из земли, часто тоненько убегала вверх тропка. И они шли боком по этим тропкам, лицом к скалам, все дальше, углубляясь в растительное царство.

– Кто проложил эти тропки?

Джек остановился, вытер пот со лба. Ральф, задыхаясь, стоял рядом.

– Люди?

Джек покачал головой:

– Животные.

Ральф вглядывался во тьму под деревьями. Лес легонько подрагивал.

– Пошли.

Они одолевали кручу, огибая скалы, но куда трудней было продираться по зарослям, чтоб снова напасть на тропку. Ползучие стволы и корни лиан так сплелись, что мальчики еле сквозь них прорубались. Не сбиться с подъема помогали только лоскутья темной земли, редкие просветы неба в листве и еще само направление склона: выше ли или нет лаз, оплетенный витками лиан, чем тот, который они только что одолели.

И все-таки они поднимались.

Наглухо замурованный в зарослях, чуть не в самые трудные минуты, Ральф, сияя, оборачивался к остальным:

– Грандиозно!

– Колосса-а-а!

– Потряса-а-а!

Причина для такого восторга была не вполне очевидна. Все трое замучились, перепачкались, запарились. Ральф страшно расцарапался. Лианы были толщиной с их ляжки и оставляли только узкие туннели для прохода. Ральф ради опыта крикнул, и они вслушались в глухое эхо.

– Настоящая разведка, – сказал Джек. – Тут никто еще не был. Я уверен.

– Надо бы карту начертить, – сказал Ральф. – Только вот бумаги у нас нет.

– Можно по коре корябать, – сказал Саймон. – И что-нибудь черное втирать.

И снова обмен торжествующими, сияющими в сумраке взглядами.

– Высший класс!

– Грандиозно!

– Фантастика!

Становиться на голову здесь было неудобно. На сей раз Ральф выразил силу чувств, прикинувшись, будто хочет спихнуть вниз Саймона, и вот уже оба катались в жидкой полутьме веселым клубком.

Когда они отвалились друг от друга, Ральф первый очнулся:

– Ну, надо идти.

Лианы чуть подались от следующего утеса, и разведчики затрусили по тропке. Она выбежала в разреженный лес, и за стволами сквозило

раскинувшееся внизу море. Стало солнечно; солнце сушило пот, пропитавший одежду в темной, сырой жаре. К вершине теперь вели только голые розовые скалы, и больше не приходилось нырять во тьму. Мальчики пробирались по ущельям и колкой осыпи.

– Осторожно!

В этой части остров протягивал к небесам редкие зубья своего каменного гребня. Они задели зубец, на который оперся Джек, и он вдруг со скрежетом шелохнулся.

– Вперед!

Но вершина недоступна. Перед штурмом ее троем мальчикам надо одолеть препятствие. Этот острый камень размерами не меньше машины.

– Раз-два, взяли!

Ну-ка, навались, ухватись, – раз, дружно, вместе – э-эх!

– Взяти!

Раскачали его, так, так-так-так, раскачали, раскачали, больше, шире, еще, еще, еще, та-ак...

– Взяти!

Камень дрогнул, качнулся, накренился, повременил, решил не возвращаться, двинулся вбок, рухнул, перевернулся и загрохотал вниз, вспарывая лесной покров. Всполошились птицы, эхо, взмыла белая, розовая туча, деревья внизу затряслись, будто перепуганные бешеным чудищем. И все стихло.

– Мощно!

– Как бомба!

– Колосса-а-а!

Целых пять минут они не могли оправиться после своей победы. Но наконец сдвинулись с места.

После этого вершину взять уже были пустяки. На последнем подступе Ральф вдруг замер.

– Вот это да!

Мальчики стали на краю воронки на склоне. Она поросла какой-то горной растительностью, синими цветами. Они буйно затопляли воронку и разливались, растекались по лесу. Все пестрело бабочками, они носились, бились, металась.

Сразу за воронкой были розовые глыбы, была вершина, и вот они на нее взобрались.

Они и раньше догадывались, что это остров. Пробираясь среди розовых скал, обложенные морем и сверкающей высью, они каким-то чутьем понимали, что море их окружает повсюду. И все же последние выводы они приберегали до той минуты, когда окажутся наверху и им откроется водная синь по всему кругу горизонта.

Ральф повернулся к друзьям:

– Это наш остров.

Он был похож на корабль, вздыбился с этого края и за их спинами круто обрывался к морю. По бокам – скалы, скаты, верхушки деревьев и кручи, а впереди, вдоль корабля, отлого спускались леса в розовых прошивах – вниз, в густо-зеленые плоские джунгли, вдруг сводившиеся в розовый хвостик. И там уж остров таял в воде, и был еще островок, только скала, как форт, и форт смотрел на них из-за зелени крутым розовым бастионом.

Мальчики оглядели все это, потом перевели взгляд дальше, в море. Они были высоко, и уже наступал вечер; вид уже не размазывался, не заслонялся миражной пленкой.

– Это риф. Коралловый риф. Я картинки такие видел.

Риф окаймлял остров с одного бока и еще загибался и шел примерно в расстоянии мили вдоль того берега, который они уже считали своим. Он был широко набросан по сини, будто великан наклонился с розовым мелком, хотел было обвести остров беглой, летучей чертой, но вдруг задумался, да так и не кончил. По эту сторону рифа была переливчатая вода, и все камни и водоросли видны, как в аквариуме; дальше стлалось темное море. Был отлив, от рифа туго и медленно растекались полосы пены, и на минуту им показалось, что корабль ровно движется кормой вперед.

Джек показал вниз:

– Мы во-он там высадились.

За утесами и увалами лес прорезала глубокая рана – там были покалечены стволы, и дальше проехала широкая борозда, оставив только бахромку пальм у самой лагуны. Там же выдавалась в лагуну площадка, вокруг которой муравьями сновали фигурки.

Ральф, волнообразно помахав рукой, показал путь с того места, где они стояли, вниз, мимо воронки, мимо цветов, и кругом, к той скале, возле которой начиналась просека.

– Так мы быстрее всего назад доберемся.

Блестя глазами, открыв рты, сияя, они смаковали свои хозяйские права. Головы кружила высота, кружила дружба.

– Тут нет ни дыма, ни лодок, – трезво рассудил Ральф, – после проверим точней. Но по-моему, он необитаемый.

– Мы будем добывать себе пищу, – крикнул Джек, – охотиться, ловить... пока нас не подберут.

Саймон переводил глаза с одного на другого, молчал и все кивал, так что металась черная грива. У него горело лицо.

Ральф посмотрел на другой склон, где не было рифа.

– Тут еще круче, – сказал Джек.

Ральф сложил ладони, как бы что-то зачерпывая.

– Там лес... гора его вот так держит.

По всем торцам горы были деревья, цветы и деревья. Вот лес всколыхнулся, забился, загудел. Вздохнули и оттрепетали цветы, и лица мальчиков охладил ветерок.

Ральф раскинул руки:

– Все это наше.

Они захохотали, затопали, еще подразнили гору криками.

– Я есть хочу.

Как только Саймон упомянул о своем голоде, и другие сразу сообразили, что проголодались.

– Ну пошли, – сказал Ральф. – Мы узнали все, что хотели.

Они стали спускаться, нырнули в цветочные заросли, прошли под деревьями. Потом остановились, с любопытством рассматривая кусты вокруг.

Саймон заговорил первый:

– Как свечи. Кусты в свечах. Это такие почки.

Кусты были темные, вечнозеленые, сильно пахли и тянули вверх, к свету, зеленые восковые свечи. Джек ударил по одной свече ножом, и из нее хлынул острый запах.

– Почки как свечи.

– Их не зажигают, – сказал Ральф. – Они только так, похожи на свечи.

– Зеленые свечи, – скривился Джек. – Есть их не будешь. Ну, пошли.

Они уже углублялись в чащу, шлепая усталыми ногами, когда услышали звуки – визг и частый стук копыт. Они кинулись на визг, а он все взвизывался, становился неистовым. Они увидели застрявшего в занавесе лиан поросенка, он рвался из упругих пуг, трепыхался и бился. Полоумный, дерущий визг был надсажен ужасом. Мальчики бросились вперед, Джек снова выхватил сверкающий нож. Он уже занес руку. Но тут наступила пауза, заминка, только свинья все визжала, и лианы тряслись, и все сверкало в тощей руке нож. Но вот свинья вырвалась и метнулась в чащу. Они смотрели друг на друга и на то страшное место. Лицо у Джека побелело под веснушками. Он спохватился, что все еще держит поднятый нож, опустил руку и сунул его в ножны. Все трое сконфуженно рассмеялись и стали подниматься обратно на тропку.

– Я примерялся, – сказал Джек. – Я как раз выжидал момент.

– Надо было заколоть, – выпалил Ральф. – Я точно знаю, их закалывают.

– Нет, им надо горло перерезать и выпустить кровь, – сказал Джек. – А то мясо есть нельзя.

– Так чего же ты...

Они прекрасно знали, чего же. Из-за того, что даже представить себе нельзя, как нож врезается в живое тело, из-за того, что вид пролитой крови

непереносим.

– Я хотел, – сказал Джек. Он шел впереди, и они не видели его лица. – Я примерялся. Ну, уж в следующий раз...

Он выхватил нож и всадил его в дерево. Уж в следующий раз пощады не будет. Он оглянулся вызывающе – не угодно ли, мол, поспорить. Но тут они вышли на солнце и занялись добыванием и поглощением пищи, пока спускались просекой, к площадке, опять созывать собрание.

ГЛАВА ВТОРАя

ОГОНЬ НА ГОРЕ

Когда Ральф перестал дуть в рог, все уже толпились на площадке. Это собрание было не похоже на утреннее. Заходящее солнце косо падало теперь с другой стороны, и мальчики, слишком поздно ощутив боль от ожогов, натянули одежду. Хористы, в явственном меньшинстве, снимали плащи.

Ральф сидел на поваленном стволе, солнце приходилось ему слева. Справа от него размещался почти весь хор; слева – те из старших, кто не знал друг друга до эвакуации; перед ним, на корточках, сидели в траве детишки.

Все примолкли. Ральф положил к себе на колени розово-кремовую раковину. По площадке, закидав ее зайчиками, пробежал ветерок. Ральф колебался – встать ли ему или говорить сидя. Он искоса глянул влево, в сторону бухты. Хрюша сидел рядышком, но на выручку не пришел.

Ральф откашлялся:

– Ну вот...

И вдруг, сразу, он понял, что сейчас он прекрасно им все расскажет и объяснит. Он провел рукой по светлым волосам и начал:

– Мы на острове. Мы поднимались на гору и видели – повсюду, кругом вода. Мы не обнаружили ни домов, ни дыма, ни следов, ни людей, ни лодок. Мы на необитаемом острове, и больше здесь никого нет.

Джек перебил:

– Но все равно армия нам потребуется. Для охоты. Охотиться на свиней...

– Да, на острове водятся свиньи.

Всем троим захотелось, чтоб все себе представили, как розовое, живое билось тогда в лианах.

– Смотрим, стоит...

– Визжит...

– Она от нас как бросится...

– Я не успел ударить... Но уж в следующий раз!..

Джек вонзил нож в дерево и с вызовом огляделся.

Все снова затихли.

– Ну вот, – сказал Ральф, – охотники нам потребуются, чтобы добывать мясо. И еще одно.

Он поднял раковину и обвел взглядом обожженные лица.

– Взрослых здесь нет... Мы все должны решать сами.

По собранию прошелся и замер гул.

– И еще. Нельзя всем говорить сразу. Надо сначала поднять руку, как в школе.

Держа раковину у рта, он водил глазами поверх раструба.

– И тому, кто поднимет руку, я даю рог.

– Рог?

– Ну да, так эта раковина называется. Я даю рог тому, кто хочет говорить.

И пока говоришь – надо держать его в руках.

– Но ведь же...

– А как же...

– И перебивать нельзя. Никому. Кроме меня.

Джек вскочил.

– У нас будут правила, – крикнул он вдохновенно. – Много всяких правил. А кто их будет нарушать...

– Ур-ра!

– Точно!

– Грандиозно!

– Классно!

Тут кто-то отобрал рог у Ральфа. Хрюша. Он покачал на руках большую розовую раковину, и крики улеглись. Джек, не садясь, вопросительно глянул на Ральфа, но тот только улыбался и постукивал ладошкой по дереву. Джек сел. Хрюша снял очки и мигал, вытирая их о рубашку.

– Вы Ральфу говорить не даете. Не даете самое важное сказать.

Он помолчал со значением.

– Ну – вот кто знает, что мы тут? А?

– На аэродроме знают.

– Тот, с мегафоном...

– Мой папа.

Хрюша надел очки.

– Никто не знает, что мы тут, – сказал Хрюша. Он побледнел и задышался.

– Может, они и знали, куда нас везут, а может, даже и нет. Но никто не знает, что мы тут, потому что сюда нас не везли. – Он глотнул воздух, качнулся и сел. Ральф отобрал у него рог.

– Вот это я и хотел сказать, – заключил он, – а вы, вы... – Он обвел глазами напряженные лица. – Самолет сбили, он сгорел. Никто не знает, где

мы. Может, мы тут еще долго пробудем.

Тишина была полная, только слышно, как сопит и задыхается Хрюша. Косое солнце залило золотом половину площадки. Ветер, резво носившийся по лагуне, как котенок в погоне за собственным хвостиком, теперь пробирался через площадку, к лесу. Ральф откинул со лба светлую путаницу волос.

– Может, мы тут еще долго пробудем.

Все молчали. Вдруг он просиял улыбкой:

– Но великолепный же остров. Мы – Джек, Саймон и я, – мы забирались на гору. Колоссально! Тут и еда есть, и вода, и...

– и скалы...

– и синие цветы...

Хрюша, несколько оправившийся, показал на рог в руках у Ральфа, и Джек с Саймоном осеклись. Ральф продолжал:

– Пока нас спасут, мы тут отлично проведем время.

Он широко раскинул руки.

– Как в книжке!

Тут все закричали наперебой:

– «Остров сокровищ!»

– «Ласточки и амазонки»!

– «Коралловый остров»!

Ральф помахал рогом:

– Остров – наш! Потрясающий остров. Пока взрослые не приедут за нами, нам будет весело!

Джек потянулся за рогом.

– Тут водятся свиньи, – сказал он. – Еда обеспечена. Купаться можно в той бухте. И вообще. Кто еще что-нибудь обнаружил?

Он вернул Ральфу рог и сел. Очевидно, больше никто не обнаружил ничего.

Старшие заметили мальчугана, уже когда он стал отбиваться. Малыши выталкивали его на середину, и он упирался. Он был шупленький, лет шести, и багровое родимое пятно скрывало у него пол-лица. Вот он встал, сжавшись под пересечением взглядов, ввинчивая в жесткую траву носок ботинка. Он что-то мямлил и чуть не плакал.

Другие малыши, важно перешептываясь, подталкивали его к Ральфу.

– Ну ладно, – сказал Ральф. – Говори же.

Малыш затравленно озирался.

– Говори!

Малыш потянулся за рогом, и все покатались со смеху. Тогда он отдернул руку и зарыдал.

– Дайте ему рог! – крикнул Хрюша. – Пусть возьмет!

Ральф наконец вручил малышу рог, но порывом общего веселья у того уже унесло последние остатки решимости, и он лишился голоса. Хрюша стал рядом на колени, держа перед ним огромную раковину, и начал переводить собранию его речь.

– Он хочет знать, чего вы со змеем делать будете.

Ральф засмеялся, и его смех подхватили все. Малыш еще больше сжался.

– Ну, расскажи нам про змея.

– А теперь он уже говорит, это зверь.

– Зверь?

– Змей. Большущий. Он сам видел.

– Где?

– В лесу.

Неприкаянным ли ветром, оттого ли, что низилось солнце, под деревья занесло холодок. Мальчики беспокойно поежились.

– На таких маленьких островах не бывает зверей и змеев, – терпеливо растолковывал Ральф. – Они водятся только в больших странах, в Африке, например, или в Индии.

Гул голосов, и важное киванье головами.

– Он говорит, зверь выходит, когда темно.

– А как же он тогда его разглядел?

Смех, хлопки.

– Слыхали? Он, оказывается, в темноте видит!

– Нет, он говорит, он правда видел зверя. Он пришел, исчез и еще вернулся, и он хотел его съесть...

– Это ему приснилось.

Ральф засмеялся и взглядом поискал сочувствия на лицах вокруг. Старшие явственно с ним соглашались, но среди малышей замечалось сомнение, не победенное разумной твердостью Ральфа.

– Возможно, у него был кошмар. После того как он облианы спотыкался.

Снова они с готовностью закивали. Про кошмары им было известно.

– Он говорит, видел зверя, змея, и спрашивает, он вернется или нет.

– Да нет никакого зверя!

– Он говорит, утром змей превратился в канат, как которые тут висят по деревьям. Он спрашивает, зверь вернется или нет?

– Да нет же никакого зверя!

На сей раз уже не смеялся никто, все строго глядели на Ральфа. Ральф запустил обе пятерни себе в волосы и рассматривал малыша с интересом, с отчаянием.

Джек выхватил у него рог.

– Ральф совершенно прав. Никакого змея нет. Ну, а если и есть тут змея, мы ее изловим и уничтожим. Мы будем охотиться на свиней и для всех

добывать мясо. А заодно уж и насчет змеи проверим.

– Но нет же тут змей!

– Вот пойдем охотиться и точно проверим!

Ральф почувствовал досаду и на минуту – беспомощность. Тут было что-то, с чем он не мог совладать. Обращенные к нему взгляды были совершенно серьезны.

– Но нет же тут никакого зверя!

И зачем-то, он сам не понял зачем, он еще раз выкрикнул громко, с вызовом:

– Сказано вам, никакого зверя тут нет!

Все молчали.

Ральф поднял рог. Ему сразу стало веселей от одной мысли о том, что он сейчас собирался сказать.

– А теперь – самое главное. Я все думал. Думал, пока мы на гору лезли. – Он послал заговорщическую улыбку Джеку и Саймону. – И когда спустились. Вот что я думал. Мы хотим как следует поиграть. И мы хотим, чтоб нас спасли.

Буря одобрения накрыла его волной и сбила с мысли. Он снова подумал.

– Мы хотим, чтоб нас спасли. И нас, конечно, спасут.

Поднялся веселый говор. Мало же им оказалось надо для радости – голое, не подкрепленное ничем утверждение, – такой теперь был у Ральфа авторитет. Снова ему пришлось помахать рогом, чтобы призвать их к порядку.

– Мой отец служит во флоте. Он говорит, не открытых островов совсем не осталось. Он говорит, у королевы есть большая такая комната, и в ней множество карт, и на них острова всего мира. Значит, есть у королевы и наш остров на карте.

Снова гул веселых, довольных голосов.

– И рано или поздно сюда пошлют корабль. Может, даже пошлют моего папу. Так что рано или поздно нас спасут.

Он сказал что хотел и умолк. Он их успокоил. Он им сразу понравился, и вот теперь они поверили в него. Кто-то захлопал, и сразу вся площадка огласилась аплодисментами. Ральф вспыхнул, искоса заметил открытое обожание в глазах у Хрюши, потом глянул вправо, туда, где ухмылялся и тоже хлопал подчеркнуто Джек.

Ральф помахал рогом.

– Тише вы! Погодите же! Слушайте!

И он продолжал уже в тишине, окрыленный успехом:

– А теперь еще одно. Надо помочь тем, кто будет нас спасать. А то корабль, даже если и подойдет близко к острову, нас все равно не заметит. Значит, надо, чтоб на горе был дымок. Надо разжечь костер.

– Костер! Костер!

Мальчики вскакивали на ноги. Джек кричал и командовал. Про рог позабыли.

– Пошли! Все за мной!

Под пальмами засуетились, зашумели. Ральф тоже вскочил, он призывал к порядку, его никто не слышал. Толпа колыхнулась прочь от берега, и вот все ушли – за Джеком. Даже самые маленькие старательно продирались по переломанным веткам и сучьям. Все бросили Ральфа с рогом в руках. Остался один Хрюша.

Хрюша дышал уже ровно.

– Ну, прямо как дети малые, – сказал он уничижительно, – как грудные!

Ральф оглядел его с сомнением и положил рог на поваленный ствол.

– Небось уже время чай пить, – сказал Хрюша. – И чего им делать-то на этой горе?

Он почтительно погладил раковину, но тотчас рука его замерла, и он поднял глаза.

– Ральф! Эй! Куда же ты?

Ральф перелезал через первые поваленные стволы. Хохот и треск были уже далеко.

Хрюша проводил Ральфа негодующим взглядом.

– Как дети малые!

Он вздохнул, нагнулся зашнуровать ботинки. Шум заблудшего собрания замирал на горе. Тогда с мученическим видом родителя, вынужденного потакать нелепой выходке отпрысков, он подобрал рог, направился к лесу и стал пробираться по просеке.

По другую сторону от вершины был лесистый уступ. Ральф снова сделал тот же жест, словно зачерпывал что-то.

– Вон там дров для костра сколько угодно.

Джек кивнул и ущипнул себя за нижнюю губу. Всего футах в ста пониже, после крутого склона, лежал будто бы специально под топливо отведенный участок. Мокрой жарой деревья толкало в рост, но на хилом слое почвы они не заживались, рано валялись и гнили. Их обнимали лианы, сквозь них пробивались новые ростки.

Джек обернулся к ждущим приказаний хористам. Черные квадратные шапочки, как береты, съехали у них набекрень.

– Костер складывать. Быстро.

Они легко добрались до валежника по удобной тропке, стали дергать его и растаскивать. Самые маленькие, достигнув вершины, скатывались сюда же, так что скоро все, кроме Хрюши, были заняты делом. Валежник попался

такой гнилой, что, стоило его тронуть, обдавал душем трухи, осыпью мокриц, но встречались и целые стволы. Близнецы Эрик и Сэм первые выискали подходящее дерево, но беспомощно топтались около, пока Ральф, Джек, Саймон, Роджер и Морис не сумели за него ухватиться. Все вместе они взволокли нелепую мертвую орясину наверх и там сбросили. Каждая группка вносила свою лепту, и понемногу костер вырастал. В очередной раз наведавшись вниз, Ральф увидел, что вокруг никого, что они держатся за деревцо вдвоем с Джеком, и они улыбнулись друг другу, и опять поверх ветра, и крика, и поверх ослабевших лучей гору опутали чары, и тот же опять ее поволакивал странный, неприметный глазу свет дружбы, совместности и приключений.

– Да, тяжеловато.

Джек просиял в ответ.

– Ну нам-то с тобой это пара пустяков.

Вместе, в согласном усилии, качаясь, они одолели кручу. Вместе протянули – раз – два – три! – швырнули свою ношу на уже высокий костер. Отступили, хохоча оттого, что так ловко справились со сложной задачей, и Ральфу тут же пришлось встать на голову. Кое-кто еще копошился возле костра, кое-кому из малышей уже наскучил труд, и они рыскали по этому новому лесу в поисках фруктов. Близнецы с неожиданной распорядительностью принесли охапки сухой листвы и ссыпали в костер. Один за другим мальчики обнаруживали, что все готово, что дров больше не требуется, и оставались наверху, среди раскиданных розовых глыб. Все уже отдышались, и на лицах высыхал пот.

Но вот наступила напряженная тишина, и Ральф с Джеком переглянулись. Оба пришли к постыдному открытию и не знали, как в этом признаться.

Ральф багрово покраснел и выдавил первый:

– Ну...

Он откашлялся и снова решился.

– Ну, теперь его надо зажечь, а?

Больше нельзя было таить нелепость положения, и Джек тоже покраснел. Забормотал что-то невнятное:

– Можно деревяшки тереть одну об другую. Одну об другую...

Он глянул на Ральфа, и у того вырвалось окончательным и жалким признанием:

– Спички у кого-нибудь есть?

– Надо лук, и стрелу на нем крутить, – сказал Роджер. Он потер руку об руку, изображая, как это делается – джж! джж!

Над горой пронесся легкий ветерок. И вместе с ним явился Хрюша, в рубашке и шортах, он с трудом пробирался по зарослям, и вечернее солнце полыхало в его очках. Он нес под мышкой рог.

Ральф крикнул:

– Хрюша! У тебя спичек нет?

Вопрос подхватили, и эхо зашлось от крика.

Хрюша покачал головой и подошел к костру.

– Ого! Постарались! Ничего себе кучка!

И вдруг Джек догадался:

– Хрюшины очки! Это же зажигательные стекла!

Хрюша не успел отпрянуть. Его обступили.

– Ой, пустите, – взвизгнул он в ужасе, когда Джек сдернул с него очки. – Слышь-ка! Отдай! Мне ж ничего не видать! Ой! Рог разобьете!

Ральф оттеснил его локтем и встал на коленки возле костра.

– Отойдите, свет заслоняете!

Все стали толкаться и лезть к Ральфу с советами. Ральф двигал стекла и так и сяк, пока густой белый отпечаток закатного солнца не лег на рыхлое дерево. Почти тотчас вверх потянулась тонкая дымная струйка, и он закашлялся. Джек тоже встал на коленки, легонько подул на дымок, и он сломался, отклонился, утолщился, показал язычок пламени. Пламя, сперва едва видное на ярком свете, захватило первый сучок, налилось цветом, разбежалось, прыгнуло на ветку побольше, и та занялась с громким треском. Пламя взметнулось вверх, и мальчики восторженно ахнули.

– Мои очки! – изнемогал Хрюша. – Отдайте мои очки!

Ральф встал, отошел от костра и сунул очки в беспомощно шарившую Хрюшину руку. Тот уже едва слышно лепетал:

– Все расплывается. Аж руку не видать...

Кое-кто пустился в пляс. Валежник был такой сухой и трухлявый, что большие сучья сдавались неистово желтым космам огня, те взвивались вверх и там, в двадцатифутовой высоте, бились рыжей гривой. Жар обжигал, ветер потоком отвевал в сторону искры. И белой пылью осыпались стволы.

Ральф крикнул:

– Еще дров! Все за дровами!

Взапуски с огнем, чтоб не успел, не погас, мальчики бросились за валежником. Пусть бы чистая пелена пламени плыла сейчас над горой – а дальше они не загадывали. Даже самые маленькие, если не отвлекались фруктами, несли щепочки и подбрасывали в огонь. Воздух дрожал, волновался, и теперь уже ясно различались наветренная и подветренная стороны. С одной стороны было прохладно, а в другую костер бешено махал жарким крылом, в секунду пружинкой завивая волосы у тех, кто зазевался. Попадая в прохладную струю, мальчики жадно подставляли ей потные лица, но, насладясь свежестью, тотчас чувствовали изнеможение и валялись в тень, возле разбросанных скал. Пламя быстро убывало, потом, осыпая тихие

вздохи, костер сел, и только огненный куст взметнулся вверх, изогнулся и заструился ветвями по ветру. Все дышали тяжело, как псы.

Ральф приподнял голову, которую прятал под мышкой.

– Нет, ничего не выходит.

Роджер ловко, со знанием дела сплюнул на горячую золу.

– Это почему?

– Дыма-то не было. Один огонь.

Хрюша приткнулся к ребристому стыку двух скал и держал на коленях рог.

– Мы костер-то как следует не разожгли, – сказал он. – Это ж без толку. Такой костер не удержишь, как ни старайся.

– Ты уж особенно старался, – сказал Джек презрительно. – Сложив руки сидел.

– Мы взяли у него очки, – сказал Саймон. Он тер плечом черную щеку. – Значит, он тоже участвовал.

– У меня рог! – возмутился Хрюша. – Дайте слово сказать!

– На вершине горы рог не считается, – сказал Джек. – Так что заткнись.

– У меня в руках рог!

– Надо туда зеленых веток положить, – сказал Морис. – Их кладут для дыма!

– Рог у меня!

Джек в ярости обернулся:

– А ну заткнись!

Хрюша увял. Ральф взял у него рог и обвел всех взглядом.

– Кто-то должен специально следить за костром. В любой день может прийти корабль, – он повел рукой вдоль тугой струны горизонта, – и, если у нас всегда будет сигнал, нас заметят и спасут. И потом. Нам нужно еще одно правило. Где рог, там и собрание. И все равно – внизу это или наверху.

С этим все согласились. Хрюша открыл было рот, встретился взглядом с Джеком и осекся. Джек потянулся за рогом и встал, осторожно держа хрупкий предмет в закопченных ладонях.

– Ральф совершенно верно говорит. Нам нужны правила, и мы должны им подчиняться. Мы не дикари какие-нибудь. Мы англичане. А англичане всегда и везде лучше всех. Значит, надо вести себя как следует.

Он обернулся к Ральфу.

– Ральф, я разделю хор – то есть моих охотников – на смены, и мы будем отвечать за то, чтоб костер всегда горел.

Его великодушие стяжало редкие хлопки, Джек ослабил и, призывая к тишине, помахал рогом.

– Сейчас-то зачем ему гореть? Ночью кто дым увидит? Снова зажжем, когда захотим. Альты – вы отвечаете за костер эту неделю. А вы, дисканты, –

следующую.

Все важно закивали.

– И еще – мы будем наблюдать за морем. Как только увидим корабль, – все проводили глазами взмах тощей руки, – подбавим зеленых веток. И сразу станет больше дыма.

Они пристально вглядывались в густую синь горизонта, будто вот-вот там появится крохотный силуэт.

Солнце на западе горячей золотой каплей стекало все ниже и ниже, нацелясь за порог мира. И вдруг стало ясно, что уже вечер и конец теплу и свету.

Роджер взял рог и обвел всех пасмурным взглядом.

– Я на море и так все смотрю. Нет тут никаких кораблей. Может, нас и не спасут вовсе.

Поднялся и затих ропот. Ральф отобрал у Роджера рог.

– Я уже сказал – нас спасут. Просто надо подождать. Вот и все.

Расхрабрившись, кипя, рог схватил оскорбленный Хрюша.

– А я что говорил! Я же говорил насчет порядка, я говорил, а мне – «заткнись»!

Голос взвился, надсаженный благородным негодованьем. На него уже шикали кругом.

– Сказали, костер нужно маленький, а какую скирду навалили. Только я рот раскрою, – стонал верный горькой правде Хрюша, – мне сразу «заткнись», а когда Джек, или Морис, или Саймон...

Он запнулся на пронзительной ноте и застыл, глядя вверх голов, вдоль чужого склона горы, туда, где собирали валежник. Потом расхохотался, до того странно, что все притихли, недоуменно разглядывая сверкающие окуляры. И проследив за его взглядом, нашли источник этой мрачной веселости.

– Вот вам и маленький костер!

Дым курился там и сям среди лиан, увивавших мертвые и гибнущие деревья. На глазах у детей дымную кудель в одном месте вдруг тронуло огнем и она уплотнилась. Тонкие ленты огня поползли по комлю, разбежались по листве и кустам, множились, разрастались. Пламя задело древесный ствол, вспорхнуло на него яркой белкой. Дым рос, слоился, клубился, раскатывался. Белка на крыльях ветра перенеслась на другое стоячее дерево, стала поедать его с верхушки. Под темным покровом дыма и листвы огонь подкрался, завладел лесом и теперь остервенело его грыз. Акры черного и рыжего дыма упрямо валили к морю. Глядя на неодолимо катящее пламя, мальчики пронзительно, радостно завизжали. Огонь, будто он живой и дикий, пополз, как ползет на брюхе ягуар, к молодой, похожей на березовую поросли, опушившей розоватую наготу скал. Он набросился на

первое попавшееся дерево, мгновенно изукрасил его пылающей листвой. Потом проворно прыгнул на следующее и тотчас запылился, качая их уже строем. Под тем местом, где ликовали мальчики, лес на четверть мили кругом бесновался в дыму и пламени. Треск огня дружно ударял в уши барабанным боем, и гору от него будто бросало в дрожь.

– Вот вам и маленький костер!

Ральф с испугом замечал, как один за другим все стихают, охваченные жутью перед разбушевавшейся у них на глазах силой. Поняв, что жутко и ему, он вдруг вышел из себя:

– Да заткнись ты!

– У меня рог, – сказал Хрюша обиженно. – Я имею право говорить.

На него смотрели пустыми взглядами, вслушиваясь в барабанный бой пламени. Хрюша тревожно заглянул в ад и покачал на руках рог.

– Теперь уж пускай горит. А ведь это наше топливо было. – Он облизнул губы. – Чего ж тут сделаешь. Надо было поосторожней. Я боюсь...

Джек с трудом оторвал взгляд от огня:

– А ты вечно боис-си. Жирный!

– У меня рог, – уныло пролепетал Хрюша. Он повернулся к Ральфу. – У меня рог, да ведь, Ральф?

Ральф нехотя отвернулся от пышного, жуткого зрелища:

– Ну, чего ты?

– У меня рог. Я имею право говорить.

Близнецы в один голос хихикнули:

– Дыма захотели... Вот вам и дым...

Далеко-далеко, за горизонт, расплывалась дымная туча. Хихикали уже все, кроме Хрюши; просто покатывались со смеху.

Хрюша не выдержал.

– У меня рог! Слышите вы? Перво-наперво надо было что? На берегу шалаша построить. Тут ночью-то ужас как холодно. А вы же чего? Только Ральф сказал про костер – сразу орать и – на гору дунули. Как дети малые!

Наконец его тираду стали слушать.

– Вот вы хотите, чтоб нас спасли, а сами чего сперва делать не знаете и ведете себя как не надо.

Он снял очки и хотел было положить рог, но, увидев, как к нему потянулось сразу множество рук, передумал. Сунул раковину под мышку и снова уселся.

– И костерище разложили зачем-то незнамо какой. Весь остров подпалили. Хороши мы будем, если весь остров сгорит. Будем кушать печеные фрукты да свинину жареную. И ничего смешного! Сами Ральфа выбрали, а подумать ему не даете. А только он чего скажет, разбегайтесь, как, как...

Он остановился перевести дух, и на них зарычало пламя.

– Это еще что. А детишки-то. Малыши. Кто за ними доглядает? Кто скажет, сколько их у нас?

Ральф вдруг шагнул к нему.

– Я же тебе велел. Я велел тебе список составить.

– А как? – орал в неистовстве Хрюша. – Один-то я – как? Они две минутки посидели и в море посигали, по лесу разбежались, все подевались куда-то. Откуда ж я разберусь-то, который кто?

Ральф провел языком по белым губам.

– Значит, ты не знаешь, сколько нас тут должно быть?

– Да откуда же, они же ведь как букашки бегают. А как вы вернулись трое, и ты сказал – огонь разводить, все побегли, и я даже...

– Ну, хватит! – оборвал Ральф и выхватил у него рог. – На нет и суда нет.

– А потом вы мои очки захапали...

Джек глянул на него:

– Заткнись!

– ...а малыши, они же там, где огонь, бегали. Может, они и сейчас еще там, откуда вы знаете?

Хрюша, вскочив, показывал на дым и пламя. Шепот пронесся и замер. Что-то делалось с Хрюшей, что-то странное, он задыхался.

– Вот тот малыш, – задыхался Хрюша, – тот, который на лице с меткой, я не вижу его. Где он?

Все молчали, как мертвые.

– Который про змей говорил. Он был вон там...

В огне бомбой взорвалось дерево. Обмотки лиан взметнулись, корчась, и сразу опали. Малыши завизжали:

– Змеи! Смотрите! Змеи!

На западе всего в дюйме от моря висело забытое солнце. Лица снизу подсвечивались красным. Хрюша привалился к скале и вцепился в нее обеими руками.

– Малыш, который с меткой... на лице... куда он... подевался? Сказано вам – я его не вижу!

Мальчики переглядывались в страхе, отказываясь верить.

– Куда он подевался?

Ральф как-то сконфуженно забормотал:

– Может, он вернулся туда, на... на...

Снизу, с чужого склона, все гремел и гремел барабанный бой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ШАЛАШИ НА БЕРЕГУ

Джек согнулся вдвое. Он, как спринтер на старте, почти припал носом к влажной земле. Стволы и стлавшиеся по ним лианы терялись в зеленой мгле ярдов на тридцать выше, и кругом густые кусты. Тут был поломан сук и, кажется, отпечталось краем копыто – только и всего. Он уткнулся в грудь подбородком и не отрывал глаз от этого едва заметного намека на след, будто вымогая у него разгадку. Потом, как пес, на четвереньках, неловко, с трудом, он взобрался еще ярдов на пять и встал. Тут лиана захлестывалась петлей и с узла свисал усик. Усик был блестящий с одного бока; проходя петлю, свиньи его отполировали щетиной.

Джек приник ухом к земле в нескольких дюймах от этого знака и впился глазами в непроглядность кустарника. Рыжие волосы отросли с тех пор, как он оказался на острове, и сильно выгорели; неприкрытая спина была вся в темных веснушках и шелушилась. В правой руке он волочил заточенный шест футов в пять длиной; и, не считая обтрепанных шортов, на ремне которых болтался нож, он был совсем голый. Он прищурился, поднял лицо и, раздувая ноздри, легонько втянул струйку теплого воздуха, выведывая у нее секрет. И он и лес – оба затихли.

Наконец он тяжело, с неохотой выдохнул и открыл глаза. Глаза эти были ярко-синие, и сейчас от досады в них метнулось почти безумие. Он провел языком по пересохшим губам и снова всмотрелся в упрямые заросли. И снова двинулся вперед, обрыскивая землю.

Тишина в лесу была еще плотнее и гуще жары, и даже жуки не жужжали. Только когда Джек сам спугнул из нехитрого гнезда цветистую птаху, тишина треснула, раскололась и, разбудив сонное эхо, зазвенела криком, словно взмывшим из глубины времен. Джек даже вздрогнул от этого крика, со свистом сглотнул; и на секунду вместо охотника стал испуганной тварью, пообезьянни жавшейся к дереву. Но след и досада тотчас взяли свое и погнали снова обрыскивать землю. У толстого седого ствола в бледных цветах по комлю он замер, еще раз потянул носом жаркий воздух; и вдруг ему перехватило дух, даже кровь отлила от лица, и тут же опять в него ударила краска. Он тенью скользнул во тьму ветвей и нагнулся, разглядывая вытопанную землю у себя под ногами.

Комья были теплые. И грудились на взрытой земле. Они были зеленоватые, мягкие, от них подымался пар. Джек поднял взгляд на непостижимую гущину загородивших путь лиан. Потом вытянул копые и шагнул. За лианами след впадал в свиной лаз, достаточно широкий и четкий

– настоящую тропку. Земля на ней была плотно убита, и, когда Джек выпрямился во весь рост, он тут же услышал, как по лазу движется что-то. Он отвел назад правую руку, размахнулся и со всей силы метнул копьё. На тропе раздался дробный, четкий перестук копыт, как шелк кастаньет, приманчивый, сладкий – обетование мяса. Джек выскочил из-за кустов и подобрал копьё. Свиной топоток замирал вдалеке.

Джек стоял, обливаясь потом, лицо было в грязных разводах и прочих отметилах долгих невзгод охоты. Он ругнулся, сошел со следа и стал продираться сквозь чащобу, пока она не расступилась и голые стволы, подпиравшие черную сень, сменились светло-серыми стволами и кронами перистых пальм. Из-за них мерцала вода и неслись голоса. Ральф стоял возле нагроможденья пальмовых стволов и листьев, грубого шалаша, смотревшего на лагуну и вот-вот грозившего рухнуть. Он не заметил Джека, когда тот заговорил:

– Водички бы, а?

Ральф хмуро поднял глаза от хитросплетенья ветвей. Он смотрел прямо на Джека, все еще не замечая.

– Воды бы, говорю, а? Пить хочется.

Ральф оторвал мысли от шалаша и вдруг обнаружил Джека.

– А, привет. Воды? Там, под деревом. Наверно, еще осталось.

Джек подошел к кокосовым скорлупам с пресной водой, лежавшим в тени, взял одну, полную, и стал пить. Вода текла на подбородок, на шею, заливала грудь. Наконец он шумно отдышался:

– Уф, хорошо!

Саймон сказал из шалаша:

– Повыше чуть-чуть.

Ральф повернулся к шалашу и вместе с веткой приподнял лиственный настил. Настил качнулся, и листва запорхала вниз. В дыре показалось сокрушенное лицо Саймона:

– Ой!

Ральф с отвращением оглядывал руины.

– Так мы в жизни не кончим.

Он бросился на землю у ног Джека. Саймон все смотрел сквозь дыру в шалаше. Ральф лежа объяснял:

– Целыми днями работаем. И видишь!

Два шалаша еще кое-как держались. Этот совсем развалился.

– А им бы только гонять. Помнишь собрание? Как все клялись трудиться, пока строить не кончим?

– Ну, я и мои охотники...

– Охотники, эти пусть. Ну, малыши, они...

Он помахал рукой, искал слова.

– Они безнадежные, но ведь кто постарше – тоже не лучше. Ты только пойми. Мы тут целый день работаем с Саймоном. И больше никого. Купаются, едят, загорают.

Саймон осторожно высунул голову.

– Ты главный. Ты их сам распустил.

Ральф, растянувшись, смотрел на небо и пальмы.

– Собрания. Очень уж мы их любим. Каждый день. Хоть по два раза в день. Все болтаем. – Он оперся на локоть. – Вот сейчас протрублю в рог, и увидишь – примчатся как миленькие. И все честь честью, кто-то скажет – давайте построим самолет, или подводную лодку, или телевизор. А после собрания пять минут поработают и разбегутся или охотиться пойдут.

Джек вспыхнул:

– Ну, мясо-то нам нужно.

– Да, но пока его что-то не видно. А шалаши нам тоже нужны. И вообще: охотники твои давным-давно вернулись. Купаются.

– Я один пошел, – сказал Джек. – Я их отпустил. Мне...

Он рвался передать, что гнало его выследить, настигнуть, убить.

– Я один пошел. Я думал, я сам...

Снова метнулось в глазах безумие.

– Я думал, я убью.

– Но не убил.

– Думал, убью.

Голос у Ральфа дрожал от подавленного волнения:

– Но ты не убил пока что.

Если б не призывок скрываемой ярости, предложенье могло показаться невинным:

– Ну, а насчет шалашей – это ты никак?

– Нам мясо нужно.

– Но его у нас нет. – Враждебность звенела уже открыто.

– Будет! В следующий раз будет! Мне бы только бородку на копье. Мы ранили свинью, а копье не держится. Вот научимся делать бородки...

– Нам нужны шалаши.

И вдруг Джек завопил надсадно:

– Обвиняешь меня, да?

– Нет, просто мы весь день тут потеем. Больше ничего.

Оба покраснели и отвели глаза. Ральф перекатился на живот и стал дергать травинки.

– Если дождь польет, как когда мы высадились, нам еще как шалаши понадобятся. И потом, нам шалаши нужны из-за... ну...

Он запнулся. Оба перебарывали гнев. И Ральф углубился в другую, безопасную тему:

– Сам-то ты не замечал?

Джек опустил копье, сел на корточки.

– А что?

– Ну, боятся они.

Он снова перекатился на спину и посмотрел в свирепое, чумазое лицо Джека.

– Понимаешь – снится им что-то. Я слышал. Ты вот ночью не просыпался?

Джек покачал головой.

– Разговаривают, плачут. Малыши. А то и... будто бы...

– Будто бы плохо на этом острове.

Удивленные тем, что их перебивают, оба подняли глаза на строгое лицо Саймона.

– Будто бы, – сказал Саймон, – зверь... зверь или змей и вправду есть. Помните?

Двое старших вздрогнули от постыдного слова. О змеях уже не упоминалось, не полагалось упоминать.

– Будто бы плохо на этом острове, – отчеканил Ральф. – Да, точно.

Джек сел и вытянул ноги.

– Они чокнутые.

– Да, шизики. А как на разведку ходили – помнишь?

Оба улыбнулись, вспомнив те чары первого дня. Ральф продолжал:

– Так что шалаши нам нужны вместо...

– Дома родного.

– Точно.

Джек подобрал ноги, обхватил переплетенными руками колени и нахмурился, стараясь разобраться в собственных мыслях.

– А все же в лесу, ну, когда охотишься, не тогда, конечно, когда фрукты рвешь, а вот когда один...

Он осекся, не уверенный, что Ральф серьезно его слушает.

– Ну-ну, говори.

– Когда охотишься, иногда чувствуешь...

И вдруг он покраснел.

– Это так, ерунда, в общем. Просто кажется. Но ты чувствуешь, будто вовсе не ты охотишься, а за тобой охотятся; будто сзади, за тобой, в джунглях все время прячется кто-то.

Снова все трое молчали. Саймон – вдумчиво, Ральф – недоверчиво и почти негодуя. Он сел, выпрямился, почесал грязной пятерней плечо.

– Ну, не знаю.

Джек вскочил, затараторил:

– Так бывает в лесу. Находит. Ерунда, конечно. Только... Просто...

Он побежал было к воде и сразу вернулся.

– Просто, я понимаю, каково им по ночам. Ясно? Ну и все.

– Главное – надо, чтоб нас спасли.

Джеку пришлось минуту подумать, пока он сообразил, о каком спасении речь.

– Спасли? Это конечно! Но сначала мне свинью бы добыть... – Он схватил копьё и вонзил в землю. Снова глаза застлало безумие. Ральф критически оглядел его из-за светлой путаницы волос:

– Только бы твои охотники помнили про костер...

– Опять ты с этим костром!..

Оба затрусили по берегу и уже у края воды повернулись и посмотрели на розовую гору. Дымная струйка чертила меловую полосу по густой сини и, качнувшись, таяла в вышине. Ральф нахмурился.

– Интересно, далеко его видно?

– А как же.

– Нет, мало дыма.

Словно почувствовав на себе их взгляд, струйка у основания растеклась густой кляксой, и та поползла вверх мутным столбцом.

– Зеленых веток добавили, – пробормотал Ральф. – Чего это они? – Он сощурился, обернулся к горизонту.

– Там! – Джек заорал так, что Ральф даже подскочил.

– Что? Где? Корабль?

Но Джек показывал на высокие откосы, которые шли с горы к более плоской части острова.

– Ясно! Там они и лежат! И куда им еще деваться, когда припечет!

Ральф недоуменно смотрел в его ликующее лицо.

– Они высоко забираются. Высоко – и в тень, и отдыхают в жару, как у нас коровы...

– Я думал, ты корабль увидел!

– Можно подкрасться... лица разрисовать, чтоб не увидели... Окружить их и...

Но Ральфа от негодованья уже понесло:

– Я же тебе про дым! Да ты что-о? Не хочешь, чтоб тебя спасали? Заладил – свиньи, свиньи, свиньи!

– Нам мясо нужно!

– Я весь день работаю, и со мной никого, только Саймон, а ты приходишь и даже не замечаешь, чего мы понастроили!

– Я тоже не загорал.

– Тебе это одно удовольствие! – кричал Ральф. – Ты любишь охотиться! А вот я...

Оба стояли на ярком берегу, ошарашенные этим взрывом чувств. Ральф первый отвел глаза, якобы посмотреть на играющих в песке малышей. Из-за площадки неслись крики охотников в бухте. На краю площадки растянулся Хрюша, глядя вниз, в слепящую воду.

– Ни от кого нету толку.

Ему хотелось объяснить, как все всегда оказываются не такими, как от них ждешь.

– Вот Саймон – он-то помогает. – Он показал на шалаши. – Все смылись. А он не меньше моего делал. Только вот...

– Саймон-то вечно тут как тут...

Ральф зашагал к шалашам, Джек с ним рядом.

– Помогу немножко, – бормотнул Джек, – потом искупаюсь.

– Да ладно уж.

Но у шалашей Саймона не оказалось. Ральф сунул голову в дыру, высунулся и оглянулся на Джека:

– Смотался.

– Надоело ему, – сказал Джек. – Купаться пошел.

Ральф нахмурился.

– Станный он. С приветом.

Джек кивнул неопределенно, кажется, в знак согласия, и не сговариваясь оба бросили шалаши отправились к бухте.

– Вот искупаюсь, поем чего-нибудь, – сказал Джек, – и на ту сторону горы подамся, следы поищу. Пошли?

– Так ведь же солнце почти село!

– Ничего, я-то управлюсь...

Они шагали рядом – два мира чувств и понятий, неспособные общаться.

– Эх, мне бы застучать свинью!

– Выкупаюсь и сразу за шалаш возьмусь.

Они посмотрели друг на друга с изумленьем, любовью и ненавистью. Понадобились соленые брызги бухты, крики, барахтанье и смех, чтобы снова и их объединить.

Саймона, которого они думали застать на пляже, там не оказалось. Когда Ральф с Джеком спустились на берег, чтобы взглянуть на гору, он прошел за ними несколько ярдов и остановился. Нахмурившись, он нагнулся над грудой песка, из которого кто-то пытался вылепить домик. Потом отвернулся и целеустремленно направился к лесу. Он был маленький, тощий мальчуган с острым личиком, и глаза у него так сияли, что Ральф сначала принял его за веселого хитрого шалуна. Черные густые космы нависали на низкий, широкий лоб и почти закрывали его. Шорты на нем истрепались, и он, как

Джек, ходил босиком. И вообще-то смуглый, Саймон сильно загорел и блестел от пота.

Он пошел по просеке, мимо той скалы, на которую взбирался Ральф в первое утро, потом свернул вправо, под деревья. Ноги сами несли его привычным путем среди фруктовых деревьев, где каждый мог раздобыть себе вдоволь и без труда несътной, правда, еды. Цветы и фрукты росли рядом, вперемешку, и вокруг стоял запах спелости и густое жужжанье несметных пасущихся пчел. Здесь его догнали увязавшиеся за ним малыши. Они говорили все разом, что-то выкрикивали наперебой и тащили его к деревьям. Среди пчелиного гула, в закатных лучах, Саймон срывал им фрукты, до которых они не могли дотянуться, отыскивал среди листвы самые спелые и наобум совал в жадно протянутые ручки. Оделив всех, он оглянулся. Обнимая охапки отборных плодов, малыши смотрели на него неотрывно и загадочно.

Саймон бросил их и свернул на чуть заметную тропку. Скоро за ним сомкнулась чащоба. Высокие стволы поросли неожиданно бледными цветами до самых вершин, а там во тьме кипела шумная жизнь. Между стволами тоже была темень, и, как снасти затонувших судов, повисли на них лианы. Ноги Саймона оставляли следы на рыхлой земле, и по лианам, когда он за них задевал, во всю их длину пробегал трепет. Он добрался наконец до просвета. Тут лианам не приходилось далеко тянуться за солнцем, и они сплели большой ковер и занавесили чашу с опушки; здесь было каменисто и не росло ничего, кроме травки и папоротников. Темные пахучие кусты обнесли опушку стеной, и в этой ограде, как в чаше, плавали свет и жара. С краю опушки большое мертвое дерево привалилось к другим, еще крепким, и проворный вьюнок бойко исчертил его щегольским красно-желтым узором до самого верха.

Саймон остановился. Он, как тогда Джек, оглянулся через плечо на сомкнувшийся за ним проход и посмотрел по сторонам, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит. Он двигался почти воровато. Потом согнулся и заполз в самую гущу лиан; они сплелись здесь так часто, что взмокали от его пота и он еле сквозь них продирался. Скоро он оказался в гущине, в гнездышке, отделенном сквозящей листвой от опушки. На короточках он отвел руками листья и выглянул. Все застыло на свету, только две пестрые бабочки плясали под зноем. Затаив дыхание, Саймон вдумчиво вслушивался в шумы острова. К острову подступал вечер. Крики ярких, немислимых птиц, пчелиный гул, даже возгласы чаек, тянущих к себе на ночлег среди скал, делались теперь глуше. Шорох отяжелевших волн у рифа, на мили вдаль, был невнятнее шепота крови.

Саймон снова опустил лиственный занавес. Потоки медовых лучей убывали. Скользнули по кустам, ушли с зеленых свечек, застряли в кронах, и

под деревьями стала сгущаться тьма. Разом выцвели неумные краски, отпустила жара и тревога. Подрагивали зеленые свечки. Неуверенно, осторожно выпрастывались из чашечек белые края лепестков.

День совсем ушел с опушки, стерся с неба. Тьма хлынула на лес, затопляя проходы между стволами, пока они не стали тусклыми и чужими, как дно морское. Вместо свечек на кустах раскрылись большие белые цветы, и уже их колол стеклянный свет первых звезд. Запах цветов вылился в воздух и заполнил остров.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ, РАСКРАШЕННЫЕ ЛИЦА

День раскачивался лениво, от рассвета до самого падения сумерек, и к этому ритму они раньше всего привыкли. По утрам их веселило ясное солнце и сладкий воздух, огромное море, игры ладились, в переполненной жизни надежда была не нужна, и про нее забывали. К полудню потоки света лились уже почти в отвес, резкие краски утра жемчужно линяли, а жара – будто солнце толкало ее, дорываясь до зенита, – обрушивалась как удар, и они от него уклонялись, бежали в тень и там отлеживались, даже спали.

Странные вещи творились в полдень. Слепящее море вздымалось, слоилось на пласты сущей немислимости; коралловый риф и торчавшие кое-где по его возвышеньям чахоточные пальмы взмывали в небо, их трясло, срывало с места, они растекались, как капли дождя по проводу, множились, как во встречных зеркалах. А то земля вдруг вставала там, где никакой земли не было, и тут же на глазах у детей исчезала, как мыльный пузырь. Хрюша по-ученому развенчал все это и назвал миражем; а раз никто из мальчиков не мог добраться вплавь до рифа через лагуну, которую стерегли жадные акулы, то они просто привыкли к этим чудесам и их не замечали, как не замечали таинственных, дрожащих звезд. В полдень виденья сливались с небом, и солнце злым глазом глядело вниз. Потом, к вечеру, мираж оседал и горизонт, четкий и синий, вытягивался под низящимся солнцем. И опять водворялась прохлада, омраченная, правда, угрозой тьмы. Лишь только солнце садилось, тьма лилась на остров, как из огнетушителя, и в шалашах под далекими звездами вселялся страх.

Однако североευропейский распорядок занятий, игр и еды мешал вполне отдаться новому ритму, Малыш Персиваль залез в шалаш рано и так и не вылезал оттуда два дня, говорил сам с собой, пел, плакал – они даже подумали, что он тронулся, и это им показалось забавно. Вышел он из

шалаша осунувшийся, с красными глазами, несчастный: с тех пор этот малыш мало играл и часто плакал.

Мальчиков поменьше теперь обозначали общим названием «малыши». Уменьшение роста от Ральфа до самого маленького шло постепенно; и хоть казалось неясно, куда отнести Саймона и Роберта, каждый без труда определял, кто «большой», а кто «малыш». Несомненные малыши – шестилетки – вели особую, независимую и напряженную жизнь. Весь день они жевали, обрывая без разбора все фрукты, до которых могли дотянуться. У них вечно болели животы и был понос. Они невыразимо боялись темноты и в ужасе жались друг к другу. И все же они долгие часы проводили в белом песочке у слепающей воды, играя нехитро и бесцельно. Куда реже, чем следовало ожидать, они плакали и просились к маме; они очень загорели и ходили чумазые. Они сбегались на звуки рога, отчасти потому, что дул в него Ральф, а он по своему росту был переходное звено к миру взрослой власти; отчасти же их развлекали собрания. А вообще они редко лезли к большим и держались особняком, поглощенные собственными важными чувствами и делами.

На отмели у речки они строили песчаные замки. Замки выходили высотой почти в фут, убранные ракушками, вялыми цветами и необычными камушками. Их окружало сложное кольцо шоссе, насыпей, железнодорожных линий, пограничных столбов, раскрывавших свой смысл лишь присевшему на корточки наблюдателю. Малыши играли тут, пусть не слишком весело, зато пристально сосредоточась; и часто один замок строило не меньше троих.

Трое играли тут и сейчас – Генри был самый большой. Он был дальний родственник того мальчика с багровой отметиной, которого не видели на острове с самого пожара; но Генри ничего этого пока не понимал, и скажи ему кто-нибудь, будто тот улетел домой на самолете, он бы ничуть не смутился и тотчас поверил.

Генри сегодня почти верховодил, потому что прочие двое были Персиваль и Джонни, самые маленькие на всем острове. Персиваль был серый, как мышонок, и, конечно, не казался хорошеньким даже собственной маме; Джонни был складный, светловолосый и от природы задира. Но сейчас он слушался Генри, потому что увлекся игрой; и все трое, сидя на корточках, мирно играли.

Из лесу вышли Роджер и Морис. Они отдежурили свое у костра и теперь шли купаться. Роджер шагал прямо по замкам, пинал их, засыпал цветы, разбрасывал отборные камушки. Морис с хохотом следовал за ним и довершал разрушение. Трое малышей перестали играть и смотрели на них. Как раз те самые вежи, которые занимали детей сейчас, случайно уцелели, и никто не взбунтовался. Только Персиваль захныкал, потому что ему в глаз

попал песок, и Морис поспешил прочь. В прежней жизни Морису случилось претерпеть нагоняй за то, что засорил песком глаз младшего. И теперь, хоть рядом не было карающей родительской руки, Мориса все же тяготило сознание греха. В мыслях невнятно пробивалось подобие извиненья. Он бормотнул, что пора и поплавать, и затрусил к воде.

Роджер задержался, глядя на малышей. Он не особенно загорел с тех пор, как оказался на острове, но темная грива, падая на лоб и шею, странно шла к угрюмости лица; и, прежде казавшееся просто замкнутым, оно теперь почти пугало. Персиваль перестал хныкать и снова стал играть – песок вымыло слезами. Джонни смотрел на него синими бусинками, потом взбил фонтан из песка, и Персиваль снова заплакал.

Генри надоело играть, и он побрел вдоль берега. Роджер пошел за ним, но держался поближе к пальмам. Генри брел далеко от пальм и тени – он был еще мал и глуп и не прятался от солнца. Он спустился к воде и стал возиться у края. Был прилив, могучий, тихоокеанский, и каждые несколько секунд вода в спокойной лагуне чуть-чуть поднималась. Кое-кто жил в самой крайней водной кромке – мелкие прозрачные существа взбегали с волной пошарить в сухом песке. Крошечными органами чувств они проверяли новое поле: а вдруг там, где во время последнего их наскока ничего не было, окажется еда – птичий помет, мошки, неожиданные отбросы наземной жизни. Словно несчетными зубчиками небывалых грабель, они прочесывали и вычищали песок.

Генри не мог оторваться от этого зрелища. Он тыкал в песок палочкой, выбеленной, обкатанной, тоже оказавшейся тут по воле волн, и старался направить по-своему усилия маленьких мусорщиков. Он рыл в песке канавы, их заливал прилив, и Генри сталкивал в эти воды своих подопечных. Замирая от счастья, он наслаждался господством над живыми тварями. Он с ними разговаривал, он приказывал, понукал. Прилив заставлял Генри пятиться, наливал его следы и превращал в озера, где подданные оказывались в его нераздельной власти. Генри сидел на корточках у края воды, наклонясь, волосы свисали ему на лоб, на глаза, а дневное солнце градом пускало в него невидимые стрелы.

Роджер выжидал. Сперва он притаился за стволом толстой пальмы. Но Генри был так явственно поглощен своим занятием, что Роджер в конце концов совершенно перестал прятаться. Он вышел из-за ствола и оглядел берег. Персиваль с ревом убежал, и замки достались счастливицу Джонни. Тот сидел среди них, напевал и швырял песком в воображаемого Персиваля. За ним Роджер видел выступ площадки и отсветы брызг – в бухте плескались Ральф, и Саймон, и Хрюша, и Морис. Он внимательно вслушался, но, кроме их криков, ничего не услышал.

Вдруг ветер качнул пальмы, так что дрогнули и забились листья. С ветки в шести футах над Роджером сорвалась гроздь орехов, волокнистых комьев, каждый – мяч для регби. Они тяжело плюхнулись вокруг, но в него не попали. Роджер и не подумал спастись. Он переводил взгляд с орехов на Генри.

Пальмы росли на намывной полосе: и многие поколения пальм повтыгивали из почвы камешки, прежде лежавшие в песке другого берега. Роджер нагнулся, поднял камешек и запустил в Генри, но так, чтобы промахнуться. Камень символом сместившегося времени просвистел в пяти ярдах от Генри и бухнул в воду. Роджер набрал горстку камешков и стал швырять. Но вокруг Генри оставалось пространство ярдов в десять диаметром, куда Роджер не дерзал метить. Здесь, невидимый, но строгий, витал запрет прежней жизни. Ребенка на короточках осеняла защита родителей, школы, полицейских, закона. Роджера удерживала за руку цивилизация, которая знать о нем не знала и рушилась.

Вода хлюпала. Генри насторожился. Он изменил своим тихим прозрачным малявкам и, как сеттер, нацелился на центр слоющихся кругов. Камни падали то по одну, то по другую сторону от Генри, и он послушно крутил шей, но все не успевал застигнуть взглядом камень на лету. Наконец это ему удалось, и он стал весело озираться и искать, где же решивший его позабавить приятель. Но Роджер снова нырнул за ствол и прижался к нему. Он запыхался и жмурился. А Генри уже утратил к камням интерес и побрел прочь.

– Роджер...

Джек стоял ярдах в десяти, под пальмой. Роджер открыл глаза, увидел его, и еще более темная тень напозла на смуглоту щек, но Джек ничего не заметил. Он кивал, он всем своим видом подзывал Роджера, и Роджер к нему подошел.

У моря запруженная песком река наливалась заводь, крошечное озерцо. Оно все поросло иголками камыша и кувшинками. Там ждали Сэм и Эрик и еще Билл. Джек зашел в тень, стал возле озерца на коленки и развернул два больших листа. В одном оказалась белая глина, в другом – красная. Рядом была головешка.

Между делом Джек объяснял Роджеру:

– Чують они меня не чуют. А видят наверное. Видят что-то розовое в кустах.

Он размазывал по лицу глину.

– Эх, мне бы еще зелененькой!

Он повернулся к Роджеру наполовину покрашенным лицом и ответил на мелькнувшую в его взгляде догадку:

– Это я для охоты. Как на войне. Ну – маскировка. Когда что-то на что-то еще похоже.

Он очень старался растолковать это Роджеру.

– ...ну, как бабочки на дереве серые...

Роджер понял и угрюмо кивнул. Близнецы подошли к Джеку и стали чем-то возмущаться. Джек отмахнулся от них:

– Да ну вас.

Он затушевывал головешкой просветы между красным и белым у себя на лице.

– Хотя нет. Вы со мной пойдете.

Он взглянул на свое отражение и разочаровался. Нагнулся, зачерпнул полные пригоршни теплой воды и все смыл с лица. Снова показались веснушки и рыжие брови.

Роджер хмуро усмехнулся:

– Вид ничего.

А Джек уже сочинил себе новое лицо. Одну щеку и веко он покрыл белым, другую половину лица сделал красной и косо, от правого уха к левой скуле, полоснул черной головешкой. Потом опять заглянул в воду, но от его дыхания она замутилась.

– Эрикисэм. Ну-ка быстренько мне кокос. Пустой.

Он стал на коленки и зачерпнул скорлупой воды. Круглая солнечная заплата легла на лицо, и глубь высветлилась ярким зеркалом. Он недоуменно разглядывал – не себя уже, а пугающего незнакомца. Потом выплеснул воду, захохотал и вскочил на ноги. Возле заводи над крепким телом торчала маска, притягивала взгляды и ужасала. Джек пустился в пляс. Его хохот перешел в кровожадный рык. Он поскакал к Биллу, и маска жила уже самостоятельной жизнью, и Джек скрывался за ней, отбросив всякий стыд. Красное, белое, черное лицо парило по воздуху, плыло, пританцовывая, надвигалось на Билла. Билл хихикал, потом вдруг смолк, повернулся и стал продираться сквозь кусты.

Джек метнулся к близнецам.

– Остальным построиться. Пошли.

– Но ведь же...

– ...мы...

– Пошли! Я подкрадусь и ка-ак...

Маска завораживала и подчиняла.

Ральф вылез из воды, пробежал по берегу и сел в тень, под пальмы. Светлые волосы налипли ему на лоб, и он их смахнул. Саймон плавал и сучил ногами, а Морис учился нырять. Хрюша слонялся по берегу, что-то искал в песке, подбирал, равнодушно бросал. Пленившие его прудки накрыло

приливом, и он выжидал, когда спадет вода. Вот он увидел Ральфа под пальмой, подошел и устроился рядышком.

На Хрюше еще кое-как держались остатки шортов, толстый живот золотисто загорел, и очки по-прежнему вспыхивали, когда он на что-то устремлял взгляд. У него, единственного на острове, волосы будто и не отросли. Все мальчики встряхивали густыми гривами, а у Хрюши голова чуть-чуть обросла, будто ей так и надо быть лысой и этот несовершенный покров потом сойдет, как мшистый налет с рогов олененка.

– Я вот думал, – сказал он, – насчет часов. Нам бы солнечные часы сделать. Воткнуть в песок палку и...

Объяснять связанные с этим математические сложности было бы чересчур утомительно. Хрюша сделал только несколько круговых взмахов руками.

– И еще можно сделать самолет, и телевизор, – отозвался Ральф кисло, – и паровой двигатель.

Хрюша покачал головой.

– Туда сколько металла идет, – сказал он. – У нас же нету его, металла этого. А палка вот есть.

Ральф обернулся и не удержался от улыбки. Хрюша был зануда. Его пузо и практические идеи надоели Ральфу, но ужасно весело было его дурачить, даже когда это выходило не нарочно.

Хрюша увидел улыбку и ложно истолковал ее как знак дружелюбия. Старшие не сговариваясь сошлись на том, что Хрюша чужак, не только из-за акцента и ошибок, ошибки-то бы еще куда ни шло, но из-за пуза, астмы, стекляшек и известного отвращения к физическому труду. И вот заметив, что развеселил Ральфа, он обрадовался и стал развивать свою мысль:

– У нас сколько хочешь их, палок. Можно, чтоб у каждого свои часы. И будем всегда сколько время знать.

– Вот уж много толку!

– Сам говорил – надо чего-то делать. Чтобы нас спасли.

– А, да ну тебя.

Он вскочил и побежал к бухте, где Морис как раз нырнул весьма неудачно. Ральф обрадовался, что можно переменить тему. И, завидя вынырнувшего Мориса, закричал:

– Эх ты, мешок! Мешок!

Морис улыбнулся Ральфу, а тот легко заскользил по воде. Он тут лучше всех плавал. Но сейчас болтовня о спасении, дурацкая трепотня о спасении его разозлила и не утешали даже зеленая глубь и золотое, дробное солнце. Он не стал играть с ребятами, ровно прогреб под Саймоном и, блестя и струясь, как тюлень, вылез полежать на другой стороне. Этот нелепый Хрюша подался туда же, но Ральф лег на живот и притворился, будто его не заметил.

Мираж исчез, и Ральф хмуро кинул взглядом по тугой и синей черте горизонта.

Через секунду он был на ногах, он орал:

– Дым! Дым!

Саймон сел было прямо в воде и, конечно, захлебнулся; Морис, собиравшийся нырнуть, качнулся на пятках, метнулся к площадке, свернул, бросился на траву под пальмы и на всякий случай стал натягивать свои рваные шорты.

Ральф стоял, одной рукой он придерживал волосы, другую сжал в кулак. Саймон выбирался из воды. Хрюша тер очки об шорты и косился на море. Морис совал обе ноги в одну штанину. Только Ральф не шевелился.

– Дыма не видать, – протянул с сомнением Хрюша. – Дыма не видать. Где он у тебя, дым этот, а, Ральф?

Ральф молчал. Он теперь обеими руками зажал лоб, чтоб в глаза не лезли волосы. Весь подался вперед, и соль уже выбеливала ему тело.

– Где ж корабль, а, Ральф?

Саймон стал рядом и смотрел на горизонт из-за плеча Ральфа. Штаны Мориса вздохнули и треснули, он скинул их, побежал за деревья и тотчас вернулся.

Дым был – плотный узелок над горизонтом, и узелок этот тихо-тихо разматывался. Под ним была точка – наверно, труба. Ральф, весь белый, бормотал:

– Они увидят наш дым.

Хрюша наконец-то смотрел куда нужно:

– Его почти что не видать.

Он оглянулся и посмотрел на гору. Ральф впился взглядом в корабль. Лицо было уже не такое белое. Саймон стоял рядом и молчал.

– Я, конечно, плохо вижу, – сказал Хрюша. – Но наш дым-то, он у нас есть или нету его?

Ральф только дернулся, не отрываясь от корабля.

– Где наш-то дым?

Подбежал Морис, он тоже уставился на море. Саймон и Хрюша смотрели на гору. Хрюша сморщился, а Саймон заорал, как будто больно ударился:

– Ральф! Ральф!

Голос был такой, что Ральфа завертело на песке.

– Вы мне скажите, – изнемогал Хрюша. – Есть там сигнал?

Ральф глянул на тающий дым над горизонтом, потом снова на гору.

– Ральф, ну Ральф же! Есть там сигнал?

Саймон робко потянулся рукой к Ральфу; но Ральф уже бежал, взметая брызги, он пронесся по отмели, по белому, каленому песку, под пальмы.

Через секунду он сражался с кустами, которыми уже заросла просека. Саймон побежал следом, за ним Морис. Хрюша все орал:

– Ральф! Ральф!

Потом он тоже побежал и, взбираясь на террасу, споткнулся о сброшенные Морисом шорты. Позади, за четверыми мальчиками, медленно скользил по горизонту дымок; а на берегу Генри и Джонни швыряли песком в глаза Персивалю, и снова тот уныло хныкал; и все трое не ведали о переполохе.

Одолев просеку, Ральф совсем запыхался и только и мог что выругаться. Он нещадно кидался беззащитно голым телом на шипы и весь окровавился. У крутого подъема, уже на гору; он запнулся. Морис был сзади, всего в нескольких ярдах.

– Хрюшины очки! – крикнул Ральф. – Если костер погас...

Он смолк и покачулся. Хрюша еще ковылял по берегу, еле видный отсюда. Ральф глянул на горизонт, потом опять на гору. Может, лучше сперва взять у Хрюши очки? Или корабль уйдет? Но вдруг они взберутся, а огонь погас, и стой тогда и смотри, как плетется Хрюша, а корабль исчезает за горизонтом? И в последней крайности, не зная, на что решиться, Ральф крикнул:

– Господи! Ох! Господи!

Саймон, задыхаясь, продирался сквозь кусты. Ему свело лицо. Ральф карабкался вверх, провожая бешеным взглядом исчезающий дымный жгутик.

Костер погас. Они это поняли сразу. Они это знали уже там, внизу, когда их поманил родной дым. Костер совсем погас, не дымился, остыл; дежурные ушли. Рядом наготове лежало бесполезное топливо.

Ральф оглянулся на море. Снова чужой и пустой – только смутный след от дыма – вытянулся горизонт. Ральф, спотыкаясь, бежал вдоль скал, отшатывался от красного обрыва и кричал кораблю:

– Вернитесь! Вернитесь!

Он метался по краю обрыва, не отворачивая лица от моря, и как сумасшедший звал:

– Вернитесь! Вернитесь!

Подросли Саймон и Морис. Ральф смотрел на них не мигая. Саймон отвернулся, утирая щеки. Ральф выпалил ужасное – хуже он не знал – слово:

– Сволочи! Погубили костер.

Он скользнул глазами вдоль чужого склона. Хрюша наконец вскарабкался, он задыхался, и он хныкал, как малыш. Вдруг Ральф сжал кулаки и ужасно покраснел. Взгляд вперился в одну точку, голос сорвался:

– Вон они.

Процессия двигалась далеко внизу, у самой воды, по розовой осыпи. Кое на ком из мальчиков были черные шапочки, вообще же шли почти нагишом.

Дружно поднимали палки вверх, нападая на легкие тропки. Что-то пели, что-то насчет груза, который очень осторожно несли заблудшие близнецы. Джека Ральф различил сразу, даже с такого расстояния; высокий, рыжий, он, разумеется, шел во главе.

Саймон посмотрел на Джека из-за плеча Ральфа, как раньше он смотрел из-за плеча Ральфа на горизонт, и, кажется, испугался. Ральф больше ничего не сказал и ждал, когда они подойдут. Пенья сюда долетало, но даль заглывала слова. За Джеком шли близнецы и несли на плечах длинную жердь. Кровавая свиная туша свисала с жерди и грузно качалась, когда близнецы спотыкались на неровной дороге. Голова моталась под зияющим горлом и будто вынюхивала дорогу. Вот уже над черным палом забились обрывки песни: «Бей свинью! Глотку режь! Выпусти кровь!»

Но как раз когда они стали разбирать слова, процессия дошла до самой кручи и на минутку песня загнулась. Хрюша хлопнул носом, и Саймон шикнул на него, будто он громко заговорил в церкви.

Первым на вершине показалось раскрашенное лицо Джека, и он ликуя поднял копые в знак приветия.

– Смотри-ка, Ральф. Мы свинью убили. Подкрались... Окружили...

И охотники наперебой:

– Окружили...

– Ка-ак нападём...

– Она визжать...

Свинья качалась между близнецами, роняла черные капли. На лицах близнецов, будто на двоих одна, сияла самозабвенная улыбка. Джека распирало, он не знал, с чего начать. Сначала вместо слов он просто пустился в пляс, но вспомнил о своем достоинстве и застыл, улыбаясь. Заметил у себя на руках кровь, перекопился, поискал, чем бы ее вытереть, вытер об шорты и расхохотался.

Тогда заговорил Ральф:

– Вы бросили костер.

Джек осекся от такой бестактности, но она не могла омрачить его счастья.

– Ничего, новый разведем. Эх, Ральф, был бы ты с нами. Было потрясающе! Она лягнула близнецов, они шлепнулись...

– Мы ее зажали...

– Я ка-ак на нее...

– А я ей горло перерезал. – Джек сказал это гордо, но все-таки передернулся. – Разрешите, Ральф, я твой нож возьму, первую зарубку у себя на рукоятке сделать.

Охотники скакали и трещали. Близнецы все еще улыбались.

– Крови было – жуть! – Джек захохотал и снова передернулся. – Ты бы видел!

– Теперь мы каждый день будем охотиться...

Ральф не двигался, он снова заговорил, севшим голосом:

– Вы бросили костер.

Джека наконец проняло. Он переводил взгляд с близнецов на Ральфа.

– Они нам для охоты были нужны, – сказал он, – а то бы нам ее не окружить. – И он вспыхнул виновато.

– Костер же час или два всего как погас. Новый разведем...

Он заметил разодранную голую кожу Ральфа, хмурое молчание всех четверых. В великодушии счастья ему хотелось всех оделить радостью происшедшего. В голове теснились образы, открытия; открытия, которые они сделали, когда зажали бьющуюся свинью, перехитрили живую тварь, покорили своей воле, а потом долго, жадно, как пьют в жару, отнимали у нее жизнь.

– Крови было!

И он широко развел руки в стороны.

Притихшие охотники снова оживились. Ральф смахнул волосы со лба. Другой рукой показал на пустой горизонт. Голос был такой громкий и злой, что все сразу стихли:

– Там был корабль.

Джек сразу понял, что это означает, и не выдержал взгляда Ральфа. Нагнулся, положил руку на свиную тушу, взялся за нож. Ральф сжал кулак, и голос у него дрогнул:

– Был корабль. Там. Ты обещал следить за костром, а он из-за тебя погас.

И шагнул к Джеку. Тот уже смотрел ему в лицо.

– Они бы нас заметили. Мы бы домой поехали.

Этого Хрюша не снес, от горя он позабыл о всякой робости. Он завопил:

– А ты, Джек Меридью, все со своей этой кровью! Со своей охотой! Мы бы домой поехали!

Ральф отстранил Хрюшу.

– Тут я главный. И ты должен исполнять, что я скажу. А ты только говорить умеешь. Ты даже шалаши строить не можешь. Тебе бы все охотиться, а костер погас.

Он отвернулся и на секунду умолк. Потом голос у него опять чуть не сорвался:

– Был корабль...

Один из охотников, который поменьше, расплакался. До всех уже доходила ужасная истина. Джек, ковырявший ножом тушу, весь покраснел.

– Работа большая. Нам все были нужны.

Ральф повернулся:

– Кончили бы шалаши, и были бы у тебя все. Так нет, тебе лишь бы охотиться...

– Нам мясо нужно.

Джек выпрямился. С ножа капала кровь. Двое мальчиков стояли лицом к лицу. Сверкающий мир охоты, следопытства, ловкости и злого буйства. И мир настойчивой тоски и недоумевающего рассудка. Джек переложил нож в левую руку и размазал кровь по лбу, сдвигая налипшую прядь.

Хрюша опять завел:

– Все из-за тебя. Обещал следить за дымом...

Такое от Хрюши да еще под всхлипы кое-кого из охотников вывело Джека из себя. В синих глазах метнулась ярость. Он шагнул, с облегчением размахнулся и ткнул Хрюшу в живот кулаком. Тот хрюкнул и сел. Джек стоял над ним. Голос у него исказился от унижения:

– А этого не хочешь? Что – съел? Жирный!

Ральф шагнул к ним, и Джек съездил Хрюшу по голове. Очки упали, звякнули об камни. Хрюша заорал в ужасе:

– Мои очки!

Он ползал на четвереньках, шарил по камням, но Саймон опередил его и подал ему очки. На вершине горы крылато кружили и бились, раздирая Саймона, страсти.

– Одно стекло разбито.

Хрюша схватил очки и надел. Он злобно смотрел на Джека.

– Я не могу без очок. Я одноглазый теперь. Ты дождешься!

Джек двинулся на Хрюшу, тот уклонился, перелез через большой камень и спасся за ним. Высунулся и сверкнул уцелевшим стеклом на Джека:

– Я не могу без очок! Ты дождешься!

Джек изобразил и позу и вой:

– Без очо-о-к, дождесь!

Сам Хрюша и представление Джека были до того уморительны, что охотники прыснули. Джек ободрился. Он сделал еще несколько шажков раскорякой, и все зашлись от хохота. Даже у Ральфа дрогнули губы, но он тотчас же разозлился на себя. И почти шепнул:

– Это подлость.

Джек вздрогнул, перестал кривляться, постоял, посмотрел на Ральфа. И выкрикнул:

– Ну ладно! Ладно!

Он оглядывал Хрюшу, Ральфа, охотников.

– Правда, это нехорошо. Ну, насчет костра... Вот, значит... я...

И – с оттяжкой:

– Прошу меня извинить.

Охотники отозвались на красивый жест восхищенным гулом. Они давали понять, что Джек молодец, что от своего великодушного извинения он

только выгадал, тогда как Ральф каким-то образом прогадал. И теперь от него ждали достойного ответа.

Ничего, ничего такого Ральф не мог из себя выдать. Джек действительно ловко выкрутился, но Ральфа он только еще больше разозлил. Костер погас, корабль ушел. Неужели им этого мало? Какой уж достойный ответ, он не мог совладать со злостью:

– Это подлость.

Над вершиной горы сгустилось молчанье. Взгляд Джеку застлала муть и прошла.

Последнее слово осталось за Ральфом. Он буркнул.

– Ладно. Разжигайте костер.

Наконец можно было заняться делом, и всем полегчало.

Ральф больше ничего не говорил, не делал, он стоял и смотрел на золу под ногами. Джек очень шумел. Отдавал приказы, пел, свистел, бросал фразы молчащему Ральфу, фразы, не требовавшие ответа и потому не приглашавшие к перепалке; а Ральф все молчал. Никто, даже Джек, не рискнул попросить, чтоб он сдвинулся, и в конце концов костер стали складывать ярдах в трех от него, на куда менее удобном месте. Так Ральф утвердил свое главенство, и не придумал бы лучшего способа, если б хоть целую неделю ломал над этим голову. Перед оружием, столь непонятным и неодолимым, Джек пасовал и безотчетно кипел. К тому времени, когда костер сложили, их разделял высокий барьер.

Когда осталось только зажечь, снова была напряженная минута. Джек нерешительно мешкал. И вот, к его изумлению, Ральф подошел к Хрюше и снял с него очки. Ральф и сам не заметил, как между ним и Джеком вновь закрепилась треснувшая было нить.

– Давай я.

– Нет, я сам.

Хрюша стоял за Ральфом, утопая в море ополоумевших красок, а тот, на коленках, направлял зайчика. Как только огонь вспыхнул, Хрюша сразу протянул руку и схватил свои очки. Непобедимо лиловые, красные, желтые цветы ошарашивали их красотой, и всем стало не до враждебности. Снова они сделались мальчиками вокруг бивачного костра, и даже Ральф с Хрюшей почти влились в кружок. Скоро все побежали за валежником, а Джек разделял тушу. Сперва хотели всю тушу зажарить прямо на жерди, но ничего не вышло, жердь сразу сгорела. Тогда сообразили натывать куски мяса на ветки и совали в огонь; но и так самим приходилось хорошенько поджариваться.

У Ральфа текли слюнки. Он думал отказаться от мяса, но долгая диета из фруктов, орехов да кое-когда то рыбы, то краба сломила его выдержку. Он схватил кусок недожаренного мяса и накинулся на него, как волк.

У Хрюши тоже текли слюнки, он сказал.

– А мне?

Джек собирался потомить его неизвестностью, чтоб показать свою власть; невыдержанный Хрюша сам нарывался на жестокость.

– Ты не охотился.

– Ральф тоже, – зашелся Хрюша. – И Саймон. – И он подытожил: – В крабе небось не больно много мяса поешь.

Ральф поежился. Саймон, сидевший между Хрюшей и близнецами, обтер рот, сунул свой кусок Хрюше за камень, и тот его схватил. Близнецы фыркнули, а Саймон потупился от стыда.

Тут Джек вскочил, откромсал большущий кусок мяса и швырнул к ногам Саймона.

– На! Жри, тебе говорят!

Он буравил Саймона взглядом.

– Ну!

Он закружился в центре кружка ошарашенных мальчиков.

– Я вам мясо добыл!

Вся досада, все несчетные стыдные обиды вылились в первозданной пугающей вспышке.

– Я покрасил лицо... Я подкрался... Ну и жрите... А я...

На вершине горы молчанье густело, густело, пока не стало слышно, как трещит огонь и, жарясь, шипит мясо. Джек огляделся, ища сочувствия, но встретил одну почтительность. Ральф стоял на пепелище сигнального огня с мясом в руках и молчал.

Наконец молчанье нарушил Морис. Он обратился к единственной теме, которая могла объединить всех:

– А вы ее где нашли?

Роджер кивнул на чужой склон.

– Там они были. У моря...

Джек уже оправился. Он сам хотел рассказывать. Он перебил Роджера:

– Мы залегли вокруг. Я подкрался на четвереньках. Копья ее не брали, без зубурин потому что. Свинья побежала и как завизжит...

– Потом обратно, попала в кольцо, кровь хлещет...

Мальчики трещали наперебой, радостно, взახлеб:

– Мы ее зажали в кольцо...

От первого же удара у свиньи отнялись задние ноги, так что легко было зажать ее и добивать, добивать...

– А я ей горло перерезал.

Близнецы, со своей вечной обоеликой улыбкой, вскочили и стали плясать один вокруг другого. И вот плясали уже все, все визжали в подражание издыхающей свинье, кричали:

– По черепушке ее!

– По пяточку!

Морис с визгом вбежал в центр круга, изображая свинью; охотники, продолжая кружить, изображали убийство. Они танцевали, они пели.

– Бей свинью! Глотку режь! Добивай!

Ральф смотрел на них, ему было и завидно, и противно. Он выждал, пока они утомонились, пока замолкли последние отзвуки песни, и только тогда заговорил.

– Я созываю собрание.

Все по очереди замирали и обращали к нему лица.

– Собрание. Я объявляю сбор, хотя нам, может, придется сидеть в темноте. Идите на площадку. Как только я протрублю в рог. Сейчас же.

Повернулся и пошел вниз.

ГЛАВА ПцТАц

ЗВЕРЬ ВЫХОДИТ ИЗ ВОД

Вода прибывала, и только узкая полоска твердого берега оставалась между белым бугристым подножьем террасы и морем. Ральф пошел по этой твердой полоске, потому что ему надо было хорошенько подумать, а хорошо думается только тогда, когда идешь, не глядя себе под ноги. И вдруг, бредя вдоль воды, он изумился. Он вдруг понял, как утомительна жизнь, когда приходится заново прокладывать каждую тропку и чуть не все время, пока не спишь, ты следишь за своими вышагивающими ногами. Он остановился, окинул взглядом обуженный пляж, первая веселая разведка вспомнилась ему как что-то из дальнего, лучезарного детства, и он горько усмехнулся. Он повернул и пошел обратно, к площадке, и солнце теперь било ему в лицо. Ральф готовился к речи, и, бредя в густом, слепящем солнечном блеске, он пункт за пунктом ее репетировал. Итак, это собрание не для глупостей, с этим поря покончить, сейчас вообще не до выдумок...

Он запутался в мыслях, неясных оттого, что ему не хватало слов, чтобы выразить их. Нахмурился и стал обдумывать все сначала.

Это собрание не забава, а дело серьезное.

Тут он прибавил шагу, подгоняемый мыслью о том, что надо спешить, что садится солнце, и всколыхнувшийся от его скорости ветерок дунул ему в лицо. Ветерок приплюснул серую рубашку к груди Ральфа, и он заметил – он сейчас вообще все понимал и замечал, – как складки на рубашке противно задубели, стали будто картонные и как обтрепанными краями шортвов ему больно, докрасна растерло ноги. Ральф с омерзеньем понял, до чего он грязен и опустился; он понял, как надоело ему вечно смахивать со лба спуганные космы и по вечерам, когда спрячется солнце, шумно шуршать сухой листвою, укладываясь спать. Тут он припустил почти бегом.

Берег возле бухты был усеян группками ожидавших собрания мальчиков. Перед ним молча расступались, понимая, что он не в духе из-за незадачи с костром.

Место для собраний, где он остановился, было треугольником, но, как и все, что они делали, составленным наспех и кое-как. Основанием было бревно, на котором полагалось сидеть самому Ральфу, – огромное мертвое дерево необычных для площадки размеров. Вряд ли оно могло тут вырасти. Скорей всего, его занесло одной из знаменитых тихоокеанских бурь. Оно лежало параллельно берегу, и, сидя на нем, Ральф смотрел на остров, для других вырисовываясь темным силуэтом против сверканья лагуны. Боковые стороны треугольника были неравны. Справа лежал ствол, отполированный

беспокойным ерзаньем, но уже не такой толстый и куда менее удобный. Слева было четыре небольших бревнышка, и одно – дальше – злосчастно пружинило. Каждый раз собрание разражалось хохотом, когда кто-то, слишком привольно рассевшись, толкал его, и оно скидывало полдюжины ребят в траву. И ни у кого, подумал теперь Ральф, ни у кого не хватило ума – хорош же он сам, и Джек, и Хрюша – привалить камень к деревцу, которому охота кувиркаться. Так и будут они с него плюхаться, потому что, потому что, потому... И снова он совершенно запутался.

Возле каждого бревна трава повытерлась, но в центре треугольника она росла высоко и буйно. У вершины трава была тоже густая, там никогда не садился никто. Высокие серые стволы ровно тянулись вверх или клонились вокруг треугольника, подпирая низкую листовенную кровлю. По бокам был берег, сзади лагуна, впереди – темень острова.

Ральф подошел к своему месту. Никогда еще он так поздно не созывал собраний. Ну да, потому-то все сейчас и выглядело по-другому. Обычно зеленая кровля снизу высвечивалась золотыми бликами и тени на лицах были перевернуты, как когда держишь фонарик в руке. А теперь солнце садилось и забрасывало тени, как им положено.

Опять его повело на мудреные выкладки. Если лицо совершенно меняется от того, сверху ли или снизу его осветить, – чего же стоит лицо? И чего все вообще тогда стоит?

Ральф поежился. Когда ты главный, тебе приходится думать и надо быть мудрым, в этом вся беда. То и дело надо принимать быстрые решения. И тут поневоле будешь думать, потому что мысли – вещь ценная, от них много проку.

«Только вот, – решил Ральф, глядя на место главного, – думать-то я не умею. Не то что Хрюша».

Второй раз за вечер Ральф пересматривал ценности. Хрюша думать умеет. Как он здорово, по порядку все всегда провернет в своей толстой башке. Но какой же Хрюша главный? Хрюша смешной, толстопузый, но котелок у него варит, это уж точно. Ставши специалистом по части мыслей, Ральф теперь-то уж понимал, кто умеет думать, кто нет.

Бьющее в глаза солнце напомнило о позднем часе, и он снял с дерева рог и стал рассматривать. От того, что его вытащили из родной стихии, розовая и желтая поверхность рога выцвела чуть не до белизны и стала почти прозрачной. Ральф рассматривал рог с нежной почтительностью, будто вовсе и не он сам своими руками выловил его из воды. Он окинул взглядом место собраний и поднял рог к губам.

Все только того и ждали и сбежались сразу. Те, кто знали, что корабль прошел мимо острова, а костер не горел, боялись еще больше прогневить Ральфа; те же, кто, как малыши, например, ничего не знали, поддались

общему настроению. Места быстро заполнялись. Джек, Саймон, Морис, большинство охотников сели справа от Ральфа; остальные – слева, на солнце. Хрюша остался вовне треугольника. Это означало, что он намерен слушать, не говорить; Хрюша выражал таким образом неодобрение.

– Значит, так: нам надо сейчас же провести собрание.

Никто ничего не ответил, но все лица обратились к Ральфу. Ральф покачал рогом. Он по опыту знал, что подобные важные утверждения, чтобы они дошли до всех, надо повторить хотя бы дважды. Надо сидеть, держать рог перед глазами мальчиков, кое-как пристроившихся на бревнах, и ронять слова обкатанными тяжелыми камешками. Он поискал в уме самых простых слов, чтобы даже малыши могли их понять. Потом уж пусть Джек, Морис и Хрюша плетут что хотят, это они умеют, но сначала надо ясно и четко выразить, о чем пойдет речь.

– Нам надо сейчас же провести собрание. Не для шуточек. Не для того, чтоб хихикать или сваливаться с бревна, – малыши на кувыркающемся бревне хихикнули и переглянулись, – не для того, чтоб остроумие показывать и... – он поднял рог и с натугой искал словцо похлеще, – умничать. Совсем не для этого всего. А чтобы поговорить начистоту.

Он немного помолчал.

– Вот я шел. Шел я один и думал. Я знаю, что нам надо. Нам надо поговорить начистоту. Ну и вот, сейчас я сам скажу.

Он опять помолчал и привычно смахнул волосы со лба. Хрюша на цыпочках подошел к треугольнику, покончив с неудачной демонстрацией.

Ральф продолжал:

– Собраний у нас хватает. Всем нравится говорить, собираться. Всякие решенья принимать. Но мы ничего не выполняем. Вот решили носить воду из реки в кокосовых скорлупах, накрывать ее свежими листьями. Ну, и сперва так и было. Теперь воды нет. Скорлупы сухие. Все на реку ходят пить.

Пронесся гул. Все соглашались с Ральфом.

– Конечно, из реки тоже можно напиться, что тут плохого. Я и сам-то лучше стану пить там, ну, где водопад, вы знаете, чем из старой кокосовой скорлупы. Но ведь мы же сами решили носить. И не носим. Сегодня было только две скорлупы с водой.

Он провел языком по сухим губам.

– Теперь про шалаши. Про убежища.

Снова поднялся и стихнул гул.

– Спите вы почти все в шалашах. Сегодня, кроме Эрикисэма, которые у костра дежурят, все в шалашах будут спать. А кто их строил?

Тут уж собрание расшумелось. Шалаши строили все. Снова Ральфу пришлось помахать рогом.

– Погодите вы! Я спрашиваю – кто все три шалаша строил? Первый мы строили все, второй строили вчетвером, а последний только мы с Саймоном. То-то он и шатается. Погодите. Ничего смешного. Он развалится, когда опять польет дождь. А тогда нам будут нужны все три шалаша.

Он умолк, откашлялся.

– И еще одно. Мы решили, что уборная у нас будет там, в тех скалах за бухтой. Что ж, очень даже правильно. Волны сами обмывают эти скалы. Это и малыши знают.

Кругом опять стали хихикать и переглядываться.

– А теперь где хотят, там и присаживаются. Возле самых шалашей, прямо на площадке. Вы, малыши, если у вас схватил живот, когда рвете фрукты...

Собрание ревело.

– Я говорю, как прихватит, вы бы хоть от фруктов подальше. А то грязь и безобразия.

Снова поднялся смех.

– Я говорю, это безобразия!

Он подергал на себе серую, задубевшую рубашку.

– Безобразия! Если прихватит, надо в скалы бежать. Ясно?

Хрюша потянулся за рогом, но Ральф затряс головой. Он обдумал свою речь, пункт за пунктом.

– Надо всем нам снова ходить к этим скалам. А то грязно очень. – Он умолк. Предчувствуя взрыв, все затаили дыхание. – И еще. Насчет костра.

Ральф вздохнул почти со стоном, и по собранию эхом пронесся вздох. Джек принялся стругать прутик, что-то шепнул Роберту, и тот отвернулся.

– Костер тут на острове – важнее всего. Как же нас спасут, если он у нас не будет гореть? Только, может, чудом. И неужели же мы не можем с этим справиться?

Он выбросил вперед правую руку.

– Смотрите! Сколько нас! И мы не смогли удержать костер. Вы что – не понимаете? Костер нельзя забывать, уж лучше... лучше умереть!

Охотники смущенно захихикали. Ральф посмотрел на них и продолжал запальчиво:

– Эх вы, охотники! Еще смеетесь! Поймите вы – костер важнее, чем ваши свиньи, сколько бы вы их там ни понаубивали. Вы что, не соображаете? – Он развел руками и оглядел всех.

– Дым у нас всегда должен быть – хоть умри!

Он умолк, уже взвешивая новый пункт.

– И еще одно.

Кто-то выкрикнул:

– Может, хватит?

Кто-то тихонько поддакнул. Ральф не стал ничего замечать.

– И еще одно. Мы чуть весь остров не спалили. И мы только зря время теряем, сдвигаем камни, разводим маленькие костры, чтоб жарить. И вот я, как главный, объявляю правило. Костры нигде не жечь ни за что. Только на горе.

Шум поднялся невероятный. Все вскакивали, орали, Ральф орал в ответ:

– Если тебе нужно зажарить рыбу или краба – подымайся на гору, ничего с тобой не случится! И так оно верней.

В низящихся лучах замелькали потянувшиеся за рогом руки. Ральф вспрыгнул на бревно.

– Вот что я хотел сказать. Ну и сказал. Вы сами меня выбрали. И должны меня слушаться.

Постепенно все затихли, уселись. Ральф спрыгнул на землю и заговорил обычным голосом.

– Значит, так. Уборная в скалах. Костер чтоб всегда горел и всегда был дым. Жечь огонь только на горе. Еду жарить там.

Джек встал, мрачно хмурясь, потянулся за рогом.

– Я еще не кончил.

– Да ты уж сколько наговорил!

– У меня рог.

Джек сел, недовольный.

– И – последнее. Об этом и так разговоры, наверное.

Он выждал, пока на площадке водворилась тишина.

– Не получается у нас как-то. Не пойму, что такое. Так хорошо начинали. Весело было. И вот...

Он погладил рог, устремив мимо них пустой взгляд, думая про зверя, змея, костер, разговоры про страх.

– И вот все начали бояться.

Поднялся и тотчас замер ропот, почти стон. Джек уже не строгал. Ральф продолжал отрывисто:

– Это все малыши зря болтают. Это надо уладить. Так что вот, последнее, что нам остается еще решить, – это насчет страха.

Опять ему в глаза полезли волосы.

– Надо поговорить насчет этого страха, ведь бояться-то нечего. Я и сам иногда боюсь. Только глупости это! Выдумки. Давайте разберемся насчет этого страха, и тогда он не будет нам мешать, и можно будет заняться серьезными делами, как костер, например. – В голове у него мелькнула картинка – трое мальчиков над сверкающим морем. – И опять нам будет хорошо, нам будет весело.

Ральф торжественно положил рог на бревно в знак того, что речь его окончена. Пробивавшиеся к ним лучи уже совсем припадали к земле.

Джек встал и взял рог.

– Значит, решили поговорить начистоту. Ладно. Скажу все прямо. Весь этот страх вы, малыши, сами выдумали. Зверь! Да откуда? Ну бывает и нам страшно иногда, но подумай, дело большое – страшно! Вот Ральф говорит, вы по ночам орете. Ну и что! Это просто от кошмаров. И вообще – вы не строите, вы не охотитесь, толку от вас чуть, сыночки мамочкины, неженки. Вот. Нам тоже страшно бывает, но мы нюни не распускаем!

Ральф смотрел на Джека, раскрыв рот, Джек ничего не замечал.

– От страха вас не убудет. Сам-то страх не кусается. Нет здесь на острове никаких страшилищ. – Он оглядел перешептывающихся малышей. – А так бы вам и надо, если бы вас кто-то и съел, кому вы нужны, плаксы несчастные! Да только нет – слышите вы? – нет зверя здесь...

Ральф не выдержал:

– Да ты что? Кто говорит про зверя?

– Сам же недавно говорил. Сказал, снится им что-то, они кричат. А теперь распустили языки, и не одни малыши, но бывает, даже мои, охотники – болтают про черное что-то, про зверя какого-то, я сам слышал. А, так ты не знал, да? Тогда послушай. На таких маленьких островах не бывает больших зверей. Исключительно свиньи. Львы и тигры водятся только в больших странах, в Африке, например, или в Индии...

– Или в зоопарке...

– У меня рог! И я не про страх говорю. А я про зверя говорю. Хочется вам пугаться – пожалуйста! Но насчет зверя...

Джек помолчал, качая рог, как ребенка, потом повернулся к своим охотникам в грязных черных шапочках:

– Настоящий я охотник или нет?

Они только закивали в ответ. Да, охотник он настоящий. Тут кто же мог сомневаться?

– Ну так вот, я прочесал весь остров. Сам. Один. Если б тут был зверь, я бы его увидел. Можете бояться, раз вы трусы такие, но зверя в лесу никакого нет.

Джек отдал рог и сел. Все облегченно захлопали. Рог взял Хрюша.

– Вообще-то я с Джеком не согласен. Но кое-чего он верно сказал. Зверя в лесу нету. И не может быть. Чего бы он кушал?

– Свиней!

– Вот мы же едим свиней!

– Хрюшек он кушает!

– У меня рог, – возмутился Хрюша. – Ральф, скажи им, ну чего они, а Ральф? Эй вы, малыши, тихо! Я говорю, насчет страха это я не согласен с Джеком. В лесу вам бояться нечего. Да я тоже там был. Вы еще духов выдумаете и привидения разные. Что есть – то и есть, и всегда понятно что к чему, а если чего не так, на все люди есть, чтоб разобраться.

Сразу, как будто выключили свет, зашло солнце. Хрюша снял очки и мигая посмотрел на малышей.

Потом он продолжал свои разъяснения:

– Когда у тебя болит, к примеру, живот, все равно, большой он там у тебя или маленький...

– Ну, у тебя-то большой!

– Ладно, вы кончайте смеяться, а тогда мы, может, продолжим собрание. И если малыши полезут обратно на кувыркалку, они сразу ведь свалятся. Так что лучше уж сразу садитесь на землю и слушайте. Ну вот. Для всего свои доктора есть, даже для мозгов. Неужели ж вы думаете, так и можно все время неизвестно чего бояться? В жизни, – сказал убежденно Хрюша, – в жизни – все научно, вот. Года через два, как кончится война, можно будет летать на Марс, туда и сюда. Я знаю – нету тут никакого зверя, ну, с когтями и вообще – но я и про страх тоже знаю, что нету его.

Хрюша помолчал.

– Если только...

Ральф вздрогнул:

– Если – что?

– Если только друг дружку не пугать.

Кругом раздались неприязненные смешки. Хрюша втянул голову в плечи и заключил скороговоркой:

– Ну давайте выслушаем малыша, который про зверя говорил, и, может, объясним ему, что все это глупость одна.

Малыши затараторили все разом, и один выступил вперед.

– Как тебя зовут?

– Фил.

Для малыша он держался уверенно, покачал рогом в точности, как Ральф, и так же точно, как Ральф, оглядел всех, призывая к вниманию.

– Вчера мне приснился сон, страшный сон, как будто бы я дерусь. Как будто я около шалаша, один, и я отбиваюсь от этих, от крученых, какие висят по деревьям.

Он умолк, и в нервном хихиканье малышей был призыв ужаса и сочувствия.

– Я испугался и проснулся. Проснулся и вижу – я один около шалаша, а этих черных и крученых уже нет.

Они затихли, воочию, с трепетом представив себе все это. Опять из-за рога запищал детский голосок:

– Я испугался и стал Ральфа звать и вдруг вижу: под деревьями идет что-то, большое и страшное.

Он смолк, обмирая от воспоминания, но не без гордости, что сумел напугать и других.

– Это у него был кошмар, – сказал Ральф, – он ходил во сне.

Собрание сдержанным гулом одобрило мудрость Ральфа.

Малыш упрямо затряс головой.

– Нет, когда те, крученые, со мной дрались, это я спал, а когда они пропали, я уже не спал, и я видел, как что-то большое и страшное идет под деревьями.

Ральф потянулся за рогом, малыш сел.

– Нет, ты спал. Никого там не было. Ну, кому охота ночью по лесу бродить? Кому? Выходил кто-нибудь ночью?

Все долго молчали, усмехаясь дикому предположению, что кто-то мог выходить в темноте. Но вот встал Саймон. Ральф глядел на него во все глаза.

– Ты? Тебе-то зачем в темноте по лесу шататься?

Саймон судорожно вцепился в рог.

– Я хотел... я хотел к одному месту пройти.

– Какому еще месту?

– Ну, есть одно место. В джунглях.

Он замылся.

Джек снял напряжение; только он умел говорить так презрительно, так насмешливо и твердо:

– Все ясно! Ему живот схватило.

Ральфу стало обидно и стыдно за Саймона, и, строго глядя ему в лицо, он отобрал у него рог.

– Ладно. Ты больше не надо. Понял? Ночью туда не ходи. И так глупости всякие болтают про зверя, а тут еще ты на глазах у малышей будешь красться, как какой-то...

В издевательских смешках остался призыв страха, и еще в них было осуждение. Саймон открыл рот, но рог был уже у Ральфа, и он сел на свое место.

Когда все уgomонились, Ральф повернулся к Хрюше:

– Что у тебя, Хрюша?

– Да тут вон еще один. Этот.

Малыши вытолкали Персиваля на середину треугольника. Он стоял по колено в высокой траве, смотрел на свои увязнувшие в траве ноги и силился вообразить, что никто не видит его, что он в укрытии. Ральфу представилось, как точно так же стоял другой карапуз, и он поскорей отогнал эту картинку. Он старался больше ее не видеть, вытравил ее, загнал далеко, глубоко, и только от прямого напоминанья, как сейчас, и могла она выплыть. Малышей так и не созывали на переключку, отчасти потому, что по крайней мере на один из вопросов, которые задавал тогда на горе Хрюша, Ральф знал ответ твердо. Были вокруг малыши светлые, темные, были веснушчатые, и все до единого грязные, но на всех лицах – и тут никуда уж не денешься – была

кожа как кожа. Никто никогда больше не видел той багровой отметины. Но зачем только Хрюша тогда, замазывая свою вину, так орал и надсаживался? Без слов давая понять, что он все помнит, Ральф кивнул Хрюше:

– Ну ладно. Сам спрашивай.

Хрюша стал на колени, держа перед малышом рог.

– Хорошо. Как тебя звать?

Малыш отпрянул в свое укрытие. Хрюша растерянно повернулся к Ральфу, тот спросил жестко:

– Как тебя зовут?

Тот опять промолчал. Не выдержав этого запирательства, собрание грянуло хором:

– Как тебя зовут? Как тебя зовут?

– Тихо вы!

Ральф в сумерках разглядывал малыша.

– Ну скажи нам. Как тебя зовут?

– Персиваль Уимз Медисон, дом священника, Хакет Сент-Энтони, Гемпшир, телефон, телефон, теле...

И словно только этот адрес заграждал потоки скорби, малыш расплакался. Личико скривилось, из глаз брызнули слезы, рот чернел квадратной дырой. Сначала он постоял немим воплощением скорби; потом плач хлынул, густой и крепкий, как звуки рога.

– Хватит тебе! Умолкни!

Но Персиваль Уимз Медисон умолкнуть не мог. Потоки прорвало так, что не остановить никакой властью, ни даже угрозами. Рыдания сотрясали грудь Персиваля, и он не мог от них вырваться, будто его накрепко пригвоздило к вою.

– Замолчишь ты или нет?!

И других малышей проняло. Каждый вспомнил о своем горе; а возможно, они осознали свое соучастие в горе вселенском. Они расплакались, и двое почти так же громко, как Персиваль.

Спас положение Морис. Он крикнул:

– Эй, поглядите-ка на меня!

Он нарочно упал. Потер крестец, уселся на кувыркалку, плюхнулся. Клоун из Мориса вышел плохой. Но Персиваль и другие малыши отвлеклись, хлюпнули носами, захохотали. И вот они уже зашлись в таком несуразном хохоте, что заразили больших.

Джек и в общем шуме заставил к себе прислушаться. Рога у него не было, он нарушал правила, но этого никто не заметил.

– Ну, так как же насчет зверя?

Что-то странное случилось с Персивалем. Он зевнул, закачался так, что Джеку пришлось схватить его за плечи и встряхнуть.

– Где обитает этот зверь?

Персиваль оседал в руках у Джека.

– Умный, видать, зверь, – усмехнулся Хрюша, – раз сумел тут запрятаться.

– Джек весь остров обрыскал...

– И где этому зверю жить?..

– Пускай своей бабушке про зверя расскажет!

Персиваль забормотал что-то потонувшее в общем хохоте. Ральф весь подался вперед.

– Что? Что он говорит?

Джек выслушал ответ Персиваля и выпустил его плечи. Персиваль, освобожденный, в утешительном окружении двуногих, упал в высокую траву и погрузился в сон.

Джек откашлялся и бросил небрежно:

– Он говорит, что зверь выходит из моря.

Смешки как-то осеклись. Ральф невольно обернулся – скорченная фигурка, черная на фоне лагуны. Все посмотрели туда же и вслушались. Дали пластались, убегали, ломились за простор густого, чужого и всемогущего ультрамарина; и шептались и всхлипывали у рифа волны.

Вдруг Морис выпалил так громко, что все вздрогнули:

– Мой папа говорит, еще пока не всех морских животных даже открыли.

Опять все загалдели. Ральф протянул блистающий в сумраке рог, и Морис послушно взял его. Собрание угомнилось.

– По-моему, Джек верно сказал, каждому может быть страшно, и от страха никого не убудет, ничего тут такого нет. Ну а вот насчет того, что одни свиньи на этом острове водятся, так это он, возможно, и верно говорит, но ведь же он не знает. Ну, то есть наверняка, точно же он не знает... – Морис шумно сглотнул. – Папа говорит, есть такие штуки, ой, ну как же их, они еще чернилами плюются – спруты, – так те в сто ярдов бывают и китов пожирают – свободно. – Он помолчал и рассмеялся весело. – Конечно, я в зверя не верю. Вот и Хрюша говорит – в жизни все научно, но ведь же мы не знаем? Ну, то есть наверняка...

Кто-то крикнул:

– Не может спрут этот из воды вылезать!

– Нет, может!

– Не может!

Тотчас площадку заполнили шум, гам и мечущиеся тени. Ральф, не вставая с места, смотрел, и ему казалось, что все с ума походили. Плетут про зверя, про страх, а того не могут взять в толк, что важнее всего – костер. А как только станешь им объяснять, начинают спорить и до разных ужасов добалтываются.

Различив в сумерках робкую белизну рога, он выхватил его у Мориса и стал дуть изо всей мочи. Все смолкли. Саймон подошел и протянул руку к раковине. Необходимость толкала Саймона выступить, но стоять и говорить перед собранием была для него пытка.

– Может, – решился он наконец, – может, зверь этот и есть.

Вокруг неистово заорали, и Ральф встал, потрясенный:

– Саймон – ты? И ты в это веришь?

– Не знаю, – сказал Саймон. Сердце у него совсем зашло, он задыхался.

– Я...

И тут разразилась буря:

– Сиди уж!

– А ну, клади рог!

– Да пошел ты!..

– Умолкни!

Ральф крикнул:

– Дайте ему сказать! У него рог!

– То есть... может... ну... это мы сами.

– Вот полоумный!

Это уж попирал все приличия не стерпевший Хрюша.

Саймон продолжал:

– Может, мы сами, ну...

Саймон растерял все слова в попытках определить главную немощь рода человеческого. И вдруг его осенило:

– Что самое нечистое на свете?

Вместо ответа Джек бросил в обалдевшую тишину непристойное слово.

Разрядка пришла как оргазм. Те малыши, которые успели снова забраться на кувыркалку, радостно поплюхались в траву. И взревели ликующие охотники.

Хохот больно ударил Саймона и разбил его решимость вдребезги. Саймон сжался и сел.

Наконец все снова затихли. Кто-то, не попросивши рог, сказал:

– Может, это он про духов разных.

Ральф поднял рог и вглядывался в сумрак. Всего светлей был бледный берег. Малыши как будто подобрались ближе? Ну да, конечно, сжались в кучку на траве посерединке. От порыва ветра разворчались пальмы, и шум резко и заметно врубился в темноту и тишину. Два серых ствола терлись друг о дружку с мерзким скрипом, которого днем не замечал никто.

Хрюша взял рог из рук Ральфа. Голос Хрюши звенел негодованьем:

– Не верю я в никаких духов!

Джек тоже вскочил, почему-то ужасно злой.

– Какое кому дело, во что ты веришь, Жирняй!

– У меня рог!

Послышались звуки схватки, рог заметался во тьме.

– А ну положи сюда рог!

Ральф бросился их разнимать, получил по животу, вырвал рог из чьих-то рук и сел, задыхаясь.

– Ну хватит этих разговоров про духов. Давайте отложим до утра.

Тут вмешался приглушенный и неизвестно чей голос:

– Зверь этот, наверно, и есть дух.

Собрание будто ветром встряхнуло.

– Ну, хватит без очереди говорить, – сказал Ральф. – Если мы не будем соблюдать правила, все наши собрания ни к чему.

И снова он осекся. Тщательно составленный план собрания шел насмарку.

– Ну, что же мне теперь сказать? Зря я так поздно вас собрал. Давайте проголосуем насчет них, ну, насчет духов. А потом разойдемся и ляжем спать, мы устали. Нет – это ты, Джек? – нет, погоди минутку. Сначала я сам скажу – я лично в духов не верю. Да, по-моему, я в них не верю. А вот думать про них мне противно. Особенно в темноте. Но мы же решили вообще разобраться что к чему.

Он поднял рог.

– Ну так вот. Значит, давайте разберемся, есть духи или нет...

Он запнулся и переждал мгновенье, поточней составляя вопрос.

– Кто считает, что духи бывают?

Долго все молчали и не шевелились. Потом Ральф всмотрелся в сумрак и разглядел там руки.

И сказал скучно:

– Ясно.

Мир – удобопонятный и упорядоченный – ускользал куда-то. Раньше все было на месте, и вот... и корабль ушел.

У него вырвали рог, и голос Хрюши заорал пронзительно:

– Я ни за каких за духов не голосовал!

Он рывком повернулся к собранию:

– И запомните.

Слышно было, как он топнул ногой.

– Кто мы? Люди? Или зверье? Или дикари? Что про нас взрослые скажут? Разбегаемся, свиней убиваем, костер бросаем, а теперь еще – вот!

На него надвинулась грозная тень.

– А ну, заткнись, слизняк жирный!

Завязалась мгновенная стычка, и вверх-вниз задергался мерцающий в темноте рог, Ральф вскочил:

– Джек! Джек! Рог не у тебя! Дай ему сказать!

На него наплывало лицо Дджека.

– И ты сам тоже заткнись! Да кто ты такой? Сидишь, распоряжаешься! Петь ты не умеешь, охотиться не умеешь...

– Я главный. Меня выбрали.

– Подумаешь, выбрали! Дело большое! Только и знаешь приказы дурацкие отдавать!.. Много ты понимаешь!

– Рог у Хрюши.

– Ах, Хрюша! Ну и цапкайся со своим любимчиком!

– Джек!

Джек передразнил злобно:

– Джек! Джек!

– Правила! – крикнул Ральф. – Ты нарушаешь правила!

– Ну и что?

Ральф взял себя в руки.

– А то, что, кроме правил, у нас ничего нет.

Но Джек уже орал ему в лицо:

– Катись ты со своими правилами! Мы сильные! Мы охотники! Если зверь этот есть, мы его выследим! Зажмем в кольцо и будем бить, бить, бить!

И с диким воем выбежал на бледный берег. Тотчас площадка наполнилась бегом, суетой, воплями, хохотом. Собрание кончилось. Все кинулись врассыпную, к воде, по берегу, во тьму. Ральф почувствовал щекой прохладу раковины и взял рог из рук у Хрюши.

– Что взрослые скажут? – крикнул опять Хрюша. – Ну погляди ты на них!

С берега летели охотничьи кличи, истерический хохот и полные непритворного ужаса взвизги.

– Ты протруби в рог, а, Ральф.

Хрюша стоял так близко, что Ральф видел, как блестит уцелевшее стеклышко.

– Неужели они так и не поняли? Про костер?

– Ты будь с ними твердо. Заставь, чтоб они тебя слушались.

Ральф ответил старательно, словно перед классом теорему доказывал:

– Предположим, я протрублю в рог, а они не придут. Тогда – все. Мы не сможем поддерживать костер. Станем как звери. И нас никогда не спасут.

– А не протрубишь – все равно мы станем как звери. Мне не видать, чего они там делают, но зато мне слышать.

Разбросанные по песку фигурки слились в густую, черную, вертящуюся массу. Что-то они там пели, выли, а изнемогшие малыши разбредались, голося. Ральф поднял к губам рог и сразу опустил.

– А главное, Хрюша: есть эти духи? И этот зверь?

– Конечно, нету их.

– Ну почему?

– Да потому, что тогда бы все ни к чему. Дома, улицы. И телевизор бы не работал. И все бы тогда зазря. Без смысла.

Танцевали и пели уже далеко, пенье сливалось вдалеке в бессловесный вой.

– А может, и правда все без смысла. Ну, тут, на острове? И они за нами следят, подстерегают?

Ральфа всего затрясло, он так бросился к Хрюше, что стукнулся об него в темноте, и оба испугались.

– Хватит тебе! И так плохо, Ральф, прямо не могу я больше! Если еще и духи эти...

– Не буду я больше главным. Ну, послушай ты их!

– Ох, господи! Нет! Нет!

Хрюша вцепился в плечо Ральфа.

– Если Джек будет главным, будет одна охота и никакой не костер. И мы тут все перемрем...

И вдруг Хрюша взвизгнул:

– Ой, кто это тут еще?

– Это я, Саймон.

– Да уж. Молодцы, – сказал Ральф. – Три слепых мышонка. Нет, откажусь я.

– Если ты откажешься, – перепугано зашептал Хрюша, – что же со мной-то будет?

– А ничего.

– Он меня ненавидит. За что – не знаю. Тебе-то что. Он тебя уважает. И потом, ты ж в случае чего и садануть можешь.

– Ну да! А сам-то как с ним сейчас подрался!

– У меня же был рог, – просто сказал Хрюша. – Я имел право говорить.

Саймон шевельнулся во тьме:

– Ты оставайся главным!

– Ты бы уж помалкивал, крошка. Ты почему не мог сказать, что никакого зверя нет?

– Я его боюсь, – шептал Хрюша. – И поэтому я его знаю как облупленного. Когда боишься кого, ты его ненавидишь и все думаешь про него и никак не выбросишь из головы. И даже уж согласишься, что он – ничего, а потом как помотришь на него – и вроде астмы, аж дышать трудно. И знаешь чего, Ральф? Он ведь и тебя ненавидит.

– Меня? А меня за что же?

– Не знаю я. Ты на него за костер ругался. И потом ты у нас главный, а не он.

– Он зато Джек Меридью!

– Я болел много, лежал в постели и думал. Я насчет людей понимаю. И насчет себя понимаю. И насчет его. Тебя-то он не тронет. Но если ты ему мешать больше не будешь, он на того, кто рядом, накинется. На меня.

– Правда, Ральф. Не ты, так Джек. Ты уж будь главным.

– Конечно, сидим сложа руки, ждем чего-то, вот все у нас и разваливается. Дома всегда взрослые были. Простите, сэр; разрешите, мисс; и на все тебе ответят. Эх, сейчас бы!..

– Эх, была б тут моя тетя!

– Или мой папа... Да теперь-то чего уж!

– Надо, чтоб костер горел.

Танец кончился, охотники шли уже к шалашам.

– Взрослые, они все знают, – сказал Хрюша. – И они не боятся в темноте. Они бы вместе чай попивали и беседовали. И все бы решили.

– Уж они бы остров не подпалили. У них бы не пропал тот...

– Они бы корабль построили...

Трое мальчиков стояли во тьме, безуспешно пытаюсь определить признаки великолепия взрослой жизни.

– Уж они бы не стали ругаться...

– И очки бы мои не кокнули...

– И про зверя бы не болтали...

– Если б они могли нам хоть что-то прислать! – в отчаянии крикнул Ральф. – Хоть бы что-нибудь взрослое... хоть сигнал бы подали...

Вдруг из тьмы вырвался вой, так что они прижались друг к другу и замерли. Вой взывался, истончался, странный, невысказанный, и перешел в невнятное бормотанье. Персиваль Уимз Медисон, из дома священника в Хакете Сент-Энтони, лежа в высокой траве, вновь проходил через перипетии, против которых бессильна даже магия вызубренного адреса.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗВЕРЬ СХОДИТ С НЕБА

Дневной свет кончился, остались одни звезды. Когда выяснился источник призрачных звуков и Персиваль наконец затих, Ральф и Саймон неловко подняли его и поволокли к шалашу. Хрюша не отставал от них ни на шаг, несмотря на отважные речи, и трое старших разом нырнули в соседний шалаш. Шумно шурша шершавой листвой, долго смотрели на черный в звездную искорку выход к лагуне. В других шалашах то и дело вскрикивали малыши, раз даже кто-то большой заговорил в темноте. Потом и они уснули.

Лунный серп всплыл над горизонтом, такой маленький, что, даже висая над самой водой, почти не бросал в нее дорожки. Но вот в небе зажглись иные огни, они метались, мигали, гасли, а до земли отзвуки боя в десятимильной высоте не доходили и слабеньким треском. Но взрослые все же послали детям сигнал, хотя те уже спали и его не заметили. Вспышка раскрыла небо огненной спиралью, и тотчас снова стемнело и вызвездило. В звездной тьме над островом кляксой проступила фигурка, она полетела вниз, бессильно мотаясь под парашютом. Переменные ветры разных высот как хотели болтали, трепали и швыряли фигурку. Потом, в трех милях от земли, ровный ветер проволока ее по нисходящей кривой по всему небу и перетащил через риф и лагуну к горе. Фигурка повалилась, уткнулась в синие цветы на склоне, но и сюда задувал ветер, парашют захлопал, застучал, вздулся. Тело скользнуло вверх по горе, бесчувственно загребая ногами. Ярд за ярдом, рывок за рывком, ветер тащил его по синим цветам, по камням и скалам и наконец швырнул на вершину, среди розовых глыб. Тут порывом ветра спутало и зацепило стропы; и тело, укрепленное их сплетеньем, село, уткнувшись шлемом в колени. Ветер налетал, стропы натягивались иногда так, что грудь выпрямлялась, вскидывалась голова, и тень будто всматривалась за скалы. И как только ветер стихал, слабели стропы, и тень снова роняла голову между колен. Ночь сияла, по небу брели звезды, тень сидела на горе и кланялась, и выпрямлялась, и кланялась.

В предрассветной тьме склон недалеко от вершины огласился шумами. Двое мальчиков выкатились из вороха сухой листвы, две смутных тени переговаривались заспанными голосами. Это были близнецы, дежурившие у костра. Теоретически им полагалось спать по очереди. Но они не умели ничего делать врозь. А раз бодрствовать всю ночь было неммыслимо, оба улеглись спать. И теперь, привычно ступая, позевывая и протирая глаза, оба двигались к оставшемуся от сигнального костра пеплу. Подойдя, они сразу перестали зевать, и один бросился за листвой и хворостом.

Другой опустился на корточки.

– Погас вроде.

Он покопался в золе подоспевшими веточками.

– Хотя нет.

Он припал губами к самому пеплу и легонько подул, и во тьме обозначилось его лицо, подсвеченное снизу красным. На секунду он перестал дуть. – Сэм, нам надо...

– ...гнилушку.

Эрик снова стал дуть, пока в золе не зажглось пятнышко. Сэм сунул в жар гнилушку, потом ветку. Жар раздулся, ветка занялась. Сэм подложил еще веток.

– Много не клади, – сказал Эрик, – ты погоди подбрасывать.

– Давай погреемся.

– Тогда надо еще дров натаскать.

– Холодно...

– Ага...

– И вообще...

– Темно. Да уж.

Эрик, не вставая с корточек, смотрел, как Сэм складывает костер. Он поставил сухие прутья шалашиком, и вот запылал защищенный от ветра огонь.

– Еще бы чуть-чуть, и...

– Ух, он бы...

– Раскипятился.

– Ага.

Несколько секунд близнецы молча смотрели в костер. Потом Эрик хмыкнул.

– А он жутко тогда кипел, да?

– Тогда, из-за...

– Костра и свиньи.

– Хорошо еще Джеку попало. Не нам.

– Ага. А помнишь в школе Вспыха-Психами?

– Вы-до-ве-де-те-ме-ня-до-безу-у-умия, юноша!

Близнецы закатились в своем неразличимом хохоте, но вспомнили тьму и кое-что другое, осеклись и стали беспокойно озираться, а потом снова устались в принявшееся уже за шалашик пламя. Эрик разглядывал мечущихся букашек, лихорадочно и безнадежно пытавшихся выбраться из огня, и вспомнил тот, первый костер – там, на круче, где теперь было черным-черно. Вспоминать про это ему не хотелось, и он перевел глаза к вершине.

Жар приятно бил в лицо. Сэм развлекался тем, что, подбрасывая ветки, наклонялся к самому костру. Эрик держал ладошки над костром как раз на таком расстоянии, что еще чуть-чуть ближе – и обожжешься. Его праздный взгляд блуждал поверх огня и наделял сведенные тьмой к плоским теням ночные глыбы их дневной объемом. Вон там та большая скала, и три камня, и еще расщепленная скала, а дальше щель, а там...

– Сэм!

– А?

– Нет, ничего.

Пламя пожирало ветки, корчилась и отваливалась кора, трещало дерево. Шалашик рухнул, разметав над вершиной широкий круг света.

– Сэм...

– А?

– Сэм! Сэм!

Сэм раздраженно глядел на Эрика. Застывший, уставленный взгляд Эрика ужаснул Сэма, потому что Эрик смотрел на что-то у него за спиной. Сэм перебрался к нему, сел на корточки рядом, тоже посмотрел. Оба вцепились друг в дружку и замерли – четыре немигающих глаза, два разинутых рта.

Далеко внизу лес охнул и загремел. На головах у них забились волосы, пламя подсеклось и сломалось. В пятнадцати ярдах от них хлопала вздутая ткань.

Ни один не вскрикнул, только крепче вцепились друг в дружку, и у них отвисли челюсти. Так сидели они секунд десять, пока огонь окатывал вершину искрами, дымом и прерывистым, хлещущим светом.

Потом сразу оба, будто в нераздельном ужасе, они перебрались через скалы и бросились наутек.

Ральфу снился сон. Он уснул наконец, бог знает сколько времени шумно проворочавшись в сухих листьях. Даже стоны и выкрики из других шалашей не достигали его, потому что он был далеко, он был там, где раньше, и он кормил сахаром пони через садовый забор. А потом кто-то затряс его за плечо и сказал, что пора пить чай.

– Ральф! Проснись!

Листья загремели, как море.

– Ральф! Проснись!

– А? Что?

– Мы видели...

– ...зверя...

– Совсем близко!

– Кто тут? Близнецы?

– Мы видели зверя!

– Тихо! Хрюша!

Листья все гремели. Хрюша наткнулся на него, потому что он уже кинулся навстречу засматривающим в шалаш потускневшим звездам, но его не пустили близнецы.

– Не ходи! Там ужас!

– Хрюша, где наши копья?

– Ой, слышите...

– Тогда тихо! Ложитесь.

Они лежали и, не веря, а потом ужасаясь, слушали шепот близнецов, то и дело перемежавший оторопелые паузы. Тьма наполнилась неизвестным и грозным, когтями, клыками. Рассвет томительно долго стирал с неба звезды, и наконец в шалаш поползло унылое серое утро. Они зашевелились, хотя у входа стерег неотступный страх. Пуганая тьма уже расслаивалась на даль и близь, и затеплели подцветкой облачка в вышине. Одинокая морская птица взвилась с хриплым криком, эхо перехватило его, и что-то засвистело в лесу. Лоскуты облаков у горизонта пропитались розовостью, и снова стали зелеными верхушки пальм.

Ральф встал на колени у входа и осторожно выглянул из шалаша.

– Эрик, Сэм. Зовите всех на собрание. Только тихо. Живей.

Близнецы, дрожа и жмясь друг к дружке, ползком одолели расстояние до следующего шалаша и там выложили страшную новость. Ральф заставил себя встать и пошел к площадке, достоинства ради держась очень прямо, хоть по спине у него бегали мурашки; Хрюша и Саймон шли следом, сзади пробирались остальные.

Ральф взял рог с отполированного ствола и поднес к губам; но раздумал и не подул, а вместо этого только поднял раковину и показал всем. И все поняли.

Лучи, пучком расходившиеся над горизонтом, теперь пластались уже вокруг, на уровне глаз. Ральф глянул на взбухающую золотую дольку, которая озаряла их справа и будто подбадривала. Кружок мальчиков перед ним ошетинился копиями.

Он передал рог Эрику, потому что тот сидел ближе Сэма.

– Мы видели зверя своими глазами. Нет, не во сне...

Сэм его перебил. Рог служил обоим близнецам сразу, так повелось, ввиду их совершенной нерасторжимости.

– На нем шерсть. И сзади у него что-то – вроде крылья. И он шевелился...

– Ой, жуть. Он, что ли, сел...

– Костер горел всю...

– Мы его как раз разожгли...

– Веток подложили...

- У него глаза...
- Зубы...
- Когти...
- Мы ка-ак побежим...
- Прямо по скалам...
- Натыкаемся...
- А он за нами...
- Я видел, он за деревьями прятался...
- Чуть меня не сцапал...

Ральф с испугом показал на лицо Эрика, в кровь исполосованное ветками.

– Как это ты?

Эрик пощупал лицо.

– Весь покарябался. И кровь?

Мальчики, сидевшие рядом с Эриком, в ужасе отпрянули. Джонни, еще не переставший зевать, вдруг разразился слезами, и Билл хлопал его по спине, пока он не затих. Яркое утро было полно угроз, и кружок мальчиков стал меняться. Взгляды уже не устремлялись к центру, все озирались по сторонам, из-за своих деревянных копий, как из-за ограды. Джек заставил их вспомнить, что они не в засаде, а на собрании.

– Вот это будет охота! Кто со мной?

Ральф заерзал на месте.

– Копья у нас – деревянные палки. Не болтай.

Джек ухмыльнулся:

– Ага! Боишься?

– Да, а что? Ты, что ли, не боишься?

И в отчаянной, обреченной надежде он повернулся к близнецам:

– Вы же нам головы не морочите? А?

Протест был такой пламенный, что в его искренности никто бы не мог усомниться.

Рог взял Хрюша.

– А может... может, нам тут остаться? Глядишь, зверь к нам и не сунется.

Если б не ощущение, что за ними кто-то следит, Ральф бы на него накричал.

– Тут остаться? В угол забиться и вечно дрожать? А что мы есть будем? И как же костер?

– Давайте двигаться, – дернулся Джек. – Мы только зря время теряем.

– Нет. погоди. Как нам с малышами быть?

– А, да ну их!

– Кто-то должен за ними присматривать.

– Пока что они без нас обходились.

– Пока что можно было. А сейчас нельзя. За ними присмотрит Хрюша.

– Вот именно. Трясись над своим драгоценным Хрюшей, пусть тут отсиживается.

– Сам подумай. Ну что Хрюша может с одним глазом?

Остальные с любопытством переводили взгляды с Ральфа на Джека.

– И вот еще что. Обычная охота тут не годится, зверь же не оставляет следов. Оставлял бы – ты бы увидел. Скорей всего, он с дерева на дерево перемахивает, вроде, этих, ну, как их...

Вокруг закивали.

– Так что тут еще подумать надо.

Хрюша снял покалеченные очки и принялся протирать уцелевшее стеклышко.

– Ральф, а мы-то как же?

– Рог не у тебя. На, держи.

– Так я вот чего – мы-то как же? Вдруг зверь придет, когда вас не будет. Я плохо вижу, и если я напугаюсь...

Джек перебил презрительно:

– Ну ты-то вечно пугаешься.

– У меня рог!

– Рог, рог! – заорал Джек. – Причем тут это! Сами уже знаем, кого надо слушать. Много ли умного Саймон, или Билл, или Уолтер скажут? Кое-кому пора бы заткнуться и сообразить, что не им решать...

Это было уже слишком. Кровь прилила к щекам Ральфа.

– Рог не у тебя. Сядь.

Лицо у Джека побелело, веснушки выступили четкими коричневыми крапинками. Он облизнул губы и не сел.

– ...И это уж дело охотников.

Все смотрели на них во все глаза. Хрюша от греха подальше сунул рог на колени к Ральфу и сел. Нависала гнетущая тишина, Хрюша затаил дыхание.

– Нет, это дело не только охотников, – выговорил наконец Ральф. – Зверя же не выследишь. И неужели ты не хочешь, чтоб нас спасли?

Он повернулся к собранию:

– Хотите вы или нет, чтобы нас спасли?

И опять посмотрел на Джека:

– Я уже говорил, главное – костер. А сейчас он, конечно, погас...

И опять его взяла злость, она выручила его, подхлестнула, придала духу, он перешел в атаку:

– Сообщаете вы все или нет? Надо же костер зажечь! Об этом ты не подумал? Да, Джек? Или, может, никто и не хочет, чтоб нас спасли?

Ну нет, чтоб спасли – кто же не хочет, тут уж все ясно, и перевес снова, одним махом, был на стороне Ральфа. Хрюша выдохнул со свистом, снова

глотнул воздуха, задохнулся. Он привалился к бревну, разевая рот, и к его губам подбирались синие тени. На него не обращали внимания.

– Ну-ка вспомни, Джек. Может, есть на острове место, где ты еще не был?

Джек нехотя ответил:

– Если только... А! Ну да! Помнишь? В самом хвосте, где скалы навалены. Я подходил совсем близко. Там такой перешеек. И другого подступа нет.

– Может, там он и живет.

Все сразу загалдели.

– Тихо! Ну ладно. Пойдем туда. Если там зверя не окажется, заберемся на гору, посмотрим оттуда; и костер разведем.

– Пошли.

– Сперва надо поесть. Потом пойдем. – Ральф помолчал. – Копья, наверно, все же захватим.

Они поели, и Ральф повел старших вдоль берега. Хрюшу так и оставили валяться на площадке. День, как и все эти дни, обещал солнечную баню под синим куполом. Его еще не поволокло зыблящейся дымкой, и потому берег убежал плавной дугой очень далеко, пока не сливался в одно с лесом. Ральф выбрал тропку вдоль пальмовой террасы, не решаясь спускаться на раскаленный песок. Он предоставил Джеку идти впереди, и тот выступал с комическими предосторожностями, хотя они бы заметили врага уже с двадцати ярдов. А сам Ральф, радуясь тому, что на время избавился от ответственности, замыкал шествие.

Саймон шел впереди Ральфа, и его одолевали сомненья – страшный зверь, с когтями, сидит на вершине горы и не оставляет следов, а за близнецами не мог угнаться? Сколько бы Саймон ни думал про этого зверя, его воображенью явственно рисовался человек – героический и больной.

Он вздохнул. Другие спокойно встают и говорят перед собранием, и видно, что их не мучит стыд за себя, что у них не сжимается все внутри; говорят что придет в голову, будто обращаются к одному кому-то. Он ступил в сторону и обернулся. Ральф шагал, неся копье на плече. Саймон замедлил шаг и робко пошел рядом с Ральфом, заглядывая ему в лицо снизу вверх из-за темной гривы, застилавшей ему теперь глаза. Ральф глянул на него искоса, заставил себя улыбнуться, будто он и не помнит, какого Саймон сваял дурака накануне, и снова устремил куда-то пустой взгляд. Саймон обрадовался, что его признали, и тотчас забыл о себе. Когда он наткнулся на дерево, Ральф нахмурился и отвернулся, а Роберт хмыкнул. Саймон прынул в сторону, белое пятно у него на лбу побагровело и стало сочиться. Ральф оставил Саймона и вернулся к своим собственным мукам. Скоро они подойдут к замку, этого не миновать, и главному придется пойти впереди.

Джек затрусил назад.

– Уже скоро.

– Ладно. Подойдем как можно ближе.

Он пошел за Джеком пологим подъемом в сторону замка. Слева была непроглядная гуща деревьев и лиан.

– Может, и там что-то? А?

– Было бы заметно. Нет, тут никто не входил и не выходил.

– Ну, а в замке?

– Посмотрим.

Ральф раздвинул заслон травы и выглянул. Впереди было всего несколько каменистых ярдов, а дальше два берега сходились, и тут бы острову, казалось, и кончиться острым мысом. Но вместо этого узкая каменная коса в несколько ярдов шириной и ярдов пятнадцати длиной, продолжая остров, уходила в море. Она утыкалась в один из тех розовых квадратов, которые составляли фундамент острова. Эта стена замка, отвесная скала футов в сто высотой, и была тем розовым бастионом, который они видели тогда сверху. Она вся была в трещинах и сверху завалена грозившими обрушиться камнями.

За Ральфом в высокой траве затаились охотники. Ральф посмотрел на Джека:

– Ты охотник.

Джек багрово покраснел:

– Знаю. Ну, я пошел.

И тогда что-то, очень изглубока, заставило Ральфа вымолвить:

– Я главный. Я сам пойду. И не спорь.

Он повернулся к остальным:

– А вы спрячьтесь. И ждите меня.

Голос не слушался Ральфа, вот-вот совсем замрет или сорвется на крик.

Он посмотрел на Джека:

– Значит, ты думаешь...

Джек пробормотал.

– Я все обшарил. Наверное, тут.

– Понятно.

Саймон промямлил неловко:

– Я не верю в зверя этого.

Учтиво, как обсуждают погоду, Ральф согласился:

– В общем-то, конечно.

Рот у него сжался, губы побелели. Очень медленно он откинул волосы со лба.

– Ну ладно. Пока.

Он принудил свои непослушные ноги вынести его на перешеек.

Кругом разверзались бездны полого воздуха. И некуда спрятаться, и надо вдобавок идти вперед. Он помедлил на узком перешейке и глянул вниз.

Скоро, если считать на столетия, вода превратит этот замок в отдельный остров. Справа лагуна, ее качает открытое море, а слева...

Ральф поежился. Лагуна защищала их от океана. Пока почему-то один только Джек подходил к самой воде с другой стороны. И вот теперь он сам заглянул наконец в пучину с суши, и пучина дышала, она была как живая. Воды медленно опали между скалами и открывали розовые гранитные плиты, и странные наросты кораллов, и полипы, и водоросли. Ниже, ниже, ниже падали воды и всхлипывали, как ветер в листве. Вот показалась плоская скала, гладкая, как стол, и воды, засасываясь под нее, открыли с четырех сторон одетые водорослями грани утеса. А потом спящий левиафан вздохнул – и вода поднялась, заструилась водорослями и вскипела над розовостью столешницы. Здесь волны не ходили, они не шли никуда, просто вскидывались и обрывались, вскидывались и обрывались.

Ральф поднял глаза на красную скалу. За ним следили из высокой травы, смотрели, ждали. Он заметил, что ладони ему холодит застывающий пот; и с изумлением сообразил, что не рассчитывал, в общем-то, повстречаться со зверем и не знает, что ему делать, если зверь окажется тут.

Можно было бы и забраться прямо на скалу, да только не стоило. Вдоль квадратной стены плинтусом шел уступ, так что можно пробраться справа, над лагуной, и завернуть за угол. Идти оказалось нетрудно, и скоро он увидел бастион с тыла.

Ничего нового, все то же – нагромождение розовых глыб, покрытых гуано, как сахарной корочкой; и крутой подъем к камням, сверху наваленным на бастион.

Он обернулся на стук. Джек карабкался по уступу.

– Не мог же я тебя бросить.

Ральф молчал. Он пробрался по скалам, осмотрел пещерку, не обнаружил там ничего зловещего – всего несколько тухлых яиц – и сел, озираясь по сторонам и постукивая кончиком копыя по камню.

Джек захлебывался от восторга:

– Вот где крепость устроить!

Их фонтаном обдали брызги.

– Тут пресной воды нет.

– А это что?

В самом деле, на скале повыше было какое-то зеленоватое пятнышко. Они взобрались туда и попробовали сочившуюся воду.

– Можно кокосовую скорлупу подставлять, чтоб все время полная.

– Нет уж. Спасибо. Поганое место.

Бок о бок они одолели последний подъем, где сооружение сужалось и венчалось последним разбитым камнем. Джек ткнул в него кулаком, и он скрипнул – чуть-чуть.

– Помнишь?..

Оба подумали о дурной полосе в промежутке. Джек выпалил горячей скороговоркой:

– Подсунуть сюда пальму, и если враг подойдет... смотри!.. – В сотне футов под ними шла узенькая дамба, и каменистая земля, и трава в точечках голов, дальше был лес.

– ...навалиться и... – захлебывался Джек, – ...и... р-раз!

Он отвел назад руку, замахнулся. Ральф смотрел на гору.

– Ты чего?

Ральф отвел взгляд от горы.

– А что?

– Ты так смотришь – я прямо не знаю!

– Сигнала нет! Нас с моря не видно.

– Ты просто чокнулся с этим сигналом.

Кругом бежала тугая синяя черта горизонта, надломленная только горой.

– Но больше нам надеяться не на что.

Он прислонил копьё к шаткому камню и обеими горстями смахнул со лба волосы.

– Пошли назад, на гору взберемся. Они же там зверя видели.

– Нет там сейчас зверя никакого.

– Но что же нам делать?

А те, кто засел в траве, увидели невредимых Джека и Ральфа и выскочили из засады на солнце. Увлечшись разведкой, про зверя впопыхах позабыли. Высыпали на перешеек и стали карабкаться. Ральф стоял, облокотясь на красный камень, огромный, как мельничное колесо, расколотый и опасно нависший над обрывом. Он уныло смотрел на гору и молотил сжатым кулаком по красной стене, стиснул зубы, и жадная тоска смотрела из глаз, занавешенных челкой.

– Дым.

Он пососал свой разбитый кулак.

– Джек! Пошли.

Но Джека рядом уже не было.

Со страшным шумом, которого он и не заметил, мальчики раскачивали каменную глыбу. Когда он туда посмотрел, глыба хрустнула и рухнула в воду, и оттуда, чуть не до верха стены, взметнулся гремучий сверкающий столб.

– Хватит вам! Хватит!

Его голос заставил их смолкнуть.

– Дым.

Что-то странное стряслось у него с головой. Что-то металось крылом летучей мыши и застило мысли.

– Дым.
Сразу вернулись мысли, а с ними и ярость.
– Нам дым нужен. А вы тут время теряете. Камни толкаете.
Роджер крикнул:
– Времени-то у нас хватает!
Ральф потрянул головой:
– Надо идти на гору.
Все загалдели. Одни хотели скорее в бухту. Другим хотелось еще покачать камни. Солнце палило, и опасность растаяла вместе с тьмой.
– Джек, зверь может быть на другой стороне. Веди нас. Ты там уже был.
– Можно по берегу пройти. Там фруктов много.
К Ральфу сунулся Билл:
– Может, еще немножечко тут побудем?
– Ага!
– Сделаем крепость!..
– Здесь нет еды, – сказал Ральф, – и укрытий нет. И пресной воды мало.
– Зато крепость была бы – высший класс!
– Можно камни сваливать.
– Прямо на перешеек...
– Сказано вам, пошли! – бешено выкрикнул Ральф. – Надо все проверить.
Идем!
– Ой, давайте лучше тут останемся...
– Хочу в шалаш...
– Я устал...
– Нет!
Ральф содрал кожу на пальцах. Но не почувствовал боли.
– Я главный. Надо все выяснить точно. Гору видите? Сигнала там нет. А вдруг корабль? Да вы все чокнулись, что ли?
Мальчики, ропща, затихали.
Джек первый пошел вниз, потом по перешейку.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И ТЕНИ

Свиной лаз бежал вдоль скал, нагроможденных у самой воды, и Ральф был рад, что первым идет Джек. Если бы в уши не лез медленный свист отсасывающих отяжелевших волн и шипенье их при возврате, если бы не думать о стерегущих с обеих сторон глухих пасмурных зарослях, тогда бы

можно, наверное, выбросить из головы зверя и немного пометать. Солнце подобралось к зениту, и остров душила полуденная жара. Ральф передал вперед указание Джеку, и, как только дошли до фруктов, сделали привал.

Когда они уже сели, Ральф почувствовал, как палит жара. Поморщившись, он стянул серую рубашку и стал обдумывать, не пора ли ему наконец решиться ее выстирать. Жара показалась ему сегодня особенно несносной, редкая жара даже для этого острова. Было бы хорошо привести себя в порядок. Сюда бы ножницы и постричься (он откинул волосы со лба), состричь эти грязные патлы, совсем, сделать прическу ежиком. Хорошо бы вымыться, по-настоящему, поваляться бы в пенной ванне. Он внимательно ошупал языком зубы и пришел к выводу, что и зубная щетка бы не помешала. Да, еще ведь ногти...

Ральф перевернул руку ладонкой вниз и посмотрел на свои ногти. Он их сгрыз, оказывается, совсем, хоть не помнил, когда вернулся к постыдной привычке.

– Так еще палец сосать начнешь...

Он украдкой огляделся. Нет, никто не слышал. Охотники набивали животы легкой едой, стараясь себя уверить, что вкусней бананов и еще других каких-то студенистых, оливково-серых фруктов нет ничего на свете. Меряя на себя, прежнего, чистенького, Ральф оглядел их всех. Они были грязны, но не так очевидно и лихо, как мальчишки, извозившиеся в грязи или плюхнувшиеся дождливым днем в лужу. Срочно тащить их под душ не чесались руки, и все же, и все же – слишком длинные лохмы, и в них колтуны, и позастревали листья и прутики, лица вымыты потом и соком около ртов, но в более укромных местах будто тронуты тенью; одежды драные, как у него самого, задубели от пота и не надеты ради приличия или удобства, а напялены кое-как, по привычке; и кожа на теле шелушится от соли.

Вдруг он понял, что привык ко всему этому, притерпелся, и у него екнуло сердце. Он вздохнул и отпихнул ветку, с которой сорвал плод. Охотники уже углублялись в лес, забирались за скалы – по неотложной надобности. Он отвернулся и стал смотреть на море.

Здесь, с другой стороны острова, вид открывался совсем другой. Дымный миражный морок не мог выстоять против холода океана, и горизонт взрезал пространство четкой синей чертой. Ральф спустился к скалам. Тут, чуть не вровень с водой, можно было следить глазами, как без конца взбухают и накатывают глубинные волны. Шириною в целые мили, не какие-то буруны, не складки на отмелях, они без препятствий катили вдоль острова, как будто заняты делом и им некогда отвлекаться. Но они никуда не текли, не спешили – это вскидывался и падал сам океан. Упадет, взметнув брызги, разденет скалы, облепленные мокрыми прядями водорослей, вздохнет, помедлит, и

снова набросится на оголенные скалы, и запустит наконец над глубиью руку прибора, чтоб совсем близко, чуть не рядом, взбить щедрой пастью пену.

Ральф следил за раскатами, волна за волной, соловья от далекости отрешенного моря. И вдруг смысл этой беспредельности вломился в его сознание. Это же все, конец. Там, на другой стороне, за кисеей миражей, за надежным щитом лагуны, еще можно мечтать о спасении; но здесь, лицом к лицу с тупым безразличием вод, от всего на мили и мили вдали, ты отрезан, пропал, обречен, ты...

Саймон заговорил у него чуть не над самым ухом. Ральф спохватился, что обеими руками обнял скалу, что он весь изогнулся, что шея у него онемела и разинут рот.

– Ты еще вернешься, вот увидишь.

Саймон кивал ему из-за скалы чуть повыше. Он стоял, держась за нее обеими руками, на одной коленке, а другую ногу спустил и почти дотянул до Ральфа.

Ральф вопросительно вглядывался в лицо Саймона, стараясь прочесть его мысли.

– Очень уж он большой, понимаешь...

Саймон снова закивал:

– Все равно. Ты вернешься, вот увидишь. Ну, просто я чувствую.

Тело у Ральфа почти расслабилось. Он глянул на море, горько улыбнулся Саймону:

– У тебя что – в кармане кораблик?

Саймон ухмыльнулся и покачал головой.

– Тогда откуда ж тебе это известно?

Саймон все молчал, и тогда Ральф сказал только:

– Ты чокнутый.

Саймон отчаянно затряс головой, так что заметалась густая черная грива.

– Да нет же. Ничего подобного. Просто я чувствую – ты обязательно вернешься.

Оба примолкли. И вдруг улыбнулись друг другу.

Роджер крикнул из зарослей:

– Эй! Идите сюда! Скорей!

Там была взрыхлена земля и лежали дымящиеся комья. Джек склонился над ними, как влюбленный.

– Ральф, мясо-то нам все равно нужно, хоть мы охотимся за другим.

– Ну, если по пути, можно и поохотиться.

И снова они двинулись, охотники жались в кучку из-за зверя, которого опять помянули, Джек рыскал впереди. Шли гораздо медленней, чем ожидал Ральф, но он был даже рад, что можно плестись просто так, поигрывая копьём. Вот Джек наткнулся на что-то непредвиденное по своей части, и вся

процессия остановилась. Ральф прислонился к дереву и сразу задумался, замечтался. Собственно, за охоту отвечал Джек. Правда, надо еще подняться на гору – но это успеется.

Давно, когда еще они переехали вместе с папой из Чатема в Девонпорт, они жили в доме на краю вересковой пустоши. Из всех домов, где они жили, этот больше всего запомнился Ральфу, потому что сразу потом его отослали в школу. Тогда еще с ними была мама, и папа каждый день возвращался домой. Дикие пони подходили к каменному забору сада, и шел снег. Прямо рядом с домом стоял такой сарайчик, и на нем можно было лежать и смотреть, как валят хлопья. И разглядывать мокрые пятнышки вместо каждой снежинки; и замечать, как, не растаяв, ложится первая и как все выбеливается кругом. А замерзнешь – иди домой и гляди в окно, мимо медного блестящего чайника и тарелки с синими человечками...

А в постели дадут тебе сладкие кукурузные хлопья со сливками. И книги... Они клонятся на полке оттого, что две или три лежат плашмя поверх остальных, ему лень их поставить на место. Растрепанные, захватанные. Одна блестящая, яркая – про Топси и Мопси, но он ее не читал, потому что она про девчонок; и еще одна про колдуна, эту читаешь, замирая от ужаса, и двадцать седьмую страницу пролистываешь, там нарисован жуткий паук; и еще одна про людей, которые что-то раскапывают, что-то египетское. «Что надо знать мальчику о поездах», «Что надо знать мальчику о кораблях». Так и стоят перед глазами; подойти, протянуть руку. Руке запомнились тяжесть и гладкость тяжело соскальзывавшего на пол тома – «О мамонтах для мальчиков».

...Все было хорошо; все были добрые и его любили.

Впереди треснули кусты. Мальчики шарахнулись со свиного лаза с визгом, на четвереньках, под лианы Джека оттолкнули, он упал. По свиному лазу, прямо на них скакало что-то – и хрюкало страшно, и блестело клыками. Ральф, как ни странно, холодно прикинул расстояние и прицелился. Кабан был уже всего в пяти ярдах, и тут он метнул свою дурацкую палку, и она попала прямо в огромное рыло и на секунду там застряла. Кабан взвизгнул и бросился в заросли. Все снова повысыпали на тропку, прибежал Джек, заглянул в кусты.

– Сюда...

– Он же нас прикончит!

– Сюда, я говорю!

Кабан продирался по зарослям, уходил. Они нашли другой лаз, параллельный, и Джек побежал впереди. Ральфа распирали гордость, и страх, и предчувствия.

– Я в него попал. Копье даже застряло...

И вдруг прямо перед ними сверкнуло море. Джек кинулся вперед, рыская испуганным взглядом по голым скалам.

– Ушел.

– Я в него попал, – снова сказал Ральф. – Копье даже подержалось.

Ему требовались свидетельские показания.

– Ты же видел, правда?

Морис кивнул:

– Ага. Ты ка-ак ему в морду! У-у-х!

Ральф уже совершенно захлебывался:

– Здорово я его. Копье застряло. Я его ранил.

Он грелся в лучах вновь завоеванной славы. Выяснилось, что охота, в конце концов, даже очень приятное дело.

– Надо же, как я его! Это, наверное, и был зверь!

Но тут подошел Джек:

– Никакой не зверь. Кабан обыкновенный.

– Я в него попал.

– Чего же ты на него не бросился? Я вот хотел...

Ральф почти взвизгнул:

– Это на кабана-то!

Джек вдруг вспыхнул.

– Чего же ты орал – он нас прикончит? И зачем тогда копье бросал? Подождать, что ли, не мог?

– На вот, полюбуйся.

И всем показал левую руку. Рука была разодрана; не очень, правда, но до крови.

– Это он клыками. Я не успел копье воткнуть.

И снова в центре внимания оказался Джек.

– Ты ранен, – сказал Саймон. – Ты высоси кровь. Как Беренгария.

Джек пососал царापину.

– Я в него попал, – возмутился Ральф. – Я копьем его, я его ранил.

Он старался вернуть их внимание.

– Он на меня, по тропке. А я как кину... вот так...

Роберт зарычал. Ральф вступил в игру, и все захохотали. И вот уже все стали пинать Роберта, а тот комически уклонялся.

Потом Джек крикнул:

– В кольцо его!

Вокруг Роберта сомкнулось кольцо. Роберт завизжал, сначала в притворном ужасе, потом уже от действительной боли.

– Ой! Кончайте! Больно же!

Он неудачно увернулся и получил тупым концом копья по спине.

– А ну держи, хватай!

Его схватили за ноги, за руки. Ральф тоже совсем зашелся, выхватил у Эрика копые, стукнул Роберта.

– Рраз! Та-ак! Коли его!

Роберт забился и взвыл, отчаянно, как безумный. Джек вцепился ему в волосы и занес над ним нож. Роджер теснил его сзади, пробивался к Роберту. И – как в последний миг танца или охоты – взмыл ритуальный напев:

– Бей свинью! Глотку режь! Бей свинью! Добивай!

Ральф тоже пробивался поближе – заполучить, ухватить, потрогать беззащитного, темного, он не мог совладать с желанием ударить, ранить.

Вот Джек опустил руку. Прокатился ликующий клич, и хор изобразил визг подышающей свиньи. А потом все повалились на землю и, задыхаясь, слушали, как перепугано всхлипывает Роберт. Он утер лицо грязной рукой и попытался вновь обрести собственное достоинство:

– Ох, бедная моя задница!

И сокрушенно потер зад.

Джек перекатился на живот.

– Ничего игра, а?

– Вот именно что игра... – сказал Ральф. – Ему было стыдно. – Мне тоже один раз так на регби заехали – страшное дело.

– Хорошо бы нам барабан, – сказал Морис. – Тогда бы у нас было все честь по чести.

Ральф глянул на него:

– В каком это смысле – честь по чести?

– Ну не знаю. Нужно, чтоб был костер, и барабан, и все делать под барабан.

– Нужно, чтоб свинья была, – сказал Роджер, – как на настоящей охоте.

– Или кто-то чтоб изображал, – сказал Джек. – Надо кого-то нарядить свиньей и пусть изображает... Ну, притворяется, что бросается на меня, и всякое такое...

– Нет, уж лучше пускай настоящая, – Роберт все еще гладил свой зад, – ее же убить надо.

– Можно малыша использовать, – сказал Джек, и все захохотали.

Ральф сел.

– Ну ладно. Так мы в жизни ничего не выясним.

Один за другим все вставали, одергивая на себе лохмотья.

Ральф посмотрел на Джека.

– Ну, а теперь на гору.

– Может, к Хрюше вернемся, – сказал Морис, – пока светло?

Близнецы кивнули, как один:

– Ага. Точно. А туда утром пойдём.

Ральф оглянулся и снова увидел море.

– Надо же костер развести.

– У нас Хрюшиных очков нет, – сказал Джек. – Так что это пустой номер.

– Зато проверим, есть там кто-то на горе или нет.

Нерешительно, боясь показаться трусом, Морис проговорил:

– А вдруг там зверь?

Джек помахал копьём.

– Ну и убьём его.

Солнце убавило жар. Джек выбросил копьё вперед.

– Так чего же мы тут ждем?

– По-моему, – сказал Ральф, – можно пойти по берегу, до того выжженного куска, и там на гору подняться.

И снова Джек пошел впереди – вдоль тяжких вдохов и выдохов спящего моря.

И снова Ральф размышлял, предоставив привычным ногам справляться с превратностями дороги. Но тут ногам приходилось уже труднее. Тропка жалась одним боком к голым камням у самой воды, с другого ее теснил черный непроницаемый лес, и то и дело она перебивалась камнями, которые они одолевали на четвереньках. Карабкались по скалам, обмытым прибоем, перескакивали налитые прибоем ясные заводи. Вот береговую полосу рвом рассекала лощина. Она казалась бездонной. Они с трепетом заглядывали в мрачные недра, где хрипела вода. Потом ее накрыло волной, вода вскипела и брызгами, взметнувшимися до самых зарослей, окатила визжащих, перепуганных мальчиков. Сунулись было обогнуть ее лесом, но их не впустила его вязь, плотная, как птичье гнездо. В конце концов стали перепрыгивать лощину по очереди, выжидая, когда схлынет волна; но все равно кое-кого окатило еще раз. За лощиной скалы показались непроходимыми, и они посидели немного, выжидая, пока подсохнут лохмотья, и глядя на зубчатый очерк прокатывающихся мимо валов. Потом нашли фрукты, обсиженные, как насекомыми, какими-то пестрыми птичками. Потом Ральф сказал, что надо поторопиться. Он влез на дерево, раздвинул ветки и убедился, что квадратная макушка все еще далеко. Потом прибавили шагу, и Роберт ужасно расшиб коленку, и пришлось признать, что на такой дороге спешить невозможно. После этого пошли уже так, будто берут опасный подъем, но вот наконец перед ними вырос неприступный утес, нависший над морем и поросший непролазными зарослями.

Ральф с сомнением глянул на солнце.

– Уже вечер. После чая, это уж точно.

– Что-то я этого утеса не помню, – сказал Джек. Он заметно увял. – Значит, я пропустил это место.

Ральф кивнул:

– Давай-ка я подумаю.

Ральф теперь уже не стеснялся думать при всех, он теперь разрабатывал решения, как будто играл в шахматы. Только не силен он был в шахматах, вот что плохо. Он подумал про малышей, про Хрюшу. Ему живо представилось, как Хрюша один, забившись в шалаш, вслушивается в глухую тьму и сонные крики.

– Нельзя малышей с одним Хрюшей оставлять. На всю ночь.

Все молчали, стояли вокруг, смотрели на него.

– Если назад повернуть, это же несколько часов...

Джек откашлялся и проговорил странным, сдавленным голосом:

– Ну конечно, как бы с Хрюшенькой чего не случилось, верно же?

Ральф постучал себя по зубам грязным концом копья, которое он отобрал у Эрика.

– Если пойти наперерез...

Он оглядел лица вокруг.

– Кому-то надо пересечь остров и предупредить Хрюшу, что мы не успеваем вернуться до темноты.

Билл ушам своим не поверил:

– В одиночку? Сейчас? Лесом?

– Больше одного человека мы отпустить не можем.

Саймон протолкался к Ральфу, стал рядом:

– Хочешь, я пойду? Мне это ничего, честно.

Ральф не успел даже ответить, а он улыбнулся беглой улыбкой, повернулся и стал карабкаться наверх, в лес.

И тут только Ральф бешеным взглядом посмотрел на Джека, увидел его наконец.

– Джек, послушай-ка, ты тогда ведь до самого замка дошел...

Джек вспыхнул:

– Ну и что?

– Ты же по берегу шел – и тут, под горой.

– Ну да.

– А потом?

– Я свиной лаз нашел. Он далеко очень тянется.

Ральф кивнул в сторону леса.

– Значит, где-то тут этот свиной лаз.

Все вдумчиво закивали.

– Тогда ладно. Пойдем напролом и выйдем на этот лаз.

Он шагнул было в сторону леса, запнулся.

– Хотя нет, погоди-ка! А куда он ведет?

– На гору, – сказал Джек. – Я же тебе говорил. – Он хмыкнул: – Что, не хочется на гору?

Ральф вздохнул, ощущая враждебность Джека, понимая, что она оттого, что Джек снова не главный.

– Просто я подумал – скоро стемнеет. Спотыкаться будем.

– Но мы насчет зверя хотели проверить...

– Света мало.

– Ничего, я-то готов, – выпалил Джек. – Я пожалуйста. Ну, а ты? Может, сначала вернешься, доложишься Хрюше?

Тут покраснел уже Ральф и сказал – безнадежно, вспомнив уроки Хрюши:

– И за что только ты меня ненавидишь?

Вокруг потупились, будто услышали что-то неприличное. Пауза нагнеталась.

Ральф, все еще красный, обиженный, отвел глаза первый.

– Ладно, пошли.

И взял и пошел впереди, врубаясь в заросли. Джек, смущенный и злой, замыкал шествие.

Свиной лаз был как темный туннель, потому что солнце уже скатывалось к краю неба, а в лесу и всегда-то прятались тени. Тропа была широкая, убитая, они бежали по ней рысцой. И вот прорвалась лиственная кровля, они замерли, задыхаясь, и увидели мигающие над горой первые звезды.

– Ну вот.

Все недоуменно переглядывались. Ральф наконец решился:

– Пошли прямо к площадке, а на гору завтра успеем.

Вокруг уже поддакивали, но тут у него за плечом вырос Джек:

– Ну конечно, раз ты боишься...

Ральф посмотрел ему в лицо:

– Кто первый пошел к бастиону?

– Так то днем. И я тоже пошел.

– Ладно. Кто за то, чтоб сейчас на гору лезть?

Ответом было молчанье.

– Эрикисэм? Вы как?

– Надо пойти, Хрюше сказать...

– Ага, сказать Хрюше, что мы...

– Ведь же Саймон уже пошел!

– Нет, надо сказать Хрюше, а то вдруг...

– А ты, Роберт? Билл – ты как?

Эти тоже хотели идти прямо к площадке. Да нет, не боялись они, просто устали.

Снова Ральф повернулся к Джеку:

– Ну, видишь?

– Я лично иду на гору.

Джек кинул это злобно, как выругался. И уставился на Ральфа, тощий, длинный, а копьё держал так, будто хочет ударить.

– Я иду на гору, зверя искать. Сейчас же.

И – добивая – с издевкой, небрежно:

– Пошли?

При этом слове все разом забыли, как им только что хотелось поскорей на ночлег, и примерялись уже к новой схватке двух сил в потемках. Слово было произнесено так лихо, едко, так обескураживало, что его не требовалось повторять. Оно выбило у Ральфа почву из-под ног, когда он совсем расслабился в мыслях о шалаше, о теплых, ласковых водах лагуны.

– Я не против.

Он с удивлением услышал собственный голос – спокойный, небрежный, так что вся ядовитость Джека сводилась на нет.

– Ну, раз ты не против...

– Совершенно.

Джек сделал первый шаг.

– Тогда...

Бок о бок, под молчаливыми взглядами, двое начали подниматься в гору.

Ральф почти сразу остановился.

– Какая глупость. Зачем идти вдвоем? Если мы найдем его, двоих-то мало.

Тут же остальных отшвырнуло от них, как волной. И вдруг одинокая фигура двинулась против течения.

– Роджер?

– Ага.

– Ну, значит, нас трое.

И снова они стали взбираться по склону. Тьма накрывала их, как волной. Джек шел молча, вдруг он начал кашлять и задыхаться; ветер заставил их отплеиваться. Глаза Ральфу заволкло слезами.

– Зола. Мы на сожженное место зашли.

Шагами и ветром взметало пепел. Снова они остановились, и Ральф, закашлявшись, успел окончательно сообразить, какую они сморозили глупость. Если зверя там нет – а его наверное нет, – тогда еще ладно, пусть. Ну, а вдруг он там, подстерегает их наверху – что толку тогда от них от троих, скованных тьмой, вооруженных палками?

– Дураки мы все-таки!

Из тьмы донеслось в ответ:

– Дрейфишь?

Ральфа трясло от обиды. Все, все из-за этого Джека.

– Еще бы. Но мы все равно дураки.

– Если тебе не хочется, – сказал саркастический голос, – я и сам могу пойти.

Ральф уловил насмешку. Он ненавидел Джека. Зола щипала ему глаза, он боялся, устал. Его взорвало:

– Пожалуйста! Иди! Мы тут подождем.

И – молчанье.

– Что ж ты не идешь? Испугался?

Пятно во тьме, пятно, которое было Джек, отодвинулось и начало таять.

– Ладно. Пока.

И пропало пятно. И вместо него всплыло другое.

Ральф наткнулся коленкой на что-то твердое, качнул колкий на ощупь обгорелый ствол. Шершавым обугленным краешком бывшей коры его мазнуло по ноге, и он понял, что это на ствол сел Роджер. Он пощупал дерево и, колыхнув его на невидимом пепле, сел тоже. Роджер, вообще необщительный, и тут не стал разговаривать. Не стал распространяться о звере или объяснять Ральфу, что понесло и его в эту нелепую экспедицию. Сидел себе и покачивал ствол. Ральф различил частое-частое, бесящее постукивание и догадался, что Роджер стучит по чему-то деревянным копьём.

Так и сидели: стучащий, раскачивающийся, непроницаемый Роджер и кипящий Ральф; а небо вокруг набрякло звездами, и только черным продавом в их блеске зияла гора.

Высоко наверху заскользили звуки, кто-то размашисто, отчаянно прыгал по камням и золе. Вот Джек добрался до них, и он прохрипел таким дрожащим голосом, что они еле его узнали:

– Там кто-то есть. Я видел.

Он споткнулся о ствол, ствол ужасно качнулся.

Минуту Джек лежал тихо, потом пробормотал:

– Осторожно. Может, он пошел вдогонку.

На них посыпался пепел. Джек сел.

– Там, наверху, я видел – что-то вздувается.

– Тебе просто почудилось, – стуча зубами, выговорил Ральф. – Что же может вздуться? Таких не бывает существ.

Роджер сказал – и они даже вздрогнули, они совсем про него забыли:

– Лягушка.

Джек хихикнул и вздрогнул:

– Да уж, лягушечка. И хлопает как-то. А потом вздувается.

Ральф даже сам удивился – не столько своему голосу, голос был ровный, сколько смелости предложенья:

– Пошли – посмотрим?

Впервые с тех пор, как он познакомился с Джеком, Ральф почувствовал, что Джек растерялся.

– Прямо сейчас?

И голос Ральфа сам ответил:

– Да, а что?

Он встал со ствола и пошел по звенящей золе в темноту, и остальные – за ним.

Теперь, когда его голос умолк, стал слышен внутренний голос рассудка и еще другие голоса. Хрюша говорил, что он как дитя малое. Другой голос призывал его не валять дурака; а тьма и безумие этой затеи делали ночь немислимой, как зубоврачебное кресло.

Когда достигли последнего подъема, Джек с Роджером подошли ближе, превратясь из чернильных клякс в различные фигуры. Не сговариваясь, все трое остановились и припали к земле. За ними, на горизонте, светлела полоса неба, на которой вот-вот могла проступить луна. Ветер взвыл в лесу и прибил к ним лохмотья.

Ральф шевельнулся:

– Пошли.

Двинулись вперед, Роджер чуть-чуть отстал. Джек с Ральфом вместе повернули за плечо горы. Снизу сверкнули плоские воды лагуны, и длинным бледным пятном за нею был риф. Их нагнал Роджер.

Джек заговорил шепотом:

– Дальше – ползком. Может, он спит...

Роджер и Ральф поползли, а Джек, несмотря на все свои храбрые слова, на сей раз отставал. Вышли на плоский верх, где под коленками и ладонями были твердые камни.

Что-то вздувается...

Ральф попал рукой в холодный, нежный пепел и чуть не вскрикнул. Рука дернулась от неожиданного соприкосновенья. На миг мелькнули перед глазами зеленые искорки дурноты и тотчас растаяли во тьме. Роджер лежал рядом, и губы Джека шептали в ухо Ральфу:

– Вон там, где раньше щель была. Бугор – видишь?

Пепел угасшего костра посыпался Ральфу в лицо. Он не видел щели, вообще ничего не видел, потому что опять всплыли зеленые искорки и разрастались, и вершина горы вдруг поползла вбок и накренилась.

Опять, уже не так близко, он услышал голос Джека:

– Испугался?

Нет, он не то что испугался, у него отнялись руки и ноги; он висел на вершине рушащейся, оползающей горы. Джек отодвигался от него все дальше, Роджер наткнулся на него и, пошарив, сопя, прополз мимо. Он слышал – они шептались.

– Видишь?

– Это же...

Перед ними всего в трех-четырех ярдах был взгорок там, где прежде взгорка не было. Ральф услышал какой-то тихий стук – кажется, это у него у самого стучали зубы. Он взял себя в руки, весь свой ужас обратил в ненависть и встал. И сделал два натужных шага вперед.

Позади них лунный серп уже отделился от горизонта. Впереди кто-то, вроде огромной обезьяны, спал сидя, уткнув в колени голову. Потом ветер взвыл в лесу, всколыхнул тьму, и существо подняло голову и обратило к ним бывшее лицо.

Ноги сами понесли Ральфа по пеплу, сзади он услышал топот, крик и сломя голову, не разбирая дороги бросился вниз, в темноту; на вершине остались только три брошенные палки и то, что сидело и кланялось.

ГЛАВА ВОСЬМА

ДАР ТЬМЕ

Хрюша перевел несчастный взгляд с рассветно-бледного берега на черную гору.

– Ты это точно? То есть наверняка?

– Я тебе повторяю десятый раз, – сказал Ральф. – Мы его видели.

– А сюда-то он не придет?

– Господи, да откуда же я знаю?

Ральф дернулся, отвернулся и на несколько шагов отбежал от него по берегу. Джек на коленках чертил пальцем круги на песке. До них долетел сдавленный голос Хрюши:

– Так это точно? Наверняка?

– А ты поди да посмотри, – сказал Джек презрительно. – Скатертью дорожка.

– Нет уж, спасибо.

– У зверя зубы, – сказал Ральф, – и больше черные глаза.

Его передернуло. Хрюша снял очки и стал протирать единственное стеклышко.

– Что ж теперь делать-то?

Ральф повернулся к площадке. Среди стволов, белой каплей против занимавшей зари, мерцал рог. Ральф откинул космы со лба.

– Не знаю.

Он не забыл, как мчался сломя голову с горы.

– По-моему, мы с такой громадиной драться не станем, это уж точно. Мы только все болтаем, а мы и на тигра не пойдем. Спрячемся. Даже Джек спрячется.

Джек не отрывал глаз от песка.

– А как насчет моих охотников?

Саймон крадучись отделился от тени под шалашом. Ральф оставил без внимания вопрос Джека. Он показал рукой на желтый просвет над морем.

– Пока светло, мы еще храбрые. Ну а дальше что? Он там засел у костра, будто нарочно, чтоб нас не спасли...

Он не замечал, что ломает руки. Голос сорвался на крик:

– Мы остались без сигнала... Пропали.

Золотая точка высунулась из-за моря и разом подпала небо.

– А как насчет моих охотников?

– Подумаешь, мальчишки, вооруженные палками.

Джек вскочил на ноги. И, весь красный, зашагал прочь. Хрюша надел очки и сверкнул на Ральфа единственным стеклышком.

– Ну вот. Ихнюю компанию задел.

– Да помолчи ты!

Разговор оборвали неумело извлекаемые звуки рога. Словно встречая серенадой восход, Джек дул, пока не всполошил в шалашах всех, и к площадке устремились охотники и хлюпающие, как всегда они теперь хлюпали, малыши. Ральф покорно встал, Хрюша тоже, и они побрели к площадке.

– Болтовня, – сказал Ральф горько. – Одна болтовня.

Он взял у Джека рог.

– Это собрание...

Джек его оборвал:

– Я созвал собрание.

– Не ты, так я бы. Ты просто в рог подул.

– А это как – не считается?

– Да возьми ты его. На, пожалуйста – говори-говори!

Ральф сунул рог Джеку и сел на свое место.

– Я созвал собрание, – сказал Джек, – из-за разных вещей. Во-первых, вы уже знаете, мы видели зверя. Мы забрались на вершину. В нескольких шагах от него были. Он сидел и на нас смотрел. Не знаю, что он там делает. Мы даже не знаем, что это за зверь...

– Он выходит из моря...

– Из темноты...

– С деревьев спускается...

– Да замолчите вы! – крикнул Джек. – Слушайте меня! Зверь, какой бы ни был, сидит наверху и...

– Может, ждет...

– Может, на нас охотится...

– Да, охотится.

– Охотится, – сказал Джек. Он вспомнил не раз испытанный лесной первобытный ужас. – Да. Зверь этот – охотник. Нет, пока помалкивайте! Во-вторых, убить его нам не удалось. И в-третьих, Ральф сказал, что от моих охотников никакого толка.

– Не говорил я ничего подобного!

– Рог у меня. Ральф считает, что вы трусы, удираете от кабана и от зверя. И это еще не все.

Вздых пронесся над площадкой, будто все чувствовали, что сейчас будет. Голос Джека, срывающийся, но решительный, разбивал настроенную тишину:

– Он как Хрюша. Все повторяет за Хрюшей. Не ему нами командовать.

Джек прижал к груди рог:

– Сам он трус.

Мгновенье помолчал и добавил:

– Там наверху мы с Роджером пошли вперед, а он остался.

– Я тоже пошел!

– Потом уже.

Двое мальчиков смотрели друг на друга сквозь нависшие космы.

– Я пошел, – сказал Ральф. – Я уже потом убежал. Но ведь ты сам тоже убежал.

– А ты скажи, что я трус, – попробуй. – Джек повернулся к охотникам: – Он не охотник. Разве он добывал нам мясо? Он не староста, мы про него вообще ничего не знаем. Только и умеет приказы отдавать, а люди, видите ли, должны ему подчиняться. Вся эта болтовня...

– Вся эта болтовня? – крикнул Ральф. – Болтовня? А кто ее затеял? Кто созвал собрание?

Джек весь красный, набычась, упершись в грудь подбородком, злобно глянул на него исподлобья.

– Ну, ладно, – процедил он многозначительно, с угрозой, – ладно же.

Прижал к себе рог левой рукой, а правым указательным пальцем рассек воздух:

– Кто считает, что Ральф недостоин быть главным?

Он с надеждой обвел всех глазами. Они замерли. Под пальмами стояло мертвое молчанье.

– Поднимите руки, – сказал Джек строго, – кто за то, чтобы Ральф больше не был главным.

Длилось молчанье – тяжелое, стыдное, густое. Щеки Джека постепенно бледнели, потом, вдруг, в них снова ударила краска. Он облизнул губы и так

повернул голову, чтоб ни с кем не встречаться взглядом.

– Кто считает...

Голос сорвался. Рог заплясал в руках. Джек откашлялся и сказал громко:

– Ну что ж, ладно.

Очень осторожно он положил рог на траву у своих ног. Из обоих глаз выкатилось по постыдной слезинке.

– Я с вами больше не вожусь. Все.

Большинство потупились – разглядывали траву, свои ноги. Джек снова откашлялся.

– Хватит, больше я Ральфу не слуга.

Он кинул взглядом по бревнам справа, подсчитывая охотников, прежде составлявших хор.

– Я уйду. Один. Пускай он сам свиней половит. Кто захочет охотиться вместе со мной – пожалуйста.

И, натываясь на бревна, бросился к спуску на белый песок.

– Джек!

Джек оглянулся, посмотрел на Ральфа. Мгновенье постоял, застыв, и крикнул пронзительно, бешено:

– Нет!

Спрыгнул с площадки и побежал по берегу, не замечая катящихся слез. И пока он не скрылся в лесу, Ральф смотрел ему вслед.

Хрюша был вне себя.

– Ну, Ральф же, я говорю, а ты стоишь, как...

Тихо, глядя на Хрюшу и не видя его, Ральф сам с собой говорил:

– Он еще вернется. Солнце зайдет, и он вернется. – И тут он увидел рог в руках у Хрюши.

– Ты чего?

– Ну так вот...

Хрюша оставил попытку урезонить Ральфа. Прочистил стеклышко и вернулся к своей речи:

– Обойдемся и без Джека Меридью. И другие у нас на острове найдутся. Но раз уж зверь этот вправду есть, хоть мне чего-то не верится, нам все равно надо держаться поближе к площадке; так что не больно он и нужен теперь со своей охотой. Ну, и нам, значит, надо решить, что делать.

– Ничего мы не решим, Хрюша. Ничего нельзя сделать.

Все горестно примолкли. Потом Саймон встал и взял у Хрюши рог, и тот так удивился, что даже не сел. Ральф посмотрел на Саймона.

– Саймон? Ну что у тебя опять?

Легкий смешок пронесся по кругу, и Саймон съежился.

– По-моему, что-то можно сделать. Нам...

Снова под грузом публичности ему изменил голос. Он искал взглядом сочувствия и выбрал лицо Хрюши. И повернулся к нему, прижимая к смуглой груди рог.

– По-моему, надо подняться на гору.

По кругу прошла дрожь. Саймон осекся. Хрюша смотрел на него с насмешливым недоумением.

– Зачем же туда подниматься к этому зверю, если уж Ральф и те двое ничего ему сделать не смогли?

Саймон в ответ шепнул:

– Что же можно еще сделать?

На этом речь его окончилась, и Хрюша взял рог у него из рук. И Саймон сел в самом дальнем уголке.

Хрюша теперь заговорил уверенней и таким тоном, который, будь обстоятельства чуть полегче, все сочли бы даже довольным.

– Я, значит, уже сказал – мы без кое-кого обойдемся. И еще скажу – надо решать, как нам быть. И я, по-моему, знаю, чего Ральф нам сейчас скажет. Самое главное на острове – это дым, а дыма без огня не бывает.

Ральф нетерпеливо дернулся:

– Без толку, Хрюша. Костра у нас нет. Там оно сидит. А нам надо тут оставаться.

Хрюша поднял рог, как будто его словам тем самым прибавлялось значительности.

– Костра нет – на горе. А что плохого будет, если мы его тут разожжем? Вон на тех на скалах. Или на песке прямо. Дым-то от него небось точно такой же.

– Верно!

– Будет дым!

– Можно у бухты!

Все заговорили разом. Только у Хрюши могло хватить дерзости ума на то, чтоб предложить новый костер – на берегу.

– Ну да, разожжем костер здесь, – сказал Ральф. Он огляделся. – Прямо тут – между площадкой и бухтой. Хотя, конечно...

Он осекся и нахмурился, размышляя и в забывчивости обгрызая ноготь.

– Конечно, дым этот будет ниже, не так далеко виден. Зато нам не придется подходить близко. Близко к... ну...

Все сразу поняли и закивали. Да, близко подходить не придется.

– Что ж, давайте разводить костер.

Все гениальное просто. Обретя цель, за работу взялись со страстью. Хрюша так ликовал, так наслаждался освобождением от Джека, так гордился своим вкладом в общее дело, что помог таскать топливо. Далек он, правда,

за топливом не ходил, оно оказалось под рукой – рухнувший ствол на самой площадке, для других заповедный, ибо, хоть никто на нем никогда не сидел, святость площадки охраняла все, что было на ней даже ненужного. А близнецы сообразили, что костер теперь будет совсем рядышком и не так страшно будет ночью, и малыши пустились в пляс от этого открытия.

Здесь валежник был не такой сухой, как на вершине. Почти весь сырой, сгнивший, изъеденный мечущимися жучками; поднимать его приходилось с осторожностью, иначе он рассыпался мокрой трухой. Они боялись углубляться в чашу и предпочитали собирать топливо по кромке, с трудом выдирая его из цепкого подлеска. Опушку и края просеки они хорошо знали, и рядышком был рог, были шалаши, и днем тут было не страшно. Как будет тут в темноте, думать никому не хотелось. И потому они работали спешно и весело, хотя с приближением сумерек спешность все больше отдавала паникой, а веселость истерикой. Пирамиду из листьев, прутьев, веток, стволов сложили на песке у самой площадки. Впервые Хрюша сам снял очки, стал на коленки и лично собрал лучи в пучок. И вот под дымным навесом расцвел желтый куст пламени.

Малыши, после той, первой катастрофы почти не видевшие огня, весело расшалились. Скакали и пели, будто они на пикнике.

Наконец Ральф приказал кончить работу и выпрямился, размазывая пот по лицу грязной рукой.

– Костер нам нужен поменьше. С таким не справиться.

Хрюша осторожно опустил на песок и стал чистить стеклышко.

– Мы будем делать опыты, учиться. Сперва мы разожжем маленький жаркий костер, а потом будем туда зеленые ветки ложить – для дыма. Одни листья для этого побольше подходят, другие поменьше, и потому...

Костер угасал, а с ним вместе и оживленье. Малыши перестали плясать и петь и разбрелись кто куда – за фруктами, в шалаши, по берегу.

Ральф плюхнулся на песок.

– Надо новый список составить, кому когда дежурить у костра.

– Да, если ты кого сыщешь.

Ральф огляделся. И тут он впервые заметил, как мало осталось старших, и понял, отчего последняя работа показалась такой трудной.

– Где Морис?

Хрюша снова потер стеклышко.

– Наверно... нет, не пойдет он один в лес, правда же?

Ральф вскочил, обежал костер, встал рядом с Хрюшей, отводя рукой волосы со лба.

– Но нам нужен список! Ты, я, и Эрикисэм, и...

Не глядя Хрюше в глаза, он просил небрежно:

– Где Роберт, Роджер?

Хрюша весь согнулся и подбросил щепочку в костер.

– Наверно, ушли. Наверно, они с нами больше не водятся...

Ральф опустился на песок и стал дырявить его пальцем. Вдруг в одной ямке он увидел кровь. Разглядел обгрызенный ноготь и заметил каплю там, где откусил заусеницу.

Хрюша говорил:

– ...Я видел, когда мы топливо собирали, они ушли. Смылись они. За ним побежали.

Ральф оторвал взгляд от ногтя и посмотрел ввысь. Словно в лад всем их переменам небо сегодня переменялось, как бы подернулось пылью, и горячий воздух пошел белыми пятнами. Мутный серебряный диск будто приблизился и остыл, но жара все равно давила, душила.

– С ними вообще всегда морока, правда?

Голос был у самого его уха, и в нем билась тревога:

– Без них обойдемся. Без них даже лучше, правда?

Ральф сел. Волоча тяжелое бревно, явились торжествующие близнецы. И швырнули бревно в золу, взметнув искры.

– Сами отлично справимся, правда?

Долго, куда бревно сохло, занималось, наливалось красным, Ральф сидел на песке и молчал. Он не заметил, как к близнецам подошел Хрюша, как он шептался с ними, как все трое ушли в лес.

– Ну вот.

Он вздрогнул и очнулся. Хрюша и близнецы стояли рядом. Они были нагружены фруктами.

– Я подумал, – сказал Хрюша, – надо нам вроде как пир устроить.

Все трое уселись. Фруктов было много, и все вполне спелые. Они заулыбались, когда Ральф взял один и надкусил.

– Спасибо, – сказал он. И – с радостным изумлением: – О, спасибо большое!

– Сами отлично справимся, – сказал Хрюша. – У кого соображенья нету, те только всем жизнь отравляют. А мы разожжем маленький жаркий костер...

Тут Ральф вспомнил, что его мучило:

– Где Саймон?

– Не знаю.

– Не полез же он на гору, как ты думаешь?

Хрюша шумно расхохотался и взял себе еще фруктов.

– С него станется. – Хрюша заглотал спелую мякоть. – Он же чокнутый.

Саймон прошел мимо фруктовых деревьев, но сегодня малыши были слишком заняты костром и за ним не увязались. Он продрался в чащобе и

вышел к тем лианам, которыми заткало опушку, и залез в самое плетиво. К лиственной бахrome льнул солнечный свет, и на лужайке плясали без устали бабочки. Он опустился на колени, и солнце хлестнуло его лучом. Тогда, в тот раз, воздух трясся от зноя; а теперь нависал и пугал. Скоро густая длинная грива Саймона взмокла от пота. Саймон неловко вертелся и так и сяк. Солнце било нещадно. Скоро ему захотелось пить, потом просто ужасно захотелось.

Он все стоял на коленях.

Очень далеко Джек стоял на берегу перед группкой мальчиков. Он ликовал.

– Охотиться будем! – сказал он. Он окинул их взглядом. На всех были изодранные черные шапочки, и когда-то давным-давно они ставили двумя чинными рядами, и голоса их были как пенье ангелов.

– Будем охотиться. Я буду главным.

Они покивали ему, и сразу все стало легко и понятно.

– И еще – насчет этого зверя.

Все оглянулись и посмотрели на лес.

– Значит, так. Про зверя нам нечего думать...

Теперь уж ему пришлось им покивать в подкрепление своих слов.

– Зверя надо забыть.

– Правильно.

– Ага.

– Забыть его!

Если Джека и удивила эта готовность, виду он не подал.

– И еще одно. Тут нам мерещиться не будет всякое. Тут почти самый конец острова.

Горячо и дружно, из глубины своих тайных мучений, все согласились с Джеком.

– А теперь вы все – слушай. Потом мы, наверно, пойдем в этот замок – в скалах. Но сначала мне надо еще кое-кого из старших отвлечь от рога и всяких глупостей. Убьем свинью, закатим пир. – Он помолчал и продолжил, уже с расстановкой: – И насчет зверя. Как убьем свинью, мы часть добычи ему оставим. Тогда он, может, нас и не тронет.

Вдруг он вытянул шею:

– Ладно. Пошли охотиться, в лес.

Повернулся и затрусил прочь, и они сразу послушно за ним последовали.

Боязливо озираясь, они рассыпались по лесу. Джек почти тотчас наткнулся на взрытую землю и выдернутые корни – улики против свиней – и тут же вышел на свежий след. Он дал всем сигнал – обождать, а сам двинулся вперед. Он был счастлив, сырая лесная мгла облегла его, как ношенная

рубашка. Он скользнул вниз по склону и вышел на каменный берег, к редким деревьям.

Свиньи, вздутыми жировыми пузырями, валялись под деревьями, блаженствуя в тени. Ветра не было; они ни о чем не подозревали; а Джек научился скользить бесшумно, как тень. Он вернулся к затаившимся охотникам и подал им знак. Дюйм за дюймом они стали пробираться в немой жар. Вот в тени под деревом праздно хлопнуло ухо. Чуть поодаль от других в сладкой истоме материнства лежала самая крупная матка. Розовая, в черных пятнах. К большому, взбухшему брюху прильнули поросята, они спали или теребили ее и повизгивали.

Ярдах в пятнадцати от стада Джек замер; вытянул руку, указывая на матку. Оглянулся, вопросительно оглядел мальчиков, и те закивали в знак того, что им все понятно. Правые руки скользнули назад – дружно, разом.

– Ну!

Свиньи сорвались с места; и всего с десяти ярдов закаленные в костре деревянные копыя полетели в облюбованную матку. Один поросенок, одержимо вопя, кинулся в море, волоча за собой копые Роджера. Матка взвизгнула, зашлась и встала, качаясь, тряся воткнувшимися в жирный бок двумя копыями. Мальчики заорали, метнулись вперед, поросята бросились врассыпную, свинья прорвала теснящий строй и помчалась в лес, напролом, через заросли.

– За ней!

Они затрусил по лазу, но тут было слишком темно и густо, так что Джек выругался, остановил их, стал ползать по земле. Он молчал, только дышал с присвистом, и все запуганно, уважительно переглядывались. Вдруг он ткнул в землю пальцем.

– Ага, вот...

Пока все разглядывали кровавую каплю, Джек уже ощупывал сломанный куст. И вот он пошел по следу, непостижимо и безошибочно уверенный; за ним потянулись охотники.

Возле логова он остановился:

– Тут она.

Логово окружили, но свинья вырвалась и помчалась прочь, ужаленная еще одним копыем. Палки волочились, мешали бежать, в боках, мучая, засели зазубренные острия. Вот она налетела на дерево, всадила одно копые еще глубже. И после этого уже ничего не стоило выследить ее по каплям свежей крови. День шел к вечеру, мутный, страшный, набрякший сырým жаром; свинья, шатаясь, затравленно кровотока, пробиралась сквозь заросли, и охотники гнались за ней, прикованные к ней страстью, задыхаясь от азарта, от запаха крови. Вот они уже увидели ее, почти настигли, но она рванулась из последних сил и снова ушла. Они были совсем близко, когда она

вырвалась на лужайку, где росли пестрые цветы и бабочки плясали в застывшем зное.

Здесь, сраженная жарой, свинья рухнула, и охотники на нее набросились. От страшного вторжения неведомых сил она обезумела, завизжала, забилась, и все смешалось – пот, крик, страх, кровь. Роджер метался вокруг общей свалки, тыча копьём в мелькавшее то тут, то там свиное мясо. Джек оседлал свинью и добивал ее ножом. Роджер наконец нашел, куда воткнуть копьё, и вдавливал, навалиясь на него всем телом. Копьё дюйм за дюймом входило все глубже, и перепуганный визг превратился в пронзительный вопль. Джек добрался до горла, и на руки ему брызнула горячая кровь. Свинья обмякла под ними, и они лежали на ней, тяжелые, удовлетворенные. А в центре лужайки все еще плясали ничего не заметившие бабочки.

Наконец все очнулись и отвалились от туши. Джек встал, раскинул руки:

– Глядите.

Он хихикал, махал пропахшими ладонями, а все хохотали. Потом Джек схватил Мориса и мазнул его кровавой ладонью по лицу. Роджер начал вытаскивать копьё, и только тогда все вдруг его увидели. Роберт подвел общий итог фразой, встретившей бурный восторг.

– В самую задницу!

– Слыхали?

– В самую задницу!

На сей раз весь спектакль играли Роберт и Морис; и Морис так смешно изображал попытки свиньи увернуться от приближающегося копыя, что все ревели от хохота.

Но, приелось и это. Джек принялся вытирать окровавленные руки о камень. Потом стал разделывать тушу, потрошил, выуживал горячие мотки цветных кишок, швырял наземь, а все на него смотрели. Он работал и приговаривал:

– Мясо пронесем по берегу. А я пока вернусь на площадку и приглашу их на пир. Чтобы времени не терять.

Роджер сказал:

– Вождь...

– А?

– Как мы огонь разведем?

Джек опять сел на корточки, хмуро глянул на свинью.

– Налетим на них и возьмем огня. Со мной пойдут четверо. Генри, и ты, и Роберт, и Морис. Раскрасимся и подкрадемся. Пока я буду с ними говорить, Роджер схватит головню. Остальным всем – возвращаться на наше прежнее место. Там и разведем костер. А потом...

Он умолк и поднялся, вглядываясь в тени под деревьями. И снова заговорил, уже тише:

– Но часть добычи оставим для...

Снова он опустился на колени и что-то стал делать ножом. Его обступили. Он кинул через плечо Роджеру:

– Заточи-ка с двух концов палку.

Он поднялся, в руках у него была свиная голова, и с нее капали капли.

– Ну, где палка?

– На – вот.

– Один конец воткни в землю. Ах да – камень. Ну в щель всади. Ага, так.

Джек поднял свиную голову и наткнул мягким горлом на острый кол, и кол вытолкнулся, высунулся из пасти. Джек отпрянул, а голова осталась на палке, и по палке тонкой стружкой стекала кровь.

Все тоже отпрянули; а в лесу было тихо-тихо. Они вслушались; в тишине только исходили жужжанием обсевшие кишки мухи.

Джек сказал шепотом:

– Берите свинью.

Морис и Роберт насадили тушу на жердь, подняли мертвый груз, выпрямились. Стоя среди этой тишины в луже запекшейся крови, они выглядели почему-то как уличные воры.

Джек сказал громко:

– Голова – для зверя. Это – дар.

Тишина, вгоняя их в трепет, дар приняла. Голова торчала на палке, мутноглазая, с ухмылкой, и между зубов чернела кровь. И вдруг со всех ног они бросились через заросли, на открытый берег.

Саймон остался, где был, – темная, скрытая листвой фигурка. Он жмурился, но и тогда свиная голова все равно стояла перед ним. Прикрытые глаза были заволочены безмерным цинизмом взрослой жизни. Они убеждали Саймона, что все омерзительно.

– Я и сам знаю.

Саймон поймал себя на том, что говорит вслух. Он поскорей открыл глаза, и свиная голова тут как тут усмехалась, довольная, облитая странным светом, не замечая бабочек, вынутых кишок, не замечая того, что она позорно торчит на палке.

Он отвел взгляд, облилиз сухие губы.

Дар зверю. А вдруг зверь явится за ним? Кажется, голова с этим соглашалась. «Беги, – говорила голова молча, – иди к своим. Ну да, они просто пошутили, и стоит ли из-за этого огорчаться? Просто тебе нехорошо, только и всего. Ну, в висках ломит, может, что-то не то съел. Иди, иди, детка», – говорила голова молча.

Саймон поднял лицо, из-под тяжелых мокрых прядей посмотрел в небо. Там наконец были тучи, большими вспученными башнями они катили над островом – серые, розовые, цвета меди. Тучи наваливались на землю; они выжимали, выдавливали от минуты к минуте все более душный, томительный жар. Даже бабочки и те покинули лужайку, где капала кровью и усмехалась эта гадость. Саймон опустил голову, стараясь не разжимать век, потом прикрыл глаза ладонью. Под деревьями не было теней, и все застыло и подернулось перламутром, будто, сбросив с себя очертанья, вдруг перенеслось в вымысел. Над черным комом кишок, как пила, жужжали мухи. Вот они обнаружили Саймона. Сытые, они обсели струйки пота у него на лице и стали пить. Они шекотали ему ноздри, у него на ногах они затеяли чехарду. Черные, радужно-зеленые, несчетные; а прямо против Саймона ухмылялся насаженный на кол Повелитель мух. Наконец Саймон не выдержал и посмотрел; увидел белые зубы, кровь, мутные глаза – и уже не смог отвести взгляда от этих издревле неотвратимо узнающих глаз. В правом виске у Саймона больно застучало.

Ральф и Хрюша лежали на песке, смотрели на костер и праздно швыряли камешки в его бездымную сердцевину.

– Эта ветка – уже все.

– Где Эрикисэм?

– Надо еще принести. Кончились зеленые ветки.

Ральф вздохнул и поднялся. Под пальмами на площадке не было теней; и странный свет бил сразу отовсюду. В вышине по вспученным тучам ружейным выстрелом ухнул гром.

– Дождь будет проливной.

– А костер как же?

Ральф сбегал в лес, принес зеленую пышную ветку и бросил, в огонь. Ветка хрустнула, листья скрутились, и повалил желтый дым.

Хрюша бесцельно водил пятерней по песку.

– Народу у нас мало для костра, вот беда. Эрикисэм – это ж одно дежурство. Они все вместе делают...

– Ну да.

– Это ж нечестно. Понимаешь? Они по очереди должны дежурить.

Ральф подумал и понял. Он лишний раз убедился, что совершенно не умеет рассуждать по-взрослому, и печально вздохнул. Этот остров все меньше ему нравился.

Хрюша глянул на костер.

– Скоро еще зеленая ветка понадобится.

Ральф перевернулся на живот.

- Хрюша. Что же нам делать?
- Ну, как-то справляться без них.
- Да – а костер?

Он хмуро оглядел черно-белое месиво, в котором лежали несгоревшие ветки. Поискал слов:

– я боюсь...

Увидел, что Хрюша поднял на него глаза, и понес наудачу:

– Я не зверя боюсь. То есть его тоже, конечно. Но ведь никто не хочет понять насчет костра. Если б тебе бросили веревку, когда ты тонешь... Или доктор бы сказал; надо это принять, а то умрешь – неужели бы ты не принял? Ведь же принял бы?

– Ясное дело, принял бы.

– Неужели им непонятно? Ну скажи? Ведь без сигнала мы все тут умрем! Посмотри-ка!

Над золой зыбились горячие струйки – слюдяные, прозрачные. Дыма больше не было.

– Мы не можем поддерживать костер. А им все равно. И даже... – он заглянул в потное Хрюшино лицо, – даже мне иногда все равно. Ну вот возьму я и на все плюну. Что же с нами тогда будет?

Хрюша в смятенье снял очки.

– Не знаю я, Ральф. Надо держаться, и точка. Взрослые бы держались.

Ральф, начав облегчать свою душу, уже не мог остановиться:

– Хрюша, за что?

Хрюша посмотрел на него удивленно:

– Ты это насчет... ну...

– Да нет... я вообще... почему у нас все так плохо?

Хрюша долго тер очки и думал. Когда он понял всю степень доверия Ральфа, он вспыхнул от гордости.

– Не знаю, Ральф. Наверно, он виноват.

– Джек?

– Джек. – Вокруг этого слова уже тоже витало табу.

Ральф веско кивнул.

– Да, – сказал он, – возможно, все из-за него.

Лес разразился ревом; бесноватые с красно-бело-зелеными лицами выскочили из кустов, голоса так, что малыши с воплями разбежались. Краешком глаза Ральф увидел, как спасается Хрюша. Двое бросились к костру. Ральф приготовился защищаться, но они схватили полуобгоревшие ветки и помчались по берегу. Трое других остались, стояли и смотрели на Ральфа; и он понял, что самый высокий, весь голый, только краска да пояс, – Джек.

Ральф перевел дух и сказал:

– Ну?

Джек не ответил, поднял копьё и заорал:

– Слушай – вы все! Я и мои охотники живем у плоской скалы на берегу. Мы охотимся, мы пируем, нам весело. Кто хочет присоединиться к моему племени – приходите. Может, я вас и оставлю у себя. А может, и нет.

Он умолк и огляделся. Маска спасала от стыда и неловкости. Он каждому заглянул в лицо. Ральф стал на колено у костра, как спринтер перед стартом, и лицо его скрывали волосы и грязь. Близнецы выглядывали из-за пальмы на краю леса. Возле бухты малыш зашелся плачем, а Хрюша стоял на площадке, прижимая к груди белый рог.

– Сегодня мы пируем. Мы убили свинью, у нас есть мясо. Если хотите, можете угоститься.

В вышине из облачных каньонов снова бабахнул гром. Джек и двое неопознанных дернулись, задрали головы и сразу успокоились. Все рыдал малыш у бухты. Джек еще чего-то ждал. Потом нетерпеливо шепнул дикарям:

– Ну, давайте!

Те зашептали в ответ, но Джек оборвал их:

– Ну!

Дикари переглянулись, оба разом подняли копьё и хором сказали:

– Вы слушали Вождя.

И все трое повернулись и затрусили прочь.

Тогда Ральф встал и посмотрел туда, где исчезли дикари.

Эрик и Сэм подходили, шепча испуганно:

– Я уж думал, это...

– Ой, и я так...

– ...испугался.

Хрюша стоял наверху, на площадке, и прижимал к груди рог.

– Это Джек, Морис и Роберт, – сказал Ральф. – Неужели им весело?

– Я думал, сейчас начнется астма.

– Слыхали про твою какассыму.

– Я как увидел Джека, сейчас решил, что он за рогом пришел. Даже не знаю почему.

Мальчики посмотрели на рог с нежной почтительностью. Хрюша положил его на руки Ральфу, и малыши, видя привычный символ, заспешили обратно.

– Нет, не тут.

Ральф взошел на площадку, чтобы соблюсти ритуал. Он пошел впереди, как ребенка, неся рог, потом очень серьезный Хрюша, потом близнецы, малыши и те, кто еще остались.

– Съдьте все. Они на нас напали из-за огня. Им весело. Только...

И тут мысли Ральфа заслонило завесой. Он что-то хотел сказать, и вдруг эта завеса...

– Только...

Все смотрели на него, очень серьезно, пока еще не омраченные никакими сомнениями в том, не зря ли его выбрали, Ральф отвел от глаз эти дурацкие патлы и глянул на Хрюшу.

– Только... Ах, ну да, костер! Ну конечно!

Он засмеялся, осекся, потом, наоборот, очень гладко зашепел:

– Костер – это главное. Без костра нас не могут спасти. Я и сам бы с удовольствием размалевался и стал дикарем. Но нам надо поддерживать костер. Костер – самое главное на острове, потому что, потому что...

Снова он умолк, и в наставшей тишине было теперь недоумение, сомнение.

Хрюша шепнул с нажимом:

– Без костра нас не спасут.

– Ах да. Без костра нас не спасут. Так что надо следить за костром и чтобы все время был дым.

Он умолк, и никто не сказал ни слова. После множества пламенных речей, произнесенных на этом самом месте, выступление Ральфа даже малышам показалось неубедительным.

Наконец за рогом потянулся Билл:

– Ну, мы не можем жечь костер наверху... потому что... мы не можем жечь костер наверху. И нам людей не хватает. Давайте пойдем к ним на их этот пир и скажем, что нам с костром, значит, не справиться. А вообще-то охотиться и всякое такое, ну, дикарями быть и вообще, наверное, адски интересно.

Рог взяли близнецы:

– Наверно, и правда интересно, как вот Билл говорит... и он же нас пригласил...

– на пир...

– мясо есть...

– поджаристое...

– ...мясо бы я с удовольствием...

Ральф поднял руку:

– Может, лучше самим мясо добывать?

Близнецы переглянулись. Билл ответил:

– Нет, не пойдем мы в джунгли эти.

Ральф скривил губы:

– Он, между прочим, ходит.

– Он охотник. Они все вообще охотники. Это разница.

Помолчали, потом Хрюша бормотнул, глядя в песок:

– Мясо – это да...

Мальши сидели, страстно думая о мясе и глотая слюнки. В вышине опять бабахнула пушка, и на горячем ветру заколотились сухие листы пальм.

– Глупый маленький мальчик, – говорил Повелитель мух, – глупый, глупый, и ничего-то ты не знаешь.

Саймон шевельнул вспухшим языком и ничего не сказал.

– Что, неправда? – говорил Повелитель мух. – Разве ты не маленький, разве ты не глупый?

Саймон отвечал ему так же молча.

– Ну и вот, – сказал Повелитель мух, – беги-ка ты к своим, играй с ними. Они думают, что ты чокнутый. Тебе же не хочется, чтоб Ральф считал тебя чокнутым? Ты же очень любишь Ральфа, правда? И Хрюшу, и Джека – да?

Голова у Саймона чуть запрокинулась. Глаза не могли оторваться от Повелителя мух, а тот висел прямо перед ним.

– И что тебе одному тут делать? Неужели ты меня не боишься?

Саймон вздрогнул.

– Никто тебе не поможет. Только я. А я – Зверь.

Губы Саймона с трудом вытолкнули вслух:

– Свиная голова на палке.

– И вы вообразили, будто меня можно выследить, убить? – сказала голова. Несколько мгновений лес и все другие смутно угадываемые места в ответ сотрясались от мерзкого хохота. – Но ты же знал, правда? Что я – часть тебя самого? Неотделимая часть! Что это из-за меня ничего у вас не вышло? Что все получилось из-за меня?

И снова забился хохот.

– А теперь, – сказал Повелитель мух, – иди-ка ты к своим, и мы про все забудем.

Голова у Саймона качалась. Глаза прикрылись, словно в подражание этой пакости на палке. Он уже знал, что сейчас на него найдет. Повелитель мух взбухал, как воздушный шар.

– Просто смешно. Сам же прекрасно знаешь, что там, внизу, ты со мною встретишься, – так чего же ты?

Тело Саймона выгнулось и застыло. Повелитель мух заговорил, как учитель в школе:

– Все это слишком далеко зашло. Бедное, заблудшее дитя, неужто ты считаешь, что ты умней меня?..

Молчанье.

– Я тебя предупреждаю. Ты доведешь меня до безумия. Ясно? Ты нам не нужен. Ты лишний. Понял? Мы хотим позабавиться здесь на острове. Понял?

Мы хотим здесь на острове позабавиться. Так что не упрямясь, бедное, заблудшее дитя, а не то...

Саймон уже смотрел в открытую пасть. В пасти была чернота, и чернота расширялась.

– ...не то, – говорил Повелитель мух, – мы тебя прикончим. Ясно? Джек, и Роджер, и Морис, и Роберт, и Билл, и Хрюша, и Ральф. Прикончим тебя. Ясно?

Пасть проглотила Саймона. Он упал и потерял сознание.

ГЛАВА ДЕВУТАЦ

ЛИЦО СМЕРТИ

Над островом грудилась тучи. Весь день поднимался с горы поток горячего воздуха и взмывал на десять тысяч футов вверх. Воздух был заряжен коловращением газов и готов взорваться. Под вечер солнце ушло с неба, и прежний ясный свет стал пронзительно медным. Даже ветер с моря был горяч и не свежил. С деревьев, с моря, с розовых скал смыло цвет, и на них давили черно-белые тучи. Только мухам все это было нипочем, они вытемнили своего повелителя, а сваленные кишки из-за них сделались похожи на груды блестящего угля. Когда в носу у Саймона лопнул сосудик и пошла кровь, они и тут им не заинтересовались, предпочтядохлый дух свинины.

Кровь носом принесла облегчение, припадок Саймона перешел в истомный сон. Он лежал под лианами, пока на день напоздал вечер иверху громыало. Наконец он проснулся и смутно различил темную землю у себя под щекой. Он еще полежал немного, не шевелясь и уставясь прямо перед собой невидящим взглядом. Потом перевернулся, подобрал под себя ноги, схватился за лиану, подтянулся. Лиана дрогнула, мухи взвились, гнусно ноя, и тотчас снова обсели пададь. Саймон встал. Свет светил не по-земному. Повелитель мух висел на палке, как черный мяч.

Саймон вслух спросил лужайку:

– Что же можно еще сделать?

Ответа не было. Саймон повернулся к лужайке спиной и начал углубляться сквозь заросли в сумрак леса. Он печально брел между стволов, и лицо было лишено выраженья, а возле рта и на подбородке запеклась кровь. Лишь иногда, раздвигая кусты и выглядывая дорогу, он складывал губами слова, но наружу не выпускал.

Наконец лиан стало меньше, и с неба стал брызгать жемчужный свет. Здесь был хребет острова, земля слегка выгибалась, шла на подъем к горе и не так непролазны были джунгли. Заросли и чащоба то и дело перемежались прогалинами, Саймон брел по подъему, и скоро деревья расступились перед ним. Он пошел дальше, спотыкаясь от усталости, но не останавливаясь. В глазах не было всегдашнего сиянья. Он продвигался вперед с унылой сосредоточенностью, как старик.

Но вот ветер чуть не сшиб его с ног, и он увидел, что стоит на камнях под медным, большим небом. У него были ватные ноги и давно уже болел язык. Ветер добрался до вершины, и тут что-то случилось, синий сполох пробежался по черной туче. Саймон заставил себя снова идти вперед, и ветер налетел снова, еще сильнее, он трепал деревья, они гремели и гнулись. И вдруг Саймон увидел, как кто-то скорченный на вершине выпрямился и посмотрел на него. Опустив лицо, Саймон снова пошел вперед.

Мухи давно обнаружили сидящего. Подобие жизни всякий раз спугивало их, и они взвивались над его головой темной тучей. Потом синяя ткань парашюта опадала, сидящий вздыхал, тяжело кланялся, и мухи снова облепляли голову.

Коленки Саймона больно стукнулись о камень. Дальше он уже двинулся ползком, и скоро он все понял. Путаница веревок открыла ему механику зловещего действия; он увидел белую носовую кость, зубы, цвета тленья. Он увидел, как ремни и брезент держат без жалости бедное тело, не давая ему распасться. Потом снова подул ветер, и тело вскинулось, поклонилось, смрадно дохнуло на Саймона. Саймон снова упал на четвереньки, и его вырвало, вывернуло наизнанку. Потом он взял в руки стропы, высвободил из-под камней и избавил тело от надругательств ветра.

Наконец он отвернулся и посмотрел вниз на берег. Костер на площадке, кажется, погас, во всяком случае, дыма не было. Дальше по берегу, за речушкой, рядом с плоской скалой робкий дымок взбирался в небо. Забыв про мух, Саймон смотрел на этот дымок из-под щитков обеих ладоней. Даже с такого расстояния можно было разглядеть, что почти все, а может, и все мальчишки – там. Значит, перебрались – подальше от зверя. Саймон снова глянул на бедную развалину, смердевшую у него под боком. Зверь был безвреден и жуток; об этом надо было скорей сообщить всем. Саймон бросился вниз, у него подкашивались ноги, он заставлял себя идти, но ковылял кое-как.

– Ну, давай купаться, – сказал Ральф, – больше делать нечего.

Хрюша обозревал хмурое небо сквозь покалеченные очки.

– Не нравятся мне тучи эти. Помнишь, как лило, когда мы высадились?

– И опять польет.

Ральф нырнул. У самого берега в бухте играли двое малышей, пытаюсь освежиться в брызгах, которые были теплее тела. Хрюша снял очки и, чинно ступив в воду, снова надел. Ральф вынырнул и ртом пустил в него струю.

– Ты лучше не надо. Из-за очок. А то если ты на них попадешь, мне сразу вылазить придется, чтоб их вытереть.

Ральф снова пустил струю и промахнулся. Он засмеялся, ожидая, что Хрюша, как всегда, смиренно отступит в скорбном молчании. Но тот вдруг заколотил руками по воде.

– Хватит тебе! – заорал он. – Слышь, что ли?

И в бешенстве плеснул водой Ральфу в лицо.

– Ну, ладно, ладно, – сказал Ральф. – Ты только не бесись.

Хрюша перестал колотить по воде руками.

– У меня голова болит. Хорошо бы похолодало.

– Хорошо бы дождь.

– Хорошо бы домой.

Хрюша снова улегся на пологий песчаный берег. Капли сохли на выдавшемся брюшке. Ральф пустил струю прямо в небо. По скольжению светлой прорехи между туч можно было угадать, куда ползет солнце. Ральф стал на колени в воде и посмотрел кругом.

– А где же все?

Хрюша сел.

– Может, в шалашах лежат.

– Где Эрикисэм?

– И Билл?

Хрюша показал за площадку.

– Они вон туда пошли. К Джеку подались.

– Ну и пусть, – выдавил Ральф. – Мне-то что...

– Это они мяса чтоб покушать...

– И чтоб охотиться, – сказал Ральф жестко, – и дикарей изображать, и лица размалевывать.

Хрюша рыл канавку в песке и не смотрел на Ральфа.

– Может, и нам туда податься?

Ральф быстро глянул на него, и Хрюша покраснел.

– Ну... то есть на всякий случай, чтоб там не вышло чего.

Ральф снова пустил в небо водную струю.

Не доходя до лагеря Джека, еще издали, Ральф и Хрюша услышали шум пира. Между лесом и берегом, под пальмами, была травянистая полоса. Всего на шаг вниз от нее начинался белый, нанесенный приливами песок,

теплый, сухой, гладкий. Еще ниже была скала, она тянулась к лагуне. Под скалой, уже у самой воды, снова был маленький пляж. На скале горел костер, и со свиного мяса жир капал в невидимое пламя. На траве собрались все, кто только был на острове, кроме Саймона, Ральфа и Хрюши, да еще двоих, занятых жаркой. Хохотали, пели, валялись, сидели, стояли – и все держали мясо в руках. Судя по лицам, испачканным жиром, пир подходил к концу, и кое-кто уже прихлебывал воду из кокосовых скорлуп. Еще до начала пира в центр лужайки приволокли большое бревно, и Джек, размалеванный, в венке, теперь сидел на нем, как идол. Перед ним на зеленых листьях были груды мяса и фрукты, а в кокосовых скорлупах – питье.

Хрюша с Ральфом подошли к краю травянистой лужайки; замечая их, мальчики один за другим умолкали, пока не остался только тот, что стоял рядом с Джеком. Наконец и тот умолк, и тогда Джек повернулся. Он смотрел на них. Треск огня был единственным звуком, поднимавшимся над ровным рокотом моря. Ральф отвел от него глаза; Сэм, решив, что это Ральф смотрит на него с укором, нервно хихикнул и сунул в траву обглоданную кость. Ральф неуверенно шагнул, показал на пальму, что-то неслышно шепнул Хрюше; оба хихикнули в точности как Сэм. И Ральф зашагал вперед, высоко выбирая из песка ноги. Хрюша пытался насвистывать.

Тут мальчики, жарившие мясо, как раз отделили большой кусок и побежали к лужайке. Они наткнулись на Хрюшу, обожгли, и Хрюша взвыл и стал приплясывать. Тотчас Ральфа и всю толпу объединил взрыв веселья. Снова Хрюша сделался общим посмешищем, и, чувствуя себя нормальными, все радостно хохотали.

Джек встал и взмахнул копьём.

– Дать им мяса.

Те, кто держали вертел, дали Ральфу и Хрюше по сочному куску. Они приняли дар, истекая слюной. И стали есть, стоя под медью неба, звенящей о скорой буре.

Снова Джек взмахнул копьём.

– Все наелись досыта?

Мясо еще оставалось, шипело на палках, громоздилось на зеленых тарелках. Жертва собственного желудка, Хрюша швырнул вниз, на берег, обглоданную кость и нагнулся за новым куском.

Джек снова спросил, уже резче:

– Все наелись досыта?

В тоне была угроза, гордость собственника, и мальчики стали глотать не прожевывая. Поняв, что конца этому пока не предвидится, Джек поднялся с бревна, служившего ему треном, и прошествовал к краю травы. Сверху вниз он разглядывал из-за своей краски Ральфа и Хрюшу. Они немного поднялись по песку, и Ральф, обглаживая кость, смотрел на костер. Он подсознательно

отмечал, что пламя теперь уже видно на сером свете. Значит, пришел вечер, но красоты и отрады он не принес – только страх.

Джек сказал:

– Подайте мне пить.

Генри подал ему скорлупу, и он отпил из нее, глядя на Хрюшу и Ральфа из-за зубчатого края. Сила покоилась на мышцах его загорелых рук, и власть улеглась ему на плечо, нашептывая в ухо, как обезьяна.

– Всем сесть.

Мальчики рядами уселись перед ним на траве, а Ральф и Хрюша стояли на мягком песке, футом ниже. Джек их не замечал и, склонившись маской к сидящим, ткнул в них копьем:

– Кто желает вступить в мое племя?

Ральф вдруг дернулся, подался вперед, споткнулся. На него оглядывались.

– Я накормил вас, – сказал Джек. – А мои охотники вас защитят от зверя. Кто желает вступить в мое племя?

– Я главный, – сказал Ральф. – Вы же сами меня выбрали. И мы решили следить за костром. А вы погнались за едой.

– А ты не погнался? – крикнул Джек. – У самого в руках кость!

Ральф залился краской.

– На то вы и охотники. Это ваша работа.

Снова Джек перестал его замечать.

– Кто желает вступить в мое племя, развлечься?

– Я главный, – дрожащим голосом сказал Ральф. – И как же костер? И у меня рог...

– Что-то ты его с собой не захватил, – сказал Джек и оскалился. – Небось там оставил, а? И вообще в этой части острова рог не считается.

Вдруг сверху ударил гром. Уже не прошелся глухо, бабахнул взрывом.

– Рог и тут считается, – сказал Ральф, – и всюду на острове.

– Ну и что из этого? А?

Ральф оглядел ряды. Ни в ком не нашел сочувствия и отвернулся, сконфуженный, потный. Хрюша шептал:

– Костер – это наше спасенье...

– Кто желает вступить в мое племя?

– Я.

– И я.

– И я.

– Я протрублю в рог и созову собрание, – задохнулся Ральф.

– А мы не услышим.

Хрюша тронул Ральфа за руку.

– Пошли. А то худо будет. И мы же ведь покушали уже.

За лесом полыхнула молния и громыхнуло так, что один малыш заплакал. Посыпались крупные капли, и слышно было, как плюхалась каждая.

– Будет буря, – сказал Ральф, – и дождь, как когда мы высадились. Ну, и кто же, интересно, умница? Где твои укрытия? Как ты без них обойдешься?

Охотники уныло поглядывали в небо, уклоняясь от капель. Все нелепо засустились. Вспышки стали ярче, гром надрывал уши. Малыши с ревом метались по траве.

Джек спрыгнул на песок.

– Танцевать! Ну! Наш танец!

И, спотыкаясь, пробежал по глубокому песку на голую скалу, где был костер. Между вспышками было темно и страшно; все, голося, побежали за Джеком. Роджер стал свиньей, хрюкнул, напал на Джека, тот увернулся. Охотники схватили копыя, те, кто жарили, – свои вертела, остальные – обгорелые головни. И вот уже все кружили, пели. Роджер исполнял ужас свиньи, малыши прыгали вокруг участников представленья. Небо нависало такой жутью, что Хрюше и Ральфу захотелось влиться в эту обезумевшую компанию. Хотя бы дотронуться до коричневых спин, замыкающих в кольцо, укрощающих ужас.

– Зверя бей! Глотку режь! Выпусти кровь!

Кружение стало ритмичным, взбудораженное пенье остыло, билось ровным пульсом. Роджер был уже не свинья, он был охотник, и середина круга зияла пусто. Кто-то из малышей затеял собственный круг; и пошли круги, круги, будто это множество само по себе способно спасти и выручить. И был слаженный топот, биенье единого организма.

Мутное небо вспорол бело-голубой шрам. И тут же хлестнул грохот – как гигантским бичом. Пенье исходило предсмертным ужасом:

– Зверя – бей! Глотку – режь! Выпусти – кровь!

Из ужаса рождалось желание – жадное, липкое, слепое.

– Зверя – бей! Глотку – режь! Выпусти – кровь!

Снова выжевился наверху бело-голубой шрам и грянул желтый взрыв. Малыши визжа неслись с опушки, один, не помня себя, проломил кольцо старших:

– Это он! Он!

Круг стал подковой. Из лесу ползло что-то Неясное, темное. Впереди зверя катился надсадный вопль.

Зверь ввалился, почти упал в центр подковы.

– Зверя бей! Глотку режь! Выпусти кровь!

Голубой шрам уже не сходил с неба, грохот был непереносим. Саймон кричал что-то про мертвое тело на горе.

– Зверя – бей! Глотку – режь! Выпусти – кровь! Зверя – прикончь!

Палки стукнули, подкова, хрустнув, снова сомкнулась вопящим кругом. Зверь стоял на коленях в центре круга, зверь закрывал лицо руками. Пытаясь перекрыть дерущий омерзительный шум, зверь кричал что-то насчет мертвеца на горе. Вот зверь пробился, вырвался за круг и рухнул с крутого края скалы на песок, к воде. Толпа хлынула за ним, стекла со скалы, на зверя налетели, его били, кусали, рвали. Слов не было, и не было других движений – только рвущие когти и зубы.

Потом тучи разверзлись, и водопадом обрушился дождь. Вода неслась с вершины, срывала листья и ветки с деревьев, холодным душем стегала бьющуюся в песке груду. Потом груды распалась, и от нее отделились ковыляющие фигурки. Только зверь остался лежать – в нескольких ярдах от моря. Даже сквозь стену дождя стало видно, какой же он маленький, этот зверь; а на песке уже расплывались кровавые пятна.

Тут сильный ветер подсек дождевые плети, погнал на лес, и деревья утонули в каскадах. На вершине горы парашют вздулся, стронулся с места; тот, кто сидел на горе, скользнул, поднялся на ноги, закружился, закачался в отсырелом просторе и, нелепо загребая мотающимися ногами по высоким верхушкам деревьев, двинулся вниз, вниз, вниз, и на берег, и мальчики, голоса, разбежались во тьме. Парашют потащил тело и, вспахав воды лагуны, швырнул через риф, в открытое море.

К полуночи дождь перестал, тучи унесло, и снова зажглись в небе немислимые блески звезд. Потом ветер улегся, и стало тихо, только капли стучали, шуршали по расщелинам и плюхались, скатываясь с листка на листок в темную землю острова. Воздух был прохладный, сырой и ясный; скоро угомонилась и вода. Зверь лежал комочком на бледном песке, а пятна расплывались и расплывались.

Край лагуны стал полосой свечения, и, пока нарастал прилив, она напознала на берег. В ясной воде отражалось ясное небо и яркие угольники созвездий. Черта свечения взбухала, набегающая на песчинки и гальку, и, на мгновение дрогнув упругой рябью, тотчас глотала их неслышным глотком и продвигалась на берег дальше.

Наползающая на отмели ясность вод по кромке кишела странными лучистыми созданиями с горящими глазами. То и дело окатыш побольше, вдруг выделяясь из множеств, одевался жемчужным ворсом. Прилив ровнял взрытый ливнем песок, все покрывая блестящей полудой. Вот вода коснулась первого пятна, натекшего из разбитого тела, и создания бьющейся световой каймой собрались по краю. Вода двинулась дальше и одела жесткие космы Саймона светом. Высеребрился овал лица, и мрамором статуи засверкало плечо. Странно бдящие существа с горящими глазами и дымными шлейфами

суетились вокруг головы. Тело чуть-чуть поднялось на песке, изо рта, влажно хлопнув, вылетел пузырек воздуха. Потом тело мягко качнулось и сползло в воду.

Где-то за темным краем мира были луна и солнце; силой их притяжения водная пленка слегка взбухла над одним боком земной планеты, откуда та вращалась в пространстве. Большой прилив надвинулся дальше на остров, и вода еще поднялась. Медленно, в бахромке любопытных блестящих существ, само – серебряный очерк под взглядом вечных созвездий, мертвое тело Саймона поплыло в открытое море.

ГЛАВА ДЕСЯТА

РАКОВИНА И ОЧКИ

Хрюша внимательно вглядывался в того, кто подходил. Сейчас ему часто казалось, что видно лучше, если переставить стеклышко к другому глазу; но и без этого Ральфа, даже после всего случившегося, он бы ни с кем не спутал. Он шел от кокосовых пальм, грязный, прихрамывая, и сухие листья застряли в желтых спутанных волосах. Один глаз глядел щелочкой из вспухшей щеки, и на правой коленке был большой струп. Он на мгновение застыл, вглядываясь в стоящего на площадке.

– Хрюша? Ты один?

– Еще малыши кое-кто.

– Эти не в счет. Старших нет?

– Ах да... Эрикисэм. Топливо собирают.

– Больше никого?

– Вроде нет.

Ральф осторожно влез на площадку. На месте прежних собраний была еще примята трава; хрупкий белый рог еще мерцал на отполированном сиденье. Ральф сел на траву лицом к рогу и к месту главного. Хрюша опустился на колени слева от него, и целую долгую минуту оба молчали.

Наконец Ральф откашлялся и что-то шепнул.

Хрюша спросил, тоже шепотом:

– Ты чего?

Ральф сказал вслух:

– Саймон.

Хрюша ничего не сказал, только мрачно кивнул. Оба смотрели на место главного, на сверкающую лагуну, и все расплывалось у них перед глазами. По грязным телам прыгал зеленый свет и блестящие зайчики.

Наконец Ральф встал и направился к рогу. Он ласково обхватил раковину и, став на колени, привалился к лежащему стволу.

– Хрюша.

– А?

– Что же делать?

Хрюша кивком показал на рог.

– Ты бы..

– Созвал собрание?

Сказав это, Ральф едко засмеялся, и Хрюша насупился.

– Все равно ты же главный.

Ральф засмеялся снова.

– Ну да. Над нами-то ты же главный.
– У меня рог!..
– Ральф! Хватит тебе смеяться! Не надо так! Слышь? Ральф! Ну что другие подумают?

Наконец Ральф перестал смеяться. Он весь дрожал.

– Хрюша.

– А?

– Это был Саймон.

– Ты уже сказал.

– Хрюша.

– А?

– Это было убийство.

– Хватит тебе! – взвизгнул Хрюша. – Ну чего, зачем, какой толк это говорить?

Он вскочил на ноги, наклонился над Ральфом:

– Было темно. И был этот, ну, танец треклятый. И молния была, гром, дождь. Мы перепугались.

– Я не перепугался, – медленно выговорил Ральф. – Я... я даже не знаю, что со мной было.

– Перепугались мы! – горячо зашептал Хрюша. – Мало ли что могло случиться. И это совсем не... то, что ты сказал.

Он махал руками, подыскивая определение.

– Ох, Хрюша!

У Ральфа был такой голос, хриплый, убитый, что Хрюша сразу перестал махать. Он наклонился к Ральфу и ждал. Ральф, обнимая рог, раскачивался из стороны в сторону.

– Неужели ты не понимаешь, Хрюша? Что мы сделали...

– А вдруг он еще...

– Нет.

– Может, притворился просто...

Хрюша взглянул в лицо Ральфу и осекся.

– Ты стоял рядом. Ты не входил в круг. Ты в стороне стоял. Но разве ты не видел, – нет? – что мы... что они сделали?

В голосе было отвращенье, тоска, но он и дрожал от напряжения:

– Ты не видел, Хрюша?

– Не очень я видел. Я ж одноглазый теперь. Пора бы запомнить, Ральф.

Ральф все раскачивался из стороны в сторону.

– Это несчастный случай, – вдруг выпалил Хрюша. – Вот это что. Несчастный случай. – Голос Хрюши снова сорвался на визг. – И чего он вылез в такую темь? Зачем ему было из темноты выползть? Чокнутый. Сам нарывался. – Хрюша снова отчаянно замахал руками. – Несчастный случай...

– Ты не видел, что они сделали...
– Слышь-ка, Ральф. Нам надо про это позабыть. Нельзя нам, не для чего нам про это думать, понял?

– Я боюсь. Я нас самих боюсь. Я хочу домой. Господи, как я хочу домой.

– Это несчастный случай, – упрямо твердил Хрюша. – Вот и все.

Он взял Ральфа за голое плечо, и Ральф вздрогнул от человеческого прикосновения.

– И слышь-ка, Ральф, – Хрюша быстро оглянулся и наклонился к Ральфу, – ты и виду не показывай, что мы тоже там были, когда этот танец. Ты Эрикисэму не говори.

– Но были же мы! Мы все!

Хрюша покачал головой:

– Мы-то не до конца. Да они ж в темноте и не разглядели. Ты вот сам сказал – я в круг не входил...

– И я, – бормотнул Ральф, – я тоже рядом стоял.

Хрюша кивнул облегченно:

– Правильно. Мы рядом стояли. Мы ничего не делали, мы ничего не видели.

Хрюша помолчал, потом заговорил снова:

– Ничего, вчетвером будем жить. Во как заживем.

– Ну да, вчетвером. Мы за костром следить не сможем.

– А мы попробуем. Видишь? Я зажег.

Близнецы вышли из лесу, волоча большое бревно. Бросили его у костра и повернули к бухте. Ральф вскочил на ноги.

– Эй, вы! Оба!

Близнецы на секунду застыли, потом опять пошли.

– Ральф, они же купаться идут.

– Лучше сразу с этим покончить.

Близнецы страшно удивились, заметив Ральфа. Вспыхнули и посмотрели куда-то мимо.

– Привет. И ты тут, Ральф?..

– А мы в лесу были...

– Дрова собирали.

– ...для костра...

– Мы вчера заблудились.

Ральф пристально разглядывал свои ноги.

– Вы заблудились уже после...

Хрюша чистил стеклышко.

– После пира, – глухо выдавил Сэм. Эрик кивнул. – Да, уже после пира...

– Мы рано ушли, – быстро вставил Хрюша. – Мы устали.

– Мы тоже...

- Совсем рано...
- Мы очень устали.

Сэм тронул ссадину у себя на лбу и тут же отдернул руку. Эрик тербил разбитую губу.

– Да. Мы очень устали, – повторил Сэм. – Вот мы рано и ушли. Ну, а как...

В воздухе тяжело повисло несказанное. Сэм поморщился, и у него с губ сорвалось это пакостное слово:

– ...танец?

От воспоминания о танце, при котором ни один из них не присутствовал, затрясло всех четверых.

– Мы рано ушли.

Дойдя до перешейка, связывавшего Замок с островом, Роджер не удивился, когда его окликнули. Во время страшной ночи он так и прикидывал, что большая часть племени спасется в этом надежном месте от ужасов острова.

Голос раскатился в вышине, там, где громоздились друг на друга уменьшающиеся глыбы.

– Стой! Кто идет!

– Роджер.

– Подойди друг.

Роджер подошел.

– А сам-то ты не видишь, кто идет?

– Вождь приказал всех окликать.

Роджер запрокинул голову.

– Ну все равно, как бы ты меня не подпустил?

– Как! Залезай да посмотри.

Роджер взобрался по подобию ступенек.

– Взгляни-ка. Ну? Что?

На самом верху под камень было втиснуто бревно, а под ним пристроено другое – рычаг. Роберт слегка нажал на рычаг, и глыба застонала. Если налечь как следует, глыба загремела бы на перешеек. Роджер отдал изобретению должное:

– Вот это Вождь, да?

Роберт качнул головой:

– Он нас охотиться поведет.

Он кивнул в сторону далеких шалашей, где взбиралась по небу белая струйка дыма. Роджер мрачно озирал остров, сидя на самом краю стены и

трогая пальцем шатающийся зуб. Взгляд его приковался к вершине горы, и Роберт увел разговор от неназванной темы.

– Он Уилфреда будет бить.

– За что?

Роберт повел плечами:

– Не знаю. Он не сказал. Рассердился и приказал связать Уилфреда. И он... – Роберт нервно хихикнул, – и он долго-долго уже связанный ждет...

– И Вождь не объяснил за что?

– Я лично не слышал.

Сидя на грозной скале под палящим солнцем, Роджер принял эту новость как откровение. Он перестал возиться с зубом и замер, прикидывая возможности неограниченной власти. Потом, не говоря больше ни слова, полез вниз, к пещере и к племени.

Вождь сидел там, голый до пояса, и лицо было размалевано белым и красным. Племя полукругом лежало перед ним. Побитый и высвобожденный Уилфред шумно хлопал на заднем плане. Роджер присел на корточки рядом с остальными. – ...завтра, – продолжал Вождь, – мы снова отправимся на охоту.

Он потыкал в дикарей – по очереди – копьем.

– Кое-кто останется тут, приводить в порядок пещеру и защищать ворота. Я возьму с собой нескольких охотников и принесу вам мяса. Стражники должны следить за тем, чтобы сюда никто не пробрался...

Кто-то из дикарей поднял руку, и Вождь обратил к нему выкрашенно-мертвенное лицо.

– Вождь, а зачем они станут к нам пробираться?

И Вождь отвечал вдумчиво и туманно:

– Они станут. Чтоб нам вредить. И потому, стражники, будьте начеку. И потом ведь...

Вождь запнулся. Поразительно розовый треугольник мелькнул, мазнул по губам и тотчас исчез.

– ...и потом, зверь тоже может прийти. Помните, как он подкрался...

По полукругу прошла дрожь и утвердительный гул.

– Он пришел под чужой личиной. И может явиться опять, хоть мы оставили ему голову от нашей добычи. Так что смотрите в оба. Будьте начеку.

Стенли отнял локоть от скалы и поднял вопрошающий палец.

– Что тебе?

– Но разве мы... разве...

Он съежился и потушился.

– Нет!

Дикари затихли, каждый боролся с собственной памятью.

– Нет! Как мы могли... убить... его?

Успокоенные, но и уstraшенные возможностью новых ужасов, дикари загудели опять.

– И так, от горы подальше, – строго произнес Вождь, – и оставлять ему голову, когда свинью убиваешь.

Стенли опять вздернул палец:

– Я думаю, зверь принимает личины.

– Возможно, – сказал Вождь. Тут открывался уже путь к богословским прениям. – В общем, с ним надо поосторожней. Мало ли что он еще выкинет.

Племя призадумалось и содрогнулось, как от порыва ветра. Довольный произведенным эффектом, Вождь рывком встал.

– Но завтра – охотиться, и, когда у нас будет мясо, закатим пир.

Билл поднял руку:

– Вождь!

– Да?

– Чем мы огонь для костра добудем?

Краску, хлынувшую Вождю в лицо, скрыла белая и красная глина. Снова племя выплеснуло гул голосов в растерянную тишину. И тогда Вождь поднял руку:

– Огонь мы возьмем у тех. Слушайте все. Завтра мы идем на охоту. У нас будет мясо. А сегодня я и двое охотников... кто со мной?

Руки подняли Морис и Роджер.

– Морис...

– Слушаю, Вождь?

– Где у них костер?

– На старом месте, у скалы.

Вождь кивнул.

– Остальным – ложиться спать, как только сядет солнце. А нам втроем, Морису, мне и Роджеру, придется поработать. Выходим перед самым закатом...

Морис поднял руку:

– А вдруг мы встретим...

Взмахом руки Вождь отменил это возражение:

– Мы пойдем вдоль берега по песку. Так что если он явится, мы опять... опять станцуем наш танец.

– Это втроем-то?

Снова поднялся и замер гул.

Хрюша отдал очки Ральфу, и теперь он ждал, когда ему вернут зрение. Дрова были сырые; они уже в третий раз пытались их зажечь. Ральф встал и буркнул себе под нос:

– Нельзя вторую ночь без костра.

Он виновато оглянулся на троих стоящих рядом мальчиков. Впервые он признал двойную роль костра. Конечно, первая его роль – слать вверх призывный столбик дыма; но он еще и очаг и согревает ночью. Эрик дул на дерево, пока оно не занялось и не загорелось. Поднялся бело-желтый вал дыма. Хрюша снова надел очки и, довольный, смотрел на костер.

– Хорошо бы радио сделать!

– Или самолет бы...

– ...или лодку.

Ральф поворошил в памяти блекнувшие представления о мире.

– Мы бы в плен к красным могли попасть.

Эрик откинул волосы со лба.

– Лучше бы уж они, чем...

Переходить на личности он не стал, и Сэм кончил за него фразу, кивнув вдоль берега.

Ральф вспомнил нелепо мотающееся под парашютом тело.

– Он же что-то насчет мертвеца говорил... – И страшно покраснел, выдав, что присутствовал на том танце. Он весь подался к костру:

– Нет-нет! Только не гасни!

– Совсем стал жидкий.

– Еще дерево нужно, хоть и сырое.

– У меня астма...

И – неизбежный ответ:

– Слыхали про твою какассу.

– Если я бревна опять стану таскать, меня астма схватит. Я сам не рад, Ральф, но тут куда же денешься?

Втроем пошли в лес, принесли охапки гнилых сучьев. Снова поднялся густой желтый дым.

– Давайте поедим чего-нибудь.

Все вместе пошли к фруктовым деревьям, захватив с собой копыя, и торопливо, молча, долго набивали животы. Солнце уже садилось, когда они вышли из лесу, и только угли дотлевали в золе, и дыма не было.

– Я больше не могу ветки таскать, – сказал Эрик. – Я устал.

Ральф откашлялся:

– Наверху костер у нас все время горел.

– Так тот маленький был. А здесь большой нужно.

Ральф подкинул в костер щепочку и проводил взглядом качнувшуюся в сумерках струю.

– Надо, чтоб он горел.

Эрик растянулся плашмя.

– Нет, я совсем устал. Да и какой смысл?

– Эрик! – выкрикнул Ральф. – Ты не смей так говорить!

Сэм встал на колени с Эриком рядом:

– Точно. Ну какой, какой смысл?

Ральф негодуя старался вспомнить. С костром было связано что-то хорошее. Что-то потрясающе важное...

– Ральф вам уже сто раз говорил, – проворчал Хрюша. – Как же вы еще хотите, чтоб нас спасли?

– Именно! Если у нас не будет дыма...

И он сел перед ними на корточки в загустевших сумерках.

– Неужели вы не понимаете? Что толку мечтать о лодках, о радио?

Он вытянул руку, сжал кулак.

– У нас только один способ отсюда выбраться. Кто-то там пусть играет в охоту, пусть добывает мясо...

Он переводил взгляд с одного лица на другое. Но в минуту наивысшего подъема и убежденности вдруг этот занавес заколыхался у него в голове, и сразу он совершенно сбился. Он стоял на коленях, сжимал кулак, важно переводил взгляд с одного лица на другое... Наконец занавес снова взвился.

– Ах, ну да. А наше, значит, дело – дым. И чтоб побольше дыма...

– Но не получается же у нас! Смотри!

Костер догорал.

– По двое – следить за костром, – бормотал про себя Ральф. – Это выходит по двенадцати часов в сутки...

– Ральф, мы больше не можем таскать дрова...

– Темно же...

– Ночь же...

– Мы можем его зажигать каждое утро, – сказал Хрюша. – В темноте дым никто никогда не увидит.

Сэм убежденно затряс головой.

– Другое дело, когда костер был...

– Наверху.

Ральф встал, чувствуя странную незащищенность перед давящей тьмой.

– Ладно. Пусть ночью не горит.

Он пошел к первому шалашу, который еще стоял, хоть и шатался. Груды листьев лежали тут, сухие и шумные на ощупь. В соседнем шалаше малыш говорил со сна. Четверо старших залезли в шалаш и зарылись в листья. Близнецы легли рядышком, Ральф с Хрюшей – в другом углу. Листья долго шуршали, скрипели, пока они устраивались на ночлег.

– Хрюш.

– Ты как – ничего?

– Да ничего вроде.

Наконец – только изредка шорох и хруст – в шалаше стало тихо. За низким входом висела утыканная звездами чернота, и с полным гулом набегали на риф волны. Ральф, как всегда по ночам, стал играть в «вот если бы...»

Вот если бы их отправили домой на реактивном, они бы уже к утру были на том большом аэродроме в Уилтшире. Потом поехали бы на машине. Нет, для полного счастья лучше на поезде. И прямо бы до Девона. И опять бы в тот дом. И дикие пони опять подходили бы к забору и заглядывали бы в сад...

Ральф беспокойно завертелся под листьями. В Дартмуре вообще дико, вот и дикие пони. Дикость его больше не привлекала.

Мечты повернулись к обузданной прирученности города, где нет места дикарству. Что может быть безопасней автобусной станции, там колеса, там фонари... Уже Ральф танцевал вокруг фонаря, и автобус полз от стоянки – странный автобус...

– Ральф! Ральф!

– А? Что?

– Ты не надо так шуметь.

– Извини.

Тьму в дальнем углу прорезал ужасный стон, и их затрясло под листьями. Сэм и Эрик дрались, вцепившись друг в дружку.

– Сэм! Сэм!

– Эй! Эрик!

И снова все успокоилось.

Хрюша тихонько сказал:

– Нам пора мотать отсюда.

– Ты про что это?

– Чтоб нас спасли.

Впервые за день и несмотря на давящую тьму, Ральф прыснул.

– Нет, правда, – шептал Хрюша. – Если нас скоро не спасут, то все – мы свихнемся.

– ...и будем немного того.

– ...психи ненормальные!

– ...шизики!

Ральф сдунул с лица взмокшую прядку.

– А ты тете своей напиши.

Хрюша всерьез призадумался:

– Я не знаю, где она теперь. И у меня конверта нету. И марки. И здесь почтового ящика нету. И почтальона.

Ральф не ожидал от своей шутки такого успеха. Он давился смехом, он весь дергался, трясся.

Хрюша с достоинством укорял:

146

– Я ничего не сказал такого ужасно смешного.

Ральф хихикал, ему уже стало невмоготу. Он мучился и, сокрушенно, задыхаясь, лежал и ждал, когда на него опять нападет смех. Во время одной из таких пауз его подстерег сон.

– Ральф! Опять ты шумишь. Ты лучше тихо, а, Ральф, а то...

Ральф приподнялся и сел. Он был благодарен прервавшему его сон Хрюше, потому что автобус приблизился и стал уже виден ясней.

– Что – а то?

– Тш-ш. Слушай.

Ральф улегся, осторожно, под длинные вздохи листвы. Эрик простонал что-то и успокоился. Тьма, кроме глупой полоски звезд, была плотная, как войлок.

– Я ничего не слышу.

– Там снаружи шевелится что-то.

Ральфу ждало виски. Шум крови в ушах утопил все звуки, потом затих.

– Нет, ничего не слышу.

– А ты слушай. Ты подольше послушай.

Ясно, отчетливо и в двух шагах от шалаша хрустнул сучок. Снова кровь загремела в ушах у Ральфа, в мозгу замелькали смутные, смешанные образы. Их совокупность осаждала шалаш. Хрюшина голова ткнулась ему в плечо, рука стиснула его руку.

– Ральф! Ральф!

– Тихо ты. Слушай.

Ральф взмолился в отчаянье, чтобы зверь предпочел малышей. Страшный шепот шипел у входа:

– Хрюша... Хрюша...

– Пришел! – задохнулся Хрюша. – Он вправду есть!

Он глотал воздух и жался к Ральфу.

– Хрюша, выходи. Ты нужен мне, Хрюша.

Губы Ральфа были у самого Хрюшиного уха:

– Молчи.

– Хрюша, Хрюша, где ты, Хрюша?

Что-то прошуршало в тылу шалаша. Хрюша на мгновенье замер. И у него началась его астма. Он весь выгнулся, забил ногами по листьям. Ральф откатился от него.

Потом был страшный рев у входа. Плюхнулось, бухнулось живое что-то. Кто-то споткнулся об Ральфа, перелетел через него. В Хрюшином углу все смешалось – рев, хруст, мельканье рук, ног. Ральф наугад колотил кулаками во тьме; потом он и еще кто-то, человек, кажется, десять, катались, катались по листьям, били, кусались, царапались. Его трясли, рвали, кто-то сунул пальцы ему в рот, он укусил эти пальцы. Рука отдернулась и тут же, как

поршень, ударил кулак, и шалаш затрясся, посыпались искры. Ральф отпрыгнул, попал на корчащееся тело, ему горячо дохнули в щеку. Он колотил, молотил кулаком по горячо дышавшему рту. Он распался, он колотил, бил, а лицо под кулаком уже сделалось скользкое. Потом между ног ему всунулась коленка, и он упал, он все забыл от боли, а через него уже валились сцепившиеся тела. Шалаш рухнул, бесповоротно завершая сражение. Неизвестные заматались, темными тенями выскользнули из развалин и унеслись прочь, и тогда стал слышен вой малышей и свистящий хрип Хрюши.

Ральф кричал срывающимся голосом:

– Малыши! Идите все спать! Это мы дрались с теми, а теперь – спать.

Близнецы подошли вплотную и разглядывали Ральфа.

– Вы оба как – в порядке?

– Вроде...

– А мне попало.

– И мне. А как же Хрюша?

Они выволокли Хрюшу из-под веток и прислонили спиной к дереву. В ночи была прохлада и облегчение после недавнего ужаса. И Хрюша дышал уже легче.

– Хрюша, тебя не покалечило?

– Да нет...

– Это Джек со своими охотниками, – сказал Ральф горько. – И чего им от нас еще надо?

– Зато мы им всыпали по первое число, – сказал Сэм. Честность вынуждала его продолжить. – Ну, то есть вы, конечно. Я в углу у себя как-то застрял.

– Да, я одного как следует сделал, – сказал Ральф. – Раскрасил его что надо. Теперь подумает, прежде чем снова к нам сунуться.

– И я, – сказал Эрик. – Я спал, а он меня ка-ак саданет по морде. Ральф, у меня, наверно, все лицо в крови? Но я ему тоже хорошо дал.

– А ты его как?

– Коленкой, – бесхитростно хвастал Эрик, – ка-ак двину между ног. Ох, он орал! Ты б послушал. Так что мы их неплохо отделали.

Вдруг Ральф шелохнулся во тьме. Но потом услышал, как Эрик что-то делает пальцем во рту.

– Ты чего?

– Да так. Зуб шатается просто.

Хрюша подтянул ноги.

– Ты уже ничего, Хрюш?

– Я-то думал, они за рогом пришли.

Ральф затрусил по бледному берегу и вспрыгнул на площадку. На сиденье главного мирно мерцал рог. Ральф постоял, посмотрел и вернулся к Хрюше.

– Рог они оставили.

– Я знаю. Они не за рогом приходили. Они за другим. Ральф! Что же мне делать?

Уже в отдаленье, по береговой луке, трое трусили в сторону замка. Они держались ближе к воде, от леса подальше. То вдруг принимались тихонько петь, то вдруг кувыркались колесом вдоль светящейся кромки. Вождь ровно трусил впереди, наслаждаясь победой; он был теперь настоящий вождь; и он на бегу пронзал воздух копьем. В левой руке у него болтались Хрюшины разбитые очки.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЗАМОК

В недолгой рассветной прохладе все четверо собрались возле черного пятна, на месте костра, и Ральф стоял на коленках и дул на золу. Серый, перистый пепел взлетал от его стараний, но не появлялось ни искорки. Близнецы смотрели тревожно, Хрюша с отрешенным лицом сидел за блестящей стеною своей близорукости. Ральф дул, пока у него не зазвенело в ушах от натуги, но вот первый утренний бриз, отбив у него работу, засыпал ему глаза пеплом. Ральф отпрянул, выругался, вытер слезы.

– Все без толку.

Эрик смотрел на него сверху вниз из-под маски запекшейся крови. Хрюша повернул в сторону Ральфа пустой взгляд:

– Конечно, без толку, Ральф. Мы без огня теперь.

Ральф придвинул лицо поближе к Хрюшину.

– Ну, а так-то ты меня видишь?

– Чуть-чуть.

Глаз Ральфа снова спрятался за вздутой щекой.

– Они, отобрали у нас огонь...

Его голос сорвался от бешенства:

– Украли!

– Вот они какие, – сказал Хрюша. – Я из-за них слепой. Понимаешь? Вот он, Джек Меридью. Ты созови собрание, Ральф, нам надо решить, что делать.

– Самих себя созывать?

– Раз больше нет никого. Сэм, дай-ка я за тебя ухвачусь.

Они пошли к площадке.

– Ты протруби в рог, – сказал Хрюша. – Ты изо всех сил протруби.

В лесу зашлось эхо. Взмыли птицы, голося над верхушками, как в то давнее-давнее первое утро. Берег по обе стороны площадки был пуст. Несколько малышей шли от укрытий. Ральф сел на отполированный ствол, трое стали рядом. Он кивнул, Эрик и Сэм сели справа. Ральф сунул рог в руки Хрюше. Хрюша стоял и моргал, бережно держа сверкающую раковину.

– Ну, что же ты – говори.

– Я только одно хочу сказать. Я теперь ничего не вижу, и пускай мне отдадут мои очки. На нашем острове ужасные вещи делаются. Я за тебя голосовал, Ральф, я тебя выбирал главным. Ну а он, он все это делает. Так что ты выступи, Ральф, и чего-нибудь нам скажи. А то...

Хрюша оборвал свою речь и всхлипнул. Он сел, и Ральф взял у него рог.

– Обыкновенный костер. Неужели так это трудно? Правда же? Просто сигнал, чтобы нас спасли. Мы что – дикари или кто мы?! И вот теперь нет сигнала. Мимо может пройти корабль. Помните, он тогда на охоту ушел и костер погас, а мимо прошел корабль? И они еще думают, он настоящий вождь. Ну, а потом, потом было... И это ведь тоже из-за него. Не он бы – никогда бы этого не было. А теперь вот Хрюша не видит ничего, приходят, крадут... – У Ральфа дрожал голос. – ...Ночью пришли, в темноте, и украли у нас огонь. Взяли и украли. Мы бы и так им дали огня, если б они попросили. А они украли, и теперь сигнала нет, и нас никогда не спасут. Понимаете? Мы бы сами им дали огня, а они взяли и украли. Я...

Он неловко запнулся. Мысли опять застлал этот занавес. Хрюша вытягивал руки за рогом.

– Ральф, что ты делать-то будешь? Это все слова одни, а ведь надо решать. Я не могу без очков.

– Дай подумать. Может, пойти к ним, как мы раньше были – причесаться, помыться? Мы же правда не дикари и насчет спасенья не игра какая-то...

Он прижал пальцем вспухшую щеку и глянул на близнецов.

– Немножко приведем себя в порядок и двинемся...

– Копья возьмем, – сказал Сэм. – У Хрюша пусть тоже.

– Ага. Вдруг пригодятся.

– Рог не у тебя!

Хрюша поднял раковину.

– Если хотите, можете копыя брать, а я не буду! Что за радость? Меня все равно как собаку придется вести. Ладно, посмейтесь. Очень смешно. То-то тут все время смеются. А что выходит? Что взрослые скажут? Саймона – убили. А того малыша, с отметиной... Видел его кто? Хоть раз с тех пор, когда...

– Хрюша! Минуточку!..

– У меня рог. Нет, я лично пойду прямо к Джеку Меридью и все ему выложу.

– Тебе не поздоровится.

– Да что он мне еще-то, теперь-то уж сделает? Я скажу ему что к чему. Я понесу рог, можно, а, Ральф? Я покажу ему кое-что, чего ему не хватает.

Хрюша умолк, переждал мгновение, оглядел неясные пятна лиц. Тень былых вытоптавших траву собраний прислушивалась к его речи.

– Я пойду к нему с рогом в руках. Я подниму рог. Я скажу ему – так, мол, и так, скажу, ты, конечно, сильнее меня, у тебя нету астмы. И ты видишь прекрасно, скажу, ты обоими глазами видишь. Но я у тебя не прошу мои очки, я у тебя их не кляччу. И я не стану тебя упрашивать, мол, будь человеком. Потому что неважно, сильный ты или нет, а честность есть честность! Так что отдавай мне мои очки, скажу, ты обязан отдать!

Хрюша закончил. Он был весь красный и дрожал. Сунул рог Ральфу, будто хотел поскорей от него отделаться, и вытер слезы. Тихий зеленый свет обливал их, рог лежал у Ральфа в ногах, белый и хрупкий. Единственная капелька, протекшая между Хрюшиных пальцев, звездой горела на сияющем выгибе.

Ральф наконец выпрямился и откинул волосы со лба.

– Ладно. То есть попробуй, если хочешь. Мы тоже пойдем.

– Он же раскрашенный будет, – сомневался Сэм. – Знаете сами, какой он будет...

– Не очень-то он нас испугался...

– Если он взбесится, мы не обрадуемся...

Ральф хмуро глянул на Сэма. Ему смутно вспоминалось что-то, что Саймон говорил тогда, среди скал.

– Глупостей не болтай, – сказал он. И тут же прибавил:

– Значит, мы идем.

Он протянул рог Хрюше, и тот вспыхнул, на сей раз от гордости.

– На, ты понесешь.

– Когда мы выступим, я его понесу... – Хрюша искал еще слов, чтоб выразить свою пламенную готовность стойко пронести рог через все невзгоды и трудности. – ...Я с удовольствием, Ральф. Хоть меня самого же вести придется.

Ральф снова положил рог на блестящий ствол.

– Сначала надо поесть, а уж потом отправимся.

Они пошли к разоренным фруктовым деревьям. Хрюше помогли добраться до еды, и он искал ее ощупью. Пока ели, Ральф обдумывал план.

– Пойдем, как мы раньше были. Помоемся...

Сэм заглотал сочную мякоть и воспротивился.

– Мы же купаемся каждый день!

Ральф оглядел троих – чумазных, жалких, вздохнул:

– Надо бы волосы причесать. Только уж очень они у нас длинные.

– У меня в шалаше гольфы остались, – сказал Эрик. – Можно их на голову надеть, шапочки будут такие.

– Лучше чего-нибудь найдем, – сказал Хрюша, – и волосы вам сзади завяжем.

– Ну да, как у девчонок!

– Зачем? И вовсе не так.

– Ладно, пойдем как есть, – сказал Ральф. – Они тоже не лучше.

Эрик вытянул руку, преграждая им путь.

– Они же раскрашены будут. Сами знаете...

Все закивали. Они хорошо понимали, какое чувство дикости и свободы дарила защитная краска.

– Ну и что? А мы не будем раскрашены, – сказал Ральф. – Потому что мы-то не дикари.

Близнецы переглянулись.

– А все-таки, может...

Ральф крикнул:

– Никакой краски!..

И опять он умолк, ловя ускользающую мысль.

– Дым, – сказал он. – Нам нужен дым...

Он яростно глянул на близнецов:

– Дым, я говорю. Нам нельзя без дыма!..

Было тихо, и только ныли надсадно пчелы. Потом Хрюша осторожно заговорил.

– Ну да. Дым ведь – сигнал, и без дыма нас никогда не спасут.

– Сам знаю! – крикнул Ральф. – Он отдернул руку от Хрюши. – то же, по-твоему, я...

– Просто я сказал, чего ты всегда говоришь, – заторопился Хрюша. – Просто мне вдруг показалось...

– Ничего подобного, – громко сказал Ральф. – Я все время помню. Я не забыл...

Хрюша уже тряс головой, смиренно, увещевающе:

– Ты же у нас Вождь, Ральф. Ты же, конечно, все помнишь.

– Я не забыл.

– Ну конечно, нет.

Близнецы смотрели на Ральфа так, будто впервые его увидели.

Они отправились по берегу в боевом порядке. Первым шел Ральф, он прихрамывал и нес копьё на плече. Он плохо видел из-за дымки, дрожащей

над сверканьем песков, собственных длинных волос и вспухшей щеки. За ним шли близнецы, озабоченные, но не утратившие своей неисчерпаемой живости. Они говорили мало, но прилежно волокли за собой копыя, ибо Хрюша установил, что, опустив глаза, защитив их от солнца, он видит, как концы копий ползут по песку. И потому он ступал между копыями, бережно прижимая к груди рог. Тесная группка двигалась по песку, четыре сплюснутые тени плясали и путались у них под ногами. От бури не осталось следа, берег блистал, как наточенное лезвие. Гора и небо сияли в жаре, в головокружительной дали; и приподнятый миражем риф плыл по серебряному пруду на полпути к небу.

Прошли мимо того места, где танцевало тогда племя. Обугленные головни все еще лежали на камнях, где их загасило дождем, но снова был гладок песок у воды. Здесь они прошли молча. Все четверо не сомневались, что племя окажется в Замке, и, когда Замок стал виден, не сговариваясь остановились. Заросли, самые густые на всем острове, зеленые, черные, непроницаемые, были слева от них, и высокая трава качалась впереди. Ральф шагнул вперед.

Вот примятая трава, где они лежали тогда, когда он ходил к бастиону. Дальше был перешеек, а потом огибающий скалу выступ и красные башенки сверху.

Сэм тронул его за руку.

– Дым.

Дымное пятнышко дрожало в небе по ту сторону скалы.

– Ну конечно – у них костер...

Ральф обернулся.

– Чего это мы прячемся?

Он вышел из заслона травы на голое место перед перешейком.

– Вы двое пойдете сзади. Первым пойду я, потом прямо за мной Хрюша.

Копья держите наготове.

Хрюша тревожно вглядывался в сверкающую пелену, отзавесившую его от мира:

– Тут не опасно? Не обрыв? Я слышу море...

– Держись ко мне поближе.

Ральф ступил на перешеек. Пнул камень, и тот плеснулся в воде. Потом море вздохнуло, всасывая волну, и в сорока футах внизу, слева от Ральфа обнажился красный мшистый квадрат.

– А я не свалюсь? – мучился Хрюша. – Мне так жутко!

С высоты из-за башенок по ним вдруг ударил окрик, потом прогремел воинский клич, и дюжина голосов отозвалась на него из-за скалы.

– Давай сюда рог и не шевелись.

– Стой! Кто идет?

Ральф запрокинул голову и различил наверху темное лицо Роджера.

– Сам видишь, – крикнул Ральф. – Хватит тебе дурачиться!

Он поднес рог к губам и стал трубить. Дикари, раскрашенные до неузнаваемости, спускались по выступу на перешеек. В руках у них были копыя, и они изготовлялись защищать подступы к бастиону. Ральф трубил, не обращая внимания на Хрюшин страх.

Роджер кричал:

– Не подходи, говорю! Слышишь?

Ральф наконец отнял рог ото рта. С трудом, но достаточно громко он выдохнул:

– ... Созываю собрание.

Охраняющие перешеек дикари перешептывались, но не трогались с места. Ральф прошел вперед еще два шага. Сзади шуршал заклинающий шепот:

– Не оставляй меня, Ральф.

– Ты стань на коленки, – бросил Ральф через плечо. – И жди, пока я вернусь.

Он остановился посреди перешейка и внимательно разглядывал дикарей. Непринужденные, вольные за своей краской, они позавязывали сзади волосы, и им было куда удобней, чем ему. Ральф тут же решил, что потом непременно тоже так сделает. Он даже чуть не попросил их обождать, чтоб распорядиться со своими волосами, не сходя с места; но было не до того. Дикари хихикали, и один поманил Ральфа копьём. Высоко наверху Роджер отнял руки от рычага и тянул шею, засматривая вниз. Мальчики на перешейке, сведенные к трем косматым головам, тонули в луже собственной тени. Хрюша обвисал между ними круглым мешком.

– Я созываю собрание.

Ни звука.

Роджер взял камешек и запустил в близнецов, целясь мимо. Они отпрянули, Сэм чуть не свалился в воду. В теле Роджера уже бил темный источник силы.

Ральф снова сказал – громко.

– Я созываю собрание.

Он пробежал взглядом по дикарям:

– Где Джек?

Дикари переминались, советовались. Раскрашенное лицо сказала голосом Роберта:

– Он охотится. И он не велел нам тебя пускать.

– Я пришел к вам из-за огня, – сказал Ральф. – И насчет Хрюшинных очков.

Группка перед ним сомкнулась, и над ней задрожал смех, легкий, радостный смех, эхом отлетавший от высоких скал.

Позади Ральфа раздался голос:

– Тебе чего от нас надо?

Близнецы метнулись из-за спины Ральфа и встали перед ним. Он рывком повернулся. Джек, узнаваемый по рыжим волосам и повадке, шел из лесу. По бокам преданно трусили двое охотников. Все трое были размалеваны зеленой и черной краской. Позади них, на траве, осталась вспоротая и обезглавленная свиная туша.

Хрюша стонал:

– Не бросай меня! Ральф!

Он с потешной осторожностью обнял камень, прижимаясь к нему над опавшим морем. Дикари уже не хихикали, они выли от смеха.

Джек крикнул, перекрывая шум:

– Уходи, Ральф. Сиди уж на своем конце острова. А тут моя территория и мое племя. И отстань ты от меня!

Смех замер.

– Ты сцапал Хрюшины очки, – задохнулся Ральф. – Ты обязан их отдать.

– Обязан? Кто это сказал?

Ральфа взорвало:

– Я говорю! Ты сам голосовал за меня! Ты разве не слышал, как я трубил в рог? Постыдись! Это подлость! Мы б тебе дали огня, если б ты попросил...

Кровь ударила ему в лицо, и ужасно дергало вспухшее веко.

– Пожалуйста, мы бы тебе дали огня. Так нет же! Ты подкрался, как вор, и украл Хрюшины очки.

– А ну повтори!

– Вор! Вор!

Хрюша взвизгнул.

– Ральф! Меня пожалей!

Джек бросился к Ральфу, нацелился ему в грудь копьём. По мелькнувшей руке Джека Ральф сообразил направление удара и отбил его своим древком. Потом перевернул копьё и ткнул Джека острием возле уха. Они стояли лицом к лицу, задыхаясь, бешено глядя глаза в глаза.

– Кто это – вор?!

– Ты!

Джек извернулся и сделал новый выпад. Не сговариваясь, они теперь держали копыя, как сабли, больше не решались пускать в ход смертоносные острия. Удар пришелся по копыю Ральфа, потом обжег болью пальцы. Оба отпрянули и переменили позицию, Джек теперь был ближе к Замку, Ральф – к острову.

Оба совершенно задыхались.

– Ну!

– Чего – ну?

155

Они свирепо изготовились, но соблюдали безопасное расстояние.

– Ну-ка сунься, попробуй!

– Сам попробуй!

Хрюша вцепился в камень и пытался привлечь внимание Ральфа. Ральф нагнулся к нему, не сводя взгляда с Джека.

– Ральф, вспомни, чего мы пришли. Костер. Мои очки.

Ральф кивнул. Он расслабился, распрямился, поставил копьё. Джек непроницаемо смотрел на него из-под краски. Ральф смотрел на башенки, на сгрудившихся дикарей.

– Слушайте. Мы вот что пришли вам сказать. Отдавайте Хрюше очки – это раз. Он без них ничего не видит. Это не игра...

Племя раскрашенных дикарей захихикало, и у Ральфа запрыгали мысли. Он откинул назад волосы и вглядывался в черно-зеленую маску, стараясь вспомнить лицо Джека.

Хрюша шепнул.

– И костер.

– Ах да. И насчет костра. Еще раз повторю. Я это с первого дня повторяю.

Он вытянул копьё в сторону дикарей.

– Наша единственная надежда – держать сигнал все время, пока светло. И тогда корабль заметит дым, подойдет сюда и нас спасет и возьмет нас домой. А без этого дыма нам придется ждать, вдруг корабль подойдет случайно. Так много лет можно прождать. Так состариться можно...

Смех дикарей, дрожащий, серебряный, ненастоящий, взметнулся и эхом повис вдали. Ральф уже не помнил себя от ярости. Непослушным, тоненьким голосом он закричал.

– Вы что, не соображаете, раскрашенные идиоты? Сэм, Эрик, Хрюша, да я – это же мало! Мы берегли костер, но мы же не можем. А вам бы все играть и охотиться...

Он показал мимо них, туда, где таяла в блеске дымная струйка.

– Смотрите! Это разве сигнал? Просто костер, чтоб на нем жарить. Поесть-то вы поедите, а дыма у вас не будет. Неужели еще неясно? Может, там уже где-то корабль идет...

Он умолк, сраженный молчаньем и неопознаваемостью раскрашенных дикарей, охраняющих вход. Вождь раскрыл красный рот и обратился к близнецам, стоявшим между ним и его племенем:

– Вы, двое! А ну – назад!

Ему не ответили. Близнецы озадаченно переглядывались; Хрюша, ободренный тем, что кончилась драка, осторожно поднялся. Джек оглянулся на Ральфа, снова посмотрел на близнецов.

– Схватить их!

Никто не двинулся. Джек заорал злобно:

– Сказано вам – схватить!

Раскрашенные суетливо, неловко окружили близнецов. Снова задрожал серебряный смех.

Сама цивилизация взывала возмущенными голосами Эрикисэма:

– Да вы что!..

– Как же можно!..

У них вырвали из рук копья.

– Связать!

Ральф безнадежно кричал в черно-зеленую маску:

– Джек!

– Я что сказал? Связать!

Раскрашенные уже чувствовали, что Эрикисэм не то что они сами, они уже чувствовали силу в своих руках. Неуклюже и рьяно они повалили близнецов. Джек вдохновился. Он сообразил, что Ральф попытается прийти близнецам на выручку. Его копье описало вокруг Ральфа свистящую дугу. Ральф еле успел отбиться. Племя и близнецы бились рядом в громкой свалке. Хрюша опять скорчился. И вот удивленные близнецы уже лежали, а племя стояло вокруг. Джек повернулся к Ральфу, процедил:

– Видал? Они все сделают, что я захочу.

И – снова молчанье. Неумело связанные близнецы лежали, а племя выжидательно смотрело на Ральфа. Он посчитал их, глядя сквозь спутанные космы, скользнул глазами по негодному дымку.

И не выдержал. Он заорал на Джека:

– Ты – зверь! Свинья! Сволочь ты! Вор проклятый!

И бросился на него.

Джек понял, что настала решительная минута, и бросился навстречу. Они сшиблись, отлетели в разные стороны. Джек наотмашь ударил Ральфа кулаком в ухо, Ральф стукнул его в живот, Джек охнул. Они снова стояли лицом к лицу, яростно задыхаясь. Каждого обескураживала ярость противника. И тут только вошел им в уши шум, сопровождавший драку, дерущий, слитый, ободряющий клич племени.

К Ральфу пробился голос Хрюши:

– Давай я им скажу.

Он вдруг поднялся в поднятой схваткой пыли, и, завидя его намерения, племя перешло на дружное улюлюканье.

Хрюша поднял рог, улюлюканье чуть стихло и снова грянуло – еще сильнее.

– Рог у меня!

Хрюша орал:

– Сказано вам, рог у меня!

Как ни странно, настала тишина; племя приготовилось послушать, что такого забавного собирается преподнести Хрюша.

Тишина, заминка. И среди тишины – странный шум по воздуху у самой головы Ральфа. Он почти его не заметил, но вот – опять, легкое «ж-ж-ж!» . Кто-то бросал камушки. Это Роджер их бросал, не снимая другой руки с рычага. Ральф был внизу косматой копной и Хрюша – мешком жира.

– Я вот что скажу. Вы ведете себя, как дети малые.

Снова улюлюканье взвилось и замерло, когда Хрюша поднял белую магическую раковину.

– Что лучше – быть бандой раскрашенных черномазых, как вы, или же быть разумными людьми, как Ральф?

Дикари неистово загалдели. Хрюша снова орал:

– Что лучше – жить по правилам и дружно или же охотиться и убивать?

Снова галдеж и снова – «ж-ж-ж» .

Ральф перекричал шум.

– Что лучше – закон и чтоб нас спасли или охотиться и погубить всем?

Джек уже тоже вопил, Ральфа никто не слышал. Джек отступил к племени. Они стояли грозной стеной, ощетились копьями. Они решались, готовились. Еще немного – и они бросятся очищать перешеек. Ральф стоял перед ними, посреди перешейка, чуть ближе к краю, копьё наготове. Рядом стоял Хрюша, все еще поднимая талисман – хрупкую, сверкающую красавицу раковину. По ним сгущенной ненавистью ударял вой. Высоко наверху Роджер в иступленном забытьи всей тяжестью налегал на рычаг.

Ральф услышал огромный камень гораздо раньше, чем его увидел. Он почувствовал, как содрогнулась земля – толчок отдался в пятки, сверху с грохотом посыпались камни поменьше. Что-то красное, страшное запрыгало по перешейку, он бросился плашмя, дикари завизжали.

Камень прошелся по Хрюше с головы до колен; рог разлетелся на тысячу белых осколков и перестал существовать. Хрюша без слова, без звука полетел боком с обрыва, переворачиваясь, на лету. Камень дважды подпрыгнул и скрылся в лесу. Хрюша пролетел сорок футов и упал спиной на ту самую красную, квадратную глыбу в море. Голова раскроилась, и содержимое вывалилось и стало красным. Руки и ноги Хрюши немного подергались, как у свиньи, когда ее только убьют. Потом море снова медленно, тяжело вздохнуло, вскипело над глыбой белой розовой пеной; а когда оно снова отхлынуло, Хрюши уже не было.

Стояла мертвая тишина. Губы Ральфа сложили слово, но ничего не выговорилось.

Вдруг Джек отбежал от своих и завопил:

– Ну что? Видал? И тебя так! Так тебе и надо! Нет у тебя племени! Нет больше твоего рога!

Он, пригнувшись, бежал на Ральфа:

– Я Вождь!

Злобно, старательно целясь, он запустил в Ральфа копьём. Острие до мяса прорвало кожу у Ральфа на боку, потом отлетело, упало в воду. Ральф качнулся, боли он не чувствовал, только страх, а племя, взыв за Вождем вслед, уже надвигалось. Другое копьё, гнутое, оно летело не прямо, а просвистело у самой его головы, и еще одно упало с высоты, где стоял Роджер. Близнецы лежали, скрытые за толпой, и безликие бесы запрудили перешеек. Ральф повернулся и побежал. Крик несся за ним, как крик перепуганных чаек. По инстинкту, которого он сам в себе не знал, Ральф петлял на открытом пространстве, и копыя летели мимо. Он вовремя заметил обезглавленную свинью, перепрыгнул, с хрустом вломился в заросли и скрылся в чаще.

Вождь остановился возле свиньи, повернулся к племени, поднял руки:

– Назад! Назад в крепость!

Племя шумно повернуло к перешейку, и там уже стоял Роджер.

Вождь сердито спросил:

– Ты почему не на посту?

Роджер поднял на него твердый, сумрачный взгляд:

– Просто спустился.

Смерть смотрела из его глаз. Вождь не сказал ему больше ни слова, перевел взгляд вниз, на Эрикисэма.

– Ну что – вступаете в мое племя?

– Отпусти меня...

– И меня.

Вождь схватил одно из оставшихся на земле копий и ткнул Сэма под ребра.

– Вы что хотите этим сказать, а? – спрашивал Вождь свирепо. – Зачем с копьями сюда явились, а? Почему в племя вступать не хотите, а?

Копье уже ритмично втыкалось под ребра. Сэм взвыл.

– Да нет, ты не так.

Роджер оттеснил Вождя, только что не толкнув плечом. Вопль оборвался, близнецы лежали и смотрели вверх в немом ужасе. Роджер надвигался на них, облеченный неведомой властью.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ВОПЛЬ ОХОТНИКОВ

Ральф затаился в зарослях и обдумывал, как ему быть со своими ранами. На правом боку был большой кровоподтек, рана кровоточила и вздулась. В волосы ему набилась грязь, они торчали, как усики лиан. Продираясь сквозь кусты, он набил синяков и весь исцарапался. Наконец отдышавшись, он понял, что с мытьем придется подождать. Ну как ты услышишь шаги голых ног, плескаясь в воде? Как укроешься в ручье или на открытом берегу?

Ральф вслушался. Он был, в общем-то, совсем недалеко от Замка, и сначала ему показалось со страху, что это погоня. Но охотники только пошарили по зеленой опушке – наверное, собирали копыя – и сразу бросились обратно, к солнечным скалам, будто испугались лесной тьмы. Одного он даже увидел – коричневого, черного, красного – и узнал Билла. Да нет, тут же подумал Ральф, какой же он Билл. Образ этого дикаря никак не хотел сливаться с прежним портретом мальчика в рубашке и шортах.

День угасал; круглые солнечные пятна ровно смешались по зеленым листьям и по бурому пуху стволов, со стороны Замка не доносилось ни звука. Наконец Ральф выбрался из кустов и стал пробираться к заслонявшим перешеек непролазным зарослям. Очень осторожно он выглянул из-за веток и увидел, что Роберт сидит на посту, на вершине скалы. В левой руке Роберт держал копьё, а правой подбрасывал и ловил камушек. За его спиной подымался густой столб дыма, и у Ральфа защипало в ноздрях и потекли слюнки. Он утерся ладонью и впервые с утра почувствовал голод. Племя, наверное, обсело выпотрошенную свинью и смотрит, как капает и стораёт в золе сало. Смотрит, не отрывая глаз.

Кто-то еще, неопознаваемый, вырос рядом с Робертом, дал ему что-то и снова исчез за скалой. Роберт положил копьё и, растопырив руки, заработал челюстями. Значит, пир начался и часовой получил свою долю.

Значит, пока ему ничто не грозит. Ральф захромал прочь, к фруктовым деревьям, к жалкой еде, терзаемый горькой мыслью о пире. Сегодня у них пир, а завтра...

Он старался уговорить себя, что его оставят в покое; ну, может, даже изгонят. Но никуда не мог деться от нерассуждающей, страшной уверенности. Гибель рога, смерть Хрюши и Саймона нависли над островом, как туман. Раскрашенные дикари ни перед чем не остановятся. И еще эта странная ниточка между ним и Джеком; нет, Джек не уймется никогда, он не оставит его в покое. Ни за что.

Он замер, весь в солнечных пятнах, придерживая поднятую ветку. И вдруг затрясся от ужаса и крикнул:

– Нет! Не могли они до такого дойти! Это несчастный случай.

Он нырнул под ветку, побежал, спотыкаясь, потом остановился и прислушался.

Он вышел к вытоптанному месту, где были фрукты, и начал жадно их обрывать. Встретил двух малышей и, не имея понятия о своем виде, изумился, когда они с воплями бросились прочь.

Он поел и вышел к берегу. Солнце косо скользило по стволам пальм возле разрушенного шалаша. Вот площадка. Вот бухта. Всего бы лучше, не замечая подсказок давящей на сердце свинцовой тоски, положиться на их здравый смысл, на остатки соображенья. Теперь, когда племя насытилось, может, стоит опять попытаться?.. Да и невозможно тут вытерпеть ночь, в этом пустом шалаше возле брошенной площадки. У него по спине побежали мурашки. Костра нет. Дыма нет. Их теперь никогда не спасут. Он повернул и заковылял к территории Джека.

Дротики света уже застревали в ветвях. Наконец он дошел до прогалины, где всюду был камень и потому не росли деревья. Темные тени затопили сейчас прогалину, и Ральф чуть не бросился за дерево, когда увидел, что что-то стоит прямо посередине; потом разглядел, что белое лицо – это голая кость и на палке торчит и скалится на него свиной череп. Ральф медленно пошел на середину прогалины, вглядываясь в череп, который блистал, в точности как раньше блистал белый рог, и будто цинично ухмылялся. Любопытный муравей копошился в пустой глазнице, других признаков жизни там не было.

А вдруг...

Его проняла дрожь. Он стоял, обеими руками придерживал волосы, а череп был высоко, чуть не вровень с его лицом. Зубы скалились, и властно и без усилия пустые глазницы удерживали его взгляд.

Да что же это такое?

Череп смотрел на Ральфа с таким видом, будто знает ответы на все вопросы, только не хочет сказать. Тошный страх и бешенство накатили на Ральфа, он ударил эту пакость, а она качнулась, вернулась на место, как игрушка, и не переставала ухмыляться ему в лицо, и он ударил еще, еще и заплакал от омерзенья. Потом он сосал разбитые кулаки, смотрел на голую палку, а череп, расколотый надвое, ухмылялся теперь уже огромной шестифутовой ухмылкой. Он выдернул дрожащую палку из щели и, как копьем, защищаясь от белых осколков, не сводя глаз с обращенной в небо ухмылки, попятился в чащу.

Когда зеленое зарево погасло над горизонтом и совсем наступила ночь, Ральф снова пошел к зарослям перед Замком. Выглядывая из-за веток, он видел, что на вершине все еще кто-то стоит, и этот кто-то держал копьё наготове.

Ральф стоял на коленках среди теней, и сердце у него сжималось от одиночества. Ну, да, они дикари, и пусть, но как-никак они – люди. А тут кругом залегли ночные дремучие страхи.

Ральф застонал тихонько. Он устал, измучился, но он боялся забыться, свалиться в колодец сна. Он боялся их. А может, взять и смело пойти прямо в крепость, сказать: «Чур, не трогать меня!» – засмеяться как ни в чем не бывало и заснуть рядом со всеми? Притвориться, будто они все еще мальчишки, школьники, те самые, что говорили. «Да, сэр!» – и ходили в школьных фуражках? Ясный полдень еще мог бы ответить – да: но тьма и смертные ужасы отвечали – нет. Он лежал во тьме и знал, что он отщепенец.

– Потому что я еще что-то соображаю.

Он потерял щекой о руку, нюхая едкий запах соли и пота, вонючей грязи. Слева дышал океан, всасывал волны, снова вскипал над той квадратной скалой.

От Замка неслись звуки. Ральф оторвался от качания вод, вслушался и различил знакомый ритм:

– Зверя бей! Глотку режь! Выпусти кровь!

Племя танцевало. Где-то по ту сторону скалистой стены – темный круг, огонь и мясо. Там они смакуют еду, наслаждаются безопасностью.

Он вздрогнул: ближе раздался еще звук. Дикари лезли на самый верх, он узнал голоса. Он пробрался еще немного вперед и увидел, как тень навверху изменилась, расширилась. Так ходить и так говорить могли только двое мальчиков на всем острове.

Ральф лег головой на руки, у него сжалось сердце от этой новости. Ну вот, Эрикисэм теперь тоже в племени. И охраняют Замок – от него. И значит, нельзя уже их спасти, создать племя изгнанников на другом конце острова. Эрикисэм теперь дикари, Хрюши нет, и рог разбит вдребезги.

Наконец часовой спустился. Двое сменивших его казались черным наростом на скале. За ними зажглась звезда и сразу стерлась от их движенья.

Ральф пополз вперед, он ощупывал неровности, как слепой. Справа были смутные воды, по левую руку, как шахта колодца, зиял неумный океан. Ежеминутно вокруг смертной скалы вздыхала вода и расцветала белая кипень. Ральф все крался вперед, наконец он нащупал выступ вдоль стены. Пост был прямо над ним, он даже увидел высунутый кончик копья.

Он окликнул очень тихо.

– Эрикисэм...

Ответа не было. Значит, надо говорить громче. Но тогда насторожишь полосатых врагов на пиру у костра. Он сжал зубы и полез вверх, нащупывая опору. Палка, на которой раньше торчал череп, мешала ему, но он боялся расстаться с последним оружием. Он почти совсем подобрался к близнецам и тогда только снова окликнул:

– Эрикисэм...

Он услышал вскрик, шорох. Вцепившись друг в друга, близнецы бормотали что-то.

– Это я – Ральф.

Он испугался, что они поднимут тревогу, и подтянулся так, что голова и плечи оказались над краем. Под локтем, далеко-далеко внизу, вокруг той скалы, светилась белизна.

– Да это же я – Ральф.

Наконец они подались вперед, они вглядывались ему в лицо.

– Ой, а мы думали...

– Мы же не знали...

– Мы подумали...

И тут они вспомнили о своих новых постыдных обязанностях. Эрик молчал. Сэм попытался исполнить свой долг.

– Ты лучше уходи, Ральф. Сейчас же уходи...

И помахал копьём, изображая свирепость.

– Лучше убирайся. Понял?

Эрик кивнул и ткнул в воздух копьём. Ральф опирался на руки и не уходил.

– А я-то шел к вам двоим...

У него сел голос. Горло болело, хоть там не было раны.

– Я-то шел к вам двоим...

Эту тупую боль словами было не выразить. Он умолк. Все небо забрызгали веселые звезды.

Сэм переминался с ноги на ногу.

– Честно, Ральф, ты лучше уйди.

Ральф снова поднял на них глаза:

– Вы же не накрашенные. Как вы можете?.. Да если б было светло...

Если б было светло, они б сгорели со стыда. Но кругом чернела ночь.

Эрик заговорил опять; и опять потекла антифонная речь близнецов:

– Уходи, а то тебе же хуже будет...

– Они нас заставили. Они нас мучили...

– Кто? Джек?

– Ох, нет...

Они наклонились к нему, зашептали.

– Ральф, уходи...

– ...это же племя...

– ...они нас заставили...

– ...мы ничего не могли...

Ральф снова заговорил. Голос был сиплый. Его как будто что-то душило.

– Что я ему сделал? Он же мне сразу понравился, я только хотел, чтобы нас спасли...

Снова небо забрызгали звезды. Эрик истоиво тряс головой:

– Ральф, послушай. Ты не ищи тут смысла. Этого ничего уже нет...

– И не ломай ты голову из-за Вождя...
– Лучше тебе уйти.
– Вождь и Роджер...
– Ох, Роджер...
– ...они тебя ненавидят, Ральф. Плохо тебе будет.
– Они завтра идут на тебя охотиться.
– За что?!
– Не знаю я, Ральф. И вот еще, Ральф. Джек, ну, Вождь говорит, это будет опасно...

– ...и чтоб мы осторожно, и чтоб копыя бросать, как в свинью.
– ...мы растянемся цепью поперек острова...
– ...и пойдем с этого конца...
– ...пока тебя не найдем.
– Будем подавать вот такие сигналы.

Эрик задрал голову, постучал себя ладошкой по открытому рту – получился тихий звук, похожий на улюлюканье. И сразу же стал испуганно озираться.

– Вот такие...

– ...только громче, конечно.

– Да что я ему сделал? – горячо зашептал Ральф. – Я же только хотел, чтоб горел костер!

Он умолк, секунду помолчал, горестно подумал про завтра. Вопрос неслыханной важности пришел ему в голову.

– А что вы...

Он не сразу смог это выговорить, но подстрекнули страх и тоска.

– Когда они меня найдут, они что сделают?

Близнецы молчали. Внизу, под его локтем, снова опушилась белым цветом смертная скала.

– Что они... Господи, как есть хочется...

Отвесная стена будто качнулась под ним.

– Говорите! Что они?..

Близнецы избегали прямого ответа:

– Ты лучше уходи, Ральф.

– Тебе же лучше...

– Держись подальше. Пока можно.

– А вы со мной не пойдете? Трое – это ведь уже сила.

Они промолчали, потом Сэм сдавленно выговорил:

– Ты Роджера не знаешь. Это ужас.

– Да и Вождь. Оба они...

– Ужас, ужас...

– А Роджер еще...

Оба вдруг застыли. Со стороны племени кто-то поднимался.

– Идет проверять, как мы дежури́м. Скорее, Ральф!

Прежде чем скользнуть вниз, Ральф ухватился за последнюю возможность, какую давала встреча.

– Я близко залягу; прямо тут, в зарослях, – шепнул он. – Вы их уведите отсюда. Они так близко не станут искать...

Шаги были пока далеко.

– Сэм, ведь все обойдется, ведь правда, Сэм?

Близнецы опять промолчали.

– На! – вдруг сказал Сэм. – Возьми...

Он бросил Ральфу кусок мяса, Ральф его схватил.

– Но что, что вы мне сделаете, когда поймаете?

И – молчанье навеху. Он сам понимал, как все это глупо выходит. Он уже спускался.

– Что вы будете делать?..

Сверху, с нависшей громады скалы, пришел непонятный ответ:

– Роджер заострил палку с обоих концов.

Роджер заострил палку с обоих концов. Ральф мучился, ломал голову, но не мог докопаться до смысла. Он перебрал все ругательные слова, какие знал, в припадке ярости, вдруг вылившемся в зевоту. Сколько можно не спать? Ох, сейчас бы очутиться в постели, на простыне – но ничего тут не было белого, только медлящее свеченье молока, пролитого вокруг той скалы в сорока футах под ним, на которую упал Хрюша. Хрюша теперь был везде, он сидел у него на закорках, он стал страшный теперь из-за тьмы, из-за смерти. Если бы Хрюша вдруг вышел сейчас из воды – с пустой головой... Ральф застонал и опять раззевался, как маленький. Хорошо, что в руке у него была палка, он качнулся и оперся на нее, как на костыль.

Он снова насторожился, Над Замок зашумели голоса. Эрикисэм громко спорили с кем-то. Ничего, папоротники и трава близко уже. Там можно спрятаться, а рядом чащоба, которая завтра ему послужит. Ну вот – рука нащупала траву, – здесь можно переночевать, совсем рядышком с племенем...

И когда нависнет ужас перед непонятным, можно затеряться среди людей, даже если...

Если – если. Палка, заточенная с обоих концов. Ну и что? Они уже бросали в него копьа. И промахнулись, только одно попало. Ничего, может, еще опять промахнутся.

Он сел на корточки в высокой траве, вспомнил мясо, которое дал ему Сэм, и жадно на него набросился. Пока ел, он услышал еще звуки – крики Эрикисэма, крики боли, страха, чьи-то злые голоса. Значит... Значит, не только ему плохо, по крайней мере одному из близнецов тоже, видно,

досталось. Потом звуки слились, удалились, ушли за скалу, он про них забыл. Под руками были гладкие, прохладные листья, перед самой чашчобой. Он в нее заберется чуть свет, протиснется между сплетенных стволов, так глубоко заползет, что никому не пролезть, только тоже ползком. Но для того ползуна у него наготове палка. Вот он и отсидится, и облава пройдет мимо, прочешут весь остров, пробегут, прокричат, а он останется на свободе.

Он прополз еще немного, зарылся в папоротники. Палку положил рядом и залег в черноте. Только не проспаться, только проснуться чуть свет, чтоб обдурить дикарей, – и тут его настиг врасплох и вниз, вниз, в темную пропасть поволок сон.

Он проснулся, еще не открыв глаза. Звуки были близко. Он открыл один глаз, увидел совсем рядом со щекой рыхлую землю и загреб ее пальцами, а по папоротникам на него стекал свет. Он успел сообразить, что долгое-долгое падение, смерть – остались во сне, позади, что уже утро. И тут он нова услышал звук. На морском берегу улюлюкали, вблизи ответили, еще ответили. Пронзая узкий конец острова от моря до лагуны, крик несся и ухал, как крик птицы на лету. Ральф не раздумывая схватил свою острую палку и снова отпрянул в папоротники. Через несколько секунд он ползком пробирался в чашчобе, прочь от надвигающихся прямо на него ног дикаря. В папоротники падали тупые, рубящие звуки – стук, плюханье; шуршала трава. Дикарь – кто, неизвестно – прокричал дважды; ему отозвались с обеих сторон, крик замер. Ральф съежился в зарослях. Снова все было тихо.

Наконец он осмотрелся. Да, здесь его никто не возьмет, не сунутся. Вдобавок ему вообще просто повезло. Глыба, убившая Хрюшу, влетела в заросли и проложила в самой середке узкий след. Тут безопасно. Он порадовался своему везению и находчивости. Осторожно присел среди разбитых стволов – ждать, когда охота пройдет мимо. Выглянул из-за листвы, и в глаза сразу мелькнуло что-то красное. Ну да, это верх Замка, дальний, нестрашный. Он устроился поудобней и приготовился слушать, как будут замирать вдалеке звуки охоты.

Но звуков этих не было; шли минуты, и его торжество растворилось в зеленой тени.

Наконец он услышал голос – голос Джека, но приглушенный:

– Это точно?

Дикарь, которого он спрашивал, не ответил. Наверное, кивнул головой.

Потом голос Роджера:

– Смотри, если ты нас дурачишь...

И – сразу – стон, вопль. Ральф съежился. Значит, тут один из близнецов, и Джек, и Роджер.

– Ты точно понял? Он тут хотел?

Близнец охнул и снова взвыл.

– Он тут хотел спрятаться?

– Да... да... ой!

По деревьям рассыпался серебряный смех.

Значит, знают.

Ральф схватился за палку. Да что они ему сделают? Им и за неделю не проложить тропу в этих зарослях; ну, а если кто-то один попробует проползти сюда так же, как он, то пусть на себя пеняет. Он потрогал пальцем кончик копья и невесело усмехнулся. Да, кто бы он ни был, голубчик, он у него завизжит, как свинья.

Они удалялись, шли обратно, к Замку. Топот, чье-то хихиканье. И снова этот тонкий, как птичий, летящий над островом крик. Значит, кто-то остался тут, стеречь его, ну а кто-то...

Долгая, ошалелая тишина. Ральф выплюнул кору от обглоданного копья. И встал, посмотрел на Замок.

И сразу услышал сверху голос Джека:

– Раз, два – взяли!

Красную глыбу на стене сорвало, как занавес, оголилась синь неба и фигурки на сини. Земля дрогнула, воздух вспоролся свистом, по верху чащобы прошелся удар, как гигантской рукой. Глыба, стуча и круша, неслась уже дальше, к берегу, а Ральфа засыпало градом поломанных веток и листьев. За чащей радостно взвыло племя.

И – опять тишина.

Ральф зажал кулаком рот, прикусил пальцы. Осталась еще только одна глыба, которую можно сдвинуть, но она с полдома, с машину, с танк. Он мучительно ясно представил себе, как она стронется, медленно, с уступа на уступ, и огромным паровым катком покатит по перешейку.

– Раз, два! Взяли!

Ральф положил копье, снова поднял. Откинул с лица несносные волосы, шагнул два шага в своем тайнике, вернулся. И замер, глядя на обломанные ветки.

Пока тихо, пока тихо.

Он заметил, как у него часто-часто, ходуном ходит грудь, и удивился. И было видно, как чуть слева от середины колотится сердце. Он опять положил копье.

– Раз, два! Взяли!

И – долгий, залиvistый крик.

Потом на красной вершине грохнуло, земля подпрыгнула, стала ровно трястись, и так же ровно нарастал грохот. Ральфа подбросило, перевернуло, швырнуло на ветки. Справа, совсем рядом, чащоба накренилась строем и

корни взвыли и полезли наружу, что-то красное ворочалось наверху, медленно, как мельничное колесо. И потом это красное сразу пронесло, будто мимо, к морю, проломилось стадо слонов.

Ральф, стоя на коленках в колдобине, переживал, когда земля перестанет дрожать. Наконец разбитые белые пни, расколотые ветки, вся расплющенная чаша дрогнули и стали на место. Что-то давило Ральфа, было трудно дышать.

Опять стало тихо.

Но не совсем. Где-то близко шептались. И вдруг справа сразу в двух местах бешено затряслись ветки. Высунулся конец копыя. Ральф в ужасе выбросил вперед копые, изо всех сил ударил.

– А-а-а!

Копье дрогнуло в руке, он его отдернул.

– О-о-о!

Кто-то стонал рядом. Все громче говорили, говорили. Бешено спорили, и стонал раненый дикарь. Потом стало тихо, и голос – нет, это не Джек – сказал:

– Ну что? Я говорил, он опасен!

И опять застонал раненый дикарь.

Что будет, что будет?

Ральф сжал изо всех сил изжеванное копые, опять на лицо ему упали волосы. Бормотали всего в нескольких ярдах от него со стороны Замка. Вот один дикарь охнул: «Ну да?» задушенным голосом; другой тихонько прыснул. На корточках, оскалась, Ральф посмотрел на стену зарослей, поднял копые, зарычал, стал ждать.

В невидимой группке опять захихикали. А потом он услышал странный, струющийся звук и тотчас за ним уже более громкое потрескивание – будто разворачивают большие листы целлофана. Хрустнул куст. Ральф подавился кашлем. Сквозь ветки белыми и желтыми клоками лез дым, и синий лоскут неба над головой сразу сделался темным, как туча, и вот уже густой дым бился вокруг.

Кто-то захохотал радостно, и голос крикнул:

– Дым!

Ральф пополз по чащобе к лесу, прижимаясь к земле, чтоб его не душил дым. Вот и открытое место, уже видно зелень опушки. Совсем маленький дикарь стоял между ним и лесом, размалеванный красным и белым, с копыем в руках. Он кашлял и, ничего не видя в дыму, тер ладошкой глаза и размазывал краску. Ральф бросился на него, как кошка; зарычал, ударил копыем, дикарь согнулся надвое. В чаще снова орали, а страх уже гнал Ральфа через подлесок. Он добрался до лаза, пробежал по нему ярдов сто, бросился в сторону. Сзади, пересекая остров, опять пронеслось улюлюканье и трижды прокричал одинокий голос. Он понял – это сигнал, они

надвигаются, и снова побежал так, что у него чуть не выпрыгнуло сердце. Он свалился под куст, лежал, стараясь немного отдышаться. Щупал языком зубы и губы и слушал крики погони.

Можно еще всякое сделать. Влезть на дерево, например, – но нет, это слишком рискованно. Обнаружат – и тогда им только выждать останется.

Ах, если б было время подумать!

Снова с того же расстояния прокричали два раза, и он разгадал их план. Тот, кто застрянет в зарослях, должен крикнуть два раза – сигнал всей цепи подождать, пока он не выберется. Чтобы так, сплошной цепью, прочесывать остров. Ральф вспомнил, как легко прорвал тогда цепь тот кабан. Значит, если они подойдут совсем близко, можно прорваться и убежать. Убежать... Но куда? Они повернут и снова его погонят. А потом... надо же еще когда-то есть, спать, и проснется он уже в их кольце. И его затравят.

Что делать, что делать? На дерево? Прорваться, как тот кабан? Нет, и то и другое – ужас.

Снова – одинокий крик, сердце у него оборвалось, он вскочил, бросился в сторону океана, по непроходимым джунглям, застрял и повис в лианах. На миг он замер, только дрожали икры. Ох, если б пощада, передышка, время подумать!

И снова, дерущее, неотвратимое, по острову понеслось улюлюканье. Он прынул, как конь, опять побежал, опять задохнулся. Опять плашмя бросился в папоротник. На дерево? Или прорваться? На миг он перевел дух, вытер рот, приказал себе успокоиться. Где-то в этой цепи идут же Эрикисэм, и они-то сами не рады. Хотя... Да и не обязательно он попадет на Эрикисэма, можно наткнуться на Вождя, на Роджера, а Роджер – сама смерть...

Ральф откинул с лица спутанные лохмы, стер с нераспухшего глаза пот. Сказал вслух:

– Думай.

Как тут поступить разумно?

Нет рядом Хрюши. Некому надоумить. И собрания нет – все б обсудили серьезно, – и нет защиты рога.

– Думай.

Больше всего он теперь боялся этого занавеса, который мог вдруг снова затрепыхаться в мозгу, заслонить ощущение опасности, сделать из него несмышлениша.

Третий выход – запрятаться так, чтоб они не заметили и прошли.

Он поднял голову от земли, прислушался. К прежним звукам прибавился новый – низкое бормотанье, ворчанье, будто сам лес сердится на него – густой, темный гул, и по нему, царапаньем мела по грифелю, мерзко взвизгивало улюлюканье. Он узнал этот гул, он уже его слышал раньше, только не было времени вспомнить, где и когда.

Прорваться.

Влезть на дерево.

Спрятаться, и пусть пройдут.

Крик раздался вдруг совсем рядом, и он вскочил на ноги, побежал сквозь кусты терновника, ежевики. Вдруг вылетел на прогалину – опять на ту же, но саженная расколотая улыбка свиного черепа теперь не посылалась с вызовом просвету сини, а глумливо дразнила дымный навес. Ральф снова вбежал под деревья, и смысл темного гула открылся ему. Его выкуривают. Они подпалили остров.

Спрятаться лучше, чем лезть на дерево: если найдут, еще можно будет прорваться.

Значит – спрятаться.

Интересно, согласилась бы с ним свинья? И Ральф скорчил деревьям гримасу. Значит – найти самые густые заросли, самую темную дыру на всем острове и туда залезть. Он теперь осматривался на бегу. По нему прыгали солнечные штрихи и кляксы, высвечивали на грязном теле блестящие полосы пота. Крики были уже далеко, еле слышны.

Наконец он выбрал подходящее место, да и некогда было раздумывать. Кусты и лианы соткали тут плотный ковер, не пропускавший солнца. Под ним оставалось пространство примерно с фут высотой, правда повсюду проткнутое торчащими ростками. Можно туда заползти, в самую глубину, на пять ярдов от края, запрятаться. Вряд ли какому-нибудь дикарю придет в голову ложиться на землю и тебя высматривать; да то ты будешь во тьме. Ну, а в случае чего, если он тебя даже увидит – можно броситься на него, прорвать их строй, сбить, сделать петлю и остаться сзади.

Волоча за собой копые, Ральф осторожно полез между торчащими ростками. Забрался в середину, залег и прислушался.

Пожар был большой. Барабанный бой, который, он думал, остался далеко позади, снова стал ближе. Вообще-то ведь огонь обгоняет бегущую лошадь? В пятидесяти ярдах от него землю забрызгали солнечные пятна. И вдруг у него на глазах каждое пятнышко подмигнуло. Это было так похоже на порханье злосчастного занавеса, что сперва он решил – показалось. Но вот они замигали все чаще, померкли и стерлись, и он увидел, что дым тяжело пролег между солнцем и островом.

Ну, пусть даже кто-то заглянет в кусты, даже различит человеческое тело, так, может, это будут Эрикисэм, и они притворятся, что ничего не заметили, они промолчат. Он лег на темно-шоколадную землю щекой, облизал сухие губы, закрыл глаза. Под чашебой легонько дрожала земля; а может, это был звук, тихий, неразличимый за темным гулом пламени и царапающими взвизгами улюлюканья.

Кто-то крикнул. Ральф оторвал щеку от земли, уставился на мутный свет. Они уже близко. Сердце ухало и обрывалось. Спрятаться, прорваться, залезть на дерево? Что делать? Выбрать, выбрать – потом не исправишь.

Огонь подбирался. Залпы – это трещат и взрываются ветки, даже стволы. Идиоты! Вот идиоты несчастные! Фруктовые деревья сгорают – а что они завтра есть будут?

Ральф съежился на своей узкой постели. Терять-то уже нечего! Да и что они ему сделают? Изобьют? Подумаешь? Убьют? Палка, заостренная с обоих концов...

Крики были совсем близко, его подбросило, как на пружине. Полосатый дикарь быстро шел из зеленых зарослей к его укрытию, дикарь с копьем. Ральф впился ногтями в землю. Что ж. Приготовиться.

Ральф повертел копьё. Острием надо вперед. Но палка оказывается, была заострена с обоих концов.

Дикарь остановился в пятнадцати ярдах и – крикнул.

Может, услышал в шуме костра, как стучит мое сердце. Только не крикнуть. Приготовиться.

Дикарь надвигался. Уже только ноги видны. И копьё. Вот уже выше колен ничего не видно. Только не крикнуть.

Стадо свиней с визгом выскочило из зелени у дикаря за спиной и метнулось в лес. Вопили птицы, пищали мыши, кто-то крошечный прыгнул к нему под ковер, затаился. Вот дикарь совсем близко, в пяти ярдах стоит. И опять закричал. Ральф подтянул ноги, приподнялся, готовый к прыжку. У него в руках был кол, заостренный с обоих концов кол, этот кол дрожал и метался, стал короче, длиннее, короче, длиннее, тяжелее, легче опять.

Улюлюканье разлетелось от берега до берега. Дикарь опускался на колени у зарослей, а сзади по лесу металась огни. Вот колено вмялось в землю. Теперь второе. Обе руки. Копьё.

Лицо.

Дикарь вглядывался во тьму. По сторонам он, конечно, еще видел свет, но только не тут, в середине. В середине – плотный ком темноты. Дикарь весь сморщился, расширявая темноту.

Секунды тянулись. Ральф смотрел дикарю прямо в глаза.

Только не крикнуть.

Ты еще вернешься домой.

Увидел. Проверяет. Заостренной палкой.

Ральф крикнул – от страха, отчаянья, злости. Ноги у него сами распрямились, он кричал и кричал, он не мог перестать. Он метнулся вперед, в чашобу, вылетел на прогалину, он кричал, он рычал, а кровь капала. Он ударил колом, дикарь покатился; но на него уже неслись другие, орали. Он увернулся от летящего копьё, дальше побежал уже молча. Вдруг мелькающие

впереди огоньки слились, рев леса стал громом, и куст на его пути рассыпался огромным веером пламени. Ральф бросился вправо, сердце выпрыгивало, он мчался, огонь накатывал, как прибой. За ним летело улюлюканье, коротенькие, тонкие выкрики: видят, видят. Справа вырос кто-то темный, остался сзади. Все бежали, голосили как бешеные. Вломились в подросток, а слева гремел горячий огненный гром. Ральф забыл раны, голод, жажду, он весь обратился в страх. Страх на летящих ногах мчался лесом к открытому берегу. Перед глазами прыгали точки, делались красными кольцами, расплзались, стирались. Ноги, чужие ноги под ним устали, а бешеный крик стегал, надвигался зубчатой кромкой беды, совсем накрывал.

Он споткнулся о корень, настаивающий крик взвился еще выше. Шалаш взорвался в огне, огонь хлопал за правым плечом, впереди блеснула вода. И он упал, он кубарем покатился на горячий песок, он заслонялся руками и старался вытолкнуть из горла крик о пощаде.

Потом он встал, качаясь, весь натянулся, приготовился к новому ужасу, поднял глаза и увидел огромную фуражку. У фуражки был белый верх, а над зеленым козырьком были корона, якорь, золотые листы. Он увидел белый тик, эполеты, револьвер, золотые пуговицы на мундире.

Морской офицер стоял на песке и настороженно, удивленно разглядывал Ральфа. За ним, на берегу был катер, его вытащили из воды и держали за нос двое матросов. В катере стоял еще матрос и держал автомат.

Крик охотников запнулся и оборвался.

Офицер еще поглядел на Ральфа с сомнением, потом снял руку с револьвера.

– Здравствуй.

Думая о том, как постыдно он выглядит, ежась, Ральф робко ответил:

– Здравствуйте.

Офицер кивнул, будто услышал ответ на какой-то вопрос.

– Взрослых здесь нет?

Ральф затряс головой, как немой. Он повернулся. На берегу полукругом тихо-тихо стояли мальчики с острыми палками в руках, перемазанные цветной глиной.

– Доигрались? – сказал офицер.

Огонь добрался до кокосовых пальм на берегу и с шумом их проглотил. Подпрыгнув, как акробат, пламя выбросило отдельный язык и слизнуло верхушки пальм на площадке. Небо было черное.

Офицер весело улыбался Ральфу:

– Мы увидели ваш дым. У вас тут что? Война?

Ральф кивнул.

Офицер разглядывал маленькое пугало. Ребенка надлежало срочно помыть, подстричь, утереть ему нос, смазать как следует ссадины.

– Обошлось без смертоубийства, надеюсь? Нет мертвых тел?

– Только два. Но их нет. Унесло.

Офицер наклонился и пристально гляделся в лицо Ральфа.

– Двое? Убитых?

Ральф снова кивнул. За его спиной весь остров дрожал в пламени.

Офицер разбирался, как правило, когда ему лгут, а когда говорят правду.

Он тихонько присвистнул.

Появлялись еще мальчики, некоторые совсем клопы, темные, с выпяченными, как у маленьких дикарей, животами. Один подошел к офицеру вплотную, поднял глаза.

– Я... я...

Далее ничего не последовало. Персиваль Уимз Медисон откапывал в памяти свою магическую формулу, но она затерялась там без следа.

Офицер повернулся к Ральфу:

– Мы вас заберем. Сколько вас тут?

Ральф только тряс головой. Офицер посмотрел мимо него на размалеванных мальчишек:

– Кто у вас главный?

– Я, – громко сказал Ральф.

Мальчуган в остатках немыслимой шапочки на рыжих волосах, с разбитыми очками, болтавшимися на поясе, шагнул вперед, но тут же передумал и замер.

– Мы увидели ваш дым... Так вы даже не знаете, сколько вас тут?

– Нет, сэр.

– Казалось бы, – офицер прикидывал предстоящие хлопоты, розыски, – казалось бы, английские мальчики – вы ведь все англичане, не так ли? – могли выглядеть и попристойней...

– Так сначала и было, – сказал Ральф, – пока...

Он запнулся.

– Мы тогда были все вместе...

Офицер понимающе закивал.

– Ну да. И все тогда чудно выглядело, Просто «Коралловый остров».

Ральф стоял и смотрел на него, как немой. На миг привиделось – снова берег опутан теми странными чарами первого дня. Но остров сгорел, как труха. Саймон умер, а Джек... Из глаз у Ральфа брызнули слезы, его трясло от рыданий. Он не стал им противиться; впервые с тех пор, как оказался на этом острове, он дал себе волю, спазмы горя, отчаянные, неудержимые, казалось, сейчас вывернут его наизнанку. Голос поднялся под черным дымом, заставшим гибнущий остров. Заразившись от него, другие дети тоже зашлись от плача. И, стоя среди них, грязный, косматый, с неутертым носом, Ральф рыдал над прежней невинностью, над тем, как темна человеческая

душа, над тем, как переворачивался тогда на лету верный мудрый друг по прозвищу Хрюша.

Офицер был тронут и немного смущен. Он отвернулся, давая им время овладеть собой, и ждал, отдыхая взглядом на четком силуэте крейсера в отдаленье.

НАСЛЕДНИКУ



Наследники

The Inheritors

London, 1955

Перевод *В. Хинкиса*

...Мы, в сущности, почти ничего не знаем о том, как выглядел неандерталец, но все... дает основание предполагать, что он был покрыт густой шерстью, уродлив с виду или даже омерзителен в своем непривычном для нас облике, с покатым и низким лбом, густыми бровями, обезьяньей шеей и коренастой фигурой... Сэр Гарри Джонстон в своей обзорной работе о происхождении современного человека «Изложения и переложения» утверждает: «Смутная память о таких гориллоподобных чудищах, с их извортливым умом, неуклюжей походкой, шерстистыми шкурами, крепкими зубами и, вероятно, канибальскими вкусами, быть может, и породила образ людоеда в народном творчестве...

Г. Д. Уэллс. Очерк истории

ОДИН

Лок бежал во всю прыть. Он пригнул голову и держал терновую палицу над землей, чтоб лучше сохранять равновесие, а второй, свободной рукой разметывал рои трепетно витающих почек. Лику со смехом скакала на нем, одна ее рука вцепилась в каштановые завитки, которые густились у него на загривке, сползая книзу по хребту, другая же прижимала к его шее малую Оа. Ноги Лока были сообразительны. И они видели. Они сами несли его в обход обнаженных, торчащих корней меж буковыми деревьями, сами перепрыгивали там, где вода лужами лежала поперек тропы. Лику колотила его пятками в брюхо.

– Быстрей! Быстрей!

Но его ноги стали упираться, он свернул и замедлил бег. Теперь они оба услышали реку слева близ тропы, еще невидимую глазу. Буки здесь поредели, кустарник отступил, и, прямо перед ними оказалась хлопкая, ровная болотина, где раньше всегда было бревно.

– Вот, Лику.

Агатистая болотная вода лежала перед ними и простиралась вбок, в сторону реки. Тропа вдоль нее убегала дальше на той стороне, где подымался склон, а потом исчезала меж деревьев. Лок радостно ухмыльнулся, подступил к воде еще на два шага и замер. Ухмылка на его лице потускнела, и он разинул рот так широко, что нижняя челюсть отвисла. Лику соскользнула к нему на колено и прыгнула наземь. Она поднесла головку малой Оа к губам и глядела поверх нее.

Лок засмеялся от растерянности.

– Бревно ушло.

Он зажмурил глаза, нахмурился и увидел бревно. Тогда оно лежало поверх воды одним концом по эту, а другим по ту сторону, серое и трухлявое. А когда добежишь по нему до середины, почувствуешь, что под тобой всплескивает вода, ужасная вода, местами очень глубокая, мужчине по самые плечи. Вода эта не была бессонной, как река или водопад, она теперь спала, лежа у реки, но справа просыпалась и текла по пустынным толям, чащобам и трясинам. Так уверен был он в этом бревне, всегда верно служившем людям, что опять открыл глаза и заухмылялся было, будто спросонок, но бревно ушло.

Фа рысцой прибежала по тропе. Новый человечек спал у нее на спине. Она не боялась его уронить, потому что чувствовала, как он ручонками стискивает шерсть у нее на загривке, а ножками цепляется за щетину на спине, но все же бежала осторожно, чтоб его не разбудить. Лок слышал ее поступь еще раньше, чем сама она показалась под буками.

– Фа! Бревно ушло!

Она подошла к воде вплотную, взглянула, принялась, потом с укором повернулась к Локу. Говорить для нее надобности не было. Лок в ответ затряс головой.

– Нет, нет. Я не уволок бревно, чтоб насмешить людей. Оно ушло само.

Он широко развел руками, показывая, как невозвратима пропажа, увидел, что она его поняла, и опять уронил руки.

Лику позвала:

– Покачай меня.

Она тянулась к буку, где ветка торчала из ствола, понурясь, как длинная, обвислая шея, высовывалась на свет, а потом взбрасывала вверх целую охапку зеленых и еще бурых почек. Лок отвлекся от найденного бревна и усадил Лику на извилину. Теперь он, стоя сбоку, приподымал и наваливался, потихоньку пятясь шаг за шагом, и вот ветка хрустнула.

– Хоп!

Он выпустил ветку и шмякнулся задом оземь. Ветка мигом распрямилась, и Лику взвизгнула от восторга.

– Нет! Нет!

Но Лок стал тянуть опять, и Лику, с визгом, и смехом, и укорами, летала вместе с охапкой листков низко, почти над самой водой. А Фа поглядывала на эту воду, и на Лока, и опять на воду. Она все хмурилась.

Ха подоспел по тропе, проворно, но не бегом, у него было больше мыслей, чем у Лока, и этот мужчина выручал людей при всех и всяческих невзгодах. Когда Фа его кликнула, он отозвался, но не сразу, а первым делом глянул на осиротевшую воду, потом влево, где под сенью буков проглядывала река. Потом он прислушался и принялся к лесу, проверил, нет ли там кого, кто незвано мог туда вторгнуться, и, уже только когда совершенно уверился в безопасности, опустил палицу и стал на колени у воды.

– Гляньте!

Его палец указывал на борозды под водой, где проволось бревно. Закраины их были все еще отчетливы, и неразмытые комья земли лежали в загогулинах. Ха скользнул взглядом по этим загогулинам вплоть до их исчезновения в темной глубине. Фа глянула на другую сторону, откуда прерванная здесь тропа убегала вдаль. И там, в том месте, где раньше лежал

дальний конец бревна, земля была разворочена. Фа молча спросила Ха, и губы его ответили:

– Один день. Может, два. Не три.

А Лику все взвизгивала и смеялась.

На тропе появилась Нил. Она слегка постанывала, как это бывало с ней от усталости и проголоди. Но, хоть шкура на ее огрузлом теле одрябла, груди все равно оставались упруго налитыми, и вокруг сосков белело молоко. Конечно, проголодаться мог кто угодно, но ни в коем случае не новый человек. Нил глянула на него, увидела, что он цепко висит на шерсти Фа и спит, потом подошла к Ха и притронулась к его руке.

– Почему ты оставил меня одну? Ведь ты же видишь больше Лока внутри головы.

Ха ткнул пальцем в сторону воды.

– Я спешил, чтоб увидеть бревно.

– Но бревно ушло.

Теперь эти трое уставились друг на друга. А потом, как обычно бывало у людей, чувства их слились воедино. Фа и Нил сопереживали все то, о чем Ха думал. Он думал, что должен непременно найти бревно на прежнем месте, ведь если вода забрала бревно иди же бревно уползло само, людям придется идти в обход болота еще целый день, а это означает опасности и такие тяготы, каких они еще не знали.

Лок навалился на ветку всей тяжестью и уже не отпускал. Он утихомирил Лику, она слезла наземь и стояла с ним рядом. Старуха приближалась по тропе, они уже слышали ее шаги и дыхание, вот она обогнула последние стволы. Седая и щуплая, она брела сгорбясь, отрешенная от всего, она целиком ушла в себя и только оберегала обернутую листьями ношу, которую обеими руками прижимала к своим старческим, сморщенным грудям. Люди стояли гурьбой и встретили ее благоговейным молчанием. Она тоже не вымолвила ни слова, но с безропотным терпением ждала, что будет дальше. Она только приспустила свою ношу и сразу подняла опять, чтоб напомнить людям, как безмерно важна эта тяжелая ноша.

Лок заговорил первый. Он обратился ко всем сразу, упиваясь словами, срывавшимися с его уст, смеясь и очень стараясь насмешить остальных. А Нил опять постанывала.

Теперь они слышали на тропе последнего из людей. Это был Мал, он брел медленно и беспрерывно кашлял. Он обошел последний ствол, остановился у края пустоши, тяжело навалился на приплюснутый конец палицы и опять стал надсадно кашлять. Когда он нагнулся, люди увидели, что на темени у него давно уже вылезла седая щетина и длинная проплешина тянется от надбровья до загривка вплоть до самых плеч. Покуда он кашлял, люди ждали молча и недвижно, как выжидает настороженный олень, и

ровные, зыбучие пласты земли всплывали, расплзались и завивались меж пальцев их ног. Плотное, белесое облако сползло с солнца, меж деревьев просквозил зябкий солнечный свет и окропил обнаженные тела.

Наконец Мал откашлялся. Он стал выпрямляться, налегая на палицу и медленно перехватывая ее руками. Он оглядел воду и людей, одного за другим, а они все ждали.

– Я вижу так.

Он разжал одну руку и возложил ладонь себе на темя, будто хотел удержать в голове ускользающие видения.

– Мал не старый, он висит на спине у матери. Воды много больше не только здесь, но вокруг нашей тропы. Один мужчина умный. Он велит другим взять поваленное дерево и...

Его глубоко запавшие глаза с мольбой обратились к людям, он звал их сопереживать то, что видел сам. Потом кашлянул опять, очень тихо. Старуха бережно приподняла ношу.

Ха наконец заговорил:

– Так я не вижу.

Старик вздохнул и убрал руку с головы.

– Найдите поваленное дерево.

Люди покорно разбрелись вдоль воды. Старуха отошла туда, где недавно качалась Лику, и опустила на ветку сцепленные руки. Ха крикнул первый. Они сбегались к нему и оробели, увязнув в топкой жиже. А Лику нашла какие-то ягоды, почерневшие и давнишние, остатки минувшей поры, когда плодов и ягод было вволю. Мал подошел, нахмурился и стал глядеть на бревно. Это был березовый ствол не толще человеческой ляжки; он до половины утонул в воде и хляби. Кора местами встопорщилась, и Лок стал обдирать с нее разноцветные грибы. Иные из этих грибов были съедобны, и Лок отдал их Лику. Ха, Нил и Фа неумело взялись за бревно. Мал опять вздохнул.

– Стойте. Ха тут. Фа там. И Нил тоже. Лок! Бревно легко подалось кверху. Но обломки сучьев цеплялись за кусты, когда люди тяжело волокли его к темной болотине. А солнце опять спряталось.

Когда они наконец доволокли бревно до воды, старик нахмурился и глянул на развороченную землю по ту сторону.

– Пускайте бревно плыть.

Это было хитрое и трудное дело. Как ни заноси сырое бревно, все равно приходилось замочить ноги. Наконец бревно соскользнуло на воду, а Ха нагнулся вперед и одной рукой стал налегать, а второй подталкивать. Сучковатая верхушка медленно струнулась и застряла в топкой жиже по ту сторону. Лок весело приговаривал и запрокинул голову, слова из его рта сыпались бессвязно. Никто не слушал Лока, но старик хмурился и прижимал

обе ладони к голове. Другой конец бревна уже ушел под воду, примерно на глубину в два мужских роста, и там он был совсем тонкий. Ха взглядом спросил старика, а тот опять прижал руки к голове и закашлялся. Ха вздохнул и с опаской ступил одной ногой в воду. Когда люди увидели это, они сочувственно застонали. Ха ступал осторожно, морщился и кривил лицо, и люди морщились вслед за ним. Ха перевел дух, сделал над собой еще усилие, и теперь вода лизала ему колени, а руки так стискивали липкую кору на березовом стволе, что она трещала. Теперь он налегал одной рукой и подымал другую. Ствол перекатился, сучья вскружились среди густого роя палых листьев, верхушка качнулась, и вот она уже лежала близ другого берега. Ха толкал что было мочи, но одолеть раскоряченные сучья у него не достало сил. По ту сторону, где березовый ствол горбился под водой, все еще была пустота. Ха отступил назад, на сушу, под угрюмыми взглядами людей. Мал смотрел на него выжидательно и опять обеими руками сжимал палицу. Ха отошел к опушке, где тропа выходила из леса. Он подобрал свою палицу и присел. На миг он резко перегнулся вперед и чуть было не упал, но тут же ноги настигли туловище, и он понесся через пустошь. Он пробежал по бревну четыре шага, клонясь вперед все ниже и ниже, так что голова его, казалось, сейчас стукнется о колени; потом бревно взбурлило воду, но Ха уже стремглав летел в воздухе, подобрав ноги и растопырив руки. Он плюхнулся на землю в кучу палой листвы. Потом повернулся, ухватил вершину березы и рванул на себя. Тропа через болотину была проложена.

Люди испустили крик облегчения и радости. И этот самый миг солнце почему-то избрало для того, чтоб опять выглянуть. Теперь весь мир будто бы разделял их светлую радость. Они благодарили Ха, хлопая ладонями по ляжкам, а Лок делился своим торжеством с Лику.

– Понимаешь, Лику? Бревно теперь лежит поперек воды. Ха очень много видит внутри головы!

Когда все умолкли. Мал указал палицей на Фа.

– Фа и новый.

Фа нащупала нового человечка. Ее густая грива прикрывала его полностью, и люди не увидели ничего, но ручонки и ножки цепкой хваткой сжимали непокорные завитки ее шерсти.

Фа подступила к самой воде, растопырила руки, ловко побежала по стволу, спрыгнула с верхушки и стала рядом с Ха. Новый проснулся, глянул через ее плечо, одной ножкой перехватил завиток шерсти и опять заснул.

– Теперь Нил.

Нил нахмурилась, сдвинула брови. Она откинула назад завитки над глазницами, пригладила их, страдальчески сморщилась и побежала по бревну. Руки она воздела высоко над головой и на середине бревна стала выкликать:

– Аи! Аи! Аи!

Бревно начало прогибаться и увязать в топком дне. Нил добежала до тонкой верхушки, высоко подпрыгнула, ее туго налитые груди всколыхнулись, и вдруг она оказалась по колено в воде. Она взвизгнула, выволокла ноги из трясины, ухватилась за протянутую руку Ха и долго потом тяжело дышала и содрогалась уже на твердой почве.

Мал подошел к старухе и сказал смиренно:

– Теперь хочет ли она перенести это туда?

Старуха была так глубоко погружена в себя, что едва проглянула сквозь свою отрешенность. Она побежала к воде, все так же держа сцепленные руки у груди. Была она тощая, кожа да кости и местами редкие седые волосы. Когда она проворно одолевала болотину, березовый ствол едва шелохнулся в воде.

Фа наклонилась к Лику:

– Теперь пойдешь ты?

Лику вынула изо рта малую Оа и потерялась густыми рыжими завитками о бедро Лока.

– Хочу с Локом.

От этого у Лока внутри головы будто засияло солнце. Он широко разинул рот, и смеялся, и приговаривал, обращаясь к людям, хотя обрывочные видения, мелькавшие в его голове, едва ли соответствовали тем словам, которые сыпались изо рта. Он видел, как Фа ответно смеется с ним и даже Мал невесело улыбается. Но Нил предостерегла:

– Осторожно, Лику. Держись крепче.

Лок дернул Лику за рыжий завиток.

– Лезь.

Лику ухватилась за его руку, одной ногой уперлась ему в колено и легко взобралась вверх по завиткам на хребте. Малую Оа она держала в теплой руке и пристроила снизу к его шее. Она крикнула:

– Есть!

Лок отошел назад к тропе под буками. Он исподлобья глянул на воду, начал разбег, но тут же остановился. Люди по ту сторону воды засмеялись. Лок забегал взад и вперед, но всякий раз осаживал себя у самого бревна. Он кричал:

– Смотрите, какой Лок могучий прыгун!

Гордясь собой, он ринулся вперед, но опять, уже не гордясь, присел и повернул назад. Лику подсакивала у него на спине и визжала:

– Прыг! Прыг!

Голова ее моталась по его темени. Наконец он подошел к воде и, как Нил, высоко воздел руки.

– Аи! Аи!

Теперь даже Мал ухмылялся. Лику захлебнулась смехом и умолкла, из глаз ее капала вода. Лок спрятался под буком, а Нил от смеха хваталась за грудь. Потом Лок опять выскочил. Он ринулся вперед, пригнув голову. По бревну он пробежал с зычным криком. Потом прыгнул, очутился на суше, повернулся одним скачком и долго еще скакал и потешался над побежденной водой, покуда Лику не стала икать у него над ухом, а остальные только хватались друг за друга.

Наконец они угомонились и Мал шагнул вперед. Он кашлянул, глянул на людей и робко скривился:

– Теперь Мал.

Он держал палицу поперек для равновесия. Вот он взбежал на ствол, и его стариковские ноги цеплялись и ослабевали. Он стал перебираться, кругообразно помахая палицей. Ему не хватило разбега, чтоб перебраться благополучно. Люди увидали, как страдание выразилось у него на лице и он ощерил зубы. Потом одна его нога сорвала большой кусок коры и оголила луб, а перескочить он не успел. Вторая нога оскользнулась, и он повалился ничком прямо в воду. Он рванулся вбок и сразу исчез в мутном бурливом омуте. Лок забегал взад и вперед, крича во все горло:

– Мал в воде!

– Аи! Аи!

Ха шел вброд и страдальчески скалился от холодного прикосновения воды. Он выловил конец, палицы, а Мал крепко держался за другой конец. Потом Ха ухватил запястье Мала, и они оба стали барахтаться в болотине, будто боролись меж собой. Мал высвободился и на карачках прополз вперед, к суше. Там он спрятался от воды за толстым стволом бука, лег, скорчился и весь дрожал. Люди тесно обступили его. Они присели и терлись об него телами, они сплели руки, чтоб защитить и приютить его. Вода с него уже стекла, и на шкуре оставались лишь мелкие капли. Лику проскользнула в середину и прильнула животом к его голням. Только старуха все ждала недвижно. Люди плотно окружали Мала и соперживали его дрожь.

Лику сказала:

– Хочу есть.

Люди вокруг Мала расступились, и он встал на ноги. Он все еще дрожал. Дрожь эта не просто подергивала шкуру, но пронизывала насквозь, так что палица у него в руках ходила ходуном.

– Идем.

Он пошел вперед по тропе. Здесь было больше простора меж деревьев, и на этом просторе много кустов. Вскоре они вышли на прогалину, которой еще до своей смерти завладело огромное дерево, прогалина эта подступала

почти вплоть к реке, а скелет дерева все еще торжественно высился над нею. Бьюнок совсем его одолел, цепкие, узловатые плети опутывали дряхлый ствол и доползали до самой верхушки, где еще совсем недавно на раскидистых ветвях было целое гнездилище густой и зеленой листвы. Грибы тоже тучнели, широкие пластины, напитанные дождевой водой, и студенистые бугры помельче, красные и желтые, так что дряхлое дерево теперь превращалось в труху и белесую слизь. Нил насобираала еды для Лику, и Лок тоже выковыривал пальцами бледные личинки. Мал дождался, покуда они кончат. Он уже не дрожал всем телом, но порой судорожно корчился. После каждого приступа судорог он налегал на палицу и даже понемногу сползал по ней все ниже.

Теперь уши людей улавливали новый звук, это был шум, столь неумолчный и всепроникающий, что не было нужды напоминать друг другу, откуда он. За прогалиной начинался крутой подъем, каменистый и бесплодный, в редких местах утыканый низкорослыми деревьями; здесь обнажался костяк земли, гладкие серые каменные суставы. За подъемом, в межгорье, была долина, и оттуда река низвергалась вниз могучим водопадом с высоты вдвое выше самого высокого дерева. Люди молча прислушивались к отдаленному реву воды. Потом они переглянулись, стали смеяться и болтать. Лок объяснил Лику:

– Сегодня ты будешь спать у падающей воды. Ведь она не ушла. Ты помнишь?

– Я вижу внутри головы воду и пещеру.

Лок любовно погладил ствол мертвого дерева, а Мал сразу повел их наверх. Теперь, в радости, они постепенно стали замечать, что он слаб, но еще не понимали до конца, сколь тяжек его недуг. Мал подымал ноги, как бы выволакивая их из трясины, и ноги эти уже не были сообразительными. Они выбирали, куда ступить, бестолково, будто кто другой растаскивал их вкривь и вкось, так что Малу приходилось все время подпираться палицей. Люди позади с легкостью повторяли всякое его движение, от избытка здоровья им не терпелось идти вперед. Усердствуя в подражании, они любовно и помимо воли передразнивали его усилия. Когда он горбился и задыхался, они пыхтели тоже, сутулились, и ноги их нарочито теряли сообразительность. Они петляли по крутизне меж серых глыб и каменных мослов, а потом деревья остались позади, и они вышли на обнаженный склон.

Здесь Мал остановился и закашлялся, и они поняли, что надо дать ему передохнуть. Лок взял Лику за руку.

– Гляди!

Склон подымался к долине, а впереди громоздилась гора. Слева склон обрывался, и там утес нависал над рекой. На реке был остров, который так круто вздымался кверху, будто встал на дыбы и одним концом упирается в

водопад. Река низвергалась по обоим бокам острова потоком, здесь узким, но поодаль широким и могучим; а куда она низвергалась, никто не мог видеть за брызгами и летучей дымной пеленой. На острове росли деревья и густой кустарник, но конец его, вздыбленный наперекор водопаду, был будто застлан густым туманом, и река по бокам только слабо поблескивала.

Мал тронулся дальше. К истоку водопада вели два пути, один извилисто уходил вправо и подымался меж скал. Хотя так идти было бы легче для Мала, он пренебрег этим путем, видимо, потому, что больше всего жаждал поскорей добраться до места и обрести покой. Он решительно повернул влево. Здесь изредка попадались кустики, которые помогали удержаться на гриве утеса, и, когда они пробирались поверху. Лику опять заговорила с Локком. Шум водопада вылуцил жизнь из ее слов и оставил лишь вялую шелуху.

– Хочу есть.

Лок ударил себя в грудь. Он закричал громко, чтоб слышали все люди:

– Я вижу, как Лок находит дерево, где густо сидят почки...

– Ешь, Лику.

Ха стоял рядом с ягодами в горсти. Он высыпал ягоды на ладонь Лику, и она ела, уминая губами; малая Оа сиротливо торчала у нее под мышкой. Лок вспомнил, что и сам хочет есть. Теперь, когда они ушли из промозглой зимней пещеры у моря и не собирали уже горькую, несвежую на вкус еду по отмелям и соленым болотам, он вдруг увидел лакомый корм: мед и молодые побеги, луковки и личинки, сладостное и запретное мясо. Он подобрал камень и стал бить по голой скале у себя над головой, будто долбил твердое дерево.

Нил сорвала с палицы сморщенную ягоду и положила в рот.

– Видали, как Лок бьет скалу в бок! Над ним смеялись, а он дурачился, делал вид, что подслушивает у скалы, и кричал:

– Просыпайтесь, личинки! Вы не спите? Но Мал уже вел их дальше.

Чело утеса слегка отклонялось назад, и вместо того, чтоб перелезть через избороздившие его морщины, люди могли пройти кружным путем над рекой, бурной в нижнем ее течении, за сумятицей у подножия водопада. Тропа с каждым шагом становилась все круче, головокружительный подъем по скатам и уступам, расщелинам и валунам, где было одно спасение цепляться ногами за малейшую неровность, а скала под ними опрокидывалась вспять, и воздушная пустота отделяла их от дымной пелены и острова. Здесь стервятники парили уже под ними, будто черные хлопья вокруг костра, хвостатые травы в реке колыхались, и только по неверным проблескам меж стеблей угадывалась вода; остров же, вздыбленный наперекор водопаду,

вразрез порогу, откуда изливался потоп, был недосыгаем, как месяц на небе. Дальше утес клонился долу, будто разглядывал свою подошву в воде. Хвостатые травы были очень высоки, выше многих мужчин, они колыхались под взбиравшимися людьми взад и вперед, размеренно, точно бьется сердце или плещет морской прибой.

Лок вспомнил, как звучит клекот стервятников. Он замахал на них руками.

– Крок!

Новый человечек шевельнулся на спине у Фа, крепко перехватил шерсть ручонками и ножками. Ха продвигался очень медленно, с осторожностью неся свое грузное тело. Он полз на четвереньках, его руки и ноги сгибались и подтягивались по каменной круче. Мал заговорил опять:

– Стойте.

Они угадали это по губам, когда он обернулся, и тесно обступили его. Здесь тропа расширялась, и места хватало для всех. Старуха положила руки на край обрыва, чтоб легче было удерживать ношу. Мал скорчился и кашлял так долго, что плечи свела судорога. Нил присела рядом и одной рукой обхватила его живот, а другой плечо.

Лок глядел в даль за рекой, чтоб забыть о голоде. Он раздул ноздри и сразу же был вознагражден смесью всевозможных запахов, потому что туман над водопадом до крайности обострял всякий запах, подобно тому как дождь живит и освежает яркость полевых цветов. Были тут и запахи людей, у каждого свой собственный, но непременно слитый с запахом топкой тропы, по которой они прошли.

Это так ощутимо подтверждало близость их летнего стойбища, что он засмеялся от радости и повернулся к Фа с вожделием, несмотря на весь свой голод. Дождевая вода, которая окропила ее в лесу, высохла, и густые завитки у нее на загривке и вокруг головы нового человечка были искристорьжие. Лок протянул руку и коснулся ее груди, а она тоже засмеялась и откинула волосы с ушей за плечи.

– Мы найдем еду, – сказал он, разевая свой широкий рот, – и ляжем вместе.

Едва он упомянул о еде, голод стал таким же осязаемым, как запахи. Он опять повернулся к обрыву, где чуял старухину ношу. И сразу не стало ничего, только пустота вокруг да дымная пелена от водопада наплывала на него из-за острова. Он был внизу, распластанный по скале, и цеплялся за ее шероховатости пальцами рук и ног, как лиана своими усиками. Он видел хвостатые травы через просвет у себя под мышкой, они не колыхались, а будто застыли в это мгновенье небывалой зоркости. Лику верещала над обрывом. Фа лежала ничком у самого края и стискивала его запястье, а новый человечек скулил и пытался выпутаться из ее волос. Остальные люди

спешили назад. Ха был виден выше ляжек, он действовал осторожно, но быстро и уже наклонился, чтоб ухватить второе запястье. Лок чувствовал, что ладони их вспотели от ужаса. Поочередно подтягивал он сверху то ногу, то руку, покуда не вполз на тропу. Он перекатился набок и зарычал на хвостатые травы, которые теперь опять колыхались. Лику выла. Нил наклонилась, прижала ее голову к себе меж грудей и стала успокаивать, поглаживая по шерстистой спине. Фа рывком повернула Лока к себе.

– Зачем?

Лок упал на колени и поскреб щетину под губой. Потом указал на водные брызги, которые летели к ним через остров.

– Старуха. Она была вон там. И это.

Стервятники взмывали под его рукой в воздухе, обтекавшем утес. Фа отпустила Лока, когда его голос мужчины заговорил про старуху. Но он все глядел ей в лицо.

– Она была там...

Оба совсем ничего не понимали и умолкли. Фа опять хмурилась. Эту женщину нельзя было обмануть. Что-то невидимое исходило от старухи и витало в воздухе вокруг ее головы. Лок заклинал ее:

– Я повернулся и упал.

Фа закрыла глаза и сказала сурово:

– Я так не вижу.

Нил уводила Лику за остальными. Фа пошла следом, будто Лока не было на свете. Он покорно побрел за ней, понимая свою оплошность, и все же бормотал на ходу:

– Я повернулся к ней...

Люди сбились в кучку поодаль на тропе. Фа крикнула им:

– Мы идем! Ха отозвался:

– Здесь ледяная женщина.

Впереди и выше Мала была падь, забитая слежавшимся снегом, покуда еще недоступным солнцу. Собственная тяжесть и мороз, а на исходе зимы ливневые дожди уплотнили его в лед, который угрожающе нависал, и между подтаивающей кромкой и подогретой скалой струилась вода. Хотя прежде люди ни разу не видели, чтоб ледяная женщина еще жила в этой пади, когда они возвращались из своей зимней пещеры у моря, никому не пришла мысль, что Мал привел их в горы слишком рано. Лок забыл про свой неудачный прыжок и про удивительную, непередаваемую новизну запаха водных брызг и побежал вперед. Он остановился рядом с Ха и закричал:

– Оа! Оа! Оа!

Остальные подхватили крик:

– Оа! Оа! Оа!

Средь неумолчного грохота водопада голоса их были ничтожны и бессильны, но стервятники все же услышали и встревожились, а потом плавно продолжали полет. Лику кричала и подбрасывала малую Оа, хотя сама не знала зачем. Новый человечек опять проснулся, облизнул губки розовым язычком, как котенок, и выглянул сквозь завитки за ухом у Фа. Ледяная женщина свисала выше и впереди людей. Хотя смертоносная вода истекала из ее чрева, она не шевелилась. Люди замолчали и поспешили прочь, покуда она не скрылась за скалой. Безмолвно дошли они до скал у водопада, где могучий утес разглядывал свою подошву в белых бурунах и водоворотах. Почти на уровне их глаз выгибался прозрачный свод и вода перехлестывала через порог, такая прозрачная, что все было видно насквозь. Водоросли здесь не колыхались медленно и плавно, а неистово трепетали, будто порывались убежать. Близ водопада скалы были мокры от брызг и папоротники свисали над пустотой. Люди едва глянули на водопад и быстро полезли дальше.

Над водопадом река текла через долину в межгорье.

Теперь, на исходе дня, солнце спустилось в долину и пламенело в воде. По ту сторону река омывала крутобокую гору, черную и отвернувшуюся от солнца; но эта сторона не была такой неодолимой. Здесь был косогор, наклонный уступ, который отлого смыкался с другим утесом. Лок не стал глядеть на остров, где никто из людей не бывал, и на гору по ту сторону долины. Он заспешил вслед за людьми, вспомнив, как безопасно на этом уступе. Ничто не грозило им снизу, из воды, потому что течение унесло бы всякого врага в водопад; а утес над уступом был достигаем только для лис, козлов, людей, гиен и птиц. Даже спуск с уступа к лесу прикрывала такая теснина, что ее мог отстоять один человек, вооруженный палицей. И по этой тропе на крутом утесе над тучами брызг и мятущимися водами не ходило никакое зверье, ее проторили лишь ноги людей.

Когда Лок обогнул поворот в конце тропы, лес позади него уже померк и тени из долины взлетали к уступу. Люди шумно располагались на уступе, но Ха с размаху опустил палицу, так что тернии на конце вонзились в землю у его ног. Он согнул колени и принялся. Люди сразу умолкли и выстроились в полукруг перед отлогом. Мал и Ха с палицами наготове крадучись взобрались на невысокий земляной склон и оглядели отлог.

Но гиены ушли. Хотя запах еще стлался по каменной осыпи и по редкой траве, которая питалась прахом многих поколений, этот запах был уже дневной давности. Люди увидали, что Ха теперь держит палицу так, что она не может больше служить оружием, и ослабили мышцы. Они сделали несколько шагов вверх и остановились у отлога, где под лучами солнца легли их косые тени. Мал подавил кашель, который клокотал у него в груди,

повернулся к старухе и стал ждать. Она опустилась на колени и положила на середине отлога глиняный шар. Она вскрыла глину, распластала и приладила ее поверх прежнего слежавшегося на земле слоя.

Потом склонила над глиной лицо и дунула. В глубине отлога стоял высокий утес со впадинами по обоим бокам, и в этих впадинах были сложены кучи хвороста, сучьев и толстых веток. Старуха проворно сходила к кучам и принесла сучья, листья и рассохлое, трухлявое бревнышко. Все это она уложила на распластанной глине и стала дуть, покуда вслед за струйкой дыма не взмыла в воздух первая искра. Ветка затрещала, красный с синеватым отливом язычок пламени лизнул дерево и выпрямился, так что щека старухи с теневой стороны зарделась и глаза блеснули. Она опять сходила к впадинам, подбросила еще дров, и огонь явил взгляду все великолепие своего пламени и ярких искр. Она стала приминать сырую глину пальцами, выравнивая края, и теперь огонь сидел посреди плоского круга. Тогда она встала и сказала людям:

– Огонь опять проснулся.

ДВА

В ответ люди оживленно загомонили. Они устремились на отлог. Мал сразу сел за костром и вытянул руки, а Фа и Нил принесли еще дров и сложили их рядом. Лику тоже принесла ветку и отдала старухе. Ха опустился на корточки возле утеса, поерзал и удобно привалился к нему спиной. Его правая рука нашарила и подобрала камень. Он показал его людям.

– Я вижу этот камень внутри головы. Вот Мал рубит им ветки. Смотрите! Этот край может рубить.

Мал отнял камень у Ха, взвесил на ладони, нахмурился было, но потом поглядел на людей с улыбкой.

– Этим камнем я рубил, – сказал он. – Смотрите! Здесь я зажимаю его большим пальцем, а здесь обхватываю рукою тупой край.

Он поднял камень и с живостью изобразил Мала, который рубит ветку.

– Это хороший камень, – сказал Лок. – Он не ушел. Он лежал у костра и дождался, покуда Мал за ним не придет.

Он встал и поглядел со склона поверх земли и камней. Ни река не ушла, ни горы. И отлог их дождался. Вдруг его захлестнула волна радости и ликования. Все их дождалось, дождалась и Оа. Теперь она выгоняла ростки из луковиц, утучняла личинки, исторгала запахи из земли, распускала набухшие почки во всякой пазухе, на всякой ветке. Он заплясал по уступу над рекой, широко растопырив руки.

– Оа!

Мал отполз от костра и осмотрел задний край отлога. Он пригляделся к земле, отметл прочь редкие сухие листья и звериный помет под утесом. Потом опустил на корточки и расправил плечи.

– А здесь сидит Мал.

Он ласково погладил утес, как Лок или Ха могли бы приласкать Фа.

– Мы дома!

Лок пришел с уступа. Он посмотрел на старуху. Свободная от ноши с огнем, она уже не была такой отрешенной и далекой от всех. Теперь он мог заглянуть ей в глаза, заговорить с нею и даже, вероятно, удостоиться ответа. Кроме того, он испытывал потребность говорить, чтоб скрыть от других тревогу, которую всегда пробуждали в нем языки пламени.

– Теперь огонь опять в своем логове. Тебе тепло. Лику? Лику вынула малую Оа изо рта.

– Хочу есть.

– Завтра мы найдем еду для всех людей. Лику подняла малую Оа.

– И она есть хочет.

– Ты возьмешь ее с собой и накормишь. Он со смехом оглядел остальных.

– Я вижу...

Люди тоже засмеялись, потому что Лок всегда видел себя и почти ничего и никого другого, и они знали это не хуже его самого.

– ...вижу, как нашлась малая Оа... Старый корень, причудливо искривленный и встопорщенный, напоминал толстобрюхую женщину.

– ...я стою между деревьями. Я чувствую. Вот здесь, под ногой чувствую... – Он изобразил это. Всей тяжестью он опирался на левую ногу, а правая шарила по земле. – ...Я чувствую. Что чувствую? Луковицу? Палку? Кость? – Пальцы правой ноги ухватили что-то и поднесли к левой руке. Он поглядел. – Это малая Оа! – Он просиял, упиваясь своим торжеством. – И теперь где Лику, там всегда и малая Оа.

Люди похлопали себя по ляжкам, выражая одобрение, посмеиваясь и над ним, и над его рассказами. Удовлетворенный этой наградой, он уселся у костра, а люди притихли и молча глядели на огонь.

Солнце утонуло в реке, и свет исчез с отлога. Теперь костер, как никогда, был средоточием всего, белесая зола, пятно багрового света, а над ними слитное, высокое, трепещущее пламя. Старуха сновала бесшумно, подкладывая дров, красное пятно их поедало, и пламя обретало силу. Люди глядели, и лица их будто слегка подергивались в неверном свете. Конопатая кожа румянилась, и у каждого в глубоких глазницах обитали похожие, как

близнецы, огоньки и дружно плясали там. Теперь, когда люди хорошо угрелись, они расслабили конечности и благодарно впивали ноздрями дым. Они поджали пальцы ног, растопырили руки и даже слегка отодвинулись от огня. Все погрузилось в то глубокое молчание, которое было сопринородно им гораздо больше, нежели слова, молчание, отторгнутое от времени, и на отлоге сначала возникло единство во многих мыслях, а потом, может быть, мыслей не стало вовсе. Рев воды казался теперь почти беззвучным, и слышно было, как легкий ветерок овеивает скалы. Уши людей будто обрели самостоятельную жизнь, они различали в хитросплетении мельчайших звуков любой в отдельности, улавливали шелест дыхания, шорох сырой, подсыхающей глины и опадающего пепла.

Потом Мал заговорил с несвойственной ему робостью:

– Холодно тут?

Разум опять самостоятельно пробудился у каждого в черепе, и все повернулись к Малу. Он уже обсох, и шкура его ерошилась. Он рывком подался вперед, скользнул коленями по глине и оперся на растопыренные руки, так что жар польхал ему прямо в грудь. Весенний ветерок дунул на огонь и метнул струйку дыма прямо в его разинутый рот. Он поперхнулся и закашлялся. Он никак не мог перестать, кашель, казалось, выпрыгивал из его груди без удержу или спросу. От этого все тело сотрясалось, и он никак не мог перевести дух. Он повалился на бок и весь задрожал. Они увидали его язык и страх в его выкаченных глазах.

Старуха сказала:

– Это холод воды, где было бревно.

Она подошла, опустила на колени и стала обеими руками растирать ему грудь, разминать мускулистую шею. Она прижала его голову к своим коленям, прикрыла от ветра, и кашель понемногу унялся, а сам он уже лежал спокойно, лишь изредка вздрагивая. Новый человечек проснулся и слез со спины Фа. Он пополз вдоль вытянутых ног, и его рыжие волосенки поблескивали в трепетном свете. Он увидел огонь, прошмыгнул под согнутым коленом Лока, ухватил Мала за лодыжку, подтянулся и встал. Два крошечных огонька загорелись в его глазенках, а он стоял, клонясь вперед, и держался за подрагивающую ногу. Люди поглядывали то на детеныша, то на Мала. В костре хрупнула ветка так внезапно, что Лок подскочил, а в темноту посыпались искры. Новый человечек упал на четвереньки раньше, чем искры осели. Он юркнул мимо ног взрослых, взобрался по руке Нил и спрятался в шерсти у нее на спине, под гривой. Потом один из огоньков проглянул у ее левого уха пытливо и настороженно. Нил склонила голову набок и ласково потерлась щекой о головку малыша. Новый человечек опять затаился. Собственная его шерстка и завитки матери укрыли его, как пещера. Ее грива висала и стлалась над ним. Вскоре огонек у ее уха погас.

Мал собрался с силами и сел, опираясь на старуху. Он оглядел людей одного за другим. Лику открыла было рот, порываясь заговорить, но Фа живо ее утихомирила.

И тогда заговорил Мал:

– Вначале была великая Оа. Она родила землю из своего чрева. И вскормила ее грудью. Потом земля родила женщину, а женщина родила из своего чрева первого мужчину.

Люди внимали молча. Они приготовились слушать дальше, услышать все, что знает Мал. Вот сейчас они смогут увидеть те времена, когда людей было многое множество, времена, про которые все они так любили слушать, когда круглый год стояло лето и на ветках не переводились цветы и плоды. А еще был долгий перечень имен, от Мала назад, в прошлое, где всегда упоминается старейший из людей по тем временам; но на этот раз Мал не сказал больше ничего.

Лок сел рядом, защищая его от ветра.

– Ты хочешь есть. Мал. Когда человек хочет есть, в нем живет холод.

Ха широко разинул рот:

– Когда солнце выйдет опять, мы найдем еду. Оставайся у костра. Мал, а мы принесем еды, и в тебя войдет сила и тепло.

Подошла Фа, прильнула к Малу всем телом, и теперь они втроем прикрывали его у костра. Он сказал им сквозь кашель:

– Я вижу, что надо делать.

Он склонил голову и глядел на золу. Люди ждали. Они видели, как изнурила его жизнь. Длинная шерсть на голове поредела, и завитки волос, которые прежде застилали покатость черепа, сваялись, так что над бровями обнажилась полоска морщинистой кожи в палец шириной. Ниже зияли глазницы, запавшие и темные, а в глубине застыли мутные, измученные глаза. Он поднял руку и пристально поглядел на пальцы.

– Вот что надо для людей. Еда сперва. Потом дрова. Правой рукой он стал перебирать пальцы на левой; он хватал их крепко, будто эта хватка могла удержать мысли в плену и повиновении.

– Палец за еду, это сперва. Потом палец за дрова. Он потрянул головой и начал сначала:

– Палец за Ха. За Фа. За Нил. За Лику...

Он перебрал все пальцы одной руки и поглядел на другую, тихонько покашливая. Ха заерзал по земле, но ничего не сказал. Мал распустил морщины на лбу и запнулся. Он понурил голову и вцепился руками в седую шерсть у себя на загривке. По голосу они слышали, до чего он устал.

– Ха принесет дрова из лесу. Нил пойдет с ним и возьмет с собой нового.

Ха опять заерзал, а Фа убрала руку с плеч старика, но Мал еще не кончил говорить:

– Лок добудет еду вместе с Фа и Лику.

Ха сказал:

– Лику еще маленькая, чтоб ходить по склону горы и дальше, по равнине!

Лику крикнула:

– Хочу с Локом!

Мал уронил голову меж колен и пробормотал глухо:

– Я сказал.

Теперь все решилось окончательно, и люди ощутили беспокойство. Они нутром чувствовали неладное, но слово было сказано. А когда слово сказано, это все равно как если б дело уже претворилось в жизнь, и они тревожились. Ха бесцельно стучал камешком по отлогой скале, а Нил опять тихонько постанывала. Только Лок, который видел меньше всех внутри головы, опять увидал ослепительную Оа и ее щедроты, как было недавно, когда он плясал на уступе. Он вскочил и повернулся к людям, а ночной ветерок ерошил завитки на его шкуре.

– Я принесу еды в руках, – он изобразил целую грудку, много еды, так что будучи шагать – вот столько! Фа засмеялась над ним:

– Столько еды нету нигде. Лок присел на корточках.

– Я вижу так внутри головы. Лок возвращается к водопаду. Он бежит через бок горы. Он несет козла. Большой кот убил этого козла и выпил кровь, так что вины нету. Вот здесь. Слева под мышкой. А здесь, справа, – он оттопырил другую руку, – у меня ляжка козы.

Он расхаживал по отлогу и пошатывался, будто под тяжестью мяса. Люди смеялись, сперва вместе с ним, потом над ним. Только Ха сидел молча, с едва заметной ухмылкой, и, когда люди заметили это, они поглядели на него и опять на Лока.

Лок похвалялся:

– Я вижу наверняка!

Ха даже не пошевелил губами, но по-прежнему ухмылялся. Потом у всех на виду медленно и серьезно обратился к Локу оба уха, так что они будто сказали за него: я тебя слышу!.. Лок раззявил рот, шкура на нем ошетибилась. Он невнятно заурчал на эти бесстыжие уши и кривую ухмылку.

Фа вмешалась:

– Не надо. Ха много видит и мало говорит. Лок говорит много и ничего не видит.

Тогда Ха рывкнул от смеха и взбрыкнул ногами перед Локом, а Лику засмеялась, сама не зная чему. Лок вдруг мучительно позавидовал их беспечному, мирному согласию. Он смирил свой нор, отполз назад к костру и сделал вид, будто очень опечален, люди же сделали вид, будто хотят его утешить. А потом на отлоге опять наступило молчание и одиночество в мыслях или без мыслей.

Неожиданно все люди замерли, сопереживая то, что каждый увидал внутри головы. Они увидели Мала как бы в отдалении, залитого светом, явственно представшего им во всей своей немощи. Они видели не только тело Мала, но все, что видел он сам, что медленно проступало и тускнело у него в голове. Одно, самое сильное, вытесняло остальное, брезжило сквозь туманные намеки, сомнения и догадки, покуда наконец они не поняли, что он думает с такой тягостной уверенностью:

«Завтра или еще через день я умру» .

Люди опять разрознились. Лок протянул руку и коснулся Мала. Но Мал не почувствовал прикосновения, поглощенный болью и укрытый женскими волосами. Старуха поглядела на Фа.

– Это холод воды. Она нагнулась и прошептала Малу на ухо:

– Завтра будет еда. Теперь спи. Ха встал.

– И будут еще дрова. Не пора ли тебе кормить огонь? Старуха сходила к угесу и принесла дров. Она складывала сучья один к одному так искусно, что, где бы ни пробивались языки пламени, повсюду они лизали сухое дерево. Вскоре пламя жарко полыхало в воздухе и люди отодвинулись назад. Теперь полукруг расширился, и Лику проскользнула внутрь. Шкура ее тревожно потрескивала, а люди блаженно улыбались друг другу. Потом они начали широко зевать. Они плотно сомкнулись вокруг Мала, жались к нему, баюкали в объятиях теплой плоти, а огонь согревал его спереди. Они ворочались и бормотали. Мал слегка покашлял, потом тоже уснул.

Лок присел сбоку и взгляделся в даль над темными водами. Заранее сознательное решение не пришло, но он был на страже. Он тоже зевнул и прислушался к боли у себя в животе. Он подумал про лакомую еду, облизнулся и готов был заговорить, но вспомнил, что все спят. Тогда он встал и поскреб густые завитки под губой. Фа была рядом, и вдруг он опять почувствовал, что хочет ее; но это чувство легко забылось теперь, когда голову почти целиком занимала мысль о еде. Он вспомнил про гиен и крадучись выбрался на край уступа, откуда был виден спуск к лесу. Необъятная мгла и грязные пятна пролегали до серой полосы, обозначавшей море; ближе туманно поблескивала река с болотами и излучинами. Он поглядел на небо и увидал, что оно чистое, только над морем повисли пернатые облака. Отблеск костра уже не мешал смотреть, и теперь глаза его кольнул острый луч звезды. Потом появились другие, целая россыпь, скопления дрожащих огоньков по всему небосводу, от края до края. Глаза Лока не мигая глядели на звезды, а нюх ловил запах гиен и убедил его, что поблизости их нет. Он перелез через скалы и посмотрел сверху на водопад. Там, где река низвергалась в водоем, всегда бывал свет. Дымные струи,

казалось, улавливали весь свет без остатка и рассеивали его неприметно. Но свет этот пронизывал лишь сами струи, так что весь остров оставался в темноте. Лок бездумно оглядывал черные деревья и скалы, едва видные сквозь мглистую белизну. Остров походил на длинную ногу сидящего великана, чье колено, поросшее деревьями и кустами, перекрывало мерцающий порог водопада, а неуклюжая ступня, будто вывихнутая, вытягивалась понизу, теряла свое сходство и сливалась с темной пустыней. Великанья ляжка, которая была бы под стать туловищу, огромному, как гора, лежала в долине среди текущей воды, становилась все тоньше, и в конце лишь разрозненные скалы криво вставали в рост перед уступом. Лок рассматривал великанью ляжку, как рассматривал бы луну: нечто столь далекое совсем не связывалось со знакомой ему жизнью. Чтобы достичь острова, людям пришлось бы перепрыгнуть с уступа на скалы через воду, которая с жадностью поглотила бы их и унесла в водопад. Только очень проворная тварь, гонимая страхом, отважилась бы на такой прыжок. Поэтому на острове никто не бывал.

Умиротворенный, он вдруг представил себе пещеру у моря, повернулся и поглядел на реку. Далеко внизу ее излучины, будто лужи, тускло поблескивали в темноте. Он смутно представил себе тропу, которая вела от моря к уступу сквозь расстилавшийся под ним мрак. Он смотрел, и его озадачила мысль, что тропа действительно там, куда он теперь смотрит. Эти места, где беспорядочно громоздились скалы, будто кто-то остановил их каменный вихрь в миг самого грозного неистовства, и эта река, разлитая среди леса, были слишком сложными для уразумения, не умещались у него в голове, хотя его чувства кружными путями могли проникнуть всюду. Он с облегчением отбросил непостижимую мысль. Вместо этого он раздул ноздри и стал вынюхивать гиен, но они давно ушли. Он спустился на край скалы и помочился в реку. Потом тихонько вернулся назад и присел сбоку от костра. Он коротко зевнул, опять почувствовал, что хочет Фа, почесался. Глаза смотрели на него с утесов, глаза были и на острове, но он знал, что никто не подойдет близко, покуда рдеют угли в костре. Старуха будто угадала его мысль, проснулась, подбросила дров и плоским камнем стала сгребать золу. Мал надрывно закашлялся во сне, отчего люди зашевелились. Старуха примостилась на прежнем месте, а Лок поднял руки и сонно потер ладонями глаза. После такого нажима над рекой поплыли зеленые пятна. Прищурясь, он взглянул налево, где водопад ревел до того однозвучно, что его уже не было слышно. Ветер всколыхнул воду, затрепетал; потом сильный порыв налетел из леса и ворвался в долину. Резкая черта на краю неба расплылась, лес посветлел. Над водопадом сгушалось облако, туман подкрадывался из каменистого водоема, где ветер запрудил реку и отбросил воду вспять. Остров застило мглой, сырой туман подкрался к уступу, повис над отлогом и

окутал людей такими мелкими капельками, что порознь они были неосязаемы и взгляд мог различить лишь все их скопище целиком. Ноздри Лока сами собой раздулись и втянули смешанные запахи, которые принес туман.

Он сидел на корточках, недоумевая и дрожа. Ладони он сомкнул вокруг ноздрей и нюхал пойманный в пригоршни воздух. Он зажмурил глаза, напряг внимание, сосредоточился, обоня тепловатый уже запах, и на миг, казалось, едва не уловил нечто сокровенное; потом запах испарился, как вода, расплылся, как что-то далекое и мельчайшее, когда от напряжения выступают слезы. Он выпустил воздух из ладоней и открыл глаза. Ветер переменялся, туман, стлавшийся от водопада, уплывал, и вокруг были обычные ночные запахи.

Он хмуро поглядел на остров и на темную воду, которая струилась к устью долины, потом зевнул. Он не способен был удержать новую мысль, если она не таила в себе опасности. Костер угасал, становился похожим на красный глаз и освещал уже только себя, а люди были недвижны и сливались со скалами. Он устроился поудобней перед сном, наклонился вперед и прикрыл ладонью ноздри, чтоб туда попадало меньше холодного воздуха. Колени он подтянул к груди, стараясь получше укрыться от ночной прохлады. Левая рука скользнула вверх и запустила пальцы в шерсть на загривке. Челюсть уткнулась в колени.

Над морем сквозь облачную гряду проглянул тусклый желтоватый свет, постепенно разливаясь все шире. Края облаков теперь золотились, и вот уже сверкнула кромка почти полной луны. Порог водопада заблестел, блики света метались понизу или вдруг взлетали, как искры. Деревья на острове обрели четкость, ствол самой высокой березы внезапно покрылся серебряными и белыми пятнами. За водой, по ту сторону долины, утес еще таил темноту, но на всех окрестных горах проступили высокие снежные и ледяные вершины. Лок спал, сидя на корточках. При малейшей опасности он помчался бы по уступу, как резвый бегун, который с места набирает скорость. Иней поблескивал на нем, будто лед на горной вершине. От костра остался плоский бугорок, горстка красных углей, а над ними трепетали синие язычки и лизали недогоревшие концы веток и поленьев.

Луна медленно и почти отвесно поднималась по небу среди редких, едва заметных облачков. Свет прокрался вниз по острову, и пенистые струи засверкали. Отовсюду смотрели зеленые глаза, везде проступали серые тени, скользили и скрывались в темноте или проворно перебежали через прогалины на склонах горы. Свет падал на деревья в лесу, и желтоватые пятна мельтешили по прелым листьям и по земле. Он ложился на реку и на колышущиеся хвостатые травы; а воду усеяли лучистые блески, и круги, и вихри холодного огня. Снизу долетел шум, но рев водопада заглушил эхо и

лишил этот шум звучания, так что остался пустой отголосок. Уши Лока встрепенулись в лунном свете, и налет инея на их концах дрогнул. Уши Лока сказали Локу:

– ???

Но Лок спал.

ТРИ

Лок почувствовал, что старуха встала раньше всех и принялась хлопотать у костра с первыми проблесками зари. Она сложила дрова кучей, и он сквозь сон услышал, как дерево начало лопаться и трещать. Фа еще сидела, и голова старика беспокойно ерзала у нее на плече. Ха шевельнулся и встал. Он сошел на край уступа и помочился, потом вернулся и поглядел на старика. Мал просыпался не так, как остальные. Он тяжело сидел на корточках, ворочал головой среди шерсти Фа и часто дышал, как самка, ожидающая детеныша. Рот его был широко разинут перед жарким огнем; но его сжигал другой, невидимый огонь; этот огонь разлился по всей дряблой плоти и вокруг глазниц. Нил сбегала к реке и принесла воды в пригоршнях. Мал выпил воду, все так же не открывая глаз. Старуха подбросила в огонь еще дров. Она указала на впадину в утесе и мотнула головой в сторону леса. Ха тронул Нил за плечо:

– Пойдем!

Новый человек тоже проснулся, вскарабкался на плечо Нил, похныкал, потом перебрался к ней на грудь. Нил осторожно пошла вслед за Ха к крутой тропе, которая прямо спускалась в лес, а новый человек сосал ее грудь. Они миновали поворот и скрылись в утреннем тумане, висевшем почти ровень с истоком водопада.

Мал открыл глаза. Людям пришлось низко наклониться, чтоб расслышать его слова.

– Я вижу.

Трое людей ждали. Мал поднял руку и положил ладонь себе на голову. Два огонька металась в его глазах, но смотрел он не на людей, а куда-то вдаль по ту сторону воды. В его пристальном взгляде было столько напряжения и страха, что Лок обернулся поглядеть, почему испугался Мал. Он не увидел ничего: только бревно, смытое весенним разливом с берега где-то в верховьях, проплыло мимо, встало торчком и бесшумно нырнуло в водопад.

– Я вижу. Огонь убегает в лес и пожирает деревья. Теперь, когда он не спал, дыхание его участилось еще больше.

– Вот огонь. Лес в огне. Гора в огне... Он поворачивал голову к каждому из людей. В голосе его звучал ужас.

– Где Лок?

– Здесь.

Мал вперил в него глаза, хмурый и растерянный.

– Кто это? Лок на спине у своей матери, а деревья сожрал огонь.

Лок переступил с ноги на ногу и глупо засмеялся. Старуха взяла руку Мала и приложила к щеке.

– Это было давно. Все кончилось. Ты увидел это во сне. Фа погладила его по плечу. Потом ее рука замерла на его шкуре и глаза широко раскрылись. Но она заговорила с Малом ласково, будто разговаривала с Лику:

– Лок стоит перед тобой. Гляди! Он взрослый мужчина. Лок понял с облегчением и быстро заговорил, обращаясь ко всем:

– Да, я мужчина. – Он вытянул руки. – Вот я здесь перед тобой, Мал.

Проснулась Лику, широко зевнула, и малая Оа скатилась с ее плеча. Лику подобрала ее и прижала к груди.

– Хочу есть.

Мал повернулся так круто, что чуть не упал рядом с Фа, и ей пришлось его подхватить.

– Где Ха и Нил?

– Ты их послал, – ответила Фа. – Послал за дровами. А Лока, Лику и меня за едой. Скоро мы принесем тебе поесть.

Мал начал раскачиваться из стороны в сторону, закрыв руками лицо.

– Я увидел это не к добру. Старуха обняла его за плечи.

– Теперь спи.

Фа отвела Лока от костра.

– Нехорошо, если Лику пойдет с нами на равнину. Пускай остается у костра.

– Но Мал сказал так.

– У него болеет голова.

– Он видел все в огне. Я испугался. Как может гора быть в огне?

Фа сказала дерзко:

– Сегодня такой же день, как вчера и завтра. Ха и Нил с новым человечком пробрались через теснину на уступ. Они наломали и принесли большие охапки веток. Фа побежала им навстречу.

– Идти Лику с нами, потому что так сказал Мал? Ха оттопырил губу:

– Такого еще не бывало. Но так сказано.

– Мал видел гору в огне.

Ха поднял голову и поглядел на далекую затуманенную вершину.

– Я этого не вижу.

Лок взволнованно фыркнул:

– Сегодня такой же день, как вчера и завтра. Ха обратил к ним уши и с важностью улыбнулся:

– Так сказано.

Вдруг непонятная скованность исчезла, и Фа, Лок и Лику быстро побежали по уступу. Они прыгнули на утес и стали взбираться вверх. Вскоре они оказались уже на такой высоте, что могли видеть дымную пелену брызг внизу под водопадом и шум его ударил в уши. Там, где утес слегка отклонялся назад, Лок упал на одно колено и крикнул:

– Полезай!

Теперь стало гораздо светлее. Они видели, как блестит река в горной долине и синее огромное небо, опрокинутое над горами, которые обступали водоем. Внизу туман застилал лес и равнину, окутывая бок горы. Они побежали по крутизне туда, где стлался туман. Гладкий склон остался позади, они перебирались через огромные осыпи из острых каменных обломков, спускались в ужасные ущелья и наконец достигли округлых валунов, за которыми росли редкие пушистые травы да кое-где чахлый кустарник, согбенный ветрами. Травы были влажные от росы, и паутина, колыхавшаяся меж стеблей, рвалась и липла к ногам. Склон уже не был таким крутым, кустарник стал гуще. Верхняя граница тумана приблизилась.

– Солнце, выпьет туман.

Фа будто не слышала. Она шарилась по земле, пригнув голову так низко, что завитки у ее щек сбивали росинки с кустарника. Вдруг какая-то птица заклекотала и тяжело взлетела в воздух. Фа ринулась к гнезду, а Лику от радости стала колотить Лока пятками в живот.

– Яйца! Яйца!

Она соскользнула с его плеч и заплясала на траве. Фа отломилась от палицы терний и проколола яйцо с обоих концов. Лику выхватила его у нее из рук и высосала с громким хлопанием. Фа и Локу тоже досталось по яйцу. Все три яйца они опорожнили одним духом. Теперь люди особенно остро ощутили голод и усердно занялись поисками. Они шли вперед, пригнувшись и обшаривая все вокруг. Хотя они не поднимали глаз, они знали, что туман впереди сползает на равнину и у моря сквозь прозрачное марево уже проглядывают первые лучи солнца. Они раздвигали листья и всматривались в кустарник, находили невылупившиеся личинки, бледные ростки, скрытые под камнями. Покуда они искали и ели. Фа их утешала:

– Ха и Нил добудут еду в лесу.

Лок находил личинки, любимое лакомство, придающее много силы.

– Мы не можем вернуться и принести только личинку. Принести. Только одну личинку.

Потом они выбрались из кустарника. Сюда недавно скатился с горы камень и столкнул другой. Клочок обнаженной земли сплошь покрывали

тучные белые ростки, которые едва пробились к свету, они были короткие и толстые, но зато ломались от малейшего прикосновения. Люди бок о бок припали к земле и жадно насыщались. Еды было так много, что они издавали короткие возгласы, выражавшие радость и волнение, так много было еды, что на какое-то время они утолили жестокий голод, хотя полностью насытиться не могли. Лику молчала, она села, вытянула ноги и жадно набивала рот. Немного погодя Лок развел руками, как бы раскрывая объятия.

– Если мы все съедем с этой стороны, можно привести людей на ту сторону, чтоб они тоже поели. Фа сказала невнятно:

– Мал не пойдет, и она его не оставит. Мы должны вернуться этим же путем, когда солнце спустится за гору. Мы возьмем для людей столько еды, сколько сможем унести на себе.

Лок рыгнул и с благодарностью поглядел на землю.

– Это хорошее место. Фа хмурилась и чавкала.

– Будь оно ближе...

Она с жадностью проглотила все, что было во рту.

– Вот что я вижу. Растет сытная еда. Не здесь. У водопада. Лок засмеялся над ней.

– У водопада еда не растет!

Фа широко раскинула руки, не спуская глаз с Лока. Потом стала их сближать. Но хотя ее склоненная голова и слегка приподнятые, растянутые брови выражали вопрос, она не находила слов, чтоб его высказать. Она попыталась еще раз:

– Но если... увидеть вот так. Отлог и костер здесь, внизу. Лок поднял лицо, скривил рот и засмеялся.

– Это место здесь, внизу. А отлог и костер вон там. Он наломал еще ростков, затолкал в рот и стал жевать. Потом глянул туда, откуда все ярче исходил солнечный свет, и заметил признаки наступающего дня. Фа вскоре забыла свое видение и встала. Лок тоже встал и сказал ей:

– Пойдем!

Они стали спускаться вниз меж скал и кустов. Внезапно проглянуло солнце, тусклый серебристый круг плашмя катился сквозь облака, но с места не двигался. Лок шел впереди, за ним попевала Лику, серьезная и напряженная, ведь она в первый раз по-настоящему помогала добывать еду. Склон стал совсем пологим, и они приблизились к утесистой гряде, а впереди, на огромной, как море, равнине, колыхался вереск. Лок насторожился, и все замерли. Он обернулся, вопросительно поглядел на Фа, высоко поднял голову. Вдруг он выдохнул воздух через ноздри, потом вдохнул. Он чутко принюхивался, раздул ноздри и задерживал воздух, согревая его кровью, чтоб уловить запах. В носу у него творились чудеса, таким острым стало обоняние. Запах ощущался едва заметно. Будь Лок

способен на такие сопоставления, он задумался бы над тем, настоящий ли это запах или только ожившее воспоминание. Запах был до того слаб и ничтожен, что, когда Лок вопросительно поглядел на Фа, она не поняла. Тогда он прошептал вслух:

– Мед?

Лику запрыгала от нетерпения, и Фа поспешно ее утихомирила. Лок опять вдохнул воздух, но поймал уже новую струйку и ничего не почувствовал. Фа ждала.

Лок мгновенно сообразил, с какой стороны дует ветер. Он взобрался на каменистый откос, обращенный к солнцу, и побежал меж скалами. Ветер переменялся, и Лок опять уловил запах. Этот запах стал волнующе близким и повел к невысокому утесу, который крушили морозы и солнце, размывали дожди, отчего образовалась целая сеть трещин. Одну трещину окружали пятна, похожие на бурые отпечатки пальцев, и одинокая пчелка, едва живая, хотя яркое солнце разогрело камень, висела на ширину ладони от края. Фа качнула головой:

– Меду мало.

Лок перевернул палицу и сунул в щель сплюснутый конец. Немногие пчелы, изнуренные холодом и голодом, вяло зажуужали. Лок повернул палицу в трещину. Лику подпрыгивала.

– Там мед, Лок? Хочу меду!

Пчелы выползли из трещины и роились вокруг людей. Некоторые тяжело падали наземь и ползли, трепыхая крылышками. Одна запугалась в шерсти Фа. Лок вытащил палку. На конце были редкие потеки меда и воска. Лику уже не подпрыгивала, она вылизала все дочиста. Остальные двое успели утолить острый голод и теперь радовались, глядя, как Лику ест.

Лок приговаривал:

– Мед лучше всего. Ведь мед придает силу. Вот как Лику любит мед. Я вижу, придет время, когда мед потечет из этой трещины и можно будет собирать этот сладкий мед прямо пальцами – вот так!

Он провел рукой по камню и облизал пальцы, вспоминая, как сладок мед. Потом опять засунул в трещину конец палицы, чтоб Лику полакомилась еще. Фа стала проявлять нетерпение:

– Это старый мед, с того времени, когда мы уходили отсюда к морю. Мы должны найти еду для всех людей. Пойдем!

Но Лок все совал палицу в щель, чтоб опять любоваться, как Лику ест, глядеть на ее живот и вспоминать о меде. Фа спустилась по откосу, откуда туман стекал назад на равнину. Она сошла к скалистой кромке и скрылась из виду. Вдруг они услышали, как она вскрикнула. Лику вскочила Локу на спину, и он ринулся по откосу на крик с палицей наготове. В скалах была выщербленная расселина, а за ней расстилалась плоская земля. Фа сидела на корточках в конце расселины и глядела поверх травы и вереска на равнину.

Лок подбежал к ней. Фа тихонько вздрогнула и приподнялась. Две желтоватые твари, чьи лапы были скрыты за бурыми кустиками вереска, оказались так близко, что она видела их глаза. Эти остроухие звери встрепенулись, услышав ее голос, прекратили возню и стояли в нерешимости. Лок ссадил Лику со спины.

– Лезь.

Лику взобралась по скале над расселиной и прилегла так высоко, что Лок не мог бы до нее дотянуться. Желтые твари ощерили клыки.

– Ну!

Лок крадучись двинулся вперед с палицей наготове. Фа обошла его слева. Она сжимала в руках два острых каменных осколка. Гиены сошлись ближе и зарычали. Фа внезапно взмахнула правой рукой, и камень угодил суке в ребра. Та взвизгнула, потом с воем пустилась наутек. Лок прыгнул, замахнулся палицей и ударил рычащего кобеля по морде. Теперь оба зверя отбежали на безопасное расстояние и огрызались в испуге.

– Скорей, я чую большого кота.

Фа уже стояла на коленях и терзала обмякшую тушу.

– Кот высосал кровь. Так что вины нету. А желтые, твари даже не тронули печень.

Она яростно кромсала козье брюхо каменным осколком. Лок грозил гиенам палицей.

– Здесь много еды для всех людей. Он услышал, как Фа урчит и задыхается, раздирая морщинистую кожу и кишки.

– Скорей.

– Не могу.

Гиены уже не огрызались, они медленно заходили с разных сторон. Лок следил за ними, и вдруг его накрыли тени двух крупных птиц, круживших в воздухе.

– Тащи козу к утесу.

Фа попыталась сдвинуть тушу, потом злобно крикнула на гиен. Лок попятился к ней, нагнулся, ухватил козу за ногу. Он тяжело поволок тушу к расселине, все время грозя палицей. Фа ухватила заднюю ногу козы и помогала тащить. Гиены шли следом на безопасном расстоянии. Люди втиснули добычу в узкую расселину под утесом, где притаилась Лику, а две птицы снизились. Фа снова принялась кромсать тушу острым осколком. Лок отыскал увесистый камень, которым удобно было наносить удары. Он стал долбить тушу и выламывать суставы. Фа урчала от нетерпения. Лок что-то приговаривал, а его большие руки тянули, выкручивали и обрывали сухожилия. Гиены безостановочно металась из стороны в сторону. Птицы слетели на скалу, уселись там сбоку от Лику, и она проворно соскользнула к Локу и Фа. Коза была уже искромсана и растерзана. Фа вспорола брюхо,

рассекла слоистый желудок, вытряхнула кислую пережеванную траву и ростки на землю. Лок расколочил череп и вынул мозг, потом концом палицы разжал зубы и вырвал язык. Они уложили лакомые куски в выпотрошенный желудок, завязали его кишками, и получился дряблый мешок.

Лок урчал и часто приговаривал:

– Это плохо. Очень плохо.

Козьи ноги были раздроблены, мясо отделено от костей, и теперь Лику сидела на корточках возле туши, поедая кусок печени, который ей дала Фа. Воздух меж скал был муторный от запретного истязания и пота, от обильного запаха мяса и ощущения зла.

– Скорей! Скорей!

Фа сама не могла бы сказать, чего она боится; кот не вернется к обескровленной добыче. Его отделяет теперь от этого места полдня пути по равнине, он рыщет там, где пасется стадо, быть может, уже настигает новую жертву, готовый вонзить ей в шею свои сабли и высосать кровь. Но все же как будто темнота омрачала воздух под настороженными птицами.

Лок громко сказал, ощущая эту темноту:

– Совсем плохо. Оа родила козу из своего чрева.

Фа, которая разрывала мясо, пробормотала сквозь зубы:

– Не говори про нее.

А Лику все ела, не замечая темноты вокруг, ела сочную, теплую печень, покуда не заняли челюсти. Лок после внушения, которое ему сделала Фа, уже не приговаривал громко, а только шептал:

– Плохо. Но тебя убил кот, так что вины нету. Он шлепал губами, и слюна капала из его широкого рта. Солнце рассеяло остатки тумана, и впереди, за гиенами, люди видели волнистые поросли вереска на равнине, а еще дальше, где свет растекался понизу, зеленели кроны деревьев и сверкала вода. Сзади высились горы, мрачные суровые громады. Фа легла на спину и перевела дух. Тыльной стороной руки она утерла лоб.

– Мы должны подняться высоко, куда желтым тварям не залезть.

От туши не осталось почти ничего, только истерзанная шкура, кости и копыта. Лок отдал свою палицу Фа. Она взмахнула ею и сердито прикрикнула на гиен. Лок скрутил из кишки жгут, связал им окорока и намотал конец на запястье, чтоб можно было управиться одной рукой. Потом нагнулся и ухватил горловину желудка зубами. Фа держала охапку мяса, а он две груды рваных и дрожащих кусков. Он стал пятиться со свирепым рычанием. Гиены пробрались в расселину, стервятники сорвались с места и кружили чуть поодаль, где их нельзя было достать палицей. Лику так осмелела под защитой мужчины и женщины, что погрозила стервятникам объедком печени:

– Кыш, жадные клювы! Это мясо съест Лику! Стервятники заклекотали, отлетели прочь и вступили в схватку с гиенами, которые с хрустом пожирали раздробленные кости и окровавленную шкуру. Лок уже не мог говорить. У него едва хватило бы сил тащить столько еды на плечах даже по ровному месту. Теперь же он влачил эту ношу вверх на весу и почти всю тяжесть удерживал пальцами и стиснутыми зубами. Они еще не преодолели откос, а он уже склонялся все ниже, и боль терзала его запястье. Но Фа поняла это, хотя не могла видеть и сопереживать. Она подошла, забрала у него дряблый желудок, и он облегченно вздохнул. Потом она и Лику полезли дальше, оставив его позади. Он разделил мясо на три неравные части и с трудом побрел следом. В голове у него так непостижимо смешались темнота и светлая радость, что он слышал, как колотится сердце. Он заговорил с темнотой, которая таилась в расселине:

– Здесь бывает мало еды, когда люди приходят от моря. Еще нету ягод, плодов, меда, нету почти никакого корма. Голодные люди отощали, им надо есть. Людям не нравится вкус мяса, но, когда оно найдется, надо его съесть.

Теперь он огибал гору по гладкому каменному скату, где только цепкость ног удерживала его от падения. Петляя средь высоких скал, он по-прежнему глотал слюну и вдруг высказал новую замечательную мысль:

– Это мясо для Мала, потому что он больной. Фа и Лику отыскали проход в крутом склоне и рысцой побежали вверх, к уступу над долиной. Лок остался позади, он едва брел и высматривал подходящую скалу, куда мог бы положить мясо, как делала старуха, когда несла огонь. Такую скалу он нашел в начале прохода, она была плоская, а у другого ее бока зияла пустота. Он присел, мясо соскользнуло с него и осело под собственной тяжестью. Внизу, под склоном, слетелась целая стая стервятников, и там шел свирепый пир.

Лок отвернулся от расселины, где затаилась темнота, и устремил взгляд на Фа и Лику. Они были уже далеко, бежали рысцой к уступу, скоро они расскажут остальным про еду и, вероятно, пошлют Ха на подмогу. Он не спешил продолжить путь, предпочел отдохнуть немного и рассматривал суетный неугомонный мир. Под светлым голубым небом едва различимо темнела далекая полоса моря. Темней всего окрест были густые синие тени, которые скользили по траве, камням и вереску, по серым оголенным валунам на равнине. Покрывая деревья в лесу, они омрачали прозрачную зелень весенней листвы и гасили блеск воды над рекой. У подножья горы они растекались вширь и уползали через хребет. Он поглядел в сторону водопада, где Фа и Лику, совсем крошечные, уже почти исчезли из вида. Потом он нахмурился, присмотрелся к воздуху над водопадом и открыл рот. Дым костра переместился и стал совсем не таким, как прежде. На миг он подумал, что старуха перенесла костер, но сразу же засмеялся над собственной глупостью, удивляясь, как он мог увидеть такое. И никогда старуха не

позволила бы костру так дымить. Желтые струи свивались с белыми, будто горели сырые сучья или ветки с густыми зелеными листьями; только дурак или какое-то существо, которому совсем незнаком норов огня, стали бы обращаться с ним так неразумно. У Лока мелькнула мысль о двух разных кострах. Иногда огонь падал с неба и подолгу полыхал в лесу. Он таинственно просыпался на равнине среди вереска, когда цветы уже давно отцвели и солнце палило нестерпимо.

Лок опять засмеялся над тем, что ему привиделось. Старуха не позволила бы костру пустить такой дым, а заново огонь никогда не просыпался сам собой в сырую весеннюю пору. Лок глядел, как дым опадает, плывет в долину и там редеет. Потом он понюхал мясо и забыл про дым и про свое видение. Он подобрал куски и, шатаясь, побрел наверх вслед за Фа и Лику. Тяжесть мяса и мысль, что он несет людям столько еды, а когда принесет, заслужит их похвалу, отвлекли его, и он перестал видеть дым внутри головы. Фа бегом вернулась назад. Она взяла у Лока часть мяса, и они медленно, чуть не падая, одолели последний подъем.

Дым густо клубился с отлога, синий и горячий. Старуха удлинила костер, и слой теплого воздуха стлался меж пламенем и скалой. Пламя и дым надежной завесой ограждали отлог от легких порывов ветра. Мал лежал на земле, окутанный теплым воздухом. Он весь сжался, серый среди бурых кочек, глаза его были сомкнуты, рот широко разинут. Дышал он так часто и слабо, что грудь трепетала, будто отзывалась на удары сердца. Кости заметно проступали сквозь кожу, а плоть таяла, как жир на огне. Когда Лок показался в отдалении, Нил, новый человечек и Ха только что начали спускаться к лесу. Они ели на ходу, и Ха одобрительно махнул Локу рукой. Старуха стояла у костра и ощупывала желудок, который ей отдала Фа.

Фа и Лок спрыгнули на уступ и побежали к костру. Лок свалил мясо у нагромождения скал и крикнул Малу сквозь пламя:

– Мал! Мал! Мы принесли мясо!

Мал открыл глаза и приподнялся на локте. Он взглянул через костер на обмякший желудок, вздохнул и наградил Лока улыбкой. Потом повернул голову к старухе. Она улыбнулась ему и стала хлопать себя по ляжке свободной рукой.

– Это хорошо. Мал. Это дает силу. Лику прыгала рядом с нею.

– Я ела мясо. И малая Оа ела мясо. Я прогнала жадные клывы. Мал.

Мал улыбался и тяжело дышал.

– Вот Мал наконец увидел радость.

Лок оторвал клок мяса и стал жевать. Он засмеялся, побрел по уступу, изображая, как он пошатывался под тяжестью ноши, и сделал это ничуть не хуже, чем прошлым вечером. Потом заговорил невнятно, с набитым ртом:

– А Лок увидал наверняка. Мед для Лику и малой Оа. И целые охапки мяса козы, которую загрыз кот.

Люди тоже засмеялись и стали хлопать себя по ляжкам. Мал опять лег, улыбка на его Лице потускнела, и он молчал, прислушиваясь к своему трепетному дыханию. Фа и старуха разобрали мясо, отделили изрядную долю и уложили на скалах и во впадинах. Лику схватила еще кусок печени, обошла костер и устроилась в теплом закутке, где лежал Мал. Старуха бережно перенесла желудок на скалу, распутала узел и засунула руку внутрь.

– Принесите земли.

Фа и Лок прошли через теснину у края уступа на взгорье, где склон, усеянный скалами и кустами, спускался к лесу. Они надергали жесткой травы с земляными комьями на корнях и принесли старухе. Она взяла желудок и положила его перед собой. Потом плоским камнем разворошила золу в костре. Лок присел на корточки и стал толочь землю палкой. Работая, он приговаривал:

– Ха и Нил принесли дров на много дней. Фа и Лок принесли еды на много дней. И теплые дни скоро придут.

Когда скопилась горка сухой истолченной земли. Фа смочила ее водой из реки. Она отдала землю старухе, которая облепила ею желудок. Потом проворно выгребла из костра самую горячую золу и завалила облепленный землей желудок. Зола легла толстым слоем, и воздух над ней задрожал от жара. Фа принесла дерну. Старуха обложила золу дернинами и сдвинула их вплотную. Лок бросил работу, встал и глядел, как готовят еду. Он видел морщинистую горловину желудка и слой земли под дернинами. Фа отстранила его локтем, нагнулась и вылила в желудок воду из пригоршней. Старуха придирчиво следила за Фа, которая сновала то туда, то сюда. Вновь и вновь прибегала она от журчащей реки, покуда не наполнила желудок доверху водой, мутноватой и пенистой. Мелкие пузырьки всплывали из пены, дрожали и лопались. Поверх докрасна раскаленной золы дерн потрескивал, травинки взъерошились. Они корчились, стали чернеть и загораться. Огненные язычки пробивались сквозь землю и метались среди травинок или жадно слизывали их, сперва обволакивая желтизной от корней до самых концов. Лок отошел назад и собрал кучку рыхлой земли. Он забрасывал землей горящие дернины и приговаривал, обращаясь к старухе:

– Огонь легко удержать. Эти языки не уползут. Для них нет вокруг никакой еды.

Старуха поглядела на него с умудренной улыбкой, не сказав ни слова, и сразу заставила его почувствовать, как он глуп. Он оторвал клоч мышцы от растерзанной ляжки и спустился на уступ. Солнце стояло над долиной меж гор, и он бездумно ощутил, что скоро уже наступит время, когда день кончится. Дневная пора прошла так быстро, что он чувствовал огорчение,

будто что-то потерял. Он отвлекся, смутно увидел отлог, когда его и Фа здесь не было. Мал и старуха ждали, она думала про болезнь Мала, он задыхался и ждал, когда Ха принесет дрова, а Лок еду. Вдруг Лок понял, что Мал не был уверен в успехе, посылая их добывать еду. Но все равно Мал мудр. Хотя при мысли о мясе Лок опять преисполнился самомнения, все же он знал, что Мал не был уверен в успехе, и ему вдруг стало зябко, как от холодного ветра. Потом знать это сделалось почти так же трудно, как думать, в голове скопилась усталость, он стряхнул ее с себя, и сразу возродился тот беспечный, радостный Лок, что привык слушаться старших и доверяться их попечению. Ему вспомнилась старуха, такая близкая к Оа, знающая так неизъяснимо много, хранительница недоступных глубин, которой открыты все тайны. Он опять почувствовал благоговейный страх, и радость, и облегчение.

Фа сидела у костра и обжаривала на пруте кусочки мяса. Прут обгорал, мясо плевалось и шипело на огне, и она обжигала пальцы, когда снимала кусок, чтоб его съесть. Старуха склонилась над Малом и поливала его лицо водой из пригоршней. Лику сидела, опираясь спиной о скалу, малая Оа покоилась у нее на плече. Теперь Лику ела не спеша, она вытянула ноги, и живот ее красиво округлился. Старуха подошла, присела возле Фа и глядела, как из желудка, сквозь сутолоку пузырей, вьется пар. Она выхватила всплывший кусочек, ловко подбросила на ладони и сунула в рот.

Люди молчали. Жизнь обрела полноту, уже не надо беспокоиться о еде, на завтра припасов хватит, а день, который придет потом, так далек, что никому не хотелось о нем думать. Жизнь целиком претворил в себе утоленный голод. Скоро Мал поест нежного мозга. Сила и проворство козы вольются в него. Таким чудесным представлялся этот дар людям, что у них не было надобности разговаривать. Они погрузились в долгое молчание, которое внешне могло бы показаться проявлением отрешенной скорби, если б не мерно жующие челюсти с игрой мускулов под скулами, отчего слегка подрагивали завитки на висках покатых голов.

Лику уронила голову на грудь, и малая Оа упала с ее плеча. Пузырьки суетливо всплывали из горловины желудка, растекались по кромке, облачко пара взмывало вверх и отлетало в сторону, где его развеивал горячий воздух над большим костром. Фа взяла прут, окунула его в кипящее варево, лизнула конец и повернулась к старухе.

– Уже скоро.

Старуха тоже лизнула прут.

– Надо напоить Мала горячей водой. Вода от мяса дает силу. Фа сморщила лоб и разглядывала желудок. Она положила ладонь себе на макушку.

– Я вижу.

Она взобралась на утес и указала назад, туда, где виднелись лес и море.

– Я возле моря, и я вижу. Вижу так, как еще не видел никто. Я... – она скривилась и нахмурила брови. – ...думаю. – Она вернулась к костру и присела возле старухи. Медленно качнулась из стороны в сторону. Старуха опустила одну руку и уперлась в землю костяшками пальцев, а другой рукой поскребла шею под нижней губой. Фа заговорила опять: – Я вижу, как люди у моря очищают ракушки. Лок вытряхивает из ракушки гнилую воду.

Лок заболботал, но Фа прервала его:

– ...а еще Лику и Нил... – Она помолчала в смятении, потому что видела все уж очень живо и подробно, не зная, как разглядеть за этим важный смысл, который угадывала чутьем. Лок засмеялся. Фа отмахнулась от него, как от мухи. – ...воду из ракушки.

Она выжидательно поглядела на старуху. Потом вздохнула и начала снова:

– Лику в лесу...

Лок со смехом указал на Лику, которая спала, примостившись у скалы. Тогда Фа шлепнула его, будто хотела унять ребенка, висящего у нее на спине.

– Я вижу так. Лику идет через лес. И несет малую Оа... Она пристально смотрела на старуху. Потом Лок заметил, как напряжение исчезло с ее лица, и понял, что они сопереживают видение. Все это он увидел тоже, нелепое скопище ракушек, и Лику, и воду, и отлог. Он заговорил:

– Возле гор нету ракушек. В ракушках живут только улитки, мелкий народ. Там они как в пещерах.

Старуха клонилась к Фа. Потом откачнулась, оторвала от земли обе руки и неуверенно уселась на свой тощий зад. Медленно, безмолвно лицо ее переменилось, как бывало порой, если Лику вдруг забредала слишком далеко в сторону, где заманчиво сверкала ядовитая ягода. Фа понурилась и закрыла лицо руками. Старуха сказала:

– Это новое.

Она покинула Фа, которая нагнулась над желудком и стала помешивать там прутом.

Старуха протянула руку к Малу и осторожно подергала его за ногу. Мал открыл глаза, но не пошевелился. Возле его рта слюна растеклась по земле маленьким темным пятнышком. Солнечные лучи косо падали на отлог из-за долины, откуда всегда приходила ночь, и ярко освещали Мала, так что тени протянулись от него во всю длину костра. Старуха притронулась губами к его голове:

– Поешь, Мал.

Мал, тяжело дыша, приподнялся на локте.

– Воды!

Лок сбегал к реке, принес воду в пригоршнях, и Мал напился. Потом Фа встала на колени с другого бока, чтоб он мог на нее опереться, а старуха взяла палку, окунула ее в бульон много раз, больше, чем пальцев у всех людей в мире, и вложила ему в рот. Он дышал так часто, что едва успевал глотать. Наконец он стал вертеть головой, уклоняясь от палки. Лок принес еще воды. Фа со старухой бережно уложили Мала на бок. Он перестал их замечать. Они видели, как глубоко таится его мысль и как она неотступна. Старуха стояла у костра и глядела на Мала. Они видели, что она уловила проблески его затаенного чувства, и лицо у нее стало мрачнее тучи. Фа сорвалась с места и побежала к реке. Лок угадал по движению ее губ:

– Нил?

Он догнал Фа в вечерних сумерках, и они вдвоем пристально осмотрели утес над рекой. Нил там не оказалось, Ха тоже, а лес за водопадом уже застилала темнота.

– Они несут слишком много дров. Фа издала звук, выражавший согласие.

– Но большие дрова они понесут по склону. Ха много видит. Носить дрова через утес плохо.

Потом они почувствовали, как старуха глядит на них и думает, что только она понимает переживания Мала. Они вернулись назад, и лица их помрачнели. Девочка Лику спала у скалы, ее округлый живот поблескивал при свете костра. Мал не шелохнулся ни разу, но глаза его были открыты. Последние лучи солнца быстро угасали. С утеса над рекой долетел глухой топот, потом с грохотом посыпались камни и кто-то торопливо обогнул поворот. Нил бежала к ним по уступу с пустыми руками. Она выкрикнула только два слова:

– Где Ха?

Лок глупо уставился на нее.

– Несет дрова вместе с Нил и новым человечком. Нил мотнула головой. Она дрожала всем телом, хотя стояла так близко от костра, что могла бы дотянуться до него рукой. Потом быстро заговорила, обращаясь к старухе:

– Ха не вместе с Нил. Гляди!

Она обежала уступ, показывая, что там никого нет. Потом вернулась обратно. Зорко оглядела отлог, ухватила кусок мяса и вцепилась в него зубами. Новый человечек у нее под гривой проснулся и высунул головку наружу. Тогда она вынула мясо изо рта и пристально посмотрела каждому в лицо.

– Где Ха?

Старуха положила ладони себе на макушку, поразмыслила немного над этой новой загадкой и отступилась. Она присела на корточки возле желудка и стала вылавливать оттуда мясо.

– Ха собирает дрова вместе с тобой. Нил пришла в неистовство:

– Нет! Нет! Нет!

Она то приседала, то вскакивала. Груды ее колыхались, и на сосках выступило молоко. Новый человечек принялся и переполз через ее плечо. Она ухватила его обеими руками так грубо, что он пискнул, потом стал сосать. Она присела на скалу и окинула людей тревожным взглядом.

– Надо, чтоб вы увидели. Мы складываем дрова в кучу. Около большого мертвого дерева. На голой земле. Мы разговариваем про козу, которую принесли Фа и Лок. Мы смеемся.

Она взглянула поверх костра и вытянула руку.

– Мал!

Его глаза обратились к ней. Дышал он все так же тяжело. Пока Нил рассказывала, новый человечек сосал ее грудь, а солнечные блики на воде у нее за спиной померкли.

– Потом Ха идет к реке попить, и я остаюсь возле дров. – Ее лицо затуманилось, такое лицо было у Фа, когда она видела подробности, которые не умещались у нее в голове. – И еще он идет справить нужду. А я остаюсь возле дров. Но он кричит: «Нил!» Я встаю, – она изобразила это, – и вижу, как Ха бежит вверх к утесу. Бежит и хочет догнать. Он оглядывается и чувствует радость, потом испуг и радость – вот так! И я уже не вижу Ха. – Они устремили глаза на утес вслед за ее взглядом и не увидели Ха. – Я все жду, жду. Потом иду к утесу, чтоб найти Ха и вернуться к дровам. На утесе нету солнца.

Шерсть на ней встала дыбом, зубы оскалились.

– На утесе запах. Два. От Ха и от другого. Это не Лок. Не Фа. Не Лику. Не Мал. Не она. Не Нил. Это другой запах, он ничей. Вверх по утесу и назад. Но запах Ха кончается. Ха взобрался на утес и прошел над хвостатыми травами, а солнце село. И потом ничего.

Старуха стала снимать дернины с желудка. Она сказала через плечо:

– Ты видела это во сне. Другого нету в мире. Нил опять забормотала с тоской:

– Не Лок. Не Мал... – Принюхиваясь, она обогнула скалу, подошла вплотную к повороту, за которым скрывался утес, вернулась назад, и шерсть на ней стояла дыбом. – Там кончился запах Ха. Мал!..

Остальные серьезно обдумывали видение. Старуха открыла желудок, откуда валил пар. Нил перепрыгнула через костер и стала на колени подле Мала. Она дотронулась до его щеки.

– Мал! Ты слышишь?

Мал ответил, преодолевая одышку:

– Слышу.

Старуха принесла мяса, и Нил взяла кусок, но есть не стала. Она ждала, когда Мал опять заговорит, но старуха сказала вместо него:

– Мал очень болен. Ха видит много. А теперь ешь, и тебе будет хорошо.
Нил завизжала на нее с такой яростью, что остальные перестали жевать:
– Ха нету. Запах Ха кончился.

Сначала никто не шевелился. Потом все повернулись к Малу и стали глядеть на него. С огромным трудом он оторвал тело от земли и сел, едва удерживая равновесие. Старуха открыла рот, порываясь заговорить, но опять закрыла. Мал положил ладони себе на макушку. Теперь ему стало еще трудней удерживать равновесие. Он начал беспокойно дергаться.

– Ха ушел к утесам.

Он закашлялся, его слабое дыхание прервалось. Все ждали, и он опять задышал быстро, вздохлб.

– Там запах другого.

Он придавил голову обеими руками. По телу его пробежала дрожь. Он быстро выдвинул одну ногу и уперся в землю пяткой, чтоб не упасть. Люди ждали в красном зареве заката и костра, а пар от бульона струился вверх и вместе с дымом исчезал в темноте.

– Там запах других.

На миг он затаил дыхание. Потом они увидали, как его обессиленные мышцы расслабились и он повалился на бок с таким безразличием, будто боль от ушиба была ему нипочем. Они уловили его шепот:

– Я этого не вижу.

Даже Лок молчал. Старуха сходила к утесу и принесла дров, двигаясь как во сне. Она все делала ощупью, глаза ее были устремлены вдаль, мимо людей. Люди не могли видеть то, что видела она, и поэтому стояли неподвижно, в растерянности пытаясь представить себе жизнь без Ха. Но Ха был среди них. Они знали каждую его черточку, каждый взгляд, его особенный запах и умудренное, безмолвное лицо. Его палица лежала у скалы, гладкая на конце, который он совсем недавно сжимал горячей рукой. Знакомая скала ждала его, и перед ними там, где он всегда сидел, на земле была отчетливая вмятина. Все это совместилось в голове Лока. Сердце его дрогнуло, он обрел такую силу, будто мог напряжением воли вернуть Ха людям прямо из воздуха.

Нил вдруг сказала:

– Ха ушел.

ЧЕТЫРЕ

С удивлением смотрел Лок, как вода текла из ее глаз. Вода эта копилась у краев глазных впадин, а потом крупными каплями падала на губы и на

нового человечка. Вдруг она убежала к реке и огласила ночь воем. Он увидел, как из глаз Фа тоже падают капли, поблескивая при свете костра, а потом она оказалась рядом с Нил и выла над рекой. Лок по многим признакам чувствовал, что Ха еще здесь, это чувство стало теперь особенно сильным, неудержимым. Он подбежал, схватил Нил за руку и рывком повернул к себе.

– Нет!

Она сжала нового человечка так грубо, что он запищал. Капли все катились по ее лицу. Она зажмурилась, открыла рот и опять завывла жалобно и протяжно. Лок встряхнул ее с яростью:

– Ха не ушел! Гляди...

Он бегом вернулся к отлогу и указал на палицу, скалу и вмятину в земле. Ха был повсюду. Лок скороговоркой объяснял старухе:

– Я вижу Ха. Я его найду. Как мог Ха встретить другого? Ведь другого нету в мире...

Фа заговорила взволнованно. Нил слушала, громко всхлипывая.

– Если есть другой, тогда Ха ушел с ним. Пускай Лок и Фа пойдут...

Старуха движением руки заставила ее замолчать.

– Мал очень болен, а Ха ушел. – Она оглядела всех одного за другим. – Теперь остался Лок...

– Я его найду.

– ...а Лок много говорит и ничего не видит. На Мала надежды нету. Поэтому дайте сказать мне.

Она с важностью присела у желудка, над которым поднимался пар. Лок перехватил ее взгляд, и все, что он видел внутри головы, исчезло. Старуха заговорила властно, как заговорил бы Мал, не будь он болен:

– Без помощи Мал умрет. Фа должна пойти с приношением к ледяным женщинам и попросить у Оа милости. Фа присела возле нее.

– Кто может быть этот другой человек? Разве живет тот, кто стал мертвым? Разве он вышел опять из чрева Оа, будто мой ребенок, что умер в пещере у моря?

Нил опять всхлипнула:

– Пускай Лок идет его искать. Старуха возразила с упреком:

– Женщина служит Оа, а мужчина видит внутри головы. Пускай говорит Лок.

Лок вдруг понял, что глупо смеется. Теперь он как бы шел впереди всех, а не скакал сзади вместе с Лику, свободный от забот. Внимание трех женщин тяготило его. Он опустил глаза и почесал одну ногу об другую. Потом нерешительно повернулся к людям спиной.

– Говори, Лок!

Он попытался остановить взгляд на чем-нибудь заметном среди теней, чтоб отвлечься и забыть про женщин. Смутно видя, он различил палицу у скалы. И сразу Ха-подобие Ха-возник перед ним на отлоге. Его охватило безудержное волнение. Он быстро заговорил:

– У Ха отметина вот здесь, под глазом, где его обожгла головешка. Он нюхает – вот так! Он говорит. На большом пальце ноги у него клочок шерсти...

Одним прыжком он повернулся.

– Он нашел другого. Глядите! Ха падает с утеса – так я вижу. Потом сюда прибегает другой. Он кричит Малу: «Ха упал в воду!» Фа пристально взглянула ему в лицо.

– Другой не прибежал. Старуха взяла ее за руку.

– Значит, Ха не падал. Иди скорей, Лок. Найди Ха и другого. Фа нахмурилась:

– Разве другой знает Мала? Лок опять засмеялся:

– Мала знают все!

Фа резким движением велела ему молчать. Она поднесла руку ко рту и оттянула челюсть. Нил оглядывала людей одного за другим, не понимая, о чем они говорят. Фа выдернула руку изо рта, выставила палец и направила старухе в лицо.

– Я вижу так. Это кто-то... другой. Не из людей. Он говорит Ха: «Пойдем! Там больше еды, чем я могу съесть». А Ха говорит...

Голос ее смолк. Нил заскулила:

– Где Ха? Старуха ответила:

– Он ушел с другим.

Лок тихонько тряхнул Нил за плечи.

– Они обменялись словами или увидели одинаковое. Ха нам расскажет, и я пойду за ним. – Он оглядел остальных. – Люди понимают друг друга.

Все поразмыслили над этим и согласно качнули головами.

Лику проснулась и с улыбкой поглядела на них. Старуха принялась хозяйничать на отлоге. Она и Фа бормотали без умолку, сравнивали куски мяса, прикидывали на вес кости, потом опять подошли к желудку и стали спорить. Нил сидела рядом, рвала мясо зубами и ела бесчувственно, с тупым равнодушием.

Новый человечек медленно переполз через ее плечо. Он повисел там, глянул на костер и спрятался под ее гривой. Потом старуха вдруг посмотрела на Лока так загадочно, что он даже перестал видеть внутри головы Ха вместе с другим и переступил с ноги на ногу. Лику подошла к желудку и обожгла пальцы. Старуха все смотрела, а Нил всхлипнула и спросила у него:

– Ты видишь Ха? Видишь наверняка?

Старуха подобрала с земли его палицу и вложила ему в руку. На теле ее сливались отблески костра и лунного света, и ноги Лока понесли его за отлог.

– Я вижу наверняка.

Фа сунула ему еду из желудка, эта еда была такая горячая, что ее пришлось перебросить с руки на руку. Он нерешительно поглядел на остальных и побрел к повороту. Вдали от костра все было черное и серебристое, остров, скалы и деревья густо чернели под небом и подле серебристой реки, а поверх водопада сновал искрящийся, трепетный свет. Вдруг из глубины ночи нахлынуло тяжкое одиночество, и Лок не мог опять увидеть Ха внутри головы. Он поглядел на отлог, не теряя надежды. Там чернел земляной холмик, который скрывал костер, и дрожащее зарево разливалось над ним. Он видел Фа и старуху, они сидели рядом на корточках, и меж ними была кучка мяса. Удаляясь от них, он обогнул поворот, и нарастающий шум водопада хлынул ему навстречу. Он положил палицу на землю, сел и стал есть. Мясо было нежное, горячее, лакомое. Он уже утолил мучительный голод, но аппетит остался, и он ел с наслаждением, не спеша. Он близко поднес кусок к лицу и осмотрел его бледную поверхность, где лунный свет скользил медленней, чем по воде. Он забыл про отлог и про Ха. Теперь существовал только живот Лока. Сидя над гремящим водопадом, за которым в сумеречных лесных даях коварно таилась вода, с лицом, лоснящимся от жира, Лок блаженствовал. Ночь была холодней, чем минувшая, он чувствовал это, хотя не умел сравнивать. Туман вокруг водопада переливался алмазным блеском, который лишь отражал игру яркого лунного света, но казалось, будто это лед. Ветер стих, все замерло, шевелились только папоротники, склоненные к воде и колеблемые течением. Лок смотрел на остров невидящим взглядом, он упивался сладостью, разлитой по языку, глотал, звучно чмокая, и чувствовал, как подрагивает его упругая шкура.

Наконец мясо было съедено. Он утер лицо ладонями, сорвал с палицы терний и поковырял в зубах. Теперь он опять вспомнил про Ха, и про отлог, и про старуху и проворно вскочил на ноги. Полагаясь на чуткость своего носа, он стал рыскать по сторонам и обнюхивать скалу. Запахи совсем перемешались, а нос как будто не имел соображения. Лок знал, почему это так, и пополз вниз, пригнув голову, покуда не коснулся губами воды. Он напился и прополоскал рот. Потом вскарабкался назад и присел на растресканной скале. Дожди размыли ее крутой бок, но у поворота был тесный проход, протоптанный людьми, подобными Локу, которые прошли здесь в бесчисленном множестве. Он помедлил над грохочущим водопадом и раздул ноздри. Запахи различались меж собой в пространстве и времени. Вот

здесь, у его плеча, где Нил хваталась за скалу, был самый свежий запах ее руки. Ниже обнаружилось скопление запахов, запахи людей, прошедших здесь вчера, запахи пота и молока, тяжелый запах Мала, терзаемого болью. Лок разобрал и отринул их, потом весь сосредоточился на последнем запахе Ха. Каждый запах обретал видимые очертания и ярче, чем память, олицетворял некое живое, но затаенное присутствие, так что теперь Ха опять был жив. Сосредоточившись, он увидел Ха внутри головы и намеревался удержать его там, чтобы не забыть.

Он стоял пригнувшись и держал палицу в одной руке. Потом медленно поднял ее и сжал обеими руками. Костяшки его пальцев побелели, и он осторожно отступил на шаг. Ему почудилось что-то еще. Это было неуловимо, когда люди представлялись все вместе, но стоило разобрать и отделить их от себя, и остался запах без облика. Теперь, когда Лок его уловил, он густел у поворота. Совсем недавно кто-то стоял там, держась за скалу, подавшись вперед, рассматривая уступ и отлог. Лок чутьем понял то неизъяснимое удивление, что застыло на лице у Нил. Он двинулся вперед по утесу, сперва медленно, потом перешел на бег и мчался все дальше, легкими прыжками преодолевая каменный склон. На бегу он видел разное внутри головы, все там сливалось и стремительно мельтешило: вот Нил, растерянная, испуганная, вот другой, вот показался Ха, он спешит...

Лок повернулся и побежал назад. У обрыва, где его недавно угораздило так нелепо упасть, запах Ха вдруг прекратился, будто на утесе не хватило места.

Лок наклонился и поглядел вниз. Ему видно было, как колышутся хвостатые травы в ярком блеске реки. Он чувствовал, что горестные вопли рвутся из его горла, и зажал себе рот рукой. Травы колыхались, река катила переливчатые серебряные струи мимо темного острова. Потом Локу представилось, что Ха барахтается в воде и течение уносит его в море. Он стал принохиваться, нашел запах Ха и другого, и запахи эти вели вниз, к лесу. Он миновал кустарник, где Ха нашел ягоды для Лику, увядшие ягоды, но и теперь он жил здесь, среди кустарника. А тогда его ладонь скользнула по веткам, обрывая ягоды. Он был жив в голове у Лока, но повернул вспять, возвращался во времени к дню их весеннего прихода от моря. Лок прытко спустился по склону меж скал и нырнул в лес, под деревья. Луна, которая над рекой светила так ярко, здесь едва пробивалась сквозь гущу почек и недвижные ветки. Древесные стволы стояли сплошными громадами в темноте, но, когда Лок стал пробираться среди них, луна опутала его лучистой паутиной. Здесь был Ха, охваченный волнением. Здесь он прошел к реке. А вон там, у брошенной кучи дров, Нил терпеливо ждала, покуда не отчаялась, и следы ее ног чернели в неверном свете. Здесь она догоняла Ха,

оторопелая, встревоженная. Перепутанные следы взбирались по скалам назад, к утесу.

Лок вспомнил, что Ха был в реке. Он пустился бежать, забирая как можно ближе к берегу. Он достиг прогалины, где стояло мертвое дерево, и сбежал к воде. Кусты здесь росли прямо из воды и клонились к поверхности. Ветки подрагивали от течения, и видно было, как оно струится при свете луны, сквозящем из черноты. Лок стал звать:

– Ха! Где ты?

Река не отвечала. Лок позвал опять, подождал, увидел, что Ха стал расплываться и исчезать, после чего он понял, что Ха ушел. Потом с острова долетел крик. Лок опять закричал и запрыгал на месте. Но, прыгая, он уже чувствовал, что голос Ха не прозвучал. То был совсем иной голос; не голос одного из людей, а голос другого. Вдруг Лока охватило волнение. Было отчаянно важно увидеть этого другого, которого он чуял и слышал. Он обежал прогалину безо всякой цели, крича во все горло. Потом запах другого долетел до него от влажной земли, и он пошел по этому запаху прочь от реки к склону под боком горы. Он шел по запаху, пригнувшись, в мерцающем свете луны. Запах забирал в сторону от реки, под деревья, и привел к разбросанным скалам и кустам. Здесь могла таиться опасность: коты, или волки, или даже громадные лисы, рыжие, как сам Лок, и особенно хищные после весенней проголоди. Но след другого был прост, и его нигде даже не пересекал запах зверья. Он все удалялся от тропы, которая вела на отлог, явно предпочитая при малейшей возможности выбора дно расщелины, а не круглые скалы на ее склонах. Местами другой останавливался, порой стоял необъяснимо долго, и отпечатки его ступней были обращены вспять. В одном месте, где путь лежал по гладкой крутизне, другой вернулся назад, пройдя больше шагов, чем пальцев на руке. Он опять повернул и пустился бежать вверх по расщелине, и ноги его выворачивали комья земли или, верней, выбивали их всюду, где только ступали на тропу. Он опять остановился, выбрался из расщелины, прилег на ее краю и полежал там недолго. Внутри головы Лок увидал этого мужчину, не умственным усилием, а потому что всякий раз запах говорил ему – сделай так. Подобно тому как запах большого кота пробудил бы в нем кошачью осторожность, чтоб избежать опасной встречи, и кошачье мурлыканье; как при виде Мала, когда он рысцой подымался по склону, люди невольно передразнивали его, так теперь тот запах превратил Лока в того, кто прошел здесь раньше. Он уже начинал знать другого, сам не понимая, как это получается, что он знает. Лок-другой присел у края утеса и взгляделся в скалистый бок горы. Он ринулся в тень скалы, рыча и выжидая. Он осторожно двинулся вперед, упал на четвереньки, медленно подполз и заглянул с края утеса в долину, где текла полноводная река.

Он глядел вниз, на отлог. Над отлогом нависала скала, и он не увидел никого из людей; но из-под этой скалы пляшущий полукруг багрового света растекался по уступу, постепенно бледнея, покуда наконец не стал неотличим от лунного света. Струйка дыма подымалась кверху и уплывала по долине. Лок-другой стал боком спускаться по скале с зубца на зубец. Когда он подобрался к самому отлогу, то стал двигаться еще медленней и всем телом распластался на скале. Он прополз вперед, наклонился и заглянул вниз. Глаза его сразу же ослепил огненный язык, трепетавший над костром; теперь он опять был Лок, у себя дома, вместе с людьми, а другой ушел. Лок оставался на месте, бессмысленно разглядывая землю, и камни, и прочный, удобный уступ. Фа заговорила прямо под ним. Слова были незнакомые, и он не улавливал их смысла. Фа появилась, неся сверток, и рысцей побежала по уступу к головокружительно крутой, едва заметной тропе, которая вела к ледяным женщинам. Старуха вышла, поглядела ей вслед, потом вернулась назад под скалу. Лок услышал треск дерева, потом фонтан искр взметнулся кверху перед самым его лицом, и свет костра на уступе расширился и заплясал.

Лок попятился и медленно встал. В голове у него была пустота. Он ничего там не видел. А на уступе Фа уже миновала плоскую скалу и полосу земли и стала карабкаться вверх. Старуха вышла с отлога, сбегала вниз к реке и вернулась, неся воду в обеих пригоршнях. Она была так близко, что Лок различал капли, которые сочились у нее меж пальцев, и два костерка, как близнецы, отражались в ее глазах. Она прошла под скалой, и Лок знал, что она его не видела. Вдруг он испугался, потому что она ведь его не видела. Старуха знала так много, и все же его она не видела. Он отторгнут и перестал быть одним из людей; будто единение с другим преобразило его, он стал отличаться от них, и они не могли его видеть. Он не находил слов, чтоб выразить эти мысли, но чувствовал свое отличие и невидимость, будто студеный ветер овеивал его кожу. Другой дернул за нити, которые связывали его с Фа, и Малом, и Лику, и с остальными людьми. Эти нити были не украшением жизни, а самой ее сутью. Если б они порвались, человек умер бы сразу. Вдруг Лок ощутил мучительное, как голод, желание, чтоб чьи-то глаза встретились с его глазами и узнали его. Он повернулся, готовый побежать по зубцам и спрыгнуть на отлог; но тут он опять почуял запах Другого. Другой не был уже зловещей частью Лока, но привлекал своей незнакомостью и силой. Лок пошел по запаху вдоль зубцов, которые тянулись над уступом, пока не очутился там, где уступ обрывался у воды и путь к ледяным женщинам лежал наверху, над головой.

Скалы, беспорядочно разбросанные перед островом, вставали вперекор течению так близко от уступа, что совсем немного мужчин улеглись бы здесь в длину своего роста. Запах спускался к воде, и Лок спустился тоже. Он

стоял, тихонько вздрагивая в одиночестве, навеянном водой, и разглядывал ближнюю скалу. Он уже видел внутри головы прыжок, который преодолел пустоту, и тот, другой, достиг этой скалы, а оттуда, прыжок за прыжком над смертоносной водою, добрался до темного острова. Луна зацепилась за скалы, и они были отчетливо обозначены. На глазах у Лока одна отдаленная скала стала меняться. Небольшая выпуклость выросла у нее на боку, потом вдруг исчезла. Верхушка скалы округлилась, горб похудел снизу и опять вырос, потом укоротился наполовину. Потом пропал.

Лок стоял, предоставив видениям всплывать и рассеиваться внутри головы. Вот всплыл пещерный медведь, которого он однажды действительно увидал, когда тот вздыбился из скалы и взревел, как море. Только это Лок, в сущности, и знал про медведя, потому что, как только он взревел, люди пустились бежать и бежали потом почти целый день. А это существо, это черное, изменчивое обличье имело в себе что-то от тяжелой медвежьей медлительности. Лок прищурился и пристально поглядел на скалу, желая увидеть, изменится ли оно опять. Одинокая береза на острове возвышалась над остальными деревьями и была отчетливо видна под залитым луной небом. Она была слишком толстая у корня, удивительно толстая, даже, как увидал Лок, приглядевшись, неимоверно толстая. Клуб темноты, казалось, сгустился вокруг ствола, будто капля крови, что запеклась на конце палицы. Сгусток вытянулся, разбух, опять вытянулся. Он всползал по березе неторопливо, как вялый ленивец, он повис в воздухе высоко над островом и водопадом. Он всползал беззвучно и наконец повис в неподвижности. Лок закричал во всю глотку: но или существо было глухим, или же громогласный водопад поглотил его слова:

– Где Ха?

Существо не шевельнулось. Легкий порывистый ветерок дунул через долину, и верхушка березы колыхнулась, крона же была раскидистой, поникшей от обременявшей ее черной тяжести. Шкура Лока ошетибилась, и та тревога, что охватила его на склоне, теперь опять проснулась в нем. Он ощутил острую потребность оказаться под защитой людей, но вспомнил, что старуха его не видала, и не посмел приблизиться к отлогу. Поэтому он остался на месте, а черный ком тем временем спустился с березы и канул средь близких теней, покрывавших эту часть острова. Потом он появился опять, в измененном виде, на самой дальней скале. В смятении Лок взобрался при лунном свете высоко на склон. Прежде чем ему удалось обрести явственное видение внутри головы, он уже проворно взбирался по едва заметной тропе, где недавно прошла Фа. Остановился он лишь на высоте дерева над речной долиной и оттуда глянул вниз. Черное существо на миг мелькнуло перед глазами, сиганув со скалы на скалу. Лок вздрогнул и собрался лезть еще выше.

Этот утес не отклонялся назад, он вздымался все круче и местами был совсем отвесный. Лок добрался до чего-то похожего на расщелину, откуда вода низвергалась вниз, а потом струилась вбок и стекала в долину. Вода была до того студеная, что капля, брызнув Локу в лицо, обожгла кожу. Здесь он почуял Фа и мясо и залез в расщелину. Она вела напрямик вверх, над ней висел клочок освещенного луной неба. Скала была скользкой от воды и всячески норовила его сбросить. А запах Фа вел все вперед. Когда Лок достиг места, откуда открывалось небо, он обнаружил, что расщелина раздалась вширь и вела будто напрямик в недра горы. Он поглядел вниз. Река тонкой струйкой текла в долине, и вокруг все преобразилось. Теперь он желал Фа, как никогда прежде, и нырнул в расщелину. У него за спиной и по ту сторону долины тянулись ледяные гребни, которые слепили глаза блеском. Он услышал Фа впереди, совсем близко, и крикнул. Она проворно вернулась назад по расщелине, перепрыгивая через валуны, под которыми ревела вода. Камни хрупали у нее под ногами, и звук этот эхом отдавался от утесов, так что казалось, будто вокруг целое скопище людей. Она подошла к нему вплотную, лицо ее было искажено яростью и страхом.

– Молчи!

Лок не слышал. Он приговаривал:

– Я видел другого. Ха упал в реку. Другой приходил и разглядывал отлог.

Фа схватила его за руку. Сверток она прижимала у себя между грудей.

– Молчи! Оа даст услышать ледяным женщинам, и они обвалятся!

– Позволь мне быть с тобой!

– Ты мужчина. Там ужас. Иди назад!

– Я не хочу ничего видеть или слышать. Я пойду за тобой. Позволь.

Гул водопада упал до вздоха, зазвучал, будто рокот волн где-то далеко, но когда море бушует. Их слова улетели прочь, словно стая птиц, которая описала круг и чудом вмиг расплодилась. Утесы в глубокой расселине пели. Фа зажала себе рот ладонью, и оба они стояли недвижно, а птицы улетали все дальше и дальше, и вот уж не осталось никаких звуков, кроме шума воды у них под ногами да вздохов водопада. Фа повернулась и стала взбираться по расселине, а Лок спешил по ее стопам. Она остановилась и сделала ему сердитый знак возвращаться назад, но, когда она пошла дальше, он пошел тоже. Фа опять остановилась, потом забежала взад и вперед меж утесов, молча делая Локу свирепые гримасы и щеря зубы, но он все равно не отставал. Путь назад вел к Локу-другому, который был отчаянно одинок. Наконец Фа смирилась и больше уже не обращала на него внимания. Она кралась вверх по расщелине, и Лок крался за нею, стуча зубами от холода.

Здесь наконец не стало воды у них под ногами. Вместо этого были высокие Ледяные глыбы, которые неотторжимо пристыли к утесу; а со стороны, скрытой от солнца, под боком у каждой глыбы лежал снежный

сугроб. Лок опять почувствовал все зимние горести и ужас перед ледяными женщинами, так что жался к Фа, будто к пылающему костру. Над головой у него была узенькая полоска неба, леденяще холодного неба, сплошь усеянная звездами, и там пролетали хлопья облаков, которые взяли в плен лунный свет. Теперь Лок разглядел, что лед цепляется за бока расщелины, как вьюнок, широкий понизу и разрастающийся выше тысячью усиков и плетей, на которых беловато мерцали листья. Лед лежал у Лока под ногами, обжигая их, и они совсем застыли. Вскоре он пустил в ход и руки тоже, и они застыли не меньше, чем ноги. Крестец Фа колыхался впереди, и он неотступно шел следом. Расщелина стала шире, здесь больше света проливалось внутрь, и он увидел прямо впереди голую отвесную крутизну. Внизу, на левом склоне, лежала полоса непроглядной черноты. Фа подползла прямо к этой черноте и нырнула туда. Лок пополз следом. Он очутился в такой теснине, что мог коснуться обеих стен растопыренными локтями. Но он протиснулся.

Свет брызнул ему в глаза – он скорчился и прикрыл глаза ладонями. Моргая, глядя вниз, он увидел валуны, которые ярко сверкали, глыбы льда и густые синие тени. Он увидел ноги Фа прямо перед собой, побелевшие, усеянные льдистыми блестками, и ее тень, изменчивую на льду и камнях. Он посмотрел вперед и увидел облачка пара от их дыхания, которые висели вокруг, как пелена брызг у водопада. Он замер на месте, и Фа затуманилась в облаке собственного дыхания.

Пространство было громадное и открытое. Его сплошняком обступали скалы; и всюду ледовые вьюнки вползали кверху и распространялись вширь по скалам высоко над головой. Там, где они достигали дола святыни, они делались все толще и наконец стали могучими, как стволы вековых дубов. Их высокие плети исчезали в ледяных пещерах. Лок отступил назад и глянул на Фа, которая уже взобралась выше, к другому концу святилища. Там она присела на корточки и подняла сверток с мясом. Не было слышно ни звука, даже шум водопада будто умолк.

Фа заговорила тихо, почти шепотом. Сперва Лок еще разбирал отдельные слова, «Оа» и «Мал», но крутизна отвергла эти слова, они отскакивали назад, а Фа опять бросала их все туда же.

«Оа», – сказали круча и огромный вьюнок, и другая круча позади Лока запела: «Оа, Оа, Оа». Теперь они уже не выговаривали отдельных слов, а выпевали их единым духом. Пение подымалось, как вода во время прилива, и растекалось, как вода, и вот оно уже превратилось в звенящее «А», которое оглушало Лока. «Болен, болен», – сказала крутизна в конце святилища; «Мал», – сказали скалы позади, и весь воздух певуче наполнял безбрежный подымающийся прилив, над которым властвовала Оа. Шерсть на Локе ошетибилась. Он шевельнул губами, будто хотел сказать «Оа». Потом глянул вверх и увидел ледяных женщин. Пещеры, где исчезали плети

огромных вьюнков, были их ложеснами. Их бедра и чрева выступали из утеса в вышине. Они нависали так тесно, что небо казалось меньше, чем дол святилища. Тело сплеталось с телом, они клонились, гнулись, и заостренные их главы сверкали под луной. Лок увидал, что ложесна их подобны пещерам, голубым и наполненным ужасом. Они отделялись от поверхности скалы, и вьюнок был водою, которая сочилась меж скалой и льдом. Волна звука нахлынула им по колена.

– Аааа, – пел утес. – Аааа...

Лок лежал ничком, уткнув лицо в лед. Хотя иней поблескивал на шкуре, его прошибал пот. Он чувствовал, что падь сдвигается вбок. Фа трясла его за плечо.

– Пойдем!

В брюхе у него было такое ощущение, будто он обожрался травой и вот сейчас его вырвет. Он ничего не видел, будто ослеп, только зеленые огоньки с беспощадной неотвратимостью плыли в черной пустоте. Голос святилища вошел в его голову и теперь жил там, как голос моря живет в раковине. Губы Фа шевельнулись у него над ухом.

– Покуда они тебя не увидали.

Он вспомнил про ледяных женщин. Не отрывая глаз от земли, чтоб не увидеть жуткого света, он пополз прочь. Тело у него было безжизненное, мертвое, и он не мог заставить его повиноваться. Спотыкаясь, он покорно следовал за Фа, а потом они выбрались через расселину в крутизне, и падь перед ними повела их вниз, а там другая расселина тянулась к долине. Он побежал за Фа и стал с трудом спускаться. Вдруг он упал и покатился вниз, перекувырнулся, неуклюже запрыгал средь снега и валунов. Потом ему удалось остановиться, он был слаб, потрясен и скулил, как недавно скулила Нил. Фа подошла к нему. Она охватила его одной рукой, и он склонился, глядя вниз, на тонкую полоску воды в долине. Фа тихонько сказала ему на ухо:

– Там было слишком много Оа для мужчины. Он обернулся и уткнул голову у нее меж грудей.

– Мне стало страшно.

Оба помолчали. Но в них прочно засел холод, и тела их опять дрожали.

Уже оправясь хотя бы отчасти от ужаса, но все еще скованные холодом, они стали ощупью спускаться по склону, который становился все круче, и вот уже шум водопада взметнулся им навстречу. Теперь Лок увидал отлог внутри головы. Он стал объяснять Фа:

– Другой на острове. Он могучий прыгун. Он побывал на этой горе. Подходил к отлогу и глядел вниз.

– Где Ха?

– Упал в воду.

Она оставила позади себя облачко пара от дыхания, и из этого облачка послышался ее голос:

– Никакой мужчина не упадет в воду. Ха на острове. Потом она помолчала. Лок изо всех сил старался думать о том, как Ха прыгает через долину на остров. Но так он не видел. Фа заговорила опять:

– Другой наверняка женщина.

– У него запах мужчины.

– Тогда должна быть еще другая женщина. Может ли мужчина выйти из чрева мужчины? Наверно, была и женщина, а потом другая женщина, и еще другая. Сама собой.

Лок попытался в это вникнуть. Покуда была женщина, была и жизнь. Но что толку от мужчины, кроме как вынюхивать и видеть внутри головы? Утвердясь в своей покорности, он не испытывал желания сказать Фа о том, что видел другого, или о том, что видел старуху и при этом знал, что его самого она не видела. Вдруг все видения и даже мысль о словах ушли из его головы, потому что теперь оба добрались до того места, где тропа была почти отвесной. Молча стали они одолевать спуск, и рев воды захлестнул их, ударяя в уши. Только когда они очутились на уступе и рысцей бежали к отлогу, он вспомнил, что ушел искать Ха, а теперь возвращается без него. Будто ужас святилища все еще их преследовал, оба бежали во весь дух.

Но Мал не сделался новым человеком, как они ожидали. Он все лежал пластом, и дыхание его было таким слабым, что грудь едва подрагивала. Они видели, что лицо у него темное, оливковое и блестит от пота. Старуха поддерживала в костре жаркий огонь, и Лику отодвинулась подальше. Она опять ела печень, медленно и торжественно, не сводя при этом глаз с Мала. Обе женщины сидели на корточках по бокам от него, Нил наклонилась и своими волосами утирала пот с его лба. Казалось, на отлоге неуместно было Локу рассказывать про другого. Нил, заслышав их, подняла голову, увидела, что Ха нету, и опять склонилась над стариком, утирая ему испарину со лба. Старуха осторожно погладила его плечо.

– Будь здоровым и сильным, старик. Фа отдала за тебя приношение Оа.

Тут Лок вспомнил свой ужас, когда над ним нависли ледяные женщины. Он открыл было рот, чтоб заговорить, но Фа, которая сопереживала его видение, быстро зажала ему рот ладонью. Старуха ничего этого не заметила. Она извлекла из желудка, откуда все еще валил пар, лакомый кусок.

– Теперь сядь и ешь. Лок заговорил с Малом:

– Ха ушел. На свете есть другие люди. Нил встала, и Лок знал, что сейчас она начнет причитать, но старуха сказала, как недавно говорила ему Фа:

– Молчи!

Она и Фа бережно приподняли и усадили Мала, а он почти висел у них на руках, и голова его каталась по груди Фа. Старуха просунула кусок ему между губ, но они вяло выплюнули еду. Он говорил:

– Не разбивайте мою голову и кости. Вы найдете только слабость.

Лок оглядел женщин, разинув рот. Оттуда вырвался невольный смех. Потом он стал скороговоркой втолковывать Малу:

– Но ведь есть другой. А Ха ушел. Старуха подняла голову:

– Принеси воды.

Лок быстро сбегал к реке и принес воду в пригоршнях. Он медленно окропил лицо Мала. Новый человечек выбрался на плечо Нил, зевнул, переполз ей на грудь и стал сосать. Люди видели, что Мал опять силится заговорить.

– Положите меня на теплую землю у костра.

Средь шума водопада наступило мертвое молчание. Даже Лику перестала есть и стояла, глаза. Женщины не пошевельнулись, но не сводили глаз с лица Мала. Молчание переполнило Лока, излилось водой, которая вдруг навернулась ему на глаза. Потом Фа и старуха бережно уложили Мала на бок. Они подтянули его шишковатые, костлявые колени к груди, подогнули ноги, приподняли голову с земли и подсунули под нее его сложенные ладони. Мал лежал у самого костра, и глаза его глядели прямо в огонь. Волосы у него на голове стали потрескивать, но он, казалось, даже не замечал этого. Старуха взяла щепку и очертила на земле круг подле его тела. Потом они приподняли его, лежавшего на боку, в таком же торжественном безмолвии.

Старуха выбрала плоский камень и дала Локу.

– Копай!

Луна перекатилась на закатную сторону долины, но свет ее был едва заметен на земле, затмеваемый багровым заревом костра. Лику опять стала есть. Она прокралась позади взрослых и села, привалясь спиной к утесу в глубине отлога. Земля была твердая, и Локу пришлось навалиться на камень всем весом своего тела, только тогда ему удалось ее взрыхлить. Старуха дала ему острый обломок кости из туши козы, и тогда он почувствовал, что может совладать с верхним слоем. Слой этот снялся целым пластом, зато ниже земля уже сама крошилась у него под руками, и он мог выгребать ее камнем. Так он и делал, а луна меж тем плыла по небу. Он увидел внутри головы Мала, когда тот был куда моложе и сильнее и делал то же самое, что теперь он сам, только по другую сторону кострища. Глина в кострище образовала взгорбленный круг подле неровной ямы, которую он уже выкопал. Вскоре он докопался до другого, нижнего кострища, потом еще до другого. Там был небольшой бугор из обожженной глины. Чем дальше вниз, тем тоньше становились глиняные слои, и вот, когда яма достигла уже немалой глубины, слои оказались твердыми, как камень, и не толще бересты. Новый человечек

перестал сосать, зевнул и сполз на землю. Он ухватился за ногу Мала, выпрямился, подался вперед и смышлено, не мигая, разглядывал костер. Потом отступил назад, быстро проскользнул позади Мала и заглянул в яму. Он потерял равновесие, упал и с жалобным писком выкарабкался по мягкой земле между рук Лока. Он вылез, пятась, поспешно улизнул опять к Нил и прилег у нее на коленях.

Лок сел, откинувшись назад и тяжело дыша. По шкуре его ручьями катился пот. Старуха коснулась его локтя.

– Копай! Теперь есть только Лок!

В изнеможении он опять склонился над ямой. Он извлек оттуда какую-то древнюю кость и зашвырнул далеко, в лунный свет. Потом опять налег на камень и вдруг повалился ничком.

– Не могу.

Тогда, хоть прежде такого еще не бывало, женщины сами схватили камни и стали копать. Лику молча глазела на них и на углубляющуюся яму. Мал начал дрожать. По мере того, как они копали, глиняные слои от кострищ все суживались. Последний слой коренился далеко внизу, в давно позабытых глубинных недрах отлога. После каждого глиняного слоя копать становилось все легче. Теперь уже трудно было поддерживать ровность боковин. Им попадались кости, иссохшие, утратившие запах, кости, так давно разлученные с жизнью, что они не имели никакого смысла, и люди отбрасывали их прочь, берцовые кости, ребра, раздробленные и разможенные кости черепов. Попадались и камни, иные с острыми краями, пригодные, чтоб резать, или же с острыми концами, чтоб сверлить, такими камнями люди пользовались при нужде, но не хранили их. Выкопанная земля вырастала в остроконечный холм. Лику лениво играла обломками черепа. Тут к Локу опять вернулись силы, и он тоже стал копать, так что теперь яма углублялась гораздо быстрее. Старуха опять подкинула дров в костер, а над огненными языками уже серело утро.

Наконец яма была готова. Женщины опять окропили водой лицо Мала. Теперь от него оставались и впрямь только кожа да кости. Рот его был широко разинут, будто он хотел укусить воздух, который уже не мог вдохнуть. Люди встали перед ним на колени, образовав полукруг. Старуха глазами призвала всех ко вниманию.

– Когда Мал был сильным, он находил много еды. Лику сидела на корточках, привалясь к утесу в глубине отлога и прижимая малую Оа к груди. Новый человечек спал под гривой у Нил. Пальцы Мала бессмысленно шевелились, он то разевал, то закрывал рот. Фа и старуха приподняли его туловище и поддерживали голову. Старуха тихонько сказала ему на ухо:

– Оа дает тепло. Спи.

Движения его тела стали судорожными. Голова скатилась по груди старухи вбок и осталась там.

Нил запричитала. Звук этот разнесся по всему отлогу, затрепетал, улетел через воду к острову. Старуха уложила Мала на бок и подтянула колени старика к его груди. Она и Фа подхватили его и опустили в яму. Старуха подсунула его ладони ему под щеку и позаботилась, чтоб ноги оказались ниже, чем голова. Потом она встала, и люди не увидели на ее непроницаемом лице никакого выражения. Она отошла к плоской скале и выбрала мясистую ляжку. Опусться на колени, она положила мясо подле самого его лица.

– Съешь, Мал, когда к тебе придет голод.

Глазами она велела людям следовать за собой. Они спустились к реке, оставив Лику с малой Оа. Старуха зачерпнула пригоршнями воды, и остальные сделали то же. Она вернулась и выплеснула воду на лицо Мала.

– Выпей, когда к тебе придет жажда. Один за другим люди окропляли водой серое, мертвое лицо. И каждый повторял те же слова. Лок оказался последним, и, когда вода пролилась, он почувствовал к Малу глубокую нежность. Он вернулся и принес второй дар.

– Выпей, Мал, когда к тебе придет жажда.

Старуха нагорстила земли и бросила Малу на голову. Последней подошла Лику, сильно робея, и тоже сделала так, как старуха велела ей глазами. Потом она вернулась к утесу. По знаку старухи Лок стал сметать землю с остроконечного холма в яму. Земля обрушивалась с легким шурушанием и вскоре скрыла под собой Мала. Лок примял землю руками и ногами. Старуха бесстрастно глядела, как тело постепенно теряет свои очертания и исчезает из глаз. Земля подымалась все выше и заполняла яму, подымалась до тех пор, куда там, где только что был Мал, не вырос на отлоге низенький бугорок. Небольшой излишек земли все же остался. Лок смахнул его прочь, потом утоптал бугор как мог плотнее.

Старуха села на корточки подле свежепримятой земли и подождала, куда глаза всех людей не обратились на нее.

Тогда она заговорила:

– Оа приняла Мала в свое чрево.

ПцТЬ

После долгого молчания люди поели. Они стали чувствовать, что усталость обволакивает их, как туман. На отлоге не хватало Ха, не было Мала. Правда, костер еще горел, и еда была лакомой, но людей одолело изнеможение. Один за другим они сжимались в комок меж костром и утесом

и погружались в сон. Старуха сходила ко впадине и принесла дров. Она кормила огонь до тех пор, покуда он не взревел, как водопад. Потом она собрала остатки еды и спрятала их во впадинах, подальше от всякой напасти. Наконец она присела у бугра, где еще так недавно был Мал, и стала глядеть через воду.

Люди нечасто видели сны, но теперь, когда над ними, яснея, растекался рассвет, их осаждало целое сонмище призраков, пришедших откуда-то издалека. Старуха краем глаза видела, как они запутались, встревожились, терзаются болью. Нил разговаривала. Левая рука Лока нагребла пригоршню грязи. Невнятные слова, нечленораздельные возгласы удовольствия или страха то и дело вырывались у всех. Старуха не шевелилась, она все время видела что-то свое внутри головы. Загомонили птицы, воробьи слетели на уступ и стали клевать. Лок вдруг резко выбросил руку и ткнул старуху в бедро.

Когда поверхность воды уже начала поблескивать, старуха встала и принесла дров из впадины. Огонь приветственно встретил дрова громким треском. Старуха стояла рядом, потупив глаза.

– Теперь все совсем как тогда, когда огонь убежал и сожрал все деревья в лесу.

Рука Лока оказалась слишком близко к костру. Старуха нагнулась и положила ее опять ему на лицо. Он перекатился на бок и вскрикнул.

Лок бежал. Запах другого преследовал его, и он не мог убежать. Стояла ночь, а у запаха были когтистые лапы и зубы, как у большого кота. Лок был на острове, где никогда не бывал. Водопад ревел по обе стороны от него. Он бежал по берегу, зная, что сейчас рухнет от изнеможения и окажется в лапах у другого. Он упал, и борьба длилась целую вечность. Но нити, которые связывали его с людьми, еще не лопнули. Напрягаясь от отчаянной нужды Лока, они появлялись, шли, проворно бежали через воду, неотвратно влекомые неизбежностью. Другой ушел, а все люди были вокруг Лока. Он не мог видеть их ясно из-за темноты, но знал, кто они. Они подступали все ближе и ближе, не так, как обычно приходили на отлог, обретая там свой дом, где были свободны от всего мира; они спешили, покуда не сливались с Локом воедино, плоть с плотью. Они соперничали эту общую плоть, как обычно соперничали видения. Лок был спасен.

Проснулась Лику. Малая Оа во время сна упала у нее с плеча, теперь Лику ее подобрала. Она зевнула, увидела старуху и сказала, что хочет есть. Старуха сходила ко впадине и принесла остаток печени. Новый человечек играл гривой Нил. Он дергал за пряди, раскачивался на них, а она уже не спала и опять скулила. Фа села, выпрямилась, Лок опять перекатился на бок и чуть не угодил в костер. Он с урчанием отскочил в сторону. Увидел остальных и стал глупо втолковывать:

– Я спал.

Люди спустились к воде, напились и облегчились. Когда они пришли назад, на отлоге возникло ощущение, что очень многое нужно сказать, и они оставили незанятыми оба опустевших места, будто когда-нибудь, в один счастливый день, те, которые там обычно сидели, опять вернуться. Нил кормила грудью нового человечка и пятерней расчесывала гриву.

Старуха отвернулась от костра и заговорила с людьми:

– Теперь есть только Лок.

Он поглядел на нее с недоумением. Фа наклонила голову. Старуха подошла к нему, крепко взяла за руку и повела в сторону. Там было место, где обычно сидел Мал. Она усадила Лока, заставила опереться спиной об утес, так что зад его уместился в гладкой ямке в земле, выдавленной Малом. Для Лока это было так непривычно, что он взволновался. Он глянул вбок, на воду, потом опять на людей и засмеялся. Повсюду кругом были глаза, и все ждали его решения. Он шел впереди, а не в хвосте, и все, что он видел внутри головы, было наверняка правильным. Горячая кровь хлынула ему в лицо, и он закрыл глаза руками. Сквозь растопыренные пальцы он поглядел на женщин, на Лику, потом вниз, на земляной холмик, под которым схоронили Мала. Он испытывал нестерпимое желание поговорить с Малом, молча обождать, чтоб услышать его слово о том, как же теперь быть. Но из-под холмика не донесся голос, никто не помог увидеть хоть что-нибудь внутри головы. Он ухватился за первое, что ему представилось.

– Мне снилось так. Другой гнался за мною. А потом мы с ним были вместе.

Нил приподняла нового человечка над своей грудью.

– А мне снилось так. Ха лежал со мной и с Фа. Лок лежал с Фа и со мной.

Она заскулила. Старуха движением руки заставила ее вздрогнуть и замолчать.

– Мужчина видит внутри головы. Женщина знает Оа. Ха и Мал ушли. Теперь есть только Лок.

Голос Лока прозвучал пискляво, как у Лику:

– Сегодня мы пойдем искать еду.

Старуха хранила безжалостное молчание. Во впадинах утеса еще была еда, хотя ее оставалось не так уж много. Зачем же людям искать еду, когда они не чувствуют голода, а оставшейся еды покуда хватит?

Фа подползла на карачках. Когда она заговорила, смущение отчасти улетучилось из головы Лока. Он даже не слушал Фа.

– Я вижу так. Другой ищет еду, и люди ищут тоже.. Она отважно поглядела старухе прямо в глаза.

– Значит, люди хотят есть. Нил почесала спину об утес.

– Ты видишь плохо. Старуха прикрикнула на них:

– Теперь только Лок!

И Лок вспомнил. Он опустил руки и уже не прикрывал лицо.

– Я видел другого. Он на острове. Он скачет со скалы на скалу. Залезает на высокие деревья. Он темный. И меняет свой вид, как пещерный медведь.

Люди поглядели на остров. А он теперь был весь залит солнечным светом и подернут дымкою зеленой листвы. Лок велел всем слушать.

– И я шел по его запаху. Он был вон там... – Лок указал на скат над отлогом, и все люди глянули вверх. – Там он стоял и глядел на нас. Он похож на большого кота, но это не кот. А еще он похож, похож...

На время Лок вовсе перестал видеть внутри головы. Он поскреб под нижней губой. Так много надо было сказать. Так хотелось ему спросить Мала, что значит, когда одно видение сливается с другим и в конце концов последнее вытекает из первого.

– Может, Ха не в реке. Может, он на острове вместе с другим. Ведь Ха был могучий прыгун.

Люди оглядели уступ вплоть до того места, где разбросанные скалы подступали от острова к берегу. Нил оторвала нового человечка от груди и пустила его ползать по земле. Вода обильно струилась из ее глаз.

– Это ты увидал хорошо.

– Я поговорю с другим. Как может он все время быть на острове? Я опять поищу запах.

Но Фа уже шлепала его ладонью по губам.

– А может, он вышел из острова. Как из чрева женщины. Или из водопада.

– Так я не вижу.

Только теперь Лок понял, как легко говорить слова другим, когда тебя внимательно слушают. Тут уж слова могут даже не иметь облика.

– Фа пускай ищет запах, а Нил, Лику и новый... Старуха его не перебила. Вместо этого она схватила большую ветку и швырнула в огонь. Лок с криком вскочил на ноги и сразу смолк. Вместо него заговорила старуха:

– Лок не захочет, чтоб Лику ушла. Ведь больше нету мужчины. Пойдут Фа и Лок. Так говорит людям Лок. Он поглядел на нее с изумлением, и глаза ее ничего ему не сказали. Он затряс головой.

– Да, – сказал он. – Да.

Фа и Лок вдвоем побежали к краю уступа.

– Не говори старухе, что ты видел ледяных женщин.

– Когда я спустился с горы по следу другого, старуха меня не видела.

Он вспомнил старухино лицо.

– Кто может сказать, что она видит, а чего не видит?

– Не говори ей.

Он попробовал объяснить:

– Я видел другого. Он и я, мы переползли через бок горы и незаметно подкрались к людям.

Фа остановилась, и оба глядели в пустоту меж ближайшей к берегу скалой и уступом. Она указала пальцем:

– Даже Ха разве мог бы перепрыгнуть это? Лок поразмыслил над пустотой. Стесненные там воды бурлили, и вниз по реке устремлялся переливчатый полосатый хвост. Зеленую поверхность баламутили горбатые водовороты. Лок стал выразительно изображать все, что видел внутри головы.

– При запахе другого сам я стал он, другой. Я крадусь, как большой кот. Я испуганный и жадный. Я сильный. – Он перестал изображать и проворно обогнал Фа, потом повернулся и поглядел ей прямо в лицо. – А теперь я стал Ха и другой. Я сильный.

– Так я не вижу.

– Другой на острове.

Он растопырил руки как мог шире. Захлопал ими, как крыльями. Фа ухмыльнулась, потом захохотала. Лок тоже захохотал, все веселей и веселей, ожидая, что его похвалят. Он обежал уступ, крикая, как утка, и Фа засмеялась над ним. Он хотел уже было побежать, хлопая руками, как крыльями, назад, на отлог, чтоб люди тоже оценили его шутку, но вдруг вспомнил. Он осадил себя и остановился.

– Теперь есть только Лок.

– Найди другого, Лок, и поговори с ним.

Теперь он вспомнил про запах. И стал обнюхивать землю. Дождь с тех пор еще не выпадал, и запах, хоть и очень слабый, остался. Лок вспомнил про смесь запахов на утесе над водопадом.

– Пойдем.

Они побежали назад по уступу, минуя отлог. Лику окликнула их и высоко подняла малую Оа. Лок крадучись обогнул поворот и спиной ощутил теплое прикосновение тела Фа.

– Бревно убило Мала.

Лок повернулся к ней и удивленно повел ушами.

– Я про то бревно, которого не было. Это оно убило Мала.

Он разинул рот, готовый заболботать, но она потребовала:

– Идем.

Оба не могли сразу же не заметить признаков другого. Его дым подымался с середины острова. Много деревьев росло на острове, и некоторые из них клонились так низко, что окунали ветки в воду, и за ними люди не видели берега. Меж деревьев густился кустарник, такой

девственный и дремучий, что он покрывал землю сплошь своей буйной листвой. Дым подымался густым облаком, которое расплывалось и исчезало. Здесь не оставалось сомнения. Другой имел свой костер и, должно быть, кидал в него такие толстые и сырые бревна, какие всем людям были бы невподъем. Фа и Лок разглядывали этот дым, ровно ничего не видя внутри головы, а потому и не соперживая. На острове был дым, на острове был другой человек. Во всей своей жизни они не могли найти этому объяснения.

Наконец Фа отвернулась, и Лок увидел, что она дрожит.

– Почему?

– Мне страшно.

Он поразмыслил над этим.

– Я пойду вниз к лесу. Так ближе всего до этого дыма.

– Но я не хочу идти.

– Возвращайся на отлог. Теперь только Лок остался. Фа опять глянула на остров. Потом, совершенно неожиданно, протиснулась за поворот и скрылась из виду.

Лок ринулся вниз с утеса, видя внутри головы, как продвигались люди, и вскоре добрался до опушки леса. Здесь реку можно было увидеть лишь мельком, потому что кустарник не только нависал повсюду, где прежде был берег, но и воды прибывало, так что многие кусты стояли прямо в пене. По низинам струями сочилась вода, затопившая травы. Деревья же росли на возвышенности, и там ноги Лока оставили отпечатки, выражавшие разом его ужас перед водой и желание поскорей увидеть нового мужчину или же всех новых людей. Чем ближе подходил он к месту на берегу, которое было прямо напротив дыма, тем сильнее становилось его волнение. Теперь он даже дерзнул ступить в воду, она была ему по щиколотки, и он вздрагивая преодолевал ее скачками. Когда он обнаруживал, что не видит реку или не может подойти близко к берегу, он скрежетал зубами, брал правее и шел в обход. Под водой таилась трясина, и в ней засели бледные остроконечные луковки. При обычных условиях его ноги сразу же ухватили бы их и подали ему, но теперь эти луковки были только мгновенным твердым прикосновением к его дрожащим ступням. Меж ним и рекой были целые кущи с зеленым роем молодых почек. Теперь он доверял свою тяжесть пучкам веток, которые росли почти вплотную друг к другу и выгибались под ним, так что он в ужасе едва не падал с ног. Собственно, и не было сил у сочных веток, чтоб вынести такое бремя, и он, как орел с распростертыми крыльями, висел среди почек и терний. Потом он увидел под собой воду, не какую-нибудь пригоршню ее поверх бурой земли, но глубокую воду, куда прятались, теряясь из виду, комли кустов. Раскачиваясь, он спускался, и кусты стали ускользать от его хватки; мельком он увидел на уровне глаз сверкающую поверхность, вскрикнул и в мучительном броске выкарабкался

на безопасную, хоть и омерзительную, тряси́ну. Здесь никто из людей не мог бы пробраться к реке, это удавалось лишь хлопотливым болотным куро́паткам. Он бросился бежать прочь, к низовьям реки, забирая к лесу, где земля была тверже, и выбрался на прогалину, где стояло мертвое дерево. Потом спустился на невысокий земляной бугор, под которым бурлила глубокая вода. Но по ту сторону воды из таинственной чащобы деревьев и кустов все еще подымался дым. Лок увидел внутри головы, как другой залезает на березу и глядит через реку. Он побежал по тропе, где еще слабо витал запах людей, покуда не очутился у болотины, но и новое бревно, недавно перекинутое через нее, тоже ушло. А то дерево, на котором он качал Лику, оставалось на прежнем месте, за болотиной. Лок огляделся и выбрал бук, такой огромный, что можно было подумать, будто облака и впрямь цепляются за его верхушку. Он ухватил ветку и проворно взобрался по ней наверх. Там была развилина, и в ней после дождя скопилась вода. Он взобрался по той стороне, которая была толще, ловко цепляясь руками и ногами, покуда не почувствовал предостерегающее качание самого дерева, которое гнулось под ветром и его тяжестью. Здесь почки еще не лопнули, и в их тысячекратно повторенной зелени была какая-то влажная смутность, будто слезы застилали глаза, и от этого Лок почувствовал досаду. Он полез еще выше, покуда не добрался до самой верхушки, а там стал гнуть и выкручивать ветки, которые мешали ему увидеть остров. И вот он уже глядел через просвет, который каждый миг изменялся, потому что рой почек все время то снижался, то отлетал прочь. Через просвет была видна часть острова.

На острове повсюду тоже роились почки, они парили, как облака прозрачного зеленого дыма. И парили они по всему берегу, а большие деревья поодаль, в глубине, были похожи на клубы, которые отвесно подымались вверх и потом рассеивались. Всю эту зелень оттеняли черные стволы и сучья, земли же не было видно. Но у истока настоящего дыма, там, где пылал костер, светился огненный глаз, он моргал и подмигивал Локу сквозь колыхание веток. Пристально вглядываясь в этот огонь, Лок наконец увидел подле него и землю, она была бурая и тверже, чем на этом берегу реки. Там наверняка пряталось множество луковиц, и валялись осыпавшиеся орехи, и вылуплялись личинки, и тучнели грибы. Без сомнения, тот, другой, имел вволю лакомой еды.

Вдруг огонь коротко моргнул. И Лок моргнул тоже. Огонь моргал не оттого, что колыхались ветки, а оттого, что кто-то двигался перед ним, заслоня свет, кто-то такой же темный, как эти самые ветки.

Лок сотряс верхушку бука.

– Э-ей, челове́че!

Огонь моргнул два раза. И вдруг Лок понял по этим передвижениям, что там не один человек. Жгучее волнение, которое прежде вызывал запах, опять овладело им. Он так сильно сотряс верхушку, будто хотел ее обломить.

– Э-ей, новые люди!

Лок вдруг ощутил в себе огромный прилив сил. Казалось, он мог бы перелететь через невидимую отсюда воду, которая их разделяла. Он дерзнул повиснуть на тонких ветках у самой верхушки бука, потом крикнул как мог громче:

– Новые люди! Новые люди!

И вдруг он окаменел на качающихся ветках. Новые люди услышали его зов. По морганию огня и колыханию густых кустов он понял, что сейчас они покажутся ему на глаза. Огонь моргнул опять, но тропа, которая образовалась среди зеленого дыма, стала виться и сбегать к реке. Лок услышал треск веток. Он высунулся.

А потом больше ничего не было. Зеленый дым то застывал, то колыхался под ветром. Огонь моргал.

Лок замер так неподвижно, что стал слышен шум водопада, могучий, безумолчный. Волевым усилием, которое привязывало его мысли к новым людям, начало ослабевать. Теперь он уже видел совсем другое внутри головы.

– Новые люди! Где Ха?

Зеленая струя понизу у воды дрогнула. Лок пристально глядел. Потом он по крепким сучьям опустился ниже развилины и сморщил кожу вокруг глазниц. По ту сторону на ветке показалась рука или, верней, плечо, оно было темное и волосатое. Зеленая струя опять дрогнула, а темная рука исчезла. Лок сморгнул воду с глаз. Внутри головы он опять увидел Ха на острове, Ха и медведя, Ха в опасности.

– Ха! Где ты?

Кусты на том берегу колыхнулись и наклонились. Среди них проступили признаки движения, что-то быстро двигалось вглубь от берега меж деревьев. Огонь опять моргнул. Потом огненные языки исчезли и большое облако белого дыма исторглось сквозь зелень, истошилось, истаяло снизу, побелело еще больше и медленно воспарило, выворачиваясь наизнанку. Лок неловко подался вбок, чтоб оглядеть деревья и кусты. Им завладело ощущение, что надо спешить. Он стал перескакивать с ветки на ветку, раскачивая их и спускаясь все ниже, покуда не увидел ближайшее дерево в стороне реки. Он перескочил туда, на толстый сук, утвердился на нем и ловко, как рыжая белка, запрыгал с дерева на дерево. Потом взбежал по стволу, раздвинул ветки и устремил глаза вниз.

Рев водопада теперь стал глуше, и Лок видел сонмища брызг. Они витали над верхней оконечностью острова, застилая деревья. Он скользнул глазами

от них вниз по острову, где только что колыхнулись кусты и моргнул огонь. Там он увидел, хоть и смутно, прогалину меж деревьев. Струйка дыма все еще вилась над мертвым уже костром, медленно рассеиваясь. Людей видно не было, но Лок разглядел место, где кусты были сломаны и полоса взрытой земли вела от берега к прогалине. В дальнем конце ее валялись древесные стволы, огромные, мертвые и трухлявые, источенные годами. Он оглядел эти бревна и разинул рот, а свободной рукою надавил себе на макушку. Зачем люди натаскали всю эту еду – он ясно видел за рекой бледные грибы – и вместе с ней такие негодные дрова? Эти люди ничего не видели внутри головы. Потом он углядел на земле грязное пятно там, где недавно горел костер, и такие же огромные бревна, которые в него подбрасывали. Вопреки всякому ожиданию его вдруг захлестнул страх, такой же беспредельный и беспричинный, какой обуял Мала, когда тот увидел во сне, как огонь пожирает лес. И коль скоро Лок был один из людей, связанный с ними тысячью незримых нитей, страх этот был за людей. Он затрепетал. Губы раздвинулись, он ощерил зубы, глаза видели плохо. Он услышал собственный крик сквозь оглушительный шум воды:

– Ха! Где ты? Где ты?

Кто-то толстоногий неуклюже перебежал прогалину и скрылся. Огонь по-прежнему был мертв, кусты шевелились под легким ветерком, который тянул к реке, а потом замерли недвижимо.

Отчаянно:

– Где ты?

Уши Лока сказали Локу:

– ?

Он был так поглощен разглядыванием острова, что на время перестал обращать внимание на свои уши. Он прильнул к верхушке дерева, которая слегка покачивалась, а водопад рычал на него, и свободное пространство на острове пустовало. Потом он услышал. Приближались люди, не по ту сторону воды, а по эту и еще очень далеко. Они спускались с отлога, смело ступая по камням. Он услышал, как они забавно разговаривают меж собой. При этих звуках он увидел внутри головы сплетающиеся очертания, тощие и замысловатые, болтливые и глупые, не как протяжный, поникающий крик сокола, а перепутанные, как нитевидная трава на морском берегу после сильного шторма, взбаламученные, как болотная вода. Этот звук-смех пролетел меж деревьев к реке. Точно такой же звук-смех раздался на острове, и вот он стал летать взад и вперед через воду. Лок едва не упал, слезая с дерева, и выскочил на тропу. Потом побежал по ней, чужая давний людской

запах. Звук – смех раздался совсем рядом, на берегу реки. Лок добежал до того места, где еще недавно лежало бревно, перекинутое через болотину. Чтоб опять попасть на тропу, Локу пришлось взобраться до верхушки дерева, раскатыться там и прыгнуть. Потом сквозь звук-смех по эту сторону реки завизжала Лику. В визге ее не было злобы, или страха, или боли, в нем был тот невольный и беспредельный ужас, который она выказала бы, увидев, что к ней медленно подползает змея. Лок рванулся вперед, шкура на нем ошетибилась. Настоятельная необходимость спешить на этот визг мигом сошвырнула его с тропы, и он заплутался. Визг разрывал на части все его внутренности. Этот визг не походил на визг Фа, когда она рожала ребенка, который потом умер, или на причитания Нил, когда схоронили Мала; такой звук издает кобылица, когда саблезубый кот вонзает ей в шею свои кривые клыки, повисает на ней и высасывает кровь. Теперь Лок сам визжал, даже не подозревая об этом, и ломился через колючие кусты. Все его чувства говорили ему сквозь этот визг, что Лику делает такое, чего не мог бы сделать ни один мужчина или женщина. Она переходит реку.

Лок все еще ломился сквозь кусты, когда визг вдруг смолк. Теперь он опять услышал звук-смех, а также писк нового человечка. Он прорвался через кустарник и очутился на прогалине подле мертвого дерева. На земле вокруг ствола витал мерзкий запах другого, и Лику, и страха. По ту сторону много людей ныряли, и плескались, и с шумом рассекали зеленые воды. Вдруг Лок увидал рыжую голову Лику и нового человечка на смуглом, волосатом плече. Он подскочил и крикнул:

– Лику! Лику!

Зеленые струи понизу у воды слились воедино, и люди на острове исчезли из глаз. Лок забегал по берегу реки под мертвым деревом с гнездилищем из вьюнка. Он был так близко к воде, что комья земли, которые он выбивал ногами, с плеском падали в стремительный поток.

– Лику! Лику!

Кусты опять всколыхнулись. Лок прильнул к дереву и пристально глядывался. Перед ним были голова и грудь, видные только наполовину. За листьями и волосами проступали какие-то костяные пластины. Эти белые пластины были у человека над глазами и ниже рта, так что лицо его выглядело необычно длинным. Мужчина повернулся вбок, к кустам, и поглядел на Лока через плечо. Впереди него встала торчком какая-то палка, а посередине белела острая косточка. Лок гляделся в эту палку, и в косточку, и в маленькие глазки, которые смотрели сквозь пластины на лице. И вдруг он понял, что мужчина хочет подарить ему свою палку, но ни он, ни Лок не могут дотянуться друг до друга через широкую реку. Он засмеялся бы весело и беспечно, если б не отголоски визга у него в голове. Палка стала

укорачиваться с обоих концов. Потом опять вся распрямилась. Мертвое дерево над ухом у Лока вдруг обрело голос:

– Цок!

Лок наострил уши и повернулся к дереву. У самого его лица неожиданно вырос новый сук: сук этот источал запах другого, и гуся, и горьких ягод, которые, как говорило Локу его брюхо, не годятся в пищу. На конце сука была острая белая косточка. Косточка эта имела зазубрины, и в бороздках меж ними повисло что-то бурое и липкое. Нос Лока обследовал эту липкость, и она ему не понравилась. Он обнюхал самый сук. Вместо листьев на суку росли рыжие перья, которые и напомнили про гуся. Лок растерялся, испытывая смутное удивление и волнуясь. Он крикнул зеленым потокам за поблескивающей водой и услышал ответный крик Лику, но не мог разобрать слов, и к тому же крик вдруг оборвался, будто кто-то зажал ей рот. Он подбежал вплотную к воде, потом вернулся. По обе стороны безлесного берега в воде густо росли кусты; они отходили так далеко, что у крайних из них листья окунались в реку; и эти кусты склонились долу.

Отзвуки голоса Лику в голове заставили Лока содрогнуться, и он начал свой опасный путь через кусты на остров. Он ринулся туда, где обычно кусты коренились на твердой почве, а теперь была вода. Лок устремился вперед, цепко хватаясь за ветки пальцами рук и ног. Он крикнул:

– Я иду!

То низко пригибаясь, то ползком, все время щеря зубы от страха, перебирался он через реку. Впереди всюду была влага, таинственная и насквозь пронизанная темными, низко склоненными стволами. Не было такого места, которое могло бы сразу выдержать его вес. Ему приходилось распределять этот вес по всем четырем конечностям и всегда заботиться, чтоб было сразу хотя бы две точки опоры, беспрестанно двигаясь, двигаясь все вперед, перехватывая выгибающиеся ветки. Вода под ним потемнела. Под каждой веткой поверхность ее была подернута рябью, водоросли застряли и трепыхались под напором течения, мельтешащие блики солнца дрожали понизу и поверху. Лок добрался до последних высоких кустов, которые до половины утонули в воде и нависали над самым руслом реки. Мельком он увидел полосу воды и кусок острова. Увидел и тучу брызг над водопадом, и скалистый утес. Потом, поскольку теперь он уже не двигался, ветки под ним стали гнуться. Они клонились в стороны и книзу, так что он перевернулся вверх тормашками. Он окунулся с головой, заболботал, вода нахлынула, и перед ним явился Лок-облик. Вокруг Лока-облика струилась вода, но все же он разглядел зубы. Ниже зубов колыхались взад и вперед хвостатые травы, каждая выше, чем рост мужчины. Но все остальное под зубами и рябью было далеким и темным. Ветерок пробежал над рекой, и кусты слегка склонились вбок. Руки и ноги Лока сами собой судорожно

сжались, и каждый мускул тела напрягся. Он перестал думать о прежних людях и о новых людях. Он ощущал только себя, Лока, который висит вверх тормашками над глубокой водой, вцепившись в спасительный сук.

Никогда еще Локу не доводилось бывать так близко к середине реки. Поверх была накинута тонкая чешуя, а под чешуей темные пятнышки всплывали к поверхности, непрестанно переворачиваясь, расходясь кругами или же опять погружаясь и исчезая в глубине. Там, внизу, были камни, которые отливали зеленью и мельтешили в воде. Хвостатые травы то заслоняли, то обнажали их. Ветерок улегся; кусты мерно клонились и выпрямлялись, как и хвостатые травы, так что сверкающая чешуя то близилась, то отодвигалась от лица. Он уже ничего больше не видел внутри головы. Даже страх стал приглушенным, как и муки голода. Руки и ноги неуклонно цеплялись за пучки веток, а зубы щерились в воде.

Хвостатые травы все укорачивались. Зеленые их хвостики сносило вниз по реке. А там темнота бесследно их проглатывала. Темнота обрела причудливые очертания, двигаясь медленно, будто во сне. Как и темные пятна, она тоже переворачивалась, но не без смысла. Она почти касалась корней хвостатых трав, пригибала их хвосты, переворачивалась, перекачивала хвосты в сторону Лока. Руки пошевеливались, а глаза поблескивали так же тускло, как камни. Они перекачивались вместе с телом, глядя то на поверхность, то в глубину, на невидимое отсюда дно, и в них не было ни малейшего признака жизни или смысла. Ком спуганных водорослей, проплывая мимо, задел лицо, и глаза даже не моргнули. Тело повернулось так же плавно и тяжеловесно, как текла сама река, и вот уже перед Локом оказалась спина, вставшая торчком вдоль хвостатых трав. Потом голова повернулась к нему все так же медленно, будто во сне, всплыла в воде, приблизилась к его лицу.

Лок всегда испытывал перед старухой благоговейный страх, хоть она и была его матерью. Слишком близко жила она к великой Оа, в сердце и в голове, чтоб мужчина мог глядеть на нее без трепета. Она знала так много, она жила на свете так долго, ощущала многое такое, о чем он мог лишь смутно догадываться, словом, она была женщина. Хотя она охватывала их всех своим пониманием и сочувствием, порой отчужденная невозмутимость ощущалась в ее поступках, внушая ему покорность и изумление. Поэтому-то они ее любили и боялись, отнюдь не страшась, и всегда чувствовали неодолимую потребность потупить перед нею глаза. Но теперь Лок глядел ей прямо в лицо, пристально, глаза в глаза. Она не обращала ни малейшего внимания на свое израненное тело, рот ее был разинут, язык вывалился, а темные пятна, медленно кружась, всплывали и наплывали, будто это были всего только впадины в камне. Глаза ее скользнули по кустам, по лицу Лока, глянули сквозь него, дрогнули и исчезли.

ШЕСТЬ

Ноги Лока уже не цеплялись за ветки кустов. Они соскользнули книзу, и теперь он висел на руках, по грудь в воде. Он подобрал колени, и шерсть на нем оцетинилась. Он не в силах был даже кричать. Ужас его перед водой был только внутренней подоплекой. Он круто поворотился, сгреб в обе горсти еще веток и, барахтаясь в воде, побрел напролом через кустарник и реку к берегу. Там он остановился, спиной к воде, и задрожал такой же дрожью, как Мал перед смертью. Зубы его ощерились, руки были воздеты и напряжены, будто он все еще висел над водой. Он поднял глаза, а голова его поворачивалась из стороны в сторону. Позади опять раздалась знакомые уже звуки-смехи. Мало-помалу они отвлекли внимание Лока, хотя напряженность всех мышц тела и оскал зубов остались. Звуков-смехов было теперь такое множество, будто новые люди и впрямь все походили с ума, и один из этих звуков раздавался громче остальных, это был голос мужчины, и он кричал. Остальные голоса умолкли, а мужчина все продолжал кричать. Какая-то женщина засмеялась пронзительным и истошным смехом. Потом наступило молчание.

Солнце окропляло подлесок и влажную бурую землю огненными искрами. Время от времени легкий ветерок тянул над рекой, пошевеливая молодую, яркую листву, так что искры просеивались насквозь и пересыпались. Среди скал пронзительно взлаяла лисица. Чета лесных голубей протяжно ворковала меж собою о том, что пора уже вить гнездо.

Медленно, очень медленно голова и руки Лока обмякли. Теперь он уже не щерил зубы. Он шагнул вперед и повернулся. Потом побежал вдоль реки, не слишком быстро, но по мере возможности держась поближе к воде. Он пристально вглядывался в кустарник, потом перешел с бега на шаг и наконец остановился. Взгляд его затуманился, и он опять ощерил зубы. Он стоял, опершись одной рукой о кривую ветку бука, и глядел в пустоту. Он осмотрел ветку, ухватив ее обеими руками. Потом стал ее раскачивать все быстрее, быстрее. Широкий веер побегов на ее конце со свистом витал над кустами. А Лок метался из стороны в сторону, едва успевая переводить дух, и пот катился с его туловища, промеж ног, смешиваясь с речной водой. Потом он отпустил ветку, горестно всхлипывая, и опять стоял недвижимо, причем руки его были согнуты, голова понурена, зубы стиснуты, будто каждый фибр палил его тело изнутри. А чета голубей ворковала да ворковала, и солнечные пятна окропляли его тело с головы до ног.

Он отступил от бука назад, туда, где была тропа, сделал несколько неуверенных шагов, остановился, потом пустился бежать. Он вломился на прогалину, где стояло мертвое дерево и солнце озаряло пучок рыжих перьев. Он оглядел остров, увидел, что кусты шевелятся, а потом прут, вращаясь, перелетел реку и, просвистев мимо, исчез в лесной чаще. У Лока мелькнула смутная мысль, что кто-то хочет сделать ему подарок. Сам он охотно послал бы улыбку мужчине с белым, как кость, лицом, но не увидел никого, а на прогалине все звучали терзающие все нутро отголоски визга Лику. Он выдернул прут из ствола дерева и побежал опять. Он взобрался по склону горы и поднялся вплоть до уступа, где почуял запах другого и Лику; отсюда он пошел по запаху вспять по времени к отлогу. Он так спешил, налегая на костяшки пальцев, что, если б не стрела, которую он сжимал в левой руке, могло бы показаться, что он бежит на четвереньках. Потом он зажал прут в зубах поперек рта, растопырил руки и то бежал, то карабкался по склону. Когда же он очутился совсем близко от подъема на уступ, он мог взглянуть поверх скалы на остров. Там он увидел одного из мужчин с белым, как кость, лицом, который высунулся из кустов по грудь. Прежде, при свете дня, он никогда еще не видал новых людей так близко, и теперь лицо это выглядело как белесая отметина на крестце оленя. За спиной у нового мужчины, среди деревьев, валил дым, но дым этот был голубой и прозрачный. Лок очень смутно и очень много видел внутри головы – это было куда хуже, чем не видеть ничего вообще. Он вынул прут из зубов. Потом он сам не соображал, что именно крикнул:

– Я иду вместе с Фа!

Он пробежал через проход и очутился на уступе, но там никого не было, он сразу увидел, почувствовал это, потому что холодом веяло с отлога, где еще недавно горел огонь. Он быстро взошел вверх по земляному откосу и там остановился, заглядывая на отлог. Костер был разметан, и изо всех людей здесь оставался только Мал, лежащий под земляным холмиком. Но запахов и всяких признаков было великое множество. Вдруг он услышал шум, выпрыгнул из круглого кострища, усеянного пеплом, и увидел Фа, которая спускалась по зубцам со скалы над отлогом. Она вся дрожала и крепко обняла его обеими руками. Они заговорили наперебой:

– Мужчины с костями на лицах подарили мне вот это. Я побежал наверх. Лику визжала по ту сторону воды.

– Ты спускаешься со скалы. А я лезу вверх, потому что боюсь. На отлог пришли мужчины.

Теперь они молчали, тесно прильнув друг к другу и дрожа. Целый сонм нерасчлененных видений, которые они трепетно сопереживали, утомил обоих. Они беспомощно поглядели друг другу в глаза, потом Лок стал беспокойно вертеть головой из стороны в сторону.

– Огонь умер.

Они подошли к кострищу, опираясь друг на друга. Фа присела на корточки и поворошила холодные головешки. Просто так, по привычке. Потом оба сели, каждый на обычном своем месте, и стали безмолвно глядеть на воду и на серебристую струю, которая изливалась с утеса. На отлог косо падали лучи вечернего солнца, но теперь уж не было багрового, мерцающего света, который соперничал с ним. Наконец Фа пошевелинулась и сказала:

– Я вижу так. Я гляжу вниз. Приходят мужчины, и я прячусь. Когда прячусь, вижу старуху, и она идет им навстречу.

– Она была в воде. Глядела на меня сквозь воду. Я полетел кувирком.

И опять оба в бессилии уставились друг на друга.

– Я спускаюсь на уступ, как только мужчины уходят. Они забирают Лику и нового человечка.

Воздух вокруг Лока огласился призрачным визгом.

– Лик у визжала за рекой. Она на острове.

– Так я не вижу.

Так не видел и Лок. Он широко растопырил руки и ощерился, вспоминая визг.

– С острова ко мне прилетел этот прут.

Фа внимательно осмотрела прут от колючего наконечника до рыжих перьев и аккуратной зазубрины на другом конце. Потом вернулась к колючке и вся сморщилась, увидав что-то коричневое и клейкое. А Лок видел внутри головы уже чуть отчетливей и разборчивей.

– Лик у на острове у других людей.

– У новых людей.

– Они перебросили этот прут через воду прямо в мертвое дерево.

Лок сделал усилие, чтоб она увидала внутри головы, соперживая с ним это, но собственная его голова слишком устала, и он оставил попытку.

– Идем!

Они пошли по запаху от следов крови к речному берегу. У воды на скалах тоже была кровь и капельки молока. Фа положила ладони на макушку и выразила в словах то, что видела внутри головы.

– Они убили Нил и бросили в воду. Старуху тоже.

– Они забрали Лику и нового.

Теперь оба соперживали внутри головы нечто связанное каким-то единым намерением. Потом дружно побежали по уступу. У поворота Фа чуть задержалась, но, когда Лок взобрался на кручу, поспешила за ним, и оба остановились на каменистом склоне, глядя вниз, на остров. Они разглядели прозрачный голубой дым, который все еще плыл в вечернем свете; но вскоре тень горы накрыла лес. Лок многое увидел в этот миг внутри головы. Он видел самого себя, когда ползал по утесу, почуяв запах костра, но боясь

заговорить со старухой. Но это оказалось только излишним осложнением вдобавок ко всей новизне дня, и он усилием воли перестал видеть это внутри головы. Кусты на берегу острова колыхались. Фа стиснула запястье Лока, и оба прильнули к каменному склону. Взволнованные, они долго дрожали.

А потом оба целиком превратились в зрение, глядя, и вбирая в себя, и ни о чем не размышляя. Под кустами по реке проплывало длинное бревно, и один его конец разворачивался по течению. Было оно темное и гладкое, а изнутри долбленое. Один из мужчин с костью на лице сидел с того конца, которым бревно разворачивалось. Ветки, сплетаясь, скрывали дальний конец; а потом бревно выплыло из кустов, увозя по мужчине на каждом конце. Оно нацелилось на водопад и слегка свернуло поперек реки. Течение стало сносить его вниз. Двое мужчин подняли палки, на концах которых были большие бурые листья, и окунули в воду. Бревно выровнялось и теперь оставалось на месте, меж тем как река под ним продолжала течь. От бурых листьев на воде возникали клочья белой пены и зеленые водовороты. Бревно плыло все дальше, и по обе его стороны теперь была неодолимая глубина. Люди видели, как мужчины вглядывались в берег, и в мертвое дерево, и в подлесок по обе стороны сквозь дырочки в своих костяных масках.

Мужчина, который сидел на переднем конце бревна, положил палку и вместо нее взял другую, согнутую. На поясе у него был пук рыжих перьев. Палку он держал за середину, как и в тот раз, когда прут перелетел к Локу поверх воды. Бревно боком подплыло к берегу, передний мужчина прыгнул и скрылся в кустах. Бревно осталось на месте, и мужчина на заднем конце то и дело окунал в воду бурый лист. Тень водопада простиралась вплоть до него. Они видели волосы, которые росли у него на голове над костью. Волосы образовывали большой ком, напоминавший грачиное гнездо на высоком дереве, и всякий раз, как он налегал на лист, они колыхались и вздрагивали.

Фа вздрагивала тоже.

– Он придет на уступ?

Но тут показался первый мужчина. Конец бревна исчез из виду, уткнувшись в берег, а когда стал виден, первый мужчина уже опять сидел и держал в руке новый прут с рыжими перьями на конце. Бревно развернулось передним концом к водопаду, и оба мужчины дружно вскапывали воду бурыми листьями. Бревно боком выплыло на глубину.

Лок залопотал:

– Лику переплыла реку в таком вот бревне. А где растет такое бревно? Теперь Лику вернется в этом бревне, и мы опять будем вместе.

Он указал пальцем на мужчин в бревне:

– У них прутья.

Бревно возвращалось к острову. Оно тыкалось в прибрежные кусты, как водяная крыса, которая промышляет добычу. Тот мужчина, что сидел

впереди, осторожно встал. Он раздвинул кусты, подтянулся, ухватившись за них, и подтянул за собой бревно. Задний конец бревна медленно развернулся по течению, потом двинулся вперед, покуда ветки не нависли над ним так низко, что мужчина сзади согнулся и положил палку.

Фа вдруг ухватила Лока за правый локоть и сильно тряхнула. Она уставилась ему прямо в лицо.

– Отдай им прут назад!

Отчасти он сопереживал страх на ее лице. За спиной у нее лежала косая тень от устья водопада вплоть до оконечности острова. За правым плечом Фа он увидел мельком древесный ствол, который стоял на отшибе и вдруг беззвучно обрушился в ниспадающие струи водопада. Он подобрал прут и осмотрел его внимательно.

– Швыряй его. Быстро.

Он решительно затряс головой:

– Нет! Нет! Его подарили новые люди.

Фа отошла на шаг и сразу вернулась. Она скользнула взглядом по охладелому отлогу и по острову. Потом обеими руками ухватила Лока за плечи и сильно встряхнула.

– Новые люди много видят внутри головы. И я много вижу тоже.

Лок рассмеялся неуверенно:

– Мужчина видит внутри головы. ЖенЩина служит Оа. Пальцы ее вонзились в его плоть. На лице у нее было такое выражение, будто она ненавидела его лютой ненавистью. Она спросила, разъяренная:

– Как будет жить новый без молока Нил? И кто найдет еду для Лику?

Лок разинул рот и поскреб под нижней губой. Фа опустила руки и ждала молча. Лок все скреб под губой, а в голове у него была терзающая пустота. Фа встряхнула его два раза кряду:

– Лок ничего не видит внутри головы.

Она обрела необычайную торжественность, и в этой торжественности присутствовала великая Оа, невидимая, но ощутимая, будто облаком витавшая вокруг ее головы. Лок почувствовал, до чего же он стал ничтожным. Обеими руками он ухватил прут и в волнении отвернулся. Теперь, когда лес накрыла темнота, он явственно видел глаз костра новых людей, который ему подмаргивал. Фа сказала у самого его уха:

– Делай как я говорю. Не говори: «Фа, сделай так». Я сама скажу: «Лок, сделай так». Я ведь много вижу внутри головы.

Лок еще острой ощутил свое ничтожество, вскользь глянул на Фа, потом на костер вдали.

– Брось прут.

Он занес правую руку и подбросил пернатый прут как мог выше. Перья всколыхнулись, прут развернулся в воздухе, на миг будто повис в солнечном

свете, потом наконечник обратился к земле, прут снизился плавно, как парящий ястреб, и медленно исчез в воде.

Лок услышал, как Фа тихонько охнула, будто издала сухой всхлип; потом она обнимала его, прильнув головой к его груди, и смеялась, и плакала, и вся дрожала, будто сделала что-то очень трудное, но сделала хорошо. Она стала той Фа, у которой совсем немного Оа, и он, утешая, обнял ее. Солнце уже спустилось в долину, и река вспыхнула, так что край водопада засверкал, как концы горящих веток в костре. По реке плыли, все приближаясь, темные бревна, они казались совсем черными на пламенеющей воде. Это были целые деревья, корни их походили на каких-то морских чудищ. Одно поворачивало к водопаду прямо под ними; корни и ветки вздымались, волоклись, погружались. На миг оно повисло на перекате; пламенеющая вода швырнула в него огромный пук света, а дерево уже снижалось в воздухе так же плавно, как прут.

Лок сказал над плечом Фа:

– Старуха была в воде.

Вдруг Фа его оттолкнула.

– Пойдем!

Он вслед за ней обогнул поворот, они вышли на уступ, озаренный ровным светом, и тела их были двумя слитными тенями, так что рука, воздетая на ходу, будто подымала огромную тяжесть, наполненную темнотой. По привычке они одолели подъем на отлог, но там не было ничего утешительного, одна пустота. Впадины в утесе напоминали темные глазницы, а сам утес был залит красным заревом заката. Все головешки и зола уже смешались с землей. Фа села на землю у кострища и хмуро поглядела на остров. Лок ждал, а она прижала руками макушку, но он не мог сопереживать то, что она видела внутри головы. Он вспомнил про мясо во впадинах.

– Еда.

Фа ничего не сказала, и тогда Лок, немного робея, будто он мог опять встретить глаза старухи, ощупью добрался до впадины. Он лочухал мясо и принес вдосталь, чтоб им обоим насытиться. Когдь он ьсргулся, то услышал лап гиен, который донесся со скал над отлогом. Фа взяла мясо, не замечая Лока, и стала есть, все еще видя что-то свое внутри головы.

Лок, начав есть, сразу вспомнил, до чего он голоден. Он растерзал мышцу на длинные лохмотья, оторвав ее от кости, и набил полный рот. В мясе было много силы.

Фа заговорила невнятно:

– Мы бросаем камнями в желтых тварей.

– ?

– Прут.

Они продолжали есть молча, а гиены выли и взлаивали. Уши Лока сказали ему, что гиены голодны, а нос подтвердил, что другого зверья поблизости нету. Он разгрыз кость, чтоб высосать мозг, потом взял несгоревший сук из мертвого костра и вогнал в кость как мог глубже. Вдруг он увидел внутри головы, как Лок вгоняет палку в трещину, чтоб добыть мед. Страдание захлестнуло его, как морская волна, поглотив все удовольствие от еды и даже приятное чувство от близости Фа. Он сидел на корточках, палка все еще была втиснута в трубку кости, а страдание пронзило и накрыло его с головой. Оно нахлынуло ниоткуда, как река, и было неотвратимо. А сам Лок был как бревно в этой реке, как утонувший зверь, которого вода уносит, куда захочет, полностью подчиненный ее власти. Он вскинул голову, как, бывало, вскидывала Нил, и скорбные звуки вырвались у него, а солнечный свет вдруг излился из долины и уже сгущались сумерки. Потом он очутился рядом с Фа, и она сжимала его в объятьях.

Когда они решились уйти, луна стояла уже высоко. Фа встала, искоса глянула на луну, потом на остров. Она спустилась к реке, напилась и постояла там, опустившись на колени. Лок стоял рядом.

– Фа.

Она движением руки показала, что просит ее не трогать сейчас, и все глядела на воду. Потом она вдруг оказалась на ногах и уже бежала вдоль уступа.

– Бревно! Бревно!

Лок побежал за ней, но ничего не мог понять. Она указывала на ствол, который скользил в их сторону, поворачиваясь на воде. Она упала на колени и схватила обломанный ствол за корень, у самого комля. Бревно повернулось и потянуло ее за собой. Лок увидел, что она скользит по скале, и распластался у ног Фа, стараясь ее удержать. Он обхватил ее колено; и вот уже оба они тянули бревно к уступу, а другой его конец поворачивался. Фа одной рукой вцепилась Локу в волосы и тянула за них безо всякой пощады, так что в глазницах у него скапливалась вода, взбухла и скатывалась вниз, на губы. Другой конец бревна приблизился, описав полукруг, и теперь плыл вдоль уступа, лишь слегка стараясь увлечь их за собой. Фа сказала не оборачиваясь:

– Я вижу внутри головы, как мы переправляемся через воду к острову на этом бревне. Лок ощетинился.

– Но люди не могут перевалить через водопад, как бревно!

– Молчи!

Она долго не могла отдышаться, но наконец ей все же удалось перевести дух.

– Выше, на том конце уступа, мы можем перекинуть бревно к скалам.

Она с шумом выдохнула воздух.

– Люди, когда переходят воду, ту, которая поперек тропы, бегут по бревну. Лок испугался.

– Мы не можем перебраться через водопад!

Фа объяснила ему все сначала, спокойно и терпеливо.

Они поволокли бревно вверх по течению к оконечности уступа. Это было трудно, и шкуры их вставали дыбом от усилий, потому что уступ неодинаково возвышался над водой, на краю его были каменистые бугры. Людям приходилось учиться на ходу; и все время вода сопротивлялась, то слабо, то с неожиданной силой, будто они пытались отнять у нее еду. А бревно не было таким мертвым, как дрова. Порой оно изворачивалось, пытаясь освободиться из их рук, и сломанные ветки на тонкой верхушке цеплялись за скалистый бок реки, как человеческие ноги. Задолго до того, как они добрались до оконечности уступа, Лок позабыл, зачем они, собственно, волокут по воде это бревно. Он помнил только, как Фа вдруг стала очень важной и умной, да еще ту волну нестерпимого страдания, которая его захлестнула. Налегая изо всех сил на бревно, он был охвачен смертельным ужасом перед водой, а страдание отступило немного, так что он мог уже взглянуть на него со стороны, и ему стало не по себе. Страдание было связано с людьми и с близостью чужих,

– Лику захочет есть.

Фа ничего не сказала.

К тому времени, когда они дотащили бревно до оконечности уступа, на небе уже светила только луна. Пустота была сплошь голубая и белая, и на ровной поверхности реки играли серебристые блики.

– Держи конец.

Покуда он держал этот конец. Фа отталкивала другой от себя в реку, но течение опять и опять прибывало его к уступу. Тогда она присела на корточки и долго оставалась в таком положении, возложив руки на голову, а Лок молча и покорно ждал. Он широко зевнул, облизал губы и поглядел на голубоватый крутой утес по ту сторону. Там, на другом берегу реки, не было уступа, только крутой откос, который обрывался над голубой водой. Лок опять зевнул и обеими руками утер с глаз слезы. Потом поморгал, вглядываясь в ночь, посмотрел на луну и поскреб завитки под губой. Фа вскрикнула:

– Бревно!

Он поглядел себе под ноги, но бревно уже ушло; он поглядел в одну сторону, потом в другую, вздрагивая от холодного воздуха, и вдруг увидал,

что бревно проплывает мимо Фа и тихонько разворачивается по течению. Фа вскарабкалась по скале и ухватила ветки, похожие на ноги. Ствол поволок ее за собой, потом тот конец, про который Лок уже позабыл, стал разворачиваться поперек реки. Лок замахал руками, пытаясь его поймать, но не мог дотянуться. Фа что-то приговаривала и в ярости визжала на Лока. Он покорно попятился прочь. При этом он все твердил: «Бревно, бревно», твердил самому себе, не понимая смысла. Страдание отхлынуло, как отлив, но все еще оставалось поблизости.

Дальний конец бревна ткнулся в оконечность острова. Вода напирала сбоку, и бревно поворачивалось, сердито стараясь вырвать ветку из руки Фа. Ветка эта оставляла борозду, вололась по уступу, потом изогнулась, хлестнула, выпрямляясь, и обломилась с громким треском. Ствол заклинился, комель трахнул по скале, трах трах, трах; вода запрудилась у середины, а крона обрушилась на неровный край уступа. Середина бревна, хоть она и была толщиной почти с Лока, выгнулась под напором воды, потому что бревно было во много раз длиннее человеческого роста.

Фа подошла к Локу вплотную и с сомнением поглядела ему в лицо. Лок вспомнил, как она разозлилась, когда бревно, казалось, могло уйти от них. Он с опаской погладил ее по плечу.

– Я много вижу внутри головы.

Она молча глядела на него. Ухмыльнувшись, она тоже погладила его по плечу. Потом обеими руками легонько похлопала себя по ляжкам, смеясь над ним, и он тоже стал хлопать и смеяться вместе с нею. Луна теперь светила так ярко, что две голубоватые, почти серые тени передразнивали их, распластавшись у ног.

Гиена заскулила близ отлога. Лок и Фа перебрались через уступ поближе к ней. Без единого слова то, что каждый из них видел внутри головы, совпало в точности. К тому времени, когда они подошли на такое расстояние, что уже могли видеть гиен, у каждого в обеих руках было по камню, и они намного удалились друг от друга. Они стали оба рычать и выть, и твари с настороженными ушами метнулись в гору, чтоб там таиться и подкрадываться, сами серые, а четыре глаза как зеленые искры.

Фа забрала остатки еды из впадины, и гиены рычали им вслед, когда они бежали назад по уступу. Когда они добежали до бревна, оба уже ели. Потом Лок выхватил кость с куском мяса у себя изо рта.

– Это для Лику.

Бревно не было одиноким. Второе такое же, но поменьше, приткнулось у него под боком, стучаясь и ворча, и теперь вода перехлестывала через оба. Фа пошла вперед сквозь лунный свет и ступила одной ногой на тот конец бревна, который был приткнут к берегу. Потом она вернулась и, сморщившись, покосилась на воду. Она поднялась выше по уступу, глянула в

сторону водопада, туда, где мерцали водные брызги, и ринулась вперед. Потом замедлила бег, осадила себя, остановилась. Здоровенная жердина, поворачиваясь на воде, приткнулась к бревнам. Фа сделала еще попытку, взяв разбег покороче, и остановилась, рыча на спляшущую воду. Потом она забегала перед бревнами, не произнося внятных слов, но издавая возгласы, в которых звучали ярость и отчаянье. Это опять было новое, и Лок до того испугался, что прынул в сторону и чуть не упал в воду. Но тут он вспомнил, как недавно дурачился перед другим бревном, у лесной опушки, и принужденно засмеялся, чтоб устыдить Фа, хотя понимал, что теперь ей очень плохо, потому что на спине у нее пусто. Она бросилась на него, осерив зубы и икнула ему прямо в лицо, будто хотела его искушать, и какие-то незнакомые звуки извергались из ее рта. Тело Лока отпрыгнуло одним прыжком. Она молча прильнула к нему и вся дрожала, теперь оба они отбрасывали слитную тень на скалистый уступ.

Она шепнула ему голосом, в котором совсем не было Оа:

– Иди на бревно первый.

Лок отстранил ее. Теперь, когда все было готово, страдание вернулось. Он поглядел на бревно, обнаружил, что есть нечто снаружи и внутри Лока, и то, что снаружи, гораздо лучше. Он держал в зубах мясо, приготовленное для Лику. Теперь, когда Лику уже не скакала на нем, а Фа все дрожала и река текла рядом, ему было не до того, чтоб смешить. Он осмотрел бревно от комля до верхушки, заметил утолщение по эту сторону запруды, где раньше была развилина, и отошел назад по уступу. Потом прикинул на глаз расстояние, пригнулся и побежал. Бревно оказалось у него под ногой, и оно было скользкое. Оно дрожало, как Фа, оно сдвигалось вбок по течению реки, так что он качнулся вправо, чтоб не свалиться в воду. И все же он падал. Нога его ступила всей тяжестью на другое бревно, которое сразу погрузилось, и он пошатнулся. Левая нога рывком оттолкнулась, он подпрыгнул, а вода напирала на запруду еще пуше, чем сильный ветер, дувший под колени, и была холодная, как ледяные женщины. Он сделал отчаянный прыжок, оступился, опять взвился в прыжке, и вот уже вцепился всеми когтями в скалу к стал подтягиваться на руках, зарывшись лицом в мясо для Лику. Ноги его разбегались, когда он карабкался вверх, покуда не почувствовал, что его палица сейчас разлетится в щепы. Тогда он мучительным рывком перебросил себя на скалу и обернулся к Фа. Он понял, что все это время из его рта сквозь плотное мясо вырывался какой-то протяжный, пронзительный звук, как у Нил, когда она бежала по бревну в лесу. Он умолк, порывисто дыша. К бревнам добавилось еще одно. Оно со стуком легло вплотную к другим, и вода у запруды вспенилась и забурилась сверкающими водоворотами. Фа осторожно ступила на это бревно, пробуя его ногой. Потом оглядчиво пошла через воду, раскорячась, сразу по двум

бревнам. Она добралась до скалы, где лежал Лок, вскарабкалась на нее и прилегла рядом. Потом крикнула, перекрывая грохот водопада:

– Я не шумела.

Лок выпрямился и постарался думать, что скала не плывет вместе с ними вверх по течению. Фа соразмерила прыжок и ловко перескочила на другую ближайшую скалу. Лок прыгнул следом за ней, в голове у него была пустота от шума и новизны ощущений. Они прыгали и карабкались, покуда не добрались до той скалы, где на верхушке росли кусты, и там Фа легла и впилась пальцами в землю, а Лок меж тем терпеливо ждал, держа в руках мясо. Они были уже на острове, и по обе стороны от них водопад низвергался и сверкал, как летняя молния. Но был и новый звук, голос главного, большого водопада за островом, от которого люди никогда еще не бывали так близко. С голосом этим не могло быть никакого сравнения. Даже те отзвуки их собственных голосов, которые не заглушал голос малого водопада, начисто тонули и исчезали.

Вскоре Фа встала на ноги. Она прошла вперед, покуда не увидели под собой великанью голень, и Лок подошел к ней. Огромная нога была вытянута, и у ее лодыжки дымные водные струи вгрызались в камень, так что оставался лишь совсем узкий скат. Лок присел и глянул туда.

Вьюнки и корни, шрамы земли и зазубренные каменные мослы-утес, наклоненный так, что чело его, поросшее березами, глядело прямо на остров. Каменная осыпь все так же окружала подножье утеса, образуя темные причудливые груды, всегда мокрые и резко выделенные на сером мерцании листвы и самого утеса. На его верхушке жили деревья, хоть и в постоянной опасности, после того как сорвавшиеся валуны пообрывали у них почти все корни. Те, какие еще уцелели, втиснулись в трещины, или корчились на боку утеса, или нелепо торчали во влажном воздухе. Вода стекала вокруг и вниз по обе стороны, пенилась и плескала, так что содрогалась сама земля. Луна, почти уже полная, висела высоко над утесом, а на дальней оконечное! и острова все пылал огонь.

Люди даже словом не обмолвились о головокружительной высоте. Они наклонились и внимательно высматривали тропу на утесе. Фа неслышно соскользнула через закраину, голубая ее тень была даже видней, чем тело, и, цепляясь руками и ногами, спустилась по корням вьюнка. Лок спустился следом, опять зажав мясо в зубах, и при всякой возможности поглядывал на зарево костра. Он ощущал неодолимое желание ринуться прямо к этому костру, будто там было снадобье, которое исцелит его от мучений. Этим снадобьем оказались не только Лику и новый человек. Другие люди, которые так много видели внутри головы, были как вода, которая и ужасает, и в то же время дразнит и манит человека подойти поближе. Лок смутно сознавал это свое влечение, но никак не мог его понять и потому чувствовал

себя совсем глупым. Он очутился у огромного, обломанного корневища среди пустынной, поблескивающей, как бы ноздреватой воды. Корень гнулся от тяжести, так что мясо стучало Лока по груди. Ему пришлось отпрыгнуть в сторону, к сплетению корней и выюнка, только тогда он мог ползти дальше вслед за Фа.

Она вела его через скалы, а потом в лес, который рос на острове. Здесь едва ли было что-нибудь, хоть отдаленно напоминающее тропу. Другие люди оставили свой запах среди сломанных кустов, только и всего. Фа шла по запаху не раздумывая. Она знала, что костер должен быть на другом конце, но, чтоб сказать, почему это так, ей пришлось бы остановиться и совладать с видениями, возложив руки на голову. На острове гнездились множество птиц, и они встретили людей с таким шумным неудовольствием, что Фа и Лок стали двигаться с крайней осторожностью. Они уже не сосредоточивали внимание на новом запахе и приноровились идти через лес, вызывая как можно меньше шума и переполоха. Они напряженно сопереживали видения. Почти в полной темноте под сводами леса они видели ночным зрением; они избегали незримых опасностей, отстраняли цепкие плети выюнка, раздвигали кусты с ягодами и украдкой пробирались все вперед. Вскоре они слышали новых людей.

Заслышали они и костер или, верней, завидели отблески и мерцание. От этого света весь остальной остров, казалось, был окутан непроницаемой тьмой, а их ночное зрение так затуманилось, что им пришлось замедлить шаг. Костер теперь был гораздо больше, чем прежде, и освещенное пространство окружала кайма из молодой листвы, нежной, поблескивающей зелени, будто подсвеченной сзади солнцем. Люди издавали размеренные звуки, похожие на биение сердца. Фа остановилась впереди Лока и стала густой, черной тенью.

Деревья на этом конце острова были очень высоки, а в середине кусты росли так редко, что меж ними можно было свободно пройти. Лок опять шел следом за Фа, а потом они остановились и присели, согнув колени, напрягая пальцы ног, за кустом почти у самого костра. Теперь они могли взглянуть на открытое пространство, которое выбрали для себя новые люди. Трудно было разглядеть все сразу. Главное, деревья здесь стояли уже не так, как раньше. Они были согнуты и тесно переплелись ветками, так что вокруг костра образовались как бы темные листовые пещеры. Новые люди сидели на земле меж Локом и огнем, причем каждая голова отличалась от другой с виду. Головы эти были рогатые с боков, или перистые, как хвощи, или же круглые и невообразимо огромные. За костром Лок увидел кучу бревен, приготовленных на топливо, и, при всей их тяжести, от света костра они шевелились.

Потом, как ни невероятно это было, у самых бревен затрубил олень, жаждущий брачных игр. Звук был резкий, яростный, исполненный страдания и похоти. Это был голос самого крупного из оленей, которому едва хватает места во всем просторном мире. Фа и Лок схватились за руки и пристально разглядывали бревна, ровно ничего не видя внутри головы. Новые люди наклонились так низко, что вид их изменился и головы стали не видны. Показался олень. Он пружинисто двигался, взвизывая на дыбы, а передние ноги широко растопырил в воздухе. Его рогатая голова раздвигала листву деревьев, глаза были устремлены ввысь, поверх новых людей, поверх Фа и Лока, а сам он пошатывался из стороны в сторону. Потом он стал поворачиваться, и вот уже они увидели, что его хвост мертв и бессильно хлопает по бледным, не покрытым шерстью ногам. Руки у него были человечески.

Из одной лиственной пещеры они слышали писк нового человечка. Лок запрыгал вверх и вниз за кустом.

– Лику!

Фа зажала ему рот ладонью и принудила молчать. Олень остановился, приплясывая на месте. Они услышали отчаянный вопль Лику:

– Лок, это я! Я здесь!

Вдруг раздался оглушительный звук-смех, порхание, кружение и гомон птичьих криков, все голоса завопили разом, взвизгнула женщина. Костер вдруг зашипел, и белый пар взвился над ним, а свет угас. Новые люди сновали взад и вперед. Вокруг витали злоба и страх.

– Лику!

Олень иступленно раскачивался в тусклом свете. Фа тянула Лока за собой и невнятно бормотала. Люди подступали с палками, согнутыми и прямыми.

– Скорей!

Справа какой-то мужчина яростно колотил по кусту. Лок замахнулся.

– Эта еда для Лику!

Он швырнул мясо на прогалину. Кусок шлепнулся у самых ног оленя. Лок успел увидеть сквозь облако пара, как олень нагнулся, но Фа уже тащила его прочь. Беспорядочный шум, поднятый новыми людьми, перешел в дружные возгласы, вопросы и отклики, повелительные крики, и горящие сучья мчались через прогалину, так что ветки, оперенные весенней листвой, возникали и исчезали. Лок пригнул голову и побежал, взрывая ногами мягкую землю. Над самой его головой раздался свист, похожий на внезапный, надсадный вздох. Фа и Лок метнулись в сторону меж кустов и замедлили бег. Они воспользовались своей чудесной способностью чутьем находить путь среди кустов и веток; теперь Лок дышал так же тяжело и бурно, как Фа. Они побежали прочь, а факелы сверкали под деревьями позади. Они

слышали, как новые люди перекликаются и оглушительно шумят в подлеске. Потом раздался громкий одинокий голос. Треск прекратился. Фа на четвереньках перебралась на мокрую скалу.

– Скорей! Скорей!

Он едва слышал ее сквозь гром в сверкающей сумятице воды. Покорно последовал он за нею, дивясь ее проворству, но сам ничего не видел внутри головы, разве только нелепую пляску оленя.

Фа мгновенно взобралась на закраину утеса и залегла, покрыв собою собственную тень. Лок ждал. Она спросила, едва переводя дух:

– Где они?

Лок пристально поглядел вниз, на остров, но она продолжала нетерпеливо:

– Они лезут сюда?

Внизу, на кругом боку утеса, медленно колыхался корень, который она рванула, взбираясь наверх, но самый утес был недвижим и, подняв чело, безмолвно взирал на луну.

– Нет!

Они помолчали. Лок опять услышал шум воды, причем шум этот стал таким громким, что он не мог бы его перекричать. Он лениво попытался разобрать, сопереживают ли они оба видения или же говорят, произнося слова, потом разобрался в ощущении тяжести у себя в голове и во всем теле. Никакого сомнения не оставалось. Ощущение это было связано с Лику. Он зевнул, утер пальцами глазницы и облизнул губы. Фа вскочила на ноги.

– Пойдем!

Они рысцей побежали меж берез над островом и спустились вниз, перепрыгивая с камня на камень. Бревно притянуло к себе другие, так что они лежали рядом, и было их больше, чем пальцев на руке, и все, что проплыло у этого берега, запуталось среди них. Вода стремительно струилась меж стволов и перехлестывала сверху. Получилась тропа шириной с ту, что вела через лес. Они легко добрались до уступа и молча стояли там.

С отлога донесся шум, который означал грызню. Оба ринулись туда, и серые гиены поспешно спаслись бегством. Луна озаряла отлог так ярко, что были освещены даже впадины по бокам утеса, и в темноте оставалась только яма, где люди недавно схоронили Мала. Они опустили на колени и смахнули грязь, золу и кости, покрывавшие ту часть его тела, которая теперь опять была видна. Земля уже не возвышалась над ним бугром, а лежала вровень с верхним кострищем. Все так же молча они подкатали валун и надежно завалили Мала. Фа пробормотала:

– Как будут они кормить нового без молока? Потом они обхватили друг друга руками и долго стояли, прильнув грудь к груди. Скалы вокруг ничем не отличались от всех прочих; костер давно умер. Двое тесно прижимались друг

к другу, они слились воедино, отыскивая средоточие, главный смысл своего существования, потом упали на землю, все так же принякая, лицо к лицу. Огонь вспыхнул в их телах, и тогда они предались ему целиком и полностью.

Семь

Фа оттолкнула Лока. Оба встали и оглядели отлог. На них изливался блеклый свет первых лучей зари. Фа сходила к утесу и принесла кость, почти без мяса, да несколько клочков, которые гиенам не удалось вытащить. Теперь люди опять были рыжие, будто отлитые из меди, с желтоватым отливом, как песок, потому что голубые и серые цвета ночи их покинули. Они молча разодрали и поделили меж собой клочки мяса, испытывая друг к другу невыразимое сострадание. Вскоре они вытерли руки о ляжки и спустились к реке напиться. Потом, все еще ни слова не говоря и ничего не сопереживая, они повернули вправо и пошли к повороту, за которым стоял утес. Фа остановилась.

– Видеть не хочу.

Оба повернулись и поглядели на опустелый отлог.

– Я поймаю огонь, когда он упадет с неба или проснется среди вереска.

И тут Лок увидел огонь внутри головы. А вообще-то в голове была полная пустота, и только внезапно нахлынувшее чувство, глубокое и несомненное, все еще жило в нем. Он пошел к бревнам, которые прибились к дальнему концу уступа. Фа ухватила его за руку.

– Нам нельзя опять на остров. Лок повернулся к ней, занеся руки.

– Надо найти еду для Лику. Чтоб она набралась сил, когда вернется.

Фа укориженно поглядела на него, и в лице ее было нечто недоступное его пониманию. Он шагнул в сторону, пожал плечами и развел руки. Потом притих и терпеливо ждал.

– Нет!

Она опять ухватила запястье Лока и повлекла его за собой. Он противился, беспрерывно что-то приговаривая. При этом он сам не понимал, о чем болтает. Она перестала его тащить и опять поглядела ему прямо в лицо.

Наступило молчание. Лок поглядел на нее, потом на остров. Поскреб левую щеку. Фа подошла вплотную.

– У меня будут дети, и они не умрут в пещере у моря. И огонь будет тоже.

– У Лику будут дети, когда из нее вырастет женщина. Фа опять отпустила его запястье.

– Слушай. Не говори ничего. Это новые люди унесли бревно, а Мал умер. Ха был на утесе, новый мужчина тоже был на утесе. Ха умер. Новые люди

приходили на отлог. Нил и старуха умерли.

Свет у нее за спиной стал заметно ярче. По небу, прямо у них над головами, разливалось красное зарево. Фа вдруг выросла в глазах Лока. Она была женщина. Лок покорно склонил перед нею голову. От этих ее слов обуревавшее его чувство обрело особую силу.

– Когда новые люди приведут Лику назад, я буду рад. Фа издала пронзительный, злобный вопль, шагнула к воде и сразу же вернулась. Она схватила Лока за плечи.

– Как могут они добыть молоко для нашего нового? Разве олень дает молоко? И что будет, если они не отдадут нам Лику? Он ответил смиренно, ощущая пустоту в голове:

– Я так не вижу.

Она отпустила его, дрожа от ярости, отвернулась и стояла, опершись одной рукой о скалу у поворота, близ закраины утеса. Он видел, как она вся вдруг ощетинилась и мускулы у нее на плечах вздулись. Она сгорбилась, наклонилась вперед, стиснула правой рукой свое колено. Он услышал, как она пробормотала, все еще стоя к нему спиной:

– Ты видишь внутри головы меньше, чем наш новый. Лок закрыл глаза ладонями и нажал так сильно, что яркие искры блеснули в них, как поблескивала река.

– Ночи не было.

Это походило на правду. Там, где всегда полагалось быть ночи, серела муть. Не только уши и нос Лока проснулись после того, как они с Фа лежали вместе, но и Лок-внутренний проснулся тоже и следил, как чувство захлестывает его и сразу же уплывает прочь. Под костями его черепа распознал целый сонм бледных осенних побегов, их семенами был забит нос, отчего он позевывал и чихал. Он растопырил руки и, моргая, поглядел туда, где только что была Фа. Теперь она отошла назад, на эту сторону скалы, и пристально оглядывала реку. Рука ее сделала призывный знак.

По воде опять плыло бревно. Оно было близ острова, и опять двое с костяными лицами сидели по обоим его концам. Они вскапывали воду, и бревно медленно переплывало реку. Когда бревно приблизилось к берегу и к кустам, где роились зеленые листочки, оно развернулось по течению, и мужчины перестали вскапывать. Теперь они вглядывались в открытое место у воды, где стояло мертвое дерево. Лок увидал, как один повернулся и что-то сказал другому. Фа коснулась его руки:

– Они чего-то ищут.

Бревно медленно продвигалось вниз по течению, а на небе уже всходило солнце. Река в отдалении вспыхнула таким ярким пламенем, что лес – по обоим берегам вдруг показался черным. Неизъяснимая притягательность

новых людей вытеснила бледный сонм осенних побегов из головы Лока. Он даже перестал моргать.

Бревно было поменьше и плыло от водопада. Когда оно повернулось наискось, мужчина, который сидел сзади, опять стал вскапывать воду, и бревно нацелилось прямо Локу в глаза. Оба мужчины не отрываясь глядели вбок, на берег.

Фа пробормотала:

– Другое бревно.

Кусты в реке подле острова всколыхнулись и захопотали. На миг они даже расступились, и теперь, когда Лок знал наверняка, куда глядеть, он увидел конец другого бревна, спрятанного там же, поблизости. Какой-то мужчина высунулся по плечи из зеленой листвы и сердито махнул рукой. Двое на бревне стали быстро вскапывать воду, покуда бревно не подплыло к мужчине, который махал прямо напротив мертвого дерева. Теперь оба уже глядели не на мертвое дерево, а на мужчину, и согласно кивали. Бревно подвезло их к нему и уткнулось в берег под кустами.

Лока охватило любопытство: он пустился бежать к новому пути на остров, до того взволнованный, что Фа стала сопереживать его видение. Она опять догнала его и ухватила за руку:

– Нет! Нет!

Лок залопотал. Фа на него прикрикнула:

– Я говорю тебе – нет! Она указала на отлог.

– Что ты сказала? Конечно, Фа много видит внутри головы... Тут он умолк и ждал, что будет введено делать. Она заговорила очень серьезно:

– Мы спустимся в лес. За едой. Будем следить за ними через воду.

Они побежали вниз по склону прочь от реки, прячась от новых людей за скалами. На опушке леса было вдоволь еды: луковицы, которые едва успели выпустить зеленые ростки, личинки и побеги, грибы, сочный слой под корою некоторых деревьев. Мясо козы все еще было у них внутри, и они не ощущали голода в том смысле, в каком люди понимали голод. Есть они могли всюду, где была еда, но и без этого они могли идти весь сегодняшний день, да и завтрашний, если это будет необходимо. Значит, не было срочности в поисках, так что вскоре чары новых людей привлекли их за кусты к краю воды. Они стояли, напрягая пальцы ног, в трясине и прислушивались к голосам новых людей, доносившимся сквозь шум водопада. Весенняя ранняя муха жужжала у Лока под самым носом. В воздухе веяло теплом, и солнце слегка пригревало, так что он опять невольно зевнул. Потом услышал птичьи звуки, которые издавали новые люди, когда разговаривали меж собой, и еще разные непонятные шумы, стуки и скрипы. Фа прокралась на край прогалины у мертвого дерева и прилегла на землю.

За водой ничего не было видно, но стуки и скрипы не умолкали.

– Фа. Полежай на дерево и взгляни.

Она обернула лицо и поглядела на него с сомнением. Вдруг он понял, что она уже совсем готова сказать «нет», готова настоять, чтоб они ушли от новых людей, и тогда широкая пропасть времени отделит их от Лику; это перешло в уверенность, в знание, которое было невыносимо. Он быстро прополз вперед на четвереньках и спрятался за мертвым деревом. Мгновенно он вскарабкался вверх и нырнул в густую, как копна волос, чащобу пыльных, темных, кисло пахнущих листьев вьюнка. Он едва успел подтянуть вторую ногу к трухлявой верхушке, как голова Фа вынырнула рядом.

Верхушка дерева изнутри была пустая, как крышечка огромного желудка. Она была белесая, из прогнившего дерева, которое проминалось и крошилось под их тяжестью и на редкость изобиловало едой. Вьюнок тянулся кверху и книзу, образуя темное плетение веток, так что казалось, будто они сидят на земле среди кустарника. Другие деревья возвышались над ними, но со стороны реки проглядывало чистое небо и зеленые струи на берегу острова. Осторожно раздвигая листья, будто в поисках яиц, Лок обнаружил, что может проделать лишь дырочку чуть побольше собственного глаза; и хотя края этой дырочки слегка мельтешили, он мог видеть реку и противоположные берега, которые казались особенно ярко освещенными из-за окружавшей дырочку темной зелени листвы – будто он глядел в щелку сквозь сложенные ладони. Слева от него Фа тоже проделывала себе отверстие для наблюдения, и на верхушке, напоминавшей огромную желудевую чашечку, для нее даже нашлось место, куда опереться локтями. Тягостное чувство внутри Лока отхлынуло, как бывало всякий раз, когда ему приходилось наблюдать за новыми людьми. Он с наслаждением расслабился. Потом вдруг оба позабыли обо всем и замерли в неподвижности.

Бревно выскользнуло из кустов, что росли близ острова. Двое мужчин осторожно вскапывали воду, и бревно разворачивалось. Оно нацелилось не на Лока и Фа, а по течению, хотя и стало продвигаться к ним через реку. В этом долбленом бревне было много нового: штуки, похожие на камни, и набитые мешки из шкур. А еще там были всевозможные палки, и длинные тонкие ветки без листвы или сучьев, и мелкие побеги с увядающей зеленью. Бревно подплыло совсем близко.

Наконец-то они увидели новых людей вблизи при свете солнца. Люди эти выглядели таинственно и странно. Волосы у них были черные и росли самым неожиданным образом. У мужчины с лицом прикрытым костяной пластиной, который сидел на переднем конце бревна, волосы росли, как хвощ, вздымаясь кверху, так что голова его, и без того слишком длинная, была вытянута, будто нечто тащило ее вверх безо всякой пощады. У второго, с лицом тоже прикрытым костяной пластиной, волосы росли густым кустом, который раскинулся вширь, как вьюнок на мертвом дереве.

И тела их тоже поросли густыми волосами, на бедрах, на животе и на ляжках до самых колен, так что нижняя часть тела была толще верхней. Но Лок не сразу рассмотрел их тела: все его внимание привлекло то, что было у них возле глаз. Под глазами был приделан кусок белой кости, подогнанной вплотную, и там, где должны бы виднеться широкие ноздри, были узкие щели, между которыми торчала тонкая белая кость. Пониже у каждого была еще щель надо ртом, и голоса их выпархивали через эти щели. Под щелями пробивались редкие черные волосы. Глаза, которые глядели сквозь кость, были темные и пристальные. Повыше виднелись брови, тоньше, чем рот или ноздри, черные, изогнутые вбок и кверху, так что мужчины имели грозный вид и, казалось, могли ужалить, как оса. Связки зубов и морских раковин висели на шеях, поверх серой мохнатой шерсти. Над бровями костяные пластины имели выпуклость и отклонялись назад, где их прикрывали густые волосы. Когда бревно приблизилось, Лок разглядел, что в действительности цвет был не белый и блестящий, как кость, а заметно более тусклый. Цветом эти пластины походили на крупные грибы или початки, которые люди употребляли в пищу, и казались такими же мягкими. Ноги и руки были тонкие, как палки, так что сочленения выглядели наподобие узлов на древесных сучьях.

Теперь, когда Лок глядел почти прямо внутрь долбленного бревна, он увидал, что оно гораздо шире, чем казалось прежде, или, верней, там было два бревна, которые плыли бок о бок. В бревне было еще множество мешков и всяких любопытных штук, и среди них лежал на боку мужчина. Тело его и костяное лицо были такие же, как у всех остальных, но волосы на голове густо топорщились, а концы их блестели и казались острыми как колючки на оболочке каштанового ореха. Он что-то делал с одним из заостренных пругьев, и его гнутая палка лежала рядом.

Бревна подплыли вплотную к берегу. Мужчина, сидевший впереди – Лок мысленно прозвал его Хвощом, – что-то тихонько сказал. Куст положил деревянный лист и ухватился за траву, которая росла на берегу. Каштан взял свою гнутую палку и заостренный прут и, крадучись, перебрался с бревна на сушу, где присел на корточки. Лок и Фа таились почти прямо над ним. Они улавливали его особенный запах, запах моря и мясной запах, возбуждающий страх и вместе с тем волнение. Он был теперь так близко, что всякий миг мог почуять их запах, хоть и был гораздо ниже, и Лок отринул собственный запах, внезапно охваченный страхом, хотя и сам не знал толком, что делает. Он затаил дыхание, так что оно стало едва слышным ему самому и даже трепетанье листьев различалось явственной.

Каштан стоял прямо под ними, и тело его поблескивало под солнцем. Оперенный прут оказался поперек согнутой палки. Глядел Каштан то туда, то сюда, внимательно осмотрел мертвое дерево, потом взглянул на землю и

опять устремил глаза в сторону леса. Потом повернул голову и сквозь щель в кости что-то сказал другим, которые оставались в лодке; голос у него был тихий, похожий на птичий щебет; белизна дрогнула.

Лока охватил неодолимый ужас, будто он повис над бездной, понадеясь схватиться за ветку, которой не оказалось на месте. Он понял каким-то вывернутым чувством, что это не лицо Мала, и не лицо Фа, и не лицо Лока, скрытое под костяной пластинкой. Это просто кожа.

Куст и Хвощ что-то делали с узкими полосами, которыми бревна были привязаны к прибрежным кустам. Они проворно вылезли из бревна, пустились бежать и исчезли из виду. Вскоре раздался звук, который означал, что кто-то рубит дерево камнем. Каштан крадучись пошел за ними и вскоре тоже исчез.

Теперь не осталось ничего интересного, кроме бревен. Они были очень гладкие и блестящие изнутри, где обнаруживалась древесина, а снаружи виднелись продолговатые потеки, как на скале, после того как море отступило и солнце ее высушило. Края плавно закруглялись, и там, где их касались руки мужчин с костяными лицами, остались впадинки. Вещи внутри бревен были слишком разнообразны и многочисленны, чтоб сразу в них разобраться. Там лежали округлые камни, палки, шкуры, мешки величиной больше самого Лока, какие-то алые сплетения, кости, которые обрели очертания живых тварей, а концы тех бурых листьев, где мужчины их держали, походили на бурых рыб, и еще были запахи, содержавшие в себе вопросы, на которые не найти ответа. Лок глядел не видя, и вскоре видение рассеялось, но потом возникло опять. За водой, на острове, все замерло.

Фа тронула его за руку. Она медленно поворачивалась на ветке мертвого дерева. Лок осторожно пополз за нею, потом они проделали для себя новые отверстия, чтоб видеть, и поглядели вниз, на прогалину.

Там все давно уже такое знакомое переменялось. Плетение кустов и застоялая вода по левую сторону прогалины остались прежними, как и коварная трясина справа. Но там, где тропа, которая вела через лес, проходила по краю прогалины, терновник теперь встал непролазной чащобой. В терновнике была брешь, и у них на глазах Хвощ прошел через эту брешь со срубленным терновым кустом на плече. Ствол был оструган до белизны и заострен с конца. В лесу у него за спиной, судя по звукам, продолжали рубить.

Фа источала страх. Это было не сопереживаемое видение, а некое всеобъемлющее чувство, горький запах, мертвое молчание и мучительная внимательность, недвижимое и напряженное сознание, которое вызывало такой же отклик. Теперь гораздо ощутимей, чем прежде, существовали два Лока, один снаружи, а другой внутри. Внутренний Лок мог только глядеть и глядеть без конца. Но внешний, тот, который дышал, и слышал, и чувал, и

всегда бодрствовал, настоятельно стягивал и окутывал его собою, как вторая шкура. Он вселял в него свой страх, свое предчувствие опасности задолго до того, как мозг успевал осознать смысл того, что Лок видел внутри головы. Никогда в жизни не бывал он еще так напуган, теперь он боялся даже больше, чем в тот миг, когда прильнул к скале вместе с Ха, а большой кот разгуливал подле своей добычи, из которой уже высосал всю кровь, поглядывая вверх и раздумывая, стоит ли их подстеречь.

Губы Фа украдкой приблизились к уху Лока:

– Мы в ловушке.

Кустов терновника стало еще больше. Они росли очень густо в тех местах, где было удобней всего проникать на прогалину, но теперь там появились новые, в два ряда у стоячей воды и у топи. Прогалина открывалась полукружьем только в сторону реки. Трое с костяными лицами прошли через последнюю брешь, и каждый нес еще по кусту. Ими они и закрыли путь.

Фа шепнула Локу на ухо:

– Они знают, что мы здесь. И не хотят нас отпускать. Но мужчины с костяными лицами не обращали на них никакого внимания. Куст и Хвоц вернулись к реке, где бревна бились одно о другое. Каштан стал медленно обходить полукружье из кустов терновника, оборотив лицо к лесу. И все время он держал прут поперек гнутой палки. Терновник скрывал его по грудь, и, когда вдали, на равнине, заревел бык, он застыл на месте, вскинув голову, и палка слегка разогнулась. Лесные голуби опять ворковали, а солнце заглядывало с неба на верхушку мертвого дерева и оведало двоих людей своим теплым дыханием.

Кто-то с шумом вскапывал воду, и бревна стучали. Слышались удары дерева о дерево, что-то волокли по земле, раздавалась щебечущая, птичья речь; потом еще двое мужчин вышли из-за дерева на прогалину. Первый ничем не отличался от всех остальных. Волосы у него на темени торчали пучком и разрастались вокруг, причем пук этот колыхался, когда мужчина двигался. Пук направился прямо к кустам терновника и стал пристально оглядывать лес. У него тоже были гнутая палка и прут.

Второй совсем не походил на всех прочих. Он был шире в плечах и коренастый. Тело его покрывала густая шерсть, а волосы на голове лоснились, будто смазанные жиром. Волосы эти на затылке были стянуты в узел. Спереди на голове и вовсе волос не было, так что изгиб костяной кожи, пораженной своей грибной бледностью, пролегал как раз над ушами. Только теперь, в первый раз, Лок увидел уши новых людей. Они были маленькие и тесно прилегали к головам.

Пук и Каштан сидели на корточках. Они раздвигали листья и травы над следами, которые оставили Фа и Лок. Пук поднял голову и сказал:

– Туами.

Каштан указал на следы. Пук обратился к широкоплечему мужчине:

– Туами!

Широкоплечий повернулся к ним от кучи камней и палок, которыми деловито орудовал. Он издал короткий птичий звук, неожиданно тонкий, и они ответили такими же звуками.

Фа шепнула Локу на ухо:

– Это его имя...

Туами и оба других нагнулись и покачивали головами над следом. Подле дерева, где земля твердела, следы были уже неразличимы, и Лок ожидал, что новые люди станут приноживаться, но они вдруг выпрямились. Туами засмеялся. Он указывал на водопад, смеялся и щебетал. Потом он умолк, громко хлопнул в ладони, произнес какое-то слово и вернулся к куче.

Это единственное слово совершенно преобразило прогалину, новые люди стали успокаиваться. Правда, Каштан и Пук все еще внимательно следили за лесом, они стояли по краям прогалины, глядя поверх терновника, но палки свои разогнули. Хвощ не сразу взялся за мешки, он поднял руку к плечу, дернул полоску кожи и вдруг вылез из своей шкуры. При этом Лок почувствовал такую боль, будто у него на глазах под ноготь человеку возился терний; но потом он увидел, что Хвощу это нипочем, он даже рад, ему стало прохладно и удобно в белой коже. Теперь он был совсем голый, как Лок, только кусок оленьей шкуры плотно облегал его поясицу и бедра.

Потом Лок увидел еще две вещи. Новые люди двигались не так, как все твари, которых ему довелось видеть в жизни. Они сохраняли равновесие на выпрямленных ногах, туловища над бедрами были тонкие, как у осы, так что люди эти покачивались на ходу взад и вперед. Глядели они не в землю, а прямо перед собой. И еще они были не просто голодны. Лок знал, как выглядит человек, умирающий от голода. Новые люди умирали. Сквозь плоть их проступали кости, как у Мала в его последние дни. Движенья их, хотя и обладали изяществом согнутой молодой ветки, были медленны, будто они ходили во сне. Ходили они выпрямившись, и всех их ждала близкая смерть. Казалось, их поддерживало что-то не видимое Локу, они высоко держали головы, медленно и непреклонно несли их вперед. Лок знал, что, стань он сам таким тощим, как они, он давно уж был бы мертв.

Пук бросил свою шкуру на землю под мертвым деревом и теперь подымал большой мешок. Каштан спешно подоспел к нему на подмогу, и они справились вдвоем. Лок видел, как лица их сморщились, будто они смеялись друг над другом, и внезапный порыв нежности к ним захлестнул его и вытеснил обуревавшее его тягостное чувство. Он видел, как они, подсобляя друг другу, изнемогают под тяжестью, и сам ощутил невыносимое бремя и свои отчаянные усилия. Вернулся Туами. Он сбросил с себя шкуру, расправил члены, почесался и встал на колени. Потом начал разгребать

палую листву, покуда не обнажилась буроватая земля. В правой руке у него была короткая палка, и при этом он что-то говорил остальным. Те часто кивали. Бревна бились друг о друга, и от воды тоже долетали голоса. Люди на прогалине замолчали. Пук и Каштан опять стали обходить терновник.

Потом появился еще один человек. Он был высокого роста и не такой тощий, как остальные. Волосы у него подо ртом совсем поседели, как у Мала. Они кудрявились, подобно облаку, а по бокам с ушей свисали длинные кошачьи клыки. Лицо его видеть было нельзя, потому что он стоял спиной к дереву. Про себя Фа и Лок прозвали его стариком. Он стоял, глядя с высоты своего роста на Туами, и его резкий голос прерывался и рокотал.

Туами сделал на земле еще какие-то отметины. Они слились воедино, и вдруг Лок и Фа оба увидели внутри головы, как старуха проводит черту вокруг мертвого Мала. Глаза Фа скозились вбок, мигнули Локу, и она резко указала пальцем вниз, пронзив им воздух. Те люди, которые не стояли на страже, собрались вокруг Туами и переговаривались меж собой и со стариком. Они почти не размахивали руками и не приплясывали, чтоб выразить смысл, как сделали бы Лок и Фа, но их тонкие губы беспрерывно шевелились и шлепали. Старик повел рукой в воздухе, потом наклонился над Туами. И что-то ему сказал.

Туами качнул головой. Люди отошли от него и сели на землю в ряд чуть поодаль, только Пук все стоял на страже. Фа и Лок следили за тем, что делал Туами, поверх ряда рыжих голов. Туами теперь торопливо орудовал по другую сторону оголенной земли, и они видели его лицо. Меж бровями его пролегали отвесные морщины, а кончик языка двигался вслед за чертой, которую он проводил. Головы опять защebetали. Один мужчина подобрал с «емли несколько коротких палок и переломил их все до единой.

Он зажал их в кулаке, и каждый вытащил один из обломков.

Туами встал, подошел к мешку и вынул кожаный сверток. Там были камни, и деревяшки, и еще какие-то вещи, которые он разложил у отметин на земле. Потом он присел перед мужчинами, усевшимися в ряд, меж ними и землей, где были отметины. Мужчины стали издавать какие-то звуки. При этом они ударяли в ладони, и звуки сплелись с отрывистым хлопаньем. Они взмывали, и падали, и сливались воедино, хотя при этом ничуть не менялись, как струи у подножия водопада, где вода стремительно текла и при этом всегда была та же и оставалась на том же месте. В голову Лока хлынул водопад, захлестывая ее целиком, будто он глядел на водопад слишком долго и от этого его одолевал сон. Тесно облежавшая шкура слегка ослабла, поскольку он видел, что новые люди любят друг друга. Теперь стая птиц влетала в его голову, потому что он опять слышал голоса и хлоп! хлоп! – эти неумолчные звуки.

Оглушительный рев оленя, призывающего самку, раздался под самым деревом. Стая упорхнула из головы Лока. Люди пригнулись так низко, что их разнообразные головы мели волосами землю. Олень из оленей выплясывал на прогалине. Он миновал ряд голов, непрерывно выплясывая, приблизился к отметинам с другой стороны, оборотился, застыл на месте. И опять испустил свой громовой зов. Потом на прогалине наступило молчание, только лесные голуби ворковали меж собой.

Туами вдруг засуетился. Он стал швырять какие-то комья поверх отметин. Он протянул руки и с важностью делал непонятное. Оголенная земля обрела новые цвета, это были цвета осенних листьев, алых ягод, белого инея и темной копоти, которую огонь оставляет на камне. Волосы мужчин все еще ниспадали на землю, и все молчали.

Туами сидя откинулся назад. Тесно облегающая шкура Лока похолодела, как в зимнюю стужу. На прогалине теперь был еще один олень. Он лежал поверх отметин, распластанный на земле; при этом он бежал во всю прыть и все же, как голоса людей и шум водопада, оставался на месте. У него была окраска, какую олени обычно обретают в брачную пору, только он был слишком упитан, а его маленький черный глаз украдкой разглядывал Лока сквозь густой вьюнок. Лок чувствовал, что он пойман и пленен на трухлявом дереве, где вокруг непрерывно бегала и сочилась изобильная еда. Ему не хотелось даже глядеть на все это.

Фа схватила его за руку и опять тянула вверх. Он со страхом еще раз глянул сквозь листву на распластанный олень; но ничего уже не увидел, потому что оленя плотным кругом обступили люди. Хвоц держал в левой руке гладко оструганную деревяшку, и на конце ее торчал сук или обломок сука. Вытянутый палец Хвоца прижимал этот сук. Туами стоял перед Хвоцом. Он

ухватил другой конец деревяшки. Хвоц что-то говорил стоящему оленю и второму оленю, распростертому на земле. Фа и Лок услышали, что он закликает. Туами высоко воздел правую руку. Олень взревел. Туами нанес сильный удар, и блестящий камень вгрызся в дерево. На миг Хвоц застыл в неподвижности. Потом осторожно убрал руку с гладкой деревяшки, но палец по-прежнему прижимал сук. Хвоц повернулся, отошел и сел на землю среди остальных. Теперь лицо его больше прежнего казалось высеченным из кости, и шел он очень медленно, пошатываясь. Остальные протянули руки и помогли ему сесть. Он не вымолвил ни слова. Каштан вынул кожаную полосу и обмотал ему руку, а оба оленя ждали, куда дело не было сделано.

Туами перевернул деревяшку, и палец замер на миг, но сразу соскочил с тихим шлепком. Он лег прямо в лисью рыжину оленя. Туами опять сел. Двое мужчин подхватили Хвоца, который медленно валился на бок. Наступила

тишина, такая глубокая, что водопад, казалось, придвинулся и гремел где-то рядом.

Каштан и Куст встали и подошли вплотную к лежавшему оленю. Каждый держал в одной руке гнутую палку, а в другой прут с рыжими перьями на заднем конце. Стоящий олень повел человеческой рукой, будто обрызгивал их водою, потом дотянулся и погладил каждого по щеке листом папоротника. Оба медленно наклонились над лежащим на земле оленем, простирая руки вниз, а правые их локти подымались над спинами. Потом раздалось шелканье: шелк! шелк! – и два прута вонзились оленю прямо в сердце. Люди нагнулись, вытащили прутья, а олень даже не шелохнулся. Сидящие мужчины ударили в ладони, опять и опять издавая звуки, похожие на плеск воды, так что усталый Лок зевнул и облизал губы. Каштан и Куст все стояли с палками в руках. Олень затрубил, и люди склонились так низко, что волосы их упали на землю. Олень опять стал выплясывать. Его пляска вызвала протяжные возгласы. Он приблизился, потом проскакал под деревом и скрылся из виду. после чего возгласы смолкли. Позади, меж деревом и рекой, олень протрубил еще раз.

Туами и Пук бегом пересекли тропу, бросились к терновнику и раздвинули ветки в одном месте. Они стояли по обе стороны просвета, каждый оттягивал ветки на себя, и Лок увидал, что теперь глаза их зажмурены. Каштан и Куст тихонько прокрались вперед, подняв гнутые палки. Они прошли через просвет, бесшумно скрылись в лесу, и тогда Туами и Пук отпустили терновник, который сразу же сомкнулся опять.

Солнце поднялось уже так высоко, что олень, которого сделал Туами. издавал резкий запах под мертвым деревом. Хвощ сидел на земле у ствола мертвого дерева и мелко дрожал. Мужчины двинулись с места медленно и сонно, как люди, истощенные долгой проголодью. Старик вышел из-под мертвого дерева и заговорил с Туами. Теперь его волосы плотно прилегли к голове и на них играли солнечные блики. Потом он прошел вперед и поглядел на оленя. Он вытянул ногу и стал взрывать землю вокруг оленьей туши. Олень не шевелился и позволил себя закопать. Через несколько мгновений на земле не осталось ничего, кроме цветных пятен да головы с крошечным глазом. Туами повернулся, бормоча что-то про себя, подошел к одному из мешков, запустил туда руку и стал шарить. Он вытащил обломок кости, крепкий и утонченный с одного конца наподобие зуба, а с другого округлый и вылощенный. Потом опустился на колени и стал тереть округлый конец камешком, и Лок услышал скрежет. Старик подошел вплотную, указал пальцем на кость, расхохотался громовым голосом, потом сделал вид, будто вонзает что-то себе в грудь. Туами склонил голову и беспрерывно продолжал

тереть. Старик указал на реку, потом на землю и долго говорил. Туами заткнул кость и камень за кожаную полосу, которой был опоясан, встал и ушел под дерево, исчезнув из виду.

Старик кончил говорить. Он с осторожностью присел на мешок посреди прогалины. Оленья голова с крошечным глазком лежала у его ног.

Фа шепнула Локу на ухо:

– Он ушел быстро. Боится другого оленя.

И сразу же Лок увидал внутри головы оленя, который встал на дыбы и затрубил. Он кивнул в знак согласия.

ВОСЕМЬ

Фа шевельнулась с величайшей осторожностью и опять замерла. Лок поглядел в ее сторону и увидал, что у нее меж губ высунулся розовый кончик языка. Молчание тесно связало обоих, и на миг Лок увидал, как две Фа возникли из одной, отделились, и, чтоб соединить их нужна была огромная сила. Под покровом вьюнка летало множество крылатых тварей, которые тоненько пели или же садились на его тело, так что шкура часто подергивалась. Тени меж солнечных полос и бликов трепетали и опускались, куда солнце не очутилось гораздо выше прежнего. Сказанные прежде слова Мала или старухи опять звучали в ушах при всяком видении и сплетались с голосами новых людей, так что под конец Лок едва мог отличить одни от других. Едва ли это старик под деревом рассказывал голосом Мала о земле, где всегда стоит лето, и солнце палит горячо, как огонь, и плоды зрели круглый год, и невозможно отлогу стать вот таким, как сейчас эта прогалина, где терновник и мешки из звериных шкур. Чувство, всегда ощущаемое как что-то очень неприятное, нахлынуло и растеклось, как лужа. Теперь Лок уже почти привык к нему.

Он почувствовал боль в запястье. Открыв глаза, он недовольно поглядел вниз. Фа стискивала его запястье, и пальцы ее впились в плоть. Потом он явственно услышал писк нового человечка. Птичий говор и пронзительный смех новых людей зазвучали громче и веселей прежнего, будто все они вдруг стали детьми. Фа опять поворачивалась к реке. Сперва солнце, и эти сны наяву, и новые люди забавляли Лока. Потом новый человечек пискнул опять, так что Лок сам повернулся вслед за Фа и пристально поглядел в сторону реки.

Одно из двух бревен напозало на берег. Туами сидел сзади, вскапывая воду, а в середине бревна тесно сбились люди. Это были женщины, Лок мог разглядеть их обнаженные, дряблые груди. Ростом они были заметно ниже

мужчин и имели на телах меньше меха, который при желании можно снять. Волосы у них были уложены не так странно и тщательно, как у мужчин. Лица, иссеченные морщинами, казались совсем худыми. Кроме Туами, мешков и женщин с морщинистыми лицами, в бревне был человек, так приковавший к себе взгляд Лока, что он едва успел рассмотреть всех остальных. Это тоже была женщина, бедра ее окутывал блестящий мех, который подымался кверху, охватывал руки, а еще выше, у затылка, свисал маленьким мешком. Волосы были черные, лоснящиеся и окаймляли белизну лица, как лепестки на цветке. Плечи и грудь были белые, невиданно белые, особенно при сравнении, потому что по ним карабкался новый человечек. Он пытался спастись от воды и карабкался напрямик к мешку и затылка, а женщина смеялась, сморщив лицо и открыв рот. так что Лок разглядел ее удивительные, ослепительно белые зубы. Столь много надо было увидеть Локу, что он опять весь превратился в глаза, которые все замечали и, может, потом напомнят про то, чего он теперь осознанно не воспринимал. Женщина эта была сытая, гораздо упитанней остальных, как, впрочем, и старик; но она не была старая, как он, и на сосках ее груди проступало молоко. Новый человечек ухватился за ее лоснящиеся волосы и теперь подтягивался все выше, а она пыталась стянуть его обратно вниз; голова ее склонилась набок, лицо было обращено кверху. Всплеснулся смех, напоминавший чарующий повист скворцов. Лок уже не видел бревна сквозь дырку, но услышал шелест прибрежных кустов, похожий на вздох.

Он повернулся к Фа. На лице ее застыл безмолвный смех, и она трясла головой. Она поглядела на него, и он увидал, что вода скопилась в ее глазницах, воды этой было столько, что в любой миг она могла переполнить впадины и выплеснуться наружу. Фа оборвала смех, лицо ее стало медленно сморщиваться, и вот уже показалось, будто в бок ей вонзился длинный шип и она страдает от мучительной боли. Губы сомкнулись, потом опять раздвинулись, и, хотя она только беззвучно шевельнула ими, он знал, что она вымолвила слово:

– Молоко...

Смех умолк, и вместо него раздался шумный говор. Слышались тяжелые удары, какие-то вещи выволакивали из бревна и швыряли на берег. Лок проделал еще дыру во вьюнке и поглядел вниз. Он знал, что рядом с ним Фа сделала то же самое.

Сытая женщина утихомирила нового человечка. Теперь она стояла на берегу, у самой воды, а он сосал ее грудь. Другие женщины сновали вокруг, тащили или развязывали мешки, и руки их были сообразительны, что-то быстро скручивая и перемещая. Одна, увидал Лок, была еще совсем девочка, высокая и худощавая, бедра ее были обмотаны оленьей шкурой. Она глядела на мешок, который лежал у самых ее ног. Какая-то из женщин развязывала

этот мешок. Пристально вглядываясь, Лок увидал, что мешок, судорожно трепыхаясь, беспрерывно меняет форму. Вот его открыли, и сразу же изнутри вывалилась Лику. Она упала на четвереньки, потом вдруг прыгнула. Лок увидал, что длинная и узкая кожаная полоса тянется от ее шеи и, когда она прыгнула, женщина бросилась наземь и вцепилась в эту полосу. Лику перекувырнулась в воздухе и с глухим стуком опрокинулась на спину. Скворцы опять завели свою чарующую песнь. Лику дернулась, пробежала по кругу, потом присела под деревом. Лок видел ее округлый живот, к которому она прижимала малую Оа. Та женщина, которая развязала мешок, обошла дерево, протаскивая за собой кожаную полосу, и завязала ее конец в тугий узел. Потом она ушла. Сытая женщина подошла к Лику, причем Лок увидал ее лоснящуюся макушку и ровно посередине белую линию, которая разделяла волосы на две половины. Она заговорила с Лику, встала на колени, заговорила опять, со смехом, а новый человечек льнул к ее груди. Лику ничего не ответила, только передвинула малую Оа с живота на грудь. Женщина встала и ушла.

Девочка приблизилась, медленно, будто истощенная голодом, и села на расстоянии своего роста от Лику. Она ничего не сказала, но пристально вглядывалась. Некоторое время обе девочки молчали, потом Лику шевельнулась. Она сорвала что-то со ствола дерева и положила в рот. Худошавая девочка все смотрела пристально, меж бровями у нее появились поперечные морщинки. Она тряхнула головой. Лок и Фа переглянулись и отчаянно затрясли головами. Лику сорвала с дерева еще кусочек гриба и протянула девочке, но та отпрянула. Потом подошла опять, опасно протянула руку и с ловкостью схватила еду. Она поколебалась, но все же положила еду в рот и стала жевать. При этом она беспрерывно озиралась по сторонам, особенно пристально поглядывая туда, где скрылись другие женщины, потом проглотила кусочек гриба. Лику дала ей еще кусочек, такой маленький, какой едят только дети. Девочка проглотила опять. Потом они молча стали глядеть друг на друга.

Девочка указала на малую Оа и задала вопрос, но Лику ничего не ответила, и на время наступило молчание. Лок и Фа видели, как девочка разглядывает Лику, всю, с головы до ног, и, быть может, хоть они и не могли видеть лица Лику, та делала то же самое. Лику сняла с груди малую Оа и положила ее себе на плечо. Девочка вдруг засмеялась, обнажив зубы, потом засмеялась Лику, и теперь уже смеялись обе.

Лок и Фа смеялись тоже. Чувство, которое владело Локом, стало теплым и лучезарным, как солнце. Он пустился бы в пляс, не мешая этому Лок-внешний, который настойчиво требовал прислушиваться к опасности.

Фа прильнула головой к его голове. – Когда станет темно, мы заберем Лику и убежим. Сытая женщина спустилась к воде. Там она сбросила с себя

мех и села, причем они увидели, что нового человечка на ней уже нету. Мех соскользнул с ее плеч, и она осталась обнаженной до пояса, волосы и кожа блестели при свете солнца. Она подняла руки к затылку, наклонилась и стала приводить в порядок свои волосы. Вдруг, совсем неожиданно, лепестки опали, извиваясь черными змеями по ее плечам и грудям. Она вскинула голову, как лошадь, черные змеи стремительно отползли назад, и они опять увидели ее обнаженные груди. Она вынула из волос длинные белые тернии и сложила их кучкой подле воды. Потом ошупала колено и достала кусок кости, разделенный, как пальцы на руке. Она подняла руку и стала водить костяными пальцами по волосам, покуда они не перестали змеиться и сделались черным, сверкающим водопадом, но по-прежнему белая черта аккуратно разделяла их точно посередине темени. Она перестала играть со своими волосами и теперь глядела на двух девочек, время от времени говоря им что-то. Худошавая девочка составляла на земле веточки одну к другой так, что они образовывали остроконечный деревянный холмик. Лику стояла на четвереньках и молча следила за ней. Сытая женщина опять принялась за свои волосы, она то и дело сучила руками, пропускала пряди меж пальцев, приглаживала, проводила то там, то здесь костяной рукой, наклонялась и пригибала голову почти к самой земле; и волосы обретали совсем иной вид, они теперь возвышались бугром, а наверху тесно сплетались.

Лок услышал голос Туами. Сытая женщина поспешно подхватила свой мех, продела сквозь него голову и плечи, так что мех прикрыл ее пуп и широкий белый крестец. Теперь были видны только ее груди, покоившиеся среди меха, как в колыбели. Она глянула вбок, под дерево, и Лок знал, что она разговаривает с Туами. Она разговаривала и при этом смеялась без умолку.

Старик громко заговорил с прогалины, и теперь, когда внимание Лока было устремлено уже не только на девочек, он понял, как много других новых звуков витало вокруг. Где-то с треском ломали ветки, и в костре громко трещали дрова, а люди оглушительно колотили по каким-то штукам. Не только старик, но и все остальные повелевали птичьими голосами. Лок блаженно зевнул. Скоро наступит темнота, и он сразу же убежит отсюда, унося на спине Лику.

Туами вернулся под дерево и заговорил со стариком. Хвощ появился на заднем конце бревна. Там же высокой грудой были навалены ветки, а в воде, чуть позади, виднелись тяжелые бревна с прогалины на острове. Тень Хвоща лежала теперь прямо перед ним, потому что солнце уже стало клониться к закату от высшей точки своего стремительного движения по небосводу. Солнце слепило глаза Лока своей яркостью, преломляясь в воде вокруг бревен и вынуждая его моргать. Хвощ и сытая женщина коснулись своих густоволосых голов и о чем-то коротко перемолвились. Потом прямо под

Локом появился старик и замахал руками, говоря что-то громким голосом. Сытая женщина засмеялась, вскинув голову, поглядывая на него искоса, а отблески реки мельтешили и дрожали на ее ослепительно белой коже. Старик опять ушел.

Дети сошлись почти вплотную. Худощавая девочка наклонилась над своей пещеркой из веток, а Лику сидела на корточках подле нее так близко, как только позволяла узкая кожаная полоса. Худощавая девочка держала в обеих руках малую Оа, поворачивала ее так и этак и рассматривала с живым любопытством. Она заговорила с Лику, потом бережно уложила малую Оа в пещерке лицом кверху. Лику глядела на нее с обожанием.

Сытая женщина встала, приглаживая на себе мех. Она повесила на шею какую-то блестящую штуку, которая ниспадала меж ее грудей. Лок увидел, что это был один из тех красивых изогнутых желтых камней, какие люди иногда подбирали с земли, чтоб поиграть, а потом отшвыривали прочь. Сытая женщина подошла, покачивая бедрами, а потом скрылась из виду на прогалине. Лику что-то втолковывала худощавой девочке. Они тыкали пальцами друг в дружку.

– Лику!

Худощавая девочка засмеялась, расплывшись от уха до уха.

Она радостно хлопнула в ладоши:

– Лику! Лику!

Потом она ткнула пальцем себе в грудь:

– Танакиль.

Лику возразила серьезно:

– Лику.

Худощавая девочка трясла головой, и Лику трясла головой тоже.

– Танакиль.

Лику произнесла, выговаривая старательно и с трудом:

– Танакиль.

Худощавая девочка одним прыжком очутилась у самых ее ног, громко закричала, захлопала в ладоши и засмеялась. Одна из женщин с морщинистым лицом подошла и остановилась, глядя на Лику. Танакиль что-то сказала ей скороговоркой, указала пальцем, кивнула, потом отвернулась и опасливо сказала Лику:

– Танакиль.

Лицо Лику исказилось от напряжения.

– Танакиль.

Все три засмеялись. Танакиль подошла к мертвому дереву, осмотрела его, что-то приговаривая, отломала кусочек желтого гриба, того самого, которым ее угощала Лику. Она отправила этот кусочек в рот. Сморщенная женщина взвизгнула так пронзительно, что Лику со страху повалилась наземь.

Сморщенная женщина злобно ударила Танакиль по плечу с визгом и криком. Танакиль поспешно запустила пальцы в рот и вытащила кусочек гриба, Женщина выбила его у нее из руки таким сильным шлепком, что гриб улетел прямо в реку. Она завизжала на Лику, и та проворно улизнула к дереву. Женщина нагнулась к ней, оставаясь, однако, на недоступном расстоянии, и неожиданно испустила свирепый звук.

– А! – вскрикнула она. – А!

Потом она в ярости напустилась на Танакиль, все время что-то приговаривая, и подталкивала ее одной рукой, а другую уперла в бок. Она все подталкивала и приговаривала, понуждая Танакиль выйти на прогалину. Танакиль брела неохотно, оглядываясь назад. Потом и она исчезла из виду. Лику подползла к пещерке, схватила малую Оа и опять улизнула под дерево, прижимая малую Оа к груди. Морщинистая женщина вернулась и пристально взгляделась в нее. Морщины на ее лице отчасти разгладились. Сперва она ничего не сказала. Просто нагнулась, все еще держась от Лику на расстоянии в длину кожаной ленты.

– Танакиль.

Лику не шевелилась. Женщина подобрала с земли ветку и с опаской протянула ей. Лику нерешительно взяла ветку, понюхала и швырнула на землю. Женщина заговорила опять:

– Танакиль?

Ответом было лишь воркованье лесных голубей, да еще блики света, отбрасываемые водой, играли на ее лице.

– Танакиль!

Лику не отвечала. Женщина ушла.

Фа убрала ладонь, которой зажимала Локу рот.

– Не говори с ней.

Глядя на него, она хмурилась. Шкура его теперь дрожала уже не так часто, потому что женщина отошла от Лику – Лок-внешний напомнил ему, что надо быть настороже.

Посреди прогалины раздались громкие голоса. Лок и Фа опять перебрались по веткам на другое место. Оба увидали, что внизу изменилось многое. Большой, яркий костер пылал на прогалине, и густой дым подымался прямо к небу. По обе стороны прогалины были сооружены пещеры из веток, которые новые люди привезли на своих долбленых бревнах. Мешки почти все куда-то исчезли, и около костра было теперь много простора. Люди собрались там и что-то говорили. Они стояли перед стариком, и он говорил в ответ. Они простирали к нему руки, все, кроме Туами, который стоял в стороне, будто был совсем из других людей. Старик тряс головой и кричал. Люди отворачивались, покуда не стали видны только их спины, и при этом тихонько бормотали меж собой. Потом они опять надвинулись на старика и

закричали. Он качнул головой, повернулся к ним задом, нагнулся и нырнул в пещеру налево. Люди обступили Туами, не переставая кричать. Он поднял руку, и они замолчали все разом. Он указал на голову оленя, которая все лежала на земле, проглядывая меж бревен, пылавших в костре. Он мотнул головой в сторону леса, а люди опять загомонили. Старик вылез из пещеры и поднял руку, как только что сделал Туами. Люди на миг умолкли.

Старик сказал всего одно слово, но сказал его очень громко. И люди сразу подняли оглушительный шум. Даже их обычно медленные движения стали быстрее. Сытая женщина вынесла из пещеры странный с виду мешок. Он был из цельной шкуры неизвестного зверя, но при этом переколыхивался, будто зверь состоял из воды. Люди проворно принесли полые деревяшки и стали подставлять их под зверя, а тот мочился прямо в них. Он наполнил каждую до краев, и Лок видел, как сверкала вода, изливаясь в деревяшки. Сытая женщина радовалась зверю, в точности как радовалась новому человечку; остальные люди тоже радовались, даже старик, он ухмылялся, а иногда хохотал. Люди уносили наполненные деревяшки к костру, держа их бережно, чтоб не расплескать, хотя в реке было сколько угодно воды. Они опускались на колени или же садились с осторожностью, прикладывая деревянные ко рту и пили. Туами с блаженной ухмылкой тоже опустился на колени рядом с сытой женщиной, и зверь помочился прямо ему в рот. Фа и Лок съежились на дереве, лица их исказились. Комок то подкатывал к самому горлу Лока, то падал глубоко в брюхо. Еда, которая витала меж сучьев дерева, садилась и ползала по его шкуре, а он кривился, рассеянно кидая этих мелких тварей себе в рот одну за другой. Он облизывал губы, кривился и позевывал. Потом поглядел вниз, на Лику.

Худошавая девочка уже вернулась. Теперь от нее исходил совсем другой запах, пахло кислотой, но вид у нее был веселый. Она заговорила с Лику тоненьким птичьим голосом, и Лику немного отошла от дерева. Танакиль глянула вбок, где люди толпились вокруг костра, потом опасливо подкралась к Лику. Она ухватила кожаную полосу в том месте, где полоса окружала ствол, и стала раскручивать. Полоса соскользнула со ствола.

Танакиль обмотала конец вокруг запястья, причем она все время пригибалась и пошатывалась, металась из стороны в сторону, так что движения ее походили на полет ласточки в разгаре лета. Она обошла дерево, и кожаная полоса волочилась за нею. Потом она что-то сказала Лику, слегка потянула кожаную полосу, и обе девочки куда-то пошли.

При этом Танакиль болтала без умолку. А Лику все лънула к ней и слушала очень внимательно. Лок и Фа явственно видели, как она насторожила уши. Локу пришлось продырявить еще отверстие, чтоб увидеть, куда они ушли. Танакиль повела Лику, чтоб показать ей мешок.

Лок медленно, как во сне переполз на другой сук, откуда мог видеть прогалину. Старик настороженно обходил прогалину и сжимал одной рукою седые волосы у себя подо ртом. Все люди, кроме тех, которые стояли на страже или поддерживали огонь в костре, полегли ничком, распластанные, как мертвецы. Сытая женщина опять ушла в пещеру.

Старик на что-то решился. Лок видел, как он убрал руку от лица. Потом громко хлопнул в ладони и заговорил. Мужчины, лежавшие ничком у костра, нехотя встали на ноги. Старик указывал – на реку, понукая. Мужчины сперва молчали, потом замотали головами и вдруг заговорили все разом. Голос старика зазвучал сердито. Он отошел к воде, остановился, что-то отрывисто сказал через плечо и указал на долбленные бревна. Медленно, как во сне мужчины пошли напролом через кустарник по земле, устланной палой листвой. Они что-то бормотали про себя и в то же время тихонько переговаривались. Старик закричал так же зычно, как женщина кричала на Танакиль. Сонные мужчины дошли до берега, остановились и глядели на долбленные бревна молча и неподвижно. Запах кислятины от переколыхивавшегося зверя окутал Лока, как гнилая осенняя сырость. Туами прошел через прогалину и остановился позади.

Старик долго говорил. Туами, кивая, ушел, и вскоре Лок услышал удары рубила. Двое других мужчин вытащили из кустов кожаные ленты, прыгнули в воду, оттолкнули задний конец первого бревна в реку, а передний подтянули к берегу. Они остановились с боков у конца и стали подымать. Потом оба, запыхавшись, нагнулись над бревном. Старик опять закричал, подняв обе руки. Потом указал пальцем. Мужчины опять стали подымать. Подоспел Туами с обломком сука, который был гладко оструган с конца. Мужчины стали рыть мягкую землю на берегу. Лок повернулся в своем гнезде и отыскал глазами Лику. Он увидел, как Танакиль показывает ей всякие удивительные и чудесные штуки, связку морских ракушек, которые были нанизаны на волокно, и фигурку Оа, совсем как живую, так что Лок подумал, что она просто уснула или же умерла. Танакиль все сжимала рукой кожаную полосу, но полоса эта повисла, потому что Лику сама льнула к старшей девочке, глядя на нее с восторгом, как глядела на Лока, когда он качал ее на ветке или дурачился, чтоб ее насмешить. Косые солнечные лучи падали на прогалину через долину. Старик опять закричал, и женщины, услышав его голос, стали, широко зевая, выползать из лиственных пещер. Он закричал еще раз, и они с трудом доплелись до дерева, переговариваясь меж собой, как недавно переговаривались мужчины. Вскоре все они исчезли из виду, все, кроме мужчины, который стоял на страже, да детей.

Меж деревом и рекой раздались какие-то совсем другие крики. Лок повернулся взглянуть, что там происходит.

– Э-эх! Э-эх! Э-эх!

Новые люди, мужчины и женщины, все скопом откинулись назад. Долбленое бревно глядело прямо на них, и нос его лежал на другом бревне, которое приволок Туами. Лок сообразил, что этот конец был носом, потому что с боков его были глаза. Он не заметил их раньше, потому что прежде они были прикрыты какой-то белой пеленой, которая теперь потемнела и стала как бы размытой. Люди были прикреплены к бревну кожаными полосами. Старик понукал их, и они пыхтя клонились назад, причем ноги их взрывали мягкую землю и комья летели во все стороны. Они продвигались рывками, и бревно волоклось им вослед, все время пристально глядя. Лок видел морщины и пот на лицах, когда они брели под деревом, а потом медленно исчезли из виду. Старик шел за ними, и крик его не смолкал.

Танакиль и Лику вернулись к дереву. Лику одной рукой сжимала запястье Танакиль, а другой малую Оа. Крик смолк, люди угрюмо вышли на прогалину и встали в ряд у реки. Туами и Хвощ вошли в воду близ второго бревна. Танакиль прошла вперед, но Лику отпрянула. Танакиль стала ей что-то втолковывать, но Лику никак не хотела подойти к воде. Танакиль рванула кожаную полосу. Лику на четвереньках упиралась в землю руками и ногами. Танакиль пронзительно завизжала на нее, совсем как сморщенная женщина. Она схватила палку, что-то выкрикнула резким злобным голосом и рванула опять. Лику все упиралась, и Танакиль ударила ее палкой по спине. Лику взвыла, а Танакиль дергала и била.

– Э-эх! Э-эх! Э-эх!

Нос второго бревна насунулся на берег, но не хотел лезть дальше. Он соскользнул назад, и люди попадали наземь. Старик закричал во все горло. В ярости он указал на реку, на водопад, потом на лес, и все время голос его свирепел. Люди громко и злобно огрызались в ответ. Танакиль перестала колотить Лику и глядела на взрослых. Старик расхаживал вокруг, подымая людей пинками. Туами стоял в стороне и глядел на него, пронзительно, совсем как глаза на конце бревна, в полном молчании. Люди медленно, с трудом, встали на ноги и опять взялись за кожаные полосы. Танакиль это наскучило, она отвернулась и встала на колени подле Лику. Взяв какие-то камушки, она подбросила их высоко в воздух и попыталась поймать тыльной стороной узкой руки. Вскоре Лику уже опять глядела на нее с жадным любопытством. Бревно выползло из воды на берег, вильнуло, потом прочно улеглось на суше. Люди опять откинулись назад и скрылись из виду.

Лок поглядел вниз на Лику, ему радостно было увидеть ее округлый живот и убедиться, что теперь, когда Танакиль перестала орудовать палкой, она успокоилась. Он вспомнил про нового, который сосал грудь сытой женщины, и улыбнулся Фа, притаившейся сбоку. Фа криво ухмыльнулась в ответ. Вид у нее был совсем не такой радостный, как у него. Тягостное чувство внутри сникло и растаяло, как изморозь на каменистой равнине,

настигнутая солнцем. Эти люди, у которых было столько удивительного, уже не представлялись ему такой прямой и близкой угрозой, как еще совсем недавно. Даже Лок-внешний был убаюкан и утратил свою чуткую восприимчивость к звукам и запахам. Он протяжно зевнул и прижал ладони к глазницам. Стая кружила в свободном парении, будто ветер знойным летом выпугнул птиц из кустов и струи горячего воздуха несут их над землей. Лок услышал у себя над ухом шепот Фа:

– Помни, мы заберем их, когда стемнеет. Он увидел внутри головы, как сытая женщина смеется и кормит нового человечка грудью.

– Чем ты станешь его кормить?

– Нажую еды и положу ему в рот. А может, у меня появится и молоко.

Он подумал над этим. Фа заговорила опять:

– Скоро новые люди заснут.

Новые люди еще не спали и не похоже было, что они собираются спать. Они шумели теперь пуще прежнего. Оба бревна были на прогалине, и под них подложили поперечно толстые круглые палки. Новые люди столпились вокруг крайнего бревна и вопили на старика. Он в ярости указывал на тропу, которая вела к лесу, издавая трепыхающиеся, кружащие птичьи звуки. Люди мотали головами, сбрасывали с себя кожаные полосы, отходили к своим пещерам. Старик потрясал кулаками, воздетыми в глубокой синеве, потом стал колотить себя по темени; но люди шли, медленно, сонно, прямо к костру и пещерам. Когда старик остался совсем один подле долбленых бревен, он замолчал. Под деревьями сгущались сумерки, и солнце ускользало с земли.

Старик медленно поплелся к реке. Потом остановился, но Лок и Фа не увидели на его лице никакого выражения, потом вдруг быстро вернулся, подошел к своей пещере и исчез внутри. Лок услышал голос сытой женщины, и старик опять вышел. Он побрел к реке по собственным стопам, но на этот раз не остановился возле бревен, а зашагал мимо, напрямик. Он прошел под деревом, остановился меж деревом и рекой, глядя на детей.

Танакиль учила Лику ловить камешки, и обе девочки давно позабыли про палку. Когда Танакиль увидела старика, она вскочила, спрятала руки за спину и почесала одну ногу о другую. Лику как могла подражала ей. Старик сперва помолчал. Потом мотнул головой в сторону прогалины и что-то сказал резким голосом. Танакиль схватила рукой конец кожаной ленты и пошла под дерево, ведя за собой Лику. Осторожно повернувшись, Лок увидел, что девочки скрылись в пещере. Когда он опять поглядел в сторону реки, старик стоял и мочился у самой кромки берега. Солнечный свет ускользнул с воды и запутался в верхушках деревьев на той стороне. Над водопадом и над долиной растеклось огромное багровое зарево, и вода шумела оглушительно громко. Старик вернулся к дереву, остановился под ним и пристально взгляделся в кусты терновника, где стоял страж. Он обошел дерево с другой

стороны и вгляделся опять, тревожно озираясь. Потом вернулся назад и привалился к дереву спиной, глядя на воду. Он запустил руку под свою шкуру на груди и вытащил какой-то ком. Лок принюхался, пригляделся и узнал, что это такое. Старик ел то самое мясо, которое предназначалось для Лику. Он стоял, привалясь спиной к дереву, наклонив голову, вывернув локти, и рвал, грыз, жевал. Слышно было, как он деловито трудится над мясом, будто жук среди ветвей мертвого дерева.

Кто-то приближался. Лок слышал шаги, а старик, который громко чавкал, еще нет. Пришелец обошел вокруг дерева, увидел старика, остановился и взвыл от ярости. Это был Хвоц. Он выбежал на прогалину, остановился подле костра и завопил во все горло. Из темных пещер вылезли люди, мужчины и женщины. Темнота над землей уже кишела ими, а Хвоц пнул костер ногой так, что над ним взметнулись искры и языки пламени. Потом целый разлив огня затопил кишашую людьми темноту под тихим, ясным небом. Старик кричал возле бревен; Хвоц тоже кричал, указывая на него, и сытая женщина вышла из пещеры, а новый человечек висел у нее на плече. Вдруг люди бросились к старику. Он прыгнул в одно из бревен, схватил деревянный лист и замахнулся. Сытая женщина завизжала на людей, и поднялся такой шум, что птицы, хлопая крыльями, снялись с деревьев. Голос старика стал теперь мрачным, как окружающая темнота. Люди немного успокоились. Туами, который не вымолвил ни слова, но все время стоял возле сытой женщины, теперь наконец сказал что-то, и люди громко подхватили его слова. Старик указывал на голову оленя, которая лежала у костра, но люди зычно повторяли опять и опять какое-то слово и, как казалось по звукам, подступали все ближе. Сытая женщина нырнула в пещеру, и Лок увидал, что все люди устремили глаза на вход. Она вышла, но не с новым человечком, а с тем зверем, который переколыхивался. Люди закричали и захлопали в ладони. Они быстро ушли и вернулись, неся полые деревяшки, а зверь с плеча сытой женщины помочился в них. Люди выпили, и Лок видел при свете костра, как перекатывались их кадыки. Старик махал руками, отгоняя их назад, в пещеры, но они не хотели идти. Они опять подошли к сытой женщине и набрали еще питья. Сытая женщина теперь уже не смеялась, она поглядела на старика, на людей, а потом на Туами. Он стоял вплотную к ней, и лицо его расплылось в улыбке. Сытая женщина попробовала унести зверя назад в пещеру, но Хвоц и еще какая-то женщина не дали ей сделать это. Тогда старик рванулся вперед, и в толпе завязалась драка. Туами стоял в стороне и глядел так, будто он просто нарисовал всех этих людей падкой в воздухе. Подоспели еще люди. Толпа топталась на месте, все время поворачиваясь, а сытая женщина визжала. Переколыхивающийся зверь соскользнул с ее плеча и сразу исчез. Несколько человек упало на него. Лок услышал лопающийся звук, после чего куча

упавших стала понижее. Потом люди расползлись в стороны, и показался зверь, распластанный на земле, в точности как олень, которого сделал Туами, но гораздо больше похожий на мертвечину.

Старик вдруг выпрямился и казался теперь очень высоким. Лок зевнул. То, что он видел, не укладывалось в голове. Веки его закрылись, дрогнули, раскрылись опять. Старик воздел кверху обе руки. Он повернулся к людям, и голос его прозвучал так грозно, что они задрожали от страха. Потом попятились. Сытая женщина сразу улизнула в пещеру. Туами куда-то исчез. Голос старика загремел, оборвался, руки упали. Теперь всюду водворилось молчание и витал страх и запах кислятины от дохлого зверя.

Сперва люди молчали, чуть присев и отшатнувшись. Вдруг одна из женщин выбежала вперед. Она завизжала на старика, потерла себе живот, нацелила на него сморщенные груди, выставив их напоказ, и плюнула в его сторону. Люди опять зашевелились. Они кивали и кричали. Но старик перекричал их, заставил молчать и указал на голову оленя. Наступила тишина. Глаза людей устремились вперед и вниз, на оленя, который все разглядывал Лока маленьким глазом через дырку в листе вьюнка.

В лесу за прогалиной раздался шум. И люди тоже постепенно этот шум у слышали. Там кто-то завывал. Кусты терновника колыхнулись, раздвинулись; Каштан, у которого левая нога поблескивала от кровавых потеков, появился в просвете, он прыгал на одной ноге, держась за Куста. Увидав костер, он лег на землю, и одна из женщин подбежала к нему. Куст подошел к людям.

Веки Лока тяжело опустились и сразу же распахнулись опять. На какой-то миг, словно в дремоте, он увидел внутри головы, как он рассказывает Лику про все это, а она понимает ничуть не больше, чем он сам.

Сытая женщина показалась возле пещеры, и при ней был новый человечек, который сосал ее грудь. Куст что-то спросил. В ответ раздался крик. Та женщина, которая выставляла напоказ свою дряблую грудь, теперь указывала на старика, на мертвое дерево и на людей. Каштан плюнул на оленью голову, а люди опять закричали и двинулись вперед. Старик воздел руки и заговорил пронзительно, угрожающе, но люди только фыркали и хохотали. Каштан стоял подле самой оленьей головы. Глаза его поблескивали при свете костра, как два прозрачных камня. Он стал вытаскивать прут из-под своей шкуры, а в другой руке держал гнутую палку. Он и старик пристально глядели друг на Друга.

Старик сделал шаг в сторону и быстро заговорил. Он подошел к сытой женщине, протянул руки и хотел отнять у нее нового человечка. Она живо нагнулась и цапнула его за руку острыми зубами, как сделала бы на ее месте всякая женщина, отчего старик взвыл и заплясал. Каштан положил прут поперек согнутой палки и оттянул назад рыжие перья. Старик перестал

плясать и пошел прямо на него, вытянув вперед руки и прикрываясь ладонями от прута. Когда старик уже почти мог дотянуться до головы Каштана, он остановился и сжал все пальцы на правой руке, кроме указательного. Потом повел этим пальцем в воздухе и наставил его на одну из пещер. Люди молчали, затаив дыхание. Сытая женщина издала короткий пронзительный смех и опять притихла. Туами не отрываясь глядел старику в спину. Старик окинул взглядом прогалину, всмотрелся в густую тьму под деревьями, потом опять поглядел на людей. Все они ждали молча.

Лок зевнул и отодвинулся к дуплу под верхушкой дерева, откуда не было видно этих людей и все их стойбище представлялось лишь мерцающими отраженными бликами костра на листве деревьев. Он поднял голову и поглядел на Фа, предлагая ей устроиться рядом и поспать вволю, но она этого даже не заметила. Он видел ее лицо и глаза, которые пристально всматривались сквозь вьюнок, широко открытые, немигающие. Она была так поглощена, что, даже когда он притронулся к ее ноге, не шевельнулась и все глядела. Он увидел, как рот ее открылся, дыхание участилось. Она так отчаянно сжимала гнилой сук, что дерево хрустело и крошилось в сырую труху. Несмотря на всю усталость, это вызвало у Лока любопытство и даже испуг. Он увидел внутри головы, как один из новых людей лезет на дерево, отшатнулся и стал раздвигать вьюнок. Фа быстро глянула в сторону, и лицо у нее было как у спящего, которому снится кошмарный сон. Она стиснула руку Лока и принудила его спуститься ниже. Там она схватила его за плечи и спрятала голову у него на груди. Лок обнял ее одной рукой, и при этом прикосновении Лок-внешний ощутил теплую радость. Но Фа испытывала совсем другие чувства. Она опять встала на колени, привлекла Лока к себе, прижала его голову к своей груди, а сама все глядела вниз сквозь листву, и сердце ее тревожно билось где-то у самой его щеки. Он захотел увидеть, что ее так напугало, но при первой же попытке высвободиться она еще сильнее прижала его к себе, так что он видел только ее угловатую челюсть и глаза, широко открытые, открытые всегда, глядящие пристально.

Летучая стая вернулась в голову, а от тела Фа исходило тепло. Лок покорился, зная, что Фа его разбудит, когда новые люди уснут, и они смогут убежать вместе с детьми. Он приник к ней, обхватил ее обеими руками, положил голову поближе к бьющемуся сердцу, а руки Фа крепко обнимали его, и стая, которая теперь опять кружила, стала претворяться в далекий мир сна, наступившего от изнеможения.

ДЕВУТЬ

Он проснулся, пытаясь вырваться из рук, которые пригнетали его книзу, чьи-то локти лежали у него на плечах, а ладонь гладила по лицу. Он заговорил, залопотал глухо под пальцами, почти готовый их укусить, охваченный привычным уже, хотя вместе с ^ем новым для себя, страхом. Лицо Фа было совсем близко, она не давала ему вырваться, а он колотил кулаками по листве и гнилому, заплесневелому дереву.

– Молчи!

Она сказала это почти громко, сказала таким простым, обыденным голосом, будто новых людей вокруг уже и в помине не было. Он перестал вырваться, проснулся окончательно и увидел, что на темной листве дрожит и играет свет, блики его местами освещают окружающую темноту и беспрестанно мечутся из стороны в сторону. Над деревом во множестве горели звезды, они были совсем крошечные и едва светились по сравнению с ярким костром. Пот струился по лицу Фа, и ее мохнатое тело, Лок это чувствовал, тоже было мокрым. Увидав ее, он сразу же услышал ч новых людей, которые расшумелись, как целая стая волков. Они кричали, смеялись, пели, гомонили на своем птичьем языке, а огонь в костре неистово метался вместе с ними. Лок повернулся и запустил пальцы в листву, чтоб проделать отверстие и увидеть, что происходит.

Вся прогалина была залита светом костра. Новые люди выволокли на берег огромные бревна, которые переправил через реку Хвощ, и поставили их наклонно вокруг костра, так что верхними концами они упирались друг в друга. Костер не давал ни тепла, ни успокоения – он был страшен, как водопад, как большой злобный кот. Лок видел кусок того бревна, которое убило Мала, его прислонили к груди, и твердые, похожие на уши грибы, казалось, были раскалены докрасна. Из груды дров извергались огненные языки, будто их выдавливали снизу, они были красные, и желтые, и белые, а вокруг сыпались, исчезая из виду, мелкие искорки. Концы огненных языков там, где они тускнели, вздымались до той высоты, где сидел Лок, и окутывавший их синий дым был едва видим. Вокруг груды, из которой выбивалось пламя, свет затоплял всю прогалину, но свет не теплый, а враждебный, красный, даже раскаленный добела, ослепительно яркий. Свет этот трепетал, как сердце, так что деревья, обступавшие поляну, с их скопищами кудрявой листвы, будто прыгали из стороны в сторону и отверстия в листве вьюнка тоже.

Да и сами новые люди ходили на огонь, они были желтые и белые, потому что сбросили с себя меховые шкуры и остались нагими, только полосы кожи были обмотаны вокруг чресел. Они прыгали из стороны в сторону наравне с деревьями, и волосы их ниспадали и разметались, так что Локу нелегко было отличить мужчин. Сытая женщина привалилась к одному из долбленных бревен, обхватив себя обеими руками, обнаженная до пояса,

тело у нее было белое с желтым отливом. Голову она запрокинула, шею изогнула, рот был разинут, она хохотала, а ее спутанные волосы свисали до самого дна долбленного бревна. Туами присел на земле подле нее, припав лицом к ее левой руке; при этом он двигался, не просто покачиваясь то назад, то вперед, как пламя костра, он тянулся кверху, скользя губами, перебирая пальцами, всползая все выше, будто пожирал ее плоть, и тихонько подбирался к обнаженному плечу. Старик валялся в другом полом бревне, и ноги его торчали над боковинами. В руке он сжимал округлый камень, то и дело поднося его ко рту, а в промежутках пел. Другие мужчины и женщины как попало расселись на прогалине. Они держали в руках такие же округлые камни, и теперь Лок увидел, что новые люди пьют из них. Он учуял острый запах напитка. Этот напиток был слаще и крепче прежнего, он был могуществен, как огонь и водопад. Это была пчелиная вода, она пахла медом, и воском, и прелью, она одновременно притягивала и отталкивала, пугала и будоражила, как и сами новые люди. У костра лежало еще много таких камней с дырками наверху, и особенно сильный запах исходил именно оттуда. Лок увидел, что люди, когда кончали пить, подходили к этим камням, подбирали их и пили опять. Девочка Танакиль лежала навзничь перед одной из пещер совсем как мертвая. Рядом мужчина и женщина дрались и целовались, хрипло вскрикивая, а другой мужчина беспрерывно ползал вокруг костра, как бабочка с обожженными крыльями. Он все ползал на четвереньках, но остальные не обращали на него ни малейшего внимания и лишь шумели вовсю.

Туами уже подобрался к шее сытой женщины. Он тянул ее к себе, она смеялась и трясла головой, а руками стискивала его плечи. Старик распевал, люди дрались, мужчина все ползал на четвереньках вокруг костра, Туами припадал к сытой женщине, и все это время прогалина металась взад-вперед и из стороны в сторону.

Света было полным-полно, и Лок ясно видел Фа. Глаза его устали от беспрерывного мельтешения, поскольку он старался уследить за всем, и теперь он, повернувшись, стал глядеть на нее. Она тоже мельтешила, но не так быстро; здесь, в отдалении от костра, лицо у нее было очень спокойное. Глаза смотрели пристально, они будто ни разу не мигнули и не скозились вбок с тех пор, как он проснулся. Видения в голове Лока приходили и сразу же уходили опять, трепетные, как пламя костра. Они не содержали никакого смысла и вдруг вихрем завертелись, так что голова его, казалось, сейчас расколется. Он нашел слова, которые мог бы произнести, но язык никак не поворачивался, наконец он все же вымолвил:

– Что это?

Фа не пошевелинулась. Какое-то смутное знание пришло к нему, столь неопределенное, что уже одно это вызывало ужас, будто он сопереживал с

Фа видение, но внутри головы не было глаз, чтоб его разглядеть. Было это чем-то сродни тому предчувствию смертельной опасности, которое Лок-внешний сопереживал с нею так недавно; но теперь все ощущал Лок-внутренний, и это никак в нем не укладывалось. Оно ворвалось в него, вытеснив радостное чувство, которое наполняло его после сладкого сна, и вихрь видений, разрушая проблески мысли, острое чувство голода и нестерпимую жажду. Оно завладело им целиком, и он не знал, что это.

Фа медленно повернула к нему голову. Глаза, в которых отражались крохотные костры, похожие друг на друга, как близнецы, вращались подобно глазам старухи, когда она плавала в воде. От шевеления кожи вокруг рта – что вовсе не означало намерения заговорить – губы ее дрогнули, затрепетали совсем как у новых людей, сомкнулись; потом они разомкнулись опять и тихо произнесли:

– Она не рождала этих людей из своего чрева.

Сперва словам не сопутствовало видение, но они влились в чувство, переполнявшее Лока, и оно стало еще сильней. Он опять взгляделся сквозь листву, чтоб понять смысл услышанных слов, и сразу увидел рот сытой женщины. Она брела прямо к дереву, опираясь на Туами, пошатываясь и визгливо смеясь, так что Лок мог видеть ее зубы. Они были узкие, хорошо приспособленные для того, чтоб грызть и жевать; кроме того, они были маленькие, и два из них оказались длинней остальных. Зубы эти походили на волчьи.

Костер рухнул с ревом, рассыпая вокруг рой искр. Старик уже больше не пил, он лежал недвижно в долбленном бревне, а остальные люди сидели или лежали плашмя, и звуки пения вокруг костра постепенно замирали. Туами и сытая женщина неверной походкой прошли под деревом и скрылись, после чего Лок повернулся, чтоб проследить за ними. Сытая женщина направилась было к воде, но Туами схватил ее за руку и заставил вернуться. Они стояли, глядя друг на друга, сытая женщина казалась бледной с одного боку, откуда светила луна, и багровой с другого, где горел костер. Вскинув голову, женщина засмеялась прямо в лицо Туами и показала ему язык, а он уговаривал ее скороговоркой. Вдруг он сгреб ее обеими руками, тесно прижал к груди, и они стали бороться, тяжело дыша от усилий, но без единого слова. Туами перехватил женщину повыше, вцепился в спутанные волосы и потянул, так что лицо ее запрокинулось, исказившись от боли. Она подняла правую руку, впиалась ногтями ему в плечо и рванула вниз, так же сильно, как он рвал ее за волосы. Тогда он притиснул лицо к лицу женщины и опрокинул ее назад, подставив колено. Рука его ползла вверх, покуда не обхватила ее затылок. Рука женщины, вцепившаяся в мякоть его плеча, ослабила хватку, скользнула неуверенно, обняла его, и вдруг они соединились, напряженно сопряглись воедино, чресла к чреслам, уста к устам. Сытая женщина стала

сползать наземь, и Туами склонялся вослед. Он неловко упал на одно колено, а она обвила руками его шею. При свете луны было видно, как она повалилась навзничь, зажмурив глаза, тело ее обмякло, грудь вздымалась и опадала. Туами стоял на коленях и обшаривал шкуру, прикрывавшую ее бедра. Потом он издал звук, похожий на рычание, и набросился на нее. Теперь Лок опять увидел оскал волчьих зубов. Сытая женщина ворочала головой, лицо ее обращалось то в одну, то в другую сторону и опять искажилось, как в тот миг, когда она боролась с Туами.

Лок повернулся к Фа. Она все стояла на коленях и пристально оглядывала прогалину, в особенности раскаленную докрасна кучу бревен, и на шкуре ее тускло поблескивал пот. Внутри его головы вдруг вспыхнуло видение: он вместе с Фа забирает детей и убегает прочь с этой прогалины. Тут он насторожился. Приблизив губы к ее уху, он шепнул:

– Может, заберем детей сейчас?

Она отодвинулась ровно настолько, чтоб видеть его в меркнувшем свете. Вдруг она содрогнулась, будто лунное сияние, которое проникало сквозь покров вьюнка, леденило, как зимний снег.

– Ждать!

Двое под деревом издавали громкие звуки, будто ссорились меж собой. Сытая женщина ухала, как сова, а Туами рычал, как бывает, когда человек старается осилить зверя, даже не надеясь одержать верх. Лок поглядел на них сверху и увидел, что Туами не только лежит с сытой женщиной, но и пожирает ее, потому что с уха у нее струилась кровь.

Лок забеспокоился. Он протянул руку и прикоснулся к Фа, но она только обратила к нему окаменелые глаза, и сразу ее тоже обуяло то непостижимое ощущение, которое было страшней, чем ощущение близости Оа, которое он сразу узнал, но так и не мог понять. Он поспешно отдернул руку и стал раздвигать листву, покуда не проделал отверстие, через которое были видны как на ладони костер и прогалина. Почти все люди скрылись в пещерах. Старика уже не было, только его ноги бессильно свисали над боковинами долбленых бревен. Мужчина, который ползал вокруг костра, теперь лежал ничком, уткнувшись лицом в землю среди округлых камней, в которых была пчелиная вода, а страж все так же торчал у заслона из кустов терновника, опираясь на палку. Но, взглядевшись пристально, Лок увидел, как он тихонько соскользает по этой палке, падает под кусты и лежит недвижно, а лунный свет играет на его обнаженной коже. Танакиль давно ушла, и вместе с ней сморщенная женщина, теперь прогалина стала всего лишь голой землей вокруг все еще красной, но заметно потускневшей груди дров.

Лок повернулся и глянул сверху на Туами и сытую женщину: они уже извели верх удовольствия и теперь лежали недвижно, в поту, который поблескивал на их телах, источая тяжелый запах плоти и соблазнительный

медовый дух, влитый в них из округлых камней. Лок поглядел на Фа, а она все безмолвствовала, и вид ее был страшен, она явно видела внутри головы нечто такое, чего не было в темноте под густым покровом вьюнка. Лок потупил глаза и невольно стал шарить рукой по трухлявому дереву, стараясь отыскать какую-нибудь еду. Но тут он, поглощенный поисками, вдруг почувствовал нестерпимую жажду, а уж почувствовав, больше не мог от нее избавиться. В смятении он поглядел вниз на Туами и сытую женщину, потому что изо всех поразительных и необъяснимых событий, которые происходили на прогалине, это было ему всего понятней и особенно разжигало любопытство.

Их свирепая волчья грызня кончилась. Казалось, они скорее стремились одолеть, сожрать друг друга, чем совокупиться, и об этом говорила кровь на лице женщины и на плече мужчины. Теперь, когда борьба прекратилась и восстановился мир или что-то, чему трудно было найти название, оба целиком предалися любовной игре. Игра эта была затейлива и увлекательна. Не было такого зверя в горах или на равнине, не было такой увертливой, исхищенной твари в кустарнике или в лесу, у которой достало бы хитрости и соображения, чтоб измыслить подобные игрища, как не достало бы досуга и времени до сна для таких игр. Они охотились за удовольствием, как волки преследуют и настигают конский табун; они будто шли по следам невидимой добычи и, нагнув головы, с напряженными и отрешенными при бледном свете лицами, прислушивались, когда же раздадутся ее первые крадущиеся шаги. Они резвились, оттягивая последний миг, подобно тому, как лисица забавляется с лакомой, жирной птахой, которую ей посчастливилось изловить, и не спешит загрызть ее до смерти, потому что хочет вдвойне насладиться пожиранием. Теперь оба молчали, лишь изредка издавая отрывистые рыки и вздохи, да еще время от времени слышался затаенный журчащий смех сытой женщины.

Белая сова стремительно пролетела над деревом, а еще через мгновение Лок слышал ее крик, который доносился будто издали, хотя сама она была совсем близко. Теперь Лок опять глядел на Туами и сытую женщину, и то, что они делали, уже волновало его не так бурно, как прежде, когда они грызлись, потому что они были бессильны утолить его насущную жажду. Он не осмелился заговорить с Фа не только из-за ее непривычной отчужденности, но еще и потому, что Туами и сытая женщина теперь совсем притихли и опять всякое слово таило в себе опасность. Ему не терпелось забрать детей и убежать.

В костре слабо тлели красноватые головни, и свет его едва достигал сплетения веток, почек и побегов, сплошняком окружавших прогалину, так что они казались темным пятном на светлеющем небе. Земля на прогалине была погружена в беспросветный мрак, и Лок, чтоб все разглядеть, поневоле

использовал свою способность видеть ночью. Костер существовал сам по себе и будто плыл куда-то. Туами и сытая женщина, пошатываясь, вышли из-под дерева, но не вместе, и направились, погруженные в тень почти по грудь, к разным пещерам. Водопад ревел, и слышались лесные голоса, хруст и шелест чьих-то быстрых, невидимых ног. Еще одна сова парящим полетом пронеслась над прогалиной и умчалась за реку.

Лок повернулся к Фа и шепнул:

– Пора?

Она придвинулась к нему вплотную. Голос ее обрел то же тревожное и властное звучание, какое он уже слышал, когда она велела ему повиноваться на уступе:

– Я схвачу нового и перепрыгну через кусты. Когда скроюсь, спрыгни и беги следом.

Лрк поразмыслил, но ничего не увидел внутри головы.

– Лику...

Она стиснула его обеими руками:

– Фа говорит: сделай так!

Он круто повернулся, и листья вьюнка заметались с громким шелестом.

– Но Лику...

– Я много вижу внутри головы.

Руки ее разжались и отпустили Лока. Он приник к верхушке дерева и увидел все, что произошло за минувший день, видения эти опять закружились в его голове. Он услышал над ухом дыхание Фа, листья вьюнка громко зашелестели, и он тревожно глянул на прогалину, но там никто не пошевелинулся. Он разглядел только ноги старика, торчащие из долбленого бревна, да еще непроглядные черные дыры там, где были пещеры из веток. А костер все плыл, окутанный тусклым багрянцем, но сердцевина светилась гораздо ярче, и синие языки лизали недогоревшие головешки. Туами вышел из пещеры, постоял у костра, глядя на затухающий огонь. Фа тем временем высунулась по грудь из вьюнка и приникла к толстым сучьям дерева со стороны реки. Туами подобрал сук и стал сгребать им горячую золу в кучу, а оттуда сыпались искры, и взмывали дымные струи, и подмигивали маленькие огненные глаза. Сморщенная женщина выползла на прогалину и отняла у него сук, после чего миг или два оба стояли пошатываясь и разговаривали. Потом Туами ушел в пещеру, а еще через миг Лок услышал шорох, означавший, что Туами повалился на подстилку их сухих листьев. Лок понимал, что женщина сейчас уйдет тоже; но она сперва стала забрасывать землей костер, покуда он не превратился в черный холмик со сверкающей верхушкой. Женщина принесла дернину и швырнула ее поверх холмика, так что трава вспыхнула и затрещала, а прогалину захлестнула волна яркого света. Она стояла дрожа у конца своей длинной тени, а свет трепетал,

колебался и вскоре угас совсем. Лок слышал и угадывал чувством, как она ошупью добралась до пещеры, упала на четвереньки и вползла внутрь.

Теперь он опять обрел способность видеть ночью. На прогалине была полнейшая тишина, и в этой тишине он расслышал, как шура Фа обдирает дряхлую кору на мертвом дереве, а это значило, что она спускается на землю. Ощущение неотвратимой опасности овладело Локом; при мысли, что вот сейчас они перехитрят этих людей, несмотря на все их непостижимые уловки, что Фа подкрадывается к ним, у него перехватило горло, так что он не мог вдохнуть, и сердце заколотилось, сотрясая все его тело с головы до ног. Он стиснул трухлявый ствол и спрятался за вьюнком, зажмурил глаза, безотчетно возвращаясь к тем часам, которые они провели на мертвом дереве более или менее в безопасности. Запах Фа донесся с той стороны, где раньше пылал костер, теперь он сопереживал с нею видение и увидел пещеру, возле которой огромный медведь когда-то встал на дыбы. Запах Фа больше не доносился снизу, видение ушло, и он знал, что Фа превратилась в глаза, уши и нос, бесшумно подползая к пещере у кострища.

Сердце его колотилось уже не так отчаянно, и он решил снова взглянуть на прогалину. Луна выплыла из-за плотного облака и окропила лес тусклым голубоватым светом. Он увидел Фа, она залегла, припала к земле, вдавившись в нее всем телом на расстоянии не больше чем в два ее роста от темного холмика на месте костра. Вслед за первым облаком наплыло второе, и всю прогалину объяла темнота. Лок услышал, как у кустов, которые преграждали путь на тропу, страж заперхал и с трудом поднялся на ноги. Потом стало слышно, как его рвет, и раздался протяжный стон. Чувства Лока смешались. У него мелькнула смутная мысль, что новые люди решили остаться здесь навсегда; они встанут, и начнут разговаривать, и будут настороже или беспечны, глубоко уверенные в своем могуществе, считая себя в полнейшей безопасности. К этому примешалось еще видение, он увидел, как Фа не осмеливается первой побежать по бревну, плавающему в воде возле уступа; теплое чувство, которое его охватило, и неодолимое желание быть рядом с ней тесно слились со всеми остальными чувствами. Он шевельнулся под покровом вьюнка, раздвинул листву со стороны реки и нащупал сучья, которые торчали из ствола. Он стал спускаться раньше, чем его чувства успели перемениться и превратить его в прежнего покорного, робкого Лока; он спрыгнул в высокую траву под мертвым деревом. Теперь им целиком завладела мысль о Лиду, и он пополз мимо дерева, чтоб отыскать пещеру, где она была. Фа подбиралась к пещере справа от кострища. Лок взял левой, упал на четвереньки и пополз к пещере, которая была за долбленными бревнами и кучей неразобранных мешков. Бревна лежали там, где люди их оставили, будто и они тоже хлебнули медового зелья, а ноги старика все торчали из ближнего бревна. Лок спрятался за ним и осторожно

понюхал свесившуюся ногу. На ней не было пальцев или, вернее – теперь он подобрался совсем близко, – она была обернута шкурой, как бедра новых людей, и от нее исходил острый запах бычьей кожи и пота. Лок поднял глаза и глянул за боковину бревна. Старик лежал внутри, вытянувшись во весь рост, рот его был разинут, он храпел, выдувая воздух через тонкий длинный нос. Шкура Лока оцетинилась, он в испуге припал к земле, будто глаза старика были открыты. Потом сжался в комок среди взрытой земли и высокой травы возле бревна и теперь, когда нос его привык к запаху старика, перестал обращать внимание на этот запах и стал разбирать другие. Бревна были сродни морю. Белизна на их боковинах была морской белизной, горькой и навевавшей воспоминание о прибрежных песках и пенистом, неумном прибое. Был тут и запах сосновой смолы – чего-то густого и липучего, запах, который нос Лока легко определил, но сам он не знал слова, чтоб его назвать. А еще были запахи многих мужчин, и женщин, и детей, и, наконец, самый смутный, но сильный запах, который состоял из многих, только их уже нельзя было распознать, потому что все они давным-давно слились воедино.

Лок унял свою дрожь, теперь шкура его больше не щетинилась, и он пополз мимо бревна, покуда не добрался до того места, где неподалеку от горячего, но уже мертвого кострища были разбросаны округлые камни. От них по-прежнему исходил стойкий, особенный дух, такой сильный, что Лок внутри головы видел его как сияние или облако над дырами, в верхних концах камней. Запах этот был как у новых людей, он отвращал и неудержимо влек к себе, пугал и соблазнял, он был как сытая женщина и в то же время как ужас, который исходил от оленя и от старика. Локу так живо вспомнился олень, что он опять сжался в комок; но он не мог припомнить, куда же ушел олень или откуда пришел, он помнил только, что олень появился, выйдя из-за мертвого дерева. Тут он повернулся, поднял глаза и увидел мертвое дерево, оплетенное густым вьюнком, огромное, с лохматой кроной, словно нависающей из облаков, как вставший на дыбы пещерный медведь. Лок быстро пополз к шалашу, который был слева. Страж у кустов терновника опять застонал.

Лок, руководимый нюхом, таясь под склоненными ветвями, приблизился к пещере с задней стороны и обнаружил там мужчину, еще мужчину, а рядом еще одного. Запаха Лику он не учуял, разве только некий запах вообще проник в его ноздри, такой слабый, что его почти и не было вовсе, но Лок сознавал, что запах этот, вероятно, как-то связан с Лику. Где бы он ни принюхивался к земле, сознание это упорно оставалось, но выследить источник он никак не мог. Он осмелел. Прекратив бесплодные поиски наугад, он подобрался к открытому входу в пещеру. Делая ее, люди сперва поставили торчмя две толстые палки, а сверху уложили поперек еще одну,

длинную. Потом поверх длинной палки навалили наклонно бесчисленное множество веток, так что на прогалине возник отлог из зеленой листвы. Всего таких отлогов оказалось три, один слева, другой справа, а третий меж кустрищем и кустами терновника, где был страж. Обрубленные концы веток были вогнаны в землю по кривой черте. Лок пополз к концу этой черты и с осторожностью просунул голову внутрь. Шумное дыхание и храп, которые исходили от лежавших внутри, были громкими и прерывистыми. Кто-то спал так близко от лица Лока, что до спящего легко можно было дотянуться рукой. Спящий заворчал, рыгнул, перевернулся на бок, и рука его вскинулась так, что ладонь задела лицо Лока. Он отдернулся, весь дрожа, потом, пригнувшись, опять подался вперед и обнюхал руку. Она была бледная и слегка поблескивала, немощная и безобидная, как рука Мала. Но она была уже и длинней и отличалась особенным цветом, белизной с мертвенным, как у гриба, отливом.

Оставалось узкое пространство меж этой рукой и тем местом, где ветки косо вонзались в землю. Лок увидел внутри головы Лику, она была так ошеломительно близко и притом так далеко спрятана, что он, повинувшись властному чувству, решительно двинулся вперед. Он не знал, каких именно действий это чувство от него требует, но знал наверняка, что должен немедленно что-то сделать. Он бесшумно пополз вперед через узкое пространство, как змея вползает в нору. Там дыхание повеяло прямо на него, и он окаменел. Чье-то лицо оказалось так близко от его лица, что он мог с легкостью дотянуться рукой. Он почувствовал касание необыкновенных волос, увидел бессмысленно удлинненную голову, похожую на костяной утес, которая высоко вздымалась над бровями. Увидел он и тускло поблескивающий глаз под узким прищуром век, неровные волчьи зубы и почувствовал на своей щеке дыхание с медово-кислым запахом. Лок-внутренний теперь сопереживал вместе с Фа видение, полное ужаса, но Док-внешний был спокоен, безоглядно смел и холоден как лед.

Он протянул руку над спящим мужчиной и нашарил свободное пространство, а потом листву и землю по другую сторону. Он уверенно оперся ладонью об это пространство и изготавился перемахнуть через спящего. Но мужчина вдруг заговорил. Слова исходили из самой глубины горла, будто языка у него вовсе не было, и затрудняли дыхание. Грудь стала бурно вздыматься и опадать. Лок отдернул руку и опять припал к земле. Мужчина стал колотить по листьям; его кулак нанес удар, и у Лока из глаз посыпались искры. Он отпрянул, а мужчина весь изогнулся, так что брюхо его оказалось выше головы. Безъязыкие слова извергались безостановочно, а руки лупили, путаясь средь наклоненных ветвей. Голова мужчины повернулась к Локу, и он увидел, что широко открытые глаза глядят на него в упор, поворачиваясь вместе с головою, совсем как глаза старухи, когда она

плавала в воде. Глаза эти глядели куда-то сквозь Лока, и шкура его съезжилась от ледящего страха. Мужчина выгибался все круче, слова превратились в отрывистое карканье, которое звучало все громче и громче. В одном из соседних шалашей поднялся шум, раздался пронзительный женский голос и сразу вопль ужаса. Мужчина возле Лока повалился на бок, потом, пошатываясь, встал на ноги и ударил кулаком по веткам с такой силой, что они рухнули и свалились в кучу. Мужчина, все так же пошатываясь, двинулся вперед, и его карканье перешло в крик, на который сразу кто-то отозвался. Другие мужчины ломались из пещеры с оглушительными воплями, сшибая ветки наземь ударами кулаков. Страж из кустов терновника, спотыкаясь, бродил в темноте и махал кулаками, пытаясь сразить неуловимую тень. Рядом с Локом кто-то выскочил из кучи переломанных веток, смутным взглядом всмотрелся в первого из мужчин и занес над ним тяжелую палку. Внезапно прогалина, обьятая темнотой, закишела людьми, которые с пронзительными криками затеяли свалку. Кто-то выворачивал ногами дернины и, пиная, отшвыривал их прочь с кострища, после чего тусклое зарево, а потом огненные языки взметнулись кверху, осветив землю, где столпились люди, окруженные тесным кольцом деревьев. Там же стоял вскочивший на ноги старик, седые волосы развевались вокруг его головы и лица. Лок увидел и Фа, она убежала с пустыми руками. Она заметила старика и круто свернула в сторону. Смутно видный человек рядом с Локом замахнулся толстенной палкой так устрашающе, что Лок невольно перехватил ее. Потом он перекачивался среди беспорядочного сплетения рук, ног, зубов и клыков. Наконец он вырвался, а в этом сплетенье не прекращались свалка и злобные рыки. Он увидел, как Фа проворно прыгнула, нырнула в кусты терновника и скрылась за ними, увидел, как старик, являвший собою кошмарный вид, одни только волосы и сверкающие глаза, ударил палкой с утолщением на конце прямо по сгрудившимся людям. Лок, перепрыгивая кусты терновника, увидел, как страж лезет через них напролом. Лок упал на руки и пустился бежать, но, когда кусты надежно укрыли его, остановился. Он видел, как страж промчался мимо, держа наготове гнутую палку и прут, нырнул под низкую ветку бука и скрылся в лесу.

Костер на прогалине теперь ярко пылал. Старик стоял возле него, а остальные мужчины медленно подымались на ноги. Старик кричал, указывая рукой, и тогда один из мужчин, пошатываясь, добрел до терновника, потом взбодрился и побежал вслед за стражем. Женщины тесно обступили старика, и среди них была девочка Танакиль, она прикрывала глаза тыльной стороной руки. Двое мужчин прибежали назад, что-то крикнули старику и напролом через терновник ворвались на прогалину. Теперь Лок увидел, что женщины валят на костер ветки, те самые, из которых была сделала одна из пещер.

Сытая женщина тоже оказалась там, она ломала руки и вопила, а новый человечек висел у нее на плече. Туами что-то встревоженно втолковывал старику, указывая на лес, а потом на землю, где лежала голова оленя. Костер полыхал все сильнее; большие ветви вместе с листвой занимались и вспыхивали с оглушительным треском, так что деревья, обступавшие прогалину, стали видны ясно, как днем. Люди сомкнулись вокруг костра, повернувшись к нему спинами и вглядываясь во тьму леса. Потом они разбежались по пещерам и проворно возвратились назад, неся ветки, которые стали подкидывать в костер, и огонь всякий раз разбрасывал вокруг все больше света. Потом люди стали притаскивать цельные звериные шкуры и облекать в них свои тела. Сытая женщина перестала выть и кормила грудью нового человечка. Лок видел, как другие женщины робко его поглаживали, что-то приговаривая, протягивали ему раковины, которые висели у них вокруг шей, но все время оглядывались на темные деревья, обступавшие костер. Туами и старик возбужденно переговаривались, то и дело кивая. Лок чувствовал себя в безопасности под покровом тьмы и все же понимал, каким неодолимым могуществом обладают люди, освещенные костром. Он крикнул:

– Где Лику? Он увидел, как люди замерли, и сжался в комок. Одна только девочка Танакиль завизжала и притихла, лишь когда сморщенная женщина схватила ее за руку, встряхнула и заставила смолкнуть.

– Отдайте Лику!

Каштан, освещенный костром, прислушивался, склонив голову набок и стараясь поймать ухом, откуда донесся голос, а тем временем подымал гнутую палку.

– Где Фа?

Палка изогнулась круче и резко распрямилась. Через краткое мгновение что-то порхнуло в воздухе мимо Лока, как птичье крыло; раздался сухой щелчок, потом деревянный треск и хруст. Одна из женщин ринулась к той пещере, куда недавно заползал Лок, и приволокла целую охапку веток, которую всю сразу швырнула в костер. Темные лица людей бесстрастно вглядывались в глубь леса.

Лок повернулся и доверился своему нюху. Он проскочил через тропу, отыскал запах Фа и запах двоих мужчин, которые ее преследовали. Он рысцой побежал вперед, опустив нос к самой земле, улавливая запах, который должен был помочь ему отыскать Фа. Он ощущал нестерпимое желание опять услышать ее голос и прильнуть к ней всем телом. Ускорив бег, он ринулся сквозь предрассветную темноту, и запахи рассказывали ему, что и как произошло. Вот следы Фа, далеко отстоящие друг от друга, такие длинные скачки она делала, пальцы ее ног оставили на земле отпечатки в форме маленьких полумесяцев. Он обнаружил, что теперь, вдали от костра,

видит гораздо ясней, потому что за деревьями уже брезжил рассвет. И опять он вспомнил про Лику. Он повернул назад, взлетел на развилину бука и сквозь ветки поглядел на прогалину. Страж, который гнался за Фа, теперь выплясывал перед новыми людьми. Потом он начал пресмыкаться, как змея, и подполз к порушенным пещерам; там он встал на ноги; потом вернулся к костру, по-волчьи щелкая зубами, так что люди от него отшатнулись. Он указал рукой; потом изобразил бегущее, пригнувшееся существо, хлопая руками, как птица крыльями. Он остановился подле терновника, провел рукою поверх него черту в воздухе, потом стал поднимать эту черту выше и выше до крон деревьев и завершил штрихом, который означал недоумение. Туами что-то скороговоркой втолковывал старику. Лок видел, как он опустил на колени возле самого костра, расчистил кусочек земли и стал чертить по ней палкой. Лику там и в помине не было, а сытая женщина сидела в одном из долбленных бревен, и новый человечек цеплялся за ее плечо.

Лок спрыгнул на землю, опять отыскал след Фа и побежал по этому следу. Отпечатки ее стоп источали ужас, и от сострадания шкура Лока ошетичилась. Он добежал до того места, где преследователи остановились, и сразу увидал, как один из них шагнул в сторону, где его ступни, лишенные пальцев, оставили на земле глубокие отпечатки. Увидал он и разрыв меж скачками там,

где Фа подпрыгнула высоко вверх, а дальше ее кровь, которая падала крупными каплями, вела по неровной кривой от леса назад к болотине, через которую прежде было перекинута бревно. Он пробежал по следу через густые колючие заросли, истоптанные преследователями. Он миновал то место, где они остановились и повернули назад, причем не замечал терниев, которые рвали его шкуру. Потом он увидал место, где ее ноги, совсем как теперь его собственные, погрязли в жадной трясине и оставили провал, который теперь заливала гнилая, застоявшаяся вода. Прямо перед ним растилась болото, поблескивающее и жуткое. Пузыри уже не всплывали со дна, и весь взбаламученный ил, который бурыми загогулинами поднялся тогда на поверхность, уже осел, будто ничего не случилось. Даже пена, и тина, и липучая лягушачья слизь отплыли поодаль и неподвижно лежали на безжизненной воде под грязными, нависающими ветками. Здесь следы и кровь прерывались; здесь был запах Фа и витал ее ужас; а дальше не было ничего.

ДЕСЯТЬ

Серый свет побелел, засеребрился, и черная вода в болотинах заблестела. Средь тростниковых и вересковых островков заклекотала птица. Где-то вдали олень из оленей трубил и трубил. Трясина все глубже засасывала ноги Лока, погруженные уже по щиколотки, и ему пришлось махать руками, чтоб сохранить равновесие. В голове у него было недоумение, а под недоумением таился глухой, тягостный голод, который странным образом спускался по телу и подступал к сердцу. Нос Лока сам собой втягивал воздух, чтоб разведать, нет ли поблизости какой еды, и глаза устремлялись то в одну сторону, то в другую, на трясины и густое плетение вереска. Он извернулся, подогнул пальцы ног, вызволил ступни из трясины и шатаясь добрел до берега, где земля была уже твердой. Воздух потеплел, и крошечные насекомые трепетали крыльцами и тоненько пели, издавая звук, похожий на звон в ушах после сокрушительного удара по голове. Лок встряхнулся, но тонкий, пронзительный звон не умолкал и мучительная тяжесть угнетала сердце.

На опушке под деревьями прятались в земле луковицы, и зеленые их ростки лишь недавно выглянули на свет. Лок выворачивал их ногами, подносил к руке и отправлял в рот. Лок-внешний как бы вовсе и не хотел этого, но Лок-внутренний побуждал зубы грызть, а горло вздуться и глотать. Он вспомнил, что ему очень хочется пить, и побежал назад к болотине, но хлябь изменилась неузнаваемо: теперь она устрашала, чего не было, когда он искал Фа по ее запаху. Ноги его противились туда ступить.

Лок стал медленно пригибаться. Его колени коснулись земли, он уперся руками и постепенно перенес на них тяжесть своего тела, вцепившись в землю и напрягая все силы. Он рванулся вперед по палой листве и сучьям, причем голова его вскинулась, повернулась, глаза боязливо озирались, удивленные глаза над широко разинутым ртом. Из этого рта вырвался горестный вопль, протяжный и хриплый, в нем звучали боль и человечесье страдание. Тонкое пение летучих тварей не умолкало, и водопад все так же грохотал у подножья горы. Где-то вдали опять затрубил олень.

Небо порозовело, а на вершинах деревьев нежно зеленела молодая листва. Почки, которые до сих пор были всего лишь зародышами, лопнули, из них будто высунулись пальцы, и теперь скопище их было очень густым, если глядеть против света, так что можно было различить лишь толстые ветки. Сама земля содрогалась, словно напрягая все силы, чтоб выплеснуть свои соки вверх по древесным стволам. Горестный вопль Лока затих, теперь он внимал содроганью земли и на время успокоился. Он упал на четвереньки, пополз, потом принялся выковыривать пальцами луковицы и жевать их, и горло его вздувалось и проталкивало еду в брюхо. Жажда опять напомнила о себе, Лок присел на корточки и стал шарить вокруг себя в поисках твердой

почвы у закраины воды. Он повис вниз головой на ветке, склоненной почти до самой поверхности, и стал пить из темной, как агат, глади.

Со стороны леса донеслись шаги. Лок выбрался на сушу и увидел двоих из новых людей, которые стремглав пробежали меж стволов, держа в руках гнутые палки. Слышно было, как на прогалине громко шумят остальные; как стучаются друг об друга долбленные бревна, как рубят деревья. Лок вспомнил про Лику и ринулся к прогалине, добежал до кустов, поверх которых он уже мог видеть, что делают новые люди.

– Э-эх! Э-эх! Э-эх!

Вдруг Лок увидел внутри головы, как долбленное бревно надвинулось носом на берег, а потом неподвижно замерло на прогалине. Он пополз вперед и прилег. На реке уже не было больше бревен, а стало быть, они уже не могли оттуда выползти. Теперь он увидел внутри головы, как бревна удаляются обратно в реку, и это было непостижимо, но так очевидно связано с предыдущим видением и со звуками, которые раздавались на прогалине, что он понял, почему именно первое видение породило второе. Это был какой-то поворот в мозгу, и Лок испытал гордость и скорбь и преобразился в Мала. Он тихо сказал зарослям вереска, униженного молодыми почками:

– Теперь я стал Малом.

Вдруг ему почудилось, будто у него совсем новая голова и в ней множество видений, среди которых он с легкостью сможет разобраться, когда только захочет. Видения слагались из серого дневного света. Они охватывали ту единую нить жизни, которая неразрывно связывала его с Лику и с новым человечком; видения охватывали и новых людей, к которым Лок-внешний и Лок-внутренний оба безудержно стремились по зову любви, пронизанной страхом, потому что эти люди убьют его, если смогут.

Он увидел внутри головы, как Лику глядит нежными, влюбленными глазами на Танакиль, и догадался, как Ха, преодолевая страх, ринулся навстречу внезапной смерти. Он отчаянно вцепился в кустарник, а волны бурного чувства захлестывали и переполняли его, и тогда он вдруг завопил во всю глотку:

– Лику! Лику!

Люди на прогалине сразу же перестали валить деревья, и вместо стука рубил раздался грозный протяжный треск. Прямо перед собой Лок увидел голову и плечи Туами, а потом это видение стремительно сместилось вбок, и целое дерево, подминая под себя все вокруг густой зеленой кроной и кривыми сучьями, рухнуло наземь. Когда зелень наконец улеглась, Лок опять увидел прогалину, потому что в терновнике была брешь и через нее ползли долбленные бревна. Новые люди приподымали бревна и медленно волокли все дальше вперед. Туами кричал, а Куст дергал гнутую палку, стараясь

сорвать ее с плеча. Лок убежал прочь и остановился, только когда новые люди стали казаться малютками у самого начала тропы.

Бревна не возвращались в реку, а ползли вверх, к горному склону. Лок попытался вызвать внутри головы другое видение, которое проистекло бы из этого, но не сумел; а потом голова его опять стала прежней головой Лока, и в ней была. только пустота.

Туами рубил дерево, рассекая не ствол у комля, а тонкую верхушку с густо торчащими ветками. Лок сразу понял это по звуку, который услышал еще издали. Услышал он и крик старика:

– Э-эх! Э-эх! Э-эх!

Бревно высунулось на тропу. Оно ехало на других бревнах, катилось по ним, а они зарывались в мягкую землю, и люди пыхтели и кричали, изнемогая от тяжких усилий и страха. Старик, хоть сам он даже не прикасался к бревнам, усердствовал больше всех. Он суетился, бегал, распоряжался, увещевал, подражал усилиям людей и пыхтел вместе с ними; его пронзительный птичий голос беспрерывно порхал в воздухе. Женщины и девочка Танакиль стояли рядами по обе стороны долбленного бревна, и даже сытая женщина подталкивала его сзади. В самом бревне было только одно живое существо: новый человек стоял на дне, ухватившись за боковину и удивленно глаза на всю эту суету.

Туами вышел из кустов на тропу, он волок здоровенный обрубок древесного ствола. Он положил его на землю и покатил к бревну. Женщины сгрудились у носа, откуда пристально глядели глаза, потом рванули кверху и вперед, обрубок завертелся под бревном, и оно легко покатилось на нем по мягкой земле. Глаза исчезли, а Куст и Туами уже заходили сзади с катком поменьше, так что бревно ни разу не коснулось земли. Всюду были непрерывное движение и круговорот, будто пчелы роились вокруг трещины в скале, какая-то неистовая, но сосредоточенная спешка. Бревно катилось по тропе, приближаясь к Локу, а внутри новый человек покачивался, скакал, иногда попискивал, но все время глядел не отрываясь на ближайшего к нему или же на самого бойкого из новых людей. А Лику нигде не было; но Лок, вдруг обретя на миг способность думать, как Мал, припомнил, что позади осталось еще бревно и много мешков.

Если новый человек непрерывно глазел вокруг, то Лок был весь поглощен приближением новых людей, так, наблюдая приливную волну, порой можно позабыть, что надо отойти подальше, покуда вода не захлестнет ноги. Лишь когда новые люди оказались так близко, что стало видно, как каток подминает траву, Лок вспомнил, что люди эти опасны, и проворно удрал в лес. Остановился он, когда они исчезли из виду, но голоса их все еще были слышны. Женщины надрывно орали, с тяжкими усилиями толкая бревно все вперед и вперед, а в голосе старика уже слышалась хрипота. Лок

ощущал в себе столько различных чувств, что был совершенно сбит с толку. Он боялся новых людей, но и жалел их, как пожалел бы больную женщину. Он блуждал под деревьями и подбирал еду, какую удавалось найти, а если не находил совсем никакой, оставался к этому безразличен. Он опять уже ничего не видел внутри головы и превратился лишь в бездонный омут чувств, которые невозможно было понять или отринуть. Сперва он подумал, что причиной всему голод, и заталкивал в рот все, что только попадалось. Но вдруг он обнаружил, что забивает себе рот молодыми скользкими веточками с кислой и несътной сердцевинкой. Он совал их в рот и проглатывал, а потом упал на четвереньки и выблевал веточки все до единой.

Голоса мало-помалу отдалялись, и теперь Лок слышал уже только старика, когда тот распоряжался или бушевал. Здесь, где лес переходил в болотину и над кустами, редкими ивами и водой открывалось небо, не было никаких других признаков новых людей. Лесные голуби ворковали, поглощенные любовной игрой; вокруг ничто не изменилось, на прежнем месте была даже толстая ветка, на которой так недавно качалась и хохотала девочка, сплошь покрытая рыжей шерстью. Все вокруг нежилось и процветало в теплом безветрии. Лок встал на ноги и побрел вдоль края трясины к болотине, где прервался след Фа. Быть Малом оказалось сладостно и тяжело. Новая голова знала, что многое ушло без возврата, как уходит морская волна. Она знала, что страдание приемлемо и переносимо, если быть терпеливым, как терпелив мужчина к язвющим уколам терниев, и еще она искала возможности постичь новых людей, которые совершили все эти перемены.

Лок обнаружил «Сходство». Сам того не ведая, он замечал вокруг некое сходство всю свою жизнь. Грибы на стволе дерева были совсем как уши, и само слово было то же самое, однако различалось в зависимости от обстоятельств, когда его никак нельзя было приложить к слуховым отверстиям по бокам головы. Теперь, мгновенно постигая столь многое, Лок обнаружил, что пользуется сходством в качестве орудия так же уверенно, как раньше разрубал камнем сучья или мясо. Сходство будто даже могло зажать в кулак белолицых охотников, могло перенести их в гот мир, где они были уже чем-то мыслимым, а не произвольным, инородным и непонятным.

Лок увидел внутри головы, как эти охотники выходят с гнутыми палками, всемогущие и грозные.

«Эти люди как голодный волк в дупле дерева». Лок вспомнил, как сытая женщина защищала нового человечка от старика, вспомнил ее смех, вспомнил и мужчин, которые все дружно подымали тяжесть и притом еще улыбались друг другу. «Эти люди как мед, что сочится из щели в скале».

Он вспомнил играющую Танакиль, ее ловкие пальцы, ее смех и ее удары палкой.

«Эти люди как мед в округлых камнях, новый мед, который пахнет смертью и жгучим огнем костра» .

Стоило этим людям только шевельнуть руками, и они заполнили всю пустоту, которая образовалась после исчезновения прежних людей.

«Они как река и водопад, они люди, которые вышли из водопада: против них не устоит никто и ничто» .

Лок вспомнил, как бесконечно велико было их терпение, вспомнил Туами, который сделал оленя из цветной земли.

«Они как Оа» .

В голове у Лока возникла путаница и наступила темнота; а лотом он опять стал прежним Локом и бесцельно бродил близ болотин, и к нему вернулся голод, утолить который не могла никакая еда. Он слышал, как новые люди пробежали по тропе на прогалину, где лежало второе бревно, теперь они не разговаривали, но выдали себя стуком и шорохом шагов. Видение, яркое, как проблеск зимнего солнца, вспыхнуло в голове у Лока, но ушло, прежде чем он успел как следует его разглядеть. Он остановился, вскинув голову и раздувая ноздри. Уши его уловили звуки хлопотливой жизни, отторгли шум новых людей, и тогда ясно стали слышны болотные куропатки, которые яростно рассекали воду гладкими грудками. Они приближались с разных сторон, потом увидели Лока, круто свернули и дружно устремились вправо. Вслед за ними прошмыгнула водяная крыса, задрав нос и рывками рассекая воду. Из вересковых зарослей, которые островками были разбросаны по болотинам, донеслись плеск, шелест и хлопанье. Лок отбежал подальше, но сразу же вернулся. Он пробрался по трясине и начал осторожно раздвигать густое плетение веток, которые мешали видеть. Плеск смолк, и лишь поднятая недавно рябь лизала кустарник, затопляя следы Лока. Он принюхался, втягивая носом воздух, и полез напролом через кусты. Потом прошел по воде три шага и стал увязать в трясине. Опять раздался плеск, и Лок, смеясь и что-то приговаривая, как во хмелю, пошел туда. Лок-внешний ошетинился от холодного прикосновения к его бедрам и невидимой хватки трясины, в которой все глубже увязали ноги. Ощущение тяжести и голода росло, превратилось в густое облако и окутало его целиком, облако, которое пламенело под солнцем. А потом тяжесть исчезла, появилась легкость, и он начал смеяться и приговаривать, как медовые люди, смеялся и смаргивал с глаз воду. И вспыхнуло яркое видение.

– Я здесь! Я иду!

– Лок! Лок!

Руки Фа были вздыты, кулаки стиснуты, зубы сжаты, она пригнулась и с отчаянными усилиями брела через воду. Вода все еще доходила им до бедер, когда они прильнули друг к другу и неуклюже поплыли к берегу. Еще до того, как они вывязали ноги из чавкающей трясины, Лок уже смеялся и говорил:

– Плохо быть одному. Очень плохо быть одному. Фа, опираясь на него, едва тащилась.

– Мне больно. Это сделал тот мужчина своей палкой с камнем на конце.

Лок осторожно коснулся ее ляжки. Рана уже не кровоточила, и только черная корка лежала поверху, как пересоший язык.

– Плохо быть одному...

– Когда тот мужчина ударил меня, я убежала в воду.

– Вода страшная.

– Лучше вода, чем новые люди.

Фа убрала руку с его плеча, и они присели под большим буком. Новые люди возвращались с прогалины и тащили второе долбленое бревно. На ходу они пыхтели и всхлипывали. Двое охотников, которые ушли вперед, теперь встречали остальных криками с каменистого склона горы.

Фа вытянула раненую ногу.

– Я ела яйца, и тростник, и лягушачью слизь. Лок заметил, что руки его невольно тянутся к ней и касаются ее тела. Она взглянула на него с мрачной усмешкой. Он вспомнил ту мгновенную связь, благодаря которой отрывочные видения становились ясными как день.

– Теперь Мал – это я. Тяжко быть Малом.

– Тяжко быть женщиной.

– Новые люди как волк и как мед, как прокисший мед и как река.

– Они как огонь в лесу.

Вдруг в голове у Лока появилось видение, оно всплыло из каких-то неведомых ему глубин. На миг ему показалось, будто видение существует вне его и весь мир вдруг изменился. Сам он несколько не вырос, остался таким же, каким был всегда, но все вокруг внезапно и резко увеличилось. Деревья сделались высотой с гору. И он уже не стоял на земле, а скакал, вцепившись руками и ногами в гнедую, с рыжиной, шерсть, покрывавшую чью-то спину. Перед ним была голова, и хотя он не мог видеть лица, но это было лицо Мала, а впереди бежала Фа небывалого роста. Деревья над ними взметывали к небу огненные языки и грозно оведали Лока жгучим дыханием. Надо было отчаянно спешить, и шкура опять стала тесной – от ужаса.

– Теперь все совсем как в ту пору, когда огонь убежал и пожирал деревья.

Звуки, которые издавали люди и толкаемые ими бревна, слышались в отдалении. Убежавшие вперед с громким топотом возвратились по тропе на прогалину.. Потом на мгновение зазвучала птичья речь и сразу смолкла.

Шаги протопотали вспять по тропе и затихли. Фа и Лок встали на ноги и пошли к тропе. Они не обмолвились ни единым словом, но в их кружной, осторожной побеге содержался тот смысл, что нельзя так вот просто оставить новых людей. Пусть они были ужасны, как огонь или река, но они влекли, как мед или мясо. Тропа тоже изменилась, как и все, к чему прикоснулись новые люди. Земля была истерзана и разбросана, катки выдавили, а потом укатали достаточно широкий путь для Лока и Фа да и еще для кого-нибудь, чтоб пройти в ряд плечом к плечу.

– Они катили свои долбленные бревна поверх толстых сучьев, которые крутились. Новый человечек был внутри одного бревна.

А Лику будет внутри другого.

Фа скорбно поглядела ему в лицо. Потом указала на след, тянувшийся по гладко укатанной земле.

– Они прошли через нас, как долбленное бревно. Они как зима.

Прежнее щемящее чувство опять переполнило Лока: но сейчас, когда Фа стояла перед ним, эту тяжесть можно было вынести.

– Теперь остались только Фа, и Лок, и новый, и Лику.

Потом она стала молча глядеть на него. Она протянула ему руку, и он взял. Она открыла рот, намереваясь заговорить, но не издала ни звука. Только дернулась всем телом, а потом ее стала бить дрожь. Лок видел, как она совладала с дрожью, будто выюжным утром уходила из уютной пещеры. Наконец она отдернула руку. – Пойдем!

Костер еще тлел, окруженный широкой каймой золы. Ветки с шалашей были сорваны, хотя опорные палки еще торчали. А земля на прогалине была разворочена, будто здесь промчалось ; целое стадо рогатых тварей, спасаясь от хищников. Лок подобрался к краю прогалины, а Фа держалась позади. Он медленно обошел прогалину. Посередине были рисунки и приношения.

Фа увидела их и вслед за Локом приблизилась с опаской, они обошли это место вокруг, озираясь, насторожив уши, чтоб издали слышать новых людей, если они вернуться. Рисунки были испорчены огнем, а оленья голова все так же непроницаемо, в упор глядела на Лока. Это был уже новый олень, гладкий и нарядный по весне, а сверху поперек лежал кто-то еще. Этот верхний был красного цвета, он широко раскинул огромные руки и ноги, а лицо смотрело вверх на Лока. свирепое и бессмысленное, потому что вместо глаз были скатанные белые камни. Волосы на голове, вставшие дыбом, торчали в разные стороны, будто этот человек совершал какую-то зверскую жестокость, а тело было проткнуто насквозь длинной палкой, и ее острый конец, расщепленный и обмотанный куском меха, глубоко загнан в оленью тушу. Люди понялись в благоговейном ужасе, ведь они сроду такого не

видали. Потом они вернулись и робко подступили к приношениям. Цельная оленья ляжка, сырая, но обескровленная, висела на палке, и камень с медовым напитком стоял возле глазающей головы. Изнутри исторгался запах меда, как дым и огонь из костра. Фа дотронулась до мяса, оно резко качнулось, и она быстро отдернула руку. Лок еще раз обошел тело, лежавшее поверх оленя, стараясь не наступить на раскинутые руки и ноги, и медленно протянул руку. Еще мгновение, и оба стали терзать приношение, раздирая мышцы в лохмотья и заталкивая сырое мясо в рот. Остановились они, только когда насытились настолько, что их туго набитые животы готовы были лопнуть, а с палки теперь свисала на кожаной полосе блестящая, добела обглоданная кость.

Наконец Лок отвалился и вытер руки о ляжки. Все так же не сказав ни слова, двое повернулись друг к другу и присели на корточки возле сосуда. Вдали, на склоне, который подымался к уступу, они слышали голос старика:

– Э-эх! Э-эх! Э-эх!

Из открытой горловины сосуда шел густой дух. На закраине сидела муха, неподвижно, как бы в задумчивости, но, едва Лок приблизил губы, она почувствовала его дыхание, затрепетала крылышками, взлетела и сразу же села опять.

Фа взяла Лока за руку:

– Не трогай этого.

Но Лок уже почти коснулся сосуда губами, ноздри его раздувались и трепетали. Он сказал хрипло:

– Мед.

И тут же припал к горловине, погрузил туда губы и стал пить.

Прокишший мед опалил ему рот и язык, так что он опрокинулся назад, а Фа пустилась бежать прочь мимо кострища. Потом она остановилась, глядя на Лока со страхом, а он отплевался и опять пополз к желанному сосуду с медовым духом. Там он опять осторожно припал к горловине и потянул напиток. Потом причмокнул губами и хлебнул еще. Блаженствуя, сел на землю и засмеялся ей в лицо:

– Пей.

Нерешительно наклонилась она над горловиной и сунула язык в жгучее, сладостное зелье. Вдруг Лок рухнул на колени, подался вперед и, что-то приговаривая, оттолкнул ее так грубо, что она удивилась и присела на корточки, облизывая губы и отплевываясь. Лок уткнулся в сосуд и глотнул три раза кряду; но на третий раз он уже не добрался до поверхности меда, напиток ускользнул от него, так что он всосал только воздух, поперхнулся им и оглушительно, взхлеб, закашлялся. Потом он стал кататься по земле, мучительно пытаясь отдышаться. Фа тщетно попробовала добыть мед

языком, после чего стала горько попрекать Лока. Умолкнув, она постояла мгновение, потом взяла сосуд и поднесла ко рту, в точности как это делали новые люди. Лок, глядя на ее лицо, прильнувшее к камню, засмеялся и попробовал втолковать ей, какой смешной у нее вид. Все ж он вовремя вспомнил про мед, вскочил на ноги и хотел оторвать от ее лица каменный сосуд. Но сосуд этот будто застрял, прилип, и, когда Лок рванул его вниз, ее лицо тоже поникло. Потом они тягали сосуд, каждый в свою сторону, и орал друг на друга. Лок услышал свой собственный голос, пронзительный, громкий и неистовый. Он отпустил камень, прислушиваясь к этому новому своему голосу, и Фа откачнулась вместе с сосудом. Тут Лок увидел, что деревья плывут медленно, очень медленно, в сторону и вверх. Внутри его головы возникло великолепное видение, которое все поставило на свое место, и он попытался рассказать про это Фа, но она даже и слушать не желала. Потом пришла полная пустота, он только видел внутри головы, что уже глядел на это прежде, и его охватила неистовая злоба. Он настиг это видение голосом и услышал себя, отторженного от Лока-внутреннего, услышал, что смеется и крикает, как утка. Но одно главное слово было изначальным истоком видения, хотя само видение ушло, мгновенно исчезло. Лок постарался удержать хотя бы слово. Он перестал смеяться и с особенной торжественностью обратился к Фа, которая все стояла, припав лицом к каменному сосуду.

– Бревно! – сказал он. – Бревно!

Потом он вспомнил про мед и в негодовании рванул сосуд из рук Фа. Над горловиной сразу же всплыл ее багровый лик» она засмеялась и заговорила. Лок держал сосуд в точности так, как его совсем недавно держали новые люди, и мед тек ему на грудь. Он откинулся назад, изогнулся, и вот уже его лицо оказалось под сосудом и он исхитрился подставить рот прямо под струю. Фа заливалась звонким смехом. Она упала на землю, перекатилась и легла навзничь, взбрыкивая ногами. Лок и медовый огонь, который пылал в его нутре, неуклюже откликнулись на этот зов. Потом оба вспомнили про сосуд и опять тянули каждый к себе и ссорились. Фа удалось отхлебнуть глоток, но мед, как оказалось, загустел и уже никак не хотел течь. Лок выхватил у нее сосуд, потрянул его, стукнул по нему кулаком, закричал, но меду внутри не осталось ни капли. Тогда Лок в ярости грохнул сосуд оземь, и он раскололся надвое, будто в издевательской ухмылке. Лок и Фа набросились на черепки, прильнули к ним, вылизывали и переворачивали, отыскивая, куда же подевался мед. Рев водопада захлестывал прогалину у Лока внутри головы. А деревья все ускоряли бег. Он проворно вскочил на ноги и сразу обнаружил, что земля так же опасна, как бревно. Он стукнул по пробежавшему дереву, чтоб его остановить, но через миг уже лежал на спине, и небо стремительно вращалось над ним. Он перевернулся и встал, сперва

оторвав от земли крестец и покачиваясь, как новый человечек. А Фа,' как бабочка с опаленными крылышками, все ползала вокруг кострища, густо усеянного золой. Она бормотала что-то невнятное про гиен. Лок вдруг почувствовал, что сила новых людей влилась в него. Он стал одним из них и был теперь всемогущ. На прогалине оставалось еще много веток и несгоревших бревен. Лок подбежал к бревну, которое лежало сбоку, и велел ему ползти. Он закричал:

– Э-эх! Э-эх! Э-эх!

Бревно скользило, как и деревья, только уж очень медленно. Лок все кричал, но бревно не убыстряло движения. Тогда он схватил ветку и стал бить ею бревно, еще и еще, как Танакиль била Лику. Внутри головы он увидел людей по бокам бревна, они волокли его, разинув рты. Он закричал на них, как кричал старик.

Фа проползла мимо. Двигалась она медленно, неспешно, как бревно и деревья. Лок с неистовым воплем обрушил палку на ее крестец, конец отломился, улетел прочь и заскакал меж деревьев. Фа взвизгнула и, пошатываясь, встала на ноги, так что Лок, который норовил ударить опять, промахнулся. Она повернулась, и теперь они стояли лицом к лицу и кричали, а деревья все скользили мимо. Лок увидел, как ее правая грудь колыхнулась, рука поднялась, раскрытая ладонь повисла в воздухе, и ладонь эта теперь была важна, потому что в любой миг могла стать чем-то таким, чему он должен повиноваться. Потом щеку его поразила молния, которая своим ослепительным блеском залила весь мир, земля вздыбилась и нанесла ему в правый бок сокрушительный удар. Он привалился к этой стоячей земле, а щека его меж тем открывалась и закрывалась, и оттуда извергалось пламя. Фа теперь лежала и то отдалялась, то приближалась вплотную. Потом она тянула его то вверх, то вниз, а он цеплялся за нее, и вот уж под ногами опять была твердая почва. Оба плакали и смеялись, а водопад ревел прямо на прогалине, и встопорщенная верхушка мертвого дерева вздымалась к самому небу, но не уменьшалась, а становилась все огромней. Лок испугался, ощущая себя отторгнутым, он чувствовал, как хорошо было бы оказаться рядом с Фа. Он изгнал из головы непривычную странность и сонливость; потом стал высматривать Фа, пытался настичь ее лицо, которое отдалялось, как дерево со встопорщенной верхушкой. Остальные деревья все скользили беспрерывно, будто они всегда именно так и делали.

Лок заговорил с Фа сквозь мутные туманы:

– Я из новых людей. При этом он сам даже подскочил. Потом двинулся через прогалину враскачку, медленной походкой, свойственной, по его представлению, новым людям. Вдруг он увидел внутри головы, что Фа должна отрезать ему палец. Тогда он побрел наугад по прогалине, чтоб найти Фа и сказать про это. Нашел он ее за деревом близко от реки, и ее тошнило.

Он рассказал ей про старуху в воде, но она не обратила на это никакого внимания, тогда он вернулся к осколкам сосуда и вылизал последние потеки меда. Человек на земле теперь оказался стариком, и Лок сказал ему, что новых людей стало больше. Потом он почувствовал неодолимую усталость, так что земля показалась мягкой, а внутри головы все кружились и кружились видения. Он объяснил лежащему, что теперь Лок должен вернуться на отлог, но тут же вспомнил, хотя у него кружилась голова, что отлога больше нет. Он заголосил, громко и непроизвольно, потому что горевать было сладостно. Оказалось, что, когда он глядит на деревья, они ускользают в разные стороны, и только крайним усилием можно заставить их опять сойтись, но сделать такое усилие ему не дано. Внезапно вокруг не стало ничего, кроме солнечного света и воркования голубей сквозь однообразный гул водопада. Лок опрокинулся на спину, широко открытыми глазами разглядывая странный узор, который образовывали двоящиеся ветки, оттененные ясным небом. Глаза закрылись сами собой, и он, будто сорвавшись с утеса, обрушился в сон.

ОДИННАДЦАТЬ

Фа трясла его:

– Они уходят.

Руки, но не руки Фа, стискивали ему голову, причиняя жгучую боль. Он застонал и покатился по земле, чтоб вырваться из этих рук, но они не разжимались, давили все сильнее, покуда не вогнали боль глубоко внутрь головы.

– Новые люди уходят. Они тащат свои долбленные бревна вверх по склону на уступ.

Лок открыл глаза и взвизгнул от палящей боли, ему показалось, что он глядит прямо на солнце. Вода хлынула у него из глаз и ослепительно засверкала меж веками. Фа затрясла его опять. Он нащупал землю руками и ногами, понемногу приподнялся. Желудок свела судорога, и вдруг его стошнило. Желудок жил сам по себе; он собрался в тугий узел, не хотел терпеть это зловещее медовое зелье и исторгнул его вон. Фа взяла Лока за плечо.

– Мой живот тоже болел.

Лок опять перевернулся и с трудом сел, не открывая глаз. На одной щеке он чувствовал палящие лучи солнца.

– Они уходят. Мы должны забрать нового.

Лок мучительным усилием разомкнул глаза, осторожно поглядел сквозь слипающиеся веки, желая увидеть, что же творится в мире. Теперь там было светлей. Земля и деревья состояли из ничего, имея только цвет, и так сильно раскачивались, что Лок опять закрыл глаза.

– Мне плохо.

Фа промолчала в ответ. А Лок обнаружил, что руки, которые стискивали его голову, теперь давят изнутри с такой силой, что кровь разрывает мозг. Он открыл глаза, моргнул, и мир сделался чуть устойчивей. Ослепительные цвета все еще оставались, но они уже не колыхались больше. Прямо перед его глазами земля была жирного коричневого и алого цвета, деревья стали серебристыми и зелеными, а ветки полыхали зеленым пламенем. Лок сидел, моргая, чувствуя, как по его лицу растекается нежность, а Фа все говорила:

– Мне было плохо, и я не могла тебя разбудить. Тогда я пошла поглядеть на новых людей. Их долбленные бревна поднялись уже высоко по склону. Новые люди боялись. Они стояли и двигались так, как это делают люди, которые боятся. Они волокли, и потели, и все время оглядывались на лес. Но в лесу нету никакой опасности. Они просто боятся воздуха, а в воздухе нету ничего. Теперь мы должны отнять нового.

Лок с обоих боков уперся руками в землю. Небо сверкало голубизной, и весь мир сиял ослепительно яркими красками, но все же оставался тем самым миром, который он всегда знал.

– Мы должны отнять Лику. Фа вскочила на ноги и обежала прогалину. Потом вернулась и поглядела на Лока. Он опасливо встал.

– Фа говорит – сделай так!

Лок покорно ждал. Мал ушел из его головы.

– Я вижу так. Лок подымается по тропе за утесом, где новые люди не могут его увидеть. Фа идет круглым путем и взбирается на гору выше новых людей. Они станут догонять. Мужчины станут догонять. Тогда Лок отнимет нового у сытой женщины и убежит с ним.

Она крепко стиснула плечи Лока и с мольбой поглядела ему прямо в лицо.

– А потом опять будет огонь. И у меня будут дети.

И Лок увидал все это внутри головы.

– Я сделаю так, – сказал он с твердостью, – а когда увижу Лику, отниму ее тоже.

На лице Фа, уже не в первый раз, мелькнуло что-то такое, чего он никак не мог понять.

Они разошлись в разные стороны у подножья горы, там, где кустарник еще скрывал их от новых людей. Лок подался вправо, а Фа пробежала по

лесной опушке, чтоб обогнуть склон кружным путем. Лок оглянулся и увидел, что она, как рыжая белка, бежит почти все время на четвереньках под прикрытием деревьев. Потом он стал взбираться вверх, прислушиваясь к голосам. Он добрался до тропы над рекой, и водопад ревел уже впереди. Водопад теперь был многоводен, как никогда. Грохот, который доносился снизу, из ущелья, звучал особенно гулко, и дымная пелена широко раскинулась над островом. Гривы падающей воды разметывались на пряди млечного цвета, обволакивались пенным налетом, едва отличимым от скачущей струи и тумана, который подымался ей вперекор. На острове, у дальнего берега, Лок видел большие деревья во всем великолепии весенней листвы. Они то как бы ныряли в струю, то опять вздымались над нею, трепеща и клонясь к реке под напором течения, и колыхались, будто великанья рука сотрясала их комли. Но на этом берегу острова деревьев не было совсем: только неиссякаемое изобилие сверкающей воды, да еще будто жирное молоко низвергалось в грохот и в белый, наплывающий дым.

Потом сквозь этот оглушительный грохот воды Лок слышал голоса новых людей. Они были справа, скрытые отрогом, за которым была падь, где висела ледяная женщина. Лок остановился и услышал, как новые люди визгливо перекликаются.

Здесь, где все было так знакомо, где среди скал еще хранилось живое прошлое его людей, он с новой силой испытал приступ отчаянья. Мед не убил это отчаянье, а лишь усыпил на время, а теперь оно пробудилось и стало еще пронзительней. Лок застонал, терзаемый пустотой, и почувствовал огромную нежность к Фа, пробиравшейся по другой стороне склона. А где-то среди новых людей была Лику, и у него возникла настоящая потребность, чтоб обе были рядом или хотя бы одна из них. Он стал взбираться к пади, где висела ледяная женщина, и голоса новых людей приблизились, зазвучали громче. Вскоре он уже залег на краю утеса, глядя поверх полосы земли шириной с ладонь, где росла чахлая трава да кое-где низкорослый кустарник.

Новые люди еще раз показали ему свои удивительные штуки. Они совершали какие-то бессмысленные действия над бревнами. Некоторые были заклинены меж скал, на них поперек лежали другие. Разрытая полоса земли на склоне вела прямоком к уступу, и Лок понял, что одно долбленое бревно уже на отлоге. А то, с которым новые люди возились теперь, было направлено вверх по склону меж заклиненными бревнами. От него тянулись полосы толстой и скрученной кожи. Под задним концом долбленого бревна на каменном выступе лежал ствол, заклиненный поперек, причем ближний конец гнулся под тяжестью валуна, который норовил скатиться вниз. Едва Лок успел все это оглядеть, он увидел, как старик рванул кожаную полосу и освободил валун. Валун сорвался со ствола, который дернулся и покатился со склона, а долбленое бревно скользнуло в противоположную сторону, наверх.

Валун сделал свое дело и теперь с грохотом спешил укрыться в лесу. Туами поспешно втиснул камень под задний конец долбленого бревна, а люди кричали. Наверху, меж бревном и уступом, не было больше валунов, и теперь вместо них пришлось поработать самим людям. Они подхватили и приподняли бревно. Старик стоял рядом, и с его правой руки свисала дохлая змея. Он закричал: «Э-эх!» – и люди дружно налегли на бревно, а лица их исказились от тяжелого усилия. Старик замахнулся змеей и хлестнул, ею по дрожащим спинам. Бревно поползло вверх.

Немного погодя Лок увидел и всех остальных людей. Сытая женщина не волокла бревно. Она стояла поодаль, меж Локом и этим бревном, держа на руках нового человечка. Теперь Лок понял, что значили слова Фа о боязни новых людей, потому что сытая женщина все время озиралась и лицо ее было даже бледней, чем тогда, на прогалине. Танакиль стояла тут же, у нее под защитой, и поэтому была видна не вся. Лок вдруг будто прозрел и ясно увидел, как страх подстегивает и направляет неистовые усилия, с которыми люди подымали бревно. Они покорялись дохлой змее, и она как бы извлекала из их тел, и без того тощих, силу, неподвластную им самим. В напряженных движениях Туами и визгливых криках старика была иступленная торопливость. Они, пятась, отступали вверх по склону, будто их преследовали большие коты, ощерившие свои смертоносные клыки, будто сама река хлынула в гору и грозила их поглотить. Но река оставалась в своем ложе, и на склоне не было ни единой живой твари, кроме новых людей.

– Они боятся воздуха.

Хвоц завопил, отпрыгнул, и мгновенно Туами привалил большой камень к заднему концу бревна. Люди сгрудились вокруг Хвоца и загомонили, а старик размахивал змеей. Туами указывал вверх, на крутой бок горы. Вдруг он пригнулся, и камень со стуком ударил в долбленое бревно. Гомон перешел в пронзительный визг. Туами, напрягая все силы, один удерживал бревно кожаной полосой, не давая ему опрокинуться на бок. Он обмотал полосу вокруг скалы, и тогда люди, стоя в ряд, разом повернулись к горе. Высоко над ними на каменистом откосе металась Фа. Лок увидел, как она размахнулась, и еще один камень просвистел меж стоящими в ряд людьми. Мужчины сгибали свои палки и вдруг отпускали, давая им разогнуться. Лок видел, как прутья полетели вверх, на гору, но замедлили полет, не достигнув Фа, и вернулись назад. Еще камень ударил в скалу подле бревна, и сытая женщина побежала к утесу, на котором затаился Лок. Потом она остановилась и обернулась назад, но Танакиль уже подбежала к самому краю утеса. Она увидела Лока и завизжала. Лок вскочил и успел схватить ее, прежде чем сытая женщина повернулась к нему опять. Стиснув тонкую руку Танакиль, он торопливо заговорил с нею:

– Где Лику? Скажи, где Лику?

Услышав имя Лику, Танакиль стала вырываться и визжать, будто провалилась в глубокую воду. Сытая женщина тоже визжала, а новый человечек вскарабкался к ней на плечо. Старик уже подбегал вдоль края утеса. Хвощ тоже мчался от бревен. Он ринулся прямо на Лока, ощерив зубы. Визги и оскал зубов вселили в Лока невыносимый ужас. Он отпустил Танакиль так внезапно, что она упала. Падая, она задела ногой колено Хвоща в тот самый миг, когда он прыгнул на Лока. С глухим рычанием он перелетел в воздухе мимо Лока через утес. Потом скользнул над скатом, не касаясь поверхности, и исчез, не успев даже вскрикнуть. Старик метнул в Лока длинную палку, но Лок заметил на конце острый камешек и успел уклониться. Потом он бегом промчался меж сытой женщиной, широко разинувшей рот, и Танакиль, распластанной на спине. Мужчины, которые только что посылали прутья в Фа, разом повернулись и не спускали с Лока глаз. А он уже во весь дух несся поперек склона. Добежав до кожаной полосы, которая удерживала бревно, он ринулся прямо через нее и сильно ободрал голень, зато кожаная полоса лопнула. Бревно заскользило назад, вниз. Теперь люди следили уже не за Локом, а за бревном, и он на бегу повернул голову, чтоб увидеть, на что они смотрят. Оно взяло разгон на двух катках, и теперь не нуждалось в них больше. Потом оторвалось от склона на кругизне и полетело в воздухе. Конец его врезался в острую верхушку скалы, и оно раскололось на две половины по всей длине. Обе половины полетели дальше порознь, непрерывно вращаясь, и вломились в лесную чащу. Лок скатился в падь, и новые люди стали уже не видны.

Фа прыгала наверху, над падью, и он рванулся к ней из последних сил. Мужчины приближались, петля меж скал и держа наготове гнутые палки, но ему удалось их опередить. Он и Фа хотели уже лезть дальше, но мужчины вдруг остановились – потому что старик закричал на них. Хотя и не понимая слов, Лок угадал смысл его движений. Мужчины побежали вниз и вскоре исчезли из виду.

Фа щерила зубы. Она пошла прямо на Лока, угрожающе размахивая руками и все еще сжимая в кулаке острый камень.

– Почему ты не схватил нового?

Лок, защищаясь, выставил перед собой ладони.

– Я спрашивал про Лику. Спрашивал у Танакиль. Руки Фа медленно опустились.

– Пойдем!

Солнце склонялось к закату, и над долиной стремительно мельтешили золотые и алые блики – Фа вела Лока на утес, который возвышался над отлогом, и оба они видели, как новые люди торопливо спускаются по уступу. Они

уже доволокли долбленое бревно до той оконечности уступа, которая была выше по реке, и теперь пытались проволочить его через завал из древесных стволов, который возник в том месте, где Фа и Лок перебирались на остров. Новые люди заставили долбленое бревно сползти с уступа, и оно лежало на воде среди других бревен. Мужчины ворочали древесные стволы, силясь оттащить их к другому «краю скалы, где они окажутся во власти водопада. Фа бегала по каменистому склону.

– Они возьмут с собой нашего нового.

Она быстро спустилась по крутизне, как солнце спускалось в долину. Горы теперь сплошь залило красное зарево, и ледяные женщины воспылали ярким огнем. Вдруг Лок закричал, и Фа остановилась, глядя вниз, на воду. К завалу подплывало целое дерево, не какой-нибудь тонкий ствол или расщепленный обломок, а огромное дерево из дальнего, невидимого отсюда леса. Оно плыло вдоль берега по эту сторону долины, огромное скопище веток и побегов с распускающимися почками, неохватный, погруженный до половины ствол и простертые над водой корни, на которые налипло столько земли, что из нее можно было бы сделать очаг для всех людей в мире. Когда оно показалось, старик стал вопить и приплясывать. Женщины подняли головы от мешков, которые они с осторожностью спускали в долбленое бревно, а мужчины полезли назад через завал. Корни долбанули по завалу, и разломанные бревна взлетели в воздух или медленно встали торчком. Они запутались среди корней и повисли на них. Дерево остановилось, потом стало разворачиваться, покуда не прилегло боком возле утеса над уступом. Теперь меж долбленным бревном и чистой водой беспорядочно и густо перепутались бревна, будто чащоба, образованная кустами терновника. Завал превратился в неодолимую преграду.

Старик перестал кричать. Он подбежал к одному из мешков и принялся торопливо его развязывать. Он что-то крикнул Туами, который бегом тащил за руку Танакиль. Они стремительно приближались вдоль уступа.

– Скорей!

Фа помчалась вниз по склону туда, где был проход на уступ и на отлог. Она крикнула Локу на бегу:

– Мы возьмем Танакиль! Тогда они отдадут нового! Все вокруг изменилось. Цвета, насыщавшие мир, когда Лок очнулся от сна, в который впал под действием меда, стали еще ярче, еще сочнее. Казалось, Лок мчался и прыгал сквозь целое море багрового воздуха, а тени от скал были розовые и лиловые.

Он спрыгнул на склон.

Оба остановились у прохода перед уступом и присели на корточки. Река катила алую воду, и на поверхности сверкали золотые блики. Горы за рекой обволокла темнота, до того плотная, что Локу пришлось очень внимательно

присмотреться, только тогда он разглядел, что темнота эта отливает синевой. Завал, и дерево, и усердно работающие люди казались совсем черными. Но уступ и отлог все еще были залиты ярким багровым светом. Олень опять выплясывал, теперь уже по земляному откосу, который вел на отлог, оборотясь к правой впадине в утесе, подле которой умер Мал. Он тоже казался черным в огненном зареве заходящего солнца и, двигаясь, разметывал длинные лучи, которые слепили глаза. Туами орудовал на отлоге, раскрашивая что-то стоящее подле утеса, меж двух впадин. Рядом была Танакиль, маленькая, худенькая, черная, она сидела на корточках там, где прежде был костер.

С другого конца уступа донеслись размеренные удары – тук! тук! Двое мужчин рубили бревно, которое Лок сбросил в прибрежную воду. Солнце нырнуло за облако, багрянец разлился по небесной выси, а горы были окутаны темнотой.

Олень затрубил. Туами проворно спустился с отлога, он спешил к завалу, где надрывались мужчины, и Танакиль начала визжать. Облака роились, скрывая солнце, и багрянец стал тяжким, он будто потоком изливался в долину, вроде воды, только был еще текучей. Олень скачками удалялся к завалу, а мужчины хлопотали над бревном, как жуки суетливо ползают по мертвой птице.

Лок ринулся вперед, и на визг Танакиль откликнулись визги Лику, которые донеслись из-за реки и были такими отчаянными, что напугали Лока. Он остановился перед отлогом, приговаривая:

– Где Лику? Что ты сделала с Лику?

Тело Танакиль распрямилось, потом упруго выгнулось, и она завела глаза. Перестав визжать, она лежала теперь на спине, и меж ее оскаленных зубов проступила кровь. Фа и Лок присели на корточки рядом с нею.

Отлог теперь изменился, как и все в мире. Туами изготовил изображение для старика, оно стояло возле утеса и глазело злобно. Они сразу увидели, как поспешно и яростно трудился он над этим изображением, потому, что оно получилось расплывчатым и не таким законченным, как те, которые они видели на прогалине. Это было грубое подобие мужчины. Руки и ноги напряженно согнулись, будто в прыжке, а сам он был весь красный, как недавно вода в реке. Голову покрывали встопорщенные волосы, как они топорщились у старика, когда тот свирепел или пугался. Вместо лица был глиняный ком, но скатанные камушки были на месте и глядели слепым взглядом. Когда работа была кончена, старик снял с шеи связку зубов, воткнул их в лицо этого нелепого подобия и присовокупил еще два больших кошачьих клыка, которые носил в ушах. В трещину на груди глиняного подобия была вогнана палка, а к палке привязана кожаная полоса; к другому концу полосы была привязана Танакиль.

Фа стала издавать звуки. То не были ни слова, ни взвизгивания. Она схватила палку и хотела ее выдернуть, но не могла, потому что тот конец, который Туами глубоко всадил в глину, был обернут мехом. Лок оттеснил Фа и рванул, но палка не поддавалась. Багровый свет соскальзывал с воды, а отлог был испещрен тенями, среди которых глиняное подобие тарашило глаза и грозно щерило зубы.

– Вытаскивай!

Лок повис на палке всей тяжестью и почувствовал, что она гнется. Тогда он уперся обеими ногами в брюхо глиняного подобия и тянул, покуда мышцы не заболели от усилий. Сама гора будто сдвинулась с места, а подобие накренилось, так что руки его, казалось, сейчас схватят Лока. Потом палка выскочила из трещины и Лок, крепко сжимая ее, покотился по земле.

– Хватай!

Лок, пошатываясь, встал, поднял Танакиль на руки и вслед за Фа побежал по уступу. Тени подле долбленого бревна взвизгнули, а у завала раздался оглушительный грохот. Дерево сдвинулось с места, и бревна стали шагать, как великаны ноги. У долбленого бревна женщина со сморщенным лицом отчаянно рвалась из рук Туами; наконец она высвободилась и побежала Локу наперерез. Все вокруг стремительно двигалось и визжало, всюду творилось что-то злое и непонятное; старик приближался по рухнувшим бревнам. Он чем-то запустил в Фа. Охотники удерживали долбленое бревно под уступом, а огромная крона приплывшего дерева всей тяжестью веток и мокрой листвы пыталась уволочь их вслед за собой. Сытая женщина лежала в долбленном бревне, там же была и сморщенная женщина вместе с Танакиль. Старик кое-как взобрался на задний конец бревна. Ветки затрещали и проволоклись по скале с нестерпимым скрежетом. Фа сидела у воды, обхватив голову руками. И вдруг ветки коснулись и подхватили ее. Теперь она уплывала, плененная ими, все дальше и дальше, а долбленное бревно отделилось от уступа и устремилось прочь. Дерево развернулось по течению, а Фа понуро сидела среди веток. Лок опять залопотал. Он бегал взад и вперед по уступу. Но дерево не внимало ни мольбам, ни увещаниям. Оно неотвратимо плыло к водопаду и поворачивалось, покуда не очутилось на перекате. Вода уже перехлестывала через ствол, усиливала натиск, и вот уж корни перевалили за перекат. На миг дерево повисло в пустоте, подставив крону бурному течению. Комель вместе с корнями медленно опустился, а крона вздыбилась. Потом она беззвучно скользнула вперед и сгнула в водопаде.

Рыжая тварь стояла на краю уступа в бездействии. Долбленное бревно казалось теперь темным пятнышком в той стороне, где село солнце. Воздух в

долине был прозрачный, синий и недвижный. Вокруг не слышалось никаких звуков, кроме рева водопада, потому что наступило полное безветрие и небо было чистое и зеленое. Рыжая тварь повернулась вправо и мелкой рысцей затрусила к дальней оконечности уступа. За уступом вода потоками скатывалась с гор и перехлестывала через скалы, потому что на вершинах таял лед. Река высоко поднялась и затопила край уступа. Там, где течение проволочило крону огромного дерева, на земле и на каменной осыпи остались длинные борозды. Рыжая тварь все такой же мелкой рысцей побежала назад, к темной выемке под боком утеса, где еще сохранились признаки обитания. Она поглядела на подобие другого существа, теперь уже совсем темное, которое ухмылялось в глубине с высоты своего роста. Потом тварь повернулась и побежала через узкий проход, который вел с уступа на горный склон. Она помедлила, поглядела вниз, на борозды, на брошенные катки и оборванные канаты. Потом опять повернулась, осторожно обогнула отрог, остановилась на едва приметной тропе, которая пролегалa по голым камням. Все так же осторожно двинулась по тропе на четвереньках, опираясь на длинные руки почти так же твердо, как на ноги, шаря и ощупывая землю. При этом тварь пристально глядела вниз, куда с громовым ревом низвергались водные потоки, но там не было видно ничего, кроме отвесных полос туманной пелены с отблесками, дрожавшими над огромной водомоиной, образовавшейся в подножье горы. Потом тварь побежала гораздо проворней, перешла на странный неровный скок, так что голова ее моталась вверх и вниз, а предплечья выдвигались вперед попеременно, как лошадиные ноги. Тварь остановилась в конце тропы и поглядела вниз, на длинные и узкие скопища водорослей, которые колыхались то взад, то вперед над речным дном. Она подняла руку и поскребла завитки подо ртом, где не было подбородка. Вдалеке, на поблескивающей шири реки, виднелось дерево с распускающейся листвой, течение вертело его в воде и несло к морю. Рыжая тварь, которая теперь, в сумерках, казалась серой с голубоватым отливом, проскакала вниз по склону и нырнула в лес. Она бежала по тропе, широкой и развороченной, будто здесь проложили колеи большие колеса бесчисленных повозок, покуда не добралась до прогалины вокруг мертвого дерева у реки. Там она побродила около воды, потом залезла на дерево и сквозь листья вьюнка пристально поглядела вслед уплывающему дереву. Немного погодя она спустилась вниз, побежала по тропе, проторенной через приречный кустарник, и достигла поперечной протоки, которая размывала тропу. Здесь тварь помедлила, потом забежала взад и вперед вдоль воды. Ухватив длинную свисающую ветку бука, тварь стала раскачивать ее то в одну, то в другую сторону, покуда не перехватило дыхание и грудь не начала натужно вздыматься и опадать. Тогда тварь вернулась назад на прогалину, обежала ее множество раз, петляя меж кустов

терновника, которые были кучами навалены кругом. При этом тварь не издавала ни единого звука. Небосвод уже прокалывали острые лучи звезд, и теперь он не был зеленый, а окутался густой синевою. Белая сова парящим полетом проплыла над прогалиной и улетела к своему гнезду в чаще деревьев на острове близ другого берега реки. Рыжая тварь остановилась и стала разглядывать пятна на земле там, где недавно горел костер.

Теперь, когда солнечный свет совсем угас, не освещая небо даже косыми лучами, во всю ширь окоема над землей воссияла луна. Тени становились все резче, они падали от каждого дерева и сплетались позади кустов. Рыжая тварь стала обнюхивать землю вокруг кострища. Она уперлась в землю костяшками пальцев и опустила нос почти до самой земли. Водяная крыса, которая спешила вернуться в реку, увидав четвероногое существо, шмыгнула в сторону под куст и залегла, выжидая, что будет дальше. Рыжая тварь замерла меж густо усеянным золою кострищем и лесной чащобой. Она зажмурила глаза и жадно хватала ртом воздух. Потом она стала рыть землю, чутко улавливая носом запахи. И вот в развороченной земле показалась тонкая белая кость.

Рыжая тварь медленно выпрямилась и встала на ноги, глядя не на кость, а на что-то невидимое вдали. Это было странное существо, невысокого роста, с туловищем, наклоненным вперед. Голени и ляжки были искривлены, ноги и руки с наружной стороны густо покрывали рыжие завитки шерсти. Спина горбилась и тоже густо поросла завитками. Ступни и кисти были широкие и плоские, а большие пальцы на ногах были противопоставлены остальным, чтоб ловчей хватать. Размашистые руки свисали ниже колен. Голова чуть клонилась вперед на мускулистой шее, которая как бы прямо уходила в чащобу рыжих завитков под нижней губой. Рот был большой и широкогубый, а над завитками на верхней губе крупные ноздри трепетали, как птичьи крыла. Плавного перехода к носу не было, и конец его торчал прямо из-под нависающих надбровий. Самые глубокие тени густились в глазницах, где совсем не было видно глаз. Прямую линию надбровий очерчивала полоска густых волос; выше не было уже ничего,

Рыжая тварь стояла недвижно, и на теле ее играли лунные блики. Глазницы разглядывали не кость, а что-то незримое в стороне реки. Потом правая нога сдвинулась с места. Нога эта будто собрала и сосредоточила в себе все внимание твари, и ступня стала шарить по земле, как рука. Большой палец рыл и подносил, а остальные захватывали то, что было почти бесследно погребено под развороченной землей. Нога поднялась, согнувшись в колене, вложила что-то в опущенную книзу ладонь. Голова слегка наклонилась, взгляд соскользнул с далекой незримой точки и оглядел то, что лежало на ладони. Это был корень, старый и прогнивший, источенный с обоих концов, но сохранивший смутные очертания женского тела.

Рыжая тварь опять поглядела в сторону воды. Обе ее руки были полны, надбровья поблескивали при лунном свете над глубокими впадинами, в которых прятались глаза. По скулам и широким губам тоже скользили блики света, и в каждый завиток шкуры, как просесть, вплетались бледные лучи. Но глазные впадины зияли темнотой, будто голова была уже мертвым черепом.

Водяная крыса сообразила по неподвижности твари, что бояться нечего. Она проворно выскочила из-под куста и стала пересекать открытое пространство, а вскоре совсем забыла про молчаливую тварь и принялась искать добычу.

Теперь в обеих глазницах замерцал свет, два огонька, слабые, как звездочки, что отражались в гранитных кристалликах на гранях утеса. Потом огоньки вспыхнули, обрели четкость, просветлели, заискрились и опустились на нижний край впадины. Но вот вдруг в полной тишине огоньки превратились в тонкие полумесяцы, излились из глазниц и на морщинистых скулах задрожали узкие блики. Огоньки опять вспыхнули, просвечивая сквозь серебристые завитки бороды. Они повисли, длинно вытянулись книзу, закапали, скатываясь по бороде с завитка на завиток, и скопились на нижнем конце. Отблески на скулах дрожали, когда по ним стекали капли, а потом все эти капли слились воедино на конце бороды и канули в струю серебристых блесток, звонко застучавших по жухлому листу. Водяная крыса обратилась в бегство.

Лунный свет исподволь оттеснял синие тени. Рыжая тварь вывязила правую ногу из грязи и неуверенно шагнула вперед. Пошатываясь, она описала полукруг и добралась до бреши в сплошных горах терновых кустов, откуда начинался широкий развороченный след. Тварь пошла по следу, и при лунном свете она казалась серой и голубоватой. Теперь она бежала из последних сил, и голова ее безвольно моталась то вверх, то вниз. Ко всему тварь еще и хромала. Когда она добралась до склона, который вел к водопаду, она уже двигалась только на четвереньках.

На уступе тварь заторопилась. Она добежала до дальней его оконечности, где талая вода с обледенелых горных вершин перехлестывала через скалы. Потом вернулась назад и спустилась туда, где стояло некое чуждое существо. Здесь она вступила в безнадежную борьбу с обломком скалы, который был навален на земляной холмик, но сдвинуть этот обломок у нее не достало сил. Наконец тварь оставила тщетные попытки и ползком добралась до разоренного кострища. Она приблизилась вплотную к толстому слою золы и легла на бок. Она согнула ноги и подтянула колени к груди. Потом подложила сложенные ладони под щеку и замерла в неподвижности. Перекрученный и тщательно вылощенный корень лежал у самого лица. Тварь не издавала ни звука и как бы вращалась в землю, прикинув к ней мягкой плотью так тесно, что биение крови и дыхание прекратились.

Глаза, как зеленые огоньки, горели вокруг, и серые псы с осторожностью подкрадывались все ближе, скрываясь среди лунных теней. Они спустились на уступ и бесшумно подступили к отлогу. Любопытствуя, но соблюдая все же крайнюю осторожность, они обнюхали землю, но еще ближе подойти не осмелились. Звезды тихою вереницей ускользнули вниз, за громаду горы, и ночь уже шла на убыль. Над уступом медленно забрезжил серый рассвет, и легкий предутренний ветерок потянул через долину в межгорье. Зола на кострище зашуршала, взвилась в воздух, переворачиваясь на лету, и опала, усеяв взброс недвижимое тело. Гиены присели на землю, вывалив языки и часто дыша.

А вдали, над морем, небо уже адело и вскоре начало золотиться. В земной мир вернулись свет и привычные оттенки. При тускловатом еще утреннем свете стали отчетливо видны два существа, одно свирепо взирало от утеса на другое, каштановое, рыжее и желтое, как песок. Вода с ледяных вершин все прибывала, изливаясь искристой струей в виде длинного, выгнутого каскада. Гиены оторвали зады от земли, разошлись в стороны и с двух концов спустились к кострищу. Обледенелые горные пики стыли в ослепительном сверкании. Они радостно приветствовали солнце. Вдруг раздался звук, подобный громовому раскату, и гиены, трусливо дрожа, попятнулись назад, к утесу. Звук этот перекрыл шум воды, прокатился в горах, перелетел с утеса на утес и поплыл с многогласными отголосками над лесами, уже залитыми солнцем, и все дальше, дальше, к самому морю.

ДВЕНАДЦАТЬ

Туами сидел на корме долбленки, зажав под мышкой рулевое весло. Утро было яркое, и пятна соли на кожаном парусе уже больше не казались сквозными дырами. Туами с горечью вспоминал большой квадратный, туго свернутый парус, который они бросили в последний безумный час среди гор; ведь под тем парусом при ветре, напористо дувшем с моря, ему не довелось бы терпеть это долгое и невыносимое напряжение. Тогда не было бы надобности сидеть без сна ночь напролет, гадая, не окажется ли течение сильнее этого ветра и не снесет ли их назад к водопаду, пока люди или, верней, те из них, кто уцелел, спали мертвым сном. И все же они хоть медленно, но продвигались вперед, отвесные горы постепенно отступали, и вот наконец вода разлилась так широко окрест, что Туами уже не мог найти примет, чтоб направлять лодку, и только сидел на корме, пытаясь догадаться, куда же все-таки плыть, а горы смутно вырисовывались над водной гладью и маячили перед слезящимися, покрасневшими от напряжения глазами. Он

поерзал на месте, потому что округлое днище было твердое, а кожаная подстилка, на которой многие кормчие выдавили удобное сидалище, осталась, брошенная, на горном склоне, который подымался от леса к уступу. Туами ощущал под локтем легкий напор воды, передаваемый через рукоять весла, зная, что довольно ему опустить руку за борт, и вода сразу зажурчит вокруг ладони, обтекая запястье. Два темных следа на воде по обе стороны лодочного носа теперь уже не разбегались косо за кормой, а отходили почти под прямым углом к лодке. А если ветер вдруг переменится или утихнет на время, следы эти скользнут вперед и расплывутся, вода ослабит напор на весло, и тогда лодку начнет сносить кормой в межгорье.

Туами зажмурил глаза и устало потер рукой лоб. Ветер может стихнуть, и тогда им придется грести изо всех сил, какие только остались после этого нелегкого плавания, лишь бы добраться до берега и не дать течению снести лодку назад. Туами отдернул руку и поглядел на парус. Что ж, парус был наполнен ветром, но все же слегка заполаскивал, вдвоенные полотнища, закрепленные здесь, на корме деревянными клиньями, то сходились, то расходились, вспухали и опадали. Туами повернул голову и окинул взглядом многие мили теперь уж отчетливо видимой водной глади, а совсем близко, меньше чем в полукабельтове по правому борту проскользнуло чудище, корявый корень, изогнувшийся над водной поверхностью, как бивень мамонта. Чудище плыло к водопаду, к лесным дьяволам. Долбленка почти стояла на месте, потому что ветер совсем ослаб. Голова у Туами разрывалась от боли, но он все же попытался сообразить, как и что, сопоставить силу течения и ветра, но не пришел к удовлетворительному результату.

Тогда он с досадой встряхнулся, и параллельные следы, подернутые мелкой рябью, пролегли от бортов лодки. Ветер попутный, лодка слушается руля, а вокруг водная ширь – чего ж еще желать человеку? По обе стороны вдали громоздились облака. Это были лесистые холмы. А впереди паруса простирались низменности, быть может, безлесные равнины, где людям можно свободно охотиться на просторе, не спотыкаясь о корни деревьев и не блуждая меж темных скал, населенных призраками. Чего ж еще желать человеку?

Но все это ему только кажется. Он уставился на свою левую руку и постарался собраться с мыслями. Еще недавно он надеялся, что с рассветом вернутся здравый рассудок и мужество, которые, казалось, покинули их всех; но занялась – а потом ярко разгорелась заря, а они были все те же, что и в долине, одержимые призраками, запуганные дьявольским наваждением, объятые странной, непостижимой скорбью или опустошенные, подавленные, беззащитные в долгом, глубоком сне. Перетащив лодки – или, верней, лодку, потому что вторая была потеряна по пути, – от леса к истоку водопада, они как бы оказались на новой высоте не только над земной поверхностью, но и

над собственным опытом и чувствованиями. Мир, в сердцевине которого так медленно продвигалась лодка, окутывала тьма среди света, и был он грязный, загаженный, без проблеска надежды.

Туами шевельнул рулевым веслом, и снасти встрепенулись. Парус что-то сонно прошелестел, а потом опять хлопотливо наполнился ветром. Быть может, если б они сразу справились со снастями и уложили вещи как полагается... что ж было бы тогда? Отчасти желая оценить проделанную работу, но главное, стремясь отвлечься от своих внутренних переживаний и занять себя чем-нибудь извне, Туами оглядел долбленку.

Тюки валялись там, куда их побросали женщины. Посередине, у левого борта, пристроилась под укрытием двух тюков Вивани, хотя из духа противоречия она, конечно, предпочла бы шалаш, сплетенный из листьев и веток. Под тюками лежала связка копий, которые теперь никуда не годны, поскольку на тюках ничком спит Бата. Проснувшись, он обнаружит, что древки погнулись или треснули, а добротные кремневые наконечники обломаны. У правого борта в беспорядке валялись шкуры, которые уже едва ли могли пригодиться, но женщины свалили их в лодку, хотя могли б вместо этого спасти второй парус. Один пустой сосуд был разбит, другой валялся на боку, но глиняная затычка оставалась на месте. Значит, кроме воды, пить, в сущности, будет нечего. Вивани, свернувшись клубком, лежала на никчемных шкурах – неужто это она заставила женщин свалить сюда шкуры только для своего удобства, нисколько не беспокоясь о бесценном парусе? Что ж, очень на нее похоже. А укрылась она великолепной шкурой пещерного медведя, которая стоила жизни двоим охотникам, и этой шкурой заплатил ей за любовь первый ее мужчина. Что такое парус, с горечью подумал Туами, если Вивани пожелала устроиться поудобней? Каким дураком был Марлан, в его-то годы, когда связался с нею, покоренный ее умом, любвеобильным сердцем и белым, восхитительным телом! И какими дураками были мы, когда пошли за ним, зачарованные его колдовством или какой-то неодолимой силой, которую нельзя даже определить словами! Туами поглядел на Марлана с ненавистью и вспомнил про кинжал из слоновой кости, который уже давно и неторопливо оттачивал с таким тщанием, что острее не бывает. Марлан сидел лицом к корме, вытянув ноги и откинув голову к мачте. Рот его был разинут, а седоватые волосы и густая с проседью борода походили на куст. При ясном свете Туами увидел, что силы совсем покинули Марлана. И прежде у него были морщинки около рта, а книзу от ноздрей пролегли глубокие борозды, но теперь бородатое лицо было не только морщинистым, но совсем осунулось. Запрокинутая голова изнеможенно клонилась набок, перекошенная челюсть отвисла. Теперь совсем недолго ждать, думал Туами, и мы окажемся в безопасности, места,

где обитают лесные дьяволы, останутся позади, и тогда я пушу в ход острый клинок из слоновой кости.

Пусть так, но все же смотреть Марлану в лицо и при этом замышлять убийство было ужасно. Туами отвел глаза, бегло оглядел тела, вповалку лежащие в носовой части лодки, за мачтой, потом стал смотреть себе под ноги. Там, совсем рядом, распростертая на спине, лежала Танакиль. Она не выглядела такой безжизненной, как Марлан, скорее наоборот, жизнь в ней перехлестывала через край, новая жизнь, которая была не подвластна даже ей самой. Она почти не шевелилась, только пятнышко запекшейся крови на нижней губе подрагивало от учащенного дыхания. Глаза ее не дремали, но и не бодрствовали. Теперь, когда Туами мог явственно разглядеть эти глаза, он увидел, что в них все еще таится ночь, потому что они ввалились и скрывали в себе темноту, тусклые и обесмысленные. Хотя Туами наклонился вперед и она, несомненно, могла его видеть, глаза не остановились на его лице, но все так же блуждали где-то в глубинах ночи. Твал, лежавшая с нею рядом, прикрывала ее рукой, как бы защищая от опасности. Тело Твал было совсем как у старухи, хотя она была моложе Туами и приходилась Танакиль матерью.

Туами опять потер лоб рукой. Если б я только мог бросить это весло и взяться за кинжал, или будь у меня кусок древесного угля и огниво – он в отчаянье оглядел лодку, не зная, на чем бы задержать внимание, – но ведь я совсем как водоем, думал он, и неведомый поток наполняет меня, бурлит и взвихривает песок со дна, воды замутнены, и какая-то странная живность выползает из трещин и щелей у меня в мозгу.

Шкура в изножье Вивани шевельнулась, и Туами решил, что Вивани просыпается. Но тут наружу высунулась ножка, покрытая мелкими рыжими завитками, и была она не длиннее его руки. Она пошарила вокруг, тронула каменный сосуд и сразу отдернулась, потом коснулась шкуры, снова стала шарить и ощупывать густую шерсть. Наконец ножка вцепилась в шкуру, крепко сжимая тонкую прядку, и замерла в неподвижности. Туами передернулся в судороге, как припадочный, и так же судорожно задергалось рулевое весло, а параллельные следы на поверхности воды разошлись далеко в стороны от бортов лодки. Эта рыжая нога была одной из шести, которые пробились сквозь щель в памяти.

Туами вскрикнул:

– Но что еще нам оставалось?

Мачта и парус опять обрели отчетливые очертания. Он увидел, что глаза Марлана широко раскрыты, но не знал, давно ли они так пристально за ним следят.

Марлан заговорил глухо, будто из сокровенных глубин своего чрева:

– Лесные дьяволы не любят воды.

Это была правда, и притом утешительная. Вода распростерлась на много миль окрест и ярко сверкала. Туами умоляюще взглянул на Марлана из глубины своего водоема. Теперь он позабыл даже про кинжал, уже отточенный так, что острей не бывает.

– Не сделай мы это, нас уже не было бы в живых. Марлан заерзал на месте, чтобы дать костям отдохнуть. Потом он поглядел на Туами и серьезно кивнул.

Парус стал красновато-коричневым. Туами оглянулся назад, на долину в межгорье, и увидал, что вся она залита золотистым светом и там уже показалось солнце. Будто повинуясь какому-то сигналу, люди зашевелились, стали садиться и оглядывать далекие зеленые холмы. Твал наклонилась к Танакиль, поцеловала ее и тихонько произнесла ласковые слова. Губы Танакиль разомкнулись. Ее голос прозвучал хрипло, будто донесся из глубины ночи:

– Лику!

Туами услышал, как Марлан шепнул из-под мачты:

– Это имя дьявола. Только она одна может безнаказанно его произносить.

Теперь Вивани уже пробуждалась по-настоящему. Они услышали, как она громко, сладко зевнула и сбросила с себя медвежью шкуру. Потом села, тряхнула головой, откинув назад рассыпавшиеся волосы, и поглядела сперва на Марлана, потом на Туами. И сразу его опять обуяли похоть и ненависть. Не будь она такой, какая есть, не стань Марлан ее мужчиной, сумеет она спасти своего младенца во время шторма на соленой воде...

– У меня болят груди.

Не пожелай она иметь ребенка лишь ради забавы и не спаси я другого ребенка ради шутки...

Он заговорил пронзительно и быстро:

– За теми холмами, Марлан, лежат равнины, потому что холмы понижаются; там пасутся стада, и мы сможем охотиться. Давай править к берегу. Будь у нас вода... но у нас же есть вода! Взяли женщины еду или нет? Ты взяла еду, Твал?

Твал подняла голову, поглядела на него, и лицо ее исказилось болезненно и ненавистно.

– Что мне за дело до еды, старший? Ты и вот он отдали моего ребенка дьяволу, а они взамен подкинули слепое и немое дитя.

Песок взвихрился в мозгу Туами. Он подумал в смятении: тот Туами, которого и мне дали взамен, изменился до неузнаваемости – что ж теперь делать? Только Марлан остался прежним – похудел, ослаб, но все ж остался прежним. Туами пристально поглядел вперед, пытаясь найти кого-нибудь, кто совсем не изменился и мог бы послужить ему опорой. Солнце сверкало на парусе рыжим румянцем, и Марлан тоже казался рыжим. Его руки и ноги

напряженно согнулись, волосы и борода встопорщились, зубы были как у волка, а глаза как плоские камни. Рот то открывался, то закрывался.

– Говорю вам, они не могут гнаться за нами. Потому что не умеют плыть.

Рыжая дымка постепенно растаяла, и парус ярко засиял под солнцем. Вакити ползком обогнул мачту, стараясь не задеть своими роскошными волосами, которыми он так гордился, за снасти, чтоб не испортить прическу. Он проскользнул мимо Марлана, выказав ему, насколько это было возможно в узкой лодке, свою почтительность и сожаление, что он вынужден прошнырнуть так близко. Он пробрался мимо Вивани и вылез к Туами на корму с жалкой улыбкой.

– Прости, старший. Теперь спи.

Он зажал рулевое весло под левым локтем и сел на место Туами. А тот, освободившись, переполз через Танакиль и встал на колени возле полного сосуда, томимый жаждой. Вивани убирала волосы, вскинув руки и ловко орудуя гребнем вдоль, поперек и книзу. Она не изменилась или по крайней мере изменилась только по отношению к дьяволенку, который завладел ею. Туами вспомнил про ночь, таившуюся в глазах Танакиль, и отказался от мысли уснуть. Может быть, немного погодя, когда станет уже невозможно бодрствовать, но обязательно хлебнув из сосуда. Руки его нетерпеливо потянулись к поясу и вытащили остро отточенный клинок из слоновой кости с еще бесформенной рукоятью. Он отыскал в кожаном мешочке подходящий камень и опять стал точить, а вокруг наступило молчание. Ветер посвежел, и вода стремительно журчала за кормой, обтекая рулевое весло. Долбленка была такая тяжелая, что почти не вздымалась на волнах и не рыскала под напором ветра, как это иногда бывало с лодками, сделанными из коры. Поэтому ветер только оведал их всех теплым дыханием и отчасти рассеял смятение в голове Туами. Он уныло точил клинок, безразличный к тому, закончена ли работа, только бы занять руки и отвлечься.

Вивани покончила с прической и оглядела остальных. Она издала короткий смешок, который прозвучал бы робко у кого угодно, только не у нее. Потом дернула за шнурок, удерживавший кожаную колыбель, в которой покоились ее груди, и, обнажив, подставила их сверкающему солнцу. У нее за спиной Туами увидел низкие холмы и зелень деревьев, под сенью которых стлалась темнота. Темнота простиралась и над водой узкой полоской, а выше нее живо и ярко зеленели деревья.

Вивани наклонилась и отдернула край медвежьей шкуры. Там на кожаной подстилке лежал дьяволенок, крепко сжав кулачки и подобрал пальцы ножек. Когда на него хлынул свет, он высунул из-под меха головку, поморгал, широко открыл глазки. Потом приподнялся на передних лапках и стал озираться смышлено, серьезно, с проворством двигая шей и всем телом. Он зевнул, и все увидали, что у него уже прорезываются зубы, облизал губки

розовым язычком. Потом принюхался, повернулся, прошмыгнул к ноге Вивани и вскарабкался к ней на грудь. Она вся дрожала и смеялась, будто эта радость и любовь были в то же время страхом и мучением. Дьяволенок вцепился в нее ручонками и ножками. Неуверенно, даже с каким-то стыдом, все так же испуганно смеясь, она наклонила голову, заключила его в объятия и закрыла глаза. Люди ухмылялись, глядя на нее, будто и сами почувствовали чужеродный сосущий ротик, будто независимо от них, сквозь любовь, смешанную со страхом, пробился родник живого, теплого чувства. Они издали звуки, выражавшие обожание и смиренность, простерли руки, но при этом вздрагивали с отвращением, разглядывая две цепкие ножки и рыжие завитки шерсти. Туами, у которого в голове все бушевал и кружился песок, пытался думать о том времени, когда дьяволенок станет совсем взрослым. В этом далеком равнинном краю, где они могли не бояться преследования своего племени, но были отрезаны от людей горами, среди которых водятся дьяволы, какую еще жертву будут вынуждены они принести миру, полному смятения? Они отличались от смелых охотников и волхвов, которые уплыли вверх по реке к водопаду, настолько же, насколько вымокшее насквозь перо отличается от сухого. Туами нетерпеливо вертел в руках слоновую кость. Какой смысл точить ее против человека? Кто наточит клинок против тьмы мира?

Марлан хрипло сказал, прервав свои раздумья:

– Они водятся в горах или в темноте под деревьями. Мы станем жить на безлесной равнине и поближе к воде. Там нам не будет грозить темнота, которая таится под деревьями.

Туами невольно поглядел на темную полосу, которая загибалась и уходила под деревья вместе с отступающим берегом. Дьявольский отпрыск насытился. Он спустился вниз по вздрагивающему телу Вивани и соскочил на сухое днище. Потом пополз, пытливо озираясь, привстал на передних лапках и глянул на мир глазками, в которых ярко переливалось солнце. Люди съезжились, посмотрели на него с обожанием, коротко засмеялись и сжали кулаки. Даже Марлан заерзал и подобрал под себя ноги.

Утро было в разгаре, и солнце щедро светило из-за гор. Туами перестал точить кость камнем. Он ощущал бесформенную выпуклость, которая превратилась бы в рукоять ножа, будь работа закончена. Но в руках не было силы, и он ничего не видел внутри головы. В этих водах ни клинок, ни рукоять не имели смысла. На миг он даже почувствовал искушение швырнуть эту штуку за борт.

Танакиль открыла рот и опять произнесла бессмысленные звуки:

– Лику!

Твал с воем схватила дочь и прижалась к ней так тесно, будто хотела обнять ребенка, которого уже не было.

В мозгу у Туами опять взметнулся песок. Он присел на корточки, покачиваясь из стороны в сторону и бесцельно вертя в руке слоновую кость. Дьяволенок пытливо оглядывал ступню Вивани.

С гор вдруг донесся громовой звук, оглушительный и раскатистый, настиг лодку и трепетными, переплетающимися отголосками пролетел над поблескивающей водой. Марлан присел и размашисто тыкал пальцами в сторону гор, а глаза у него сверкали, как цветные камни. Вакити пригнулся так низко, что не удержал весла, и паруса заполоскали, потеряв ветер. Дьяволенка тоже охватило смятение. Он быстро вскарабкался по телу Вивани, пронырнул меж ее рук, которые она невольно вытянула вперед, как бы для защиты, и залез в меховой наголовник у нее на плечах. Он забрался поглубже и сразу исчез. Но наголовник теперь шевелился.

Звук, прилетевший с гор, уже затихал вдали. Люди вздохнули свободно, будто вдруг опустилось занесенное было смертоносное оружие, и обратили чувство облегчения и радостный смех на дьяволенка. Они взвизгивали, глядя на шевелящийся под мехом комок. Вивани согнула спину и ежилась, будто в мех забрался паук. Потом дьяволенок опять вынырнул, задрав задик, и маленький его крестец терся об ее затылок. Даже хмурый Марлан сморщил в усмешке усталое лицо. Вакити, корчась от смеха, никак не мог выровнять ход лодки, а Туами уронил слоновую кость. Солнце сияло, озаряя голову и маленький крестец, и все кругом опять вдруг стало хорошо, а взбаламученный песок в мозгу Туами покорно улегся на дно водоема. Крестец и голова так удивительно сочетались, что хотелось коснуться их рукой. Они ждали своего воплощения в бесформенной еще рукояти, которая была несравненно важнее клинка. Они заключали в себе ответ, эта боязливая, нежеланная любовь женщины и этот смешной пугающий крестец, льнувший к ее затылку, – они открывали путь. Туами нашарил на дне слоновую кость, и теперь пальцы ясно чувствовали, что Вивани и ее дьяволенок как нельзя лучше подходят для его замысла.

Но вот она сладила с дьяволенком и уложила его поудобней у себя на руках. Он уткнулся мордочкой ей в плечо, прильнул к ее шее и угнездился там. А женщина потерялась щекою об его короткие рыжие завитки, посмеиваясь и вызывающе поглядывая на всех остальных. Марлан сказал средь мертвого молчания:

– Они живут в темноте под деревьями.

Крепко сжимая слоновую кость, чувствуя, как его уже одолевает сон, Туами поглядел на темную полосу. Она тянулась вдаль, за водным простором. Туами пристально вглядывался вперед, в бескрайнюю ширь впереди паруса, высматривая, что же там, на другом конце озера, но оно было такое длинное и вода в нем сверкала так ослепительно, что ему не удалось разглядеть, есть ли вообще конец у этой темной полосы.

ШПИЛЬ



Шпиль

The Spire

London, 1964

Перевод *В.Хинкиса*

ГЛАВА ПЕРВАя

Он смеялся, вздернув подбородок и покачивая головой. БогОтец озарял его сиянием славы, и солнечные лучи устремлялись сквозь витраж вслед его движениям, животворя осиянные лики Авраама, Исаака и снова Бога-Отца. От смеха у него выступили слезы, и перед глазами множились радужные круги, спицы, арки.

Вздернув подбородок и сощураясь, он крепко, в обеих руках, держал перед собой макет шпиля – о радость...

– Полжизни ждал я этого дня!

Перед ним, по другую сторону столика с макетом собора, стоял канцелярий, его бледное старческое лицо было в тени.

– Не знаю, что вам сказать, милорд настоятель, право, не знаю.

Он не сводил глаз со шпиля, который Джослин так крепко держал в обеих руках. Голос его, тонкий, словно писк летучей мыши, терялся в просторной, высокой зале капитула.

– Ведь если представить себе, что эта деревянная поделка... сколько в ней длины?

– Восемнадцать дюймов, милорд канцелярий.

– Восемнадцать дюймов. Да. Именно. А в действительности, сколько мне известно, это будет сооружение из дерева, камня и металла...

– В четыреста футов высотой.

Канцелярий, прижимая руки к груди, вышел на солнце и огляделся вокруг, словно искал чего-то. Потом он взглянул на потолок. Джослин смотрел на него, повернув голову, исполненный любви.

– Я знаю. Фундамент. Но будем уповать на бога.

Канцелярий наконец нашел то, чего искал, – он вспомнил:

– Ах, да...

И старчески хлопотливо зашаркал по каменному полу к двери. Он вышел, а в воздухе осталась весть:

– Ну конечно. Утренья.

Не двигаясь с места, Джослин послал ему вслед стрелу своей любви. «Здесь мой дом, мой кров, моя семья. Вот сейчас он выйдет из ризницы последним и повернет налево, как всегда; а потом спохватится и повернет

направо, к капелле Пресвятой девы!» Джослин снова засмеялся и вздернул подбородок в блаженном ликовании. «Я знаю их всех, знаю, что они делают сейчас, и что уже сделали, и что будут делать. За все эти годы, пока я шел своим путем, собор стал моей плотью».

Он оборвал смех и вытер глаза. Потом снова взял белый шпиль и неизбежно утвердил его в квадратном отверстии, прорезанном в старом макете собора.

– Вот так.

Макет был подобен человеку, лежащему на спине. Неф – его сомкнутые ноги, трансепты по обе стороны – раскинутые руки, хор – туловище, а капелла Пресвятой девы, где отныне будут совершаться богослужения, – голова. И вот теперь вознеся, устремился, воздвигся, извергся из самого сердца храма его венец и величие – новый шпиль. «Они не знают, – подумал он, – не могут знать, пока я не поведаю им о своем видении!» Он снова засмеялся от радости и вышел из залы капитула на широкий, залитый солнцем двор, очерченный аркадами. «Но я должен помнить, что шпиль – это не все! Я должен, сколько достанет сил, продолжать каждодневные свои труды».

Он обошел аркады, раздвигая занавеси, и остановился у боковой двери. Медленно, бесшумно откинул щеколду. Входя, он склонил голову и сказал, как всегда, в сердце своем: «Поднимите, врата, верхи ваши!» Но, войдя, он сразу понял, что его предосторожность была излишней, потому что в соборе уже стоял нестройный шум. Утреню служили в отдалении, звуки были такие крошечные, ничтожные, что казалось, их можно собрать в горсть, и тем не менее они доносились сюда через весь собор, из капеллы Пресвятой девы, сквозь дощатую стенку, обитую холстом. Другие звуки, более близкие, хотя они, отдаваясь эхом, и слились в сплошной гул, говорили о том, что здесь люди долбят землю и камень. Эти люди переговаривались, распоряжались, покрикивали, волокли по каменному полу бревна, катили и роняли тяжести, небрежно швыряли их, дотасив до места, и все это породило бы крикливую разноголосицу, как на ярмарке, если бы эхо не подхватывало звуки снова и снова, заставляя их кружить по собору, настигать самих себя и тонкоголосое пение хора и звучать бесконечно, на одной ноте. Все это было так непривычно, что он поспешно прошел в главный неф и преклонил колени пред невидимым отсюда престолом; потом поднялся с колен и стал смотреть.

Мгновение он моргал. Такого яркого солнца ему еще не доводилось здесь видеть. Всего осязаемой в нефе была не дощатая, обитая холстом стенка, которая делила собор надвое, не два ряда арок, не часовни и не расписные надгробия меж ними. Осязаемой всего был свет. Он врвался в южные окна, высекая из стекол каскады цветных искр, и устремлял свои лучи правильным строем справа налево, к основанию опор по другую сторону нефа. И повсюду

пыль придавала ветвям и стволам света подлинную объемность. Он снова моргнул и увидел, как совсем рядом пылинки то кружатся одна вокруг другой, то разом взмывают вверх, как мотыльки под дыханием ветра. Он видел, как в отдалении они плавали облаками, завивались спиралью или на миг повисали недвижно, и тогда самые дальние ветки и стволы становились цветом, только цветом – медовой желтизной, исполосовавшей тело собора. Там, где окна южного трансепта освещали средокрестие с высоты ста пятидесяти футов, мед сгущался в колонну, и она высилась, прямая, как Авелев столп, над людьми, которые ломали и выворачивали каменные плиты пола.

Он покачал головой в печальном изумлении перед осязаемым солнечным светом. «Если б не этот Авелев столп, – подумал он, – я принял бы косую стену света за настоящую и решил бы, что мой каменный корабль сел на мель и накренился». И его губы дрогнули в улыбке: подумать только, человеческий ум повсюду открывает законы и вместе с тем обманывается легко, как младенец. «Теперь, когда на боковых алтарях не горят свечи, если стоять лицом к дощатой перегородке в дальнем конце нефы, может показаться, что это языческий храм, а вон те двое с ломami, что работают посредине, в солнечной пыли (когда они выворачивают каменную плиту и бросают ее, раздается грохот, как в каменоломне, и будит эхо), – жрецы, свершающие какой-то неведомый обряд... Господи, прости.

Вот уже полтора года лет мы непрестанно ткем в этих стенах великолепный узор хвалы Господу. Все останется, как было, только узор будет еще богаче, великолепнее, обретет наконец совершенство. А сейчас я встану на молитву».

Но он понимал, что еще повременит с молитвой, даже в сей день радости. Он громко смеялся от радости и знал, почему повременит, – знал всегдашний устав дня, знал, кто сейчас на охоте, кто произносит проповедь, кто кого замещает, знал, как надежен каменный корабль и его команда.

И словно эта мысль возвестила о начале короткой интермедии, он услышал, как стукнула щеколда и боковая дверь со скрипом отворилась. «Сейчас, как и всякий день, я увижу свою дочь во Христе».

И в самом деле, едва он вспомнил о ней, она быстро вошла, словно спеша на его зов, а он уже ждал, готовясь благословить ее, как благословлял всегда. Но жена Пэнголла, заслонясь ладонью от пыли, свернула налево. На миг мелькнуло ее узкое нежное лицо, и она, вместо того чтобы пересечь собор, пошла по северному нефу; ему оставалось лишь мысленно послать благословение ей вслед. Он провожал ее взглядом, слегка разочарованным и полным любви, а она, проходя мимо темных алтарей, откинула капюшон, под которым был белый платок, и из-под серого плаща на миг мелькнуло зеленое платье. «Вот женщина до мозга костей, – подумал он, исполненный любви к ней. – Отсюда ее безрассудное детское любопытство. Впрочем, это

забота Пэнголла или отца Ансельма» . И он увидел, как она, словно осознав свое безрассудство, быстро обошла яму, прикрываясь рукой от пыли, пересекла неф и захлопнула за собой дверь Пэнголлава царства. Он рассудительно кивнул.

– Пожалуй, кое-что у нас теперь все-таки переменится.

Когда дверь захлопнулась, стало почти тихо; а потом в тишине раздались новые негромкие звуки: «тук, тук, тук» . Он повернул голову влево – там, на цоколе колонны, сидел немой в кожаном фартуке, зажав большой камень между коленями.

«Тук, тук, тук» .

– А знаешь, Гилберт, он, кажется, велел тебе ваять с меня, потому что я подолгу стою на месте!

Немой поспешно вскочил. Джослин улыбнулся ему.

– Можно подумать, что от меня здесь меньше всех проку, как по-твоему?

Немой улыбнулся преданной, собачьей улыбкой и замычал пустым ртом. Джослин радостно засмеялся в ответ и кивнул, словно их связывала какая-то тайна.

– Спроси эти четыре опоры на средокрестии, есть ли от них прок!

Немой засмеялся и кивнул.

– Скоро я встану на молитву. Можешь пойти со мной, будешь сидеть смиренно и работать. Но захвати подстилку, чтобы не насорить, а то Пэнголл выметет тебя из капеллы Пресвятой девы, как сухой листок. Не надо сердить Пэнголла.

Тут раздался новый шум. Джослин сразу забыл про него, повернул голову, прислушался. «Нет, – сказал он себе, – не может быть, им не успеть так быстро!» И он поспешил в южный неф, откуда можно было через средокрестие заглянуть в северный трансепт. Возле часовни Пиверела он остановился. И прошептал, исполненный радости, которая была слишком глубока, чтобы выносить ее из храма:

– Нет, это правда. После стольких лет неустанных трудов. Слава Господу.

Ибо совершалось невероятное. «Ведь я проходил здесь столько лет изо дня в день, – подумал он. – И всегда то, что снаружи, было отделено от того, что внутри, так же четко, так же вечно и непреложно, как вчерашний день от сегодняшнего. Внутри – гладкий, расписной камень, снаружи – грубые, обросшие лишайником стены. Вчера, да нет, сегодня, только что между ними была неодолимая преграда. А теперь там сквозит воздух. Разобщенные части соприкоснулись, и я, как в замочную скважину, вижу угол дома канцелярия, где, быть может, сейчас ждет Айво.

Мужайся. Слава Господу. Это начало свершения. Одно дело велеть вырыть яму меж опорами, словно могилу для какого-нибудь именитого

горожанина. А это совсем иное. Теперь я поднял руку на самое тело своего храма. Как хирург, я поднес нож к животу, бесчувственному от макового отвара...»

Он пытался представить себе это, и негромкие звуки утрени казались ему слабым дыханием бесчувственного тела, расprostертого на спине.

По другую сторону часовни раздалась молодые голоса.

– Что ни говори, он обуян гордыней!

– И погрязает в невежестве.

– Знаешь, он возомнил себя святым! Это он-то – святой!

Но, увидев в полумраке настоятеля, оба дьякона упали на колени.

Он смотрел на них сверху вниз и любил их в своей радости.

– Вот как, дети мои! Что же это? Вы злословите? Сплетничаете? Клевещете?

Потупившись, они молчали.

– Кто же этот несчастный? Вы бы лучше помолились за него. Ну-ка, ну-ка.

Он обеими руками ухватил их за кудрявые волосы и ласково обратился к себе сначала одно бледное лицо, потом другое.

– Попросите канцелярия наложить на вас епитимью. Воспримите епитимью как должное, дети мои, и она даст вам великую радость.

Он отвернулся и хотел пройти дальше по нефу, но ему снова помешали. У временной дверцы, которая была сделана в дощатой перегородке и вела из южной галереи к средокрестию, стоял Пэнголл; он увидел Джослина, отпустил своих помощников и заковылял к нему с метлой на весу, прихрамывая, слегка волоча левую ногу.

– Преподобный отец...

– Мне сейчас некогда, Пэнголл.

– Сделайте милость!

Джослин покачал головой и хотел обойти его, но Пэнголл протянул загубелую руку, словно в своей дерзости готов был коснуться рясы настоятеля. Джослин остановился и, опустив глаза, быстро проговорил:

– Ну, что тебе? Опять все то же?

– Они...

– До них тебе нет дела. Пойми это раз и навсегда.

Но Пэнголл не отступал, пристально глядя на Джослина из-под копны темных волос. Его бурая одежда была в пыли, пыль покрывала перевязанные крест-накрест икры и стоптанную обувь. Сердитое лицо тоже было в пыли. И голос у него был хриплый от пыли и злости.

– Позавчера они убили человека.

– Я знаю. Но послушай, сын мой...

Пэнголл покачал головой так торжественно и убежденно, что Джослин умолк, потупившись и приоткрыв рот. Пэнголл поставил метлу на пол и оперся на нее. Он обвел взглядом каменные плиты, потом посмотрел действительно в лицо.

– Когда-нибудь они убьют и меня.

Теперь они оба молчали, а шум работы не затихал, и ему вторило звонкое эхо. Пылинки плясали между ними в солнечном свете. И Джослин вдруг вспомнил о своей радости. Он положил обе руки на кожаные плечи Пэнголла и крепко сжал их.

– Не убьют. Никто тебя не убьет.

– Ну, так выживут отсюда.

– Никто не причинит тебе вреда. Истинно говорю тебе.

Пэнголл яростно сжал метлу. Он выпрямился. Губы его кривились.

– Преподобный отец, зачем вы это сделали?

Джослин смиренно снял руки с его плеч и сложил их на груди.

– Ты знаешь это не хуже меня, сын мой. Дабы приумножить славу храма сего.

Пэнголл ощерился:

– И для этого надо его разрушить?

– Остановись, пока ты не сказал лишнего.

Но Пэнголл не отступался, и в словах его прозвучал вызов:

– Вы когда-нибудь оставались здесь на ночь, преподобный отец?

Он ответил ласково, как ребенку:

– Много раз. И это ты тоже знаешь не хуже меня, сын мой.

– Когда падает снег и ложится тяжестью на свинцовую крышу, когда листья забивают водостоки...

– Пэнголл!

– Мой прапрадед был среди тех, кто строил этот собор. В жаркие дни он ходил вон там, над сводом, так же, как теперь хожу я. А зачем?

– Успокойся, Пэнголл, успокойся.

– Зачем? Зачем?

– Ну, я слушаю.

– Как-то он увидел, что одно дубовое стропило занялось. По счастью, он прихватил с собой тесло. За водою ему было не поспеть: загорелась бы крыша, и свинец потек бы рекой. Он стал рубить стропило. Вырубил такую дыру, что влез бы ребенок, а угли унес голыми руками, и ладони у него поджарились, как свинина на вертеле. Вы это знали?

– Нет.

– А я знаю. Мы знаем. Все это... – Он ткнул метлой в груду хлама и пыли.

– Взломанный пол, яма... позвольте, я сведу вас на крышу.

– У меня есть другие дела, и у тебя тоже.

- Мне надо с вами поговорить...
- Но разве ты не говоришь со мной?

Пэнголл отступил на шаг. Он взглянул на опоры и высокие, сверкающие окна, словно они могли ему что-то подсказать.

– Преподобный отец. На крыше... у самой двери над лестницей в юго-западной башенке лежит наготове тесло, наточенное и смазанное, чтоб не ржавело.

- Это хорошо. Ты предусмотрителен.

Пэнголл взмахнул свободной рукой.

– Пустяки. Для этого мы и существуем. Мы подметали, вытирали пыль, штукатурили стены, тесали камень, иногда резали стекло, и мы молчали...

- Все вы верно служили храму. Я тоже делаю все, что в моих силах.

– Мой отец и дед... И тем более я, потому что я последний.

– Она праведная женщина и верная жена, сын мой. Надейся и уповай на Господа.

– Они играют моей жизнью себе на забаву. Но им и этого мало. Это еще не все... Пойдемте, я вам покажу мой дом.

- Я его видел.

– Нет, вы поглядите, что с ним сделали за эти недели. Пойдемте, пойдемте же. – И Пэнголл, маня его одной рукой, а другой волоча за собой метлу, торопливо захромал в южный трансепт. – Это был наш дом. А что теперь с нами станется? Глядите!

Он указал через низкую дверку на двор, лежавший меж крытыми аркадами и стеной собора. Чтобы выглянуть, Джослину пришлось нагнуть голову, покрытую скуфьей. Он стоял у двери рядом с Пэнголло и, увидев, что творится во дворе, изумился. Весь двор был завален горами обтесанных камней. Они громоздились меж контрфорсами до самых окон. Все свободное от камня пространство было занято бревнами – оставалась лишь узенькая дорожка. Слева от двери, у стены, стоял верстак под тростниковым навесом. Там были сложены стекла и свинцовые пластины, и двое подручных главного мастера работали: «треньк, треньк».

- Видите, отец мой? Я еле пробираюсь к собственной двери!

Джослин боком протиснулся вслед за ним меж кучами.

- Вот все, что они мне оставили. И когда это кончится, отец мой?

Свободное место перед домиком было не более часовни, а у самой его стены растеклись вонючие лужи. Джослин с любопытством посмотрел на домик, потому что никогда еще не бывал подле него так близко. Прежде, обходя храм, он лишь бросал через дверь благосклонный взгляд во двор, и этого было достаточно; что ни говори, а двор и домик, хоть и принадлежали собору, были царством Пэнголла. Каждое утро тень домика ложилась на юго-восточное окно, подобно памятнику, выросшему вопреки воле строителя. А

теперь сам домик был перед глазами Джослина, и снова то, что снаружи, соприкасалось с тем, что внутри. Домик прилепился к углу собора, словно выступ под карнизом старинного дома, где бесчисленные поколения ласточек и воробьев оставили свои следы и скелеты гнезд. Он притаился, смиренный и в то же время дерзостный; он был построен здесь без разрешения, и его молчаливо терпели, будто не замечая, потому что семья, которая жила в нем, была незаменима. Он закрывал контрфорс и половину окна. На стены его пошли каменные плиты, такие же серые и древние, как сам собор. В одном месте нелепо торчал надоконный желоб, хотя окна не было. С камнем соседствовали старые брусья, некогда обитые дранкой и оштукатуренные. А кое-где виднелись плоские тисненные кирпичи, гораздо древнее домика, да и собора, попавшие сюда из давно заброшенной гавани, на берег которой вот уже тысячу лет не ступала нога римлянина. Один скат кровли был из настоящего свинца, другой – из аспидных плиток, точно таких же, какими крыта кухня у викариальных певчих. Потом шла полоса тростника, но он стал таким трухлявым, что съезжился и пророс травой. Одно окно было нарочно подогнано под квадрат великолепного цветного стекла; другое было узкое, забранное роговыми пластинками вместо стекол. За какие-нибудь полтора столетия это нелепое строение приобрело почтенный и дряхлый облик. Домик весь съезжился, как тростник на крыше, его чужеродные части словно бы притерлись друг к другу, обрели вечный покой.

Джослин посмотрел на домик, покосился на кучи камней и бревен, обступивших его со всех сторон, – одна дерзость теснила другую.

– Вижу.

Едва он сказал это, в домике раздалось нежное пение. Гуди вышла из двери, увидела его, оборвала свою песенку, улыбнулась, посмотрела на него искоса и опростала деревянное ведро у стены собора. Она ушла в дом, и оттуда снова послышалось ее пение.

– Так вот, Пэнголл. Сейчас я отвечу тебе. Мы с тобой старые друзья, несмотря на разницу в положении, поэтому давай смотреть на вещи разумно. Они будут строить – тут и говорить не о чем. Скажи мне лучше, что тревожит тебя на самом деле.

Пэнголл поспешно отвернулся и поглядел на мастеровых, которые, нахвистывая, резали стекло. Джослин наклонился к нему.

– Ты тревожишься за жену? Они работают слишком близко от нее?

– Нет, не в том дело.

Джослин подумал и понимающе кивнул. Потом продолжал мягко:

– Они смотрят на нее, как мужчины иной раз смотрят на улице вслед женщинам? Отпускают шуточки? Говорят непристойности?

– Нет.

– Так что же?

В лице Пэнголла не было злобы. Только растерянность и мольба.

– Уж если хотите знать, я скажу. Зачем они привязались ко мне? Один я здесь, что ли? Зачем они потешаются надо мной?

– Надо терпеть.

– Каждую минуту... Что бы я ни делал. Хохочут, орут. А стоит мне оглянуться...

– Сын мой, ты слишком обидчив. Надо смириться.

Пэнголл поднял к нему лицо.

– Но до каких же пор?

– Это тяжкое испытание для всех нас. Я знаю. Оно продлится два года.

Пэнголл со стоном закрыл глаза.

– Два года!

Джослин положил руку ему на плечо.

– Подумай сам, сын мой. Камни и бревна постепенно поднимутся вверх. У тебя под носом не вечно будут бить стекло. Возведут шпиль, и наш храм станет еще прекрасней.

– Я не увижу этого, преподобный отец.

– Но почему, скажи мне ради...

Он замолчал, подавляя в себе внезапную досаду, но, когда он взглянул сторожу в глаза, досада столь же внезапно вспыхнула вновь. Он читал мысли Пэнголла так ясно, словно они были написаны у него на лбу:

«Потому что под собором нет фундамента и Джослиново безумство рухнет, прежде чем на верхушке угвердят крест» .

Он сжал зубы.

– Ты не лучше остальных. И не похож на своего прапрадеда. У тебя нет веры.

Но Пэнголл смотрел в землю. Он приблизился, наступая на тень Джослина. Его грязные, бурые, цвета навоза волосы были на шесть дюймов ниже лица настоятеля и почти касались его ряс. Джослин, охваченный досадой, уловил чуть слышный хриплый шепот:

– Как мне это вынести? Я все время опасюсь, отовсюду жду подвоха. Мне стыдно перед собственной женой. Все это копится вот здесь, внутри, и с каждым днем, с каждым часом...

Что-то отрывисто стукнуло по башмаку Джослина; он взглянул, увидел влажную звездочку с тонкими лучиками и крошечные капли воды, которые скатывались в грязь по смазанной жиром коже. Он нетерпеливо вздохнул, не зная, что сказать. Но солнце, игравшее на камне, увлекло его взгляд вверх, в пустоту над средокрестием, где каменные зубцы ожидали главного мастера и его подручных. Он вспомнил о рабочих, которые взламывали пол меж опор, и радостное волнение вернулось, заглушая досаду.

– Я же сказал, надо терпеть! А я поговорю с мастером, обещаю тебе.

Он потрепал сторожа по кожаному плечу и быстро ушел, боком протискиваясь меж груд дерева и камня. Мастеровые у верстака стояли к нему спиной. Он нырнул в дверку и помедлил немного в трансепте, жмурясь в пыльном сиянии. Он увидел, что каменные плиты уже сложены сбоку, у опор, и оба землекопа стоят по щиколотку ниже пола. Сквозь пролом в стене позади них было видно далеко, и он заметил среди могил, под тростниковым навесом, кучу бревен. Он стоял, сморщив в улыбке нос и вскинув голову, а через неф к нему спешил священник – отец Адам с письмом в руке; Джослин отмахнулся от него.

– Потом, любезный. Сейчас я должен встать на молитву. Окрыленный своей радостью, он с улыбкой быстро прошел по галерее между хором и ризницей. Служба кончилась, и там не было никого, кроме двух викариальных певчих, которые разговаривали, стоя у внутренней двери. Посреди капеллы Пресвятой девы для него уже поставили скамеечку с попитром. Он склонился пред алтарем, потом встал на колени. Слышно было, как где-то совсем рядом немой принялся осторожно постукивать и скрести по камню. Но ему не пришлось отгонять от себя эти негромкие звуки, потому что радость была его молитвою, изливавшейся из самого сердца.

«Что еще могу я сделать в этот величайший из дней, когда мое видение начало наконец воплощаться в камень, как не вознести благодарение Богу?

А посему, вкупе с ангелами и архангелами...»

Радость, как солнце, озарила его слова. И они воспылали.

Его колени безошибочно отмеряли время. Он всегда чувство – вал, сколько простоял коленопреклоненный. Сейчас, когда вместо тупой боли наступила онемелость, он знал, что минуло более часа. Он пришел в себя, и, пока огни медленно плыли перед его закрытыми глазами, он почувствовал, как боль снова вливается в его икры, колени, бедра. «Моя молитва никогда еще не была столь простой, поэтому она и длилась так долго» .

И вдруг Джослин почувствовал, что он не один. Нет, он никого не увидел и не услышал. Это было лишь ощущение, как ощущают тепло огня за спиной, – сильное и в то же время нежное неведомое присутствие было таким близким, что, казалось, проникло в самый его хребет.

Джослин склонил голову в ужасе, едва дыша. Он не противился. Я здесь, словно бы вещал неведомый, не двигайся, мы здесь и будем вместе вовеки.

И тогда он осмелился подумать, чувствуя тепло за спиной:

«Это мой ангел-хранитель.

Я творю волю Твою, и Ты послал вестника Твоего, дабы утешить меня. Как некогда в пустыне.

Двумя крылами закрывал он лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал «.

Радость, огонь, радость.

«Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне сохранить смирение!»

И он снова увидел ряды окон. Житие святого все так же сверкало на них синим, красным и зеленым, но искры и брызги солнца падали теперь по-иному. Он опомнился, глядя на знакомое окно поверх сплетенных пальцев, – ангел покинул его.

«Тук. Тук. Тук» .

«Скр-р-р» .

«Ты исполнил славою избранных Твоих, подобно солнцу в окне» .

Джослин оперся о попитр и не без труда разогнул онемевшие ноги. Ковыляя, он сделал несколько шагов и наконец выпрямился. Он оправил на себе рясу, вспомнил про стук и скрежет, повернул голову и увидел немого, который сидел у стены, приоткрыв рот. На полу возле его ног была разостлана ветошь, и он усердно скреб большой камень. Когда тень Джослина упала на него, он вскочил. Это был рослый юноша, он легко держал тяжелый камень двумя руками, прижимая к животу. Радость, утешение, мир, которые принес ангел, осенили и лицо юноши, как все вокруг; Джослин смотрел на него и чувствовал, как на собственном его лице морщины стягиваются в улыбку. Да, этот юноша тоже был высок ростом; ему не приходилось поднимать голову, чтобы заглянуть настоятелю в глаза. В радости, дарованной ангелом, Джослин оглядывал юношу, и все улыбался, и был исполнен любви к нему, к его смуглому лицу и шее, к широкой груди, где из-под кожаной куртки выбился кустик черных волос, к кудрявой голове, к черным глазам под черными бровями, к смуглым рукам и пятнам пота под мышками, к обмотанным крест-накрест ногам в грубых башмаках, побелевших от пыли.

– Кажется, сегодня я дал тебе довольно времени!

Немой юноша горячо кивал, и из горла его вырывалось мычание. Джослин все улыбался, глядя в его преданные, собачьи глаза. «Он последует за мной всюду. Если б он был главным мастером! Быть может, когда-нибудь...»

– Покажи-ка, сын мой.

Юноша перехватил камень снизу и, повернув его боком, поднял к груди. Джослин вскинул голову и засмеялся.

– Ну нет, нет! У меня не такой длинный нос! Даже вполтину не такой длинный.

Он взглянул снова и замолчал. Нос как орлиный клюв. Рот широко раскрыт, щеки морщинистые, под скулами глубокие впадины, глаза ввалились; он коснулся угла своего рта, провел пальцами по смеженным складкам плоти. Потом трижды открыл рот, чувствуя, как губы растягиваются, и трижды закрыл его, шелкая зубами.

– Нет, нет, сын мой. И волосы у меня не такие густые!

Немой вытянул свободную руку, быстро согнул ее и повел ладонью в воздухе, подражая полету ласточки.

– Птица? Какая птица? Может быть, орел? Или Святой Дух?

Рука повторила движение.

– А, понимаю! Ты хочешь передать ощущение полета!

Лицо немого расплылось в улыбке, он едва не уронил камень, но вовремя подхватил его, и над этим камнем слились воедино их души, подобно единению с ангелом, радость...

Теперь оба молча смотрели на камень.

Беспредельная скорость полета ангелов, запечатленная в неподвижности, волосы разметаны, реют, подхваченные веянием духа, рот раскрыт, но не дождевая вода изольется из него, а осанна и аллилуйя.

Джослин вдруг поднял голову и улыбнулся с сожалением.

– А ты не мог бы воплотить мое смирение, изваять ангела?

Мычание, покачивание головы, собачьи, преданные глаза.

– Значит, вот каким я, обращенный в камень, вознесусь на высоту двухсот футов, с четырех сторон башни, и пребуду там с раскрытым ртом, вещающим денно и ночно, вплоть до Судного дня? Поверни-ка лицо ко мне.

Немой повернул камень и послушно держал его перед Джослином. Они долго стояли молча, не шевелясь, и Джослин разглядывал острые, торчащие скулы, раскрытый рот, раздутые ноздри, которые, словно два крыла, рвались унести в вышину длинный нос и широко открытые, слепые глаза.

«Воистину так. В миг видения телесные очи слепы» .

– Откуда ты знаешь все это?

Но немой ответил ему безмолвным, как камень, взглядом. Джослин коротко рассмеялся, похлопал его по смуглой щеке, ущипнул.

– Наверно, твои руки знают, сын мой. В них заключена мудрость. Потому Всевышний и сковал твой язык.

Мычание в горле.

– Ну, ступай. А завтра можешь снова ваять с меня.

Джослин пошел было прочь, но вдруг остановился.

– Отец Адам!

Он поспешил через капеллу Пресвятой девы к священнику, стоявшему в тени, под самыми окнами.

– Все это время вы ждали?

Тщедушный священник терпеливо стоял, держа в руках письмо, как поднос. Его блеклый голос задрожал в воздухе:

- Я не смел послушаться, милорд.
- Простите, отец, я виноват перед вами.

Но не успел он произнести это, как другая забота уже вытеснила раскаяние из его головы. Он повернулся и пошел к северной галерее, слыша за спиной стук подбитых гвоздями сандалий.

– Отец Адам. Вы ничего... вы ничего не видели у меня за спиной, когда я стоял, преклонив колена?

Мышиный голос пискнул:

- Нет, милорд.
- А если и видели, я повелеваю вам хранить молчание.

В галерее он остановился. Над головой простирались солнечные ветви и стволы, но священники стояли в тени, у стенки, отделявшей хор от широкой кольцевой галереи. Джослин слышал, как у опор дробили камень, видел пыль, которая плясала даже здесь, за дощатой перегородкой, разве только помедленней. Пляска пылинок увлекла его взгляд вверх, к высокому своду, и он отступил на шаг, чтобы лучше видеть. И тут он почувствовал, что его кованный каблук наступил на мягкие пальцы.

– Отец Адам!

Но священник молчал и не шевелился. Он по-прежнему держал письмо, и лицо его даже не дрогнуло. «Может быть, это потому, – подумал Джослин, – что у него вовсе и нет лица. Он как деревянная кукла, и вместо лица у него гладкая чурка» . Джослин со смехом сказал, глядя на его лысину, окруженную каемкой жидких волос:

– Простите, отец Адам. О вас так легко забываешь. – И добавил, смеясь от радости и любви: – Я буду звать вас отец Безликий.

Священник по-прежнему молчал.

– Ну ладно. Давайте это противное письмо.

В другом конце храма собирался хор, готовясь к следующему богослужению. Он услышал, как запели псалом. Процессия двинулась; сначала ясней всего звучали детские голоса, потом они притихли, уступив первенство низким голосам викариальных певчих. Но вот притихли и они, из капеллы Пресвятой девы взмыл одинокий голос: «А-а-а» – и, подхваченный эхом, закружился под огромным сводом, настигая сам себя.

– Скажите, отец... Ведь все знают, что по мирским законам она приходится мне теткой?

– Да, милорд.

– Надо всегда быть милосердным – даже к ней, какова бы она ни была теперь... или прежде.

Снова молчание. «Двумя крылами закрывал он ноги свои. Ангел Твой – моя опора. Теперь я могу вынести все» .

– Что же говорят люди?

– Но ведь это просто пьяная болтовня, милорд.

– Я хочу знать.

– Люди говорят, что без ее денег вам никогда не построить шпиля.

– Это правда. Что еще?

– Говорят, что даже тот, у кого грехи как багрянец, за деньги будет похоронен у самого престола.

– Так говорят?

Священник все держал письмо в руках, как белый поднос. От письма еще исходил тонкий аромат, забивался в ноздри, словно в галерее, тускло освещенной с севера, вопреки естеству повеяло дыханием весны. И Джослин, несмотря на начало великого свершения и на ангела, снова почувствовал досаду.

– Оно смердит!

Одиноким голосом в капелле Пресвятой деви смолк.

– Читайте вслух!

– «Моему племяннику и...»

– Громче.

(А в капелле Пресвятой деви опять зазвучал голос, перекрывая эхо: «Верую во единого Бога...»)

– «...духовному отцу Джослину, настоятелю собора деви Марии» .

(А в часовне молодые и старые голоса слились: «...творца небу и земли...»)

– «Это письмо писано по моей просьбе магистром Годфри, поскольку ты, среди своих пастырских трудов и хлопот о шпиле, не читал, как я полагаю, те письма, которые он написал для меня за эти три года. Итак, дорогой племянник, я снова спрашиваю тебя все о том же. Неужели ты не найдешь времени мне ответить? Когда дело касалось денег, все было иначе, тогда ты отвечал не мешкая. Будем говорить начистоту. И ты, и все люди знают, какую жизнь я прожила, и всего лучше это известно мне самой. Но ведь все кончилось с его смертью, которую я назвала бы убийством, мученической кончиной. С тех пор я несу покаяние перед Творцом, который, надеюсь, продлит дни недостойной рабы своей, полные тяжких испытаний во искупление грехов» .

(«...при Понтийском Пилате и страдавшая...»)

– «Я знаю, ты молчишь, потому что осуждаешь мою сделку с царем земным. Но разве не велит Писание отдавать кесарю кесарево? Я исполняла это в меру сил своих. Я должна бы покоиться в Винчестере, среди королей,

он обещал это, но мне отказано, хотя недалеко то время, когда я смогу лежать только с мертвыми королями» .

(«...судить живых и мертвых» .)

– «Магистр Годфри хотел вычеркнуть эту фразу, но я воспротивилась. Неужели в твоём соборе все останки столь уж безгрешны? Ты, верно, думаешь, что у меня нет надежды попасть в рай, но я уповаю на лучшее. По южную сторону от хора есть – или, во всяком случае, был до тебя – уголок, который освещает солнце, между каким-то стародавним епископом и часовней Настоятеля. Надеюсь, меня будет видно от престола, и Бог благосклонней тебя взглянет на прегрешения, в которых мне до сих пор так трудно раскаяться до конца» .

(«...исповедую единокрещение во оставление грехов...»)

– «В чем дело? Тебе нужны еще деньги? Ты хочешь возвести два шпиля вместо одного? Знай же, что я намерена разделить свое состояние – он и в этом был щедр, как и во всем прочем, – между тобой и бедняками, оставив лишь, сколько нужно, на свое погребение, заупокойные службы и еще вклад во спасение души твоей матери, с которой мы были очень дружны...»

Он дотянулся и скомкал письмо в руках священника.

– Мы прекрасно обойдемся без женщин, отец Безликий. А вы как думаете?

– Милорд, о них сказано: «Лукавы и коварны» .

(«Аминь» .)

– А ответ, милорд?

Но Джослин теперь вспоминал о начале свершения, об ангеле и о невидимых очертаниях шпиля, которые уже сейчас открывались глазу посвященного над собором в солнечном небе.

– Ответ? – переспросил он со смехом. – Но зачем же менять решение? Ответа не будет.

ГЛАВА ВТОРАя

Он вышел из галереи через деревянную дверцу и мгновение постоял, моргая от яркого света. Через пролом в северном

трансепте мог бы проехать целый фургон, и солдаты из армии главного мастера обтесывали края. Пыль стала гуще прежнего, она клубилась как желтый дым, и он закашлялся до слез. Двое землекопов углубились в землю уже по пояс, и пыль над ними висела так густо, что Джослину показалось, будто их лица искажены чудовищной гримасой, но потом он разглядел, что они просто завязали себе рты тряпками; на тряпках запеклась корка пыли и пота. Возле ямы дожидался подручный; он поднял наполненный землей лоток и пошел через северный трансепт, а его место занял другой. Миновав густую завесу пыли, подручный с лотком на плече натужно запел. При первых же словах Джослин поспешно зажал уши и, глотая пыль, хотел было усюветить певца, но тот словно не заметил его и, распевая, вышел через пролом в стене. Джослин быстро вошел в неф и огляделся. Он поискал возле опор, но не нашел никого. Тогда он решительно свернул в южный трансепт, потом распахнул тяжелую дверь аркады, рывком поднял занавесь. Но в скриптории священнослужителя не оказалось; только дьякон слышал две рукописи, уткнувшись носом в страницы.

– Где ризничий?

Юноша вскочил, подхватив книгу.

– Милорд, он прошел здесь...

Джослин отдернул следующую занавесь, но в учебной галерее тоже никого. Скамьи стоят вкривь и вкось, одна опрокинута. Он подошел к парапету, оперся обеими руками о каменную плиту, на которой были вырезаны клетки и валялись костяные шашки, и выглянул наружу. Ризничий сидел на скамье, вынесенной из школы. Он дремал на солнце, опершись спиной о колонну и сложив руки на коленях.

– Отец Ансельм!

Весенняя муха ударилась в нос отца Ансельма и метнулась прочь. Он приоткрыл затуманенные глаза и снова опустил веки.

– Милорд ризничий!

Джослин поспешно отдернул еще одну занавесь, вышел во двор, остановился перед отцом Ансельмом и, подавляя раздражение, сказал спокойно, как ни в чем не бывало:

– В соборе пусто. Там никто не сторожит.

Хотя казалось, будто отец Ансельм дремлет, он едва заметно дрожал. Он открыл глаза, но не смотрел на Джослина.

– Там пыль, милорд. Вы же знаете, какая у меня слабая грудь.

– Но вам незачем сидеть там самому. Отдайте распоряжение.

Ансельм сдержанно кашлянул: кха, кха.

– Как же мне требовать от других то, чего я не могу сделать сам? Дня через два пыли станет поменьше. Так сказал главный мастер.

– А пока, стало быть, пускай себе распевают любую мерзость?

Как ни старался Джослин сдержаться, он повысил голос, его правая рука сжалась в кулак. Он заставил себя сразу же разжать кулак – будто случайно согнул и разогнул пальцы. Но ризничий заметил его движение, хотя смотрел в этот миг на большой кедр. Он по-прежнему дрожал, но голос у него был спокойный.

– Если вспомнить, милорд настоятель, сколь много теперь у нас против устава творят, то песня, прошу прощения, какой бы мирской она ни была, право, кажется мне невинной. Ведь у нас двенадцать алтарей в боковых нефях. Из-за этой... этой нашей новой затее там не горит ни одной свечи. И кроме того – еще раз прошу прощения, – поскольку эти чужие люди, собранные неизвестно откуда, по всякому поводу готовы на злодеяние, я полагаю, лучше уж пускай поют.

Джослин открыл было рот, но так и закрыл, не сказав ни слова. Он вспомнил мучительные колебания капитула, а ризничий уже отвернулся от кедра и смотрел теперь прямо на него, склонив голову набок.

– Право, милорд настоятель. Пусть себе поют день-другой, а там хоть пыль осядет.

Джослин перевел дух.

– Но ведь капитул решил!..

– Кое-что было оставлено на мое усмотрение.

– Они оскверняют храм!

Ризничий окаменел, как колонна у него за спиной, и уже не дрожал.

– Но они хотя бы не разрушают его.

Джослин вскрикнул:

– На что это вы намекаете?

Ризничий развел руками, и они замерли в воздухе.

– Я? Ни на что, милорд.

Он осторожно опустил руки и сжал их на коленях.

– Прошу вас, поймите мои слова правильно. Не удивительно, что эти невежественные люди оскверняют воздух своими словами, так же как оскверняют его пылью и вонью. Но они не разрушают воздух. И не разрушают самый храм.

– А я разрушаю?!

Но ризничий был настороже.

– Разве я говорю о вас, милорд?

– С тех пор, как вы перед капитулом высказались против шпиля...

Негодование комом стало в горле, и он замолчал. Ансельм едва заметно улыбнулся.

– Увы, то была прискорбная слабость веры, милорд. Дело решено, и теперь я понимаю, что мы все должны служить ему, не щадя живота.

«Служить, не щадя живота» – ведь это слова из его речи, и негодование, комом стоявшее в горле Джослина, прорвалось злобой.

– Воистину прискорбная слабость веры!

Ризничий улыбался спокойно и даже ласково.

– Не каждый чувствует себя божьим избранником, милорд.

– Неужели вы думаете, что я, при всей вашей осторожности, не слышу в этих словах обвинения?

– Я сказал только то, что сказал.

– И не соблаговолили встать.

Какие-то ничтожные причины, сплетаясь, приводили Джослина в ярость. Когда он заговорил снова, голос его то и дело пресекался.

– Мне кажется, устав основателя храма еще не утратил силы.

Ризничий не пошевелился. Только бледное лицо как будто слегка порозовело. Потом он подобрал под себя ноги и медленно встал.

– Милорд...

– За рабочими до сих пор никто не присматривает.

Ризничий промолчал. Он сжал руки, едва заметно наклонил голову и пошел к двери. Джослин порывисто протянул руку ему вслед.

– Ансельм!

Ризничий остановился, повернулся к нему и ждал.

– Ансельм, я не хотел... Из старых друзей у меня никого не осталось, кроме вас. До чего мы дошли!

Ответа не было.

– Вы же знаете, я не хотел вас обидеть. Простите меня.

На порозовевшем лице не мелькнуло и тени улыбки.

– Да, пожалуйста.

– Ведь у вас под началом больше десятка людей. Пошлите хоть того мальчика, что сейчас в скриптории. Златоуст может и подождать. Он ждет уже так давно!

Но к ризничему вернулось спокойствие, и он покачал головой.

– Сегодня я никого не стану просить об этом. Там пыльно.

Они помолчали.

«Как же мне быть? Что ж, пустое огорчение, оно скоро пройдет. Но это урок на будущее».

– Ваше распоряжение не отменяется, милорд?

Джослин круто повернулся и поднял голову. Он увидел крытую галерею со стрельчатыми арками, контрфорсы и высокие окна южной стены; глаза его скользнули вверх вдоль угла между этой стеной и трансептом, где была квадратная плоская крыша над средокрестием. Солнце заливало стену, не нагревая ее; каменные утесы тянулись к небу, чисто вымытому ночным дождем. Оно было безоблачно, но предвещало ветер. Джослин созерцал стройные, ему одному видимые линии, которые сами собой вырисовывались над зубцами, в вышине, там, где кружила птица, и сливались воедино на высоте четырехсот футов.

«Да будет так! Любой ценой» .

Он снова повернулся к ризничему и успел заметить на его лице сочувствие и в то же время злорадство. «Я твой друг, – говорила его улыбка, – твой духовник и, кроме того, друг» . И еще она говорила (а ответить было нельзя): «Незримая громада там, в вышине, – это Джослиново безумство, которое рухнет и погребет под собою весь собор» .

– Я жду, милорд.

Джослин сказал спокойно:

– Нет. Ступайте.

Ризничий сжал руки и склонил голову. Это было безропотное повиновение, и даже нечто большее, потому что нить, связывавшая их, перетерлась. У двери трансепта ризничий замешкался, и в том, как он тихонько поднял щеколду и осторожно, с едва слышным скрипом отворил дверь, был неуловимый упрек, какаято дерзость – и перетертая нить лопнула. «Что ж, – подумал Джослин, – значит, конец» . И он вспомнил, какой крепкой и длинной была эта нить, этот канат, связывавший их сердца, и его сердце сжалось. И он знал, что, когда пройдет негодование, он будет тосковать, вспоминая монастырь у моря, сверкающую воду, солнце.

«Это назревало уже давно.

Я не знал, какую цену мне придется уплатить за тебя, высота в четыреста футов. Я думал, ты будешь стоить только денег. Но все равно, любой ценой...»

Он вернулся в собор и, очутившись в трансепте, совершенно забыл про Ансельма, потому что в воздухе стало меньше пыли, а та, что еще оставалась, понемногу оседала. Землекопы сняли свои намордники, пыль над ними уже не стояла столбом. Видны были только их головы да взлетающие вверх лопаты. Опускаясь, лопаты не звенели о щебень, а с легким шорохом врезались во что-то мягкое, и подручный тащил лоток с черной землей. Но Джослина интересовал не подручный и не землекопы: по ту сторону ямы стоял Роджер Каменщик и пристально всматривался вниз. На миг он поднял глаза к опорам, скользнул по Джослину невидящим взглядом и снова уставился вниз. Это не могло удивить Джослина, потому что взгляд у

главного мастера часто был невидящий и когда он смотрел на что-нибудь, то ничего другого словно не замечал, не слышал и не чувствовал. В такие минуты его взгляд как будто схватывал и обтесывал то, на что был устремлен, или вбирал это в себя целиком. Но теперь он смотрел не так. Он пристально вглядывался вниз, и его смутное лицо выражало попросту удивление и недоверие. Синий капюшон был откинут и лежал складками вокруг толстой шеи, и Роджер поглаживал свою коротко остриженную круглую голову, словно хотел убедиться, что она на месте.

Джослин остановился у ямы и спросил мастера:

– Ну как, Роджер? Ты убедился?

Мастер не ответил и даже не взглянул на него. Он стоял подбоченясь, широко расставив толстые ноги и чуть наклонив вперед крепкое тело в коричневой блузе. Он сказал вниз, в яму:

– Попробуй щупом.

Один из землекопов выпрямился и утер рукой потное лицо. Другой нырнул вниз, и оттуда послышался скрежет. Мастер быстро встал на колени и, ухватившись за край плиты, еще больше подался вперед.

– Есть что-нибудь?

– Ничего, мастер. Вот, глядите!

Появилась голова землекопа и его руки. Он держал железный прут, прихватив большим пальцем одной руки прощупанную глубину, а другой придерживая сверкающее острие. Мастер не спеша смерил прут взглядом от пальца до пальца. Он взглянул сквозь Джослина, сложив губы, словно собирался свистнуть, но не издал ни звука. Джослин понял, что на него нарочно не обращают внимания, и оглядел неф. В дальнем конце он увидел благородную седую голову Ансельма, который сидел у самой двери, повинувшись букве его приказа, но в таком месте, где он ничего не слышал и почти ничего не видел. И Джослин снова с горечью подумал, что он совсем не такой, каким казался, хоть этому и трудно поверить. «Что ж, если не хочет бросить свое ребячество, пусть сидит там, покуда не прирастет к камню! Я не скажу ни слова» .

Он опять повернулся к мастеру, и на сей раз его заметили.

– Ну как, Роджер, сын мой?

Мастер выпрямился, смахнул пыль с колен, отряхнул руки. Землекопы возобновили работу, лопаты зашуршали.

– Вы поняли, что это значит, преподобный отец?

– Лишь то, что легенды правы. Но ведь легенды всегда правы.

– Вы, священники, выбираете себе легенды по вкусу.

«Вы, священники!»

«Надо быть осторожным, не то он рассердится, – подумал Джослин. – Пока он повинуется мне, пусть болтает что угодно» .

– Согласись, сын мой, ведь я говорил тебе, что этот храмчудо, а ты не верил. Теперь ты видишь своими глазами.

– Что?

– Чудо. Ты видишь фундамент, или, вернее, видишь, что фундамента нет.

Мастер презрительно и насмешливо фыркнул.

– Фундамент есть. Но он едва выдерживает собор. Взгляните вниз, по стенке, – видите, как это сделано? Вон до тех пор щебень, ниже что-то еще, а дальше – только жидкая грязь. Они настлали бревна, а сверху насыпали щебень. Но этого мало. Наверняка есть твердый грунт, и он должен лежать у самой поверхности. Должен, или же я ничего не смыслю в своем ремесле. Наверное, здесь была отмель, намытая рекой. А эта жижа скопилась просто случайно.

Джослин торжествующе засмеялся. Он вздернул подбородок.

– Вот то-то: мастерство не дает тебе уверенности, сын мой! Ты говоришь, они настлали бревна. Так почему же не поверить, что собор плавает на этом настиле? Проще верить в чудо.

Мастер молча дождался, пока он кончит смеяться.

– Отойдемте-ка в сторонку и поговорим без помех. Вот сюда. Пускай, если вам угодно, собор плавает. Дело не в слове. Положим, это так...

– Именно так, Роджер. Мы всегда знали это. Теперь ты убедился, что мне можно верить. Эта яма совсем не нужна.

– Я копаю, чтоб убедить своих людей.

– Твою армию? А я-то считал тебя военачальником.

– Бывает, армия ведет начальника.

– Плох такой начальник, Роджер.

– Послушайте меня. Фундамент, или настил, если хотите, едва выдерживает собор. Больше ему не выдержать, разве только самую малость. И теперь мои люди это знают.

Джослин старался соблюсти торжественность, но в его голосе невольно прозвучала снисходительная насмешка:

– Ведь эта яма и для меня, правда, Роджер? Вы роете яму настоятелю?

Но Роджер Каменщик не улыбнулся. Он по-бычьему смотрел на Джослина из-под густых бровей.

– Как это понимать?

– Пускай настоятель убедится, что построить шпиль невозможно. Этим летом нет работы ни в Винчестере, ни в Чичестере, ни в Лейкоке, ни в Крайстчерче, нигде не строят аббатств, монастырей или соборов. И новый король не закладывает замков. Здесь, подумал ты, мы переждем лето, а настоятелю Джослину покажем, какой он дурак. Так можно сохранить армию, пока не подвернется что-нибудь другое, потому что без армии ты – ничто. Теперь мастер слегка улыбнулся.

– Скоро я найду твердый грунт, преподобный отец, и тогда мы подумаем еще. А если нет...

– Если нет, ты согласишься построить невысокую башню, робко, с опаской и все время поглядывая, не начал ли собор оседать. Ты слишком надеешься на свою хитрость! Ведь строительство башни можно прекратить когда угодно, правда, Роджер? А тем временем твоя армия перезимует здесь и совершит еще не одно убийство.

– Эта драка стоила мне лучшего каменотеса.

– И все ради какой-то жалкой башни. Ну нет, Роджер!

– Я ищу твердый грунт. Это и есть настоящий фундамент.

Но Джослин качал головой и улыбался.

– Ты увидишь, как я подвигну тебя ввысь силою своей воли. Ибо это воля божия.

Мастер перестал улыбаться. Он сказал сердито:

– Если б они хотели построить шпиль, то заложили бы для него фундамент!

– Они хотели.

Роджер Каменщик сразу заинтересовался:

– А план?

– Какой план?

– Всего собора... Вы его видели? Сохранился он у вас?

Джослин покачал головой.

– Нет никаких планов, сын мой. Тем людям не нужны были картинки, нарисованные на пергаменте или нацарапанные на доске. Но я знаю: они собирались построить шпиль.

Мастер почесал в затылке, кивнул.

– Пойдемте со мной, преподобный отец, осмотрим опорные столбы.

– Я и без того их знаю. Не забывай, волею божией этот собор – мой дом.

– Нет, вы взгляните на них моими глазами.

По углам средокрестия было четыре опоры. Каждая поднималась кверху, словно густая купа деревьев, кроны которых поддерживали свод. Вверху, на высоте ста двадцати футов, было сумрачно, и глаз не мог проследить сплетение ветвей вокруг деревянного щита, которым была прикрыта отдушина посередине. Мастер подошел к юго-западной опоре и хлопнул ладонью по одному из стволов. Камень был гладкий, и пыль не держалась на нем; рука встретила свое искаженное отражение.

– Они кажутся вам толстыми и прочными, отец мой?

– Беспредельно.

– Но приглядитесь, как они тонки в сравнении с собственной длиной!

– В этом их красота.

– На них опирается только свод. Они никогда не были рассчитаны на тяжесть, много большую своего веса.

Джослин вздернул подбородок.

– И все же они достаточно прочны.

Теперь мастер улыбался так же двусмысленно, как ризничий.

– Преподобный отец, а как вы стали бы строить такую опору?

Джослин подошел к опоре и пристально взгляделся в нее. Каждая колонна была толще человека. Он провел пальцами по камню.

– Видишь? Тут проходят поперечные щели или швы. Как они у вас называются? Стыки? Наверное, обтесанные камни клали один на другой, как дети складывают кубики.

Улыбка мастера становилась все мрачней.

– Вы называете этих людей праведниками, преподобный отец, что ж, возможно, они были честные. Но можно было сделать и по-другому.

Мимо опор, хромая, прошел Пэнголл. Следом за ним, передразнивая его, крался подручный. Он точно так же ковылял бочком, точно так же держал голову, и даже взгляд у него был такой же свирепый. Пэнголл резко обернулся, подручный остановился как вкопанный и грубо захохотал. Пэнголл, что-то бормоча, ушел в свое царство.

– А теперь вот что, Роджер. Этот человек...

– Пэнголл?

– Он верный слуга. Вели своим людям оставить его в покое.

Мастер молчал.

– Роджер!

– Он дурак. Почему он не понимает шуток?

– Шутка или не шутка, а пора это прекратить.

Мастер равнодушно взглянул на дверь в Пэнголлово царство и промолчал.

– Роджер... Зачем непременно издеваться над ним?

Мастер быстро взглянул на Джослина. Где-то глубоко внутри оба ощутили толчок, словно колесо вдруг попало в колею; и Джослин почувствовал, как на губах у него трепещут слова, и он мог бы их вымолвить, если б не эти темные глаза, которые так прямо смотрят в его глаза. Словно что-то вот-вот должно было случиться.

– Роджер!

Из капеллы Пресвятой девы шла по галерее кучка прихожан, и впереди всех – Рэчел, без умолку треща языком. И слова, трепетавшие на губах Джослина, замерли.

– Зачем это?

Роджер Каменщик уже снова отвернулся к яме.

– Чтобы отвести беду. Есть у нас такая примета.

А Рэчел, покинув остальных, быстро шла к ним по каменному полу, она размахивала руками и быстро разевала рот, а потом они услышали ее голос:

– Им-то и не снилось, что ихний фундамент раскопают прежде Судного дня, а ведь тоже небось подрядились сделать все по совести, и вот теперь мой муж... – Она кивала и вся тряслась от рвения и не просто придерживала подол, а задирала его так, что открывались неуклюжие ноги. – Ведь ты знал, что там щебень и березовый настил, правда, Роджер? Он всегда все знает, милорд... – «Милорд!» Как будто она не женщина, а каноник и имеет право голоса в капитуле! Она словно говорила всем телом, вытаращив черные глаза, совсем не такие, какие должны быть у добропорядочной, скромной англичанки («не такие, как у застенчивой Гуди Пэнголл, моей возлюбленной дочери во Христе»), будто смыслила что-то в строительном деле и смела прекословить мужчине! Эта Рэчел, темноволосая, темноглазая, напористая, неумно болтливая, могла в случае надобности послужить самым убедительным доводом в пользу безбрачия... – Простите, милорд, но скажу вам, я в этих делах кое-что смыслю, и, помнится, старый мастер, который выучил Роджера, говорил: «Дитя, – это он меня так называл, потому что Роджер был тогда у него в подмастерьях, – дитя, шпиль должен уходить вниз на столько же, на сколько вверх» – или нет, кажется, наоборот: «вверх на столько же, на сколько вниз». Понимаете, он что хотел сказать... – Она склонила голову набок, загадочно улыбнулась и ткнула пальцем чуть ли не в самое лицо Джослину. – Он хотел сказать, что тяжесть снизу должна быть такая же, как сверху. И ежели строить на четыреста футов в высоту, так и в глубину надо на четыреста фугов. Правильно, Роджер? А, Роджер?

Она трещала без умолку, намолчавшись за время молебна, что было для нее тяжким испытанием, и теперь ее смуглое лицо и все тело сотрясались от потока слов, как труба, из которой хлещет вода. Они все-таки казались странной четой – Роджер Каменщик и Рэчел. Они были не только неразлучны, но и схожи внешнескорее брат и сестра, чем муж и жена: оба темноволосые, крепкие, красногубые. Они жили особой жизнью, словно бы на острове. Роджер ни разу не поднял на нее руку, частые ссоры у них были подобны вспышкам, которые сразу же задувал ветер, и все снова становилось как прежде. Они вращались один вокруг другого, и со стороны это казалось невероятным. Никто не понимал, как они ладят, хотя, если присмотреться, оказывалось, что у них были свои хитрости в совместной жизни. Например, Роджер Каменщик иной раз вел себя с Рэчел так, что она выглядела смешной, вот как сейчас. Словно не замечая ее, он только повысил голос, чтобы его можно было слышать и понимать. Самого Роджера все это ничуть не раздражало, зато раздражало постороннего, особенно когда этот посторонний облечен высоким духовным саном.

– ... и не так просто, как вы думаете.

Но лицо Рэчел дергалось, и она снова заглушила слова мастера. Джослин сам повысил голос, вступая в дурацкую игру и в то же время сердясь:

– Мы говорили о Пэнголле!

– Она такая миленькая, жаль, что у нее нет детей, но ведь и у меня тоже нет, ничего не поделаешь, милорд, приходится нести свой крест!

– ... я возведу его ввысь, сколько смогу.

– ... нет, сколько дерзнешь.

И вдруг Джослин без помех услышал свой голос. Рэчел отвернулась. Поток ее болтовни теперь поглощала яма.

– Что толку в малых дерзаниях, Роджер? Мои дерзания вознеслись высоко.

– Куда же это?

– На четыреста футов ввысь!

– Стало быть, я вас не убедил.

Джослин улыбнулся и кивнул многозначительно.

– Начинайте строить. Больше мне ничего не нужно.

Они обменялись взглядом, каждый с уверенностью в своей правоте, молча чувствуя, что они ни о чем не договорились и что это лишь краткое перемирие. «Я погону его вверх – камень за камнем, – думал Джослин. – Ведь ему не было видения. Он слеп. Пускай воображает, будто может прекратить постройку башни, когда вздумает...» Но тут Рэчел повернулась к ним, и они услышали, что в яме ужас как темно и землекопы устали, лошадь и то можно загнать, а тем более смирную, пора кончать работу.

Джослин отвернулся, злясь на себя, и на эту глупую женщину, и на ее мужа, который умеет не обращать на нее внимания, а совладать с ней не умеет. С удивлением он увидел, что солнце уже светит в западные окна, и сразу голод дал о себе знать. Это тоже его рассердило, и совсем слабым утешением было слышать, как мастер обругал Рэчел:

– Дура набитая!

Джослин знал, что это пустые слова, даже не упрек, а скорее всего – просто так, чтобы отвести беду, и что через пять минут они снова будут вращаться один вокруг другого, хохотать, или прогулгваться рука об руку у всех на глазах, или шептаться о чем-то своем. Но, в общем-то, она праведница: из всех слухов и любовных историй на Новой улице, где поселились строители, ни одна сплетня не коснулась Рэчел или мастера. Джослин оглядел неф, залитый солнечным светом, и снова почувствовал досаду. «День начался радостью и великими событиями, – подумал он. – Было начало, и был мой ангел. Но радость понемногу угасла, словно ангел был послан не только укрепить и утешить меня, но и предупредить». Он увидел вдали отца Ансельма, который величественно восседал у западной двери, высоко и неподвижно держа голову в ореоле седых волос, и к его

досаде примешалась скорбь. Он вздернул подбородок и, обращаясь к патриархам, вешавшим с цветных оконных стекол, сказал:

– Пускай сердится, если ему угодно.

У него за спиной, в трансепте, раздался смех и замер в проломе. Значит, Рэчел ушла; он обернулся и увидел, что мастер разговаривает с землекопами. Он хотел было вернуться и еще настаивать, убеждать, но раздумал. «Напрасно я сам пошел к нему, – подумал он. – Надо было призвать его к себе и выговорить ему за драку у ворот. А что, если мэр потребует суда? И я не сказал даже половины того, что хотел. А все эта женщина, с ее наглым подергивающимся лицом и бесконечной болтовней. Есть женщины, чье невежество крепче ворот и засовов. Надо было и ей выговорить за нескромность, пусть знает свое место. В другой раз, когда встречу ее одну, поговорю с нею терпеливо, объясню, как она должна себя вести.

Господи, какими орудиями приходится пользоваться!»

Он услышал в нефе стук подкованных сандалий и подумал, что этот человек похож на деревянную куклу. Он обернулся. Отец Адам шел обычным своим шагом, не спеша, но и не медля, как будто никогда ничего другого не делал, только ходил вот так изо дня в день, приносил, уносил, ожидал распоряжений – безжизненный, равнодушный и покорный. Он стоял перед настоятелем, сложив руки на груди, как игрушка, сделанная ребенком, который даже не пытался вырезать лицо, а руки и волосы нарисовал чернилами. Он снова явился с каким-то делом и теперь задерживал Джослина, который с самого утра ничего не ел.

– Неужели вы не можете подождать, отец Адам?

Отец Безликий...

Отец Безликий проскрипел своим ничтожным голосом:

– Я думал, вы пожелаете прочесть письмо немедленно, милорд.

Джослин вздохнул и сказал устало, досадливо, с таким ощущением, будто из него выжали всю радость:

– Ну что ж, давайте сюда.

Джослин повернулся и подставил письмо лучам заходящего солнца. Он читал, и лицо его прояснялось, досаду сменило удовлетворение, потом восторг.

– Вы хорошо сделали, что сразу принесли его мне!

Он преклонил колени, перекрестился и возблагодарил бога. Но волна радости уже нахлынула снова, подняла его с колен, понесла к мастеру, который разговаривал у ямы со своим подручным Джеаном. Когда Джослин подошел, мастер прервал разговор с Джеаном и сказал:

– Твердого грунта все нет. Если вода в реке будет так прибывать, копать глубже нельзя, придется ждать не одну неделю. А может, и не один месяц.

Джослин постучал пальцем по письму.

– Вот тебе ответ, сын мой.

– Что это?

– Милорд епископ не забыл нас. Даже сейчас, пребывая в Риме у Святого Престола, он помнит о своей далекой пастве.

Мастер сказал нетерпеливо:

– Вы что, не хотите понять меня? Говорю вам, из денег шпиль не построишь. Сделайте его из золота, и он только глубже уйдет в землю.

Джослин со смехом покачал головой.

– А теперь послушай меня, и ты увидишь, что тебе не о чем беспокоиться. Не деньги посылает епископ. В конце концов, что такое деньги? Он посылает нечто гораздо более, бесконечно более ценное... – Волна чувств захлестнула Джослина, взметнула его голос высоко. Он положил руку на плечи мастера, и это было почти объятием. – Мы замуруем его в самый верхний камень шпиля, и он пробудет там до конца дней. Милорд епископ посылает нам святыню. Гвоздь с креста господня.

Он убрал руку с плеч мастера, который стоял с непроницаемым лицом, и взглянул вдоль залитого солнцем неффа. Увидев седую голову отца Ансельма, он вдруг подумал, что без исцеляющего бальзама жизнь была бы непереносима. И он быстро пошел, почти побежал к старику через весь неф, размахивая письмом.

– Отец Ансельм!

На этот раз Ансельм встал перед ним. Он встал медленно, безропотно снося свое мученичество, и не закашлялся, дабы соблности достоинство, а лишь глухо, едва слышно кашлянул три раза. Лицо у него было холодное и непроницаемое.

– Отец Ансельм. Дружба – бесценное сокровище.

Все то же непроницаемое лицо. Джослин, окрыляемый радостью, не отступал.

– А мы что с ней сделали?

– Вы ждете от меня ответа, милорд, или же это вопрос риторический?

Джослин со всех сторон обволакивал его любовью.

– Хотите прочесть это письмо?

– Вы приказываете мне, милорд?

Джослин громко рассмеялся.

– Ансельм! Ансельм!

Старик упрямо отвергал его любовь, отворачивался, глядя на дощатую стенку, и покашливал негромко, но явственно, сухо: кха, кха, кха.

– Если письмо касается капитула, милорд, мы, без сомнения, узнаем его содержание в должное время.

– Ансельм. Я хочу сделать вам подарок. Я освобождаю вас от этой обязанности. Мне следовало знать, что с вашим слабым здоровьем и при

таком упорном нежелании... В конце концов, я больше всех занимаюсь этим делом. Я беру все на себя. Вы один можете меня понять, вы, мой духовник, пастырь моей души.

– Позвольте мне спросить, милорд. Значит, я не должен буду ни сторожить в соборе, ни надзирать за сторожами?

– Вот именно.

Выражение лица Ансельма не изменилось, его благородный профиль в ореоле седых волос был обращен к востоку. Он стоял, величественный, царственный, спокойный. И тяжело обронил:

– А грамота?

Тяжелые слова. То не были жемчуга или самоцветы, которые подобает рассыпать святому. То были булыжники. И Джослин не мог даже обидеться, не находил, за что ухватиться, потому что, хотя слова и были дерзкими, они были верны и отвечали уставу: *«Коль скоро один из четырех высших священнослужителей о чем-либо договаривается с другим, да будет оный договор писан в грамоте»*.

Устав был словно начертан перед ними в воздухе, и Ансельм покончил дело, приведя оттуда слова:

– *«Во изменение же писаного да будет тоже дана грамота с приложением малой костяной печати в присутствии обоих священнослужителей»*.

– Да, я знаю.

Ансельм снова заговорил холодно и спокойно. Он уже не кашлял.

– Это все, милорд?

– Да, все.

Он стоял, глядя назад через левое плечо, и слышал, как удаляются шаги ризничего. «Надо забыть о нем, – подумал он. – Я обманулся. У него благородный вид, но из уст его падают только камни».

Он посмотрел на письмо епископа. «Мы словно на весах, – подумал он. – Чем выше поднимает меня радость, тем ниже падает Ансельм. Гвоздь и мой ангел. Канцелярий, мастер и его жена...»

Вдруг он почувствовал, как немилосердно подрезаны крылья его радости, и злоба снова вспыхнула в нем. Пропади они все пропадом, но работа должна продолжаться! Он прошел под западным окном, прижимая письмо к груди, вздернув подбородок, и пробормотал в ярости:

– Теперь уж я сменю духовника!

Вечером, когда он преклонил колени, чтобы помолиться на сон грядущий, ангел снова явился и стоял у него за спиной, утешая его и овевая теплом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другое утро, проснувшись чуть свет, он услышал шум дождя, сразу вспомнил слова мастера и, среди прочего, помолился

о хорошей погоде. Однако дождь лил три дня, а потом дал лишь полдня передышки, но облака висели низко, и воздух был сырой – хозяйки сушили белье у очагов, где оно не столько сохло, сколько чернело от сажи; потом ветер снова принес дождь, который не унимался целую неделю. Когда настоятель выходил из своего дома и, закутавшись в плащ, торопился к собору, облака висели над самой крышей, так что даже зубцов не было видно. А сам собор, этот священный фолиант, высеченный из камня, уже не возглашал славу, а лишь бормотал скучную проповедь. Он весь был скользкий, вода струилась по мху, лишайнику и растресканным камням. Когда дождь уныло моросил, время тянулось так же уныло, медленно, тоскливо. А когда начинался ливень, тысяча каменных голов словно оживала, и тогда вспоминалось, что те, с кого они изваяны, давно гниют на погостах подле собора или у приходских церквей. Из разинутых ртов извергалась вода, словно то была новая, неслыханная еще адская мука, и эта вода вливалась в потоки, которые струились по стеклам, свинцу, каменному кружеву, по контрфорсам, башенкам, зубцам и подзорам, а потом с журчанием и бульканьем стекали в канаву у подножия стены. Когда налетал ветер, он не разгонял туч, а только вслепую бил по воздуху, с каждым ударом словно опрокидывая на землю ушат воды, и, когда он хлестал сзади, даже сам настоятель пошатывался, а при встречном порыве втягивал голову в плечи, будто над ним занесли кулак, и плащ трепыхался у него за спиной, как крылья. Когда ветер стихал, облака опускались ниже, и Джослину не видны были даже верхние окна; из-за сплошной завесы дождя он уже не чувствовал величия храма. Теперь ему приходилось довольствоваться тем, что было доступно взору, – углом какого-нибудь мокрого камня, где каждая мелочь казалась огромной и было множество изъянов, словно на коже, когда рассматриваешь ее слишком близко. В углах на северной стороне собора – но теперь не стало солнца, по которому можно было определить, где север, а где юг, – гнездились застарелый запах мочи. Река, выйдя из берегов, затопила дорогу и, не побоявшись стражи у городских ворот, ворвалась на грязные улицы. Мужчины, женщины и дети сидели, съезжившись, у очагов, и под каждой крышей витал дым от сырых поленьев или торфа. Только в трактирах былолюдно.

Землекопы уже не работали у опор. Однажды Джослин, стоя подле главного мастера, следил, как тот опускает в яму свечу на веревке, и вдруг увидел, что на дне сверкнула вода. Из ямы несло смрадом, и Джослин

отступил. Но мастер не обращал внимания на смрад. Он стоял, мрачно уставившись на свечу. Джослин забеспокоился, всполошился. Заглядывая Роджеру Каменщику в лицо, он спросил:

– Сын мой, что ты думаешь делать?

Роджер проворчал:

– Дел тут по горло.

Он стал подниматься по скрытой в стене винтовой лестнице; вскоре Джослин услышал его медленные шаги с высоты ста двадцати футов.

С тех пор как на Джослина впервые повеяло вонью из ямы, многое для него переменилось. Теперь он замечал, как этот омерзительный запах примешивается по всему собору к запаху ладана и сгоревшего воска: видно, вода незаметно просочилась в могилы сильных мира сего по обе стороны хора и под арками главного нефа. И оказалось, замечал это не он один. Живые, которые сделали презрение к жизни своим ремеслом, сочли это напоминание слишком бесцеремонным и отправляли службы с неподобающим отвращением на лицах. Проходя из капеллы Пресвятой девы к опорам – в эти дни тут было темно, – он настойчиво повторял себе: «Здесь, где теперь смрадная яма, много лет назад мне было явлено то, что я узрел, и я пал на лицо свое. Нужно всегда помнить об этом» .

Теперь мастер и несколько рабочих трудились под самой крышей. Они взломали свод, и, когда в соборе было хоть немного света, вверху виднелись стропила. Люди исчезали на внутренних лестницах и снова появлялись в трифории, крошечные, как мухи, а другие тем временем возводили леса у юго-восточной опоры. Они поднимали подмости все выше, словно ткали паутину, и в конце концов опора стала похожа на елку с обрубленными ветвями. Теперь работа уже не так мешала богослужениям, потому что строители были уже на крыше. Смрадную тишину нефа нарушали только редкие удары молота где-то под крышей. А потом под взломанным сводом повисли канаты, они медленно колыхались, словно собор, по стенам которого снаружи и внутри теперь проступила сырость, пророс каким-то гигантским мхом. Канаты были приготовлены для бревен, которые рабочие станут понемногу подтаскивать сюда через пролом в трансепте, но они были похожи на мох, и запах еще усиливал впечатление. В темноте и сырости даже сам Джослин лишь мучительным усилием воли заставлял себя помнить, какое важное дело здесь совершается; и когда один из мастеровых сорвался и упал с высоты, рассекая отчаянным криком воздух от свода до пола, такой плотный, что крик, казалось, застыл, как бы вытесанный в этом плотном воздухе безжалостной рукой, Джослин не удивился, что никакое чудо не спасло человека от каменной плиты, неумолимо ждавшей его внизу. На собрании капитула отец Ансельм не сказал ничего, но негодование в его глазах было красноречивей слов, и Джослин понял, что и эта смерть записана

в счет, который когда-нибудь будет ему предъявлен. Не темная ночь окутывала собор, а полдень, серый и потому кощунственно безнадежный. Мальчишки из хора истерически хохотали, когда канцелярий, который ковлял вслед за ними из ризницы, поворачивал налево, как привык делать вот уже полжизни, вместо того чтобы пойти направо, в капеллу Пресвятой девы. Несмотря на этот смех и хихиканье, богослужения продолжались и все шло своим чередом; но людей словно давила какая-то незримая тяжесть. Члены капитула брюзжали; ученики певческой школы поскущели, капризничали, кашляли; мальчики ссорились, сами не зная из-за чего. Младшие плакали без всякой причины. У старших подолгу стояли перед глазами ночные кашмары: безносые скелеты, которые всплывали под плитами пола и прижимали плоские лица к тяжелым камням. Неудивительно, что дети рады были посмеяться над канцелярием. Но однажды, повернув налево, он не остановился, и тогда за ним пошли двое певчих. Они отыскивали его в полутьме у дощатой перегородки, он шарил по ней, словно хотел пройти к престолу; они вывели его на свет и увидели, как сильно дрожит его правая рука и какое бессмысленное у него лицо. Дряхлого канцелярия отвели домой, и пожилых священников начал терзать новый страх перед старческим безумием. В смрадной полутьме днем и ночью совершались богослужения, и свечи ничего не освещали, лишь туманные нимбы вокруг них мерцали в сыром воздухе, и плыли кверху голоса в страхе перед старостью и смертью, в страхе перед глухими, исполинскими стенами, в страхе перед темнотой и беспредельностью, в которой нет надежды.

– Господи, услышь моление мое!

А потом пополз слух, что в городе началась чума. И лица, взиравшие на свет алтаря, который знаменовал присутствие Святого Духа, – напряженные, безмолвные лица с горящими глазами – множились, толпа росла. Джослин никогда не подходил к этой толпе, потому что у него был ангел, который время от времени утешал, согревал и укреплял его. Но как хороший военачальник, он видел, что людям нужна поддержка: ведь даже ему стало казаться, что мастеровые, эти орудия, которыми приходилось пользоваться, теперь без толку лазают по стенам, как обезьяны. Чтобы ободрить их, он велел вынести макет со шпилем на середину храма и поставить у северо-западной опоры. Макет стоял на столике, и казалось, он один был чистым во всем соборе, но стоило притронуться к нему, и палец становился мокрым.

Так прошло Рождество. Да возликует небо и возрадуется земля пред Господом, ибо Он грядет.

Так и считалось, что Он грядет, но облака по-прежнему висели над собором, и, если мелкий дождь ненадолго переставал, люди недоверчиво поднимали головы и ощупывали свои лица. Однажды, когда дождь стих, но в сырой пещере нефа стояло особенно сильное зловоние, Джослин пришел к

макету, дабы самому ободриться. Он с трудом вытащил шпиль из гнезда, потому что дерево разбухло, и держал его благоговейно, как святыню. Он нежно гладил его, покачивал в руках, смотрел на него, как мать на дитя. Макет шпиля был восемнадцати дюймов, нижняя половина, сделанная в виде четверика, была прорезана высокими окошечками и оканчивалась целым лесом стройных башенок, над которыми поднималось острие, тонкое, без единого украшения, с крохотным крестиком на конце. Крестик был меньше наперсного. Джослин стоял у опоры и все покачивал шпиль, все твердил себе, что теперь вода непременно пойдет на убыль. Ведь вот уже целую неделю нет дождя. Март выдался безветренный, но хмурый, и все же можно было надеяться, что отсыревшее солнце пробьется сквозь тучи и высушит рыхлую грязь на полях. Поглаживая шпиль, он услышал, как Джеан ругается у пролома в трансепте. Он закрыл глаза и подумал: «Мы выдержали! Отныне да будет все по-иному!» И он словно увидел закрытыми глазами, как теплые, сухие дни набирают силу, устремляются к свету. На крыше раздались удары молота, и шпиль, который он держал в руках, вдруг привел его в волнение; он вспомнил стройные линии, сходящиеся в воздухе над собором, и задохнулся от восторга. Он ожил. Вздернув подбородок, он открыл глаза и рот, готовый вознести благодарение Богу.

И замер, не вымолвив ни слова.

Из Пэнголлово царства появилась Гуди Пэнголл. Она сделала три быстрых шага вперед. Потом остановилась и отступила на шаг. И снова пошла, уже медленней, пошла на середину собора, но смотрела она не туда. Она смотрела в сторону. Одной рукой она стягивала ворот плаща, другую с корзиной подняла к груди. Она смотрела в сторону, словно обходя быка или жеребца. Ноги влекли ее подальше от опасного места, она едва не задевала плечом стену, но уйти не могла. Глаза чернели, словно два пятна, на бледном, осунувшемся за долгую зиму лице, рот приоткрылся, она выглядела бы глупо, но такое нежное существо не может выглядеть глупо, и к тому же этот неприкрытый страх... Джослин проследил за ее взглядом; и тут время понеслось вскачь или, может быть, вовсе остановилось. И поэтому Джослин ничуть не удивился, когда понял, что знает, на кого она смотрит, хотя еще и не видел мастера.

Роджер Каменщик стоял одной ногой на стремянке, под лесами, окружавшими опору. Он спустился вниз и смотрел на Гуди. Вот он повернулся. Вот пошел по каменным плитам, а она двигалась все медленней, прижимаясь к стене. Она отступала, отступала, повернув к нему голову. Но он словно пригвоздил ее к месту и что-то серьезно говорил ей, опустив глаза, а она все смотрела на него, приоткрыв рот и качая головой.

Джослин как будто прозрел. Он все понял, все теперь знал. Знал, что это не первая их встреча. Знал, как они страдают и мучаются. Знал – и это было

подобно откровению во время молитвы, – что самый воздух вокруг них стал иным. Некий шатер скрывал их от людей, и оба они боялись этого, но были бессильны. Они разговаривали серьезно и тихо, и, хотя Гуди все время качала головой, она не уходила, не могла уйти, затворенная вместе с ним в незримом шатре. Она была в плаще, с корзинкой, собралась на рынок, и ей не о чем было говорить с женщиной, а тем более с Роджером, но в таком случае ей довольно было покачать головой, она могла бы вовсе не обратить внимания на этого сильного человека в кожаных штанах, коричневой блузе и синем капюшоне, даже останавливаться было незачем – прошла бы мимо него, отвернувшись, ведь он же не схватил ее. Но она стояла, обратив к нему лицо, и ее черные немигающие глаза и ее губы твердили: «Нет». И вдруг она рванулась, будто в самом деле хотела разорвать висевшую в воздухе преграду, но тщетно, потому что незримый шатер, откуда им не было выхода, только растянулся и не выпустил ее. Она осталась внутри, и так будет всегда, она всегда будет внутри, как сейчас, хотя она и бежит прочь по южному нефу, и лицо ее, только что бледное, пылает. А Роджер Каменщик смотрел ей вслед, и казалось, ничто на свете не существовало для него, ничто и никто, кроме нее одной, и он был бессилен перед этим и невыносимо страдал. Когда за Гуди захлопнулась дверь, он повернулся спиной к Джослину и, как лунатик, пошел к лесам.

И тогда в Джослине словно из какой-то ямы поднялась злоба. Перед глазами возникло ее лицо, которое изо дня в день склонялось перед ним, когда она подходила под благословение, он слышал, как она беззаботно распевала в Пэнголлово царстве. Он вздернул подбородок, и из темной глубины, где бушевали возмущение и боль, вырвалось одно только слово:

– Нет!

Мир, пробуждавшийся к новой жизни, вдруг стал мерзок Джослину, словно его окатило грязью, он едва не задохнулся и, увидя перед собой пролом в трансепте, бросился туда, где брезжил дневной свет. Его настигли насмешливые возгласы мастеровых, и, хотя жгучее чувство терзало его, он понял, какой прекрасный повод для пьяных шуток будет у них теперь: сам настоятель выскочил из пролома в стене, обеими руками неся перед собой свое безумство. Он бросился назад, под своды. Но по северному нефу двигалась небольшая процессия; впереди шла Рэчел, бережно держа бесценную ношу; он заученно благословил и поздравил ее, но жена коннетабля поспешно отобрала у нее ребенка и с важностью направилась к капелле Пресвятой девы, где была купель. А Рэчел осталась, что-то удержало ее на месте, и, хотя перед его невидящими глазами стояли Роджер и Гуди Пэнголл, он постепенно понял, почему она осталась. Он никогда не поверил бы, что женщина, даже оскорбленная (глаза ее вылезли из орбит, черные пряди волос разметались по щекам), может сказать такую мерзость. На этот

раз его сковал не поток слов, а самый их смысл. Рэчел – лицо ее дергалось, дрожало, как оконное стекло во время грозы, – объясняла ему, почему у нее нет ребенка, хоть она и молит об этом Бога. Когда они с Роджером в первый год были вместе, она в самую неподходящую минуту засмеялась, никак не могла удержаться, но она не бесплодна, как некоторые думали и даже говорили, нет, избави Боже! Просто она не могла удержаться от смеха, и он тоже не мог удержаться...

Джослин стоял, удивленный, не веря своим ушам, а она исчезла наконец в северном нефе, торопясь поспеть на крещение. Он стоял у лесов, и его ожгла мысль, что таковы все женщины: девять тысяч девятьсот девяносто девять раз они бывают скромны, хоть и болтливы, и в десяти тысячный изрыгнут столь чудовищное непотребство, так грубо обнажат самое сокровенное, словно само взбесившееся чрево обрело язык. И из всех женщин в мире это сделала именно она – невероятная, невозможная и все же существующая Рэчел... принуждена была сделать, потому что не совладала со своим болтливым нутром, в неподобающем месте, в неподобающую минуту, перед самым неподобающим человеком. Она сорвала покровы с жизни, обнажив такие глубины, где царят ужас и смешная нелепость – красно-желтый шут размахивает в страшном застенке своей палкой, на которой подвешен свиной пузырь.

И он со злобой сказал деревянному шпилью, который держал в руках:

– Наглая и бесстыдная женщина!

Шут ударил его в пах свиным пузырем, а он засмеялся дребезжащим смехом, от которого по телу прошла судорога.

И громко воскликнул:

– Грязь! Грязь!

Он открыл глаза и услышал, как его слова гулко отдались под сводом. И увидел Пэнголла – он стоял со своей метлой, застывший, изумленный, у двери в дощатой перегородке. Невольно пытаюсь вложить в свои слова хоть какой-нибудь смысл и скрыть их истинное значение, Джослин воскликнул снова:

– В соборе полно грязи! Они все загадили!

Но из северного трансепта вышли старый каменотес Мел и главный помощник Роджера Джеан. Джеан хохотал, словно не замечая Джослина:

– Разве это жена? Да она просто сторожиха при нем!

У Джослина кровь еще шумела в висках, он попытался заговорить с Пэнголлом как ни в чем не бывало, но почувствовал, что задыхается, словно бегом пробежал через весь собор.

– Как твои дела, сын мой?

Но Пэнголл глядел на него враждебно, озлобленный какими-то своими неудачами или стычкой с мастеровыми.

– Какие там дела...

Джослин уже овладел собой и сказал почти спокойно:

– Я говорил с главным мастером. Ну как, ты помирился с ними?

– Я? Какое там!.. Вы правду сказали, преподобный отец. Они все загадили.

– Но тебя оставили в покое?

Пэнголл сказал угрюмо:

– Они никогда не оставят меня в покое. Я для них заместо шута.

«Чтоб отвести беду». Губы Джослина сами собой повторили эти слова, как ноги сами собой идут по привычному пути.

– Ничего не поделаешь. Все мы должны их терпеть.

Пэнголл, который пошел было прочь, обернулся.

– А почему вы не обратились к нам, отец? Я и мои помощники...

– Вам этого не сделать.

Пэнголл открыл было рот, но смолчал. Он стоял, не двигаясь, и пристально смотрел на Джослина; угол его рта кривился, и, если бы не его преданность и благочестие, это можно было бы принять за усмешку; а в воздухе между ними носились невысказанные слова: «И им тоже не сделать, никому не сделать. Из-за грязи, и воды, и непрочного настила, и высоты, и тонких опор. Это невозможно».

– Они тяжкое испытание для всех нас, сын мой. Я признаю это. Но мы должны терпеть. Ты же сам сказал мне как-то, что собор – твой дом. В твоих словах была греховная гордыня, но в то же время – верность и рвение. Пусть никогда не будет у тебя мысли, сын мой, что тебя здесь не понимают или не ценят. Скоро они уйдут. А у тебя, когда будет угодно Богу, родятся сыновья... Рот Пэнголла уже не кривился.

– И храм, который им суждено хранить и оберегать, станет неизмеримо величественней, чем ныне. Подумай сам. Посередине вознесется к небу вот это, – он торжествующе поднял перед собой шпиль, – и они будут рассказывать своим детям: «Это сделано во времена нашего отца».

Пэнголл сгорбился. Метла, которую он держал на весу, задрожала. Его взгляд застыл, оскаленные зубы сверкали. Мгновение он стоял так, уставившись на шпиль, который в упоении протягивал ему Джослин. Потом взглянул на настоятеля из-под насупленных бровей.

– Неужто и вы

издеваетесь надо мной?

Он повернулся, быстро заковылял прочь через южный трансепт, дверь его царства захлопнулась, и по всему собору отдалось эхо.

На крыше бил молот: «бам, бам, бам». Стук двери, и удары молота, и запахи, и воспоминания, и поток невыразимых чувств – все разом вдруг обрушилось на Джослина, и он задохнулся. Он знал, где можно вздохнуть

всей грудью, ноги, спотыкаясь, сами понесли его туда, и он упал на колени перед алтарем, осиянным неярким светом. Он смотрел на алтарь, жадно открыв рот.

– Я не знал...

Но чистота света оставалась недостижимой, она была как крошечная, бесконечно далекая дверца. Джослин стоял на коленях, мысли его кружились в бурном водовороте, и он не сразу понял, что смотрит на плиты пола, украшенные геральдическими зверями. А еще ближе, перед самыми глазами, стояли люди, четверо – и он снова содрогнулся, – Роджер и Рэчел, Пэнголл и его Гуди, словно четыре опоры средокрестия.

Потом, все еще содрогаясь, он поднял голову и увидел потускневшее великолепие витража, а свет на алтаре раздвоился и теперь сиял отдельно в каждом глазу.

Он прошептал:

– И Ты послал ангела Твоего, дабы он укрепил меня.

Но ангела не было; только водоворот чувств, бурлящий, мучительный, жгучий, и ужас перед злом, которое зреет и разрастается всю жизнь, достигая жуткого, непостижимого могущества на полпути между рождением и старостью.

– Ты, Господи! Ты!

Два света слились в бесконечной дали, и ему захотелось уйти. Но вместо ангела за его спиной прыгали и вопили те четверо, и свет вновь раздвоился. А потом их осталось двое в шатре, он и она, но теперь Джослин, захлестнутый скорбью и негодованием, закрыл глаза и со стоном стал молить Бога о спасении возлюбленной своей дочери.

– Укрепи ее. Господи, по великой милости Твоей и ниспошли ей успокоение...

И тут в голове у него, как живая, забила мысль. Она пронзила мозг острым копьем. Только что глаза его были закрыты, а сердце переполняла сладостная скорбь. Но теперь в душе не осталось чувств, ничего, кроме этой мысли, которая, казалось, пребывала там с первого дня творения. Никаких чувств, ничего, только одна мысль, и он снова ощутил бремя своего тела. На груди, у самого сердца, лежала тяжесть, болели руки, болела правая щека. Открыв глаза, он понял, что судорожно прижимает к себе шпиль и острая грань впилась ему в щеку. Он снова увидел плиты пола, и на каждой было по два зверя – когтистые лапы занесены для удара, змееподобные шеи переплелись. Где-то, то ли над плитами, то ли за спиной, где являлся ангел, то ли в беспредельности, которая была у него в голове, возникла яркая картина: Роджер Каменщик, полуобернувшись, глядит с лесов, и невидимые веревки притягивают его к женщине, припавшей к стене. Это Гуди, она тоже стоит полуобернувшись и смотрит не мигая; она чувствует, как натягиваются

веревки, качает головой, ее объемлет ужас и желание; Гуди и Роджер в шатре, который всегда пребудет вокруг них, куда бы они ни пошли. И тогда-то всплыла мысль, отчетливая, словно надпись поверх картины. Она была так чудовищна, что заглушила в нем все чувства, и теперь он читал ее с полной отрешенностью, а грань шпилья жгла ему щеку. Так чудовищна была эта мысль и так подавила она все остальные чувства, что ему пришлось произнести ее вслух, а перед глазами его все стояли те двое, связанные меж собой.

– Она удержит его здесь.

Он встал с колен, не глядя на свет алтаря, и медленно пошел к опорам сквозь оглушительную тишину. Он приблизился к столику, где распластался макет, и втиснул шпиль в квадратное гнездо. Потом он вышел из собора и побрел к дому. Он с любопытством поглядывал на свои руки и сосредоточенно кивал. Лишь поздно ночью чувства вернулись к нему; и тогда он снова упал на колени, и слезы хлынули из глаз. И тут наконец явился ангел, который согрел ему душу, и он немного утешился и уже мог переносить эту картину и эту чудовищную мысль. Ангел не оставлял его, и он сказал, засыпая:

– Ты нужна мне. И только сегодня я по-настоящему понял зачем. Прости меня!

Ангел согревал его.

Но словно для того, чтобы он не забывал о смирении, диаволу была дана власть терзать его всю ночь нелепым и беспросветным кошмаром. Джослину снилось, будто он лежит навзничь в своей постели, а потом он лежал навзничь в болоте, распятый, и руки его были трансептами, и Пэнголлово царство прилепилось у него под левым боком. Приходили люди, мучили его, осыпали насмешками: Рэчел, Роджер, Пэнголл, и все они знали, что у собора нет и не может быть шпилья. А сам диавол, который налетел с запада, облаченный в сверкающую шерсть, стоял над нефом и терзал его так, что он корчился в теплом болоте и громко кричал. Он проснулся в темноте, исполненный омерзения. Взяв бич, он нанес себе семь жестоких ударов по спине, которую недавно согревал лучезарный ангел, по удару за каждого беса. А потом уснул крепко, без сновидений.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

С тех пор Джослин ревностно принялся за труды. Натянув кожаные ноговицы, он объезжал по глубокой грязи окрестные церкви, проверял своих vikariev, произносил проповеди перед изможденными прихожанами. Он проповедовал и в городских церквях, где состоял архидиаконом. В соборе святого Фомы, вещая с высот трифория, над серединой нефа, где полукружьем стояли люди, поднявши кверху лица, он вдруг поймал себя на том, что испуленно говорит о шпиле и постукивает кулаком по каменному попитру. Но люди стонали и били себя в грудь не от его слов, а потому, что он говорил с таким испулением, и еще потому, что стояла пора дождей, наводнений, голода и смерти. Поутру ветер разогнал дождевые тучи, и когда Джослин вернулся в собор, то мог наконец снова окинуть взглядом весь храм. Но теперь это было самое обыкновенное здание – столько-то футов в длину, ширину и высоту, лишенное блеска и величия. Джослин взглянул в холодное небо, но там ничего не было. Он пошел к себе и стал смотреть в узкое оконце, потому что в оконной раме стены собора иногда обретали особую четкость и значительность. как на картине. Но теперь перед ним был просто огромный сарай. И к тому же собор как будто стал ниже, хотя Джослин знал, что ему это только кажется. У канавы, под стеною, земля, поросшая жесткой травой, вспучилась от сырости, словно камень выдавливал землю, и теперь он ощущал не столько величие славы божией, сколько тяжесть громады, сложенной людскими руками. А видение шпиля стало далеким, как сон, запомнившийся с детства. И тогда он думал о старом Ансельме, с которым было связано его детство, в голове всплывала мысль: у кого же он теперь будет исповедоваться. Но он с досадой встряхнулся и сказал в пустоту сквозь стиснутые зубы:

– Я творю волю моего Небесного Отца.

В эти дни он оставил без ответа еще одно письмо леди Элисон. И все же ветер принес перемены. Он разогнал тучи и, задувая в открытые двери, очистил собор от вони. Полые воды понемногу спадали, оставляя гниль и разрушение повсюду, кроме троп, которые уже подсыхали, и мощеных дорог, где могли проехать повозки. Теперь, подходя к западной двери, он видел, что каменные головы присмирели, замерли и ждут, напряженно разинув рты, что будет дальше. Он останавливался и раздумывал о том, с каким тщанием и вдохновенностью могучие строители возводили собор, потому что эти головы словно выросли, вздулись на камне, как нарывы или прыщи, очищающие от недуга. жертвуя собою ради чистоты и здоровья всего тела. Теперь, когда дождя не было, он видел мхи и лишайники, зеленые и черные. отчего казалось, что некоторые из голов поражены болезнью, они бросали по

ветру немые кошунства и злобные насмешки, бесшумные, как смерть, которая косит людей где-то далеко, в чужих землях. Святые и мученики, исповедники и праведники у западной стены бесстрастно перенесли зиму, а теперь обсохли и готовы были так же бесстрастно перенести летний зной.

Он чувствовал, что силы как будто понемногу возвращаются к нему. Вспоминая о Роджере Каменщике, который был орудием в его руках, и о женщинах, вращавшихся вокруг него, он говорил себе: «Она праведница!» – и верил, что этого довольно. Потому что все постепенно налаживалось. На собраниях капитула реже слышался кашель, и только один из каноников умер – дряхлый канцелярий неверными ногами переступил последний порог; и поскольку смерть его не была ни мучительной, ни скоропостижной и над ним успели совершить все положенные обряды, следовало скорее радоваться, чем скорбеть. Тем более что новый канцелярий был молод и смиренен. Незаметно пришло время снять занавеси в аркадах, и мальчики из певческой школы теперь играли на воздухе, стараясь залезть на высокий кедр. А однажды утром, войдя в собор, он вдруг увидел, что храм снова полон мирской суеты. Люди глазели на яму у опор или на дыру в своде. Теперь, когда река вернулась в берега и на небе сквозь облака проглядывала синева, вода из ямы ушла, и Роджер Каменщик, спустив туда свечу, не увидел ее отражения. Его армия приободрилась, рабочие насвистывали, взбираясь по лесам к своду и по винтовой лестнице в трифорий. Возвращаясь оттуда с пустым лотком или с корзиной, они возвещали о своем приближении свистом или песней, столь же безразличные к строгости Великого поста, как каменные изваяния. Напрасно Джослин жаловался Роджеру Каменщику, что его армия слишком шумит. Под тростниковым навесом у северного трансепта все время что-то строгали, а с крыши беспрестанно доносились удары и топот. Но Джослин в эту пору Великого поста готовился к решительной битве и, поглощенный приготовлениями, был бессилен перед веселой армией, как девчонка, которая пасет слишком много гусей. Он беспомощно слушал, как они распевают свои песни, беспомощно видел, как передразнивают Пэнголла, беспомощно смотрел на Роджера и Гуди в шатре.

И все твердил:

– Я творю волю моего Небесного Отца!

Однажды утром, войдя в собор («Поднимите, врата, верхи ваши!») и остановившись у ямы, которая больше уже не смердела, он уловил что-то новое в шуме, доносившемся сверху. Он запрокинул голову, так что заболела шея, и в глаза ему засиял клочок неба, звонкий, головокружительный, невероятный, чудесно голубой. И подобно тому как рама его узкого оконца порой придавала глубину и выразительность тому, что открывалось за нею, края маленького отверстия были словно оправой, в которой клочок неба

сверкал как драгоценный камень. Наверху строители разбирали крышу, отгибали свинцовые пластины. Голубой просвет разрастался в длину и ширину, объединяя землю с небом как раз там, где скоро, очень скоро вознесутся стройные линии, воплощая собой бесконечность. Запрокинув голову и открыв рот, он смотрел вверх прищуренными, влажными глазами. Он видел, как там суетились люди, которые делали, что им велено, но не ведали, что творят: видел, как белая полоска вторглась в голубизну, потом исчезла; слышал, как подошла Рэчел, треща языком, но не обратил внимания на ее болтовню и не знал, долго ли она пробыла рядом и куда ушла; шея его болела, но он не замечал этого, радуясь, как радуется ребенок, бегающий по цветущему лугу, а голубое пятно, расширяясь, затуманилось в его глазах и превратилось в искрящийся каскад. Наконец он дал отдых шее и погрузился в паутину света, медовых полос, протянувшихся от окон, призрачных огней, которые плыли в его голове и старались затмить голубизну неба, еще дрожавшую перед глазами.

И отныне, всякий раз как армия Роджера работала на крыше, небо смотрело прямо в жадно разинутую пасть ямы. Вскоре стало видно сплетение балок; потом их убрали одну за другой. Рабочие на полозьях втащили в собор огромный кусок парусины, к которому с купола протянулись канаты. Парусину с пением вздернули кверху. Когда работы кончались, она закрывала небо, иногда на нее обрушивался ливень, и там, наверху, словно проходила процессия и слышался рев. А когда погода прояснялась, возвращались строители и снова открывали небо. Каждый день главный мастер осматривал яму. Один раз он сам спустился туда, но сразу же вылез, качая головой, и на ногах у него налипла грязь. Он молчал, зато Рэчел объясняла, как подвигается дело, всякому, кто хотел, а иногда и не хотел ее слушать.

Великий пост кончался, близилась Пасха, Джослину приходилось выслушивать жалобы, что шум с крыши слышен даже в капелле Пресвятой девы, и он решил, что пора ему самому залезть наверх и все осмотреть. Он осторожно, с трудом поднялся по винтовой лестнице и наконец очутился над сводом, на высоте ста двадцати футов, откуда яма казалась крошечной черной точкой. Перед ним был огромный четырехугольник, огражденный зубцами, залитый светом и воздухом. Он пробрался среди таинственных деревянных и каменных сооружений и выглянул наружу; внизу был двор, посреди которого бугорком торчал кедр. Мальчики из певческой школы бегали по траве взапуски или сидели, склонясь над шашками, на парапете аркады. И Джослин вдруг почувствовал, что любит всех чистой и радостной любовью. Волнение переполняло его. Он отдернул голову – пролетающий ворон едва не задел его крылом по лицу, – огляделся и вновь почувствовал волнение. Оказалось, он стоит у начала новой кладки – первый ряд камней

уже обозначил четверик. Каменщик клал слой известкового раствора, тонкий, как пленка белка в яйце. Джослин стиснул руки, поднял голову и торжественно воззвал ко всем разом – и к мальчикам, и к нему, и к Роджеру Каменщику, и к Гуди: «Ликуйте, дщери иерусалимские!»

Наступила Пасха, и это особенно чувствовалось в капелле Пресвятой девы, где праздник возвестил о себе покровом из небеленого холста на алтаре. Свечи тоже были как небеленый холст, прихожане валили толпой, и гроб ждал ангела, несущего благую весть, что Он воскрес. А у опор, куда свет легко проникал через узорные стекла, Пасха явила себя по-иному – шумом и сиянием солнца.

Каменная кладка стала быстро расти, и однажды Джослин, выглянув в окно своего дома, увидел, что белый камень уже поднялся выше зубцов. Вскоре четверик в свою очередь начал обрастать лесами, сперва появился один настил, потом второй. Бревна из леса Айво вползали в собор через пролом в северном трансепте. Со свода спускали канаты, и бревна уходили вверх торчком, как стрелы, а люди сторонились их. Джослин захотел было посмотреть, что с ними делают потом, но мастер не пустил его. Когда же он наконец снова поднялся наверх, то увидел, что бревна из леса Айво – или его отца – образовали четырехугольную основу для перекрытия, которое должно было появиться на уровне прежней крыши. Но посредине оставалось квадратное отверстие, и небо все так же низвергалось сквозь него. Каменная кладка с четырех сторон стала расти неравномерно. Каменщики оставляли просветы, и Джослин понял, что здесь будут окна высотой в пятьдесят футов, освещающие башню.

Капелла Пресвятой девы украсилась цветами, бледные лица прихожан ожили, нежные уста детей источали хвалу. Пришел Айво в полном облачении – его должны были рукоположить в каноники. Он предстал перед тремя священнослужителями и читал из толстой Библии, а может быть, просто повторял на память – определить было трудно, потому что читал он «Отче наш» и «Богородицу»; однако новый канцелярий сказал, что теперь Айво читает неплохо. Последовало торжественное рукоположение, и солнце заглядывало в маленькие окна, озаряя на стеклах житие святого Альдхельма. Джослин сидел за пюпитром и всем существом своим чувствовал, как растет башня. Он ждал Айво, который подошел с подобающим достоинством. И вот в капелле Пресвятой девы Джослин взял его теплую руку в свою. Обычные вопросы, благословение, рука в пастырской руке, переносный алтарь и, наконец, среди свечей и цветов, поцелуй мира.

А потом Айво снова отправился на охоту.

Тем временем воздух и земля становились все суше, и вот снова появилась пыль. Джослин тщательно обдумал, как с ней справиться, но ему пришлось молча махнуть на все рукой, потому что Пэнголл и его помощники

пали духом. Грязь, оставшаяся в нефях, высохла и повисла пыльным облаком. Кроме того, пыль летела через квадратное отверстие над опорами. Она лежала повсюду небольшими кучками и холмиками. Она сверкала в лучах солнца, расплзалась и бутрилась по надгробиям. Крестonosцы, застывшие в геральдическом безмолвии на каменных плитах меж колонн нефа, уже не сверкали родовыми гербами, а оделись в грязные кольчуги или латы навозного цвета, словно здесь же и были повержены в кровавом побоище. По эту сторону дощатой перегородки храм стал мирским, как конюшня или пустой сарай для сбора десятины. Весь его божественный смысл сосредоточился теперь наверху, в квадратной башне. Леса внутри башни поднимались все выше, и снизу казалось, будто смотришь в печную трубу, где усердно вьют гнездо птицы. Оттуда свисали канаты, подмости суживали просвет, прямые стойки лесов словно сходились далеко вверху, наклонные стремянки были переброшены от настила к настилу. И повсюду неутомимо сновали строители. Они уже не шумели и не смеялись, как в первые дни весны, а стали молчаливыми и сосредоточенными. Прежде, работая внизу, они держались небрежно и самонадеянно. Но теперь, на высоте почти двухсот футов, они словно постигли какие-то тайны, не доступные никому другому, и оттуда почти всегда доносился лишь деловой шум: там стучали, строгали, тесали, скребли. Идя в капеллу Пресвятой девы служить мессу или предаваться одиноким размышлениям у алтаря, Джослин иногда останавливался и, взглянув вверх, видел, как кто-нибудь из рабочих проходит на головокружительной высоте по шаткой доске, перекинутой наискось с бревна на бревно. Он смотрел, как очередной камень из Пэнголлова царства медленно поднимается кверху в деревянном лотке или раскачивается, повиснув на канате. Он смотрел, как Роджер Каменщик тяжело и осторожно взбирается по стремянкам, и под мышкой у него угольник, а с пояса свисает свинцовый отвес. Кроме того, он носил при себе еще какой-то странный металлический снаряд с дырочкой для глаза. Роджер часами нацеливал это приспособление вдоль стен или из угла в угол. Прodelав измерения угольником или металлическим снарядом, он повторял их в обратном порядке и всякий раз опускал отвес; при этом он отрывал от дела двоих, а то и больше рабочих. Видя, как они теряют время, Джослин задыхался от отчаянья и не уходил, пока неотложные обязанности или письма, принесенные отцом Безликим, не заставляли его опомниться. Но, улучив минуту, он снова возвращался к опорам, смотрел вверх, вскрикивал, и немому юноше, который ваял уже третью каменную голову настоящего Джослина, было нелегко работать.

Однажды он увидел, что люди собрались на самом верху кучками и о чем-то спорят. Он видел, что Роджер Каменщик то старается их развеселить, то заискивает перед ними, притворно сердится или вызывает к их благоразумию,

но они потеряли понапрасну не один час и лишь потом нехотя вернулись к работе. Тогда мастер вместе с Джеаном спустился вниз, и они занялись каким-то делом. Джослина Роджер со злобой отстранил. Он ставил на пол плоски с водой, подкладывая снизу дощечки, нацеливал свой снаряд. Он сделал зарубки на всех четырех опорах и поверх каждой зарубки поставил отметку мелом. Теперь он по два и по три раза в день возвращался к этим отметкам. Иногда он становился у входа в южный трансепт и смотрел на каждую отметку, а потом на их отражения в плосках с водой. Когда мел осыпался, он ставил новую отметку.

Но Джослин радовался и, проходя мимо него, со смехом качал головой. Время от времени он спрашивал Роджера:

– Как? Сын мой, неужели ты до сих пор не обрел веры?

Мастер не отвечал и только раз, казалось, хотел что-то сказать. Накануне ангел так укрепил Джослина, что он чувствовал в себе силы взвалить на плечи весь собор. Когда он шел через главный неф, по которому в тот миг пробегала Гуди, ему захотелось излить перед кем-нибудь свое торжество, и он крикнул Роджеру, который стоял над плоской с водой:

– Видишь, сын мой! Я тебе говорил... Опоры не оседают!

Роджер открыл рот, но ничего не сказал, потому что увидел Гуди, которая теперь быстро шла через северный неф; и Джослин понял, что мастер сразу забыл о его существовании. Он продолжал свой путь, чувствуя, что его торжество как будто слегка потускнело.

К тому же Рэчел в эти дни особенно докучала ему. Когда Джослин смотрел вверх, она стояла рядом, но вверх не смотрела, а без конца болтала, трещала языком, не давала покоя, и у него оставалось только одно, уже испытанное средство – не обращать на нее внимания. Она говорила, что от высоты у нее как на грех кружится голова, а Роджер почти все время работает наверху, и это так опасно. Зато она всегда поджидала Роджера у лесов; и едва он спускался, оба снова начинали вращаться один вокруг другого, словно были одни и никого больше на свете не существовало. Видя это, Джослин всякий раз содрогался и думал, что они казались бы скорее братом и сестрой, чем супругами, если б он не знал о них этой грязной нелепости; он – смуглый, вспыльчивый, тяжеловесный, но ловкий; она – вспыльчивая, смуглая, крепкая, неугомонная. А Пэнголл тем временем одиноко жался к стене, или стоял в задумчивости, опершись на метлу, или ковылял куда-то, преследуемый насмешками мастеровых; Гуди Пэнголл проходила мимо опор – хотя могла бы попасть домой и другой дорогой, – низко, к самой груди, склонив голову; Роджер Каменщик наводил свой снаряд на меловые отметки... Иногда Джослин сам себе удивлялся, или, вернее, его удивлял какой-то темный уголок в его душе, заставлявший губы

произносить слова, которые представлялись бессмысленными, и однако эти слова выражали торжество или отчаянье:

– То ли еще будет!

Но потом, тщательно обо всем рассудив, он прозревал, как обернется дело, кивал головой, шел к себе и ждал ангела, у которого обретал утешение, но не совет.

Однажды в июне Джослин пришел в собор с головной болью. Накануне ангел, утешавший его, был особенно щедр, и теперь он то робко, то исполняясь гордости, то снова робко, без конца возвращаясь к одной мысли, сушившей его ум, повторял себе, что это – награда, ибо, несмотря ни на какое сопротивление, он заставил рабочих построить первый ярус башни. А потом он понял, что ангел приходил предостеречь его, ибо диаволу была дана власть терзать его ужасней прежнего, и последний час перед пробуждением был отравлен чудовищными кошмарами. Ранним утром он пришел в собор помолиться. Уже рассвело, и он надеялся застать армию Роджера за работой. Но пыльный сарай был пуст и безмолвен. Он остановился возле высохшей ямы, посмотрел вверх и почувствовал, как в голове разгорается пламя, рождая новую боль, потому что птичьи гнезда в каменной трубе покинуты, канаты висят, колеблемые сквозняком, а вокруг все неподвижно, только розовое облачко потихоньку ползет над собором, застилая просвет сверкающим покрывалом. Он опустил голову и, повинаясь какой-то смутной тревоге, поспешил в Пэнголлово царство, но в домике было тихо, и стеклорезы куда-то исчезли. Он вернулся в собор, где шаги его отдавались громким эхом, бодро прошел в северный трансепт и выглянул через пролом, отыскивая мастеровых, и тут он увидел всю их армию. Они столпились под навесом, где с осени лежали бревна. С краю молча, не шевелясь, стояли женщины. Мужчины залезли на бревна, которые еще не были убраны. И в глубине виднелся Роджер Каменщик, его голова и плечи темнели в дальнем конце. Он что-то говорил, но Джослин не мог расслышать слов, потому что был далеко, и к тому же вся толпа шумела и волновалась.

Выглядывая из-за неровного края пролома, Джослин умудренно и скорбно кивнул в ответ на свои мысли, а голову его терзала жгучая боль.

«Они хотят, чтобы я прибавил им пени в день» .

Он ушел в капеллу Пресвятой девы, где уже ожили восточные окна, и помолился за мастеровых. И словно вызванные молитвой, они пришли к опорам, он услышал их голоса и шум, еще не успев сосредоточиться. С омерзением обратился он мыслью к козням диавола, кляня свою окаянную плоть. Но шум в нефе и собственные его воспоминания мешали ему. Он понял, что не молится, а думает – преклонив колени, подперев рукой голову и глядя перед собой пустым взглядом. «Предстоит самое тяжкое испытание, – сказал он себе, – и надо собрать все силы» .

А потом вдруг его вырвали из задумчивости. Рядом стоял немой без кожаного фартука и без обтесанного камня в руках, он что-то мычал пустым ртом. Он даже коснулся Джослина, зовя его за собой, и снова убежал в шум и суету, к опорам.

«Надо пойти к ним», – подумал Джослин, глядя вслед немому сквозь боль, от которой пылала его голова.

Он сказал вслух:

– Моя пища слишком скудна. Великий пост истощил меня. Разве смею я умерщвлять свою плоть, она ведь потребна для святого дела.

Возле опор раздались крики, и он в тревоге вскочил. Он быстро прошел через галерею и остановился у опор, мигая от яркого света. Солнце радужными нимбами сияло перед его глазами, и без того ослепленными пылающей болью, но он наморщил лоб и отчаянным усилием воли заставил глаза прозреть. Он не сразу понял, что происходит, потому что к нему бросилась Рэчел, она вертелась вокруг него, треща языком, и потребовалось еще одно усилие воли, чтобы перестать ее слышать. Вся армия собралась у опор, целая толпа. Женщины, кроме Рэчел, теснились в северном трансепте. И он сразу заметил, что толпа растет, подходят все новые люди и, пошептавшись, напряженно застывают на месте. Как будто труппа лицедеев готова начать игру и ждет лишь удара барабана. Тут была Гуди Пэнголл, и сам Пэнголл со своей метлой, и Джеан, и немой, и Роджер Каменщик; они напоминали фигуры на башенных часах, которые замерли в неживых позах и ждут, когда часы начнут бить. Они стояли неровным кругом, обступив яму. У края ямы – и как ни был Джослин обессилен и немощен, он оценил хитроумное приспособление – была установлена на тренажнике металлическая пластина, которая отражала солнечный свет, направляя его вниз, на дно. Джеан и Роджер присели на корточки по другую сторону и смотрели вниз.

Джослин быстро подошел к яме, и Рэчел не отставала от него, треща над самым ухом; но едва он приблизился, мастер поднял голову.

– Ну-ка, отойдите все подальше, живо! Прочь к трансептам!

Джослин только было открыл рот, но тут Роджер яростно зашипел на Рэчел:

– Эй ты, не засти света! Прочь во двор!

Рэчел исчезла. Роджер Каменщик снова склонился над краем ямы. Джослин встал рядом с ним на колени.

– В чем дело, сын мой? Скажи.

Роджер пристально всматривался вниз.

– Смотрите на дно. Не двигайтесь и смотрите.

Джослин оперся на руки, наклонился вперед, почувствовал, как через шею и затылок словно хлынул кипяток, и еле удержался от крика. Он

зажмурил глаза и ждал, пока в них погаснут вспышки мучительной боли. Над ухом раздался шепот Роджера:

– Смотрите на самое дно.

Он поднял веки, и отраженный солнечный свет мягко коснулся его глаз. В яме было тихо и пусто. Джослин видел все пласты сверху донизу. Сначала камень, те самые плиты толщиной в шесть дюймов, которые были под их коленями, потом, словно свисая с этой каменной губы, – щебень, сцементированный известкой. Дальше, слоем в несколько футов, какие-то волокна – быть может, обломанные и расщепленные концы бревен. Под ними темная земля вперемешку с галечником и еще более темное дно, тоже усыпанное галечником. Джослину казалось, что смотреть здесь не на что, но мягкий свет, отраженный металлическим зеркалом, давал отдых глазам, кругом все притихли.

И вдруг Джослин увидел, как вниз полетели камень и два комка земли, а потом прямо под ним обвалилась глыба не меньше квадратного ярда и с глухим стуком легла на дно. Она увлекла за собой камни, и они упали на свое новое ложе, тускло поблескивая в отраженном свете. Джослин ждал, пока они улягутся, и вдруг волосы дыбом встали у него на затылке, потому что камни не улеглись. Вот один дрогнул, словно забеспокоился; и Джослин увидел, что все они движутся, подергиваются как личинки. Сама земля двигалась под ними, и от этого личинки копошились, словно каша закипала в горшке; они трепетали, как пыль над барабаном, когда на нем выбивают дробь.

Джослин быстро простер руку, словно хотел охранить дно. Он взглянул на Роджера Каменщика, который не сводил глаз с личинок, губы его были плотно сжаты, и лицо отливало прозрачной желтизной, особенно заметной в отраженном свете.

– Что это, Роджер? Что это?

Там было нечто живое, нечто запретное для глаз, неприкасаемое; сама подземная тьма кружилась, бурлила, закипала.

– Что это? Скажи!

Но мастер все смотрел вниз напряженным взглядом.

Судный день грядет из глубины, а может быть, там, внизу, крыша ада. Может быть, это корчатся грешники, осужденные на вечные муки, или безносые скелеты ворочаются в могилах и хотят восстать, или же просыпается освобожденная наконец от оков живая языческая земля – *Dia Mater*¹³. Джослин невольно зажал себе рот; и вдруг судороги прошли по его телу, и он, повторяя все то же движение, раз за разом подносил руку к губам.

¹³ *Dia Mater* – Матерь богов (лат.).

У юго-западной опоры всплеснулся пронзительный крик. Там стояла Гуди Пэнголл, и около ее ног перекатывалась упавшая корзина. Под ступенями, которые вели в хор, отгороженный дощатой стенкой, раздался мощный удар; Джослин стремительно, рывком повернул голову и увидел, как брызнули во все стороны каменные осколки, словно кто-то разбил замерзшую лужу. Треугольный обломок величиной с его ладонь долетел до края ямы и упал на дно. И в то же мгновение возник звенящий, невыносимый, немислимый звук. Он исходил неведомо откуда, его нельзя было проследить, потому что он всюду был одинаков; он острыми иглами впивался в уши. Еще камень упал, рассыпался, осколок звякнул о металлическое зеркало.

А вокруг уже бушевали человеческие голоса – крики, проклятия, визг. Все задвигалось, и это движение сразу стало яростным и безудержным. Люди бросились кто куда, не разбирая дороги, только бы выбраться наружу. Джослин вскочил, попятился, увидел руки, лица, ноги, волосы, блузы, кожаные робы – все это промелькнуло перед ним, не задевая сознания. Зеркало с грохотом упало. Джослина отшвырнули к опоре, и кто-то – но кто? – взвизгнул совсем рядом:

– Земля оползает!

Он закрыл лицо руками и туг услышал голос мастера:

– Ни с места!

И словно чудом шум замер, осталось лишь пронзительное, безумное, звенящее напряжение. Тогда мастер крикнул снова:

– Ни с места! Слышите? Тащите камень, какой попадет под руку... заваливайте яму!

И снова шум, но теперь он звучал протяжным хором:

– Заваливайте яму! Яму! Яму!

Джослин прижался к опоре, а толпа бурлила, откатывалась. «Теперь я знаю, что мне делать, – подумал он. – Вот для чего я здесь!» Толпа уже возвращалась, чьи-то руки несли каменную голову настоятеля Джослина и швырнули ее в яму, а он тем временем скользнул за опору, в галерею. Он бросился не в капеллу Пресвятой девы, а в хор и упал на колени перед попитром, у самого престола. Камни пели, этот звук пронзал его, но он отбивался, стиснув зубы и кулаки. Его воля вспыхнула яростным пламенем, и он вогнал ее в четыре опоры, втиснул в камень вместе с болью в затылке, в висках, в спине, возрадовался в помрачении чувств огненным кругам и вспышкам – пускай бьют прямо в открытые глаза, сильней, еще сильней! Стиснутые кулаки тяжело лежали перед ним на попитре, но он не замечал их. Смятенный, но упрямый, он чувствовал: это тоже молитва! И он стоял на коленях, недвижимый, скорбный, терпеливый; и пение камней неумолчно звучало в его голове. Под конец он вообще перестал что-либо понимать и знал лишь одно: что держит на своих плечах весь собор. Он замер, время

словно остановилось, и вокруг была пустота. Только когда он с недоумением увидел перед собой два бугра, пришло ощущение, что он вернулся издалека, неведомо откуда; вглядываясь в эти бугры сквозь огненные вспышки – они теперь были не такие яркие и не метались, а как бы плыли, – он понял, что это его кулаки, все так же вдавленные в поупитр. Вдруг он спохватился, почувствовал, что ему чего-то не хватает, и чуть не вскрикнул от ужаса, но тут же понял, что просто камни перестали петь; наверное, они уже делали свое дело у него в голове. Он глянул поверх своих кулаков и увидел Роджера Каменщика, который стоял перед ним и чуть заметно улыбался.

– Преподобный отец...

Джослин сразу опомнился, хотя все еще был оглушен. Слишком многое переменялось, предстало в ином виде. Он облизал губы и заставил себя разжать кулаки, но над тем, что сжималось у него внутри, он не был властен.

– Что скажешь, Роджер, сын мой?

Роджер Каменщик улыбнулся – теперь уже открыто.

– Я смотрел на вас и ждал.

(«А видишь ли ты, как накалена моя воля, упрямец? Я боролся с ним, и он не одолел меня» .)

– Я всегда рад тебе помочь, когда у тебя есть нужда во мне.

– Вы?..

Мастер сцепил руки на затылке и качнул головой, словно стряхивал что-то. «Вот оно что, – подумал Джослин. – Он почувствовал себя свободным. Он думает, что теперь свободен. Он не понимает. Не знает. У него сейчас легко на сердце» . Мастер опустил руки и задумчиво кивнул, как бы соглашаясь.

– Ваша правда, отец. Я не спору, вы всегда принимали нашу работу близко к сердцу. Конечно, вы не могли предвидеть... Но ведь все решилось само собой, верно? И отчасти я рад. Или нет. Я рад от души. Теперь все ясно.

– Что же именно?

Роджер Каменщик рассмеялся безмятежным смехом в полумраке хора.

– Да ведь тут и говорить не о чем. Строить дальше нельзя.

Губы Джослина скривились в улыбке. Роджер маячил где-то далеко, совсем крошечный. «Вот сейчас, – подумал он. – Сейчас посмотрим» .

– Объясни мне.

Мастер пристально осмотрел свои ладони, отряхнул с них пыль.

– Вы сами все знаете не хуже меня, преподобный отец. Выше нам не подняться.

Он усмехнулся.

– Как-никак первый ярус готов. Можно поставить башенки по углам, и над каждым окном будет по голове настоятеля Джослина – кстати, их придется ваять заново. Мы наведем крышу, и посередине можно установить

флюгер. Если сделать больше, земля снова начнет оползать. Да, вы были правы. Это невероятно даже для тех времен, но у собора нет фундамента. Вообще никакого. Под ним просто земля.

Выдерживая страшную тяжесть собора и ожидая, что ангел вот-вот вернется, Джослин выпрямился и сложил руки на коленях.

– Что нужно, Роджер, чтобы тебя успокоить? Я хочу знать, как сделать шпиль надежным по всем правилам твоего искусства и мастерства?

– Это невозможно. Или скажем так: мы тут не можем ничего поделывать. Будь у нас сколько угодно времени и денег, я уж не говорю о мастерстве... Ну, тогда мы могли бы разобрать весь собор по камешку. Мы вырыли бы котлован сто на сто ярдов и, скажем, футов на сорок в глубину. А потом заполнили бы его камнем. Но, конечно, сперва его залило бы водой. Подсчитайте, сколько потребуется людей с ведрами? И представьте себе, что неф все это время стоит на краю трясины! Вы меня понимаете, отец мой?

Джослин повернулся и сквозь пламя, пылавшее у него в голове, взглянул на престол. «Вот как это бывает, – подумал он, – вот как бывает, когда приносишь себя в жертву и жертва угодна Богу» .

– Ты боишься дерзнуть.

– Я дерзал до последнего.

– Какое там. Где же твоя вера?

– Думайте что угодно, отец мой, но теперь – конец! И говорить больше не о чем.

«Вот что чувствуешь, когда твоя воля слита с великой, беспредельной Волей» .

– Видно, Роджер, ты нашел наконец другую работу. Где же это – в Малмсбери?

Мастер равнодушно посмотрел на него.

– Пусть так, если хотите.

– Да я не хочу, я знаю, и ты тоже знаешь. Там ты думаешь перезимовать и получить работу для своей армии.

– Надо же людям жить.

У опор всколыхнулся шум, который пробудил в Джослине досаду. Он закрыл глаза и сказал сердито:

– Кто это там?

– Мои люди. Они ждут.

– Ждут нашего решения.

– Земля решила за нас!

Тяжелое дыхание мастера раздавалось совсем близко, у самых зажмуренных глаз Джослина.

– Отец, надо остановиться, пока не поздно.

– Пока есть другая работа для твоей армии!

Теперь и в голосе мастера зазвучала злоба.

– Ну что ж. Я спорить не стану.

Джослин почувствовал, что дыхание удаляется, и быстро простер руку.

– Подожди. Подожди минутку!

Он сложил руки на пюпитре и осторожно опустил на них голову. Он подумал: «Сейчас все тело мое вспыхнет огнем, и сердце будет корчиться в пламени. Нот это мое предназначение» .

– Роджер, ты здесь?

– Ну?

– Выслушай меня. Что на свете ближе, чем брат брату, дитя – матери? Ближе, чем рот и рука, мозг и мысль? Видение, Роджер. Я знаю, этого ты понять не можешь...

– Нет, могу!

Джослин поднял голову и вдруг улыбнулся.

– Можешь, да?

– Но есть предел, за которым видение не более чем детская сказка.

– А! – Он медленно, осторожно покачал головой, и огни поплыли перед глазами. – Значит, ты ничего не понимаешь. Ничего.

Роджер снова подошел к нему по гладким плитам пола и остановился, глядя на него сверху вниз.

– Преподобный отец. Я... я восхищаюсь вами. Но против нас сама земля.

– Ближе, чем земля к ступне...

Роджер упер руки в бока, отбросив последние сомнения. Голос его зазвучал громче:

– Слушайте. Можете говорить что угодно. Я все решил.

– Ты, но не я.

– Конечно, я понимаю, что это для вас значит. Поэтому я и хочу вам все объяснить. Видите ли, тут есть еще помеха. Меня заманили.

– В шатер.

– В какой шатер?

– Нет, это неважно.

– Я чуть не попался, но теперь, когда строить дальше нельзя, я могу уйти, уйду и все забуду, чего бы это ни стоило.

– Порвешь пуги.

– Ведь, в конце концов, это лишь тоненькая паутинка. Кто бы мог подумать!..

Осторожно, не спуская глаз с расставленной западни, Джослин поманил зверя.

– Да, всего только паутинка.

– И еще одно. То же, что для священника святость его сана. Вы должны понять, отец мой, что это такое. Честь мастера, если угодно.

– И выгодная работа для твоей армии в Малмебери.
– Да поймите же вы!..
– Таким способом ты думаешь сберечь и честь, и свою армию. Но все не так просто. Цена огромна, Роджер.

– Ну что ж. Тогда – прощения просим.

В голове у Джослина среди пламени закружились Гуди Пэнголл и Рэчел. И лица всех каноников... «Мне было видение. Я защитил бы ее, если бы мог, – защитил бы их всех. Но каждый сам в ответе за свое спасение» .

– Ты один можешь построить шпиль. Так говорят все. Ты, знаменитый Роджер Каменщик.

– Его никому не построить!

У опор раздался яростный вопль, потом взрыв смеха.

– Как знать, Роджер. А вдруг найдется человек смелее тебя.

Упрямое молчание.

– Ты просишь освободить тебя от подряда, скрепленного печатью. Это не в моей власти.

Роджер пробормотал:

– Ну и пусть. Будь что будет – я решился.

Решился бежать от паутины, от страха, от самого себя, которому не дано дерзать.

– Не торопись, сын мой.

У опор снова раздался крики, и шаги мастера стали удаляться по каменным плитам. Джослин снова простер руку:

– Постой.

Он услышал, как мастер остановился и повернулся к нему. «До чего я дошел? – подумал он растерянно. – Что я делаю? Но иного пути нет!»

– Да, отец?

Джослин сказал с досадой, прикрыв глаза руками:

– Подожди. Подожди минуту!

Нет, ему не нужно было оттягивать время: решение уже пришло само. Где-то позади глаз всплыла мучительная тревога, но не потому, что шпилью грозила опасность, нет, именно потому, что шпилью ничто не грозило – он будет построен, это предопределено и теперь еще более неизбежно, чем прежде. И он знал, что делать.

Он задрожал всем телом, как, наверное, дрожали камни, когда начали петь. А потом эта дрожь утихла так же внезапно, как пение камней, и он стал спокоен и холоден.

– Я написал в Малмсбери, Роджер. Аббату. Я знал о его намерениях. И известил его, что вы еще долго будете заняты. Он наймет других.

Он услышал быстрые приближающиеся шаги.

– Вы!..

369

Он поднял голову и осторожно открыл глаза. В хоре теперь было почти темно, но скудные блики света превратились в огненные вспышки и ореолы, озарившие все вокруг. Они окружали мастера, который обеими руками стиснул край попитра. Его руки так сжимали доску, словно он хотел ее разломить. А Джослин, щурясь от сияния, заговорил тихо, потому что слова эхом отдавались в голове, причиняя ему боль:

– Сын мой. Когда столь великое дело предопределено, оно неизбежно должно быть вложено в душу... в душу человека. И это ужасно. Только теперь я начинаю понимать, как это ужасно. Это подобно горнилу. О цели человек, быть может, и знает кое-что, но не знает, какой ценой... Да отчего они там не помолчат? Отчего не подождут смиренно? Нет, не знает. Мы с тобой избраны, чтобы свершить это вместе. Свершить великое и славное дело. Теперь я истинно знаю: оно погубит нас. Но в конце концов, кто мы такие? И я заверяю тебя, Роджер, всей душой своей: шпиль можно построить, и мы построим его, невзирая ни на какие козни дьявола. Его построишь ты, потому что никому другому это не под силу. Я знаю, надо мной смеются. И над тобой, наверное, тоже будут смеяться. Пусть. Мы строим для них и для их детей. Но только я и ты, сын мой, друг мой, только мы, когда перестанем мучить самих себя и друг друга, будем знать, из какого камня, и бревен, и свинца, и известки он построен. Ты меня понимаешь?

Мастер смотрел на него. Он уже не сжимал попитр, а цеплялся за него, как за обломок доски в бушующем море.

– Отец, отец... ради Господа, отпустите меня!

«Я делаю то, что должен сделать. Этот человек уже никогда не будет прежним перед лицом моим. Никогда он не будет прежним. Я победил, теперь он мой, мой пленник, и он исполнит свой долг. Вот сейчас западня защелкнется» .

Шепот:

– Отпустите меня.

Щелк!

И молчание, долгое молчание.

Мастер разжал руки и медленно попятился сквозь сияние в клочущий шум за перегородкой. Голос его звучал хрипло.

– Вы не знаете, что будет, если мы станем строить дальше!

Он пятился, широко раскрыв глаза; у двери он остановился.

– Вы не знаете!

Ушел.

Шум у опор затих. Джослин подумал: «Нет, это не камни поют. Это у меня в голове» . Но тут тишину рассек яростный рев, а потом он услышал крики Роджера Каменщика. «Надо идти, – подумал он, – но к нему я не пойду. Я лягу. Только бы добраться до постели» .

Ухватившись за попитр, он с трудом выпрямился. Он подумал: «Это уж его забота. Пускай все улаживает он, раб моего великого дела» . Он осторожно вышел в галерею. На ступенях он помедлил, прижался спиной к стене, закинул голову и закрыл глаза, собираясь с силами. «Они в бешенстве, но все равно придется пройти через их толпу» , – подумал он и неверными шагами спустился со ступеней.

Его встретили взрывом хохота, но смеялись не над ним. Звуки казались тусклыми, как огни, кружившие у него в голове. Повсюду были коричневые блузы, кожаные робы, синие куртки, ноги, обмотанные крест-накрест, кожаные котомки, бородатые лица, оскаленные зубы. Вся эта громада двигалась, бурлила и шумом своим оскверняла святость храма. Он взглянул на яму, по-прежнему черной пастью зиявшую в полу; сквозь лес ног он увидел, что яма засыпана не доверху. Он знал, что это кошмар: все, что он видел, запечатлевалось в глазах, как при вспышках молнии. Он увидел людей, которые насмеялись над Пэнголлом, держась подальше от его метлы. Это было словно апокалипсическое видение: мастеровой, приплясывая, приблизился к Пэнголлу, и макет шпилья бесстыдно торчал у него между ног... А потом вихрь, шум, звериные морды обрушились на Джослина, швырнули его о камень, и он уже ничего не видел, только услышал, как Пэнголл рухнул... Услышал протяжный волчий вой, с которым он побегал через галерею, услышал, как вся свора, улюлюкая, устремилась следом. Едва дыша, он чувствовал, что немой стоит над ним на коленях, а коричневые туши лезут, напирают, давят на него сзади. Он лежал, ожидая, что напряженные руки вот-вот не выдержат, дрогнут и страшная тяжесть раздавит их обоих, и в этот миг понял, что еще одна картина навеки запечатлелась в его глазах. Всякий раз, как он окажется в темноте, не занятый мыслями, эта картина будет предстать перед ним. Это была... была и всегда будет Гуди Пэнголл, стоящая у каменной опоры, где ее накрыла людская волна. С нее сорвали платок. Пряди волос разметались, упали на грудь лохматым рыжим облаком; болталась спутанная, перекрученная коса с развязавшейся зеленой лентой. Гуди прижималась к опоре спиной, хваталась за камень, и сквозь дыру в разодранном платье сверкал белый живот с впадинкой пупка. Она повернула голову, и Джослин знал, что до скончания времен не забудет, куда устремлен был ее взгляд. С того мгновения, как раскинулся шатер, ей больше некуда было смотреть, некуда повернуть лицо с побелевшим, стиснутым ртом, кроме как к Роджеру, который стоял по другую сторону ямы, простирая руки в терзаниях и мольбе, покаяясь и признавая свое поражение.

И тут руки немного дрогнули.

ГЛАВА ПцТАц

Когда он очнулся у себя в спальне, пение зазвучало снова, но он не мог вспомнить, откуда оно исходит. От этого оно не давало

ему покоя, он вертел головой и тревожился тем более, что сам был заперт, как в клетке, в собственной голове, где царил почти полная пустота. А то небольшое, что там было, без конца кружилось, тщетно пытаясь найти свое место. Меж потоками событий образовался некий водораздел, связанный с каким-то разговором, и он помнил, что это был разговор с Роджером Каменщиком, кажется, в темном хоре. И еще были встрепанные рыжие волосы, разлетающиеся по зеленому платью, и каменная опора позади. Это мучило его невыносимо, потому что, несмотря ни на какие усилия, он не мог снова увидеть под этими волосами тихую женщину, ту самую, которая так тихо, с улыбкой, входила в собор, останавливалась и осеняла себя крестным знаменем, когда он ее благословлял. Эти рыжие волосы, так неожиданно обнажившиеся из-под строгого платка, словно нанесли прошлому смертельную рану, или совсем стерли его, или же смешали череду дней. Он старался вновь увидеть эту женщину, вернуться к прежним, безмятежным временам, но не мог, потому что перед глазами стояли рыжие волосы. А пронзительное пение звучало неотступно, и все остальное было как бы ненужным привеском.

Отец Ансельм, молчаливый и отчужденный, пришел исповедать его, но он ничего не помнил, кроме того, что хотел сменить духовника, и отец Ансельм ушел. Тогда Джослин встревожился и несколько раз посылал узнать, что происходит; он боялся, что армия прекратила работу. Но отец Безликий принес удивительную весть:

– Они работают смиренно и прилежно. Все тихо.

И Джослин понял, что великое дело по-прежнему не в людских руках.

И тогда он спросил о Роджере.

– Он бродил по собору. Говорят, ищет чего-то. Но чего, никто не знает.

– А она?

– Как всегда, ходит за ним следом.

– Я не об этой спрашиваю. Я о рыжеволосой. О жене Пэнголла.

– Ее почти не видно.

«Это от стыда, – подумал Джослин. – Другой причины нет. Она прорвала шатер, и эти люди видели ее полунагую, растрепанную» .

И тут отец Безликий заговорил снова:

– А муж ее, Пэнголл, сбежал.

Тогда голова Джослина произнесла перед отцом Безликим проповедь о цене камня и бревен. У этой проповеди было странное свойство: после всех

блужданий она, как планета, снова и снова возвращалась к исходной точке. В какой-то миг, посреди проповеди, голова, истерзанная болью, погрузилась в глубокий, здоровый сон. Пробудившись, она уже знала, где она и что происходит вокруг. Более того, во сне она обрела новую крепость, словно погружалась в него не для отдыха, а для исцеления. Она обрела пылающую уверенность, в сравнении с которой прежняя уверенность могла показаться лишь детским упрямством. «Я должен встать», – подумал он; пошатываясь и смеясь, он встал с постели. К нему бросился отец Безликий, но он обеими руками оттолкнул тщедушного священника:

– Нет, нет, отец Безликий! Пустите. У меня важное дело!

И эти слова исторгли у него визгливый смех, который прозвучал на двух высоких нотах. В этом смехе была некая неизбежность. Он спустился с лестницы, вышел во двор, под сентябрьское солнце, и поплелся к собору зигзагами, словно брел через высокие хлеба. У западной двери он остановился, тяжело дыша, овладел собой и вошел, а в голове у него пылала новая уверенность, наполняя его мучительной радостью.

Увидев опоры, он сразу вспомнил, откуда исходило пение; и едва он вспомнил это, звук смолк, и в голове воцарилось каменное безмолвие. Он постоял немного, наслаждаясь тишиной, сознавая, хоть и смутно, что все-таки он человек. Он понял, что теперь все ничтожное и мелкое отринуто – повседневные обязанности, молитвы, исповедь; осталось лишь его неизбежное – единение со шпилем. Джослин увидел Роджера, который разговаривал у лесов с кем-то из мастеровых, и побрел туда, часто дыша. Он с наслаждением присел у опоры и прислонился к ней спиной. Мастеровой ловко полез наверх, к свету, сиявшему в башне, и тогда Джослин крикнул Роджеру Каменщику:

– Ты видишь, Роджер, я вернулся!

И опять каждое слово рождало в нем тяжесть, которую мог облегчить лишь визгливый смех на двух нотах. Он услышал свой смех и понял, что ему не подобает так смеяться, но ничего не мог поделать, было уже поздно. Смех отзвучал, и башня поглотила его. «Плохо, – подумал он. – Так больше нельзя». Он снова взглянул на Роджера Каменщика, но тот уже лез вслед за мастеровым, размеренно и тяжело взбираясь по стремянкам. Джослин вытянул шею, запрокинул голову и проводил его взглядом до самой квадратной трубы с правильным узором птичьих гнезд, которая устремлялась в поднебесную высь. Он видел, как отвесно поднимались вверх белые стены и высокие оконные проемы, куда уже вставляли цветные стекла. В небе появилось нечто новое, насквозь пронизанное солнцем, и Роджер Каменщик, который лез вверх неукложе как медведь, был обвит солнечной спиралью. Джослин вдруг понял, что он в своей голове подгоняет мастера, подталкивает его все выше, выше и так будет до тех пор, пока Роджер,

призвав на помощь все свое мастерство, не увенчает шпиль огромным крестом на высоте четырехсот футов. Сияние в каменной трубе, прикрытой шапкою облаков, ослепило его, он опустил голову, вытер слезящиеся глаза и, моргая, уставился в пол. Но пола словно не было. Осколки камня, щепки, стружки, обрезки, пыль, грязь, доски, что-то похожее на обломок метлы – весь этот хлам небрежно свалили у опор, очистив место вокруг ямы. Это рассердило его, и с языка уже готово было сорваться гневное восклицание: «Да где же Пэнголл!» – но тут он вспомнил, что Пэнголл бросил ее. Потирая лоб, он сказал себе, что Пэнголл не сможет жить без собора, в котором был заключен весь его мир. «Он вернется, – подумал Джослин, – хотя, быть может, не раньше, чем уйдет армия. И надо позаботиться о Гуди» . Он огляделся, почему-то надеясь увидеть ее где-нибудь поблизости. Но собор был пуст – только пыль, солнце, пронзительный шум из каменной трубы и отдаленное пение в капелле Пресвятой девы. «Нужно позаботиться, чтобы она ни в чем не нуждалась» , – подумал он, но тут же забыл, зачем это нужно. С кучи мусора ему на ногу упала веточка, и подгнившая ягода бесстыдно прильнула к башмаку. Он с досадой отшвырнул ее и, как это теперь часто с ним случалось, уже не мог забыть веточку с ягодой, и она потянула за собой целую цепочку воспоминаний, тревог и случайных сопоставлений. Он поймал себя на том, что думает о корабле, построенном из такого же вот непросушенного дерева, веточка в его трюме проросла зеленым листом. И тотчас перед его глазами мелькнул шпиль, искривленный, обросший побегами и сучьями: от ужаса он вскочил на ноги. «Надо все разузнать, – думал он, – надо проследить, чтобы не было ни дюйма такого дерева» . Но тут он вспомнил, что шпиль еще не начат и даже башня не готова; он сел и, моргая, стал смотреть вверх.

Отверстие, над которым строилась башня, стало меньше, потому что часть бревен нижнего перекрытия уже легла на место. Но посередине еще оставался широкий проем, через который наверх поднимали камни и бревна. И все же этот поднебесный мир, где кипела работа, был теперь как бы отделен, отгорожен бревнами и потому казался ярче, там сплетались солнечные лучи, косолапые людские фигуры, помосты, канаты и почти отвесные стремянки. На самом верху, в углу, была подвешена будка, словно ласточкино гнездо. Джослин видел, как мастер, пятась, вылез оттуда и нацелил на что-то свой металлический снаряд. «Я и не знал, как все это сложно, – подумал он. – Я прочертил в небе простые линии, и вот теперь, чтобы достичь этого, моей воле приходится удерживать там, наверху, целый мир. А веточка могла отломиться от лесов – ведь леса, наверное, делают из непросушенного дерева, и, уж во всяком случае, их снимут, когда все будет кончено» .

Он услышал знакомое постукивание и скрежет, повернул голову и увидел немого юношу, тот сидел у опоры, и на коленях у него был новый камень. Джослин встал и медленно пошел к нему. Юноша поспешно положил камень рядом с собой и вскочил, улыбаясь, кивая, тихонько похлопывая в ладоши.

Джослин благословил его.

– Сын мой. Ведь я обязан тебе жизнью. – Он почувствовал, что следом уже рвется визгливый смех, и кое-как скрыл его под обычным смешком. Юноша развел руки и пожал плечами. – А тебя самого не ранили?

Юноша беззвучно засмеялся и коснулся своего носа, который распух и покраснел. Потом он вытянул правую руку, с улыбкой согнул ее в локте и тронул пальцем мускулы. Джослин, охваченный внезапным порывом любви, обнял юношу, прильнул к нему, как к каменному столбу или к стволу дерева.

– Сын мой, сын мой!

Немой улыбался, что-то мычал и робко похлопывал его по спине.

– Я отблагодарю тебя, сын мой.

Юноша затих в его объятиях и только легонько похлопывал настоящего по спине: хлоп, хлоп, хлоп. «Он мой сын, – думал Джослин, – а она – дочь». Но рыжие волосы упали, застили свет; он зажмурился и застонал. А потом он почувствовал бесконечную усталость, ушел к себе и лег. Ночью снова явился ангел, и после этого диавол терзал его, но не слишком долго.

Мало-помалу он окреп и радовался, что лето не спешит уходить, как бы в награду за весенние грозы и наводнения.

Наконец листья облетели, они лежали на земле, жухлые и сухие. Жесткая трава у собора хрустела под ногами, она была бурая и ломкая, как старый веник, а каменные головы, осужденные на какие-то непостижимые и бесконечные муки, теперь разевали рты, словно ловили капли воды в сухом воздухе. Они никогда не знали покоя. Они были в аду и не могли надеяться на лучшее, вот и все. В этом сухом воздухе воля Джослина уже не пылала, а горела спокойным, ровным огнем, освещая и поддерживая одни голько растущие стены башни. Немой тесал камни, строители лезли вверх по лесам, Рэчел кружила вокруг Роджера, а Гуди Пэнголл лишь изредка мелькала в дальнем конце собора – рыжие волосы покрыты платком, голова опущена: самая обыкновенная женщина, занятая своим делом. Джослина она обходила стороной, прибавляя шаг и отворачиваясь, словно перед ней был черный кот, или призрак, или могила самоубийцы. Но он знал, что она просто стыдится – ведь ее бросил муж, – и от жалости у него щемило сердце. «Но я не могу ей помочь, моя воля нужна для другого, – думал он. – Моя воля сильна, она отринула все, кроме главного. Я как цветок, который несет в себе завязь плода. Когда завязь начинает расти, а лепестки увядают, цветок

поглощен лишь судьбою плода, и все растение поглощено этим, листья осыпаются, все вянет, кроме наливающегося плода. Иначе и быть не может. Вся моя воля в опорах и растущей кладке. Я принес себя в жертву, и я из всего извлекаю урок» .

Иногда он видел, как Рэчел кружит у опор и пристает ко всем со своей болтовней, а потом останавливается и глядит, как ее увальень взбирается на башню; эта болтливая Рэчел, завидев настоятеля, бросала все и устремлялась прямо к нему. Но однажды он понял, как легко с ней совладать. Он просто перестал обращать на нее внимание, научился не слышать ее голоса, раздававшегося над самым ухом. Она забегала вперед и о чем-то спрашивала, а он не слышал ни звука, и только в воздухе словно бы повисал вопросительный знак. Он стоял и смотрел на нее с высоты своего роста. Она постарела, осунулась, но это его не интересовало. И даже заметив, как усердно она стала красить лицо, он не испытал ничего, кроме гадливого чувства, от которого по телу пробежала дрожь, и сдержал визгливый смех. И тогда он решил не смотреть больше на нее, стал смотреть сквозь нее, молча, без единого слова, и потому не видел удивления на ее наруганном лице.

Шли дни, и он убедился, что такое безразличие очень полезно. Он мог теперь вежливо разговаривать с канцелярием, когда тот приходил к нему на дом, и понятия не иметь, о чем шла речь. Но иногда, прибегая к этому превосходному способу – так было однажды с регентом хора, – он видел на лицах людей странное выражение и, подумав, решил, что это ужас. А потом, в туманные осенние дни, когда огромный кусок парусины закрывал просвет под растущей башней, он убедился, что может заставить людей замолкать в любой миг, стоит ему только пожелать. Он просто говорил, как сказал отцу Безликому, который укорял его в том, что он не читает писем, если они не касаются шпиля: «Мне надо на башню» .

Несмотря на парусину, туман просачивался в собор, но этот туман был бессилен перед его волей. И перед немым юношей, который все тесал и скреб камень. «Право, – подумал Джослин, рассматривая вторую из четырех голов, которые ваялись заново, взамен сброшенных в яму, – право, мне кажется, лицо очень уж худое. И рот слишком широко раскрыт. И разве бывают такие большие глаза?» Но он не сказал ни слова, потому что любил своего сына во Христе, как и свою дочь во Христе; этот юноша не только спас ему жизнь, а стало быть, спас и его волю, которая поддерживает опоры, но смотрел на него преданно, по-собачьи, а вот Гуди никогда так не смотрела, даже если ему удавалось встретиться с нею лицом к лицу.

Она со своими рыжими волосами не давала ему покоя, но он теперь испытывал лишь сострадание к ее стыду и странную тревогу. В начале декабря все четыре головы, уже готовые, вместе с немым юношей были подняты на башню, где их ждали четыре ниши. С утра Джослин смотрел, как

их поднимают, а Рэчел снова кружила возле него и трещала языком. Поскольку немного юноши не было рядом, им целиком завладели мысли о Гуди, брошенной Пэнголлом. «Как мог я пренебречь ею? Ведь я ей нужен!» И при этой мысли она словно явилась на зов, быстрым шагом прошла вдоль стены, увидела его и сразу свернула в сторону, мимо опор, в галерею, все прибавляя и прибавляя шаг.

– Дитя мое...

Он подумал: «Я должен сделать это ради нее, пусть даже я на время отвлекусь от главного». И он быстро направился к галерее; она шла все тем же торопливым шагом и хотела проشمыгнуть мимо.

– Дитя мое!

Он вышел ей навстречу со смехом, хотя в душе была смутная досада, и расставил руки, преградив ей путь. Она прижалась к стене и отвернула голову. Волосы ее были скромно покрыты платком, она смотрела в сторону, и ему была видна лишь впалая щека.

– Дитя мое, я хотел сказать...

«Но что? Что я могу ей сказать? О чем спросить?»

А она уже молила его, подняв глаза:

– Отпустите меня, отец мой. Прошу вас, отпустите!

– Он вернется.

– Прошу вас!

– И потом... все эти годы... дитя мое, ты так мне дорога...

Он вдруг с ужасом увидел, как побелели и раздвинулись ее губы, открывая оскал зубов. И еще он увидел, какими огромными, недвижимыми, темными могут быть глаза, словно и они оскалены, как зубы. Поднятая корзина дрогнула у ее груди, и он едва расслышал шепот:

– Неужели и вы тоже...

Она бросилась прочь, плача и задыхаясь, проскользнула мимо него и бегом пустилась по темной галерее, а ее тяжелый плащ трепыхался, и юбки, развеваясь, приоткрыли щиколотки.

Он обхватил голову руками и сказал сердито, в совершенном недоумении:

– Что все это значит?

Чувствуя, что мысли о ней опутывают его, он отбросил их прочь, потому что они могли повредить делу. «Надо отринуть все ничтожное, – решил он. – Какова бы ни была цена, я пожертвую всем. И что толку думать об этой женщине, если все равно нельзя ей помочь? Я должен свершить великое дело. Дело! Дело!»

И тут ему пришла в голову такая прекрасная мысль, что он сразу понял – это наитие свыше, озарение. «Надо подняться над всяческой суетой!» И вслед за этой мыслью снова вырвался неприятный, визгливый смех. «Я вознесу свою пламенеющую волю на башню». Он взглянул на свою рясу и

понял, что так лезть вверх нельзя, тогда он нагнулся, подхватил подол сзади, пропустил между ногами, скрутил жгутом и заткнул за пояс. Один из строителей, который встретился ему на нижней площадке, посторонился и постучал себя костяшками пальцев по лбу. А Джослин вдруг почувствовал легкость в голове. Наконец-то вокруг него сверкало солнце. Он упорно взбирался вверх; поднявшись в темный, неогороженный трифорий, он продолжал путь по винтовой лесенке, куда свет проникал лишь сквозь узкие, как стрельницы, окна, словно проделанные для лучников на случай осады. Лесенка кончилась, и теперь перед ним были бревна, недавно положенные над сводом. Дальше он поднимался по стремянкам, освещенным нижними окнами башни.

– Вот так! – воскликнул он. – Так!

Он почувствовал, как сердце колотится о ребра, и остановился передохнуть. Он присел на краю настила, словно ворон на скале. Строители, сновавшие вверх и вниз, поглядывали на него с любопытством, но молча. Он подвинулся на самый край и свесил ноги. Держась обеими руками за стойку, он наклонился и посмотрел вниз.

Устои, стены и окна башни уходили вниз и казались тонкими, едва способными выдержать собственный вес. Все сверкало чистотой и новизной. Восьмидесятифутовые проемы, по два в каждой из четырех стен, помосты и стойки, стремянки и свежеструганные бревна блестели на солнце. И он ощутил пугающий восторг, как мальчишка, который впервые в жизни вопреки запретам взобрался на верхушку дерева. Голова у него кружилась, дух захватывало, но он, радуясь этому, все смотрел вниз, вниз сквозь глубины и бездны, на бесконечно далекий мир там, внизу. Пол был темный, как дно ямы, обесцвеченный глубиной и полумраком. Головокружение прошло, остались ясность мысли и восторг.

– Вот так!

«Наверное, нечто подобное испытывает птица, когда вольно порхает среди ветвей или парит в небе. Глядя на нас, она видит только головы и плечи, мы кажемся ей вот такими же серыми, ползучими, прикованными к земле». Едва подумав об этом, он увидел Рэчел, которая ползла по полу через средокрестие, словно ее вдруг извергла сама потревоженная земля. Он почувствовал себя свободным от нее, отвернулся и стал смотреть на стремянки, уходившие вверх. Потом он встал и снова начал подниматься, не стесняясь непристойной белизны своих оголенных ног. На высоте более двухсот футов она была пристойной. Он взбирался все выше и неотрывно глядел вверх, туда, где каменщики возводили кладку к самому небу. Шум работы теперь снова громко звучал вокруг него. Он остановился передохнуть подле ласточкина гнезда и увидел, что этот домик, висящий в углу башни, не меньше его спальни и свет проникает туда через незастекленное отверстие.

Роджер Каменщик стоял, нацелив свой снаряд на камень у противоположной стены. Сияющий Джослин остановился около него на помосте в четыре доски и крикнул в восторге, покоренный высотой:

– Ты видишь, сын мой! Опоры не оседают!

Мастер отозвался утрюмо, не отнимая своего снаряда от глаза:

– Почему нам знать, что там творится? Может, у каждой опоры отдельный фундамент.

– Нет, Роджер, я же тебе объяснил. Они плавают!

Мастер сердито передернул плечами:

– Не кричите, я и так вас слышу.

– Роджер.

Он простер руку, но Роджер Каменщик отстранился, словно боясь прикосновения. Он отступил к самой стене и прижал свой инструмент к груди.

– Я вам давно сказал, отец мой... и сейчас повторю то же самое!

– Как ты можешь так говорить, Роджер, когда перед тобой чудо? Как ты не понимаешь этого? Здесь ты должен черпать силы, отсюда извлекать уроки, смотреть, как чудо преображает все.

Они помолчали, глядя друг на друга, а наверху стучали молотки каменотесов, Роджер медленно скользнул взглядом по башмакам Джослина, по его белым ногам, туловищу, лицу. Потом они посмотрели друг другу в глаза, и мастер хмуро усмехнулся.

– Да, это верно, оно преобразило все.

Он повернулся, открыл дверь ласточкина гнезда, потом вдруг глянул через плечо и крикнул в ярости:

– Не видите разве, что вы наделали?

И исчез, так хлопнув дверью, что домик закачался.

Джослин посмотрел на стены.

– Я все знаю! Все! Я знаю, поверь!

Его вдруг захлестнула волна радости, и он со смехом шагнул к стремянке, а когда он взобрался по ней, то забыл и о Роджере, и о каменных плитах пола далеко внизу.

Потому что теперь перед ним был самый верх, здесь росла башня. Ее опоясывали подмости в три доски, на которых работали каменщики. Здесь почти не разговаривали. Каменщики склонялись над стеной, которая была им по колени и росла ступенчато, камень за камнем. В одном месте лишь первый ряд кладки поднимался над досками, но раствор уже лежал поверх тонким слоем, и рабочие подтаскивали следующий камень; в другом – и так по всем четырем стенам – над досками вообще не было кладки, а только деревянное кружало. Дуги арки уже почти сомкнулись, оставалось лишь отверстие для замкового камня; и он знал, что под аркой будут два окна, она

соединит их плавным полукружьем, так что сквозные проемы станут частью общего целого, единого свершения. Подле каждого кружала он видел каменную голову, и эти головы безмолвно кричали и ликовали в поднебесье среди света. Немой юноша стоял на коленях подле одной из голов, что-то подправлял резцом – он поднял глаза и засмеялся безмолвно, как и голова, над бездонной пропастью. И Джослин почувствовал, что сам смеется от души, радуясь обновлению и чуду. Вслед за смехом пришла мысль, и он, забыв о своем достоинстве, крикнул немому:

– Здесь мы свободны от всяческой суеты!

И верный пес засмеялся в ответ, а потом снова склонился над своей работой.

Джослин услышал какой-то новый звук. Это не был человеческий голос, стук по камню или удары молотка. Звук был беспрестанный, не похожий ни на глухое бормотание, ни на звонкое пение камней. Джослин чутко прислушался и понял, что это ветер бьет о камни. Он опустил на колени, потом сел, держась за стену, и стал слушать ветер. На время он обрел покой, и мысли свободно бродили в его голове, появлялись и исчезали сами собой.

Мир камня и дерева открылся ему во всей новизне. Там, внизу, стоял макет, такой тонкий и хрупкий, его ничего не стоило обхватить ладонями, и окна на нем были едва различимы; но здесь, наверху, тонкие, как бумага, стены обернулись каменными глыбами, а проволочки внутри – толстенькими бревнами, по которым свободно могут пройти двое. И вдруг Джослин понял, какая невероятная тяжесть чудесным образом повисла здесь, и, несмотря на его умиротворение, мир словно опрокинулся. «Надо быть поласковой с Роджером, – подумал он. – Эта тяжесть, о которой я раньше и не подозревал, все время давила на него. И к тому же у него нет веры» .

Чтобы вернуть равновесие поколебленному миру, он снова сосредоточил мысли на макете, который стоял внизу, в темном нефе. Но едва он сосредоточился, как вместе со шпилем перед его глазами появилось то, чего он не хотел, что он отринул в тот самый день, когда поползла земля и запели камни. И он снова прислушался, затаив дыхание. Вот между коричневой и синей блузами мелькнул Пэнголл, один из рабочих, приплясывая, подкрадывается к нему, держась подальше от метлы, и шпиль бесстыдно торчит у него между ног. А потом упали, разметались рыжие волосы. И он почувствовал, что стискивает руками камень и глаза его зажмурены, рот разинут, а ребра давят, не дают дышать. В голове у него снова все смешалось. Он сказал невнятно: «Вот какой ценой... Мне следовало знать. И я не могу помолиться за них, потому что вся моя жизнь стала единой молитвой воли, вплавленной, влитой в камень.

Смилуйся! Или наставь меня «.

Но ответа не было. Только ветер овеивал камни.

Джослин открыл глаза и понял, что смотрит не на башню, а на мир с ее высоты, потому что мир вдруг переменялся. Он изогнулся чашей, которая была видна как на ладони, объемля голубыми краями всю ширь окоема. В удивлении и восторге Джослин ухватился за камень и, приподнявшись, встал на колени. «Вот что это такое – быть птицей», – подумал он, и, словно подтверждая его мысль, у самого его лица пролетел ворон, вопрекор ветру, хрипло негодуя на людей, которые так нагло вторглись в его владения. А внизу – Джослин теперь отпустил камень и выпрямился, чтобы склоненные спины строителей не мешали смотреть, – были видны три реки, которые сливались у стен собора. Они стремили свое сверканье к башне, и места, такие далекие друг от друга, сопрягаемые лишь усилием разума, поистине воссоединились. На северо-востоке Джослин видел три мельницы, три отдельных каскада, словно водяные ступени, но их связывала длинная лента воды, которая, змеясь, тянулась к собору. И река в самом деле текла под гору. Он видел новый каменный мост, белевший у Стилбери, видел даже монахинь на монастырском дворе, по меньшей мере двух, – хотя они были скрыты стеной, его взгляд как бы взламывал стену на расстоянии. Поняв это, он устремил взгляд на новый мост, прищурился и увидел цепочку навьюченных мулов, ослов, ломовых лошадей, разносчиков и нищих, крестьян с овощами, которые тащили свой товар к торговым рядам у дальнего конца моста. Значит, в Стилбери базарный день, а здесь, в городе, никто не торгует, он и раньше это знал, но теперь охватил все взглядом и видел воочию, что это именно так. Радость билась в нем как птица. «Я хотел бы, чтобы шпиль был высотой в тысячу футов, – подумал он, – тогда я мог бы видеть все окрест». Он дивился самому себе, но потом вспомнил, во имя кого будет возведен шпиль. И словно в ответ на свое удивление он почувствовал у себя за спиной ангела, который согревал его на холодном ветру. «Значит, это правда, истинная правда, ибо здесь, наверху, среди стука, звяканья и треска, здесь, возносясь к облакам, я весел, как поющий ребенок. Я и не знал, что способен испытать такое блаженство!» Он стоял на ветру и ждал, что блаженство отрешит его от суетных мыслей. Он разглядывал полоски и квадратики полей, покатые склоны, поднимавшиеся к лесистому, зубчатому хребту. Они были мягкие, теплые и гладкие, как юное тело.

Он опустился на колени, суровый, непоколебимый, закрыл глаза и стал молиться, осеняя себя крестным знаменем. «Даже сюда, в горние Твои выси, я принес греховные помыслы. Ведь мир вовсе не таков, каким я его вижу. Земля – это скопище безносых, ощеренных скелетов; там виселицы, куда ни глянь, там дети рождаются среди крови и пахарь поливает борозду потом, там притоны, там пьяные валяются в канавах. И нет ничего благого во всей этой юдоли, кроме великого дома, ковчега, прибежища, корабля,

который один может спасти всех этих людей, и отныне у него будет мачта. Прости меня» .

Он открыл глаза, встал, почувствовал, что блаженство вдруг покинуло его, и попытался понять, куда же оно исчезло, глядя в небо, в немислимую высоту, куда вознесется верхняя часть башни и шпиль. Огромная птица парила там на распростертых крыльях, и он, вспомнив евангелиста Иоанна, сказал громко:

– Это орел.

Но немой юноша, который подправлял каменный рот, тоже поглядел вверх, улыбнулся и покачал головой. Джослин подошел к нему по доскам, наклонился и потянул за курчавые волосы.

– Ну что ж. А для меня это все-таки орел.

Но немой уже снова принялся за работу.

У ближней гряды из земли вставали бугры и холмики, словно там по волшебству выростали кусты. Они тянулись кверху и прямо на глазах оживали, превращались в людей. А за ними другие бугры превращались в лошадей, жеребых ослиц, навьюченных корзинами, – это был целый караван. Путники перевалили через хребет, синевший вдаль, и миновали ближнюю грядку. Они теперь спускались по склону прямо к глазу Джослина, к башне, к собору, к городу. Они не взяли западнее, в обход Холодной бухты, по тропе, выбитой копытами за долгие годы. Они берегли время, не щадя сил. И ему вдруг открылось, что другие ноги протопчут прямую как стрела дорогу к городу, он понял, что башня овладела всей округой, преобразила ее и господствует над ней, одним своим существованием изменяя лик земли повсюду, откуда она видна. Он окинул взглядом горизонт и убедился, сколь истинным было его видение. Повсюду возникали новые дороги, люди кучками прокладывали себе путь меж кустов и вереска. Округа покорно обретала иной вид. Вскоре город, подняв кверху огромный палец, будет похож на ступицу колеса, появление которого предопределено, непреложно. Новая улица. Новая гостиница, Новая пристань. Новый мост, и вот по новым дорогам уже идут новые люди.

«Мне казалось, это будет просто. Мне казалось, шпиль завершит каменную Библию, станет каменным Апокалипсисом. В своем безумии я и не подозревал, что с каждым шагом мне будет дан новый урок и новая сила. И некому было наставить меня. Я должен был строить, повинуюсь лишь своей вере, не слушая ничьих советов. Другого пути не было. Но при этом люди притупляются, как плохой резец, или срываются, как топор с топорница. Я слишком был поглощен своим видением, чтобы принять это в расчет, и, кроме видения, не нуждался ни в чем» .

Он поглядел вниз, на узенький прямоугольник Пэнголлова царства, где кучи камней уже изрядно поредели; ему был виден маленький квадрат двора

между аркадами. Он разглядел даже белые шашки, которые мальчики из певческой школы оставили на парапете. Он взглянул на дома, обступившие собор. За красными островерхими крышами он увидел задние дворы, где пятнышками шевелились коровы и свиньи. Какой-то старик добрал до отхожего места и, уверенный, что за оградой его никто не видит, оставил дверь настежь. А через три дома женщина – белый кружок поменьше и коричневый побольше – готовилась разносить по домам свой товар. На дворе, у ограды, стояли два деревянных ведра и лежало коромысло. Прищурившись, Джослин разглядел, что в ведрах молоко, и, увидев, как она долила в ведра воды, он невесело улыбнулся. Она подняла ведра, островерхая крыша скрыла ее, а потом она появилась уже на улице и перешла на другую сторону, обходя пьяного, который валялся в канаве, слабо дергая рукой, а над ним, задрав лапу, стояла собака.

– Слизняк.

Он вздрогнул и обернулся. Но Роджер Каменщик смотрел не на пьяного. Он смотрел на юго-восток, в сторону невидимого отсюда моря.

– Гнида.

За семью сверкающими излучинами на берегу реки стояла кучка домов.

– Что ты там увидел, Роджер?

– Поглядите на этого вору! Он сейчас засядет в «Трех бочках». А барка с камнем, который нам позарез нужен, простоит всю ночь и весь завтрашний день, покуда он не накачается вином. Ему плевать, что мы будем сидеть без дела!

– Сын мой...

Мастер закричал на него:

– Да мне-то что! И вам горя мало! Все равно ваша взяла!

Сразу стало тихо. Тишина была оглушительная, как после удара грома. Строители подняли головы. Ни стука, ни скрежета.

– Спокойно, Роджер. Спокойно.

– Спокойно! Да я...

Роджер закрыл лицо руками. И не отнимая их, отрывисто бросил:

– Эй, вы! Работать!

Стук сразу возобновился. Роджер опустил руки, но не смотрел на Джослина. Он отошел, не сказал больше ни слова и тяжело, по-медвежьи косолапо стал спускаться вниз.

Джослин проводил его взглядом, и в голову ему пришла новая мысль. «Я боюсь спуститься, – подумал он. – Мне бы остаться здесь на всю жизнь. Но делать нечего, надо спускаться, никто не может вечно жить среди орлов». И он заставил себя пройти по стремянкам, мимо ласточкина гнезда, с одной подмости на другую, а потом по темной внутрискатной лестнице, в серый, плотный сумрак у опор. Ему надо было поговорить с мастером, но Рэчел

вклинилась между ними, ее болтовня так и лезла в уши: ах, милорд теперь гораздо лучше выглядит, эти упражнения ему на пользу, как бы она хотела, ах, как бы хотела быть с Роджером на самом верху, но высота для нее страшной чистилища – и ее накрашенное лицо дергалось, и все тело дергалось под напором слов, – вот и приходится торчать тут, среди мусора, а Пэнголл – настоящий преступник, забыл свой долг, мужчины все таковы, впрочем, нет, конечно, не все, есть и хорошие, она знает, но этот сбежал неизвестно куда, и о нем ни слуху ни духу, бросил Гуди, а она, на беду, наконец ждет ребенка, бедняжка, такая милая, славная, а он ее бросил...

Ярость захлестнула Джослина, отчаянная злоба на пьяницу, который валялся в канаве, и на второго пропойцу, который торчал в «Трех бочках» . Он крикнул Роджеру, который стоял отвернувшись:

– Сын мой! Данною мне властью я приказываю тебе: пошли человека на хорошей лошади в «Три бочки» . Вели ему захватить с собой хлыст и в случае нужды пустить его в ход!

Он шел через неф, прочь от мусора и болтовни, шел, и по щекам его катились слезы. «Сколь ужасны уроки, которые мне дано извлечь, – думал он, – сколь огромна высота, и власть, и цена...»

У двери он овладел собой. Повернувшись к престолу, он сказал хрипло:

– О Господи, Ты приклонил ухо Твое к моим молитвам. И на глазах у меня слезы радости, потому что Ты вспомнил рабу Твою.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда он снова поднялся на башню, головы, изливающие изо ртов осанну, уже были вмурованы над каждым окном. Он

перегнулся через край кладки и увидел их сверху: волосы разметаны, носы торчат, как клювы. Головы кричали, взывая к новым дорогам, которые обозначались по склонам холмов, и не замечали птиц, маравших их беловатыми подтеками. Заглянув внутрь башни, он увидел, как перестроили свод – там теперь осталось лишь круглое отверстие, сквозь которое глаза с трудом нащупывали пол, совсем смутный, почти невидимый. Через отверстие торчком втаскивали бревна, и люди подхватывали их наверху. Он и сам испытал – или, вернее, увидел со стороны, оттиснутый в угол, – некое безумие, насыщенное скрежетом, грохотом и криками, когда бревна укладывали там, где они должны были образовать второе перекрытие. Ведь башне предстояло подняться еще на восемьдесят футов, и там опять будут окна и головы, изливающие изо рта осанну, и опять подмости и стремянки, и при мысли об этом у него захватывало дух; так было по крайней мере здесь,

наверху, где эта громада повисла в воздухе на высоте птичьего полета, и сердце трепетало при виде каменных четвериков, становившихся все меньше, а потом завершавшихся круглым отверстием, которое было дном и вершиной.

И, чувствуя в себе всепоглощающую, неколебимую волю, он знал, что великое дело благословенно. В декабре настали странные дни, когда в храм ни разу не заглянуло солнце и неф был похож на пещеру. В эти дни он приходил в темный храм и не мог приняться ни за какое занятие, только носил в себе свою волю, зная, что в конце концов все будет хорошо, хотя нижний ярус башни и растущий над ним верхний ярус тяжким гнетом давили на него, распирала голову. И он спешил наверх, как ребенок, который тянется к матери. Но о матери он не вспоминал. А если вспоминал, тотчас же Гуди со своими рыжими волосами врывается в его мысли и исторгала слезы из глаз.

В один из таких дней он шел от своего дома к собору, едва видя собственные ноги в тумане; и хотя в неф туман не проникал, там царила почти непроглядная темнота. Он стал подниматься наверх, взобрался по винтовой лестнице до первого перекрытия и окунулся в яркий свет. Здесь, наверху, сияло солнце, но лучи, пронзавшие башню, меркли перед тем светом, который сверкал выше, озаряя свинец, стекло, камень и бревна перекрытия, так что видны были даже следы топора. Когда он поднялся сквозь это лучистое сияние по стремянкам и подмостям туда, где работали люди, чьи руки казались голубыми, на самый верх башни, к ее неровной оконечности, его ослепило по-настоящему, до боли, и он невольно закрыл глаза руками. Вокруг видны были только вершины холмов, ничего больше. Туман сияющей, искристой пеленой покрыл долину и город, и, хотя пелену эту еще не пронзал шпиль, ее уже пронзала башня. И Джослин почувствовал странное успокоение, в эту минуту в душе его царил почти ничем не омраченный мир.

Но порой туман затоплял даже башню. И тогда работа еле шла или прекращалась вовсе, и он вынужден был оставаться внизу и платить всю цену сполна. Армия работала под навесами и в сараях, словно под скалами на морском дне. Там плотничали. Под навесом, у пролома, рубили восьмиугольные венцы, и каждый верхний венец делали поменьше нижнего. Эти венцы поднимались выше человеческого роста. Потом плотники ставили на каждом бревне какую-то метку и снова все разбирали, а Роджер Каменщик в мрачной задумчивости рассматривал решетчатый деревянный макет, похожий на колпак. К Роджеру редко кто подходил, строители сторонились его. Он стал слишком угрюм, слишком груб, слишком часто давал волю своему бешенству, а потом уходил, и одна только Рэчел шла за ним следом, осунувшаяся, накрашенная Рэчел, которая трещала без умолку и кружила

возле него. Джослин испытывал сострадание к этому рабу великого дела и удрученно смотрел, как он взбирается по лесам, медленно, упорно, или стоит, тщательно нацеливая свой снаряд то вверх, то вниз, или прислушивается у опор.

А там почти всегда можно было что-нибудь услышать. В конце декабря камни снова начали петь. Они пели не непрерывно; иногда по целым неделям кряду ничто не мешало богослужениям в капелле Пресвятой девы. Но потом люди начинали ощущать какое-то смутное беспокойство, старались понять, в чем дело, и решали, что воздух слишком сух или слишком холоден, но в конце концов они чувствовали по иголке в каждом ухе, и дыхание перехватывало без всякой причины. А потом вдруг иголки становились звуком, и тогда из груди вырывались тяжкие вздохи и в душу заползали ожесточение и страх. Горожане и проезжие толпились у западной двери, внимая чуду – грозному пению камней, но теперь никто не заходил в собор, как раньше. Строители, заслышав это пение, бросали работу и переглядывались, потом снова брались за дело. Теперь они редко смеялись. Один лишь Джослин, распятый на кресте своей воли, с улыбкой говорил, почувствовав иголки в ушах:

– Это пройдет.

Но с приближением весны, по мере того как ростки тянулись к земной поверхности, а башня – к небу, камни стали петь чаще.

И в это самое время Джослин узнал о Роджере нечто новое. Он пристально следил за мастером, оценивая свое орудие, считал каждый его шаг по стремянкам, ждал того мгновения, когда орудие притупится и надо будет снова его наточить или крепче загнать клин в рукоятку, и все-таки, сколько Джослин ни приглядывался, он ничего не мог рассмотреть под знакомой внешностью и привычными движениями Роджера. Но однажды он глядел вниз сквозь отверстие в своде, а Роджер в это время поднимался на башню; и Джослин с удивлением понял, что мастер боится высоты не меньше Рэчел. Он боялся, но преодолевал страх. Высота была неотделима от его работы, она была его жизнью, но она, видно, никогда не доставляла ему радости, как Джослину, он не знал ликования, от которого захватывает дух, когда под ногами только шаткая доска и уже не слышно пения камней, а доска дрожит и колеблется над пустотой. И теперь, поняв это, Джослин с состраданием смотрел, как Роджер поднимается вверх. Он двигался размеренно, неторопливо, без той небрежности, которой щеголяли иные из его помощников, и всегда смотрел прямо перед собой; Джослин видел все до самого пола, где над ямой стлался полумрак, и понимал, почему Роджер держится поближе к стене, а не посреди стремянки. Мелкий дождик, подхлестываемый ветром, окроплял непокрытую голову Джослина, но он

стоял, поджидая Роджера, и, когда его голова и плечи поднялись над верхним настилом, Джослин явственно увидел, что они опутаны сетью.

– Отчего ты боишься, сын мой?

Мастер стоял перед ним, тяжело дыша. Он ухватился одной рукой за поручень.

– Они опять поют.

– Ну и что? Так было уже не раз, а потом все кончалось.

Джослин поднял голову и сквозь завесу дождя посмотрел вверх.

– Роджер, знаешь, о чем я думал? Крест... тот, что будет вон там, наверху...

– Да.

– Ведь он будет выше человеческого роста, верно? А на макете он такой крошечный, его мог бы носить на шее ребенок.

Мастер закрыл глаза и скрипнул зубами. Он застонал.

– Что с тобой, Роджер? Говори, я тебя слушаю.

Мастер посмотрел на Джослина, стоявшего перед ним на фоне неба, и пробормотал хрипло:

– Смилуйтесь.

– Опять?

– Преподобный отец...

– Ну?

– Я не могу больше...

Джослин улыбался, но теперь улыбка застыла у него на лице, как маска.

Мастер протянул к нему свободную руку.

– Их ослепил блеск того, что вы... что мы...

Он отвернулся, облокотился на поручни и закрыл лицо ладонями; голос его был теперь едва слышен.

– Прошу вас, смилуйтесь.

– Кроме тебя, некому это сделать.

Мастер помолчал, не отнимая рук от лица. Потом он заговорил, но так и не поднял головы:

– Я попробую рассказать вам, в чем для меня загвоздка. Камни поют. Я не знаю почему и могу только догадываться. Понимаете, в этом моя беда. Я только и делаю, что строю догадки. Я ведь ничего не знаю. Не то что вы... – Он искоса взглянул на Джослина. – Не то что вы, когда говорите проповедь. Понимаете?

– Разумеется, понимаю.

– Да, мы вынуждены гадать. Мы решаем, что вот это или вон то выдержит, но, куда нет всей нагрузки, не можем сказать наверняка. И даже ветер, тот самый ветер, который сейчас едва шевелит волосы у вас на голове...

Он со злобой посмотрел на Джослина.

– Отец мой, есть у вас снасть, которой можно измерить напор ветра? Дайте мне ее, тогда я скажу, что устоит, а что обрушится.

– Но ведь опоры не оседают. Я же тебе говорил...

– Они запели.

– Разве ты не знал, что камни поют?

– Никогда! Здесь для нас все вновь. Вот и приходится гадать и строить дальше.

Он запрокинул голову на мощной шее и посмотрел в небо.

– А еще этот шпиль, сто пятьдесят футов. Отец мой... я не могу больше.

В голове Джослина уверенно заговорила воля. Он услышал ее голос.

– Я понимаю тебя, сын мой. Ты по-прежнему не осмеливаешься дерзать. Объяснить тебе, в чем смысл нашей жизни? Подумай о мотыльке, который живет один только день. А вот тот ворон кое-что знает о вчерашнем и позавчерашнем дне. Ворон знает, что такое восход солнца. Быть может, он знает, что завтра солнце взойдет снова. А мотылек не знает. Ни один мотылек не знает, что такое восход! Вот так и мы с тобой! Нет, Роджер, я не собираюсь читать тебе проповедь о том, сколь кратка наша земная жизнь. Мы знаем, что она непереносимо длинна, и тем не менее ее надо перенести. Но в нашей жизни есть смысл, потому что мы оба – избранные. Мы как мотыльки. Мы не знаем, что нас ждет, когда поднимаемся вверх, фут за футом. Но мы должны прожить свой день с утра до вечера, прожить каждую его минуту, открывая что-то новое.

Роджер смотрел на него в упор, облизывая губы.

– Нет. Я не понимаю, о чем вы тут толкуете. Но я знаю, каков будет вес шпиля, а какова будет его прочность – не знаю. Поглядите вниз, отец мой, вдоль окон и зубцов, вниз, до самой верхушки кедра, что растет во дворе.

– Я гляжу.

– Пускай взгляд ваш ползет вниз, как насекомое, фут за футом. Вы думаете, что стены прочны, потому что они каменные, но я-то знаю... Это всего лишь кожа из стекла и камня, распыленная на четырех каменных ребрах, по одному в каждом углу. Понимаете? Камень меж устоями не прочнее стекла, потому что на каждом дюйме я должен выгадывать прочность за счет веса или вес за счет прочности, ломать себе голову, прикидывать, отмеривать, взвешивать, и при одной мысли об этом у меня заходится сердце. Смотрите вниз, отец мой. Не на меня – вниз! Видите, как скреплены устои? Я скрепил камни, но не в моих силах сделать их прочней, чем они есть. Камень ломается, трескается, крошится. Но хотя опоры поют, есть надежда, что, если на этом остановиться, они выдержат. Я могу настлать крышу и, пожалуй, поставить флюгер, который будет виден за много миль.

Джослин замер, насторожился.

– Говори, сын мой.

– А построить шпиль попросту невозможно! Отец мой, верьте мне, уразуметь это можно только здесь, на такой высоте. Ведь это будет каменная кожа на каменных костях. А внутри сруб из таких вот восьмиугольных венцов, каждый верхний поменьше нижнего. Но не забудьте про ветер, отец мой! Мне нужно скрепить венцы и подвесить их на каменном яблоке, чтобы они своей тяжестью натягивали кожу. Тяжесть, тяжесть и тяжесть! Она все растет, все сильнее давит на устои, на тонкую кожу стен, на поющие опоры...

Он коснулся рукава Джослина.

– Но и это еще не все. Как бы я ни старался, шпиль не будет давить отвесно. Он будет давить на эти четыре устоя и распирать их. Чтобы их укрепить, я мог бы, должен был бы поставить над каждым устоем башенки, но их нельзя поднять до нужной высоты, потому что это – лишняя тяжесть. Где та черта, которую мне нельзя переступить, не пожертвовав одним ради другого? Да, можно установить первый венец, и второй, и даже третий... – Он судорожно сжал руку Джослина. – Но рано или поздно мы услышим новый звук. Отец мой, смотрите вниз! Рано или поздно мы услышим удар, грохот, рев. Эти четыре устоя раздвинутся, как лепестки цветка, и все, что здесь есть: камень, дерево, железо, стекло, люди, – все рухнет сверху прямо в собор, как горная лавина.

Он снова умолк. Потом послышался его шепот:

– Говорю вам... все прочее в моем ремесле сомнительно, но это несомненно. Я знаю. Я уже видел, как рухнуло здание.

Джослин стоял, закрыв глаза. В голове у него все выше и выше громоздились венцы из дубовых бревен и каждое бревно было толщиной в фут. Он стиснул зубы, и на миг ему показалось, что камни под ним шевелятся, шатаются из стороны в сторону. Колпак высотой в полтора фута затрещал, стал с грохотом расползаться и рушиться, среди пыли и дыма, все быстрее и быстрее, взметая пламя и искры, падал, сокрушая неф, и каменные плиты пола прыгали как щепки, пока развалины не погребли их под собой. Он ощутил все это так ясно, словно сам рухнул вместе с устоем, который навис над аркадой, согнувшись коленом, и разнес книгохранилище, словно гигантский цеп. Он открыл глаза – от стремительного падения его мутило. Он цеплялся за стену, а аркада внизу ходила ходуном.

– Что же нам делать?

– Остановиться.

Этот ответ был неизбежен, и, прежде чем прошла тошнота и аркада утвердилась на месте, Джослин своим настороженным нутром понял, как ловко мастер подвел его к такому ответу.

– Нет, нет, нет, нет.

Он бормотал это, качая головой, и постепенно понял все. Он понял, что приговор вынесен бесповоротно, что последнее средство, разговор на языке строителей, эта загвоздка, о которой ему ничего не сказали на земле, заставив с коварным умыслом подняться сюда, на башню, – это последнее средство наконец пущено в ход, словно рычаг повернулся на оси и привел в действие колесо головокружения; все было задумано так, чтобы в один миг сломить его волю.

– Нет!

Теперь голос его наконец прозвучал уверенно. Это был ответ клинком на клинок, бряцание стали.

– Роджер, говорю тебе: это можно исполнить!

Мастер в ярости отпрянул и остановился в углу башни, спиной к Джослину. Он смотрел сквозь дождь невидящим взглядом.

– Слушай. Роджер.

«Что сказать? Каких-нибудь десять минут назад я что-то говорил о мотыльках, но уже ничего не помню. Пусть же с ним говорит моя воля».

– Ты хотел запугать меня, как пугают ребенка привидениями. И все старательно рассчитал, ведь так? Но ты сам знаешь, что тебе не уйти. Не уйти. Не убежать. Твой сильный, пытливый ум все время искал пути, чтобы преодолеть невозможное. И ты нашел путь, потому что в этом твое назначение. Ты не знаешь, правильно ли это решение, и не находишь другого. И боишься. Все лучшее в тебе готово дерзать, а худшее хнычет и скулит.

Он подошел к Роджеру вплотную, остановился за его широкой спиной и сказал в дождь, в пустоту:

– Я открою тебе то, чего никому не дано знать. Наверное, люди считают меня сумасшедшим. Что ж, пускай. Они узнают это потом, когда я... Но ты услышишь сейчас, я скажу тебе это с глазу на глаз, здесь, на недостроенной башне, где мы одни, без соглядатаев и свидетелей. Сын мой. Наш собор – это чертеж молитвы. А шпиль – чертеж той из молитв, которая вознесется превыше всех прочих. Господь открыл это мне. Он явил видение недостойному служителю своему. Он избрал меня. И тебя Он тоже избрал, дабы ты претворил чертеж в стекло, железо и камень, потому что сынам человеческим нужно видеть это воочию. И ты еще надеешься уйти? Ты не в моих сетях – поверь, Роджер, я понимаю, как это тяжело, мучительно невыносимо, но ты не в моих сетях. Это Его сети. Ни я, ни ты не можем отринуть великое дело. Но и это еще не все. Теперь я вижу, нам не дано понять все до конца, потому что каждый новый фут открывает новую сущность, новую цель. На твой взгляд, шпиль – это нелепость. Он пугает и лишен смысла. Но с каких пор избранники божий взыскуют смысла? Шпиль называют Джослиновым безумством, верно?

– Да, так я слышал.

– Но сеть не моя, Роджер, и замысел, который считают безумным, тоже не мой. Это Божий замысел. От века Бог не подвигал людей на дела, согласные со смыслом. Это Он предоставил им самим. Пускай покупают и продают, исцеляют и владеют. Но вот из сокровеннейших глубин доносится глас, который повелевает содеять нечто совершенно бессмысленное: построить корабль на суше, воссесть на гноище, жениться на блуднице, возложить сына на жертвенный алтарь. И тогда, если у людей есть вера, рождается нечто новое.

Он замолчал, глядя в спину Роджеру под колючим дождем. «Это был мой голос, – подумал он. – Или нет. Не мой. То был голос всепоглощающей воли, моей владычицы» .

– Роджер.

– Да?

– Ты достроишь шпиль. Ты думаешь, это дело твоих рук, но ты заблуждаешься. Ты думаешь, что твой ум работает, упорно ищет выхода, а потом втайне гордится успехом. Но и тут ты заблуждаешься. И не от меня исходят слова, которые сейчас произносят мои уста.

Вновь наступило молчание; и Джослин почувствовал, что они уже не одни, что ангел стоит под холодным дождем у него за спиной и согревает его.

Мастер сказал безучастно и покорно:

– Сталь. Может быть, сталь выдержит. Я не уверен. Попробуем опоясать башню стальной лентой и связать камни. Но я не знаю... В нашем деле никто еще не употреблял столько стали. Нет, я ничего не знаю. И потом, это будет стоить денег, много денег.

– О деньгах не беспокойся.

Джослин протянул руку и почти робко коснулся плеча мастера.

– Роджер... Поверь, Он никогда не бывает бессмысленно жесток. В случае нужды Он даже посылает слабым утешителя, который стоит у них за спиной! Он согревает их под ветром и дождем. А ты нужен. Подумай, как тяжело бывает резцу, который много часов подряд вколачивают, вонзают в твердое дерево. Зато потом его смажут, обернут тряпичной и положат на место. Хороший мастер никогда не пустит в ход орудие, непригодное для дела. Он бережет свой инструмент.

Он помолчал, задумавшись. «Кажется, это я не только о нем говорю, но и о себе. Раньше была радость. Но как странно – ее больше нет. Я жажду лишь покоя» .

– И когда ты завершишь это, когда шпиль вознесется вот здесь, у всех на виду, – тогда сеть, быть может, порвется.

Мастер пробормотал:

– Ничего не пойму...

– Но надо строить быстрее, как можно быстрее! Иначе над тобой восторжествует зло, и сеть не порвется никогда...

Мастер повернулся к нему, еще ниже опустив голову.

– Оставьте свои проповеди при себе!

– ...а я не хочу этого, потому что каждый из вас стал дорог моему сердцу... и ты, и другие... в вас теперь моя жизнь.

– О чем это вы?

«О чем я? – подумал он. – Кажется, о Гуди и о Рэчел – надо поговорить с ней вот так, как я сейчас говорил с ним, или нет, не я говорил с ним, а сама воля» .

Он многозначительно кивнул мастеру.

– Мне пора, Роджер. Меня призывают дела.

Он начал спускаться вниз, и ангел не покидал его. Он слышал, как Роджер прошептал:

– Дьявол, вот ты кто. Сам дьявол.

А потом голоса Роджера не стало слышно, и опоры снова пели, и, спустившись в неф, он из-за этого пения забыл, что собирался сделать.

Почти целый месяц башня не росла вверх, но зато вокруг нее появилась целая рощица мелких башенок – всего их было двенадцать, по три с каждого угла, одна высокая и две пониже. Роджер Каменщик реже бывал наверху, поручив надзирать за работой Джеану, который весело покрикивал на строителей и сыпал шутками. Джослину пришлось заняться своими пастырскими обязанностями, но все дела были запутаны, и наверстать упущенное он не мог. А Роджер теперь почти все время проводил внизу, толковал с кузнецами, и Рэчел тут же перетолковывала каждое его слово. Из-за этого Джослин не мог к ним подступиться; на башне было тесно, и он наблюдал ход работы лишь урывками, снизу, вытянув шею. Он видел, как на высоте двухсот пятидесяти футов Джеан весело отдавал беззвучные команды, и каменщики делали борозды, чтобы стальная лента, которая обовьет стены, плотно прилегла к камню. В тех редких случаях, когда Джослин оказывался среди леса башенок на верху главной башни, он видел, как оживает длинный сарай у реки. Оттуда шел дым. С утра и до самой полуночи там, словно разноголосые колокола, били молоты; а когда темнело, он видел в реке отражения огней. Внутри башни в обоих перекрытиях оставались лишь узкие отверстия. По мере того как росли башенки, строители убирали ненужные леса. Они выдернули из стен крепления и почти все отверстия забили камнем. Оставшиеся дыры с бесстрастным интересом разглядывали голуби и вороны. Вскоре посреди башни висели только канаты да по стенам крутыми зигзагами поднимались стремянки. Из подсобных построек осталось лишь ласточкино гнездо, где каменщики

держали свои инструменты, а мастер – измерительные приспособления; но, поскольку вскоре предстояло настлать просторную площадку в основании шпиля, эту будку тоже было решено убрать. Леса остались лишь на самом верху башни, похожие на растрепанные волосы или на аистово гнездо над невероятными, высотой в восемьдесят футов проемами окон.

А потом было бурное собрание капитула, где известие о новых расходах встретили сначала недоверчиво, а потом с негодованием. Под конец Джослина вдруг осенило, что надо просто пустить в ход свою личную печать, и, придя к себе, он сделал это без дальнейших пререканий. Но после мучительной тяжести, испытанной в этот день, к нему вернулся визгливый смех; и ангел, хоть и был для него благословением, страшно его изнурял; собственная воля его ослабла, он утратил власть над мыслями и видениями, которые всплывали в голове – шпиль, рыжие волосы, волчий вой, – и его потянуло на башню, где он странным образом обретал умиротворение. Он вышел во двор и вдруг заметил, что там совсем тихо, словно весь мир затаил дыхание, потому что стук под навесом смолк. Он вошел в неф и, хотя был перерыв между богослужениями, услышал негромкий звук; это пели опоры: «и-и-и-и-и», – словно тяжесть стала для них невыносимой. Медленно, неслышно он поднялся по винтовой лестнице туда, где среди башенок его ждали умиротворение и радость. Он двигался бесшумно, как призрак, и, когда поднялся по стремянке до середины башни, услышал стон. Этот стон заставил его остановиться, занеся ногу на ступеньку, сжимая поручни и сгорбившись под бременем ангела. Это был стон попавшего в капкан зверя, беспомощной козули, которая уже и не пытается вырваться, а лишь стонет в смертной тоске. Он повернул голову к ласточкину гнезду. Под крышей было оконце с поперечиной, не очищенной от коры. Но не кора бросилась ему в глаза. Чья-то рука стискивала поперечину, и Джослин, видевший много раз, как она касалась камня, или дерева, или нацеливала металлический снаряд, или сжималась в кулак от злобы, или простиралась в отчаянье, знал эту смуглую, поросшую рыжеватыми волосами руку, как свою собственную, бледную и бескровную. Но едва он увидел ее и узнал грязновато-белые костяшки пальцев, не успев еще осознать, чья она – эта рука, так судорожно стиснувшая дерево, – другая рука, меньше, белей и нежней, скользнула сверху и крепко ее сжала.

Он стоял на стремянке, разинув рот, не двигаясь, не мигая, и тут он услышал голос, тот самый, что звучал как стон, голос молящий, по-детски наивный и нежный:

– Но ведь я-то не смеялась, правда?

Жесткие пальцы выпустили дерево, и руки сплелись, исчезли: а потом другой, еще более знакомый голос прозвучал с мучительным трудом, словно поднялся с самого дна ямы из-под серого каменного пола...

– О Господи!

Джослин быстро попятился, спустился со стремянки, все так же, с разинутым ртом. Теперь он стоял у стропил, опустив голову и зажав уши. Он раскачивался из стороны в сторону и бессмысленно шарил взглядом вокруг. Потом ощупью нашел винтовую лесенку, спотыкаясь, начал спускаться, и в темноте перед его немигающими глазами вихрем понеслись воспоминания: вот девочка в зеленом платье бежит по двору, но, увидев милорда настоятеля, своего духовного отца, благовоспитанно замедляет шаг, и вот он уже обратил внимание на ее застенчивую улыбку и веселую детскую песенку, сперва лишь благосклонно, а потом стал ждать ее, да, ждать, искать ее, любоваться ею, ощущая теплоту на сердце, восхищенный ее ангельской душой, и тогда он устроил ее брак с хромым, и ее рыжие волосы покрыл платок, а потом – этот шатер...

«Нет, нет, о Господи!»

Вот она, цена камня и бревен.

Наконец он спустился вниз, к поющим опорам, а там кружила Рэчел, она бросилась к нему бегом, и он визгливо засмеялся.

– Роджера нет ни в кузне, ни у плотников, может быть, он на башне или на подмостях, ведь он устал, и ему надо поесть...

Не умолкая, она шла за ним через весь неф, и так они вышли во двор, где уже темнело. У двери он обернулся и благословил ее, потому что ее боль была сродни его боли; а она стояла под гнетущей сенью исповедников, мучеников, святых, и ее красное непристойное платье колыхалось на коренастом теле, и теперь она молчала, зажав ладонью рот, и вытаращенные глаза смотрели с постаревшего накрашенного лица тоскливым, тяжелым взглядом. Он ушел к себе и встал на колени, и рот его все еще был раскрыт, и глаза все еще раскрыты и устремлены в пустоту.

А на другой вечер ласточкино гнездо убрали.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Он ушел к себе и встал на молитву, но даже молитва его была теперь иной. Он весь съежился в крошечный серый комок,

трепещущий, терзаемый страхом, а когда возводил глаза вверх, где всегда обретал поддержку, там сверкал каскад рыжих спутанных волос, и он, ссутулясь, опускал голову. Он говорил себе: «Я должен все это принести в жертву!» А потом оказывалось, что в голове у него безмолвно помимо его воли встает только один вопрос: «Ради чего?» Когда он заставлял себя забыть о рыжих волосах, ему удавалось на время обрести некоторую свободу, но потом эти волосы, как будто возвращенные какой-то силой, снова повисали перед ним и колыхались, ослепительные, неотступные, и она сама появлялась снова, в рваном платье, с зелеными лентами, и смотрела черными впадинами глаз. Он вскакивал и шел, сам не зная куда. Иногда он, захлебываясь, твердил: «Работать! Работать!» – и донимал расспросами людей, занятых делом, но тотчас вспоминал, что они об этом ничего не знают. Однажды, когда он вошел в пустой собор и стоял у двери, а в душе у него бушевала буря, он увидел ее: она шла по нефу тяжело, неловко, потому что ждала ребенка, и он почувствовал в душе нежную любовь и вместе с тем жадное любопытство, слюнявое желание узнать: как, где, когда, сколько? Слова, прозвучавшие в ласточкином гнезде, лишили его уверенности, повергли в хаос, где они вчетвером сочетались каким-то сатанинским браком. Когда вихрь на миг улегся в душе и Джослин пришел в себя, он понял, что громко кричал, так как в длинном каменном нефе еще отдавалось эхо, но не мог вспомнить слов.

«Надо пойти к ней, – подумал он, – надо спасти то, что еще можно спасти». Но, едва подумав это, он сразу почувствовал жадное любопытство, засевшее в нем, как проказа, и понял, что если застанет ее одну, то будет только спрашивать, доискиваться, выпытывать, сам не зная для чего. И вдруг он словно увидел себя со стороны: высокий, изможденный, в длинной рясе, он стоял у двери, уставившись на деревянную перегородку и стиснув руки. Он полез на опустевшую башню, и, когда поднимался мимо того места, где висело ласточкино гнездо, у него захватило дыхание и сердце сжалось от боли. Он заставил себя взглянуть с башни на мир, где люди занимались своими непостижимыми для него делами, и увидел, что многие из них бросили все дела. Башня, возвышавшаяся среди леса маленьких башенок, притягивала их. В устьях улиц, стекавшихся к собору, никогда не было пусто. Там толпились, глядя вверх, мужчины и женщины, и лица их с высоты казались смутными пятнами. Когда одни уходили, на их месте тотчас

появлялись другие. Это был бесконечный, неиссякаемый поток; Джослин почувствовал нестерпимую горечь и сказал в пустоту, где гулял ветер:

– Что вы знаете обо всем этом?

Башня была недвижна и безразлична. Он оглядел каменный лес, выросший вокруг того места, где должен был вознестись шпиль. «Это совсем не похоже на макет, – подумал он, – и на мое видение, но мы делаем все, что в наших силах. Быть может, это чертеж безумства, о котором они не знают».

И он крикнул:

– Работать! Работать! Работать! Почему никого нет?

Он бросился вниз искать мастера, и, пока он спускался с башни, озлобление перешло в неудержимую ярость. Но мастер не бездействовал. Он собрал свою армию под навесом у трансепта и что-то говорил хриплым голосом – мотылек, не видящий дальше своего короткого века. Услышав его голос, Джослин успокоился, и нетерпеливое желание поскорей завершить дело овладело им. Роджер Каменщик уже отдавал распоряжения каждому из строителей. Джослин понял, что речь идет о стальной ленте; поглощенный мыслями об этом, он пошел к себе, но не мог молиться, и тогда его посетили ангел и диавол, и неистов был сатанинский брак, и он ждал рассвета. Он был уверен, что большой колокол на дальней колокольне зазвонил с опозданием: вокруг собора уже перекликались громкие голоса, стучали шаги. Он поднялся на башню, но Роджер прогнал его вниз так властно, что это удивило и испугало их обоих. И он долго кружил по двору, совсем как Рэчел, а потом вернулся к себе, вспомнив, что должен сделать. Он написал длинное письмо аббатисе в Стилбери, осторожное, полное недомолвок, в котором справлялся, согласится ли она на известных условиях принять в обитель несчастную, падшую женщину. Потом он пошел в собор, взглянул на опоры, и ему пришла мысль, что они, быть может, чувствуют то же, что и он, но они хотя бы свободны от этой ужасной тяжести на сердце, которую дано испытать только человеку. Он не мог видеть, как продвигается работа, и пошел к старшему плотнику, под длинный навес, где были сложены бревенчатые венцы. Бревна казались такими прочными – их не одолеть самому лютому ветру, по крайней мере так сказал плотник, ударами тяжелого молотка разбирая на части шестой по счету венец, и было в его голосе нечто такое, что заставило Джослина продолжать распросы, но плотник как воды в рот набрал.

Солнце стояло уже высоко, и тени от стен собора понемногу укорачивались. Среди них была новая тень, отбрасываемая башней; она ползла мимо дома канцелярия, и Джослин заметил на ее конце какое-то неверное марево. Он быстро вышел во двор и остановился почти у самой толпы зевак. Взглянув вверх, он увидел над башней дым. Весь день он кружил подле собора, останавливался, вскидывал голову и отовсюду видел,

как поднимается этот дым, равномерно, непрерывно, застилая небо дрожащей мглой. И когда тень собора поползла в другую сторону, дым все еще шел; а в сумерки он увидел зарево вокруг башни, и порой со свинцовой крыши до него доносились голоса каменщиков, которые отдыхали там, спали, ели или пили воду из ведер. Наконец он лег и уснул, но его поднял с постели странный звон, который зазвучал на башне, такой же разноголосый, как и тот, что доносился из сарая на берегу реки. Джослин накинул плащ и вышел в толпу смеющихся, болтливых горожан. С башни каскадами низвергались искры. Они сыпались из зарева, сверкавшего над ней, и падали на крышу, не успев погаснуть. Один раз сверху донесся пронзительный вопль, потом крики, беспорядочный шум, и на время искры исчезли. В толпе принялись гадать, что случилось, но тут искры посыпались снова, а из трансепта, шатаясь, вышел человек, и рука его была обмотана промасленным лоскутом. Не отвечая на вопросы Джослина, он со стонами и проклятьями побрел в сторону Новой улицы. Но вокруг толпились люди, и было кому оказать ему помощь. Джослину казалось, что весь город не спит, все высыпало на улицы или на площадь или стоят у открытых окон, и все смотрят вверх. Башня светилась в тихой ночи, сыпала искрами, и дым таял, поднимаясь высоко к звездам. А за час до рассвета звон разноголосых колоколов смолк. Вместо искр башня теперь извергала струи пара, которые были бесцветны, как камни в предрассветных сумерках, и казались продолжением этих камней. На рассвете стал таять и пар. Горнила, недавно плававшие в вышине, сползли, плюясь углями и водой, вниз вдоль огромных окон, люди на крыше подхватили их и убрали внутрь собора. Когда взошло солнце, Джослин, измученный голодом и бессонной ночью, поспешил навстречу строителям, спустившимся с башни. Но они не замечали его. Они шли, пошатываясь, неверными шагами, и их широко открытые глаза смотрели сквозь него, уже видя вожаемые постели, а ноги сами собой брели прочь. Джослин стоял в сонном дурмане, ожидая Роджера Каменщика. Но Роджера не было. Тогда он робко вошел в неф и стал взбираться на башню, а поднявшись по винтовой лестнице, он забыл обо всем, кроме башни, которая была как живая. Потому что в то утро, на восходе, когда поднялся ветер, вся башня заговорила – она стонала, скрипела, возмущалась, то и дело вскрикивала: «Бам!» – и от этого у него заходило сердце. Но он напомнил себе, во имя кого возведена башня, стиснул стучащие зубы и, взобравшись наверх по зигзагам стремянок, мимо того угла, где висело прежде ласточкино гнездо, очутился наконец на деревянном перекрытии среди каменного леса. Всюду валялись куски угля, стояли лужи. Схватившись за край стены, он глянул вниз и увидел, что весь мир смотрит на башню, со всех сторон смутными пятнами белеют лица, а башню охватила стальная лента шириной в фут и толщиной в два дюйма, вся в голубоватых

точечках заклепок. И повсюду она плотно прилегала к камню, иссеченному рубцами и трещинами. Лента была живая, говорящая. Она вскрикивала: «Дон-дин-бам-бом!» – и протяжно звенела.

Он опустил на колени, глядя вдаль между двумя зубцами. «Вот я здесь, – подумал он. – И в этом смысл. Здесь мое место. Я не могу строить из дерева, стали и камня. Но я здесь, для этого я и существую» .

Он пал ниц и хотел помолиться, но, не успев вымолвить и слова, заснул, скорчившись у каменной башенки, и тогда явился его ангел, незримый, шестикрылый, и встал над ним, согревая ему спину.

Его разбудил ветер, который трепал ему волосы, сны медленно уплыли и оставили его с ветром наедине. Он открыл глаза, голова у него сразу закружилась, и он понял, что смотрит почти отвесно вниз, на аркаду, с высоты двухсот пятидесяти футов. Он снова закрыл глаза, зажмурил их покрепче и стал смотреть в глубь себя, стараясь вновь обрести безмятежность снов. Но сны покинули его безвозвратно, и он знал, что неотвратимо наступил новый день и надо держаться, как держатся опоры. «Моя вера не поколеблена, – подумал он. – И вот как высоко мы поднялись» . Эта мысль принесла ему такое утешение, что он полежал еще, как будто кутаясь в нее, потом открыл глаза, но в голове уже было пусто, а ветер трепал его волосы вокруг скуфьи и сушил на глазах последние слезы сна.

Но все же что-то переменялось, и ему снова пришлось думать, доискиваться, в чем она, эта перемена. Она родилась в нем или же вошла в его тело из башенки, через касание бедра или щеки. «Бам!» – звякнула стальная лента, словно подтверждая его догадку; значит, сам камень обрел какое-то новое качество. Эта новизна была столь неуловима, что лишь здесь, в полнейшем одиночестве, лишь в столь близком соприкосновении со свежевытесанной каменной поверхностью можно было ее обнаружить. Да, в камне явилось нечто новое, в этом камне у правого его бока. Этот камень... его рука шарила, ощупывала... Этот камень... Он стал теперь более... или, нет, менее?... или все-таки более?... твердым. На миг Джослину почудилось, будто камень мягок, как подушка, и он подумал: «Кажется, я еще не совсем проснулся!» Но тут у самых зубцов пролетел ворон, испустив пронзительный крик, такой явственный, обыденный, привычный. Джослин лежал, рассеянно глядя вниз, на галерею, а там, под арками, которые отсюда казались прижатыми к земле, неторопливо прошли ноги в сандалиях и проплыл подол рясы.

Мальчики из певческой школы опять оставили на парапете свои шашки. Он не видел клеток, нацарапанных на камне, но различал на них белые костяные кружочки. Он видел их несколько, но не мог видеть все, потому что выступ между зубцами срезал угол. И он чувствовал себя беспечно, как ребенок, глядя на белые шашки – одна, две, три, четыре, пять...

Он лежал, прижавшись щекой к башенке, и не двигался, в этом не могло быть сомнений. Но вдруг он увидел шестую шашку, она появилась перед его глазами. Он знал, что даже не пошевелинулся, значит, шевельнулась башня и, хотя наверху ее движение было плавным и бесшумным, там, внизу, опоры, должно быть, взвизгнули: «И-и-и-и-и!» А белая шашка то появлялась, то исчезала, и он понял, что башня раскачивается под ним, как высокое дерево.

Он медленно отвел глаза, взглянул на кучи угля и высыхающие лужи. «Только бы не крикнуть, не побежать, – подумал он. – Ведь это недостойно моего видения». Он медленно поднялся, твердо встал на ноги. Шаг за шагом он осторожно спустился с неумолкающей башни по крутым стремянкам, по винтовой лесенке в пустой собор. Опоры снова пели, и теперь он уловил в их пении некий ритм. Он заставил себя остановиться и слушать, словно исполнял покаяние. С минуту было тихо, но вот снова: «и-и-и-и-и!» – все выше, в полный голос, на верхней ноте, а потом обратно – через те же ступени к тишине.

Он посмотрел на то место, где раньше были плиты пола. «Вот здесь, на каменных плитах, мне было ниспослано видение, – подумал он. – Здесь много лет назад я пал ниц и принес себя в жертву делу. И вера моя не поколебалась. Все в руках твоих. Господи» .

Медленно, не оглядываясь, он ушел.

Но день готовил ему новые неожиданности.

У дверей дома ждал нарочный с письмом. Он вернулся из Стилбери, проскакав верхом пять миль, и Джослин, получив так быстро ответ на письмо, первым делом подумал, что Стилбери слишком близко. Но следом появилась смутная мысль, что все же Стилбери достаточно далеко. Он взял письмо и, сломав печать, прочел. Да, в Стилбери готовы принять падшую женщину, но не на предложенных им условиях, а лишь в случае, если в аббатство будет сделан изрядный вклад. Он открыл сундук, достал деньги. «Я знаю, что они скажут, – подумал он. – Сперва Джослиново безумство, а теперь – Джослинов грех. Что ж, пускай. Надо мной столько насмеялись, что я давно перестал замечать. Это тоже...»

Он вернулся в собор, прошел через неф, меж поющими опорами, а потом через южный трансепт к Пэнголлоу царству. Он остановился у порога, глядя на низенький домик, и сердце его сжалось в комок. Он стоял, чувствуя себя бесконечно несчастным. «Сейчас предстоит сделать самое худшее! – подумал он. – И тогда я обрету мир. Это нужно сделать ради меня, и ради него, и ради моей бедной дочери» .

Он заставил себя пойти к домику, но, едва сделав первый шаг, он вздрогнул, пошатнулся. В правом глазу у него мелькнуло что-то ярко-

красное – это Рэчел ринулась к домику через двор, распахнула дверь, ворвалась внутрь. И сразу там раздался грохот, пронзительный визг, крики: Рэчел выкрикивала слова, жгучие, как огонь. Дверь снова распахнулась, и оттуда неверными шагами вышел Роджер, прикрывая руками окровавленную голову. Вслед за ним выскочила Рэчел. Она осыпала его визгливыми проклятиями, била метлой по голове и по плечам, а в пальцах у нее был зажат клочок рыжих волос, которые дрожали и прыгали при каждом взмахе метлы; Рэчел вопила, визжала, брызгала слюной, не сводя сверкающих глаз со своей жертвы. Они прошли, спотыкаясь, мимо Джослина и даже не заметили его: а в соборе бушевало праведное негодование, и он услышал, как хохотали мастеровые. Мгновение он стоял озираясь. Потом быстро пересек двор и остановился у открытой двери с деньгами в руках.

Гуди Пэнголл скорчилась у очага, где над угасающими углями медленно покачивался на цепи черный котелок. Она опиралась на правое бедро и на руки, поджав ноги под себя. Свет, вливаясь через открытую дверь, блестел на ее обнаженных плечах, голова поникла, рыжие волосы свисали клочьями. Она рыдала, хватая воздух ртом, и все тело сотрясалось, словно по нему пробегали волны. Длинная тень Джослина легла на нее. Она подняла голову, увидела его и взвизгнула. Он простер руку, чтобы остановить ее, но она умолкла сама, подобралась, села на корточки, прислушиваясь к тому, что происходило у нее внутри. Ноги ее судорожно дернулись под юбкой. Она схватилась обеими руками за живот и снова завизжала, но этот визг был совсем иной. Короткий и пронзительный, он резал как нож. И снова этот визг, и снова...

Джослин выронил деньги. Он повернулся и побежал через двор к дверям трансепта, взывая:

– Женщин сюда! Скорей! Ради самого Господа! Ох, бедняжка! Повитуху!

Мастеровые в соборе забегали, поднялись споры, шум. Джослин снова выбежал во двор, а крик все резал и резал его, как нож. Он упал на колени и молился бессвязно, горячо: «Смилуйся, смилуйся, я не знал, что так будет, только не это, о Господи, все что угодно, только останови нож, мне этого не вынести», – а вокруг него раздавался топот, громкие голоса и споры. Он вскочил и побежал к двери ее домика – помочь, сделать что-нибудь, хоть что-нибудь, смилуйся!.. Мастеровые, приподняв, держали белые тонкие ноги, под ними дергался белый живот и бился крик, а деньги, рассыпанные по полу, были забрызганы кровью, и мир стремительно завертелся у него перед глазами. Когда он опомнился, надо было совершить ужасный обряд крещения, а потом пришли женщины и отец Ансельм с елеем и святыми дарами, которые он поднес к белому, обескровленному лицу. Джослин шел через двор, вдоль стены, от устоя к устью, клонясь и припадая к камням, как тростник, ветром колеблемый. Он с трудом добрался до хора и, упав на

колени, хотел помолиться за нее, но рыжие волосы и кровь ослепляли его рассудок. «Это случилось, когда она меня увидела, – подумал он. – В ее глазах я был сама церковь, я предстал перед ней как грозный обвинитель, и она хотела убежать от меня. О Господи, спаси ее, и я посвящу остаток дней, которые ты мне ниспослешь, чтобы дать ей мир, только пусть не будет этого шума, и крови, и пения камней у меня в голове. Я увидел их вдвоем больше года назад, и вокруг них был шатер, и шатер не выпускал их, куда бы они ни пошли, и я смирился пред волей Твоей. Больше года назад...»

Он стоял на коленях и не видел ничего – только эту женщину, сотрясаемую болью. Иногда он вздрагивал и стонал. Иногда бормотал невнятно: «Бог оборонил меня. Он уберег меня от женщины, этого исчадия ада» .

А потом он забыл про боль в коленях, забыл про голод, забыл все, и перед ним замелькали картины, в которых не было ни последовательности, ни связи, но он-то знал, что они связаны между собой. Брак, который он сам устроил, и ласточкино гнездо. Волосы и кровь, хромоногий с метлой, который ковьялял через неф. Все спуталось, но он терпел, только стонал и содрогался. А потом пришли, словно сами собой родились, слова, объемля всю его жизнь, его грехи, его вынужденную жестокость и, главное, нестерпимый накал его священной воли. Эти таинственные слова иногда пел на Пасху детский хор, и теперь только они имели для него смысл.

«Вот что свершил я возлюбя» .

Поздним вечером, когда он все еще стоял на коленях, скорчившись и дрожа, пришел отец Адам, ощупью пробрался в темный хор и сказал, что Гуди Пэнголл умерла.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ее тело опустили в сырую землю, и он побрел прочь как слепой. Он брел, разговаривая сам с собой, а может быть, с

каким-то неведомым и незримым спутником. То он вдруг замечал, что идет через собор, прижимая стиснутый кулак к груди, то ему вспомнилось, что он много раз повторял одно и то же. Но даже когда ему удавалось припомнить, что именно, или поймать себя на полуслове, все равно смысла в его речах не было. Он подолгу стоял, задрвав голову и сжав кулаки. Он мучительно старался опомниться, понять, что с ним происходит. Но со дна его души, как вода, поднималось какое-то темное чувство. Часто являлся ангел и стоял позади него; это изнуряло его, потому что ангел был великим и дивным бременем, под которым сгибалась спина. Но мало того, вслед за

ангелом, словно напоминая о смирении, приходил диавол, которому была дана власть терзать его, и стискивал ему чресла, поистине становившиеся неустойчивым злом.

А потом он снова слышал, что без конца твердит одно и то же: «Нет, нет, нет нет» или «Так, так, так, так» – и при каждом слове похлопывает ладонью по поупитру. Это случалось всякий раз, когда черная вода поднималась из живота и заливала, давила грудь. Он становился лицом к стене, без конца хлопал по ней ладонью и слышал свой голос, который твердил: «Ничего, ничего, ничего, ничего». И шпиль тоже был здесь, вычерченный в его голове простыми, стройными линиями, но другие картины мелькали вокруг него. И все же иногда Джослин мысленно обращал к шпилью свой взор, и тогда он спешил к опорам, глядел вверх и как в бреду ободрял строителей.

Теперь он обрел прозорливость в отношении некоторых людей. (Это дала мне боль, боль, боль.) С ужасающей ясностью он видел, как Роджер вернулся к Рэчел, вернее сказать, все теперь видели, что он снова в ее власти. (Она праведница. Праведница. Праведница. Хлоп, хлоп, хлоп.) Между ними уже не вспыхивали ссоры. Они были вместе, но не кружились больше друг возле друга. Роджер Каменщик стоял, надзирая за работой, сгорбленный, мрачный, с застывшим взглядом. А она стояла позади и чуть сбоку, надзирая не за работой, а за ним. И, глядя на них новыми глазами, Джослин видел на шее у Роджера железный ошейник и длинную цепь, конец которой она держала в правой руке. Если Роджер поднимался наверх, она оставалась внизу с цепью наготове, дожидаясь, когда снова можно будет пристегнуть ее к ошейнику.

И в голове у Джослина стучала лихорадочная мысль:

«Если я теперь велю ему построить шпиль даже в тысячу футов высотой, он сделает это. Я достиг цели».

(Нет, нет, нет, нет, нет, нет, руки сжимают и разжимают, сжимают и разжимают край надгробной плиты.)

Однажды ноги помимо воли привели его в Пэнголлово царство, и дверь домика была открыта. (Боже, боже, боже, руки хватают, скручивают, рвут высокую траву.) Он бросился назад к собору, подгоняя себя, и в неурочное время поспешил в капеллу Пресвятой девы. Губы его шептали привычные слова, но перед глазами – нет, нет, нет, нет! – стояло белое тело и непоправимо пролившаяся кровь. Он вспомнил об отце Ансельме, но понял, что бесполезно и пытаться объяснить все это Ансельму с его благородной и пустой головой. (Мне нужен другой духовник, другой духовник, другой духовник.) Но, не успев подумать это, он все забыл, потому что она появилась снова, и он увидел скорченное страданиями тело и ужасное крещение.

Он перевел дух, посмотрел на деревянную доску и сказал громко, но со смирением:

– Мой ум слаб.

И тут подоспела помощь, словно бы ангел шепнул ему на ухо:

«Представляй ее себе такой, как прежде!»

И сразу же он радостно представил себе девушку, которая идет с рынка, неся корзину, и замирает перед ним в неловкой почтительности; он вскочил, засмеялся, бросился куда-то и чуть было не пробежал мимо канцелярия. Но пришлось слушать его, улыбаться и кивать. В мыслях же Джослин перенесся на пять лет назад, в то счастливое время, когда он устроил ее брак, и, пока он вспоминал это, канцелярий исчез. (Такой удачный, такой нужный брак, отцы обоих – верные прислужники в храме, каждый а своем месте.)

«Но ведь я-то не смеялась, правда?»

(Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, рука стискивает, стискивает, стискивает...)

Скорей к опорам – там самое важное дело, главная трудность, причина причин, бремя; и Рэчел, постаревшая, уже не такая болтливая, заглядывает ему в глаза, готовая принять осуждение, но кто может ее осудить? Замужние женщины превозносят ее, и она в самом деле приложила все силы, чтобы вернуть своего мужа. А опоры снова пели, и, прислушиваясь, он забыл о ней и понял, что с пением пришел страх и последние прихожане покинули капеллу Пресвятой девы.

(Помилуй малых сих, малых сих, малых сих...)

Он сказал вслух:

– Но остались большие сии – строители!

И словно в ответ на эти слова с башни спустился человек, бросив работу. Он нес мешок с инструментами и на ходу натягивал на голову синий капюшон. Он прошел мимо Джослина, как мимо пустого места, и быстро зашагал в трансепт.

– Вернись!

В трансепте на месте пролома теперь была дверь, и она с грохотом захлопнулась. А на месте мастерового появился регент хора и попросил уделить ему минуту с таким жутким спокойствием, что было ясно: он вне себя от ярости. Но перед глазами Джослина стояла умершая, он не мог молиться, был удручен отступничеством мастерового и потому только зажал уши и покачал головой.

– Это необходимо. Решительно необходимо, чтобы я бросил все и был со строителями. У них нет веры, и я им нужен. Разделите все прочие обязанности между собой. А я всегда, каждое мгновение буду здесь, подле шпилья.

Он стал смотреть вверх, на башню, и не заметил, как регент ушел. Потом он поспешил к мастеру.

– Теперь я всегда буду с вами.

Роджер Каменщик стоял в своем ошейнике и взглянул на него тусклыми глазами.

– Это хорошо, милорд настоятель. Очень хорошо.

Джослин вспомнил о регенте и крикнул ему вслед:

– Вы слышали, милорд?

А опоры пели. Он подоткнул рясу и полез на башню, все выше, выше. Когда ему встречались строители, он весело заговаривал с ними, смеялся, и они смеялись в ответ – правда, не очень уверенно. Они рассказали ему про длинный канат, одержимый бесами, и он решил взглянуть сам. Да, канат в самом деле был одержим. Он свисал с башни через широкое отверстие, и конец его лежал на полу, как мертвая змея. Джослин видел, как на канате поднимали бревна, из которых наверху собирали венцы. Сверху подавали команду, снизу откликались, а потом в полном молчании бревно уплывало в воздух. Но как бы осторожно ни подтягивали канат, в какой-то миг он вдруг начинал крутиться, извиваться, биться о края отверстия, и нужен был очень точный расчет, чтобы протащить бревно, не повредив камня.

Он увидел, как Роджер Каменщик стал подниматься на башню, услышал внизу голос Рэчел, которая тоже поднялась немного, но выше лезть боялась и выкрикивала ему вслед наставления. Он сразу вспомнил ласточкино гнездо и, не дыша, миновал то место, где оно висело. Он сказал вслух своему ангелу:

– Сюда она уже никогда не поднималась.

Мастеровые слышали это, истолковали по-своему и захохотали.

– Нет! Тут уж он от нее свободен.

Джеан взглянул сверху на мастера и сказал, а мастеровые при этом прыснули со смеху, как мальчишки из певческой школы:

– Скоро она и в нужник будет его провожать.

В тот день Джослин сделал еще одно открытие: Роджер Каменщик начал пить. Он стал пристально наблюдать за ним и заметил, что Роджер даже не пьян, а словно бы весь пропитан вином. Его дыхание было почти зримым. Он то и дело прикладывался к бутылке, когда поднимался наверх, или стоял на лесах, или сидел на корточках возле растущего конуса, этой каменной кожи шпиля. Сначала Джослин пришел в ужас, как пассажир на корабле, которым командует пьяный капитан, но потом это прошло. И с тех пор он совсем перестал обращать внимание на тех, кто занимался внизу своим обычным делом.

А опоры все пели, и Джослин узнал, что только они одни и поют во всем соборе. Возмущенный причт перенес богослужения в дом епископа. Иногда Джослин, торопясь в собор, пересекал путь одному из церковников, но все обходилось благополучно. Его только провожали тяжелыми взглядами. И даже когда отец Адам сказал ему, что скоро придут Гвоздь и Визитатор, он только переспросил рассеянно: «Визитатор?» – и исчез на лестнице.

Хотя Джослин все время был на башне, это нисколько не помогало мастеру. Он пил – в этом теперь была какая-то неизбежность, словно в явлении природы. Порой он мрачнел и подгонял строителей грязной бранью. Когда Джослин был рядом, он изрыгал такие кощунства, что настоятель сразу забывал о белом, обнаженном теле. И тогда он забивался в угол, зажимал уши, чтобы не слышать проклятий, и Гуди возвращалась, или он вспоминал, как под ее ножками сплеталась золотая путаница следов на дворе, на рынке, в соборе, и он стонал, закрывая лицо руками:

– Она умерла. Умерла!

А порой Роджер, наоборот, становился притворно, нелепо веселым и норовил подпоить всех вокруг. Но чаще он бывал удручен, медлителен и тяжело лазил по стремянкам; а вечером, после работы, он покорно спускался вниз, где Рэчел пристегивала к ошейнику цепь и уводила его. Тогда Джослин кивал и говорил умудренно:

– Ему все равно – жить или умереть.

Но на другой день, когда она снова начала преследовать Джослина и он, чтобы от нее избавиться, стал ходить следом за Роджером, он увидел, что неверно судил о мастере. Роджеру было не все равно – жить или умереть, иначе им не владел бы столь явный страх. Невозможно было объяснить, почему страх этот такой явный. Джослин видел его так же ясно, как шатер и цепь, и он видел, что этот страх не от естества, как страх здорового зверя. Этот страх был подобен отраве, как прежний страх Роджера перед высотой. Но теперь страх толкал Роджера к людям, вызывал потребность видеть их рядом, потому что он поневоле вынужден был сносить высоту. «Он готов умереть, – думал Джослин, – он даже рад бы умереть и все-таки боится упасть. Он рад бы надолго заснуть, но только не ценой падения с высоты. Вот еще причина, почему, лазая по лесам, он то и дело прикладывается к бутылке и от него несет винным перегаром» .

Таковы были те люди, чьими трудами возводился шпиль: один пил запойно, другой избегал смотреть вниз, чтобы не видеть золотой путаницы следов, остальные более или менее сохраняли здравый рассудок. А на верху башни было перекрытие из бревен, одержимое нечистой силой; но эту одержимость можно было понять, и она влекла к себе Джослина, потому что под навесом во дворе он такого не видел. Это вызывало тревожные и мучительные раздумья. В венце, уложенном поверх перекрытия, на равных расстояниях были прорезаны пазы, и в каждый паз был загнан клин. Строители уже собрали второй венец, который лег на клинья; прочный канат, прочнее якорного, опоясывал нижний венец, удерживая клинья на местах. Джослин спросил мастера, для чего это, но в ответ услышал лишь ругань, и тогда он снова отошел в угол и погрузился в свои думы. А как-то вечером,

когда Роджер с угрюмым ворчанием спустился вниз, Джослин отвел Джеана в сторону и указал на клинья.

– Объясни мне, зачем это?

Но Джеан засмеялся ему в лицо.

– Тут дело нечисто.

Джослин потряс его за плечи, силы вернулись к нему.

– Я должен знать. Это не только ваше дело, но и мое.

Джеан передернул плечами и стряхнул его руки.

– Все держится на клиньях. Он хочет подвесить деревянный сруб на каменном яблоке, которое будет наверху шпиля. Если до этого налетит гроза – трах-тарарах! А если нет, он помаленьку ослабит канат, и венцы, или, верней, крепи между ними вытянутся. Сруб повиснет внутри шпиля и придаст ему устойчивость против ветра. Так-то.

Он пнул ближайший клин.

– Он думает, сруб вытянется – вот настолько. Кто знает?

Может, он и прав.

– А ты уже видел где-нибудь такое?

Джеан рассмеялся.

– А разве кто-нибудь уже строил такой высоченный шпиль?

Джослин окинул взглядом каменную кожу.

– Кажется, где-то за морем... Люди рассказывают...

– Если каменная оболочка не рассыплется, и яблоко не треснет, и сруб выдержит, и опоры не рухнут...

Он снова пнул клин, покачал головой и уныло присвистнул.

– Он один мог это придумать.

– Роджер?

– Он пьет без просыпу и давно уже спятил. Но только человек, который спятил, и возьмется выстроить этакий шпиль.

Он повернулся и стал спускаться. Немного погода снизу послышалось:

– Все

мы тут спятили.

Это помогло Джослину понять мастера. «Надо отдать ему всю силу, какая есть во мне», – подумал он. На другое утро он ходил за Роджером по пятам и все спрашивал:

– *Как это называется, сын мой? А это?*

Роджер не устаивал его ответом. Но в конце концов не выдержал:

– Как, как! Куски камня и дерева никак не называются. Вот это будет держаться на том, а то – вот на этом, если не упадет. Оставьте меня в покое!

Он полез наверх, неуклюже, как медведь, и по дороге приложился к бутылке. Джослин тоже поднялся наверх, но не к нему, а к мастеровым, которые всегда были ему рады, и присел возле них на корточки. Сначала он

не понимал, почему они ему рады, но потом понял, что спасает их от страха; теперь он понял все до конца, потому что ангел уже не покидал его ни днем, ни ночью, спасая от страха его самого, и это было великим благом, хотя под бременем ангела сгибалась спина. Теперь Джослин приходил в собор на заре, стоял там в одиночестве, ощущая, что и сейчас, на половине пути, он не властен над жизнью своей. Если мастеровых еще не было и ему удавалось ускользнуть от золотой путаницы следов, он пытался разобраться в тех необычных чувствах, которые обуревали его. «Как это называется? А это?»

Иногда в полумраке собора он рассуждал про себя, но шпиль, высившийся у него в голове, не давал довести рассуждения до конца.

«Когда это кончится, я буду свободен...» .

Или: «Что ж, такова цена...»

Или: «Я знаю Ансельма. И вон того. И вот этого. Но ее я никогда не знал. Сколь драгоценно было бы для меня, если б я мог...»

«Как это называется? А это?»

Однажды, серым утром, он целый час был совершенно спокоен, а потом натолкнулся на мысль, которая сначала была как глухая стена, а потом она вдруг стала для него такой же важной, как день рождения для ребенка. Он смотрел на дощатую перегородку, за которой была капелла Пресвятой девы. И ему вспоминались давние события, которые происходили словно в иной жизни.

– *Господь был там!*

Он стоял, глядя на серые опоры в сером свете верхних окон, с которых вешали патриархи. И он спросил у перегородки:

– И это тоже часть цены?

Но ответа не было; тогда он поспешил к лесам, поднялся наверх вместе со строителями, благословил их. И шпиль вытеснил все мысли из его головы.

Между тем шпиль все суживался и те, кто в нем работал, как бы поднялись над землей еще на одну ступень. Это был не конец, а начало. Линии башни сходились далеко внизу, и у своего основания она словно становилась совсем тонкой, казалось, это стрела, уходящая острием вниз, здесь же, наверху, был уродливый тупой конец. У людей, чья жизнь теперь протекала на высоте, от качания уже не заходило сердце, но в размеренном чередовании тяжести и легкости было что-то, изматывавшее не столько тело, сколько душу. Джослин испытал на себе, как постепенно растет гнетущая тяжесть и вдруг перехватывает дыхание и ты вцепился мертвой хваткой во что попало. И тогда быстро переводить дух, и на время становится легче, но потом тяжесть возвращается. Одно было хорошо здесь, на высоте трехсот футов. Когда поднимался ветер, не слышно было пения опор, хотя мысли о них не покидали людей – ведь всего четыре тонкие иглы, воткнутые в землю, держали на себе весь этот мир из камня и дерева.

Спасти от этого могла только работа, которая требовала полнейшей сосредоточенности. Каменную оболочку конуса нужно было класть с предельным тщанием, лишь тогда она обретала наибольшую прочность. И все же в ветреные дни уровень, положенный на верхнее перекрестие башни, обнаруживал какое-то медленное безумие, дрожал, как душа в преддверии ада. И тогда мастер ни с кем не разговаривал, только хмурился и о чем-то размышлял, а потом вдруг набрасывался на кого-нибудь из помощников с неистовой руганью.

И вот появилось нечто такое, чему никто не знал названия. Появилось постепенно, как порой подкрадываются холода. Быть может, это было сознание, что они теперь на такой высоте, на какую еще не поднимался ни один человек. Никто не мог уловить новую грозную неизбежность, но какие-то липкие предчувствия ползли по телу. Теперь наверху редко разговаривали спокойно: молчание нарушала только ворчливая брань или внезапные крики ярости. Порой слышался судорожный смех. Чаще – всхлипывания.

Некоторые даже бросали работу и уходили. Ушел Ранульф, маленький, сухой, морщинистый человечек. Он был молчалив, быть может потому, что остальные едва понимали его неуклюжий английский язык. Медлительный, как улитка, он зато работал без передышки. Приступы безумного смеха или ярости ни разу не захватили его. О нем часто забывали, а потом, взглянув в его сторону, видели, что еще один камень с его меткой лег на место. Но как-то в июле, когда шпиль снова стал качаться, он попятился от каменной оболочки и начал складывать в сумку инструменты. Никто не сказал ни слова, но все, один за другим, тоже бросили работу и смотрели на него. Ранульф не обращал на них внимания и собирался неторопливо, как всегда. Обтерев инструменты, он обернул их тряпицей и аккуратно сложил в мешок. Он осмотрел сумку, в которой носил еду, отряхнул руки. Потом взял сумку и мешок, медленно сошел вниз и исчез из виду. Все проводили его взглядом, а когда он скрылся, один за другим вернулись к работе, но было в неторопливом уходе этого человека что-то леденящее, отчего дрожь пробегала по телу.

И все же гораздо страшнее был уход другого.

Макет шпиля оканчивался шариком, на котором держался игрушечный крестик. Когда Джослин увидел на дворе самый шар, забранный деревянной решеткой, он почувствовал сомнение, которое вскоре перешло в ужас. Это каменное яблоко было больше мельничного жернова и, наверное, тяжелее лошади с повозкой, а ведь его предстояло поднять на самый верх, фут за футом. Джослин видел, как его втащили в собор, а потом оплели канатами и постепенно, с остановками, подняли сквозь отверстие в своде. Во время каждой остановки долго возились с клиньями и рычагами, придавая яблоку нужное положение; и вот оно неумолимо закрыло собой середину первого

венца. Но это было еще не все: яблоко поднимали выше и выше, пока наконец не стало ясно, что через следующий венец оно не пройдет. И пришлось на высоте трехсот пятидесяти футов перетащить его на леса, специально построенные вне конуса. Конус вырастал, и вместе с ним вырастали леса, по которым поднимали шар. Приходило время, и снизу леса убирали, чтобы надстроить их сверху, – так играют дети, перехватывая руками палку.

Джослин избегал смотреть на каменное яблоко. Привязанное к лесам, удерживаемое подпорками и клиньями, оно заслоняло целый квартал города. И при этом оно висело на стене, как священный камень в Мекке. Теплый летний ветер раскачивал конус, и, хотя душа Джослина была полна веры, тело его превращалось в комок сжатых мускулов и трепещущих нервов, ему казалось, что эта махина вот-вот переломит четыре каменные иглы, как ольховые прутики. В такие минуты ему оставалось одно: отбросить эту мысль, думать только о конусе, который должен подняться еще на пятьдесят футов; это утомляло его, а потом, подняв глаза, он снова видел каменный шар, заслонявший целый квартал города. И когда он смотрел вниз, это уже не рождало в нем такого пугающего восторга, потому что, чем больше суживался конус, тем темнее становилось внутри. А если посмотреть на башенки, которые торчали вокруг главной башни, где кружили птицы, становилось страшно, как бы одна из них не совместилась с какой-нибудь точкой на голубой чаше земли, и тогда сразу видно станет или покажется, что шпиль кренится. К тому же для рук Джослина здесь не было дела. Он мог только сидеть в уголке, черпая твердость в своей воле или в иной воле, которая была не его, и стараться поддержать ею шпиль и людей среди этих новых, неотступных предчувствий.

Может быть, поэтому ему было так трудно подниматься вверх. Он едва переводил дыхание после крутых стремянок, часто ложился потом на доски, тяжело дыша, и ждал, пока сердце успокоится, или, вернее, начнет стучать не громче обычного. Он ползал на четвереньках, неся на себе ангела – утешителя, но это было нелегко, потому что конус с каждым днем суживался. И все же никто его не гнал, он не мог понять почему, а когда спросил об этом Джеана, тот сказал просто:

– Вы нам приносите удачу.

Из-за Джеана и случилась новая беда. Однажды он поднялся наверх хмурый, с застывшим лицом, попросил у мастера отвес и шнур. И пока строители закусывали, укрывшись за каменной оболочкой, а мастер молча прикладывался к бутылке, Джеан быстро спустился со шпиля.

После этого никто не проронил ни слова.

Вскоре Джеан вернулся, отдал мастеру отвес и моток шнура, потом взглянул на Джослина. Лицо у него было такое, что Джослин почувствовал:

медлить нельзя. Он заговорил и услышал, как вместе со словами из его горла вырвался визгливый смех:

– Ну как? Оседают?

Тяжесть, пустота, легкость, пустота.

Джеан облизал губы. Вокруг них была грязновато-зеленая кайма. Голос его походил на карканье:

– Гнутя.

Стало тихо, был слышен только шепот ветра над неровным краем конуса.

А потом раздался странный звук, словно еще кто-то новый, человек или зверь, поднялся к ним наверх. Раздалось мычание; мычал Роджер Каменщик. Он сидел у стены, уставившись прямо перед собой, словно мог видеть сквозь камень.

– Роджер!

Тяжесть, молчание.

– Сын мой!

Легкость, молчание.

Мастер боком, как краб, пополз по доскам и, нашаривая руками путь, скрылся из виду. Было слышно, как он спускается все ниже и ниже; и по мере того, как он удалялся, мычание становилось пронзительней, перешло в визг, погом в пение, похожее на пение камней. И снова стало тихо.

И вдруг все засмеялись, вереща, завывая, до крови колотя кулаками по камню и дереву; в полутемном конусе вспыхнуло яркое пламя любви, зажигая души. Сама воля отверзла уста Джослина среди этого пламени и пообещала рабочим прибавку, а они обнимали его тощее тело, которые было лишь сосудом воли.

Теперь ему еще легче стало пренебрегать тем, что происходило внизу, а это было необходимо, потому что, когда опоры начали гнуться, люди внизу попробовали вмешаться, и ему оставалось только смотреть сквозь них на шпиль, и ждать, пока они уйдут. Скованный своей волей, он слышал, как горожане проклинают его за то, что богослужения в соборе прекратились. Его проклинали даже безбожники. Люди стояли у входа и смотрели через весь неф на опоры. Когда он проходил мимо, истерзанный борьбой ангела с дьяволом, они не осмеливались проклинать его открыто, но что-то бормотали за его спиной. Он знал, о чем они говорят, потому что сам видел, как согнулись опоры. Не было сомнения, что Джеан прав. Цельный камень не может гнуться, и все-таки он гнулся. Если смотреть вдоль нефа, то на фоне окон глаз явственно видел, как две соседние опоры выгнулись и сблизились едва заметно, хотя смотреть приходилось долго и внимательно. Одно было хорошо. Чем сильнее гнулись опоры, тем меньше они пели. К середине лета они, казалось, вообще перестали и гнуться и петь, но Джеан сказал, что они просто ждут осенней непогоды и уж он-то постарается

к тому времени убраться отсюда. А пока что это постарались сделать все, кроме строителей и человека, приносившего им удачу.

Работа наверху спорилась, словно каждый уже ощущал на своем лице дыхание осенних ветров. Никого еще Джослин не знал так хорошо, как этих людей, – он теперь знал их всех, от немого до Джеана. Он стал среди них своим. Он жался к стене, всегда ощущая за спиной своего ангела, а потом сам начал таскать камни и бревна, тянул вместе с другими канаты или наваливался на рычаг. Рабочие звали его «отец», но относились к нему снисходительно, как к ребенку. Когда стало совсем тесно и в этой тесноте бился иступленный смех, ему поручали металлическое зеркало, которое отражало свет внутрь шпиля. Он гордился этим почти до слез, хотя сам не знал почему. Он сидел на корточках и держал зеркало, а старший плотник, лежа на спине, подгонял венцы.

- Чуть левой, отец!
- Так, сын мой?
- Еще. Еще. Хорош!

И он сидел на корточках, старательно направляя свет. «Они праведники, – думал он. – Они богохульствуют, ругаются, у них грубое ремесло, но они праведники. Я убедился в этом здесь, под солнцем, на высоте почти четырехсот футов. Наверное, все дело в том, что они избраны, как избран я».

Он рассказал им про своего ангела, и они не удивились, а заглянули ему за спину и серьезно кивнули. И тогда он решил открыться им еще кое в чем и рассказал про свое видение, потому что счел их достойными такой награды. Но этого они не могли понять. В конце концов он махнул рукой, покачал головой и пробормотал с досадой:

- У меня все это где-то записано.

Потом он вспомнил о проповеди, которую хотел произнести, когда шпиль будет построен и у опор поставят кафедру. Но тут их лица потемнели. Джеан заявил, что только дурак согласится теперь работать у этих опор, а он сыт по горло. Но к Джеану подошел немой, он бил себя в грудь, кивал головой и мычал. И все снова стало легко и просто.

Однажды они прекратили работу раньше обычного и, несмотря на все уговоры Джослина, не хотели продолжать. Они попросту ушли, словно его и не было на свете. Он подождал немного и тоже спустился вниз, но люди, которые были в соборе, мешали ему, и шпиль грозил рухнуть у него в голове. Джослин посмотрел на согнувшиеся опоры и долго бродил по храму, а потом тишина и золотые следы заставили его вернуться к лесам. Он снова поднялся наверх, полез по шатким стремянкам, перекинутым между венцами. Он понимал, что теперь ему остается только ждать, и поднимался медленно, но все равно сердце отчаянно колотилось. Наконец он добрался доверху и

присел там, в царстве воронов. Стояла мертвая тишина, солнце закатывалось, и шпиль, весь целиком, высился у него в голове.

Но еще прежде, чем солнце зашло, Джослин заметил, что, кроме него и ангела, на башне кто-то есть. Этот третий смотрел ему прямо в лицо. Он выглядел, как из рамы, из металлической пластины, которая стояла напротив, заслоняя небо. Джослин уже хотел произнести заклинание и поднял руку, но тот, другой, повторил его движение. Тогда он пополз на четвереньках по доскам, и другой пополз ему навстречу. Он преклонил колени и стал разглядывать всклокоченные волосы, тощие руки, ноги, торчащие из-под грязной, подоткнутой рясы. Он всматривался все пристальней, затуманил дыханием свое отражение и вытер зеркало рукавом. Потом снова преклонил колени и смотрел долго, не отрываясь. Он разглядывал свои ввалившиеся глаза, кожу, туго обтянувшую лоб и скулы, запавшие щеки. Разглядывал нос, похожий на клюв и почти такой же острый, глубокие морщины на лице, оскаленные зубы.

И, глядя на свое коленопреклоненное отражение, он почувствовал, что голова его прояснилась.

– Что ж, Джослин, – беззвучно сказал он отражению. – Что ж, Джослин, вот чего мы с тобой достигли. Все это началось, когда мы были повергнуты. Кажется, вскоре после того, как зашевелилась земля. Мы можем вспомнить, что произошло с тех пор, а все, что было раньше, подобно сну. Все, кроме видения.

Он встал и начал беспокойно топтаться на месте. Внизу вечер тронул зеленую края чаши. А потом они почернели, бесшумные тени залили чашу, и он не заметил, как пришла ночь, зажигая на небе бледные звезды. Вдали он увидел огонь и решил, что это горит стог сена; но, обходя конус, он заметил, что по краям мира пылают еще костры. И его охватил ужас, он понял, что это костры Ивановой ночи, зажженные на холмах поклонниками сатаны. В долине Висячих Камней ярко пылал огромный костер. Джослин вскрикнул, но теперь им владел не страх, а скорбь. Он вспомнил своих праведников и понял, почему они бросили работу и куда ушли. И он закричал со злобой, неведомо кому:

– Они праведники! Я утверждаю это!

Но то был лишь порыв чувства. А в глубине души он знал все. Вот еще один урок. Урок, достойный этой высоты. Кто мог знать, что и это предопределено? Кто подумал бы, что здесь, на этой высоте, мой каменный чертеж молитвы поднимет крест и вступит в единоборство с огнями дьявола?

И тут в его голове снова появились строители и та, чьи ноги оставляли золотые следы, и он горько заплакал, сам не зная о чем, быть может, о грехах всего мира. А потом слезы высохли, и он сидел, тоскливо глядя вдаль, где плясало пламя зловещих костров.

Понемногу он снова обратился мыслью к собственной жизни. «Если Давид не мог построить храм, потому что руки его были обгажены кровью, что же сказать о нас, обо мне?» И перед глазами у него встало ужасное крещение, и он вскрикнул; а потом, едва он от этого избавился, целое воинство воспоминаний двинулось на него. Бессильный остановить их, он смотрел, как они множатся. словно фразы, они складывались в повесть, и, хотя кое-что оставалось недосказанным, все же повесть говорила о многом. Это была повесть о ней, и о Роджере, и о Рэчел, и о Пэнголле, и о мастеровых. Он смотрел вниз, сквозь стремянки, сквозь перекрытия, сквозь свод, туда, где зияла яма, словно могила, вырытая для какого-нибудь именитого человека. Зловещие костры, на которые он уже не обращал внимания, плясали по всему горизонту, а его словно сковало льдом. Он вспоминал, как сидел там, внизу, глядя в пол, и среди пыли и мусора на ногу ему легла веточка с бурой бесстыдной ягодой.

И он прошептал в темной высоте:

– Омела!

Наконец он снова попытался молиться; но явилась она, оставляя за собой золотую пуганицу следов, голова ее упала на грудь, платье развевалось, а зловещие костры плясали вокруг них обоих. Он простионал в ужасе:

– Меня околдовали.

Он стал спускаться, то и дело останавливаясь, не видя стремянки под ногами; и недосказанная повесть пылала у него перед глазами, а каменные плиты пола, которые теперь снова лежали меж опорами, жгли ему ступни адским пламенем.

ГЛАВА ДЕВѢТА

Теперь он уже не смеялся вместе со строителями, а только увещевал их. Он заметил, что, хотя они не могли видеть ангела и

не ощущали его присутствия, ангел все же нес утешение и для них; так наступил и миновал август, и шпиль был почти готов. Теперь дули ветры, и в эти дни утешение, которое приносил ангел, стало необходимым для строителей. Однажды в августе с югозапада налетела гроза, и под ее натиском шпиль качался, как мачта, но согнувшиеся опоры все же выдержали. Во время этой грозы отец Адам сказал Джослину, что леди Элисон больше не будет писать ему писем, а скоро придет сама.

Гроза не прошла бесследно. Она оставила после себя переменчивую погоду, дождь, солнце и снова дождь, а в сентябре, когда нужна была всего неделя ясной погоды, чтобы закончить работу, открылось небо такой

беспредельной глубины, что это казалось знамением: когда придет гроза, ярость ее будет столь же беспредельна. Мастеровые все время ссорились, проклинали каменный шар, и ветер рвал на них одежду; а Джослин устремлял взгляд вдоль унылых излучин реки в сторону моря, надеясь увидеть Священный Гвоздь; ему уже чудилось, что Гвоздь, сияющий и всемогущий, явился из пышного Рима, где все еще пребывал епископ. Он подумал, что погода, видимо, знает об этом и торопится, потому что небо начало осыпать их дождем, словно побивая камнями, и вымокшие строители даже не мерзли – струи воды обжигали их. В эту непогоду, когда ветер трепал плащи, задирая полы выше голов, они поставили на место каменное яблоко. Шпиль весь содрогался, а люди два дня разбирали леса и оставили лишь несколько подмостей, чтобы водрузить крест и у подножия креста – ковчежец с Гвоздем. В первый из этих двух дней Джослин увидел Гвоздь в пятнадцати милях от собора – длинная процессия тянулась от деревни к деревне. Но еще до вечера облака окутали шпиль, и Джослин уже не видел процессии и Визитатора. Он не переставал увещевать строителей, а дождь хлестал по его голым ногам, и ветер трепал рясу. Когда все было готово, они толпой повалили по шатким стремянкам вниз, в теплоту башни. Джеан расставил всех по местам и каждому дал кувалду. Стало тихо, люди стояли у клиньев, держа кувалды наготове, а Джеан внимательно оглядел всю снасть.

Наконец он повернулся к Джослину:

- Нужны еще люди.
- Так бери их.
- Но откуда?

Они замолчали. Немой что-то мычал пустым ртом. Джеан посмотрел на ворот.

- Надо кончать, не то поздно будет.

Он подошел к вороту, убрал стопор, повернул рукоять на пол-оборота, потом остановил ворот и прислушался, обратив ухо к деревянному срубу внутри шпиля, уходящему вверх на сто пятьдесят футов. Канат, захлестнувший нижний венец, намертво скреплял клинья, которые несли на себе всю тяжесть сруба.

- Бейте по клинью. Легонько!

Кроме стука кувалд, не слышалось ни звука. Джеан снова повернул рукоять на пол-оборота.

- Ну-ка, еще разок.

Он обошел башню, похлопывая рукой об руку.

– Не знаю. Право слово, не знаю. Почему его самого здесь нет, этого ублюдка?

И тут ворот загудел, канат сорвался. Деревянный сруб словно треснул, треск перешел в пронзительное верещание: венец подался вниз, и клинья

разлетелись во все стороны, как сливовые косточки от шелчка. Бревна легли на приготовленное для них основание с грохотом, который был оглушительней грома и больно ударил в уши; башня ходуном заходила под ногами. Джослин упал на колени, сквозь гул и грохот он слышал, как строители с ревом бросились вниз по стремянкам, давя друг друга. Конус весь корчился, летели щепки, пыль, каменные осколки. Деревянный сруб над головой извивался, растягивался, трещал. Джослин стоял на коленях, прикрываясь руками, а дерево уже только постанывало да изредка взвизгивало. И наконец остался лишь шум ветра, но теперь ветер мог играть на новых инструментах и настраивать их. Они отзывались не в лад на каждое колебание шпиля.

Он выпрямился, все так же стоя на коленях. «Еще совсем немного, и я обрету мир, – подумал он. – Надо принести Гвоздь» .

Он отыскал стремянку и стал спускаться.

Но он не обрел мира, даже когда спустился с винтовой лестницы. Канат ослаб, и в то же время он почувствовал, как затянулась другая петля. Эта петля сдавила ему грудь. Он подумал: «Мне все ясно. Теперь надо опередить дьявола. Мы оба бежим что есть мочи к последней черте. Но я буду первым» .

Он постоял у опор. Прислушавшись, он почувствовал, что петля туже стянулась на груди, потому что услышал, как зверь ощупывает лапами окна, пытаясь проникнуть в храм. И зверь уже не один. Имя им легион. Они окружили собор, пробовали двери и окна, словно готовились к решительному приступу. Джослин понял, что надо спешить, и бросился в аркаду. Но там беспорядочной толпой стояли каноники, они встретили его громкими возгласами.

– Где Он?

Но ему не дали святыню, его обступили, принялись теревить, говорили и даже кричали что-то бессмысленное. Кто-то одернул на нем рясу, так что она вновь прикрыла голые ноги. Он чувствовал, что ему приглаживают волосы, и понял, чего они хотят. Он закричал на них:

– Подайте мне Его, иначе я не скажу ни слова!

Сразу стало тише, лишь с другого конца аркады доносилось пение мальчиков, и теперь он оглядел высших духовных особ, викариальных певчих и священников. «Они такие же, как армия Роджера, – подумал он. – Только трусливей» .

Бесы шептались на вершине кедра.

И тогда отец Безликий подал Джослину Его в серебряном ковчежце, и Джослин принял Его, преклонив колени, и вместе с ним преклонили колени еще какие-то люди. А Джослин прижал Его к петле, стиснувшей грудь, поспешил в хор и возложил Его на престол, где Он ярко воссиял в ковчежце,

и вокруг Него зазвучало пение, хотя слов слышать было нельзя. И он сказал Гвоздю: «О, поспеши!» – зная, что обретет мир в тот миг, когда Гвоздь будет вбит. И он вернулся назад, туда, где его ждали. Он оглядел их, чувствуя, как петля стискивает грудь, и увидел множество новых лиц, или нет, лица были те же, просто теперь он видел их по-иному. Весь этот год они копошились здесь, внизу. И новые чувства соединили их в пары и тройцы. Их головы не были скорбны, как у него (а бесы скулили вокруг собора), они были полны жалких, крошечных мыслишек, с которыми им так легко жилось. Да и сами они тоже были крошечные и на глазах становились все меньше.

Он услышал тихий голос Ансельма.

– Пускай увидит его как есть.

Наступило молчание, и они стали меньше самых маленьких детей в хоре. А потом все эти малыши задвигались. Шаркая ногами, они расступались, но лица их все время были обращены к нему, словно они хотели заглянуть ему в голову. Они выстроились в два ряда, оставив перед ним проход, и этот проход упирался в высокую дверь залы капитула. Джослин взглянул на дверь. Он подумал: «Визитатор поймет, что я стал мастеровым, каменщиком, плотником поневоле» .

Они отворили перед ним одну створку двери, и он вошел. Переступив порог, он остановился и посмотрел на окна, по которым шарили бесовские лапы. Но он знал, что, если бесы и проникнут сюда, это не страшно. Теперь он мог оглядеться; за длинным столом, заваленным грамотами, восседал Визитатор и его помощники – семеро обычного человеческого роста. Джослин приблизился, встал на колени возле свидетельского места и назвал себя:

– Джослин. Настоятель кафедрального собора Пречистой девы Марии.

Все семеро смотрели на него. Два писца с перьями наготове подняли головы. Сам Визитатор привстал и подался вперед, опершись руками о стол. Это был смуглый человек с резкими чертами лица, с косматыми бровями и глубоко посаженными глазами. На нем было просторное, черное с белым одеяние. С минуту он рассматривал Джослина, потом движением руки пригласил его сесть. Джослин встал с колен и поклонился, семеро тоже встали и поклонились все разом, словно набежала волна. Потом все сели, и Джослин тоже сел; он сидел молча и видел, как их головы сдвинулись, как они кивают друг другу и переговариваются.

Наконец Визитатор снова повернулся к нему.

– Это не дознание, милорд. Но может быть, вы...

– Спрашивайте что угодно, я готов отвечать.

– Я был в этом уверен.

Визитатор вдруг улыбнулся. «Он все понимает, – подумал Джослин, а петля давила ему грудь. – Он на моей стороне, и притом он обыкновенного роста» .

Визитатор заговорил снова:

– Этот предваряющий разговор, быть может, упростит дело.

«Упростит дело, – подумал Джослин. – Что ж, если он хочет этого, я готов» .

– Меня считают сумасшедшим.

И снова наступило молчание, а он заглянул внутрь себя и не стал противиться. Он торжественно кивнул Визитатору.

– Может быть, так оно и есть.

Головы снова сдвинулись. «Нет, – подумал он, – ничего я не упростил, а только усложнил» . Он застонал, ощупал свою голову и нашарил что-то в волосах. Это была закрученная стружка, он растянул ее, порвал и отшвырнул прочь. За столом все бормотали, один из писцов кивнул, встал, слегка поклонился и вышел.

Визитатор сказал мягко:

– Мы составили перечень вопросов, которые извлечены из доношений и свидетельств.

– Из доношений? И свидетельств?

– Разве вы не знали? Некоторые получены еще два года назад!

Он мысленно оглянулся на два минувших года.

– Я был занят.

Теперь Визитатор уже не скрывал улыбки.

– Мне кажется, некоторые вопросы не совсем справедливы. скажем вот этот – о свечах.

– О каких свечах?

Визитатору подали грамоту, и он принялся ее рассматривать. В голосе его зазвучало любопытство.

– Писавший это, надо полагать, считает, что Матери Церкви нанесен сокрушительный удар тем, что два года ее чада не возжигали свечей в нефе собора.

– Ансельм!

– Это ваш ризничий, не так ли? Надо полагать, немалую часть своих доходов он извлекает из продажи свечей. Но, разумеется, им руководило не это, а нечто более возвышенное, духовное. Да. Отец Ансельм, ризничий собора Пречистой девы Марии. Обладатель личной печати.

– Ансельм!

(А он удалялся, становился все меньше, исчезал в длинном коридоре...)

– Милорд настоятель. Может быть, дело станет яснее, если вы признаете или отвергнете некоторые общие... обвинения.

– Я же сказал, что готов отвечать.

– Тогда приступим, милорд.

Визитатор стал переворачивать листы. Джослин ждал, прижав руки к груди, и смотрел на вереницу сандалий под столом. Визитатор поднял глаза.

– Признаете ли вы что в этом храме без надобности перестали ткать, как здесь сказано, «великолепный узор хвалы Господу» ?

Джослин с готовностью кивнул:

– Это правда. Сушая правда! Истинная правда!

– Объясните же.

– Перед тем как начать строить шпиль, мы постарались отгородить восточную часть храма и совершали богослужения в капелле Пресвятой девы.

– Так обыкновенно и поступают.

– И до времени богослужения не прерывались. Но только вскоре люди почувствовали опасность. Когда опоры начали петь, а потом согнулись, никто из причта и из мирян уже не хотел там молиться.

– Значит, потом богослужения в храме не совершались?

Джослин быстро поднял глаза и простер вперед руки.

– Совершались. Если вы вникнете во все сложности, то поймете... Ведь я все время был там. И это как бы заменяло богослужения. Я был там, и они тоже, к вящей славе храма.

– Кто они?

– Строители. Конечно, их становилось все меньше, но некоторые остались до конца.

Визитатор ничего не сказал, но Джослин почувствовал, что его понимают, и продолжал поспешно:

– Я не знаю, чьи имена и печати, кроме одной, стоят на этих грамотах, и жалобы известны мне лишь в самом общем смысле. Знаю только, что я искал людей с неколебимой верой и звал их за собой, но не нашел ни одного.

Он видел, что Визитатор не ожидал такого ответа и доволен им. Глядя на его дружелюбное лицо, Джослин вдруг почувствовал неудержимое желание объяснить все до конца.

– Люди поступали по-разному. Одни сбежали, другие остались, третьи были обращены в камень. Пэнголл...

– Да. Пэнголл...

– Она вплетена повсюду. Она умерла, а потом воскресла у меня в голове. Она и сейчас там. Я не могу от нее отделаться. Раньше она не жила, то есть жила, но не так, все было совсем по-другому. И о нем я должен был бы знать раньше, понимаете, извлечь это из-под свода, из подвалов моего ума. Но конечно, все это было неизбежно. Как и деньги...

– Да, поговорим о деньгах. Это ваша печать? И вот это?

- Кажется, моя. Да.
- Вы богаты?
- Нет.
- Как же все это будет оплачено?
- Точно так же, как Он укрепил опоры и ниспослал нам Гвоздь.

И снова потусторонняя песня, провал в памяти, давящая громада... Он равнодушно смотрел, как, бесшумно ступая, вернулся писец и к свидетельскому месту рядом с ним приблизился отец Безликий. Он слышал, как бесы скребутся и стучат в окна. Лихорадочно напрягая мозг, он соображал, как бы поскорее подняться на шпиль и опередить их.

– Милорд, пока мы тут разговариваем, шпиль может рухнуть. Позвольте мне отнести Его и вбить!

Визитатор пристально смотрел на него из-под густых бровей.

– Вы думаете, если не будет гвоздя, шпиль может...

Джослин поспешно поднял руку и остановил Визитатора. Нахмурился, он пытался уловить песню, которая дрожала так близко, на грани памяти, но она растаяла, и Ансельм тоже растаял. Джослин поднял глаза на Визитатора, который со странной улыбкой откинулся на спинку стула.

– Милорд настоятель, право, я восхищен вашей верой.

– Моей?

– Вы говорили о женщине. Кто она? Пресвятая дева?

– Нет! Отнюдь! Никким образом. Это жена его, Пэнголла. Понимаете, с тех пор как я нашел ягоду омелы...

– Когда это было?

Вопрос был острым и твердым, как грань камня. Он видел, что все семеро замерли и смотрят на него пристально, серьезно, словно судят его.

«Вот оно что, – подумал он. – И как это я сразу не понял? Меня судят» .

– Не знаю. Забыл. Очень давно.

– Вы сказали, что некие люди были «обращены в камень» . Как это понять?

Он обхватил голову руками, закрыл глаза и стал раскачиваться из стороны в сторону.

– Не знаю. Для этого нет слов. Столько сложностей...

Наступило долгое молчание. Наконец он открыл глаза и увидел, что Визитатор снова откинулся назад и дружелюбно улыбается.

– С вашего позволения, милорд настоятель, мы продолжим. Эти люди, которые остались с вами до конца... Вы утверждаете, что они праведники?

– О да!

– Праведники?

– Истинные праведники, уверяю вас!

Но на длинном столе уже переворачивались листы. Визитатор взял один и начал читать бесстрастным голосом:

– «Убийцы, головорезы, разбойники, смутьяны, насильники, явные прелюбодеи, содомиты, безбожники и гораздо худшие злодеи» .

– Я.. Нет, нет!

Визитатор смотрел на него поверх листа.

– И это праведники?

Джослин стукнул себя кулаком по левой ладони.

– Они отважные!

Визитатор вдруг недовольно засопел. Он бросил лист поверх кучи других.

– Милорд. Как все это понять?

Джослин благодарно ухватился за этот прямой вопрос.

– Сначала все было так просто. Люди способны видеть в этом лишь позор и безумие – они называют это «Джослиновым безумством» . Но мне было видение, ясное и непреложное. Все было так просто. А дальше начались сложности. Сначала только зеленый росток, потом цепкие усики, побеги, ветки, и наконец все поглотила суета, и я не знал, что мне делать, хотя готов был принести себя в жертву. А потом он и она...

– Расскажите о видении.

– Оно записано у меня в книжке, эта книжка в сундуке, на самом дне, в левом углу. Если нужно, можете прочитать. Скоро я произнесу проповедь... в соборе, на средокрестии будет новая кафедра, и тогда все...

– Вы хотите сказать, что видение побудило вас строить шпиль, сделало это неотвратимым?

– Да, именно.

– И это видение... или, может быть, следует назвать его откровением?

– Я не учен. Простите.

– И это видение неизбежно повлекло за собой все остальное?

– Именно так, именно.

– Кому вы в этом исповедались?

– Своему духовнику, разумеется.

Бесы, хоть и незримые, были тут, за окнами. Джослин с нетерпением посмотрел на Визитатора.

– Милорд. Пока мы здесь...

Но Визитатор поднял руку. Писец на левом конце стола объяснил:

– Это Ансельм, милорд. Ризничий.

– Тот самый, который так печется о свечах? Это он ваш духовник?

– Он был моим духовником, милорд. И ее. Вы только представьте себе, как это тяжело – знать и не знать!

– Но потом вы сменили духовника? Когда?

– Я.. Нет, милорд.

– Стало быть, он и сейчас ваш духовник, если только вы вообще исповедуетесь?

– Да. Пожалуй.

– Милорд настоятель, когда вы в последний раз были у исповеди?

– Не помню.

– Месяц назад? Год? Два?

– Я же говорю, не помню!

Вопросы давили и сковывали его, неправые вопросы, на которые не было ответа.

– И все это время вы чуждались равных вам по духу и жили среди людей, которые, сколько нам известно, погрязли в грехах?

Этот вопрос встал перед ним, как огромная гора. Он увидел, на какую высоту должен взобраться его ум по шатким стремянкам, чтобы дать ответ, и приготовился снова лезть наверх. Он встал, подхватил правой рукой подол рысы, пропустил его между ногами, скрутил жгутом и заткнул за пояс.

Все семеро тоже встали. Но они были недвижны в сравнении со святыми, которые с грохотом прыгали на окнах.

Визитатор медленно сел. Он снова дружелюбно улыбался.

– Вы измучены трудами, милорд. Мы продолжим наш разговор завтра.

– Но пока мы тут теряем время, там, за окнами, они...

– Властью, данную мне этой печатью, я приказываю вам удалиться к себе.

Он сказал это ласково и мягко, но, когда Джослин взглянул на печать, он сразу понял, что ответить нечего. Он повернулся, и семеро поклонились ему, но он сказал себе: «Теперь уж незачем кланяться!» Он шел по звонкому мозаичному полу, и отец Безликий не отставал от него ни на шаг. Дверь затворилась, а в аркаде стояли равные ему по духу. Они подросли немного, но все-таки были совсем маленькие. Он прошел через их ряды, провожаемый взглядами, и сразу забыл о них.

У западной двери он прислушался и вгляделся, стараясь понять, что творят бесы со стихиями. Бесы вырвались на волю или вот-вот вырвутся, но все равно они уже сделали свое дело. Ветер перешел с юго-востока на восток, и по эту сторону собора, у стены, было затишье. Струи дождя не хлестали здесь, вода падала лишь из водостоков, извергалась из каменных ртов и заливала мощеную дорожку у ступеней. Но несмотря на этот потоп, небо было высокое и светлое, нити облаков словно переплетались друг с другом. Дождь шел не из видимых облаков. Он словно рождался из воздуха – как будто воздух был губкой, из которой во все стороны брызгала вода.

Отец Безликий был рядом.

– Пойдемте, милорд.

Плащ укутал плечи Джослина.

– Надвиньте капюшон, милорд. Вот так.

Локоть ему сжали, спокойно, уверенно.

– В эту сторону, милорд. Сюда.

Когда они отошли от стены, ветер набросился на них и погнал к дому. Они поднялись в спальню Джослина, он сбросил плащ на руки священнику и застыл на месте, глядя в пол. Петля все так же стягивала ему грудь.

– Я не засну, пока дело не завершено.

Он повернулся к окну и увидел, что дождь хлещет в стекло как из ведра. Он чувствовал, как за спиной его ангел борется с дьяволом.

– Ступайте сию же минуту. Скажите им, что нужно вбить Гвоздь немедля, иначе будет поздно. Я должен опередить...

Он закрыл глаза и сразу почувствовал, что не может молиться. Снова открыв глаза, он увидел, что отец Безликий мешкает.

Он резко приказал ему идти.

– Вы пока еще обязаны мне повиноваться. Ступайте!

Когда он опять поднял глаза, маленький священник исчез. Он принялся шагать из угла в угол. «Как только я вобью Гвоздь, – подумал он, – шпиль и ведьма перестанут меня преследовать. Быть может, когда-нибудь я узнаю, как она была порочна, да, порочна. Но сейчас главное – шпиль!.. И Гвоздь».

Он подошел к окну, но ничего не увидел сквозь капли, которые прыгали, метались по стеклу и вдруг исчезали, словно чья-то рука срывала их оттуда. Он ждал известий, но никто не приходил. «Я назвал себя дураком, – подумал он, – и даже не подозревал, как я прав. Надо было пойти самому – зачем я здесь?» Но он все стоял у окна, стиснув руки, шевеля губами, а там, снаружи, ползли сумерки и ревел ветер. Когда прямоугольник окна потускнел, он почувствовал, что ноги уже не держат его; тогда он лег на кровать, не раздеваясь, и ждал. Вдруг он услышал грохот и треск где-то над крышей своего дома и подскочил. Больше он не мог лежать, а приподнялся на локте в густой темноте и вслушивался. Сто раз он видел, как шпиль рушится, сто раз слышал, как он рушится, а потом гроза врывалась и начинала бушевать в нем, разламывая голову. Он пробовал задремать, но не мог отличить сон от яви – все было кошмаром. Он пробовал думать о другом, но лишь убедился, что шпиль прочно стоит у него в голове и ни о чем ином он думать не может. Иногда ветер ненадолго стихал, и сердце его вздрагивало от радости, но ветер налетал снова и бил в окно, как тяжелый молот, а потом рев его стал непрерывным.

Джослин задремывал и пробуждался. Среди ночи в окно ворвался ослепительный свет, и он весь сжался в комок, но гром потонул в реве ветра. А потом что-то снова грохотало над крышей и сыпалась черепица. Он подумал, что если будет смотреть в окно, то при вспышке молнии увидит, цел ли шпиль, сполз с постели и подошел к окну. Но когда снова вспыхнула

молния, он увидел лишь, что окно выходит совсем не туда, куда надо; тогда он повернулся и наконец разглядел темный четырехугольник. Он придвинулся к окну вплотную, прижался к стеклу лицом, вслушиваясь в клочкотание воды, и тут снова вспыхнула молния. Вспыхнула и мгновенно погасла. Она полоснула болью по глазам, и, даже когда он закрыл лицо руками, свет померк не сразу, переходя в зеленое зарево. Он знал, что громада, которая высилась среди света, – это башня, но не мог сказать, какой она формы, накренилась ли она и есть ли на ней шпиль. Он ошупью добрался до кровати и лег. Он лежал ничком и, отгоняя все прочие мысли, старался думать о давних временах, когда он был счастлив, – о временах, проведенных на солнечном берегу моря с отцом Ансельмом, который наставлял послушников, или, вернее, одного послушника; а потом он снова встал и долго стоял у окна. Но теперь молния вспыхнула далеко за собором, и ему показалось, будто вся черная бесформенная громада устремилась прямо на него. Тогда он снова лег и сам не знал, забылся ли он сном или просто лишился чувств.

Он выбрался из глубокого колодца. Над колодцем, как пелена, висел глухой шум; но не это заставило его подняться наверх. Раздавались еще и другие звуки – пронзительные крики, похожие на птичьи. И он вдруг проснулся и понял, где он, а в комнате плавал невыразимо тусклый свет. Крики доносились с лестницы. Он скатился с кровати и бросился к дверям.

– Я здесь! Мужайтесь, дети мои!

Но голоса рыдали и взвизгивали:

– ...ныне и в смертный час...

– Отец!..

Он крикнул с лестницы:

– Вам не будет вреда!

Какие-то руки хватили его за ноги, тянули за подол рясы.

– Город рушится!

– ...всю крышу дома на кладбище, и разнесло вдребезги...

Он крикнул сверху:

– А шпиль?

Руки ползли все выше по его телу, чья-то борода ткнулась ему в лицо.

– Он рушится, преподобный отец. Еще с вечера от парапета отваливались камни...

Он попятился, метнулся к окну и стал бессмысленно скоблить пальцами тусклую муть, словно мог стереть ее, как краску. Потом он снова выбежал на лестницу.

– Сатана вырвался на волю! Но вам вреда не будет!

– Помогите нам, преподобный отец! Молись за нас!

И тогда в серой мгле, среди мелькания рук и рева ветра, он понял, что должен сделать. Он ринулся вперед, растолкал всех, вырвал подол рясы, стряхнул руку со своего локтя. И вот он уже на свободе, а под ногами у него каменные ступени. Он добрался до прихожей, до двери со щеколдой. Он ошупью поднял щеколду, и дверь с грохотом распахнулась, отшвырнув его назад, к дальней стене. Тогда он пополз стороной, прячась от ветра, и с трудом встал на пороге. Ветер снова отшвырнул его, он ударился о стену и распластался на ней, тяжело дыша. А потом поднялся, шагнул вперед, но ветер снова набросился на него и снова выпустил, и тогда он упал на четвереньки; он промок до костей, словно окунулся в реку. Смутная мысль, что теперь он трудится точно так же, как строители, мелькнула у него, и он рванулся по дорожке к кладбищу. Горсть осколков ударила в лицо, обжигая, как крапива. Он укрылся за холмиком с деревянным крестом; ряса хлестала его по ногам, и он заткнул подол за пояс. Откуда-то сорвалась доска и ударила его в бедро, причинив жестокую боль.

Он приподнял голову над спасительным холмиком и взгляделся в серый туман: и в этот миг сатана в образе дикой кошки, огромной, как вселенная, припав у горизонта на все четыре лапы, прыгнул с северо-востока и с визгом обрушился на Джослина и на его безумство. Плащ лопнул у ворота и улетел прочь, трепеща черными крыльями, как ворон, но Джослин крепко держался за крест. Он решил перехитрить дикую кошку, подождать, пока она притомится. А потом он пополз от могилы к могиле, хватаясь за кресты и укрываясь за холмиками, добрался наконец до самого надежного укрытия – западной стены собора, скользнул за дверь и привалился к ней спиной, хватая ртом воздух. В первый миг ему показалось, что собор полон людей. Но потом он понял, что огоньки свечей плывут лишь у него в глазах, а пение – это голоса всех бесов, вырвавшихся из ада. Они кишели в темной вышине, стучали, гремели, бились в окна, одержимые неистовой яростью, и под их ударами большое окно над западной дверью трещало, как парус. Они кидались на Джослина, но он обращал на них не больше внимания, чем на простых птиц, потому что уже не был себе хозяином, а повинуюсь иной воле, бодрствовал и спал одновременно. «У-у! У-у! – завывали они. – А-а-а-а! А-а!» – и хлестали его чешуйчатыми крылами, а потом взмывали и бились о поющие опоры, об окна и свод, который весь содрогался; его ноги бежали через полутемный неф, и он слышал, как кто-то, быть может он сам, вторит этим жужким крикам. Он слышал, как стонали аркады, напрягая свои каменные плечи. Когда он добежал до покинутого престола, разъяренные бесы стали прыгать на него с купола. Он нашарил на престоле серебряный ковчегец и грубо схватил его, как будто там был самый обыкновенный гвоздь. В одном трансепте что-то грохнуло, загремели и задрезбужжали камни, а из другого трансепта донесся удар и льдистый звон стекла. У винтовой

лесенки бесы набросились на него, но он отбил их Гвоздем. Он лез вверх, и сердце рвалось у него из груди, глаза же, пока он добрался до основания башни, почти ослепли от плясавших перед ними ярких огней. И уши оглохли, потому что тихие сетования шпилья превратились в крики, вопли и рев торжествующего сатаны, они, словно черный туман, поглотили весь мир. Камни и бревна уже не просто покачивались. Они кренились так, что его швыряло из стороны в сторону, и он цеплялся за стремянки, как моряк за мачту. Где-то рядом, сквозь рев, что-то непрерывно трещало и падало. В деревянной клетке на верху башни пол был густо усеян каменными обломками, и по этим обломкам он добрался до первой стремянки внутри шпилья. Слева от себя он увидел, как один из бесов медленно разезает и захлопывает серую пасть рассвета. А потом он в темноте, зигзагами, взбирался по стремянкам – конец одной был оторван и повис в воздухе, другая согнулась и гудела, как струна. Сквозь тьму сыпались осколки, они царапали и кололи его, ангел жег и давил ему спину, а он, завернув ковчег в подол рясы, лез все вверх, вверх, в тесноту каменной трубы, и чувствовал, как бревна бьются о каменную кожу, а потом наконец втиснулся в последнее пространство, где все кончалось, ошупью открыл ковчежец, сорвал покров, уперся локтем и коленом, зажал Гвоздь между пальцами по-плотницки и стал бить по нему непрочным серебряным ковчегцем, вгоняя его в дерево вслепую, на ощупь, и все бил, бил...

Грохот, который бушевал на шпилье, и самый шпиль исчезли из его головы. Джослин выронил ковчежец и не слышал, как он падал, прыгая из стороны в сторону. Он начал медленно спускаться со ступени на ступень. Хватаясь за перекладины, он чувствовал, как дрожит его рука, и, не в силах унять эту дрожь, припадал к стремянке всем телом. До винтовой лесенки он добрался уже ползком.

Неф по-прежнему был во власти бесов, зато шпиль стал теперь для них недоступен. Но сам Джослин чувствовал себя беззащитным. Ангел покинул его, и дьявольское обольщение стискивало его, словно горячая рука. Он чувствовал, что погружается в бездонные воды сна, и не в силах был этому противиться. Он сполз с лестницы в серую полутьму галереи, лег ничком на растресканные камни, и все вокруг словно осиял тихий свет. Бесы уже не визжали, а пели. Они пели тихо и не знали милосердия. И в его голове они обернулись людьми.

Он сказал растресканным камням:

– Я вбил Гвоздь. Если бы не было Гвоздя, вы могли бы обруться!

Но бесы потихоньку окружили его и явили ему видение, которое приближалось к нему со всех сторон. Он вдруг увидел залитый светом двор собора, где в тени вязов густо росли маргаритки. Там плясали бесы, три

бесенка в образе маленьких, прелестных девочек. И он сам приблизился к ним, ступая по длинной полосе тени. Они плясали, хлопали в ладоши и пели:

Не было гвоздя – подкова пропала,
Не было подковы – лошадь захромала,
Лошадь захромала – командир убит,
Конница разбита – армия бежит,
Враг вступает в город, пленных не щадя...¹⁴

И он услышал свой собственный веселый и еще молодой голос, который подхватил:

– *Потому что в кузнице не было гвоздя!* Поди сюда, дитя мое.

Она приблизилась к нему по зеленой траве, а остальные два бесенка исчезли, и он стоял, глядя на нее, восхищенный ее невинностью и красотой. Он услышал свои ласковые, робкие слова, полные недоумения, увидел, как она нетерпеливо переминается, прячет руки за спину, и ее рыжие волосы встрепаны, и она почесывает ногой тонкую ногу, услышал, как она ответила в своей беспредельной наивности:

– Да ведь мы же просто играем, отец мой!

Над этим неземным миром синело ясное небо, здесь царило смирение и не было греха. Она шла к нему, обнаженная, распустив рыжие волосы. Она улыбалась и мычала пустым ртом. И он знал, что это мычание объясняет все, исцеляет всякую боль и ничего не оставляет сокрытым, потому что в этом – сущность неземного. Он не видел бесовского лица, потому что и в этом тоже была сущность неземного, но он знал, что она здесь и устремляется к нему всем своим существом, как и он к ней. Его захлестнула волна невыразимой нежности, и волны набегали одна на другую, и с ними пришло искупление.

А потом все исчезло.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В себя он приходил медленно. Щека его лежала на растресканых камнях, и некуда было спрятаться от дневного света. Но

даже открыв глаза, он долго не мог пошевелиться, только взгляд не был скован. Он послал взгляд вдоль длинной галереи и отыскал знакомую могильную плиту. Он стал внимательно рассматривать ее дюйм за дюймом, словно хотел заполнить время, боясь, как бы его не заполнило что-нибудь худшее. Но это не помогло, и ничто не могло помочь. В конце концов,

¹⁴ Из детской песенки «Гвоздь и подкова». Перевод С. Маршака.

беспомощный и покинутый, он оказался во власти своего прозрения, как в тисках.

Только теперь он заговорил.

– Ну, конечно. Я должен был знать. Должен был понять.

В соборе раздался шум – где-то стукнула дверь, послышались голоса. Он встал и заковылял к средокрестию. У опор он услышал крики. Подбежали два сторожа, за ними поспешал отец Адам. Джослин ждал священника, уронив голову и руки.

– Чего от меня хотят?

– Пойдемте. Она ждет.

– Она?

Но, спросив это, он сразу вспомнил, что она умерла; а ждет Элисон, которая во что бы то ни стало хочет покоиться в соборе.

– Я поговорю с ней. Наверное, она кое-что знает. В конце концов, в этом была ее жизнь.

Они вместе прошли через неф, и сторожа не отставали от них. В углу, где он обычно видел ее, кто-то стоял, и сердце его дрогнуло; но это был немой юноша, теперь он даже не мычал. Джослин знал, что позор покрыл и него, поэтому он отвернулся к двери, куда его вели.

На дворике, перед своим домом, он остановился.

– Мне еще можно войти?

– Да, это разрешено. Пока.

Он кивнул и поднялся по знакомым ступеням. Но зала переменялась, как переменялось многое. В камине пылал огонь, повсюду горели восковые свечи, как на алтаре, у камина лежал ковер и стояли два стула. Джослин едва различал стулья, потому что свечи слепили ему глаза, и он подумал о том, как похожи эти свечи на яркие огни, которые иногда плыли перед его глазами. Но все равно у него не было времени рассмотреть все перемены, потому что на стуле, по другую сторону камина, сидела женщина и другие женщины стояли у нее за спиной. Когда он подошел к ковру, она встала, поклонилась колени и, поцеловав ему руку, тихо сказала:

– Преподобный отец! Джослин!

А потом вдруг вскочила, обернулась к остальным и затараторила:

– Горячую воду, полотенца, гребень...

Он поднял руку и остановил ее.

– Это ни к чему.

Помолчав, он взглянул на женщин.

– Пускай они нас оставят.

Тени женщин уползли прочь; когда они исчезли, она взяла руку Джослина, легонько сжала и усадила его на стул; он чувствовал левым боком приятное тепло камина. Она была маленькая, почти как ребенок, и, даже

когда он сидел, ее лицо было лишь чуть выше его глаз. Она посмотрела куда-то поверх его плеча.

– Племянник, но и ты отошлешь своего священника?

– Нет, он останется. Я под его надзором. И все равно нам нельзя быть наедине.

Она засмеялась ему в лицо:

– Благодарю за любезность.

Но он не понял ее, да и не пытался понять. Она серьезно кивнула, словно знала это.

– Я и забыла, какой ты провинциал.

– Я?

Провинциал. Тот, кто живет в провинции, в глуши, и не видит дальше своего носа.

– Может быть.

Но он мог рассмотреть ее лицо, которое было совсем рядом, темное, почти такое же блестящее и гладкое, как жемчуга, украшавшие ее черные волосы. Ну конечно, волосы у нее черные или были когда-то черными. Он рассматривал ее тонкие, выгнутые брови, заглядывал в выпуклые черные зрачки. Она засмеялась, но он с досадой остановил ее:

– Молчи, женщина!

Теперь она стояла перед ним с покорной улыбкой. Черное праздничное платье. На шее тоже жемчуга. Рука – она словно угадала его желание и поднесла руку к его глазам – пухлая и белая. Лицо, заслоненное рукой – и она, словно опять угадав его желание, убрала руку, – улыбающееся, пухлое, как и рука, чуть излишне полное. Крошечный рот, нос с горбинкой. Веки темные, блестящие, она их, наверно, красит, ресницы длинные, густые, на них повисли прозрачные капли.

– Сестра моей матери...

Улыбающееся лицо исказила гримаса, капли упали с ресниц. Но голос прозвучал легко и беспечно:

– Непутевая сестра...

Она сделала быстрое движение, и в руке у нее оказался белый лоскут.

– Пускай хоть так...

Она наклонилась к нему, и на него вдруг повеяло весной, и он зажмурился от этого дурманящего запаха. Сквозь сутолоку воспоминаний он почувствовал, как белый лоскут коснулся его лица и оставил следы на веках, почувствовал руку у себя на голове. И снова услышал ее тихий голос.

– В конце концов даже такие...

Он открыл глаза, ощущая весенний аромат, а она все возилась с ним. Теперь ее лицо было совсем близко, и он видел, какое оно изнеженное, холеное. Только вблизи можно было разглядеть на гладкой коже тоненькие

лучики. Она не позволяла своему лицу ни полнеть, ни худеть сверх меры, это было видно по глубоко обозначенным бороздкам возле глаз и по спокойному лбу, который она отстояла от морщин. Она то и дело меняла выражение лица, отстаивая его, не давая ему одрябнуть, обвиснуть.. Только глаза, маленький рот и нос были так несокрушимы, что их не приходилось отстаивать. Он почувствовал смутную жалость к этому лицу, но не знал, как ее выразить, и пробормотал только:

– Спасибо, спасибо.

Наконец она оставила его в покое, перешла через ковер, унося с собой запах весны, повернулась и села лицом к нему.

– Ну, племянник?

И он вспомнил, что она приехала вовсе не для того, чтобы отвечать на его вопросы, ведь она добивается своего. Он потер висок.

– Вы писали мне насчет погребения в соборе, но я...

Она всплеснула руками и воскликнула:

– Нет, нет! Не надо об этом!

Но он уже заговорил деловым тоном:

– Теперь, вероятно, это будет зависеть не от меня, хотя пока еще ничего не известно. Отец Адам...

Он повысил голос:

– Отец Адам!

– Да, преподобный отец? Я вас не слышу. Может быть, мне подойти ближе?

«Что я хотел спросить у него? Или у нее?»

– Нет, не надо.

Огонь плясал у него в глазах.

– Да нет же, Джослин! Я приехала потому, что беспокоилась... беспокоилась о тебе. Поверь!

– Обо мне? О провинциале?

– Тебя знают по всей стране. И даже по всему миру.

– Ваш прах может в некотором смысле, я прошу прощения, осквернить храм.

И тут он увидел, как мгновенно она может вспылить.

– А сам ты его не осквернил? А эти люди? Это запустение? И этот каменный молот, который висит над головой и ждет своего часа?

Он ответил кратко, глядя в огонь:

– Женщине это нелегко постигнуть. Поймите, я был избран. И с тех пор я всю жизнь искал свое предназначение, а потом исполнил его. Я принес себя в жертву. И надо судить очень, очень осторожно.

– Избран?

– Я уверен, вы получите здесь место для погребения. Но сам я едва ли согласился бы на это.

– Избран?

– Да, богом. Ведь, в конце концов, избирает бог. А я избрал Роджера Каменщика. Он один мог это исполнить... он – и никто другой. Остальное последовало неизбежно.

Услышав ее смех, он вздрогнул и поднял глаза.

– Слушай, племянник. Ведь это я тебя избрала. Нет, ты послушай меня. Дело было не в Виндзоре, а в охотничьем замке. Мы с ним отдыхали в постели после трапезы...

– Но при чем здесь я?

– Я усаждала его, и он захотел сделать мне подарок, а у меня было все, чего желала душа...

– Я не хочу слушать.

– Но я была счастлива и поэтому великодушна, и в голову мне пришла мысль. Я сказала: «У моей сестры есть сын...»

Она снова улыбалась, но теперь уже печально.

– Правда, я готова признать, что мною двигало не только великодушие. Она была такая набожная, постная и вечно меня... Ну ладно, пускай это было наполовину великодушие. Потому что ведь ты в нее, такой же упрямый, злой...

– Женщина... Что он на это сказал?

– Ах, Джослин, сядь, прошу тебя! Мне действует на нервы, когда ты стоишь, нахохлившись, как птица под дождем. Мне кажется, в ту минуту я немного злорадствовала.

– Что он сказал?

– Он сказал: «Мы сунем ему в рот лакомый кусочек». Так и сказал. Невзначай. Тогда я и говорю: «Он послушник в каком-то монастыре». И тут я захихикала, и он захохотал, и мы схватили друг друга в объятия и стали кататься по постели – ну, скажи сам, разве это было не смешно? Мы оба были молоды. Нам это понравилось. Джослин...

Он увидел, что она стоит подле него на коленях.

– Джослин! Не все ли равно? Ведь в этом жизнь.

Он сказал хрипло:

– Все, что я сделал... – Он помолчал. – Я был уверен, что принес свою жизнь в жертву во имя великого дела. Быть может, это и есть неисповедимый путь свершения. Ведь Гвоздь у нас...

– Какой гвоздь, племянник? Ты говоришь так туманно!

– Наш епископ Вальтер прислал из Рима...

– Я знаю Рим. И епископа Вальтера.

– Ну вот, теперь вы сами видите. При чем тут я? Только шпиль имеет значение, потому что... потому что...

– Почему же?

– Это выше вашего понимания. Он прибил его к небу. Слепой глупец, я просил денег. А он сделал лучше.

«Ну вот, – подумал он. – Вот и все» . Но нет, он снова услышал ее задыхающийся голос:

– Ты просил у него денег, а он прислал гвоздь!

– Именно так.

– Вальтер!

Она засмеялась, и смех кругами поплыл вверх, а потом у нее перехватило дыхание, и сквозь тишину в его ушах раздалось пение опер. Ни ясных мыслей, ни доводов не было в его голове; подступила дурнота, и все его тело содрогалось. А потом дурнота захлестнула его.

Он почувствовал, что она схватила его за руки.

– Джослин! Джослин! Ничего не надо принимать так близко к сердцу.

Он открыл глаза.

– Ты должен верить, Джослин!

– Верить?

– Да, да. Верь в свое... в свое призвание... и в гвоздь...

Она трясла его за плечи.

– Послушай меня. Послушай же! Я не сказала бы тебе, если б не...

– Это неважно.

– Ты что-то хотел спросить у меня. Подумай, соберись с мыслями. Что ты хотел спросить?

Он взглянул ей в глаза и прочел в них страх.

– Что может значить...

Тут он подумал, что оба они, как дети, загадывают друг другу загадки, и не мог удержаться визгливого смеха.

– Да, теперь я вспомнил. Что может значить, когда человек думает лишь об одном – и не о дозволенном, не о предписанном, но о запретном? Тоскуешь и вспоминаешь, радостно и в то же время с тайным мучением...

– Но о чем же?

– А когда они умирают... а они умирают, да, умирают... припоминаешь то, чего никогда не было с ней...

– С ней?

– Ясно видишь ее, каждую черточку, среди неземного... видишь только ее одну... и знаешь, что это неизбежно следует из того, что было прежде...

Она прошептала над самым его ухом:

– И это случилось с тобой?

– Мне нет ни минуты покоя. И в этом – неизбежность. – Он серьезно посмотрел на нее и сказал прямо ей в лицо: – Вы, конечно, это знаете. Скажите мне. Больше я ничего не хочу. Это колдовство, да? Это непременно должно быть колдовство!

Но она отодвинулась, отшатнулась от него, встала, перешла через ковер. И оставила за собою жуткий шепот:

– Да. Колдовство. Колдовство.

Она куда-то исчезла, а он все сидел и торжественно кивал огню.

– Это предопределено. И многое еще будет погублено. Да, многое.

Он вспомнил об отце Адаме, который стоял поодаль, в тени.

– А вы что скажете?

– Ее путь ведет прямо в ад.

Он выбросил ее из головы, и она исчезла навсегда, словно капля канула в реку.

– Повсюду суета.

Стало тихо, а потом отец Адам сказал:

– Вам надо уснуть.

– Мне теперь уж никогда не уснуть.

– Пойдемте, отец мой.

– Нет, я буду ждать здесь. Это предопределено, и не все еще кончено.

И он все сидел, глядя, как бесчисленные искры роятся над огнем. Иногда он говорил, но совсем не отцу Адаму:

– И все-таки он стоит.

Потом он начал стонать и раскачиваться. А много времени спустя вскочил и воскликнул:

– Какое кощунство!

Прошли часы, в камине остались лишь угли, и тогда он снова заговорил:

– Есть родство меж людьми, которые хоть раз сидели подле угасающего огня и мерили по нему свою жизнь.

В окна просочился рассвет, бледнея вокруг оплывших свечей. А когда последняя искра в камине угасла, явился посланец. В нем была непоколебимость веры, он мычал и манил за собой. Джослин медленно встал.

– Отец мой, вы позволите мне пойти?

Страж тихонько покачал головой.

– Мы пойдем вместе.

Джослин потушился и уже не поднимал глаз, пока они под затихающими порывами ветра шли к дверям собора. В нефе все было без перемен, и Джослин сказал немому, не глядя ему в лицо:

– Покажи нам, сын мой.

Немой, осторожно ступая на носках, повел их к юго-восточной опоре, показал небольшое отверстие, которое пробил в ней, и так же на носках

ушел. Джослин понял, что он должен сделать. Он вытащил из отверстия треугольное долото, взял с пола железный щуп и всадил его в опору. Щуп уходил все глубже, глубже и со скрежетом пронзил каменную труху, которую исполины, жившие на земле в далекие времена, засыпали в опору.

И тут все слилось. Его душа ринулась вниз, в бездну, которая была внутри него, – туда, в бездну, отвергни или прими, уничтожь меня, обрати в камень вместе с остальными; в тот же миг тело его тоже ринулось вниз, и он коленями, лицом, грудью рухнул на камни.

И тогда его ангел простер крыла, которыми закрывал свои раздвоенные копыта, и вытянул его по всей спине раскаленным добела цепом. Жгучий огонь опалил ему хребет, и он вскрикнул, потому что не мог этого вынести и все же знал, что должен вынести. А потом чьи-то неловкие руки пытались его поднять, но он не мог сказать им про цеп, потому что всем телом обвился вокруг опор, как раздавленная змея. Тело кричало, руки силились поднять его, а Джослин лежал внизу под каменной грудой и знал теперь, что по крайней мере одна истовая молитва услышана.

Когда боль схлынула, он почувствовал, что его бережно уносят от жертвенника. Он лежал на спине, которой у него не было, и ждал. Ангел с цепом не в силах был сделать большего; нет, большего не могло принять тело, как ни жаждала этого душа. И теперь спины просто не было, пришло совершенное бесчувствие.

Его положили на кровать в спальне, и он видел над собой каменные ребра потолка. Иногда ангел покидал его, и он обретал способность думать.

«Я отдал спину великому делу.

Ему.

Ей.

Тебе, Господи «.

Иногда он шептал с досадой:

– Неужели рухнул?

Человек, похожий на деревянную куклу, успокаивал его:

– Нет еще.

В один из дней голова его несколько прояснилась и пришла мысль:

– Сильно ли он поврежден?

– Я помогу вам есть, отец мой, и вы сами увидите в окно.

Он завертел головой на подушке.

– Не хочу на него смотреть.

Стало темней, и Джослин понял, что отец Адам подошел к окну.

– На первый взгляд кажется, будто он невредим. Но он слегка накренился и угрожает аркадам. Он развалил парапет башни. Много камня разбито.

Он полежал тихо. Потом пробормотал:

– Когда снова поднимется ветер... Когда поднимется ветер...

Деревянная кукла подошла, склонилась над ним и тихо заговорила. Вблизи было видно, что у нее есть некое подобие лица.

– Не надо так тревожиться, отец мой. Конечно, вред немалый, но вы, хоть и заблуждались, строили с верой. Ваш грех невелик в сравнении с прочими грехами. Вся жизнь наша – шаткое здание.

Джослин снова завертел головой на подушке.

– Что вы знаете, отец Безликий? Вы видите только наружность вещей. Нет, вы не знаете и десятой доли.

И тут карающий ангел, который, наверное, стоял рядом с отцом Адамом, ударил снова. Когда Джослин пришел в себя, отец Адам по-прежнему был подле него и говорил так, словно никто их не прерывал:

– Вспомни о своей вере, сын мой.

«Моя вера, – подумал Джослин. – Что она такое?» Но он не сказал этого лицу, черты которого могли когда-нибудь проясниться. Он только глотнул воздуха и засмеялся.

– Хотите, я покажу вам свою веру? Она у меня здесь, в старом сундуке. Маленькая книжечка в левом углу.

Он помолчал, перевел дух и засмеялся снова.

– Возьмите. Прочитайте.

Послышался шорох, шелестение, стукнула крышка. Потом отец Адам заслонил окно и спросил:

– Вслух?

– Вслух.

«Чернила, наверное, поблекли, – подумал он. – Ансельм тогда был еще молодой, а Роджер Каменщик – совсем мальчишка. А она... И я был молодой или по крайней мере моложе» .

В вечерних сумерках заскрипел голос отца Адама:

– «К тому времени я уже три года исполнял это служение, и однажды вечером я стоял на коленях у себя в молельне и изо всех своих слабых сил молил Бога избавить меня от гордыни. Потому что я был молод и преисполнен чудовищной гордыни, ослепленный блеском своего храма. Одна лишь гордыня и была во мне...»

– Это правда.

– «Мне было явлено беспредельное милосердие. В своем ничтожестве я стремился, сколько мог, возвыситься духом. Я пожелал воочию увидеть храм непреложно стоящим на моем пути; и это было тем легче, что его стены были видны мне через окно...»

Джослин уже снова вертел головой на подушке. Он думал: «Что это объясняет? Ничего! Ничего!»

– Неужели ничего?

– «Я видел очертания крыши, стен, выступы трансептов, башенки, которые выстроились вдоль парапетов...»

– Неужели это ничего не означало, отец мой?

– «Теперь я знаю, кто и зачем направил туда мой взгляд. Но в то время я еще ничего не знал, я мог только стоять на коленях и смотреть, пока не исполнился равнодушия к тому, что видел. И вдруг сердце мое дрогнуло; должно быть, в нем поднялось некое чувство. Оно крепло, устремлялось все выше и у вершины вспыхнуло животворным огнем...»

– Это правда... верьте мне!

– «...и вдруг исчезло, а я остался, пригвожденный к месту. Потому что в синеве неба я увидел ближнюю башенку; это было истинное воплощение моей молитвы в камне. Оно вознеслось над хитросплетением суетных мыслей, и с ним вознеслось сердце, ввысь, все тоньше, острее, и на самой вершине вспыхнуло пламя, изваянное из камня, которое я только что созерцал» .

– Да, так и было. Вам стоит только обернуться, и вы увидите ту башенку.

– «Дети мои, если уже это поразило мой скудный ум, то как описать чудо, которое свершилось вслед за тем? Я смотрел и все более прозревал. Словно эта башенка открыла передо мной огромную книгу. Словно я обрел вдруг новый слух и новое зрение. Весь храм – а я-то в безумии своей молодости хулил его за то, что он порождал во мне гордыню! – весь храм открылся мне. Весь он заговорил. «Мы труд» , – говорили стены. Стрельчатые окна складывали ладони и пели: «Мы молитва» . А треугольник крыши словно Троица... Но как это объяснить? Я хотел отречься от своего дома, но он возвратился мне тысячекратно «.

– Воистину так.

– «Я бросился к дверям и вбежал в собор. А теперь я хочу, чтобы вы поняли меня до конца. Собор предстал передо мной в образе человека, возносящего молитву. А изнутри он был великолепной книгой, в которой начертано наставление для этого человека. Помню, уже наступил зимний вечер и в нефе темнело. Патриархи и святые сияли в окнах; и на всех алтарях в боковых нефах горели свечи, возженные вами. Еще пахло ладаном, и в часовнях звучали голоса священников, служивших мессу... но это вы знаете сами! Я шел вперед – или нет, меня вел мой ликующий дух, и ликование росло с каждым шагом, и я был исполнен твердости и самоотречения. Когда я дошел до опор, мне оставалось лишь пасть на лицо свое...»

– У этих самых опор. Сколько раз с того дня я падал там ниц.

– «Потому что я как бы слился воедино с мудрыми и святыми... или нет – со святыми и мудрыми строителями...»

– Опоры гнутся!

– «Мне стал понятен их тайный язык, такой ясный, видимый всякому, имеющему глаза, чтобы видеть. В тот миг Его поучение о небе и аде лежало передо мной, и я понял то ничтожное место, которое отведено мне Его промыслом. Сердце мое снова устремилось ввысь и воздвигло во мне храм – стены, башенки, покатуя крышу – во всей истинности и непреложности; и в этом новообретенном смирении и новообретенном знании во мне забил источник – вверх, в стороны, ввысь, сквозь внепространство, – пламенный, светлый, всеподчиняющий, непреодолимый (да и кто мог, кто посмел бы ему противоборствовать?), беспощадный, неудержимый, пылающий источник духа, безумное мое горение во имя Твое...»

– О Господи!

– «А вверху, если только слово «вверх» может что-нибудь тут значить, был некий образ, некий дар, в обладании которым несть гордыни. Тело мое покоилось на камнях, мягких как пух, и вмиг, во мгновение ока, оно преобразилось, воскресло, отринуло всяческую суету. Потом видение исчезло, но воспоминание о нем, которое было для меня подобно манне, обрело плоть, оно воплотилось в шпиль, в сердце каменной книги, в ее венец, в вершину молитвы!»

– А теперь это уродливая развалина. Ничего похожего... Ничего.

– «Наконец я встал. Свечи горели по-прежнему и ничуть не стали короче, священники служили мессе – ведь по жалкой людской мере протек лишь единый миг. Я шел через неф, и образ храма стоял у меня перед глазами. И вот что я скажу вам, дети мои. Духовное трижды вещественней земного! Только на полпути к своему дому я понял истинный смысл видения. Когда я обернулся, чтобы осенить себя крестом, я вдруг увидел, что собору чего-то не хватает. Он стоял, как всегда, но вершины молитвы, устремленной ввысь из его сердца, если говорить на языке вещей, не было вовсе. И в тот миг мне открылось, зачем Бог привел меня сюда, своего недостойного служителя...»

Скрипучий голос умолк. Джослин слышал, как отец Адам перелистывал чистые страницы. Потом стало тихо. Он закрыл глаза и в изнеможении провел рукой по лбу.

– Да, это мои слова. Когда я пал ниц и принес себя в жертву делу, я думал, что принести в жертву себя – то же самое, что принести в жертву все. Я был глуп.

Отец Адам заговорил снова. Теперь в его голосе появилось что-то новое, в нем звучало удивление и беспокойство.

– И только?

– Я считал себя избранником, сосудом духа и главное – любви, я верил в свое предназначение.

– А за этим неизбежно последовало все остальное – долги, запустение в храме, раздоры?

– И еще многое, очень многое. Вы даже не знаете. И сам я не знаю. Криводушие, нечистая совесть. Во имя дела. И в него вплелась золотая нить... Или нет. Из него произросло дерево со странными цветами и плодами, со множеством побегов, цепкое, хищное, вредоносное, пагубное.

И он сразу увидел это дерево, буйство листвы и цветов, перезревший, лопнувший плод. Невозможно было проследить все сплетение его побегов до корня, освободить искаженные страданием лики, которые кричали из путаницы ветвей; он вскрикнул сам и умолк. Он лежал, оберегая спину, стараясь унять боль, которая проснулась во лбу, и неотрывно смотрел на каменное ребро потолка. Только одна мысль была у него, странная мысль:

«Я здесь, но здесь-это значит всюду и нигде» .

Когда отец Адам снова заговорил, голос его уже не скрипел. Слова падали, как мелкие камни.

– Стало быть, это все.

Он отошел от окна, и в комнате стало светлее. Он приблизился к кровати и задал непонятный вопрос:

– А можете вы увидеть то, что слышите?

Джослин был нигде, он вертел головой, налитой болью, словно хотел ее стряхнуть. За окном раздались шаги, кто-то весело засвистел, выводя затейливые трели. И он смутно увидел, как этот свист, который звучал у него в голове, исчез за углом.

– Не все ли равно?

– Значит, вы ничему не научились? Раньше, много лет назад?

«Чему я научился? Орел слетел ко мне у моря. И этого было довольно. А потом...»

– Вы слышали, что она сказала. И теперь знаете, как все вышло.

Отец Адам горячо прошептал:

– Лучше было бы повесить им жернов на шею.

«Ну нет, – подумал он. – Слишком это просто, этим ничего не объяснишь. Так не добратся до корня» .

А отец Адам сказал с нескрываемым удивлением:

– Значит, вас никогда не учили молиться!

Волосы разметаны веянием духа. Рот раскрыт, но не дождевая вода изливается из него, а осанна. Джослин криво улыбнулся священнику.

– Теперь уже поздно.

Но отец Адам не улыбнулся. Он стоял боком, стиснув руки у груди. Он смотрел сверху вниз, искоса, и под взъерошенными волосами угадывались черты его лица. В голосе его зазвучал страх, словно он наконец увидел дерево и цепкий усик скользнул по его щеке.

– Ваш духовник...

– Ансельм?..

«Опять Ансельм, – подумал он. – Получается, что он ни к чему не причастен. Ведь я скрепил все своей печатью» . Он сказал в ребристый потолок:

– Послушайте меня, отец Адам. Я догадываюсь о многом, и я любил их всех. Наверное, оттого она и преследует меня. Вы неизмеримо лучше их всех, потому что таких страшных, таких окаянных людей не найти больше нигде, но ведь вы не со мной, вы не запутались, как я, в ветвях древа. Колдовство. Конечно же, это колдовство. Как иначе могли бы она и он быть такой непреодолимой преградой между мною и небом?

Дыхание послышалось над самым его ухом. Он отвел глаза от потолка, от картин прошлого, и увидел, что отец Адам стоит у кровати на коленях. Священник закрыл лицо руками и дрожал всем телом. И слова тоже дрожали меж пальцами, вырывались прерывистым бормотанием:

– Господи, смилуйся надо всеми нами!

Он быстро отнял руки от лица и перекрестился. Потом стиснул край кровати, склонил голову и снова забормотал. Бормотание стало глуше, потом смолкло.

Отец Адам поднял голову. Он улыбался. Джослин сразу увидел, какое это было заблуждение – думать, что у него нет лица. Просто оно было очерчено тонкими, нежными штрихами, которые так легко ускользают от глаза и видны лишь долгому, пристальному взгляду или подневольному взору больного, прикованного к постели.

И неожиданно для себя он крикнул этому лицу:

– Помоги мне!

Эти слова как будто отомкнули замок. Он почувствовал, что дрожит, как дрожал отец Адам. Дрожь отдалась болью в спине и голове, но зато безбрежное море скорби словно простерло мягкую руку, накрыло его и обильно увлажнило глаза. Он дал слезам излиться, не замечая их, потому что это было так ничтожно в сравнении с морем. А потом появилась другая рука, она легла ему на грудь, пальцы сжали плечо. И еще рука ласково гладила его по лицу.

Понемногу дрожь унялась, слезы уже не текли больше. И голос, такой же нежный, как лицо, зашептал:

– Мы начнем сначала. Некогда вам была знакома каждая ступень молитвы, но вы все забыли. И это хорошо. Многие из ступеней не для простых смертных. Это даже вменится вам в заслугу. Низшую ступень составляет словесная молитва. С нее мы и начнем, потому что оба мы подобны детям, а дети начинают с этого...

– А моя молитва, отец? Мое... видение?

Стало тихо. «Черный ангел возвращается, – подумал он. – Я знаю, чувствую его приближение. Скорей, скорей, пока не поздно!»

– А моя молитва? Мой шпиль? То, о чем вы прочли?

Теперь влага выступила у него на коже. Он почувствовал, как рука осторожно откинула волосы с его лба, но он был объят ужасом перед ангелом.

– Скорей!

– За словесной молитвой следует другая ступень, она невысока, и потому восхождение едва заметно. Здесь нам дается поддержка, утешение, отрада. Так мы даем ребенку лакомство за послушание или просто потому, что любим его. Ваша молитва, без сомнения, была хороша, но не очень.

Он вертел головой, пытаясь уйти от неотвратимого. Но из глубины, должно быть от самых корней древа, что-то властно заставило его крикнуть в каменный потолок и в нежное, встревоженное лицо:

– Мой шпиль вознесся превыше всех ступеней, от земли до небес!

И черный ангел ударил его.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТЦ

Иногда боль стихала, и он снова мог думать. Первым делом он спрашивал у отца Адама:

– Еще не рухнул?

И ответ был всегда один:

– Нет еще, сын мой.

Он снова строил шпиль у себя в голове, доискивался, какой нужен фундамент, чтобы понять, что же ему самому нужно.

– Мне не узнать правды, пока весь собор не разберут, как детскую головоломку.

Но отец Адам, наверное, думал, что он бредит, и молчал. А Джослин, следуя по этой дороге внутри себя, добрался до второй мысли:

– И даже тогда не узнать.

Один раз он послал за Ансельмом и ждал бесконечно долго, глядя в темный потолок, а потом вспомнил, кем он теперь стал. Тогда он послал снова, умоляя Ансельма прийти во имя милосердия. Ансельм пришел, строгий и отчужденный. Вечерело, в комнате уже стояли сумерки, потому что единственное окно выходило на восток и собор заслонял свет. Он услышал, как отец Адам вышел и спустился по лестнице, услышал, как заскрипел под Ансельмом стул. И тогда он посмотрел на него, на его благородную голову, на серебристые волосы над твердым лбом. Но Ансельм не ответил на его взгляд. Он упорно смотрел в окно и молчал.

– Ансельм. Вот я в пустыне.

Ансельм искоса посмотрел на него и сразу же отвел глаза, словно увидел нечто постыдное. Он сказал то, чего и следовало ожидать, но слова его были сухи и так же отчужденны, как его поза.

– Рано или поздно это удел всякого...

«Нет, – подумал Джослин. – Так не говорят с живыми людьми. Он просто не видит меня. Меня нет среди живых, но пусть и это послужит мне уроком...»

– В тяжких муках я возвратился в те далекие дни, когда жил у моря и вы были моим наставником.

Ансельм повернул к нему голову. Он был скован неловкостью; и прозвучали слова, понятные им обоим:

– В краткой жизни сей...

– Жизнь!

Он закрыл глаза, размышляя о жизни.

– Да, знаю. Я заблуждался, когда думал о своей жизни. Но было же это когда-то – я шел через мыс и пришел к вам, своему пастырю, веря, что мы избраны Святым Духом.

Он снова взглянул в потолок. Там сияли песчаные берега и ослепительное море.

– Я прибежал к вам.

Ансельм пошевелинулся. На лице его появилась слабая улыбка, но улыбка была недобрая.

– Вы жались к моим ногам, как пес.

– Как же вам все это вспоминается, Ансельм?

Ансельм снова смотрел в окно. Его щеки покрылись красными пятнами. Голос прозвучал глухо.

– Почему вам, как глупой девчонке, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться?

– Мне?

– Почему вы обратили на меня это... юношеское обожание?

Мысли Джослина путались.

– Я? Разве?

Ансельм сказал очень тихо, очень тоскливо:

– Вы не знаете. Вы никогда не знали, как вы невыносимы. Да, невыносимы.

Джослин облизал сухие губы.

– Я.. Я был... не властен в своих чувствах. И неловок.

Скорбь переполняла его, и он подождал, пока она утихнет, а потом сказал в потолок:

– Но вы, Ансельм... Вы-то сами...

Ансельм встал и принялся ходить по комнате. Потом он остановился над Джослином и застил ему свет. Он неловко повернул голову, посмотрел Джослину в глаза и отодвинулся.

– Это было давно. И едва ли что-нибудь значило. А потом... потом произошло все это! Нет. Я больше ничего не могу сказать. Мне было смешно и трогательно. И досадно. Вы все принимали так... близко к сердцу.

– Какое там, близко к сердцу. Вы не понимали, не видели.

Ансельм воскликнул:

– А сами вы что понимаете? Вы целую жизнь висели камнем на шее у меня, у всех нас.

– Мы были избраны для великого дела. Так я думал... А сейчас я не знаю сам...

– Там мне было хорошо, хоть устав и соблюдался не слишком строго. Но вот вы, словно огромная птица, слетели...

– К наставнику...

– «Я есмь то, что есмь». Но видеть, как легко вы прыгаете со ступени на ступень – служба, дьякон, священник, – видеть вас настоятелем этого собора, хотя вы едва умели прочитать «Отче наш»; подвергнуться искушению, да, искушению, потому что куда голова, туда и хвост, а ведь все мы не святые, это надо признать, и не чужды тщеславия... и вот искушение привело меня на край гибели. Признаюсь в этом от чистого сердца. Я мог бы остаться на своем месте и по мере сил творить добро. Но вы искушали меня, и я ел от запретного плода.

– А потом?

– Потом? Вы сами знаете. Старый король умер, и ваше возвышение прекратилось.

– Да, конечно.

– И после всего я должен был выслушивать ваши исповеди, лицемерные, самовлюбленные исповеди...

Несмотря на слабость, Джослина охватило глубочайшее удивление.

– Но какой же вы тогда священник?

– Вам это должно быть известно. Если угодно, такой же, как вы. Ничтожный. И я сознаю свое ничтожество. А вы? Вспомните Айво, Джослин. Вы сделали мальчишку каноником. Потому только, что его отец дал бревна для шпилья. Вот видите. У него столько же прав в соборе, сколько у вас. Или у меня. Но от него хоть меньше вреда. Он все время на охоте. А вы душили нас, как проклятие. Когда я видел вас, облеченного властью настоятеля, у меня порой сжималось сердце и перехватывало дыхание. И вот еще что я вам скажу. Хотя теперь над нами висит эта каменная глыба, среди каноников мир и согласие, словно бальзам пролился на наши души, потому что нет вас.

– Ансельм!

– Помните, как вы обошлись со мной перед капитулом, когда я возражаю против шпиля? Я не забыл. И никогда не забуду. Вы приказали мне при всех: «Сядьте, Ансельм!» Помните? *«Сядьте, Ансельм...»*

– Не будем об этом. Теперь уже ничего не скажешь и ничего не поправишь.

– А потом эта история со свечами.

– Я знаю.

– И наконец, Джослин, если хотите услышать все до конца – способы, которыми велась стройка...

– Уйдите, прошу вас.

– Согласитесь, это уж сверх всякой меры – принудить человека в мои годы и в моем сане быть подручным у каменщика.

– Что поделаешь... Простите меня.

– Разумеется, я вас прощаю. Прощаю.

– Я молю... Молю простить меня не за то или другое, не за эти свечи или за обиду. Простите меня за то, что я таков, каков есть.

– Я же вам сказал.

– Но в душе, Ансельм?.. Скажите, что прощаете в душе!

Шаги отзвучали и смолкли на лестнице; а потом надолго наступила тишина.

Тянулись минуты, и наконец вокруг что-то изменилось, как будто люди заплясали перед глазами, нелепо приседая и кружась. В этой толпе он узнал только отца Адама и снова крикнул:

– Помогите мне, отец мой!

Отец Адам подошел и стал распутывать сплетение вещей. Он тянул и распутывал, но у него ничего не получалось, потому что все так тесно переплелось и посреди всего, над всем, возвышалось зловещее древо. И под конец Джослин ощущал только боль в спине (и опаляющий огонь, когда его переворачивали, чтобы обложить спину овечьей шерстью), да еще скорбь, плескавшуюся от горла до пупа. Отец Адам не заметил, что стало с его руками. но сказал Джослину, что он слаб и поврежден в уме и что надо собрать всю волю. Отец Адам не знал, как необходимо получить прощение от нехристей, как для этого необходимо их понять и как это невозможно.

И тогда Джослину стало ясно, что придется убежать от отца Адама, и он прибег к хитрости. Он ждал ясного дня, а ясные дни, когда светлые блики солнца лежали на полу и Джослин отчетливо понимал, где он и что с ним, выпадали редко. Дождавшись такого дня, он притворился, будто изнемог и уснул, а сам прислушивался к шарканью отца Адама. Он украдкой открыл один глаз и увидел, как сухая спина священника исчезла на лестнице. Тогда он собрал все силы, спустил ноги с кровати, встал и выждал, пока пройдет

слабость. Потом он дошел до двери, держась за стену, натянул скуфью на встрепанные волосы, накинул на плечи плащ. Колени у него дрожали от слабости, и когда он сполз с лестницы, то увидел, что внизу пусто. Там не было уже ни огня в камине, ни свечей, но в окна щедро вливался свет, на стеклах трепетали тени. И еще в воздухе веяло свежестью, которая всколыхнула скорбь в его груди. Среди дров в камине он отыскал палку и оперся на нее.

Он постоял, подумал. «Если выйти через заднюю дверь, он меня не увидит; а я не увижу этот каменный молот» .

За дверью, среди высокой, буйной травы, была поленница. Благоухание ошеломило его, он прислонился к поленнице, забыв о больной спине, и ждал, пока скорбь, плескавшаяся в нем, не излилась из его глаз. А потом над головой у него что-то зашевелилось, и на миг в нем блеснула безумная надежда. Он закинул голову, выкручивая шею, и глянул вверх. Целый сонм ангелов сиял на солнце, они были розовые, золотистые, белые; они-то и благоухали, радуясь свету и воздуху. Они несли облако зеленых листьев, а среди листьев было что-то длинное, черное, струящееся. Мысль его воспарила с ангелами, и он вдруг понял, что от корня яблони произрастут новые ветви. Она была близко, за стеной, она распустила зеленое облако, завладела землей и воздухом – источник, чудо, яблоня; и он расплакался, как ребенок, сам не зная, от радости или от печали. А потом, там, где двор его дома спускаются к реке и деревья склонялись над самой водой, он увидел, как блеснул и сразу исчез крылатый сапфир, вобравший в себя всю синеву неба.

Он крикнул:

– Вернись!

Но птица умчалась безвозвратно, как спущенная стрела. «Она не вернется никогда, – подумал он, – даже если я просижу тут весь день» . Он стал утешать себя мыслью, что птица, может быть, все же вернется и сядет во всей своей красе на ветку совсем близко, но в душе знал, что этого не будет.

– Нет, зимородок не вернется ко мне.

«Пускай, – сказал он себе. – Зато мне посчастливилось его увидеть. Только мне одному» . Наконец он встал и боковой дорожкой пошел к площади. Он видел в пыли конец палки и свои едва волочащиеся ноги. «Наверное, я похож на старого ворона, – думал он, когда плелся по дорожке, сгибаясь чуть ли не до земли. – Зачем я иду искать то, чего нет? Но не так-то все просто! У меня много причин, и они перепутались. Отец Адам был прав. На свете есть яблони и птицы, а я поглощен суетой» .

Дойдя до Королевских ворот, он присел на каменную приступку и стал рассматривать пыльную дорогу. Но какие бы ноги ни попирали эту пыль, она все равно оставалась просто пылью, и ему стало еще грустней. Он через силу

встал и брел, волоча ноги по пыли, пока не увидел у себя под самым носом уличную канаву, в которой играла голенькая девочка.

Он спросил ее:

– Где найти Роджера Каменщика, дитя мое?

«Господи, – подумал он, – кто поверил бы, что у меня может быть такой старческий голос?» Пока он думал это, девочка, разбрызгивая грязь, выбралась из канавы и убежала. Он не знал, как перейти канаву, и зашлепал прямо по воде. А потом он увидел мужские ноги и туловище и спросил:

– Где найти Роджера Каменщика, сын мой?

Сверху кто-то плюнул, и плевок повис на его плаще. Грубый голос сказал:

– На Новой улице.

Ноги ушли.

Он повернул направо, шаркая подошвами и палкой по булыжникам. «Новая улица такая длинная», – подумал он, и при этой мысли силы оставили его. Он поискал взглядом, где бы присесть, но не нашел подходящего камня. Тогда он сел на землю у глиняной стены и прикрылся плащом. Он опустил капюшон на лицо и был теперь как бы в шатре.

Но и под шатром он угадал их присутствие, выглянул и увидел босые детские ноги.

– Где Роджер Каменщик, дети мои?

Ноги ушли, разбрызгивая грязь в канаве. Камень ударил в землю возле него. «Надо идти, – подумал он. – Надо куда-то идти». Он с трудом поплелся вдоль стены и вдруг вспомнил, что Роджер Каменщик, должно быть, сейчас в «Звезде». Он брел, левой рукой опираясь на палку, а правой держась за стену; и наконец он увидел постоянный двор со звездой на вывеске, а у ворот была каменная приступка. Тяжело дыша, он сел и сказал себе: «Не все ли равно, ведь дальше я идти не могу».

– Роджер Каменщик...

Ноги ушли, но вскоре вернулись, теперь их стало много, а он все повторял:

– Роджер Каменщик... Роджер Каменщик...

Наконец появились женские ноги и красный подол платья. Женщина вскрикнула и быстро заговорила, но он, как всегда, легко пропускал ее слова мимо ушей. «Мне жаль ее, – думал он, – жаль, но не очень, чуть-чуть. Это мой изъян, что я не могу скорбеть и о ней тоже».

Чьи-то руки подхватили его под мышки и подняли с камня, а ноги и палка волочились по земле. Он видел, как приближалась дверь, потом увидел ступени, его ноги коснулись их, сперва одна, потом другая, и палка простучала: тук, тук, тук. А потом была еще дверь где-то в полутьме, и она отворилась. Руки опустили его на скамью, захлестнутого дурнотой, и

исчезли, затворив дверь. Он зажмурился и ждал, когда исчезнувший мир вернется.

Первыми вернулись звуки. Он услышал хрип, кашель, клокотание мокроты, сопение, и в этих звуках была своя чередка. Они заставили его открыть глаза; и он увидел напротив окна маленький очаг, а подле очага широкую кровать с валиком в изголовье, на которой белели смятые простыни. Там, приподнявшись на локте, лежал Роджер Каменщик, в одежде, но разутый. Его опухшее лицо непрерывно смеялось, а потом рот разинулся, смех перешел в вопль, и он упал навзничь. Джослин видел, как вздымается его грудь.

Роджер Каменщик, путаясь в простынях, повернулся на бок. Потом снова тяжело приподнялся на локте и поглядел на Джослина, ощерившись по-собачьи. Лицо его было в испарине. Джослин взглянул в налитые кровью глаза, и лицо Роджера исказилось. Он повернул голову и сплюнул мимо очага.

– От вас разит падалью.

Джослин подумал над этими словами, припомнил лица, которые склонялись над его постелью. «Может быть, – подумал он, – очень может быть». И услышал свой старческий голос, который бессмысленно повторял:

– Может быть, Роджер, может быть. Очень может быть.

Роджер Каменщик, опираясь на локоть, подался вперед. Он сказал с бесконечным удовлетворением:

– Стало быть, они и до вас добрались.

Он поперхнулся, и что-то красное потекло по его подбородку.

– Он еще не рухнул, Роджер. Так сказал мне отец Адам. И еще отец Адам сказал, что он все равно когда-нибудь упадет, будь он даже высечен из алмаза и утвержден на самых корнях земли.

Мастер медленно приподнялся. Он с трудом выпутал ноги из простыней и, шатаясь, пошел через комнату. Джослин слышал, как он выругался и ударил кулаком в окно. Раздался треск, звон стекла. Мастер крикнул в мертвою пустоту:

– Рухни хоть сию секунду, и хрен с тобой!

– Сегодня почти нет ветра, Роджер! Только цветы на яблоне колышутся.

Мастер побрел назад. Он тяжело упал на колени у кровати и начал шарить по ней руками. Потом перестал, навалился на нее боком и снова засмеялся.

– Это хорошо, что от вас воняет, Джослин. Мне от этого полегчало. А я-то думал, мне уж ни от чего не полегчает.

Но Джослин был далеко, он грезил и сказал рассеянно:

– Я видел зимородка.

А потом перед ним опять были ноги, красное платье, и язык трещал, трещал, трещал. Роджера Каменщика уложили обратно в постель. Голос

раздался над Джослином, потом снова метнулся к кровати:

– Разве ты не понимаешь, дурак ты этакий? Они же знают, что он здесь!

Платье и голос исчезли за дверью. Он посмотрел в сторону кровати, но увидел только, как вздымалась и опадала грудь, и услышал прерывистый хрип.

– Роджер! Роджер! Ты меня слышишь?

Только хрип в ответ.

– Ты подумай. Я считал, что совершаю великое дело, а оказалось, я лишь нес людям погибель и сеял ненависть. Роджер!

Он пристально вглядывался, но видел только вздымающуюся грудь да руку, которая слабо вздрагивала при каждом вздохе. Он отвернулся и стал смотреть на угли в очаге. Теперь они казались ярче, потому что сумерки уже ползли по углам.

– Любить всех людей священной любовью... И вот... Роджер, ты меня слышишь?

Но Роджер даже не пошевелился. Джослин больше не пытался заговорить с ним и ждал, а рука все вздрагивала при каждом вздохе, угли рдели в сумерках, и он созерцал бесформенную, необъяснимую грудку, возникшую у него в голове.

Наконец тело на кровати вздрогнуло. Роджер лежал пластом, уйдя головой в подушку, и равнодушно смотрел на Джослина.

– Так. Вот, стало быть, мы оба туг.

– Это неправда, что старики не знают страданий. Они страдают, как и молодые, только им еще труднее.

– Похвальба!

– И вот, после всей ложной святости я околдован мертвой женщиной.

– Вы сумасшедший. Я всегда это говорил.

– Не знаю. Я был занят только этим исполинским шипом. А ее я совсем не знал. Может, поэтому она и явилась мне во сне и сказала... или нет, не сказала ничего, только мычала пустым ртом? Но даже в этом я не уверен. Элисон говорит, что она меня околдовала. Ведь это правда, Роджер? Как же иначе? А знаете, быть может, Гвоздь настоящий! Нам не дано знать.

Мастер крикнул:

– Будьте вы прокляты! Он рухнет, и я еще доживу до этого дня! Вы отняли у меня мое дело, моих подручных, все отняли, чтоб вам провалиться в самое пекло!

Он судорожно всхлипнул.

– Вместе с вашей сетью. Вы загнали меня слишком высоко.

– Но меня самого загнали. Я тоже попал в сеть.

Он слышал, как Роджер сморкался в простыню.

– Слишком, слишком высоко.

И вдруг голова у Джослина прояснилась. Он отчетливо понял, как быть с этой бесформенной, этой невыразимой грудой.

– Послушай. Вот для чего я пришел.

Он дергал пряжку до тех пор, пока плащ не упал с плеч, потом сдернул скуфью, снял с груди крест и положил на скамью.

– С тонзурой ничего не поделаешь. Знак священной чистоты на теле смердящего пса. Нет, тут ничего не поделаешь. Ересь? Я – средоточие...

Он встал и зашаркал по полу. Потом опустился на колени, но спина не выдержала, и он упал на четвереньки. «Что ж, – подумал он, – придется так».

– Ты сказал тогда, что я сам дьявол. Но я не дьявол. Я просто глупец. И еще мне кажется, я как дом с огромным подвалом, где живут крысы. И на руках моих какое-то проклятье. К кому ни прикоснусь, всем причиняю горе, особенно тем, кого люблю. И теперь я, несчастный, опозоренный, пришел молить тебя о прощении.

Наступила долгая тишина. Гудел огонь, поскрипывали оконные петли, шелестели листья. Он смотрел на доски пола меж своих рук. «Я здесь, – подумал он. – Больше я ничего не могу сделать».

Колено глухо стукнулось об пол подле его правой руки. Его взяли за плечи и выпрямили. Роджер держал его, касаясь руками пламени, которое опаляло ему спину. Мастер ругался, плакал, голова его и все тело тряслись. Он не умел плакать, весь содрогался при каждом рыдании, и дрожь передавалась Джослину; а потом сквозь рыдания стали прорываться слова, и Джослин почувствовал, что сам прижимается к Роджеру, цепляется за него. Голова Роджера лежала у него на плече, и он глупо лепетал что-то про яблоню, утешал и гладил Роджера по широкой дрожащей спине. «Он праведник, – думал он, – истинный праведник, что бы это ни значило! Здесь, под намалеванной, качающейся вывеской, рождается что-то...»

Вдруг Роджер отстранился. Одна его рука еще лежала на плече Джослина, другой он размазывал слезы по лицу.

– Расхныкался, как младенец. А все потому, что я пьян. Чуть выпью, глаза сразу на мокром месте.

Джослин почувствовал, что шатается под его тяжелой рукой.

– Ты не сможешь мне встать, Роджер?

Мастер громко захохотал. Он оттащил Джослина на скамью, потом добрел до кровати и тяжело плюхнулся на ее край. А Джослин все объяснял ему:

– У меня теперь совсем нет спины. Ты мог меня сломать. Иногда мне кажется, это от тяжести каменного молота, но что поделаешь.

– Он там. Стоит. Пейте.

– Нет, нет я не могу. Спасибо.

Кучка дров занялась с краю и вспыхнула желтым пламенем. По комнате заплясали тени. Мастер дотянулся до кувшина и отхлебнул из него.

- Мы сделали что могли.
- Там, на самом верху, ужас. Помрачение.
- Не надо об этом.
- Тяжесть, пустота. Легкость, пустота.

Мастер крикнул:

- Довольно! Довольно же!

Джослин снова взглянул на бесформенную грудку у себя в голове.

– Но это, конечно, еще не все. Когда-нибудь он рухнет. И все же, хотя опоры согнулись, шпиль покосился и щебенка... я еще не знаю. У меня еще остается моя... как бы сказать... мое недоверие. Понимаешь, может быть, все-таки это то самое, для чего мы были предназначены, мы оба. Он сказал, что мне, как глупой девчонке, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться. Но ведь в этом нет ничего дурного, правда? Я отдал шпильку свое тело. Что же его держит, Роджер? Гвоздь? Я? Или она, или ты? Или бедняга Пэнголл, который лежит, скорчившись, под опорами и меж ребер у него проросла веточка омелы?

Роджер Каменщик присмирел, словно слился со стеной, и на нем дрожали отблески огня. Но иные твари витали по комнате, и Джослин чувствовал, как черные крыла трепещут вокруг него. Голос его тонул в этом вихре, и он сам едва слышал себя:

– Ты еще можешь кое-что сделать, Роджер, сын мой. Ты еще можешь кое-что сделать.

Лицо Роджера снова побагровело, налилось кровью, и он прохрипел:

– Значит, вот для чего вы сюда пришли, Джослин? Око за око, зуб за зуб. И если я откажусь... вы все расскажете.

– Нет! Нет! Я и не думал...

– Я все понимаю, отец мой. Я чуял, к чему идет дело.

И тут, среди трепещущих черных крыл, Джослину стало страшно.

– Я совсем не думал...

– Говорю вам, я все понимаю.

– Я сам не знаю, как это у меня вырвалось... против воли.

Роджер Каменщик тяжело плюхнулся на кровать.

– Когда снова придет гроза, я это попомню. Око за око.

– Ты мог уйти. Ты еще молод.

– Кто взял бы меня? Кто пошел бы со мной работать? Ведь вы же отняли все.

– Бог всегда с нами. Это я знал... Но теперь я знаю и другое. А это все равно, что не знать ничего... Что такое человеческий ум, Роджер? Дом вместе с подвалом и всем прочим?

В комнате опять появилась женщина, она блестела черными глазами и трещала без умолку. А когда она ушла, он услышал другие голоса и смех.

– Кто это там?

– Люди.

– Пойми... если она что-нибудь знала... Как тебе объяснить? Беда в том, Роджер, что подвал знал про него – знал, что у него нет силы в чреслах, – и устроил этот брак. Наверное, это из-за ее волос. Я видел эти рыжие волосы, растрепанные, вокруг узкого бледного лица. А потом, конечно, уже не видел. Но однажды, когда она стояла у опоры и смотрела на тебя, они опалили мне глаза. Тогда-то она меня и околдовала. Да, околдовала, ведь правда? Поэтому я должен все про нее узнать. Ведь если она знала... если она знала, что с ее мужем, и даже, может быть, смирилась, это было бы не так ужасно... И конечно, она меня преследует!

– О чем вы толкуете?

– О ней, разумеется, о ней. Я всегда ждал ее. Она прибегала и вдруг останавливалась. Один раз я перевязал ей разбитое колено, оторвал кусок от своей... Но что с того? Позже, когда я понял, как она запуталась в моих сетях, я хотел поговорить с ней, заставить ее понять...

– Вы?

– Говорила она обо мне хоть раз? Впрочем, это все равно. Я и ее принес в жертву. Умышленно. И знаешь, Роджер, молитвы не остаются без ответа. Вот что ужасно! И когда она умерла, я стал одержим ею, потому что она меня околдовала. Молитву затмили волосы. Волосы мертвой женщины. Неплохая шутка, а?

– Шутка!

– Наверное, можно жить так, чтобы всякая любовь была благом, чтобы одна любовь не соперничала с другой, но пополняла ее. Что такое человеческий ум, Роджер?

– Вы достигли того, зачем пришли. Уходите.

– Но я должен знать...

– Не все ли нам теперь равно?

– Я совсем запутался. Пойми, перед тем как она меня околдовала, я любил ее как дочь. А в день ее смерти...

– Не надо. Уйдите.

– Мне быть бы о трех языках, чтобы сказать три вещи разом. Я пришел туда. Ты помнишь? Я ведь только хотел помочь. Быть может, я уже тогда кое-что понимал. Она была на полу. Она подняла голову и увидела меня на пороге в полном облачении настоятеля, священника, обвинителя. А я только хотел помочь, но это ее убило. Я убил ее, все равно что перерезал ей глотку.

Он слышал шаги мастера у самых своих ног. Почувствовал на лице горячее дыхание, насыщенное винными парами.

– Вон отсюда.

– Неужели ты не можешь понять? Я должен знать все это, потому что я убил ее!

Мастер вдруг крикнул:

– Вон! Вон!

Его руки отбросили Джослина. Дверь с треском распахнулась, и эти руки вышвырнули его за порог. Он увидел, как прямо на него стремительно несутся ступени, а потом он привстал на коленях, цепляясь за лестничные перила.

– Пададь вонючая!

Кувшин просвистел у самой его головы и вдребезги разбился о стену. Он на четвереньках дополз до скользкой мостовой, а сзади его настиг крик Роджера:

– Чтоб с тебя кожу содрали заживо!

Но крик потонул в буре голосов, смеха и лая. Он встал, хватаясь за стену, но шум захлестнул его, и в глаза ему ворвались руки, ноги, смутные лица. Он вдруг увидел узкий темный проход, рванулся туда, и одежда лопнула у него на спине. Он слышал, как затрещала ткань. Руки держали его, не давая лечь. Голоса ревели и визжали. Теперь у них были пасти, оскаленные, слюнявые. Он вскрикнул:

– Дети мои! Дети мои!

Вопли и неистовства не унимались, это было целое море проклятий и ненависти. Руки сжались в кулаки, замелькали ноги. И ему показалось, что сквозь весь этот шум он слышит, как Айво и его приятели науськивают псов:

– Ату! Ату! Ату!

Он лежал ничком и видел ноги и полосу света, которая падала из двери на грязь в канаве.

А потом вокруг разлилась тишина. Ноги постепенно отдалились. И в тишине он услышал женский голос:

– Матерь божия! Да вы поглядите на его спину!

Ноги задвигались быстрее. Он уже не видел их, но слышал, как они идут, бегут, спотыкаются о булыжники. Освещенная дверь захлопнулась.

Он полежал немного, дрожа всем телом. Потом зашевелился, пополз к стене. «Я наг, – подумал он. – Так и должно было случиться». Он встал и поплелся на тусклый свет факелов, маячивший над Главной улицей. Порой он терял стену, оступался, попадал в канаву и выбирался оттуда, а один раз упал прямо в грязь. «Теперь все могут видеть, что я такое», – подумал он, выбираясь обратно на мостовую. На углу Главной улицы он упал и уже не мог встать. Он не чувствовал, как ему прикрыли спину, не видел подола Рэчел и сандалий отца Адама. Какие-то руки осторожно коснулись его. Какой-то голос зажурчал, как вода в канаве зимой. А потом нахлынула тьма.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТА

И снова над ним был ребристый потолок. Он ничуть не изменился, но сам Джослин как бы вступил в новое существова-

ние. У него было такое чувство, будто он висит над собственным телом, которое каждый миг захлестывала неотвратимая волна слабости, принося с собой бессмысленный страх. И всякий раз он проваливался в пустоту. Но вот сознание возвращалось, и он снова повисал над своим телом, пытаясь, как в тумане, понять, что с ним произошло. Он висел и безмолвно разговаривал сам с собою.

– *Где же я был?*

И безмолвный ответ был всегда один:

– *Нигде.*

Его поили чем-то горьким, быть может маковым отваром, и ему иногда казалось, что от этого он и может вот так плыть и парить над своим распростертым телом. Лица чередовались: то кто-то подавал ему питье, то появлялся отец Адам, чьи черты он теперь видел совершенно отчетливо. Он не знал, долго ли длились провалы и долго ли он висел и плыл над своим телом. Но от одного взгляда до другого он без удивления замечал, что солнечный свет или тени отмерили на ребрах потолка не один час. Иногда он ближе ощущал эту оболочку, этот механизм, лежавший под ним. Главным делом механизма было растягивать и сжимать ребра, медленно, но беспрестанно, а внутри, как птица в клетке, трепыхалось сердце. Он бывал вынужден спускаться в свое тело лишь тогда, когда на него налагали руки прислужники, исполняя необходимые обязанности. Один раз он ясно услышал разговор, но понял лишь последние слова:

– Это губительный недуг у него в хребте...

Молчание. А потом еще:

– Нет. Ничего подобного. Сердце.

Но чаще всего в странном, зыбком времени он парил над своим телом или проваливался в пустоту. Приходили мысли, которые длились вечность или секунду. Возникали картины, которые теперь оставляли его равнодушным. Он почти не разговаривал, потому что это было невероятно трудно, даже когда он обретал доступ к собственному рту. Он избегал этого, потому что боялся своего распростертого тела, как западни, боялся пустоты, которая так часто подстерегала его. И все же иногда, в промежутках между вечностями, когда он то погружался в туман, то ясно видел над собой потолок, он делал

долгое усилие. Он заставлял себя спуститься к окаменевшему рту, взламывал камень и выдыхал со струей воздуха:

– Рухнул?

Лицо отца Адама, совсем отчетливое, с улыбкой низко склонялось над ним:

– Нет еще.

Он рассматривал голубые глаза, улыбку, которая слегка растягивала губы и морщила щеки. А когда лицо отодвигалось, он снова видел каменное ребро потолка да иногда – муху, сидевшую там вверх ногами и занятую своими заботами.

Потом он начал думать о своем надгробии и кое-как объяснил, чтобы позвали немого. Преодолевая бесконечную череду времени и пустоты, он растолковал юноше, чего хочет: никаких украшений, только он сам, мертвый, нагой, лишенный даже плоти, распростертый скелет, обтянутый кожей, голова запрокинута, рот открыт. Он хотел сдернуть простыни, и руки наконец поняли. Они открыли перед юношей его наготу, и тот сделал набросок с гримасой отвращения, а Джослин снова воспарил над своим телом. Минула вечность, юноша исчез, муха чистила лапки на потолке.

А потом свечи, бормотание, прикосновение еля. Он парил над миропомазаньем, которое свершалось внизу, над тяжелым, как свинец, телом; и снова разверзлась пустота. Но когда он очнулся, явилось нечто новое. Он услышал, как шумит ветер и дождь стучится в окно. И тогда он вспомнил про подвал с крысами и в ужасе перед этой мыслью ринулся вниз, в свое задыхающееся тело.

– Каменщик. Роджер Каменщик.

Лица низко склонились над ним, удивленные, с поднятыми бровями, они говорили длинно и непонятно.

– Роджер Каменщик!

И сразу он задохнулся словами и мыслями. Грудь отказывалась подниматься, и он в страхе пытался ей помочь. Он почувствовал, как руки приподняли и посадили его.

А потом он снова лежал, глядя на каменное ребро потолка, по которому медленно ползли яркие полосы света.

– *Где же я был?*

Но тут чье-то лицо заслонило свет, склонилось над ним, дрожащее, с красными веками, и ее черные волосы зазмеились по его телу, а рот зиял, непрестанно открываясь и закрываясь. Она накинута так неистово, что он мог лишь смотреть безучастно, не в силах уследить за смыслом ее слов.

– В сарае, между кучей лука и мешком пшеницы...

Неужели когда-нибудь ей придется расстаться с жизнью, которой в ней такая бездна? Всепожирающий рот, праведница...

– ..на четвереньках. С петель на шее, и обломок стропила на другом конце веревки. Он всегда говорил, что в его деле самое трудное рассчитать прочность, но бог знает...

«Бог, – подумал Джослин, и все показалось ему ничтожным. – Бог? Если бы я мог вернуть прошлое, я стал бы искать Бога среди людей. Но теперь колдовство сокрыло Его» .

– Сидит у огня, голову свесил на плечо, ничего не видит и не слышит, я все должна делать для него, все! Понимаете? Ходить, как за малым ребенком!

Он равнодушно смотрел, как руки отца Адама увели ее, услышал, как ее пронзительный плач всплеснулся рядом, а потом затих на лестнице. И он каким-то образом увидел отрешенное лицо Роджера Каменщика, детей на траве, скорченного Пэнголла, охраняющего средокрестие. Он увидел неуклюжие перекрытия башни, громоздкие, расщепленные венцы. И тяжесть навалилась на него.

«Я не могу больше, – подумал он. – Не могу. Я не в силах даже пожалеть их. И себя тоже» .

В комнате слышалось бормотание, звяканье металла. Лицо отца Адама снова низко склонилось над ним. Он видел, как губы священника произнесли какое-то слово, но, обессиленный, не пытался его уловить.

Голубые глаза мигнули. Вокруг них появились морщинки. Губы снова пошевелились. И на этот раз его одурманенный маковым отваром слух поймал слово, прежде чем оно взлетело к потолку.

– Джослин!

И он понял, что его час пробил: и ему показалось, что умирать легко – так же как есть, пить, спать, всему свое время.

И, поняв это, он словно обрел свободу, и мысли его понеслись вскачь, как лошадь, с которой сняли узду. Он поднял глаза, чтобы узнать, принес ли ему этот последний час избавление от колдовства: но там, среди звезд, сверкали спутанные волосы, и к ним возносилась громада шпиля. «Вот и все, – подумал он, – вот и объяснение, но только теперь уже поздно» . И он шепнул отцу Адаму одно слово:

– Вероника.

Улыбка на лице стала растерянной и тревожной. Потом оно прояснилось.

– Святая?

И тело, измученное слабостью и борениями, попыталось выдавить из груди смех; но он тотчас унял этот смех, боясь выпасть из жизни, потерять равновесие, как канатоходец; он вдруг почувствовал любовь к отцу Адаму, захотел что-нибудь ему подарить и, когда обрел равновесие, шепнул еще одно слово:

– Святая.

А смерть не так нелепа, как жизнь, потому что нет ничего нелепей этого раздираемого ужасом комка, который, как язычок гаснущего огня, трепещет под ребрами.

– Джослин.

«Это он меня зовет», – подумал Джослин и посмотрел на отца Адама со спокойным любопытством, потому что отец Адам тоже умирал и завтра или в какой-нибудь другой день чей-то голос вот так же скажет ему: «Адам», – будто ребенку. Как бы высоко он ни вознесся, какое бы ни носил облачение, завтра или в другой день этого гладкого, как пергамент, лба трижды коснется серебряный молоточек. А потом мысли снова понеслись вскачь, и он увидел, какой странный человек этот отец Адам, с головы до ног обтянутый пергаментом, то гладким, то морщинистым, и сверху так смешно торчат волосы, а внутри – чудовищный костяк, на котором распят пергамент. И тут же, словно во сне, который скрыл от него это лицо, он увидел весь род людской в его наготе – коричневатый пергамент, натянутый на костяные остовы и скелеты. Он увидел, как люди, прикрытые тканью, переступают ногами, вышагивают подошвами из звериных кож, и мучительным усилием, задыхаясь, попытался облечь это свое видение в слова, которые не прозвучали никогда:

«В своей гордыне они возмечтали об адском пламени. Ничто не совершается без греха. Лишь Богу ведомо, где Бог».

Руки уложили его, и он провалился в пустоту. Но страх заставил его снова вынырнуть и испить чашу до дна.

– Теперь, Джослин, мы облегчим тебе путь на небо.

«Небо, – подумал Джослин, охваченный страхом. – Ты, который сейчас держишь меня и умрешь не сегодня, что знаешь ты о небе? Небо, ад, чистилище – крошечные и блестящие, как украшение, которое прячут и носят лишь по праздникам. А я умираю в серый, будничные день. И что мне небо, если мне невозможно подняться туда вместе с ними, держа за руку его и ее?

Смириться?

Я променял четверых людей на каменный молот «.

Вдруг он почувствовал, что надо вцепиться в воздух зубами, мертвой хваткой. Руки приподняли его, посадили, и грудь сама, без его помощи, набрала воздуху. И страх покинул грудь, но витал вокруг.

Сквозь страх на него глядели два глаза. Кроме них, в мире не было ничего прочного, и под их взглядом он был как дом, готовый рухнуть. Они смотрели на него в упор, око в око, око за око. Он снова вцепился зубами в воздух и сам погрузился глазами в эти глаза, потому что, кроме них, в мире не было ничего прочного. Два глаза слились в один.

И теперь перед ним было окно, распахнутое, залитое светом. Что-то рассекало его. Какая-то черта, а вокруг была синевая неба. Недвижная и

неслышная, эта черта с безмолвным криком возносилась ввысь, куда-то в самое небо. Она была тонкая, девически нежная и прозрачная. Ее взрастило семя, неведомое розовое вещество, искрившееся, как водопад, но водопад, устремленный снизу вверх. И лишь одно это вещество врывалось в самую беспредельность ликующими каскадами, которые ничто не могло удержать.

Страх кружил и рвался наружу, он вдребезги разбил окно, и осколки задрожали в каждом его глазу, но ни страх, ни слепота не могли затмить ужаса и удивления.

«Теперь... я ничего, ничего не знаю» .

Но руки заставляли лечь вихрь ужаса и удивления, лечь, лечь. Мысли ослепительно вспыхивали во тьме. Самые камни вопиют.

«Верую, Джослин, верую!»

Что такое страх и радость, почему они смешались, слились воедино и сверкают, мчатся сквозь потрясенную ужасом тьму, как птица над водой?

– С кротостью приемлешь...

Захлестнутой волной, он летел птицей, рвался, кричал, вопил, стремясь оставить после себя волшебные и таинственные слова:

– *Как яблоня!..*

Отец Адам склонился над кроватью, но не услышал ничего. Он видел только, как дрогнули губы, и истолковал это как моление: «Господи! Господи! Господи!» И по милосердию, которое было ему дано творить, он положил на язык усопшего святые дары. Примечания:

Dia Mater – Матерь богов (лат.).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Скороденко. Притчи Уильяма Голдинга</i>	5	
<i>Повелитель мух. Перевод Е. Суриц.....</i>	23	
<i>Наследники. Перевод В. Хинкиса.....</i>	167	
<i>Шпиль. Перевод В. Хинкиса</i>		311

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ
«ШПИЛЬ»
и другие повести

ИБ № 9516

Художник *Т. В. Толстая*
Художественный редактор *А. П. Купцов*
Технический редактор *О. Б. Иванова*
Корректор *Е. Н. Панкратова*

Сдано в набор 24.12.80. Подписано в печать 23.06.80)
Формат 60x84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура таймс. Печать офсетная.
Условн. печ. Л. 26,04. Уч.-изд. л. 31,18.
Тираж 100.000 экз. Заказ № 2382.
Цена 3. р. 50 к. Изд. № 29974

Ордена Трудовой Красной Знамени издательство «Прогресс» Государственного
комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва 119021, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудовой Красной Знамени Первая
Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва, М-54, Валовая, 28